Илья Эренбург

2

Илья Эренбург 2

илья Эренбург

Собрание сочинений в восьми томах



Илья Эренбург

Собрание сочинений в восьми томах

1991
Москва
„Художественная литература"

Илья Эренбург

Собрание сочинений
том второй

Романы

Жизнь и гибель Николая Курбова

Рвач

В Проточном переулке

Москва
"Художественная литература"
1991

ББК 84Р7
Э76

Составление, подготовка текста
И. И. ЭРЕНБУРГ

Комментарии
Б. Я. ФРЕЗИНСКОГО

Оформление художника
Е. А. ГАННУШКИНА

Э $\frac{4702010201-116}{028(01)-91}$ Подписное

ISBN 5-280-01623-3 (Т. 2)
ISBN 5-280-01055-3

Жизнь и гибель Николая Курбова

роман

$$X = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}$$

Цыпленки тоже хочут жить

1

Воздвиженка. Казенный дом, с колонками, рыжий,— дом как дом. Только не пешком — автомобили не входят — влетают, и все с портфелями. Огромный околоток, кроме нашего Ресефесера, еще с десяток республик — аджарских, бухарских, всяких. А вывеска простенькая — как будто дантист,— заржавела жестянка:

«ЦК РКП».

Вот где ее гнездо! Отсюда выходят, ползут в Сухум и в Мурманск. Скрутили, спаяли, в ячейки яички свои положив, расплодились, проникли до самых кишок, попробуй — вздохни, шевельнись не по этим святым директивам!

Стучат машинки: цок, цок, цок!

— Товарищ, заготовьте бумаги в ЦУС, в ЦОС и в Снабарм!

— Резолюция при двух воздержавшихся...

— На подпись инструкцию...

— Занести в исходящие...

А в подъезде бабка плачет:

— Да как же? Куда же? Угла лишили... вселили... Охальник, машинку принес и прямо в ухо пущает!..

Злится курьер:

— Иди в жилищно-земельный, знаешь, глупая, что здесь? Цека!

— Я и туды, и сюды...

Дверь прикрыл — мороз напускает. Не скажет.

— В Тамбовском уезде убиты четыре товарища.

— Губком доносит, что все расстреляны...

— Тезисы по борьбе с церковью.

— Детская смертность в немкоммуне...

— Цифры?

— Умер от тифа товарищ Зыков.

— Послать Ракитина.

И надо всем — одно слово, тяжелое, темное слово: «Мандат»!

Оргбюро. Распределение работы. Толпятся с портфелями обросшие, обмотанные. Ведь когда-то ходили в пивные, заедали моченым горохом и воблой, читали альманахи «Шиповник», даже влюблялись, охали, а теперь нельзя: ну, как на своей кровати перевернуться с боку на бок? Инструкция!..

— В Наркомпрос — двое! В Рабкрин — трое! Вы, товарищ Блюм, — в Туркестан!

Целый час уже распределяют, отсылают, машинистки стучат. Мандаты. Стемнело, пыльная лампочка, махорочный дух, чайная чашка с отломанной ручкой, даже уют, семейственность, после мороза. Всюду послали, только осталось в чеку. Трудное дело. Кому же охота? Все норовят на чистое, даже душевное, с романтическим блеском, при магнии. Всякому лестно сидеть в инотделе и Англию с тибетских вершин поддразнивать красненьким флажком. Или: раньше ребят, за конспектами сидя, как-то вообще не замечали — теперь педагоги. В чеку же идут лишь коммунисты последнего выпуска: нос угреватый в бобровый уют окунуть или на Кисловке пирожное «наполеон» с кремом давить языком, не считая косых. А нужно в чеку большого, святого почти, хотят к палачеству приставить не палача — подвижника, туда, где сети с уловом: доллары, караты, где кровь окисшая, со сгустками, где можно души с вывертом щипать, где всякий рыженький сопляк в каскетке — Ассаргадон, не человека — пункт программы, но с руками, с глухим баском — подписывать и утверждать.

— Товарищ Ялич, вы — в Чека, по предписанию оргбюро.

— Я? Нет! Что вы! (Ялич даже кашлять стал в башлык от раздражения.)

Конечно, он понимает — Чека вещь необходимая, без Чека и дня не проживешь. Но он — Ялич, написавший две брошюры о марксистской этике, хороший, честный, которого даже кадет Громов уважает, — к насосу мразь высасывать?.. Никогда!

— Я, товарищ, постановление опротестовываю. Хочу в Наркомпрод.

Секретарь уязвлен, возмущен, тычет своим самопишущим пером (подарок из Ревеля) в чернильницу, — зря тычет, портит перо.

— Кто же в Чека?

Потягивается огромный спрут, в тесной комнатке с недопитой чашкой чая, потягивается и выпускает еще одну лапу — быструю, легкую, крепкую.

— Кто?

И спокойный ответ:

— Если нужно — я. Меня отозвали из Наркомзема, там дело налажено.

Слегка удивились: товарищ Курбов, таких ведь мало,— и в чеку! Потом: ну да, в чеку, туда первых, верных, без пирожков.

Прекрасен Курбов покойной, ясной красотой! Движения все верны, вески, слова рассчитаны, глаза — чтобы видеть, ноги — чтобы ходить, и даже руки, крепкие, тугие, чтобы все делать: доклад писать, пилить дрова в общежитии, к брюкам пуговку пришить... Конечно, Курбова! И как раньше не догадались!..

Опять тупится заграничное перо секретаря. Товарища Зимштейна в Наркомпрос. «Единая» и прочее. Дункан немного в переменках. Но главное, чтобы были инженеры. С младенчества их по производственной учесть и обстрогать. А Ялича?.. Ну, Ялича... он книжки написал... он жаловаться будет... ну, Ялича — пишите: в Наркомпрод. Одна обуза! И Ялич рад: капуста, заготовки, сам Громов скажет: все большевики канальи, а этот Ялич честный человек, нельзя же без продовольствия!.. Пишите — Курбова в Чека.

Ялич с жалостью, чуть-чуть брезгливо жмет руку Курбова. Да, да! Он понимает, меньшевики пакостят, надо быть начеку, надо, надо в чеку. Курбов хороший работник. Ялич давно писал в своей книжке об этике: «Увы, порой необходимо насилие».

(А в душе, глубоко — этика; дом, детки в матросках, как у Громова — уют, чистота. В Чека — подвал, допросы, неприятности, марко. А в Продкоме карточки, чистенькие — карточек хватит на всех.)

— Бедный Курбов!

А он не бедный — крепкий и живой.

Секретарь:

— Желаю вам успеха. Вы куда? Туда?

— Туда.

И машинистке, через пустые коридоры, в затон остывшего пустого зала:

— Мандат!

2

Хорошо, что Курбов нашелся. А если бы не было Курбова? Могло легко и не быть. Весь Курбов — случайность. Пошел он от карты — на два очка Валентин Александрович Лидов перекупил. Мелок на зеленом к прежним цифрам три жирных, тяжелых ноля добавил. Здесь начинается Курбов — в надымленном клубе, над зеленью столика, в руке, что тычется от груды окурков к дулу в заднем брючном кармане, и снова к колоде — поддеть, передернуть, спастись!

Валентин Александрович Лидов — отец Курбова, не отец, но вроде. Отец другой — Завалишин. А Курбова — просто и не было. Только Маша Курбова в Еропкинском переулке, мастерица гофрированных роз. Хоть было не двое, трое — Курбов мог не родиться, не должен был он родиться. Карта толкнула — восьмерка: Валентин Александрович перекупил.

Был Лидов — прелестник, не ногти — рубины. А имя! В Москве, в Еропкинском, где всё Еремеи, Фаддеи, Сергеи, Валентина найти! Клубмен, гладко выбрит, широкий костюм, с искрой — от Шанкса. Презрительно вежлив, и Маше:

— Ценю я свободу...

И Маша, молясь на складку у губ, на брючную складку, стыдливо:

— Вы истинный ангел!

Повсюду успех, не одни мастерицы — графини, актрисы, супруга посла Португалии, идейные и недотроги — все! Только записывать дни и часы. Всем нежно:

— Любовь — мещанство, из книжки плохой... как называется?.. Ах, да, Евангелие! Прочтите Ницше и торопитесь! Главное, как в Англии — свобода.

Так и когда студентом был. Беспорядки. Манеж. В Таганке ни Нелли, ни Шелли. Даже нельзя пройтись по Волхонке в героической позе. Скучно! Искушал его ротмистр — весна на Никитской, из палисадников сиренью треплет по сердцу (ротмистр в мундире своем как весна — голубой и туманный):

— Назовите имена, и все обойдется.

Назвал. Обошлось. (Ну что имена, когда вместо параши все утро с Нелли — искать пятизначное счастье, сначала на ветке, потом на груди?)

Был женат; конечно, не на матери Курбова — на Нюрочке Критской. Дом получил, но место плохое —

на Самотеке. Так и сказали: дом не доходный, зато с обстановкой, и все — вплоть до массивного закусочного (ведерко икорное, кнопки для сыра), вплоть до лифчиков Нюры (фабричные, под «валансьен», из Пассажа) — по списку. (Бывают измены и принципам Ницше.) Валентин Александрович был в затруднительном: маклер Ишевич дом оценил в двадцать тысяч. И Нюра — свежа, пухла, глупа, приятно девчонку учить всяким фигурам.

Папаша — Нюре:

— Овца! Морду от мужа воротишь, а у самой небось коленки млеют. Вот погоди — научит.

Учил. Научил. Потом продал дом. Кнопки для сыра — и те заложил. Ушел, небрежно подернув плечами:

— Брак — это рабство. Зачем друг за друга цепляться?

(Нюре остались лишь лифчики под «валансьен».)

Другие — от часовых до сезонных. Когда же встретил Машу, был верен идеям, но сильно поношен. Тридцать восемь всего, а ко многому больше негоден. Возможно, наследственность или шампанское «Мумм» (ведь дом самотечный истек не минутной струей — многолетним ключом «трипль сэк»). Словом, ни души, ни патентованные капли не помогали.

Маша знала весну с подоконника, бумажные розы и чужое счастье: двоих у окошка напротив, оперу «Травиата» (у Солодовникова) и еще, самое главное, что когда-нибудь может быть *это*.

Увидав Валентина Александровича, оправила передник, сказала глупость (погода и моды), прокляла розы и подоконник («ведь он — образованный!»). Потом послушно, как заказчице вздорные розы, отдала ему жизнь.

Он взять не мог, слишком много брал, объевшись — истек, но все же не хотел успокоиться, ерзал и, тешась, о духовном родстве лопотал, туманно — совсем Метерлинк.

А Маша смущалась — он тискал, слабея, хихикал, потом, шурясь перед зеркалом и брюки свои натянув осторожно, чтобы не смять складок, шел в Английский клуб.

Закутавшись в клетчатый теплый платок, лежала; все это не то! не то! И компрессом жег щеку замокший от слез платок.

Сказал ей:

— Ты останешься девушкой — это гораздо изящней. Взять все до конца — какая пошлость! Я так уважаю твое девичество...

И, тихо хихикнув, прижал.

— Я так уважаю...

И розы в трюмо, бумажные, грязные розы, шуршали:

— Конечно! Как в Англии...

Неделями Маша ожидала двойного звонка. Завивала папиросную бумагу, думала:

«Я его недостойна, он рыцарь».

И марала слезами линючие, тусклые розы. Потом приходил, подвешивал брюки, хихикал, снова руки шарили, и звал к далекому Ницше, и никем не отпитая женская нежность переполняла каморку, Еропкинский, мир.

А он объяснял приятелю, секретарю газеты «Курьер»:

— Простенькая, но не говорите...

Шли вместе к «Омону». Секретарь ворчал:

— Я ученых люблю. Чтобы все номера из Парижа. Довольно родной самобытности!

Валентин Александрович соглашался, но все-таки скромно добавлял:

— В простоте — своя прелесть.

И, выходя на Садовую, где гнилые листья пахли гарью, не зная, что делать с собой, чуя уже старость и легкий сгиб в пояснице, садясь в пролетку с верхом, чтобы не видеть, не слышать, кричал:

— В Еропкинский!

Так Курбова могло и не быть. Не должно было быть. Ужасно! Что делал бы секретарь Цека? Не Ялича же, чистюльку такую, гнать на работу в чеку! Но выручил случай — восьмерка.

В Английском клубе играл Валентин Александрович Лидов с Завалишиным (крупный подрядчик) в железку, играл — заигрался... Условие: на месте расчет. Проигрался изрядно, одно спасенье: сорвать банк.

— Беру! Прикупаю!

Восьмерка!

Завалишин мелком поскрипел. И голос у него скрипучий, несмазанный голос. Завалишин отводит, Завалишин не шутит:

— Милейший!..

Ведь будет скандал, старшины, исключение.

— Закусить не хотите?..

Вместе за столиком. Вдруг Лидова осенила дивная мысль. (Бывает: Ньютона в саду, Бонапарта в крестьянской избе.) Взглянув на засохшие толстые губы счастливчика, Лидов вдруг вспомнил: есть Маша, а это ведь стоит нолей на зеленом сукне.

— Заплатить не могу... Впрочем, хотите девочку?..

Подрядчик презрительно скрипнул:

— Считать не умеете, вот что! Да на Тверском любая — за красненькую. Благодарствую — сам найду.

Но Валентин Александрович умеет считать.

— Вы меня не поняли. Я вам не девку — честную девушку предлагаю.

И, пальцем вкусно причмокнув:

— Оказия! Целка!

Завалишин взглянул недоверчиво,— его не надуешь,— откуда такая? Сам Лидов известный бабник — конечно, подвох! Не поверил, но все же взволновался.

Человек, изогнувшись, шептал:

— Прикажете антрекотик?

Не верил:

— Извольте платить!

— Парфе а ля франс!

А где-то под ложечкой ныло: «Целка!»

Валентин Александрович пил, и юлил, и молился над застывшей сальной тарелкой: «Дай боже, дай боже, чтоб ему захотелось того!..» И, выпив изрядную дозу мадеры:

— Поверьте! Услуга — другу. Невинность! Я знаю, что вы далеки от искусства, но вы ведь слыхали — мадонна! Экстаз! Беатриче!

Завалишин не выдержал:

— Врете! Неужто такая?

— Ей-богу!

И дрогнул:

— Но как же вы прозевали?

Как было? Выпил ли Лидов не в меру мадеры или очень боялся скандала, старшин, исключения, хотел убедить, увести, ноли зачеркнуть? Нет, просто попало в точку.

— Я?.. Видите ли, я неспособен...

От попранной гордости, от мужской обиды, от всей своей, уже трехлетней, муки, перед подрядчиком, перед лакеями на манишку, смятую за ночь, заплакал, громко, по-детски, сморкнулся, вышел. И долго в уборной, у кафельной стенки, всхлипывал, как мальчишка, строго наказанный, забытый, ненужный.

Вошел Завалишин:

— Согласен. Едем.

Подрядчик торопился, не мог попасть в рукава енотовой шубы — извинялся швейцар. Лихачу:

— Живее!

Двойной звонок. Маша проснулась, кинулась к двери. Вот точно ей снилось: Царицыно, лодка, и милый веслом подгребает упавший платок.

— Мой друг, Завалишин.

— Ах, я не одета!..

Завалишин усмехнулся:

— Оно и лучше: меньше работы будет.

Валентин Александрович суетился, а вдруг Маша не согласится, отрежет, откажет, тогда... тогда... И вставало одно: тогда скандал.

— Машенька, я хочу поговорить с тобой.

В соседней комнате:

— Видишь ли, я проигрался. Азарт — великое чувство. В нем красота порыва. Восьмерка вышла — перекупил. Завалишину должен. Одно осталось...

И вынул браунинг.

— Валенька, что вы? Господь с вами!

Видит, уж видит страшную рану.

— Ты можешь помочь мне. Я чист, я невинен, я даже таких слов не знаю. Но вот Завалишин — весьма ординер. Как жаль, что ты не понимаешь по-французски — язык Мопассана! Словом, ты с ним должна остаться вдвоем и кое на что согласиться. Что тебе? Как говорит мой приятель, философ большой, Ксюнин — ничего не убавится, красота останется. Мы будем снова невинны, как дети.

У Маши все завертелось — розовые розы, шапка с ушами Завалишина, милые руки, вспорхнувшие прочь. Потом прояснилось, остались лишь руки.

— Валентин Александрович, если для вас — я могу.

Хотелось еще одно слово: «люблю», боялась: «любовь — мещанство», но все же не сдержалась, руку его схватила (не ногти — рубины) и, преклонившись, поцеловала.

— Я вас не обязываю. Выше всего свобода. Но здесь поставлена на карту (проклятая карта — восьмерка!) моя честь!

Довольно. Все обошлось хорошо. Завалишин дает расписку.

— Спокойной ночи. Я не стану стеснять вашей свободы.

Вышел. Остался Завалишин, скрипучий, сухой. Торопился, не знал ни Ницше, ни свободы. Навалился, схватил, закусил жадно, как виноградину, раздавил. Ботиком топнув, ушел.

Мокрый платок: «Не то! Не то!»

Валентин Александрович никогда не вернется. Что без девичества Маша? Глупенькая мастерица. У него — гувернантка, деликатная, из Женевы.

Так кончилась ночь. Нет, не конец, а начало.

В бурой каморке, под хрип и скрип, и досок скрип, и смех скрипучий, был мир еще: за домом — ветер, тучи, за тучами — высоко — звезды и, на кровати, от позора и от любви, от перекупленной восьмерки начало человека — Николая Курбова.

3

Валентин Александрович, действительно, к Маше больше не пришел, хоть знал он, что вечер в клубе кончился карточным сыном — Колей.

Раз лишь, года три спустя, выиграв порядком, выйдя один на мороз, вспомнил: восьмерка, лихач, на пальцах горячие губы. Вернулся. Вложил сторублевку в конверт, приписав: «Духовному сыну на елку. Расти свободным, широким, терпимым!»

Дал посыльному и долго, за полночь, собой любовался. Какую-то девушку помнит, не брезгует прошлым, без предрассудков, один, забыт всеми, как Рудин или бедный Лемм, никем не понят, джентльмен среди хамов.

Если бы эти сто рублей пришли раньше, когда Маша металась, молила бабку еще подождать, писала Лидову, ждала почтальона и, соску пустую воткнув в ротик, задыхалась от жалости!..

Потом... Всегда так выходит, и все же чудно́ — как это вышло? Пришел не Лидов — Завалишин. За ним другие. Сначала фамилии, лица, потом ряды. Брюнеты. Блондины. Вот здесь бородавка. Еще — вчерашний рубашку разорвал. Еще — один как-то лязгал зубами. Огромный рот. Не человек, не люди — человечество.

А рядом, в каморке со щелкой во двор, где плакал шарманщик и мастер паял кастрюли, на сундуке, под лоскутным одеялом, в куртке латаной спал беленький Коля.

Слышал вечером говор, сговор. Мамаша смеялась, брала гитару и глухо, как будто в носу полип (чтобы было чувствительней), пела:

Ах, звезды, вы звезды мои!..

Потом, визжа, прочь летела гитара. Шмыгали, прыгали, шаркали. Стоны. Мелкий смешок. Вздох. Рык. Тишина.

Спросил — мамаша всхлипнула, слезы вхрыхлили щеки белые, как мятные пряники (Маша распухла от сна до обеда, от трубочек с кремом — гостей угощала, и белая стала, белее нельзя). Увидел, как слезы размыли мучнистые щеки, и понял — молчи.

Пожалуй, обвык, стали вздохи и скоки за стенкой как визги шарманки, как клеп мастера. Но маму жалел до озноба. От жадной жалости дрожал под лоскутным. Когда днем мамаша уходила в колбасную — чайной купить, он целовал на кровати ее пробитую ямку — след тела. Просыпаясь, выглядывал, и гость иной, заметив ясные глазенки, завязывая галстук, на лету кидал:

— Он у тебя ангелочек!

Бывали ночи похуже — посуду били. Мамаша молила чашку с золотом вязи «откушай» одну пощадить. Разбили. И хуже еще: не чашку — мамашу били.

Помнил Коля — как-то проснулся. Сердце забегало. Гитара. «Ах, звезды, вы звезды...» Бац.

— Так-то ты, стерва!.. Поерзай на брюхе!..

И тихо. А в шторке рваной — звезды.

Слышал и знал. Он не был ни маленьким Байроном, ни тихой замухрышкой. Играл задорно в чехарду. Но больше чехарды, больше бабок, больше нарядных игрушек в окне магазина «Сны детства» любил он коробки от спичек, пустые катушки, пробки. Часами он строил — коробки и пробки росли, стояли, упасть не могли. Вот фабрика спичек, не фабрика — город, и просится ввысь каланча.

Маша от жизни несбывшейся (ах, Лидов уехал куда-то, наверное, в Англию) кидалась в церковь, до смуглого Спаса. Там, вместо гитары, армянских загадок — торжественный зык: «Иисусе сладчайший». Из кошелька выгребала она полтинник — все наградные за выверт, за фокус, за усердие многих ночей — и ставила свечку, не мудрствуя много, кому и за что, просто от бедного сердца, от кошелька, где каждый грош зубами прокушен.

Водила Колю в церковь. Не нравилось, порой упирался, Маша крестилась:

— Что ты, чертенок? В церковь боится идти! Только черта от Божьего духа мутит.

Как-то зашли — Василий Блаженный: закоулки, проходы, щели, норы. В темь, в глубь, а в углу, среди золота, большие пустые глаза. От чадных лампад, от ладана, от маминых сдвинутых к брюшку благообразных рук скучно стало, так скучно! Только на площади ожил. Веселый клекот пролеток. Купчина поскользнулся, упал. Тяжелые голуби чуть отлетели. Снова сели. Купчина стряхнул с полы пух снежной перины.

— Маменька! Маменька! Как хорошо!

Маша смущалась, даже просила отца Спиридона наставить. Жирной рукой шлепнулся прямо в губы:

— Читай «Отче наш».

Читал. Боялся. Не верил, но все же боялся — мать говорила:

— Слушай отца Спиридона, не то Господь покарает...

— Покарает? Чем?

— Ей-ей, покарает... чихом или глистой...

Отец Спиридон сам испытал всевышнюю кару. (За что, неизвестно. Ведь Иов безгрешный и тот был наказан.) Мужчина в соку, четвертый десяток, а вдов. Когда Маша говела, он ей важно сказал:

— Очистись!

И после сладко причмокнул (что же, и в пост полагается постный сахар):

— В четверг приду! Чтобы не забрел кто, греховный...

И вправду пришел. Коля в щелку глядел. Ни креста, ни рясы, ни трубного зыка. Бородой маму ласково щекотнул. Пошло как всегда. Но, уходя (другие шуршали рублем или трешкой), стал снова суровым, хотя без креста, но все же — отец Спиридон. Только руку к губам не спеша подсунул. Мама припала. А Коля у двери на цыпочки встал, приподнялся и вырос. Сразу прозрел и презрел и чих, и глисту. Только ласково подумал о маме: «Ей ведь не скажешь, она будет плакать».

Маме наутро сказал:

— Я, маменька, в церковь схожу — помолиться.

А сам пошел к приятелю Васе, в печатню Качина. Вертелись гигантские свитки, вливая бумажные струи, зубья белесую реку вбирали, сжимали, клеймили,

целуя взасос, и снова кидали. Подобравши порченый лист, он прочитал: «Мы ждем от Микадо уступок...»

Машина знакома с Микадо!

Маша гордилась. Из сил выбивалась, за ночь две смены пускала, но сын будет важный, как Валентин Александрович, мечтатель, иностранные слова, не ординер... Реалисту, что жил во дворе, на хлебах у молочника Тычина, три целковых давала в месяц на девок, натурой не хотела.

— Мальчика хоть постыдись!..

Тычин готовил к экзамену, честно готовил — и «гнезда», и «звезды», и «цвел», «приобрел»,— все яти выдал, не утаил ни одной.

Коля буквы залпом глотал. Просыпаясь от шума — вот сейчас надо поставить двоеточие... Пятнадцать целковых не пропали — на экзаменах первый. Взмылясь, достала Маша куртку и фуражку с гербом. Красивый герб! И вдруг, отойдя от зеркальца — готовясь к гостям, пудрила шею:

— Да ты ведь того... кавалер!..

Шли дни. В большой — суетня и визг, в маленькой рядом — наречия, союзы, предлоги.

Но к новой весне — беда. Как-то пришел приказчик один, с Плющихи, в явно нетрезвом. Машу раздетую, всю запотевшую, вытолкнул на лестницу:

— Прогуляйся в прохладе!

Маша слегла. Все внутри захрипело. Хочет дохнуть — нет сил. Банки бы поставить — нельзя: кошелек Коля вывернул даже, ища пятачка, не сгоревшего церковной свечкой.

Коле:

— Сходи в Мансуровский к Прову, знаешь, колбасник, он добрый — позови.

Пров пришел, озлился:

— Я думал, за делом зовешь, оснастился, а ты что же, дура, меня принять неспособна? Тьфу! Разлеглась! Мадама какая!

И, кинув полтинник, да так, что тот под кровать завалился и еле Коля его подобрал, ушел.

Так и не было банок, и даже бальзама не было — утишить кашель. Две ночи еще промаялась. Потом один взлет от ямки, клок простыни в скрюченных пальцах — и все.

Когда выносили, дворник Трифон ругался:

— Окочурилась, шлюха!

И на Колю:

— Еще наплодила! Скажите, богатство!..

Впрочем, все было пристойно. Отец Спиридон прогремел:

— И презревши все прегрешения...

От чувств набежавших и от кислого кваса сердито икнув...

Так закопали. Коля на конке (собрали четыре целковых) доехал домой.

Вошел и взроптал. Нелепости этой осмыслить не мог. Рой ночей, люди, муки, скупая щель в размокшей земле. Зачем же высокие башни катушек, державные лапы машины, чудные буквы в учебнике: ясная «А» и свободное «О»? Зачем же морозное утро, нос заиндевевший, плещущий голубь? Зачем? Сиротела кроватная ямка — целует тюфяк, клок пакли, в полоску тряпье. И другая яма — сырость, червь, как глиста.

Гитара. Нечаянно тронул струну. Завизжала. Вспомнил: «Ах, звезды, вы звезды мои!..»

— Так-то!..

В окошко взглянул.

Вот Маша и Маши другие глядят, вздыхают: туманность их тянет, распирает простор, грусть — отчего не дано? А Коля взглянул и увидел: система, гармония. Да, были то числа, таблицы, не сны — чертежи. И в круге и в ромбе оправдано все: койка, комья московской тяжелой земли.

Здесь истоки жизни, в каморке неприбранной, у запотевшего от весеннего духа стекла. А после — одно продолжение, одни хвосты этих явившихся чисел. Мечты и конспекты, и дальше — программы, учет, строй совхозов или комкомов — лишь позднейший отсвет вот этих, на час прояснившихся, ромбов.

Он понял, и прошлое ласково прочь отстранил. Спокойно выпил из чайника старый, еще для мамаши заваренный, чай.

Утром был маленьким мальчиком Колей. Теперь — Николай Курбов.

4

В гимназии Курбова очень ценили. Педель Аполлон Афанасьевич шепелявил:

— Не ученик — самородок.

Правда, шалит, порою несносен — осенью, например, калоши отца Михаила прибил гвоздями. Вдевал отец Михаил, вдевал, чрезмерно напрягался, а после усомнился в себе, стал воздыхать. Весь класс наказали, но Курбов признался. Шесть воскресений за это латинские «бестии» и «фруктусы» честно склонял. Но это-то что — педель добрый, сердечный, сам понимает: без шалости разве сыщешь ребенка? Возраст такой. А все-таки Курбов особенный, прямо классический отрок. Хоть беден, весь латан, не может на плюшку взглянуть без волнения, а все же в предметах — первейший. Министр приезжал, кого вызывали? Конечно, его! Задачу как схватит, чиркнет мозгами — готово. Ей-ей! В двенадцать лет — математик!

Узнав о смерти матушки Курбова, Аполлон Афанасьевич в учительской даже чаю не допил — взметнулся. Егорьев, историк, председатель Общества помощи — к нему:

— Сами Курбова знаете. Он, так сказать, украшение...

Егорьев вначале чуть покобенился:

— Курбов Николай? Во втором параллельном? Как же, знаю, знаю. Он баламут. Я с ними начал удельный период в доступных рассказах — Святополк Окаянный, ослепление Василька. И что же? Курбов выпятил руку: «Иван Ферапонтович, а как эти дяди промышляли себе оружие?» Так и сказал — не князья и не люди, а «дяди». После опять: «А как они строили Киев? Были ли с трубами печи? Разводили ли кур? А то вы всё про одних мазуриков!..» Слова-то какие! Вот из таких и выходят (в ухо педелю дунул) тер-ро-ристы! «Что да как?» Дурак!

Но вскоре смягчился и обнадежил педеля:

— Есть заявление. Власов-кожевник — сын у него второгодник, в четвертом застрял. Так вот этот Власов сказал мне: «Если болван в пятый пролезет — возьму на иждивение бедного мальчика. Буду выплачивать правоучение и осьмнадцать рублей на харчи».

Сделано дело. Власов Никита, слизнув задачу у соседа, пролез. Курбов устроен. Добренький педель пошел в Еропкинский сам:

— Учись и ручку целуй благодетелю. А гвозди оставь. И про Святополка вызубри, чтоб назубок. Ты теперь не просто гимназист, а в некотором роде (палец к небу, по слогам) сти-пен-диат!

Власов, увидев, гаркнул:

— Вот ты какой! Потаскухин фрукт! Отвечай: чьи на тебе брюки? Мои, по моему милосердию. Смотри на коленках не протри. Ремнем! Учись, пуще всего — покорствуй. Кончишь учебу, будешь честный, непьющий — возьму тебя младшим приказчиком. И руку (рука склизкая, мясистая) — целуй.

Целовал.

Так каждый месяц. Очки нацепив — в балльную книжку: чтобы были пятерки. Раз отчеркнул Егорьев солидный кол (сказал Николай: «Эпиктет, Эпикур — все одна семейка, обоим небось рабыни исподнее, то есть тоги ихние, стирали»).

Власов кол жирнущий носом вдохнул и сладко погладил живот:

— Эй, Дунька, зови Никиту!

А Николаю:

— Пащенок, ложись на скамью!

Очень хотелось Власову сына-тупицу всласть постегать — жена не давала. Только он за ремень — «ах!», на диванчик, отпаивать надо. Хоть на этом щенке отведет замлевшую руку.

Никите тоже не вредно взглянуть.

— Вот так и тебя подобает!

Сложил ремешок и пошел. Считал с замедлением, до двадцати насчитал, устал. Никита — истый теленок, глаза из оптической лавки — стоит и в рукав гогочет: «Гы-гы». А сам Николай не пикнул. Обрядно чмокнув запотевшую руку, взял восемнадцать рублей и ушел.

Не было злобы — только недоумение. Пожалуй, жалость. Какая должна быть крысиная скука, чтобы в мире, где числа, где башни, где каждой гайки трамвая обдуман гуд и пролет, чтобы в мире, где грозы, над грозами звезды, чтобы в мире, в огромном мире, сидеть на Полянке, за ватою окон, в квартире густо надышанной, с фикусом, с пуфом, с пудовым золотом риз, с толстым теленком Никитой и часами пыльной душой оседать на этот вот фикус, на пуф, сладко, как будто желудком, мечтая: «Эх, хоть кого-нибудь выпороть!..»

Так Николай судил. Не ненависть к аду его подмывала, но четкий, продуманный рай. Он лестницу быта — чванливых, не люди, а сало в жилете, подвижников в ризах высокой пробы, философов постных и все оправдания, от послеобеденных «что же есть истина?» до пьяной отрыжки мордобойного околодочного — не

мог ненавидеть, только жалел. Знал, скоро окрепнут руки, он выплеснет стылый и сальный навар, пойдет на работу — корчевать жизнь. Какая здесь злоба — просто гнилушки, расти мешают. Москва — один беспорядок, придется ломать, хотя ломать он не любит, придется: нужен для стройки пустырь.

Читал он, как прежде, том в присест. Буквы сменили суровые мысли — чем чище, голее, тем ему ближе. От мысли ждал мысли, от солнца — теплыни, от жесткой подушки — сна. Читатель Спинозы, он любил бильярдное поле, любил беззлобно громыхать, любил на катке лихие спирали «снегурочкой» очертить свистя. Был он прост как идол,— едва обтесали, вот шея, вот ноги, вот пуп, и нет ни ресниц, ни морщинок, ни междудольных чувств, ни крохотных росчерков грез.

Прочел «Идиота» — долго смеялся, как будто смешной анекдот. Есть мука от жизни, ее ведь он знает, но мука для муки — чудят чудаки!

Иные слова его веселили: «святыня», «творец», «вдохновение»; он, повторяя их долго, по-детски смеялся. А после бежал к микроскопу и жадно взирал на миры. Под глазом как будто двери трещали. В каждой бактерии — знак бесконечности — билась восьмерка. Или с готовальней. Чертил. Число обличалось, росло. Теоремы ясностью жгли детские щеки, и был он не гностик, не каббалист — влюбленный.

Другие вздыхают: «Прекрасная Дама», туманы, и где-то в легчайшем эфире трепещет вырез нечаянный шеи. Была ему дамой машина, и нежно шептал он: «Динамо...»

Любил вечерами читать Пушкина, завывая и качаясь. Раскрывал наугад — все равно, где начало и где конец. Образы — мимо, не их он любил. Мимо слова — ну, «Парни» или «гранит», «ножки» или «площадь»,— одно он любил: как шествует время, как мчится копытчатый ритм. Из слова в слово, не падет, не изменится, и слово-камень, и слово-цемент, и четыре угла текучей пирамиды.

Потом жевал сухой бублик и, просыпаясь утром, пугая хозяйку, вопил: «О! О!» — от солнца, от зайчика на стенке, от своих пятнадцати лет.

Вот и шестнадцать. Потянулся. Силу почуял. Теперь не страшно. Больше не будет мокрой ручищи Власова!

Егорьев-ворчун для проформы слегка поворчал:

— История — свиток. Героизм. Программа округа. Необходимо придерживаться...

Но мигом устроил. Николай — репетитор. Обойная фабрика Глубокова. И сразу (куцая куртка, на локтях треугольники), едва вошел, пряча красные пальцы за спину, глаза кольнули бра и брызги бриллиантов с атласных животов, дух захватило от душных духов, а кругом, а в нем на хрусталиках люстра, в неподвижных и тусклых зрачках, по жердочке прыгало чье-то сопрано. Вновь рокот. Хозяйка (глаза фламандской коровы, будто жует сверхурочную жвачку), влача горделиво свой шуршащий хвост, Николаю сердечно кивнула коровьими глазами — шеей короткой без крайней нужды она не любила двигать.

— Ах, вы — воспитатель Бори! Он не мальчик, а чудо. Надо только понять его душу!..

И муж, по дороге к закуске:

— Очень приятно. Я сам не чужд... идеи Песталоцци, Монтессори... А в общем, я враг систем...

Соседу:

— Колоратура-то какая... Милости прошу!.. Депре доставил мне, оказия: «Шато де Руа».

Вот молодежь Глубоковы: дочь — поэтесса, не Мария — Мариетта, сын — студент Олег, философы, художники, писатели и просто кудреватые, мечтательные снобы, живущие среди вернисажей, рифм, только что открытых религий, цыганок из Тамбова и купчих, склонных к сатанинским мессам (как у Гюисманса).

Мариетта прекрасна — высокий лоб, очень точный овал и на тонкой, с просинью, шее детская нитка жемчужин. Поклонники часто спорили, один говорил: «Нечто византийское, напоминает Равенну», другой — «Камея Ренессанса», третий — «Этрусская ваза» и много еще раскопок, стилей, стильных суждений — поклонников много. Сейчас — она в профиль, закинув головку (с Глазовым — в профиль, Глазов сказал про этрусскую вазу), читает сонет Малларме. Послушайте «н» носовое, и в «ннн», как в туманах, прореет случайно понятное слово: «безмолвие», «лилия», «лебедь». А Глазов взволнован, забивает слюной янтарный мундштук и смотрит,— ну, правда, не профиль — пониже, где скромно гаснет жемчужный закат, на тонкую шею, так разом и впился бы, куснул бы, чтобы знала, не ваза, не «ннн», а вот просто! Он хочет! Но все здесь пристойно, и он лишь в брючном кармане коробку спичек ломает

от злобы. А Мариетта, расширив глаза и повернувшись анфас (подошел скрипач Коловен, автор «Равенны»), читает уже пятый сонет, и «лебедь», задевши «лилию», может быть, станет «безмолвием».

Зато вокруг Олега крутит пурга. Сам он — порыв, вздыблен волос неуемный хохол, шея поспешно раскрыта, и живчик бьется, как добрый скакун. Другие за ним: вот сейчас поскачут, догонят и мир, и Христа, и последнюю истину. В нетерпении дрожат боевые космы, пальцы, цепляясь, хватают обрывки фраз, в блюдца с вареньем суют папиросы, и бас застилает:

— Про это еще писал Соловьев.

— Любовь, чистую любовь, любовь как таковую...

— Штейнер сказал: «Познание — тайна...»

— Добро — категория...

— Добро — par exellence...[1]

— Бердяев выступил против...

— Буддизм...

— Нет, вы мне ответьте, в чем дух христианства?..

Но, взмылясь донельзя, устали:

— Пойдемте к дамам!..

У каждого шейка одна на примете. Немного волнения, а ночью другие, без этих сонетов, без этих психологий, без драм и без мам.

Курбов все прячет руки за спину. Кто-то заметил:

— Кто это, Мариетта Дмитриевна?..

— Ах, это... не обращайте внимания... так, репетитор Бори.

Корова же из Фландрии, жвачку свою дожевав, всласть посплетничав: жена Королькова открыто взяла у Гольдштейна колье, а Домский-доктор с женой не живет, ему стелят всегда в кабинете, откуда же ребенок? — и, выяснив это, оброк отработав, внутренним светом вся озарилась — ангел, хоть немного массивный, но ангел. Взглядом лениво влачась по гудящему залу, в углу, за пальмами в кадке, наткнулась на Курбова. Благость излила, приказала горничной — вафле, нежнейшей гофретке:

— Матильда, дайте тому, в углу, чаю и закуску, только попроще — кусочек селедки.

Курбов, отвесив дубовый поклон Матильде, чай выпил, селедку съел. Уж люстры глаз не кололи, при-

---

[1] Преимущественно *(фр.)*.

выкли глаза, и весь обтерпелся. Скучно только. В пальму уткнувшись, зевнул.

Вдруг все замолкли, без сговору, но сразу. Как будто в кино испортилась машина или тот, кто вертит ленточку, забастовал, окаменели ноги, близ люстры повисли вместе, без ниточек Песталоцци и колье, добро и Гирландайо. Тут явственно почуял Курбов, что скучно, очень скучно было всем, что надо много сил, чтобы каждый вечер таскать меж чашек, арий из «Лакме» все эти фракции, субстанции и холостой диван обманутого мужа. Почуял, понял, пожалел.

Кто-то первый стыдливо скрипнул стулом. Встал. И облегченно потянулись другие, погружаясь, как в объятия, в бобровые, енотовые, лисьи, тяжко зевая в мягкие воротники.

Курбову сказали, что жить он будет во флигеле, направо от конторы, возле казарм. Желтый, морозный туман. Ошибся дверью.

Рабочие в тулупах, матерно ругаясь,— не по случаю, а просто: творчество, стихия,— облили крысу керосином. Подожгли. Был ясен крысиный писк. Пламя тоже пискнуло, свистнуло, метнулось по промерзшим сеням и, надымив как факел, изошло. Еще, слабея, изругнулись. Старикан вытащил из-под тулупа последний шкалик, ударил ладонью донышко и быстро выхлестнул в себя огонь. Потом все смолкло. Скучно, очень скучно! Завтра праздник. На сегодня хватит.

Придя же в комнату, безмерно длинную и узкую, похожую на коридор, Николай вытащил из узелка большую книгу. Сел, раскрыл: «Работы Лобачева»...

Читать не мог. Бежала в залу огненная крыса, все горело смрадным, удушающим огнем. Казалось, Мариетта пикнула, а может, даже пикнуть не успела.

Курбов встал, прошелся, усмехнулся:

— К черту! Все переделать! Заново!

5

Всех опознал Николай. Блюдя иерархию — сначала о папаше. Либерал, каких мало, не либерал — радикал. С приятелем, пятую закусывая балычком, ругался:

— Страна рабов! Кадеты трусы! Нет у нас Мирабо!

При этом даже жевал независимо. Письмо Толстого, такое, что прямо в Якутку, не убоялся вслух жене

прочитать. Среди грязной Москвы, на фабрике, где портки и портянки, где в субботу парни, слизнув получку, ломают еще недоломанный нос плотника Глеба или сучек травят, где вместо неба — дым, зима, над дымом и зимою — «мать!» — среди этакой Азии он оставался европейцем, грызущим сигару над тридцатью страницами «Morning Post». Он ногу на ногу клал, не просто, выявляя особенный смысл — свободу, однако корректность. И, ногу увидев, было легко его спутать с любым радикалом, с Комбом или с Бриáном. Хотя любил он смирновку, но даже ее просвещал, вливая каплю пикона.

Да, Николай свободу мог оценить вполне! На фабрике вскоре, к весне, началось баламутство. Платили поденно семь гривен, не европейцы,— зачем им? — запросов духовных нет. Жадность и глупость! Как овцы пошли. Верно, какой-нибудь мальчишка подбил. Смеют такие себя называть «социалистами»! Социалисты — Европа, они в парламенте — вот где! — сидят, а не шляются тайком по грязным задворкам, смущая этих неграмотных хамов. И что же! Рабочие (мало Глубоков о них заботился, открыл приемный покой, о яслях мечтал!) за мальчишкой пошли.

Три бородатых явились. «Депутаты», а если по сердцу — «вопче» и «чаво»... Статисты из пьесы «Царь Федор» в Художественном... Набавить пятиалтынный, еще какая-то дерзость и под конец — хозяйское мыло. Глубоков возмутился: на Западе требуют свободы совести, а у нас — хозяйское мыло! И, увидав, что двое ушли, а третий, старый, еще мнет томительно картуз, не выдержал, гаркнул:

— Всем паспорта!

Не хотели брать:

— До Петрова дня не уйдем.

Вызвал по телефону пристава:

— Очень прошу — наряд. Вручите паспорта. Хорошо бы изъять смутьянов. Да, да, я заготовлю список.

За вечерним чаем жаловался адвокату Беспятову:

— В Европе — союзы, депутаты запросы вносят, а ко мне пришли, встали и стали вычесывать из бороды насекомых...

Пристав к утру успокоил. И снова плавной рекой потекли из машин для гостиных достойных голубые и лиловые обои.

О супруге Софье Сергеевне все было сказано сразу. В первый же вечер Николай опознал ее породу. Даль-

ше детали: стойла благотворительный мык, плюшевое манто, в полночь шпыняет горничных за угарный самовар, постом говела, постилась. (Глубоков, клерикалов мимоходом лягнув, осетрину под каперсовым соусом весьма одобрил.) Николая просто она презирала, но воспитателю Бори совала двойной кусок кулебяки: поест — и добрее станет, сердечней. При гостях за общий стол не сажала: обидеться могут, все-таки он вроде прислуги, но ужин отсылала в комнату.

Сложнее с молодыми. Олег был широкой натурой — кроме святой Софии любил другие вещи, попроще. Часто каялся, но знал и утешение: добродетель — гордыня, познать грехи — смириться. Познавал усердно (как на крышке холостых портсигаров — головка красотки, бутылка в ведерке и конская морда). Сегодня на Джека в двойном, на Ю-Ю в ординаре, выдавали по двести десять. Этика скучное дело, вздор лютеранства — выше, где нечто, Подруга-Дама-Мудрость. Николая Олег считал чем-то низменным, но по любви безмерной (как подобает члену содружества «Свет с Востока») все же порой замечал:

— Ну, что вы скажете с вашим марксизмом!.. Плотская радость? Я ее не понимаю. Есть дух, в начальном бреду Майя, потом вознесение духа, астральный мир внизу, Будхе. Эх, разве вы поймете совершенство!

И от ужаса, что Николай не поймет, но только своей усмешкой осквернит вознесение, Олег Дмитриевич, быстро накинув шинель, мчался к Нюрочке Лапиной, потопив легкую плоть среди пены простынь, с ней взнестись до самого Будхе.

До Нюры, когда Николай поступил, была другая — Леля Долина.

Канитель от нее пошла. Вместо духовных прозрений какая-то чуйка на черном каждое утро торкалась. Девственность — цветок, время опасть, ну, смерть, но не бакалейный басок: «Вы, сударь, дите растлили...»

Беда — Глубоков-отец, несмотря на свои Европы, был скуп. Олег получал сто рублей в месяц — два заезда на бегах, один ужин в «Мавритании», членский взнос в «Свет с Востока» — и все.

Чуйке надо было бы вместо излияний о слиянии — радужную. Но papá не хотел понять:

— Должен сам на себя пенять — это каждый европеец знает: одно дело певички, другое — честные девушки.

Леля была дочкой лавочника Тихонравова в Трехсвятительском. Кончив гимназию, презрела селедочный дух и огурцы в кадках — есть где-то поэты, прядь на лбу, и глаза в глаза, без нолей капитала, домов, чинов, без свадебных скучных кадрилей, без матушки, без присказки («Будешь штопать его носки») — просто: были, любили, любя, пребыли до гроба.

Конечно, встретив Олега в Крещенье на катке Чистопрудном, Леля сразу все поняла: дома ждут селедки, «Я вам, как Изиде!.. Это ведь не мое тело, но смутный дух Осириса!..». Пойду... пойду... Ну разве такой обидит?..

Было не больно — страшно. В парижских номерах — папаша! Олег уснул. Проснулся месяц, мот и фертик, кинул в окошко чистенькое серебро, потом серебро растеклось, стал пруд, и в холодном пруду плавал, томительно раскрыв селедочный рот, Феофан Степаныч Тихонравов.

Затем — расставание. Олега с минуту помутило. Но вышел, вздохнул, вдохнул глубокое утро и все позабыл. А Леля у двери, в одной рубашке,— не могла вздохнуть, ноги клеились к мерзлому полу, прилечь бы. Еще ничего не соображала, но глубоко в недрах утробы жалость явственно екала. Дальше — страх: заметят! заметят!

Узнали, кричали, папаша ломал прилавок, косу пятерней зачерпнул. Разнюхав адрес, пошел проучить Олега. Однако, узрев ливрею лакея, осекся и на черном тихонько бубнил: «Дозвольте! по важному делу...»

Олег иногда выходил, лакея за собой волоча. Папаша снова:

— Покройте!

А Олег вслух:

— Это был фатум, рок.

Про себя: «Где б раздобыть сотню-другую? Две радужных покроют и дочь и папашу».

Леля слегла. Родила. Сосед из посудной сказал: «Тихонравовы нравы», и дочке своей: «Смотри, туда не ходи». В крайней ярости Тихонравов пришел к Олегу. Понял: на этот раз не уйдет. Кинулся к Курбову, хотя и знал — не поймет Дионисова духа, все подробно изложил:

— Вот набираю сотню. Мариетта дала тридцать рублей, осталось от платья, у меня есть двенадцать, у maman взял десять...

Николай вынул все, что было — сорок и мелочь,— дал с омерзением. Олег вложил кредитки в конверт и вышел с лакеем на кухню.

Час спустя Николай, двор проходя, увидел: на приступке сидел Тихонравов, теребя изящный конверт. Всхлипывал.

— Что же, болван, в счета занеси: сколько за керосин, сколько за мед, а вот это за дочку, за свое дите родное!..

Стало Курбову жалко его до колик в боку, до одышки. Хотелось купца, как старого пса, пригнуть к себе, потрепать его бороду, пропахшую селедкой, отогреть пальцы, затвердевшие на костяшках счетов, древнее бакалейное сердце обдуть, но не мог, только в морозную твердую ночь кинул:

— Скорей бы снести эту мерзость!

Мариетта, брату прощая все (в нем бродит еще неоформленный гений), Лелю, напротив, презрела:

— Бывают же такие грязные женщины! Мне достаточно, если скульптор Пульков говорит, что у меня готические бедра. Это торжество линии. А рожать детей, к тому же незаконных, грубая физиология.

И, порадовавшись своей чистоте, вспомнив, как Глазов бессильный дышит ей в шею, улыбнулась — надолго (улыбка ей шла).

Николаю же строго сказала:

— Вы можете сколько угодно читать свои книжки, природы не скроешь, сейчас же видно — плебей. Вы даже не умеете нож держать...

Впрочем, с Николаем Мариетта редко говорила — была занята выбором мужа. Страсть для низких душ, например для лавочниц. У нее — поэзия. Муж нужен: положение, поездки на Ривьеру, журфиксы и чтобы хороший цвет лица, не как у старых дев. Прыщин, Пульков, даже Глазов быстро отпали — как-никак, а стихи не текущий счет. Выплыл Кадык, урод, если угодно. Но, во-первых, есть красота и в уродстве (стиль Бодлера), потом виллы в Ницце, потом для эстетических эмоций остается Глазов. Итак, Кадык. Николай, увидав его (бельмо, пук пакли в ноздрях кровавых), вежливо поздравил Мариетту.

Не легче было Николаю со своим воспитанником Борей. Не мальчик — фабрикант в потенции, личинка либерала — заранее начертан и обдуман. Вот только брюки вырастут, с колен дойдут до каблуков и голос

затвердеет, а прочее уже в порядке: десятый год, но, право, академик. Таблицу умножения вызубрить нетрудно, Боря знает существо существ: есть некое добро — увидев гостя, шаркнуть ножкой и руку тетушки Елены вежливо лизнуть; грехи — на стол поставить локоть, на Кадыка болонку Эмми натравить. С Павлушей, сыном счетовода, не то чтобы играть, но и говорить нельзя: он низший, подчиненный. Быть мальчиком ужасно скучно, надо стараться скорее вырасти, как папа,— ждут к столу, но он рассеянно:

— Я занят...

И, запахнувши полсть, кучеру Гавриле:

— В клуб!

Ах, этот клуб! Что значит «клуб», он не знает толком, но, очевидно, рай, где черные, вороньи фраки, ордена, где все пускают клубы дыма в люстры, блистающие, как шары на клумбе, где зелено сукно, и на зеленом лугу крупными клубниками краснеют черви (папа выбирает черви), где зеркала, а в зеркалах большие дамы с птичьими перьями, вино и мармелад (Боря слышал — папа говорил Беспятову, что он клубничку любит, Боря любит больше мармелад).

Какой же клуб на самом деле?

Одно он знает: Павлушу никогда туда не пустят, святыни клубные не для таких Павлуш, а он... он скоро закричит Гавриле: «В клуб!» И мама подтвердила: надо только вырасти. Конечно, это трудно: есть две преграды — аттестат зрелости и зуб мудрости. Но все же прорастет проклятый зуб, и сразу все швейцары дрогнут — с зубом в клуб! Боря знает — с ним не должны равняться ни Федя, ни кузены Миша, Гриша, Вася. Мама говорила: все идет от папы, у него есть что-то — «акции». Таинственное слово — как будто дерево (акация), на нем растут конфеты от Сиу (чтобы были щипчики и ананас), большущий орден, боа из горностая Мариетте, Олегу для лошадок сахар, Боре марки редкие (Венесуэла, Чили), среди билетов на балет, среди третьих блюд — желе и кремов,— гнездо из золота — клуб.

Так Боря в десять лет не ведал детства. Груды дорогих игрушек, ни игр, ни смеха. Перед папой церемонный вздох, тихонько в сторону зевочек, а в детской, после снов об акциях, чудовищная мысль, не шалость, а пакость со скуки: сестре в парчовый томик Малларме вложить хвост селедки для аромата, про-

красться в комнату старушки гувернантки из Лозанны, m-lle Мари, и выцветший портрет жениха, упавшего с горы ровно за день до свадьбы, тщательно замазать чернилами, зад болонки Эмми бензином оросить, чтобы она, визжа, каталась по коврам, и все тихонько, осторожно: может быть, прислуга занесла посуду с селедкой или разлила чернила, может быть, Эмми, прыгая, сама разбила склянку, может быть... И мама, зная церемонные поклоны Бори, говорила:

— Не он! Ах, этот мальчик — ангел!..

Николай — он сам еще полуребенком был — детей любил до крайности, но с Борей он терялся: на тонкой шее явственно обозначалась власовская морда. Казалось, мальчишка пробасит сейчас: «Ложись-ка на скамью». Боря учителя не только презирал, но ненавидел: со дня его прихода встала цель — замучить, истребить.

Ведь Николай, бесспорно, низший, вроде кучера Гаврилы, его гостям не представляют, к Пасхе мама выслала ему, как дворнику, отрез на брюки и рубаху, живет по милости, и вот такой смеет задавать Боре уроки! За это надо мстить, и беспощадно. Дерзил.

— Эй вы, ученый дворник!

Николай не поддавался, был всегда ровен, тих.

Ходил к отцу:

— Ах, папа, право, я не знаю... Мне Николай Ильич сказал — когда придет тетушка Елена, не целовать ей ручку, а в сторонку сплюнуть.

Как будто верили. Глубоков громыхал:

— Вы мальчика к экзаменам готовьте. О принципах своих вас никто не просит распространяться. Хоть я и либерал — не потерплю...

А Боря, торжествуя, продолжал: жег книги Николая, перекручивал часы, нашептывал сестре, что Николай подсматривает в щелку, когда у Мариетты вечером засидится жених, словом, работал и не унывал.

Николай, собрав трехмесячное жалованье, купил себе хороший микроскоп и в первый день не удержался — разглядывая рой инфузорий, закричал:

— Как хорошо! Боря, посмотрите!..

Взглянул. А вечером, когда учитель пошел к товарищу за книгой, затаив дыхание от радости и страха, снес микроскоп во двор и быстро в клумбу закопал. Вернувшись, Николай окинул взглядом стол, все сразу понял, хотел спросить, но не спросил. Он знал: есть дети, много, без акций, без капель для аппетита, без

замшевых гетр, там, во дворе, где мастер паял кастрюли, в тысячах дворов — им жизни нет. А этот... И без злобы, от необходимости одной подумал: змеиное яйцо ведь разбивают, вырастет гадюка, всех пережалит. Кто «жалость» говорит — обманщик, не знает жалости. Я жалею. И убью.

6

Так время шло, но, кроме книг, корней, таблиц, была еще одна большая радость. В пустыне акций и Софий, в пустыне книг (слова — пески) людей обрел, простых, почти пещерных. Не в стихах, не в исчислениях, здесь, рядом, в казармах, где застилали лица капустный дух, портяночная твердь и матерная брань, прореяли пред ним впервые отражения далеких звезд, подсмотренных в каморке. Ну разве может жить без человека человек? Пусть брань и храп, вповалку темный сон на нарах, пусть крыса, выбитая втулка, скула развороченная, пудовая, надышанная тишина, среди которой грустно хрустнет хвост селедки, губы, будто крылья, проплещут «Отче наш», а их поддержит колокольный зык икоты... Но после зал глубоковских, входя в казармы, Николай как будто просыпался. Он, кроме пота и махорки, ясно слышал горелый запах горя и тоски, такой тоски, что могут разом зевнуть, уснуть навеки, а могут, выдув из козьей ножки искру, и сон, и дом, и целый мир, как крысу, подожечь.

Особенно с двумя сдружился Николай. Старик из упаковочной, Сергеич. Лицо в провалах и в ухабах, разъятое лицо. Бывало, увидит: мальчик лепит бабу снеговую, не лепится, чуть вышло — упадет, два глаза-угольки в сугробах тонут. Увидит, ласково посмеется, и рытвины на щеках так жалостно разъедутся, проглотят все, что вспоминает Николай другие — тиковый матрац.

Сергеич порою, выпив сотку, раскрывался. Прежде крестьянствовал, конечно, он — самарский. В голодный всего лишился. Побирались. Пашеньку и Глашу — погодки — вынес на плечах. Когда пришел в Самару — уже кончались. А от домов — ведром: зараза. В окнах столько снеди — никто не подает! Тогда с ним и случилось. Зашел в Успенский — помолиться. Дивный образ: каменья, золото, богаческий оклад. Вот тут глаза рас-

крылись блюдцами, голос стал чужой и зычный, не крестьянский, дьяконов распев. Не выдержал и прямо подступил:

— Просыпься!

Ждал, долго ждал — зерна и жалости. А после, изловчась, на золото плюнул — «щербатовский», «графьев», и ничего не стало...

Рот с того дня промерз, весь ледяной. Только в праздник — сотку да мальчику, что бабу лепит:

— Дуралей, ты хворостинку вставь!..

Николай на нежности Сергеича, на этой виноватой улыбке, среди рождественской ватной бороды, на этом «просыпься!» учился воле ясной и сухой — до треска. Ответит старику:

— Чего там... милый!..

А сам уже кует огромный циркуль — разметить и начать.

Другой — механик Тагин — вправду был другим. Не больше тридцати и холост. Сам управляющий его ценил, часто советовался: «американец наш». И может, если б был американцем, еще б один Карнеги удивлял мир рассказом, выдыханным вместе с серным облаком «гаваны», как мальчик — чистильщик сапог и самоучка изобрел особую систему, вошел в доверие, после приобрел завод и, наконец, теперь пятнадцать голых негритянок по целым дням на бедрах крутят для него сигарные листы отборных ароматов. Но Тагин был из подмосковных — дальше механика не пошел, курил лишь папиросы третий сорт. Зато добрел до многих выкладок и выдумок, которые Карнеги и не снились. Одно он знал — пытать, и, кажется, порой готов был усомниться в своем носу. Пощупает — уж правда ли нос и верно ли кверху любопытно задран, обследуя темный небосвод? Так, с виду белобрыс, мастеровой, и все тут,— таких под праздник на гуляньях табуны: гармошка, тонет солнце в пухе галантных слов, подсолнечной трухи и дружной ругани (в рифму), но это видимость, а остальное чудо. Тагин, вступивши в мир, а было это в Богородске, в рабочей, темной и тупой семье, каморку с треугольным, вдоль и поперек заклеенным стеклом, немедля превратил в эдем.

Есть мудрость вековая — календарь и святцы, закон Христов и мировой судья, столпы державные: «Не обманешь — не продашь», «Тише едешь — дальше будешь», «На Бога надейся, а сам не плошай» и много

других. Хотя учили (три молочных да два хороших костяных изъяли наукой), мудрости не понял, презрел. На все: «А отчего?», и были эти «отчего?», и «почему?», и «полно, так ли?» большими стенобитными машинами.

В белесой голове — верховный трибунал и канцелярия Саваофа. Примерно так обдумывали мир.

Ремонт серьезный — от святителей до нужников, — вот люди даже пакостить не умеют. Тагин во все входил. Войдя же, приглядевшись (четверть века), не вздумал, как Сергеич, от золота каких-то сантиментов ждать (не сталь, металл никчемный!), нет, дойдя до двоеточия, стал у приятелей, в депо, в воскресной школе и даже в пивной Калинкина искать «такого человечка». Какого, в точности не знал, но слышал — ходят, приписывают и листки дают. А как-то в воскресенье пошел, не думая о многом, просто взнеся сапоги до каретной черноты, на Воробьевы горы — пара майского вобрать. Вокруг палаток бабки дребезжали:

— Чайку! Чайку! Пожалте к нам!

В беседках, густо потея, нагибали чайники, кто честный с чаем, кто обманный с «казенным», и, наловчась, подхватывали однозубой вилкой кубик колбасы, столь ароматный, что спасала лишь пролезшая в беседку, ободранная, юркая сирень. Тагин спустился к реке. Вдруг видит, на лужайке некие сгрудились, а посередине маленький, очкастый, все говорит и говорит. Слова хотя невнятные, но круглые — не подцепишь, как кинет шар — все кегли разом лягут.

Тагин подсел как будто невзначай. Послушал. Кто-то, тоже, видно, энергичный, хотел вскарабкаться наверх и показать всем: «Личность». Дудки! В амбицию: «Рабочий — это класс. Идеалисты — кто такие? Дурачье». Очкастый встал, по травке топнул, рявкнул:

— А вы читали «Анти-Дюринг»?

Тагин больше не слушал. Глядел блаженно на потные очки, на круглый рот (в нем языкастый обтачивал ужасные слова), на двадцать огорошенных голов, кивавших в лад словам и ветру. Глядел и думал: «Вот я и нашел такого человека».

Засим пошло все очень быстро: идейная бородка Игоря-пропагандиста, кружок, а там, к зиме, земля обетованная — районный комитет.

Встречая Николая, Тагин вначале был конспиративен и на вопрос наивный: «Что же делать?» — отвечал насмешливо:

— Поступайте в общество попечения о народной трезвости.

Но, приглядевшись тщательно, одобрил и безо всяких околесиц прямо ошарашил:

— Вот вы толковый человек, а почему не в партии?

И также сразу Николай все понял: книги прочитаны, отчеркнуты, конспект готов — пора писать не на бумаге, а на рыхлом теле глубоковых, власовых и прочих.

— Вас свяжет здесь один зубастый большевик...

Дня три спустя Николай во тьме перебирал затоны площадок, выискивая тщетно квартиру 46. Наконец нашел... «Массаж лица. Мадам Цилипкис». Благоговейно замер. Прошмыгнула рыжая Цилипкис, попахла на лету брокаровской сиренью и голым локтем приоткрыла дверь. Там верещали: хроменький студент-технолог, рябой угрюмый дядя, девица очень тощая, на долгих заседаниях явно утратившая пол, еще какие-то. Дым — тверд.

— Я требую еще профессионала...

Поспешно Николай без нужды, трижды всем, а особенно рябому дяде, шепнул пароль:

— Каплун!

Девица нервно стукнула изгрызенным карандашом: молоденький, не знает конспираций, так прямо и «Каплун», сразу видно, не работал.

— А ваше имя?

— Курбов Николай (по-гимназически, как вызывали).

Та даже карандашик обломала: при всех «Каплун», фамилия, вот-вот покажет паспорт. И очень неохотно:

— Хорошо, вы будете таскать литературу.

«Товарищ Николай». Нет Курбова — остался на площадке, перед вывеской «Массаж лица». Еще не все преграды. Какой-то желтый (будто съел лимон):

— Программу знаете?

Ужасно! Перст к небу:

— «Развитие обмена установило такую тесную связь...»

Нет больше слов, но гуд и шорох чудных губ. Раскачанное новой судьбой, сердце бьет башенный бой. Уже в тумане: воззвания, тезисы, отнести к Гужону, к печатникам, в союз. Комната Цилипкис, карточки: бебе с барашком и усач — хоть безусловно фельдшер, но Аполлон, «Какой простор» — открытка и гонг

сердца. Так нисходили в катакомбы, эти грязные листки на гектографе с лиловыми тисками пальцев — каменные рыба, крест, яйцо.

Свершилось! Чтобы мир понять — его огородили: порог и дверь. Николай вошел в собор, где плиты, арки, купол. Не знал, не слушал, одно: «Партия!»

Жизнь впала в быструю, глухую реку — мускульная дрожь и сердце — целостный кремень, еще не давший искры, и пухлых губ нецелованных жар — все ей, огромной, непостижной, где надо знать программу назубок, где надо на каторгу, и не невеста — подкандальник, где Николай один из тысяч; жизнь большая, потная, мохнатая — в стене простой кирпич.

Шел домой, к врагу, в глубоковское логово — заложник. За пазухой две бомбы: сверток прокламаций, чуть шуршащих, чтобы даже Сергеич знал — все дело в капитале, это одна, а под листками вторая, страшнее первой,— готовое сейчас же взорваться сердце. А поглядеть — идет как будто с первого свидания: гимназистку провожал и «Физику» Краевича в ремне сжимает от страсти. Идет и шепчет нежное, большое имя, оно встает дымком в морозных синих сумерках — легчайший птенец,— не «Лена» или «Вера» — грозное, глухое: «Партия».

7

У Олега вместо Нюры — Земфира (конечно, в святцах нет, там ситцевое имя Зинаида, Земфира — псевдоним). Не писательница, но живет в самой литературе. Что Нюра — «миленький» и, словом, дура. Земфира — в широкой юбке cloche (колокол) и всех корифеев: символистов, акмеистов, футуристов — зовет по отчеству. Другие: подглядеть бы в щелку, какой он в жизни, Земфира ж запросто: «Ах! Аристарх Иванович!» И колокол встречает звоном: озорника мордастого — боевым, хихикающего старичка — малиновым (декабрьская Пасха), а чопорного — сюртук наглухо, басит высокие понятия, все в рифму, такого — великопостным, глухим, но обещающим услады. Для бедного Олега Земфира — мир.

Сегодня впервые снизошла. Вечером — тройка и цыгане, чтобы было строго поэтично. Олег и сам понимает: человек — не скот. Это скоту на солнце фыр-

кать, и только; кобель без духа, без души, с одним дыханьем-сапом, повоет, вырвет клок шерсти у соперника, оседлает суку и после ляжет, отдышавшись, подставив солнцу живот. Точка. Олег же человек, Земфира даже больше, несмотря на cloche — почти понятие без рифмы, миф. Но тройка, шампанское и прочее — до сорока, чаевые... Что делать? Олег растерян: цыгане — это стихия, и вдруг... чаевые. А papá ограниченный, кабинетный крот. Европа! Ни взмаха, ничего, какой-то клуб. Ну, разве мог бы клубом вдохновиться Аполлон Григорьев?..

К нему не пробует. Вот разве maman?

Как всегда лениво жевала жвачку. Выслушала сына, взглянула привязчиво и меланхолично. Казалось, сейчас нагнется и оближет. Нет, только задушевно промычала:

— М-мы не м-можем, м-мало средств.

Потом, порывшись в ридикюле, набрала мелочью два рубля.

— Молю тебя — не ешь рубленого в ресторанах. Всегда из остатков, а у тебя желудок мой — впечатлительный и нежный, чуть что...

А что «чуть что», не дослушал. Кашлянув от злобы, вышел в коридор — рыцарь на распутье. Четыре двери — куда? У Мариетты нет. Отец не даст. Экономке должен восемнадцать и еще четыре — ровно двадцать два,— не подойти. Что же, опять к марксистскому ублюдку? Позор такой? Не может! Кабинет отца, к телефону — сказать Земфире: заболел. Конец цыганам, конец мечте. Вот скажет: «Болен». Переспросит: «Ничего опасного?», и в горле полыхнет: опасно! очень! может быть, смертельно! Ведь там же колокольца тройки, колокол Земфиры, благовест любви. Мужественно взял трубку. Станция долго не отвечала. Рассеянно стол оглядел. Огромный стол — папки, письма, обрезки обоев. Большой лист: «3% заем». Когда же раздалось из гуда океана далекое, подводное: «Станци-я», не сказал ей: «16-48», быстро лист засунул в брючный карман, покосился на окошко и прочь.

Вечером мело. В «Стрельне» подрядчик мял пятью обрубками грудь девушки и розу на проволоке — недоумелую нищарку. Изо рта любознательно выглядывал ломтик семги. Раскормленные морды пели о кибитке, о жарком сне индейского царя. Среди меню и подхалимов ухало, аукало смутное «у». И про безумную тоску, про грусть, среди устриц, грудь на грудь...

Олег, кутнув и пальцем выудив на карте «Мумм», нашел под лифом Земфиры понятную живую теплоту. Будто он, Олег,— поэт! Вдоволь опьянев, слюнявя помадные, приторные, как монпансье, щеки, видя рядом стихию: кнопки расстегнуты, простая баба, не зевай, вдруг поддался «Мумму», уснул. Со сна кричал лакею:

— Миндаль! К шампанскому всегда миндаль!..

Сдуру перепил. Лишний бокал — пропало все, уехала Земфира с каким-то критиком, Олега так и не впустили в русскую литературу.

Все это было ночью, а под вечер, часам к пяти, Николай Курбов пришел домой. Оглядевшись, тотчас же пачку прокламаций спрятал в средний ящик комода (в верхнем были книги, внизу — белье). Ящик запер. Сердце же спрятать не мог, тараном било грудь. На стекле инициалов не писал, но смутно поглядывал на дверь. Казалось, покажется «она»: число и звездный механизм развинченного, собранного, проверенного мира. Как раньше машиной гордился, ныне — партией. Машина знала Микадо, эта — всюду: бербер и кули, все — эсде. В год войны Плеханову жал руку японец, не смущаясь желтизной и Порт-Артуром. Сейчас о ней мечтает какой-нибудь бушмен: в Лондоне стачка, баррикады — «она»! «Она» — бушмен, свободно кидай уду, черный воздух пей! Глядел на дверь — «она» придет.

И точно: дверь открылась. Вошел Глубоков. Не поздоровался. Забыв про Комба — к столу, к подушке, к шкафу, вытряхивает, щупает тетрадки, старый носок, записку прачки — все выпотрошил. Николай соображает — обыск, старается прикрыть комод. К нему:

— Где ключ?

— Здесь мои письма. Нет ключа. Утерян.

И в ярости Глубоков:

— Ага! Нашел! Припер!

Его — рукою:

— Скотина! Вор!

Боря в восторге. Бенефис. За дверью не успевал дышать, только бы расслышать. Выскочил:

— Воришка! Он еще у мамы сахар крал, а вчера Мариетта оставила в передней на зеркале двугривенный почтальону, он мигом слизнул и мне обещал тянучку, чтобы я молчал.

Глубоков звонит: позвать кухонного мужика и дворника. Жене:

— Ну как не возмутиться? Ведь мы его пригрели — почти что сын... Хорошо, что я либерал,— не стану припутывать сюда полицию.

Корова, сообразив:

— А я еще его кормила! Действительно, какой нахал!

И в гневе лиловел дородный, полнокровный либерал.

Пришли глыбастые. Матвей от усердия даже рукава засучил.

— Вы, под руки и вон!..

В коридоре — Мариетта. Как всегда, грустна. На розовых губах, еще не стертый толстогубым Кадыком, последний стих сонета. Николаю брезгливо:

— Я вам дала бы сама какие-то копейки. Господи, как прекрасны крестоносцы. Мадонна и вот... простонародье...

Матвей сочувственно:

— Мазурик!

И может, сам, надеясь двугривенный от барышни заполучить, приложился увесисто к плечам Курбова. Сени. Снег.

Охватили: сверху — свет люстры, бра, серебряное бульканье рояля — Мариетта играла «буль-буль, буль-буль» — «Томление Прометея», еще — Матвея сивушная отхарканная матерщина. А снизу — снег.

Вытер рукавом лицо — ссадины. Идет к Сергеичу. На нары лег, прикрылся кусачей овчиной. Сказал Сергеичу, Сергеич пожалел.

Николай не сжимал зубов, как полагалось: со стиснутыми, кажется, родился. Заранее знал: ударят. Выговаривал, почти что с нежностью, как «брат», взволнованное слово «враг». Унизили вот так: ну что же, ну разве этот Комб с лиловой шеей виноват? Ведь он не мог иначе: враг. Когда придет «она»: районы, городские группы, сознательные члены, разметит, обозначит, приступит — такой Глубоков затрясется, ноги забудут либерализм, пойдет обои делать, словом, тогда — эдем. Одна обида — пропали прокламации. И как признаться секретарю? Если был бы сейчас листок, прочел бы Сергеичу: «Товарищи, в Думе помещики и фабриканты...»

Ну, все равно, он скажет без листка. Под овчиной закрутил. Не гнев, не пыл. Слово за словом — чертеж. Так было. Так — Сергеич знает. Есть партия. Кружки. И будет вовсе по-иному. Вот так. Ну, что же? Сергеич, а?..

Сергеич понимает. Что Николаю пухлые зачитанные книжки, ему — давно в одном: «Проснься». Сергеич знает и не верит. Ничего из этого не выйдет. Одно целение знает — не слова, не ласка, не человеческое скудное добро — одно целение: сон. И Николаю, заботливо законопатив овчиной щель:

— Поспи, касатик!

Кусается овчина, ходят на боках вши, в углу со сна рыгает Гаврюшка-возчик. Сергеич улыбается, и яма — ямой.

— Касатик...

И засыпающему Николаю мнится: мама, меж двух гостей — к сундучку, единственное, детское, забытое за годы слово: «Спатки».

После, до утра, крылатый шум: гуд пчел, огонь — пора! И с боку на бок:

— Враг!

8

Утром оказалось: кроме чисел — хлеб. Поглядел недоуменно на ватный день: и небо, и дым из труб, и заспанные лица — все вата, грязная к весне, меж рам. Пошел по переулку. Ворота. Пивной завод. Репетитором, чтобы Мариетта?.. Нет! Здесь ближе к делу.

Час спустя выстукивал порожние бутылки. «Динь-динь». Быстро всю корзину объехать. Как музыкальный клоун. Где трещина — срывается, звук жалуется: «Ах!» — такую прочь. Концерт с шести и до шести. Шестьдесят копеек, на своих харчах. Жить можно.

В семь на явку. Пароль, листки и все как надо.

Пошло. К весне пригляделся. На пивном — кружок, восемь человек. Он организатор. В районе — секретарь, товарищ Надя. Курсистка. Влюблена в пропагандиста Глеба. Разумеется, идейная любовь. Но только Глеб, рассказывая грудастой Варе, в какой печальный эмпириокритицизм ударились иные из верхов, вместо точки рукой на миг — к груди; товарищ Надя, забывая свои обязанности, роняет блокнот, адрес путает, немедленно выбывает из строя. Сам Глеб — мужчина как мужчина: мог бы быть агрономом, публицистом, агентом «Саламандры», кадетом, просто дядей Глебом, стал эсдеком — профессия. Почти служил. Исправно разъяснял и вовремя готовился; ни Надя, ни Варя не

отражались на конспектах. А зачем и как — не думал, так уже вышло, каждому свое.

Еще товарищ Тимофей — дискуссия. Если разложить на составные элементы три: чахотка, пенсне и, в упоении, брызги слюны, жестокий водомет. Враги природные его не занимали. Царь? Всякий знает, царь — зло. (Всякий, то есть два десятка приятелей, посетители столовки на Малой Бронной и прочая периферия.) Кадеты — тоже ясно, даже дураку. Враги — меньшевики. При этом слове Тимофей яростно кашлял, так что пенсне галопом пролетало ввысь, и взрыв слюны. Готов был ночью, на морозе, засыпая, со сна и даже во сне начать дискуссию; так и снились толстые методологические ошибки, выводок хромой — неправильные выводы, юркие мальчишки: подвохи, остроты, «на слове поймал».

Как-то перед съездом (тогда еще «объединенная» жила) мандаты набирали. Последнюю труху: там три наборщика, здесь завалялись булочники, еще какие-то сомнительные шляпочницы. К Николаю — на пивной. Явились меньшевичка Елена и Тимофей. Куда ей! Рохля! Пока раскрыла рот, уж Тимофей ее разоблачил. Муниципализация и прочее, а попросту, для неразличающих различий — ревизионизм. Пенсне — высоко. Рабочие: «Так ее! Ишь норовит, чтобы нашему брату меньше!..» И Митюшок, особенно ортодоксальный, вкусно вспомнил «мать». Рохля чуть покраснела, розовой ушла. Носа больше не покажет. Еще набрали восемь голосов.

Все это видел Николай. И часто, пересчитав бутылки, лежа в каморке, был готов отчаяться. Подходило — вот после тысячи бутылок достучался, одна надтреснута, дребезжит: «Оставь!» Видел: Надя, Варя, много — скопом — стечение обстоятельств, груди ждут: сначала затвердеть под пальцами любовника, потом набухнуть — детеныша вскормить. Какое-то сопровождение. Ведь если б Глеб был фабрикантом — Люба: «Рабочие тебя обкрадывают», музыкантом — учила бы сольфеджио (на стене Бетховен). Тьфу! А Глеб, он на собрание, как в департамент,— отслужить. Тимофей? Драчливые парни, без ревизионизма, прямо по мордасам — хоть проще, но серьезней. Ерунда! Все вместе — люди, то есть нечто вроде Глубоковых, ну, лучше, добрее, в бедноте своей честнее, но все же не числа и не звезды, а тупи, груды необработанного мяса, темное сырье.

«Готов отчаяться», но не отчаялся. На краю удержался. Разум спас. Пусть жалкая, гнилая мешанина. Это — люди. А партия — динамо... Надо людей заставить стоять, согнувшись у станков. Машина же не может ошибиться. Расплющит все и выкроит иное тело, иное сердце, иных, совсем иных людей. Пока — не унывать. И молодость большая помогала.

Еще — рабочие. Не ругань, не праздничная, жадная тоска и даже не кружок, где восемь смельчаков мечтали: «И никаких тут околоточных...» Нет, поутру, когда суров мороз, косое солнце — скупо — в сгибе рук, в дыхе труб — большое колесо — труд.

Летом — зазубрина. У Николая был кружок, почти эпизодический: краснодеревцы отделывали на Полянке трактир с причудами. Собирались на квартире у Михайлова. Подвальные удобства — без соседей, хоть всю программу разъясняй. Но у Михайлова была жена, костлявая и злая, рот — нитка: в микроскоп глядеть, а из него не голос — шип. Когда Михайлов уходил в пивную Трехгорного, погулять или по партийным, глубже в себя всасывала губы и шипела. После на свет несла мужнину рубаху: искала волос разлучницы. Возненавидела до задыхания. Как-то в июньский вечер собрались. Николай изображал «период начального накопления». Еще, передыхая, пили чай с клубникой и вытирали рукавами лбы, исходившие испариной от «накопления», от чая, от жары. Дверь раскрылась. Ждали шипа, нет — шашек стук.

— Собрание? Обыскать! И всех в участок!

Даже клубника буколическая не помогла. Провожая, костлявая впервые улыбнулась, нитки чуть обозначились:

— Там тебе покажут с девками гулять!..

Впрочем, Михайлова и прочих отпустили. Только Николая приберегли. Наутро — в Басманную. Ввели в контору. Смотритель — пасюк с торчащими резцами, но в мундире, сразу ошарашил:

— Скидай портки!

— То есть как это?

— А ты без «тоись»...

И сняли, обыск! Рылись, живое тело потрошили. Какой-то сопач рукой мозольной (будто рукавица) в рот забрел, под языком проверил.

Камера — вповалку, кашель, скреб, смрад. Освоился — ведь знал, на что идет. Но кругом беспокойно было. Пасюк работал неустанно, измывался вовсю.

В камере четвертой сидел молоденький парнишка, гимназистик, Женя Фикелевич. Подготовлял не только гимназистов, реалистов, но даже институток к «ниспровержению». Тюрьмой был горд. Ему родители прислали ночные туфли и домашнее печенье с миндалем — стыдился. Вообще стыдился, что баловень, что жил в семье, что там кроватка с голубым атласным, что утром приносила мама кофе и ручку калача. Хотел казаться бродягой без угла. С утра и до ночи — служение революции. Вот розового Женю пасюк особенно возненавидел.

— Жиденка изведу. (И острые резцы выглядывали жадно.)

Как-то в воскресенье Женю вызвали на свидание. Мать в конторе. Пасюк уж тут как тут.

— Скажите, сударыня, как вас угодило эдакую пакость уродить?

Женя:

— Не смеете! Я прокурору!..

Мать дрожит, шляпка набок, сумка на пол...

— Женечка, молчи! Вы — господин смотритель? Простите, что мы вас беспокоим...

Пасюк доволен. Женю назад ведут.

— Как вы смеете?

— Вот я те съезжу в харю!

И бац. А через час Женя, выйдя в отхожее, не возвращался долго. Сторож Бабич пошел проверить. У двери вздрогнул. На помочах!.. Под подушкой нашли туфли (стыдился, прятал), крошки миндального печенья и на клочке от папиросной гильзы: «Дорогая мамочка, я так боюсь... Мамуся!»

Николай — рука на железе окна — сухой глаз, сухой стон, железная тяжесть, сердце — запор — порох. Когда же? Скоро!

Пока что месяцы в тюрьме. Допросы. Ротмистра бархатный баритон, чай с лимоном.

— Я душою с вами...

Белки глаз мечтательно ввысь — Гретхен в голубом мундире.

— Ведь я почти революционер.

И снова нары. Карцер. Крысы — другие, без службы. Мокрицы за шиворот. Голодовка и плевки на хлеб (от соблазна). Однообразие: снова били, — в «пьянку», на блевотину. Осень. Скоро ли?

Потом скитания. Теперь профессионал. В Николаеве забастовка, судостроительный. Урал — выборы.

Волнения среди матросов. Севастополь. Надо связаться с солдатами. Военная организация. Несвижский полк. Был дворянином Кадашевым. Тер-Бабаньянц, армянин из Нахичевани. Сольской волости, Елецкого уезда, Гавриков Илья Иванович. Бельгийский инженер Сельвер. Имена. Прописки. Приметы. Аресты. Тюрьмы. В Баку провал. Сидел в Лукьяновке. В Иваново-Вознесенске меньшевистское засилье. Самарский централ. В Крыму ингуш — нагайкой. Чайные. Ночевки. В среду, в 4 часа печатники, в 6 ч. р. к. Где ночевать? Блокнот. Адреса на папиросной. (В случае чего — проглотит.) В тюрьме отдохнет.

Одно особенно любил: выступать в рабочих казармах и на митингах, чтобы было побольше лиц чужих, неперелистанных. Еще — чтобы не было имен. Войдет — высокий, худой, в просиженной на разных заседаниях шляпе. Смотрят — агитатор. Тянутся. Он знал эти движения: выгнутые пружины шей, руки выпростанные, чуть приоткрытые, сухие, прогорклые рты. Бородатые, как школьники: на доске мелом «О», и каждый ротик тотчас становится таким же «о» — удивление.

Говорил складно, внятно, слов не кидая пригоршнями, будто мот, бережно раскладывая по всяким головам — курчавым и плешивым, как домовод припасы. Сразу видел всех и никого не видел. В такие минуты верил: не зеваки, не пьяницы, не лежебоки, не мусор — обожженные в горниле муки кирпичи для новых строек. Слово, грузное и рыхлое, как мясо, кидал восторженно:

— За нами массы!..

Второй и третий раз в казарме. Видел — кто и как. Василий из казенки раком ползет домой, да не простым — вареным. Федька — разбуди его, и то: «Орел или решка?» Зобастый Влас всех девок упаковочной, распаковав, испробовал. Увидит, хвост закрутит, мигом увильнет. Все это Курбов вскоре замечал. Не брезгал, не осуждал, усмехался ласково:

— Ну, вам, товарищ Влас, сегодня не до Маркса.

Но исчезали первичные громады. Как глетчер, таяла величественная «масса», обнажая кочки жалкие голов: Василия искристую лысину, смешок молодцеватый Власа. В каком-то из мелькавших городов среди людей встретил человека. Цекист. Кличка — «товарищ Иннокентий» (имени, кажется, и сам не помнил), больной. Ночевали вместе, снял пиджак — лохмотья. Есть

забывал. Но не было в нем ничего от аскетизма марксистских начетчиков, среди комментариев затерявших простую радость. Взглянет, улыбнется, и глаза усталые, чуть прищуренные раскроются в таком младенческом упоении, что встречный, какой-нибудь усатый регистратор, враг и дурак, тоже взглянет, тоже улыбнется в рыжие колючие усища — жить стоит!.. Раньше, кажется, такие в скитах живали: молились, перевязывали лапу подшибленному журавлю, вне мира были с миром. Теперь не в монастыре, где белуги под соусом и щедроты молельниц, а в самой изуверской партии — такой сыскался. Прочел он... прямо все прочел, на конгрессе Жореса переспорил, разумного желал, а в сердце — любовь бесхитростная, отреченность: дитя, лесная ягода, улыбка.

Николай его встретил на собрании. Туземец-щенок читал доклад об «Использовании легальных союзов». Вздор, а где не просто вздор, там ересь, синдикализм. Николай его мимоходом разоблачил. Такому надо таскать прокламации, а не с ответственным докладом выступать.

Ждут, что скажет товарищ Иннокентий. Медлил. Был очень мягок. Да, принципиально, конечно, но доклад все же весьма интересен, благодарить докладчика и прочий мед. Николай был возмущен. Вышел с цекистом.

— Товарищ, зачем вы прямо не сказали — вздор? Ведь это развращать таких балбесов.

— Вы очень молоды. Он тоже. Вы умней его, но не старше. Да, да. Вот вы не понимаете, что он придет и ляжет к стенке: «Приезжие сказали, значит, я — ничтожество, зачем же жить?» И будет ему плохо, так плохо,— камень голова, щемит, клубок под ложечкой. А плохого много и без нас...

Николай жил двадцать два года, много видел. И вдруг неожиданно, как руку на плечо — что это?.. Растерянно замер. Остановился даже у голубенькой калитки. Товарищ Иннокентий, взглянув, увидел приподнятые брови.

— Ну, что там!.. Я ведь не против вас... А просто надо пожалеть. Без этого и дня не проживешь.

«Жалеть!»

— Жалеть нельзя — для дела вредно.

Товарищ Иннокентий вздрогнул (ему черед), чуть двинул бровью — этого еще не слышал. В первый раз

нагнулся — такая глубина. Не знал, что, вытянув худую шейку, щурясь синим близоруким глазом, заглянул в грядущее. Ласково пробормотал:

— Не так, не так...

И, чуя, что словам нет власти над жестокой бледнотой Николая, хотел его пронять беззлобным смехом:

— Разве у нас в программе сказано, что нельзя жалеть?..

Николай еле выжал:

— Может быть. Ну, мне сюда. Прощайте.

Товарищ Иннокентий долго вслед глядел. Потом, печально усмехнувшись, побрел к какой-то фельдшерице, где ему дали ночевку. Хозяйка варила варенье. Пенки в тарелке с голубой каймой. Спросил: как ягоды этим летом, не дороги ли? Вдохнул сладкий пар. Вспомнил что-то, и на губах, где расползалась скрученная папироска, почувствовал сначала вкус пенок, потом печальный материнский поцелуй. Уже вечерело. Подошла собака — старая, с седой бородой, жалобно подышала в руку. Товарищ Иннокентий подумал о Николае — как глядел в упор. Захотелось прилечь. Болезнь сказывалась. На этот раз он смутно порадовался ей — ущербу, слабеющему ходу разреженного и разряженного больного сердца, прохладе, вечеру, концу. Заглянув куда-то, вдруг отяжелел. (Через год, в пятнадцатом, он умер, не увидев, чем закончился вот этот спор, в нежаркий летний вечер, по дороге где-то, кажется, в Уфе, когда сочувствующая фельдшерица варила варенье из лесной малины, а в переулке белые белели щеки и вспыхивали жесткие глаза.)

Расставшись с товарищем Иннокентием, Николай не пошел домой. Он долго бегал по пыльным уличкам, пренебрегая конспирацией, пугая сонных, обалдевших кур. Забрел зачем-то в чайную, взял пару. Чубастый мастеровой кинул пятачок в машину — машина, не ошибаясь, проплакала про бура. И чубастый растравленное сердце, неудачливую жизнь, картинку красавицы из «Нивы», мух и скуку вылил в одно пронзительное верстовое: «У-у-ух!» Николай глазом не повел. Камень. А внутри все ходуном ходило: «Жалеть? Как тот у фельдшерицы?»

Был он другим. Рожден иначе. Пенок вкуса не припомнил на сухих губах. И для других годов рожден. Такой не мог бы умереть в пятнадцатом. Он должен был дождаться и дождался. Вынянчила не любовь,

а воля. Жалеть? Но стоит пожалеть ему, и вскочит очумевший, обнимет всех: трактирщика, чубастого, машину, мух; весь изойдет в соленом ливне. А после — ничего. Ложись на скамью, пей чай и, если очень сильно нальется гневом сердце, ухай: «У-у-ух!» И все останется, и будут где-то мамы работать (тиковая ямочка), Провы шуршать ассигнациями, и Мариетты — сонет, бас Власова, бычьи шеи, мясо с перстнем, нежность вшивая Сергеича — тухлятина, цыц, Коленька, лезь в конуру, лижи сапог и блох вычесывай, пока не околеешь. Вот жалость! Нет! Николай Курбов не может жалеть!..

Из чайной он вышел твердой поступью. Зачерпнул немного северного ветра. Среди домиков утробных, теплых постельной душной теплотой, вот этот ветер и гудок вырвавшегося в поле паровоза... Скоро! Уж скоро!..

9

— Австрия, к посольству!

— Как же так? Позвольте прикурить!

— Братья! Славяне!

— А ну их к матери!..

Той теплой ночью Николай, среди слезы и зыка, познал такое одиночество, что, кажется, он был не на прокисшей, тихой Мойке, где, набегая с Невского, прапорщики, экстренные выпуски, шлюхи, подвыпившие призывные сновали, плакали, молодцевато насвистывая, выплевывали новое слово «война», не там — в пустыне.

Заранее все знал, без директив: Англия, Германия, империализм... Но что же делать с этим знанием, когда даже тумба готова, подбоченясь, гарцевать, колоть, стать знаменем или наглой телеграммой? Груды туш, домов, вещей, шпицы, купола, каланчи, все взбесились. Вывески кричали: «Воевать!» Золотой калач, от чванства раздавшись, требовал: «Сожрите, растопчите, я неистощим!» — и подмигивал при этом рогу изобилия с плюшками и с прочим. Сюртуки и брюки портняжек, без голов, уже маршировали. Колбасы пахли падалью, окорока сочились дикой олифой. Надо всем торжествовал сапог. Он долго жил своей отдельной жизнью, рядом с «Иллюзионом», напротив кулинар-

ной школы, в доме № 26. Услышав топот, стал опускаться, доказывать: «Зачем нога? Я сам. Пройду в Берлин. Я растопчу. Я — с вывески. Я — рыжий, дикий, самодержец». Курбов чувствовал на голове пудовую пяту. Бежал. Но из домов выглядывали пуза комодов, легионы десертных вилок, крокодиловый оскал кушеток, портьеры, вздор. Вещи явственно не могли терпеть: много, тесно. Люди тоже. Образовалось море. Николая несло час, другой, наконец с гулом выплеснуло. Он шлепнулся о дверь, скатился со ступеньки. Может, являлся уже трупом, и некто, будто заправский поп, над ним пропел:

— Одын кахэтинский!

В кавказском погребке войны сначала не было (две двери, к тому же обитые сукном, и шесть ступенек). Засаленные, заспанные ковры лениво колыхались. Баранье сало. Жалостно: «Алла-верды». Шмыгала какая-то девица, вероятно, Нина. Глаза масленые и мокрые, как подмышники. Николай, уже бездумный,— утопленник на дне,— послушливо пил кахетинское.

Вскоре война стала просачиваться, сперва по каплям.

Двое:

— Вильгельма за усища!..

— Милянький, ай-я-яй! Милянький, подстрелят тебя пулей, прямо в пу-у-уп!

После, прорвав сукно дверей,— ватагой. Буйные бутылки в восторге выстроились: снарядов хватит! За сим — Берлин. Высочайший путеец нашел на стойке кинжал для шашлыков, с девизом «Смерть барашкам», машет. У Нины из глаз-подмышников течет густой любовный сок:

— Ты храбрый!..

Запели. Бутылки тенором и чисто. Люди, фальшивя, отрыгая детские уроки, экстренные выпуски и дрянное винцо:

— «Боже, царя храни!..»

Вдруг видят: один не встал, не отрыгает, над столиком нахохлившись, ест с хрустом огурец. Обступили Курбова так человек пятнадцать:

— Пой: «Бо-о-оже»...

— Пой!

Здесь чей-то штык и «Смерть барашкам», и подмышники, и все — одно:

— Пой!

Знал: не сделает. Но крепче сжал рот, боясь, что вырвется случайно какое-нибудь мягкое, зализанное слово, вроде «не надо» или «перестаньте».

— Пой: «Бо-о!..» Пой: «Бо-о!..»

Встал тогда, широко рот распахнул и отрыгнул — не «бо», рогатое:

— А ну вас к черту!

Черт, выскочив, задорно рогами боднул путейца. И высочайший обомлел. Потом ударил. Полетели: Курбов, столик, бутылка, огурец. Кахетинское легко смешалось с кровью. Докончить не могли: дальше несло, и в дверях, еще разок отчаянно рявкнув: «Царствуй на славу»,— все выкатились прочь. Хозяин с пьяным армянином, успевшим уже выжать подмышники девицы, подняли Николая и выкинули на улицу. Какой-то проникновенный патриот смутился, но армянин утешил:

— Человэк пэрэкупил.

Николай поднялся, долго, слюнявя платок, вытирал лицо.

Так одинок! Так нескоро! Гигантская партия — крохотная девочка, ручкой махнет «долой»! Эти усмехнутся: «Пусть себе!..»

Светало. Взболтанный народ еще ходил, не мог осесть.

Вдруг, оглядев толпу, Курбов зажмурился: ясно стало — истопчут, нашинкуют, человеческая окрошка «пулей прямо в пуп»... Отнюдь не тигр, но, это осознав, удовлетворенный почти что, облизнулся. Да, штука будет посильнее всех власовых, глубоковых и крыс в мундире!..

Мойка пахла сыростью, чухонской, скряжнической, мелко-канцелярской духотой. Но Николай услышал плотный кровяной дух. Разволновался: «Пулей прямо в пуп!..» Будут многие пупы, ощерясь, мстить. Так же бегать по канавкам, сбивать с наскоку картузы; зальют все погребки, дивным кахетинским прополощут грязный камень и гранитные седалища сановников. Видя такое, Курбов радовался дню, одышке одутловатого Петербурга, экстренным выпускам, синякам, войне.

Заснул уже утром. Шепнул в подушку вздорным шорохом:

— Смерть барашкам!..

Засыпая, видел, как по миру ходил чудовищный циркуль, отмерял, назначал и вписывал одно в другое. Видел сердце, без воя и без войн, строй, солнечный

зной, глазастый разум. Видел еще голый город, в одной стене миллионы иллюминаторов. Дальше — число пришло к числу, и два числа торжественно молчали. (Но это видел уже во сне.)

10

К дочери хозяйки (Курбов жил тогда на Кирочной), к Мирре-хохотушке, приходила подруга Таня Епифанова. У Николая книжку попросила. Потом все чаще, уже не к Мирре, а (третья дверь направо) к Николаю.

— Можно? Я помешала?..

Вместо ответа с полки еще одну колючую достает. Ну, как такую проглотить?

— Вам надо усвоить диалектический метод.

Бедная обмирала. Знала: дома — шарады, фанты, танцы, шоколадное печенье «империаль» и «je vous aime»[1] Пети Петухова. Еще: она — дочь капитана в отставке, Таня Епифанова, у нее две руки — обнять, голова — ночами думая, измыслить нечто сложное и важное, например, «Коленька», «родимый». Но читала: «антитезис... синтез».

Раз Николай, одобрив, сказал:

— Вы будете работать в моем районе.

В его. С ним! Район — почти шалаш влюбленных. Диалектику, стыдясь себя, тихонько заедала Блоком. Тогда у Курбова оказывались роза и секира. Закрыв лицо ладонями, Таня со сна его звала: «Мой любимый, мой князь, мой жених...»

Капитан в отставке книгу нашел (Карл Маркс, «Восемнадцатое брюмера...»). Страдая астмой, так задышал, что подвески люстры грустно всплакнули, швырнул, учинил допрос, Мирру с Кирочной обозвал потаскушкой.

— Запрещаю!.. Молчать!.. Прокляну!..

Таня «Восемнадцатое брюмера...», обиженное капитаном, нежно поцеловала (не это ли его письмо?):

— Он герой!

— Жидюги! Крамольники! Прохвосты!

Об стол. Люстры навзрыд. Кричит:

[1] Я вас люблю *(фр.)*.

— Не то прокляну.

— Я тоже буду... и в его районе!..

Через час (третья дверь направо) Николаю:

— Отец отсталый... Мы разошлись навеки. Помогите мне пристроиться. Я умею немного по-французски и еще штопать папины носки...

Ночевать оставил у себя. Октябрьское солнце поцеловало мéрзлое окно, и стекла — старушечьи щеки — облились слезами, оттекли. Оба молчали. Таня не выдержала:

— Вы подумаете, что это нечестно... Все равно! Я должна вам напрямик сказать: у меня, кроме убеждений... Ну, как сказать?..

(Рот приоткрыт, и все готово для слов, а нет их, тянет, тянет из себя, как из колодца тяжелое ведро.)

— Николай!.. Я про себя зову вас просто Николаем... Словом, я хочу, чтобы вы меня... чтобы вы меня...

И это уж не вслух — чертеж губами:

— Любили!..

Николай чуть-чуть согнулся, но, быстро вспомнив и Тань, и Варь, и Кать, озлился. Чтó им партия? Капитан, ну, помоложе, чтобы гуманней, и в театр, гости, дети... Не ответил Тане. Долго, громко возился со спиртовкой: надо чай пить. Когда вскипел, сказал:

— В моем районе много работников, а вот в Василеостровском был провал. Вас — туда. Я завтра скажу секретарю.

Таню уложил на свою кровать. Сам — на пол, в углу. Но не спалось. Женщин Николай не знал, хотя по возрасту как будто полагалось (был ведь крепок и здоров). Может, память удерживала: ночи на сундуке, гитары визг, маменькина ямка. Как в иных девушках, в нем настоялось трудное, густое целомудрие. Улыбался женщинам и часто, проходя по летним уличкам, радовался на влюбленных, сам же никогда никого не целовал. Порой по телу ползло что-то мохнатое и теплое, как большое насекомое, в голове распластывало крылышки, и бились невнятные залетные слова «милая», «нежная». Отряхивался, как с дождя. Теперь — сильнее. Вдруг звук. Не сразу догадался, что это слезы. На Николая хлынула влажная, обморочная теплота, как в летние, сырые ночи. Закрылся одеялом с головой: там, в темноте, высовывала шакалью пасть любовь. А что с ней делать, с этой любовью?..

Таня все всхлипывала. Углы узких плеч подскакивали в такт. Вот так! И ничего не будет. Ни жениха, ни того, другого... И даже не в его районе...

А Николай уже дышал ровно. Глядел на потолок: трещины свивались в какие-то мифические буквы. На неизвестном языке значилось:

«Все ерунда».

«В четверг, в 4 — явка».

«Будет когда-нибудь легко».

Чувствовал — осилил. Мысли сцепились, отхлынув, правильно текла вышколенная кровь. Любовь? Мне не нужна любовь!

Утром снова спиртовка и деловое:

— Вам лучше всего поехать трамваем тридцать четвертым.

Неделю спустя, встретив секретаря Василеостровского района товарища Максима, спросил: как такая-то?

— Не было такой.

Вот тебе! Зачем же с ней возился? Как будто таким дорога партия! Самки! Конечно, любовь в природе — но час, но день, у этих — всё. Когда мы одолеем, надо устроить школу для девчонок: с детства приучать, чтобы любовь и дети на месте были — не утром и не днем. Так, побрюзжав, вскоре забыл о Тане.

После: морозный, засиневший вечер. Сочельник: нагруженные свертками, пакетами, кулями, заиндевевшие, спешат, чтобы, окунувшись в тепло, выронить крымские яблочки, золоченые орехи и красные рождественские носы. В паре расплываются, сдаются парадизы витрин: закрывают, поздно. Свертков все меньше. Светлые пятна и гам переместились в этажи, где за портьерами и шторами детвора, суетливое предчувствие, распакованные звезды. Только редко — запоздалый тащит купленную подешевле елочку.

Бесприютный Курбов долго разыскивал, где найдется завалящийся огонек. Набрел: «Чайная», еще открыта. Два китайца, не то улыбаясь, не то грозясь, во всяком случае переставляя время от времени таинственные скулы, орудуют с чайником. Хоть рядом кипяток и сахар, но сивушный аромат все тайны выдает. Еще — девица. Сначала Николай не узнает: нечто знакомое, может быть, случайно, на улице заметил. Потом эта знакомость щекочет мозг, перерывает воспоминания. Какие-то намеки тонут в малиновом море румян, в треске юбок: ясно — с Невского, откуда же знает?.. И вдруг — уже не памятью, а чем-то встающим из живота: мохнатое ползло, ночь, слезы.

— Товарищ Таня, я не узнал вас...

— Напрасно узнали... Вам ли такой интересоваться...

— Что вы... Как же!.. А почему же вы не пошли тогда на явку?..

Таня смеется так громко, что серьги, чашки и даже скулы китайцев перемещаются:

— Это очень скучно! А я живу весело. Вчера в «Электротеатре». Глупышкин зацепился за порог, разбил в посудной лавке все миски. Хи-хи!

И снова общее колыханье.

— Потом — фарс «Когда его нет дома». Вы не были? Ужасно жаль! А впрочем, до свиданья! Я пойду вот к этим желтым. Они уже пригласили.

Встает, но как-то слишком быстро. На пол — сумочка, из нее: зеркальце, мужской дырявый кошелек, трубочка губной помады, грязная, плешивая пуховка, новые чулки, неизъяснимо прозрачные: лес поздней осенью, и, наконец,— книжечка. Николай невольно любопытствует,— ах! — «Восемнадцатое брюмера...».

— Отдайте!

Голос снова вверх, и трах — разбился, прямо наземь слезливым задыханьем. Бегом к китайцам. Из горлышка пьет залпом.

Закрывают. Курбов один среди торжественной, морозной тишины. Слышит еще «хи-хи» и слезы. Надо забыть, не слышать, отмести. Зачем такое? Просто ей был нужен муж, какой-нибудь капитанишка. А впрочем, не то... Мо́жет быть, любила? Мохнатое опять ползет. Но лучше без любви. Если поддаться, пойдут уют и прозябание: дети, елка, грецкие орехи. Затвердеть. Стать свежим, белым и прямым, как этот пустой, окрыленный новым снегом, летящий дальше в ночь и в мир, проспект.

11

Вскоре перекочевал в Москву. Там с одним сошелся — товарищ Сергей. Технолог. Веселый. Лицо — как поле: направо, налево гляди, простор. Небесный взгляд. Нос — недомолвка. Рот лишь в эскизе. А вместе — подмосковный пейзаж. Зря говорят о таких: «Душа нараспашку». Просто в адамовом виде, ее и запахнуть нечем. Николая, видевшего в жизни

прямые дороги, огромные грузы, задачи, отмычки, крупный конский пот, его — прямого, сухого, с точно очерченным белым лицом, с чернильной чернотою глаз — прельщала в Сергее женская мягкость, щек припухлость, расплывчатость слов.

Сергей любил с рабочими после политики выпить где-нибудь на Воробьевых: чесучовая рубаха, ворот отстегнут — тальянка — и дерет, дерет: «Погубил бы я Нюточку, да она заплакала...» — как ножом по стеклу. Нюты жалко, слез ли, или потерянной оказии, кто знает, только очень жалко. Сил нет!..

Так в будни Николая он приносил какой-то дух — примятой травки с яичной скорлупой, разудалых жалоб, студенческой тоски, пивной, слегка слинявшей, но все же с запросами.

Был первым другом Курбова. На масленой сняли вместе комнатку — у Серпуховских. Сергей на новоселье повесил портрет Андреева, сглотнул четыре бутылки портера и, приложившись к Леониду, задумчиво пролепетал:

— Проклятье зверя!

Вечерами — беседовали. Ну, кто же подумает, что Курбова, который мальчиком глядел на звезды и слушал топоты ямбической строфы, могли насытить две явки, тезисы и ежемесячные отчисления семи эйнемовских конфетчиц? Сергей попался. Сергей был первым, допущенным к такому часу, когда угрюмый Курбов, как пушкинская Таня, как все в начале жизни: технологи-пропагандисты, любители футбола, модницы, модистки, все, боясь дохнуть (дыханье — жизнь), боясь взглянуть, бессонно разгораясь в истоме розовой, кладут, чуть-чуть пригнув углы, на карту карту: домик. Да, Николай мечтал. Но мечты проверенные выходили из мастерской великолепного часовщика. Стихи читал каких-то диких (звали «футуристами»). Вскачь гласные. «Г», «Ц» и «Ч» — быстро — искрами из-под копыт. Голое слово — «смехач». И сразу — пьян; вытаскивал из-под тетрадок какой-то прейскурант: турбины, мотор, колесо, три тысячи лошадиных, такая, когда идет, разрез, и в Ливерпуле — Галилея безошибочных чудес. Нью-йоркский небоскреб? Щенок! Лавочников лихорадит — нарыв. Нет, будет город — плоский, голый, весь — единый дом, весь вымерен, отлит, составлен, без труб, без башен — серый куб, над кубом солнце.

Были какие-то намеки, гомункулусы в банках: Петр с ножницами цирюльника (почти что маникюр), «неподкупный Максимилиан» («Невольница» Шенье, чувствительная прихоть толстяка Дантона — все это вздор, тверже: кровь и календарь). Теперь придут другие — выдержали сотни корректур, не прошмыгнут описки школьников: любовь или сомнения. Как о любимой, говорил о времени. Верная мера — Век.

— А что ж ты скажешь, так сказать, о человеке?..

Другому Николай просто бы ответил: «С народниками скучно спорить». Другу:

— Ведь это все про человека. Прежде было про зверье. Он будет — большой, широкий, дела, слова и даже повороты суставов — изъявления воли. Никаких истерик! Всех геройчиков Андреева и прочих — в зоологический музей. Вагон трамвая, принимая тонну человеков, и тот начнет петь, не нужно будет стихов. Вместо озноба, гнева и любви — неукоснительное равновесие. Сергей, я вижу этого большого человека. Новое сознание. Мне кажется, чтобы судьбу измерить, он себе на лоб поставит огромный третий глаз...

В упоении он подошел к Сергею, нет, не к нему — к модели человека — и холодно, немного чопорно, поцеловал зерно, почку глаза, веснушчатый, бугрaстый лоб. От теплой кожи сразу стало стыдно, скучно, тяжело.

Снова — время. Памятный весенний день. Общегородская конференция. За Канатчиковой дачей, в лесу. Патрули с одуванчиком в петлице. Пароль — спросить: «Как пройти на рачью свадьбу?» Солнце припекало. В прения «об агитации среди запасных» бесцеремонно вмешивались славки, малиновки и даже нудная кукушка. Одуванчики не только в петлицах и в траве — их золото в самой груди. Вылезшие из подполья, из каморок на Живодерке, козихинских подвалов, духоты Благуши, как звери из норы, люди нежились. Порой казалось: действительно, не рачья ли свадьба?

Николай сорвал цветок, пальцы покрылись молочным соком. Солнце меж лопаток усердствовало. Хотел было лефортовского Виктора пристыдить за утопизм, но все аргументы забыл, зевнул, стыдясь, потянулся.

Вдруг — свисток. Виктор подпрыгивает. Трещат кусты. Отнюдь не птичьи голоса. Делегаты врассыпную.

— Провалились!

— Направо!

— Нет, сюда!

Николаю повезло: прополз бочком в траве. Продефилировали рыжий сапог со шпорой, синие штаны. Дополз до татарского кладбища. Залег меж плитами. Мимо гнали арестованных. Стадо. Овчарки с кобурами лаялись. Прождал до темноты.

В лавочке купил коробку папирос и жадно затянулся. Шел медленно по Шаболовке. Переживал провал. И все же, еще не утрамбованной утробой, радовался теплым сумеркам, чадным керосиновым светильням, скверной папиросе. Навстречу — Сергей. Курбов, увидав, повеселел. Думал — и его.

— Ты тоже выкарабкался?

Молчит. Жмет руку. Улыбается. И потом, не спеша, на Курбова — револьвер. Мигом подполз некий штатский в рыжем пальтишке с искрой электрик, другой. Потом — городовые. Сергей своим приятным, задушевным баском:

— Прямо в охранное... Там за извозчика заплатят.

Мгновение — гнев. Кинуться, примять, убить. Потом: спокойно! В охранке, когда наутро фотографировали и вежливый фотограф извивался: «Теперь анфас. Минуточку внимания! Снимаю», — вспомнил Сергея. Провокатор! Он знает многих в лицо... Сообщить на волю... И еще одна короткая деловая мысль: да, для людей, но только без человека.

12

Суд. Адвокат по назначению, разгрызая в буфете жесткую фанерную колбасу, выкладывал буфетчице:

— Какой попался подзащитный злющий!

Речь говорил мучительно — будто во рту все та же неподатливая колбаса:

— Влияние... Наследственность... Курбов почти дегенерат... Эксперты...

Прокурор был быстр и деловит (понравился Николаю). Судьи входили и уходили, как хористы в опере.

— Сто вторая... Лишить всех прав... Каторжные работы... без срока...

Опять централ. Кандалы. Натерли ноги. Из окон: снег, нагромождение эффектов, Урал. Месяцы и вечера. В острожном переплете — желтый, тощий месяц. Амурская колесная. Порка и кирка. На камне камень

бей! Какие там свершения!.. Где-то: партия, книги, девушки в кисейных блузках, воркот голубей. Здесь камень, кровь и вши. В наметанном зрачке конвойных тупое: «Не уйдешь!»

И все же ушел. Звезды августа кишели муравьиной кучей. Низкорослую бурятскую лошадку версты и сон погони густо взмылили. Пучился Байкал.

В избе. Кислое голубенькое молоко. Течет по телу сон и брызжет в глаза молочной ночью, белесоватой, ватной мглой. Ночевал. Утром потянулся. Никого. Хозяйка за водой ушла. На земле младенец страшный, кривоногий, с огромной тыквой головы — облезлая, струпья,— не может ни ходить, ни говорить. Таких бы убивать! Глядит большущими стеклянными глазами на Николая. Вдруг, слюну пустив, блаженно улыбается. Лицо, как тайга весной, все прорастает. И Николай от нежности не может шелохнуться, сам улыбается и с не испытанной еще бережностью гладит паршивую головку. Обнять бы, унести, не знать на свете ничего, кроме роста этих кривых, убогих ног. Так, верно, черенок от яблони, когда воткнут его в сырую, разрыхленную землю — чудный зуд — растущих и не листьев, но корней. Почему-то перед Николаем встала наивная, смешная — звали Таней. Как тогда — гора. Страх. Младенец палец Николая поймал, сосет. И как пощада: хозяйка с ведрами. Пора!

Готов был стать, ну, просто неким, со страстями, с перебоями, с ворчанием досадливым и нежным щебетом, обыкновенным смертным! Но — пересилил. В Казани на явку заявился сухой, осведомился, как ведут работу, о каторге — ни слова.

В апрельский день приехал в Киев. Паспорт верный — сын бухарского купца Лев Мешмет. Протянул его любовно, чуть горделиво швейцару гостиницы «Золотой якорь», и швейцар с почтительностью дунул половому:

— Господину Мешмету номерок.

Взглянул в окошко — солнце. Мальчишка, раскрыв галчонком рот, с трудом засовывал туда огромный ком халвы. Прошли две гимназистки. Вспыхивали первые веснушки — золотая россыпь, груди, полные видением прекрасного поручика с Фундуклеевской, как клейкие почки тополей, готовились взорвать форменные передники. Вдобавок имелись: голубые царственные лужи, в них воробьи, рябая радость отпускных,

кудахтанье торговок, словом, несложная и все же таинственная бутафория обыкновенного весеннего денька. Взглянув, тотчас же понял: завтра на явку, а сегодня отдыхать.

Бродил по улицам, по лакированным внезапным ливнем горбам костлявого Киева. На Сенном какой-то пегий мужичок стянул огромное индюшечье яйцо, мигом выдудил, и в пояснение:

— Мы до мощей, которые...

Баба — за пегую мочалку.

Мимо Софийского собора. Зашел случайно: после смерти маменьки паперти усердно обходил. Дохнуло сыростью и воском. Чуть замутило. Погреб! Впрочем, летом, верно, вроде кваса. И детворе — для пряток. Еще увидел: под куполом — архистратиг. Летая — пребывает глыбой. Вымерен и крепко сделан. Подумал: «Ведь так же делают теперь аэроплан»,— и рассмеялся. Бабка, «о недугующих» молясь, досадливо прошамкала свои старушьи «шу» и «ша», личико ее, как яблоко, мигом спеклось, вся запросилась мощами в Лавру.

Курбов вышел во двор. Чуть зеленело снизу, выше было сине и просторно. Девочка училась прыгать на одной ноге и, важная, как цапля, взлетая к сини, падала на зеленый пух. Купил два яблока, одно дал цапельке, другое — себе; куснул — да дряблое какое,— припомнил третье (под архистратигом) и, окончательно веселый, скатился узкой уличкой, где пахло рассолом, а в открытых чайных халатники, восседая князьями, пили чай, вниз на Крещатик. Пролетки верещали. В киоске малый, раскошелясь, пил мелкими глоточками «фиалку»: выпив, улыбнулся пустому донышку стакана. Продавали фиалки — первые недоуменные бутоны. Курбов купил, понюхал и зажмурился. Навстречу — девушка. Лица не прочитал, но, как заглавные буквы, мелькнули расширенные, якобы незрячие глаза. Николай остановился, оглянулся, снова черные, большие... С минуту оба постояли. Курбов застыдился, быстро пошел вперед. Но даже стыд был тихим, девическим, апрельским.

Завечерело. Царский Сад. Внизу скрипела скрипка, и трамвай кометовым хвостом помазал небо над Печерском. Здесь же пахло землей после дождя — и только. Парочки, друг другу не мешая, чинно рассевшись, целовались молча, деловито, взасос. Спугнутые шагом, головы откидывались в мелкую листву, звенел

жестяной недоконченный поцелуй. Николай порадовался, поволновался и, вытянув руку так, что мускул заплясал, крикнул где-то в очень темной и пустой аллее:

— Здорово! Здо-ро-во!

И весна, шарахнувшись, подтвердила вздохом, шорохом:

— Здорово!

Человек. Знакомый как будто. Не может быть!.. Сергей! Стоят. Убьет? Сбежит? Но робко, скулящим лысым голоском, Сергей:

— Ты можешь меня ударить. Но только выслушай...

И дальше — слова: отравленного рвота, из горла — ключом. Много, очень много жалостливых, животных слов.

— Ротмистр... грозил... виселица... хотелось жить... не понимал, что делал... невеста... Маша...

Да, да, конечно, Маша! И в темноте лицо трогательно распахивалось — как же — нараспашку! Голос, сначала сиплый, барахтался среди закуток («попутал»), но после — ввысь, в купол Софийского, задушевный голос (такие прямо в певчие) проникновенно скок — до Бога:

— Николай, пойми, об этом писал когда-то Достоевский...

Давно, свернув с аллеи, шли прямо в глубь кустов. У Курбова одно: он знает многих в лицо. Сергей снял фуражку, показал рукой — обрыв:

— Вот подвиг и подлость... Маша!..

Остановились. Внизу — Днепр. И оттуда пахнет сыростью, смертью. Склеп. Как Софийский собор. Сергей боязливо — презреет, уйдет — вцепился в руку Курбова. Вздохнул, и вздох пронесся сзади по тоненькой, младенческой листве:

— Пойми, ведь я... ну, просто слабый, гадкий человек...

«Многих в лицо». Курбов поднял руку — мускул весело забился, вздулся,— обнял Сергея, готового доверчиво всплакнуть, обнял, рассчитав, легко и просто швырнул, как камень, в ночь, в пропад, в Днепр.

На Крещатике еще была весна, и продавали фиалки, и, верно, проходило много девушек с глазами, готовыми остановить. Но Курбов ничего не видел. Нащупав вдруг в петлице размякший букетик, он брезгливо его кинул, как ком мяса в студенческой тужурке.

13

На фронт. Курбов — ратник Никита Птицын. Галиция. Мерзкое местечко. Пограничный столб повален, и на картинке двуглавый одноглавого клюет. Местечковый кислый хлебный сон.

С носилок:

— Сестрица, испить бы!..

В штабе:

— Понатужась, через Карпаты (у князя пламенное сердце).

— Князь, признайтесь, вы знаете толк в токайском?..

Князь кается — нет, не в токайском, а в венгерках.

На перроне обрубленный живот — сам по себе живот и маленькая пенсия. Что же, можно через Карпаты, понатужась!..

Казак, играя на солнце одной серьгой,— еврею, бородатому начетчику:

— Целуй, собака, конский хвост!

Начетчик недаром читал, он знает — Иов скреб черепком, Иона — в китовом чреве. Разве можно против?.. Целует. И ассирийская густая борода вождя, судьи, пророка вливается в обшмыганный унылый хвост.

Николай (он же Птицын) слышит:

— Домой... Жена с пленным: сволочь — мадьяр... Сил нет никаких... Живьем в землю... Да нам ведь в Тулу...

Час спустя:

— Птицын, ступай в офицерское, доложи капитану.

— Словили дезертира.

— А ну его разок! Наука...

В офицерском — сливянка. У сестрицы Аглаи Николаевны удивительные пальцы — в Питере нет такой маникюрши.

— Распить сливянку! Сливянка-то какая!

— Знаменито!

— Аглая! Аглаичка сегодня злая!

— Знаменито!

Как на станции кассир —
Желтый храбрый кирасир.

Николай докладывает:

— Ваше благородье... дезертир...

От слов першит. Капитан Бакланов мчится быстро к двери. Тульский юлит, целует капитанский, до непо-

грешимости натертый, сапог,—все зря. Бакланов дело знает, любит, сам командует. От тульского—только лужа, законно красная. Но капитан, перехвалив сливянку, вдруг бледнеет, качается, раскатисто блюет. И тоже лужа, вторая. Николаю:

— Дурак! Ура!

Еще качается. Целованным сапогом—Николая трах. Оба вместе наземь в кровь, в блевотину, в местечковую проплеванную глину, а рядом «ура!» испуганных баранов, и глухо—пушки, и с крестиком нательным на «уру»—через Карпаты, в Тулу, к черту—все равно!..

Николай, как упал с Баклановым, окаменел и камнем докатился до позиций.

Приказано не отступать. Зябко. Светает. Шинели торчат косматой шерстью. Вырывают снаряды—клок, еще... И сразу дохнуло: газ. Клочья виснут виновато, рядами падают.

— Противогазы!

Нет—отсохшие какие-то... До Курбова дошло. Сначала пахло луком. Кололо булавками глаза. Чуть повозился, в землю уткнулся носом. И так хотелось одного, простейшего—вздохнуть. В глазах булавки сменились раньше молоком, потом чернилами. Почувствовал—летит в темь, в пропад, в Днепр.

Очнулся в госпитале. Дело первое—вздохнуть вовсю, со вкусом. Потом припомнил шинели в ряд. И фельдшер пояснил:

— Да, да,—на Стрые. Четыре тысячи.

Выжил. Остался только кашель, внезапный, как ураган. Злобно колотился в груди и, взламывая клетку, вырывался таким громоподобным лаем, что дощатые перегородки лазарета перепуганно дрожали.

Как-то (на масленой) услышал—доктор говорил с приезжим штатским:

— Как в Петрограде?

— Кисло... Обвиняют... В думской комиссии ужасный материал... снарядов не было... Мазурская история... И кто не брал... Вот вам примерчик: некто Глубоков поставил... Приняли заведомо негодные противогазы... Конечно, дал.

Неделю спустя пичугой впорхнул Олег. «Для раздачи подарков на фронте». Узнав Николая, нахохлился. Вдруг вспомнит? Встали: трехпроцентный, выпиравший из брючного кармана, недораздетая Земфира

и маленький скандальчик — бумагу тогда поручил продать кретину Клитову, Клитов сдуру при случае ляпнул Кадыку. Кадык же всем домашним. Конечно, это в прошлом. Теперь — великая война, и он на фронте — герой. Но все же противно, если этот знает... Решил пощупать.

— Papá вас тогда обидел? Но вы ведь сами понимаете, бывают разные недоразумения, это превосходная тема для какой-нибудь французской новеллы. Впрочем, кто былое помянет, тому... Словом, когда бумага нашлась, мы очень сожалели. Maman вас простила. В такие дни... Вот вы в каком-то маленьком местечке, раненный, на койке — один из многих, тот витязь сермяжный, о котором мы спорим в столицах. Вы ранены в бою?

— Нет. Газы.

— Ах, это германское злодейство! Вот вам цивилизация — Кант и Крупп. Но теперь мы не боимся газов. Papá поставил огромную партию усовершенствованных...

— Я знаю.

— Прекрасные противогазы. Мы все работаем, и бескорыстно. Мариетта была три месяца сестрой милосердия, а я, как видите, рискую жизнью. Привез махорку, монпансье, мыло.

В Николае — взрыв. Залаял. Стенки затряслись. Олег еще раз:

— Papá доказал необходимость проливов... Он трудится день и ночь... Взял отпуск — сейчас в Кисловодске... Астма...

И Николай, средь лая:

— Что раньше — смазал или доказал?

Олег — сразу горд и тверд. Говорил — жалея. А этот байстрюк еще смеет оскорблять!.. Повелительно, накинув бровь:

— Молчать! Ты — нижний чин. Возьми махорку и ступай.

Николай вышел во двор. Так никогда не ненавидел. Весь смолк, забелел, стянулся. Томительный денек слома. Озноб и первая испарина земли. Февральское недоуменье. Слушал, в говорок далекий пушек вступало нежным противоречием журчанье капель. И, прижавшись к мокрому стволу, не выдержал железный Курбов — воркотня и грязь, четыре тысячи на Стрые копошились, каплей капал ласковый басок Олега. Крикнул:

— Не могу! Вот просто не могу!..

И, точно смилостивясь над сыном битой потаскухи, над острожником в бегах, над Птицыным, над таким, над многими такими, измерив кровь и тщательно свесив пудовые обиды,— далеко, на севере, где распластались среди болот сенат, посольства и гастроли итальянской Оперы,— Немезида заботливая пролила огонь. Курбов чашечкой сложил ладони, накрапывал весенний дождик.

Известно стало позже. В местечко, где гуд пушек, лазарет, курчавые, густые пейсы, вспугнутые ветром, мировой историей и «матерью» есаула, медленно ползло, как насекомое, большое слово «Бологое».

Сначала не сообразили. Артиллеристы продолжали аккуратно подкатывать снаряды. «Мать» есаула попрежнему летала над лужами, и пейс, боясь просчитать рубли за «пейсаховку», крещенную «столовым вином», взлетал за нею вслед. Но «Бологое» осело и с мушиной быстротой начало плодиться. Появились: «комитет», «обсудили», «попили — довольно», а главное, широкое, как «о» (рот, с непривычки, может лопнуть), «долой!».

Стояли ярославские. Другие — губу до полу и предварительно чесаться. Эти бойкачи. От «долоя» знобило местечковые мелкие домишки и даже двухэтажный с купидоном пана Пшешетевского. Пан, помянув покойного Иозефа и приятный Краков, крякнув разок не без благородства, сдался — засел в курятник (кур ярославцы всех съели, многое предусмотрев). Звяк графинов, где была воспетая Баклановым сливянка. Даже пушки поняли — таких не перекричишь,— примолкли. На заре, чуть вылезало солнце, и пан за петуха, спросонок ежась, бил крыльями о стенки, кто-нибудь уже работал, и от зевотного, широкого гудка раненые весело взлетали с коек.

Олег не убежал. Был мил необычайно. Скользил по глине, как по паркету Благородного собрания, от доктора до генерала, потом к солдатикам, то есть отныне к гражданам. Каждому не уставал победоносно улыбнуться:

— Каково? Вот я привез подарочек — с махоркой великую, бескровную...

Впрочем, подарки давно розданы. Теперь он помощник комиссара. Курбов-Птицын, среди бела дня став просто Курбовым, рвался в Петербург, но, не теряя времени, возился с ярославцами. Выбирал слова съедобные, увесистые, как теплый, невыпеченный хлеб,

чтобы распирало брюхо. Как-то Олег не вытерпел, попробовал уговорить:

— Теперь помещик и землепашец во всем равны, то есть всем свобода совести и передвижения... Общее усилье... Надо наступать.

Курбов знал — не доводы нанизывать, но бередить печенку:

— Ваша правда! Так вы, товарищ, наступайте, а мы к себе, то есть в Ярославскую.

Сам подумал: «Ну и глупость! Боюсь, что этак до Христосика дойду. Ведь если нам придется воевать — «свобода?» — в пять минут на сук! Мы их отучим лет на сто сомневаться. А потом? Потом...» Потом должно было идти блаженство.

Но додумать Курбов не успел. Помешал огромный рев. Зверинец — настежь. Ярославцы прежде сидели кругом. Теперь привстали. Олег — в середке. Сжимают. Рев, как лев, растет, жирнеет, бьет хвостом и дышит в покрасневшие, девические щечки Олега. Рыгают подсунутые Курбовым самогонистые, крепкие слова: «А нам здесь дохнуть?» или: «Купчик»,— вместе с присвистом слюны, прямо в Олега. Тот присел на корточки, даже заслониться не успел. Курбов крикнул:

— Товарищи, постойте!.. Ну, зачем такого?..

Не слышат. Из середки еще доходит:

— Подарки?..

— А капуста гнилая!.

— Приварочные где?..

Кольцо распалось. Мякоть. Курбов подошел и с любопытством оглядел. Лица не стало. Одни ноги, тоненькие, раскинутые в недоумении — вот только что скользили... Неприятно! Почувствовал, как мокрая давленина растет, облепляет. Ведь это только первый. Тысячи. Нет, больше! Придется влезть по шею в такую мразь. Не убивать в бою — палачествовать. Смятен. Вот-вот заплачет... Но сразу — четыре тысячи, противогазы, изба в Сибири с тыквой-головой. Да, в скверноту, в густую, липкую трясину, убивать безвинных, розовых, с родинкой, с какой-нибудь зацелованной карточкой на сердце! Один, сто, класс, партия, полмира — не щадить.

И когда какой-то, деловито бивший, не менее деловито смекнул:

— Сапоги хорошие!..

Курбов по-хозяйски:

— А ты сними. Не пропадать.

14

Смольный. У входа ручной лягавый пулемет. И фронтовик отсыпается с громовым храпом за три окопных года. Запах логова, в котором говорят, потеют, хлебают наспех щи и здесь же, между голосованиями, дрыхнут марксисты с rue Glacière[1], техасские ковбои, замлевшая еще Калуга. В коридорах, где, обнявшись, порхали пелеринки («милочка, какой четвертый?» — «в дортуаре» — «княжна влюбилась»), где царствовали Чарская и голубой гусар,— косоворотки, гимнастерки, юбки, закрученные узлом. Стриженые меньшевички, нарцисс эсер, глядящийся вместо вод в слезящиеся очи бывших собинисток, матросы, кидающие врозь раструбы, как в качку, рабочие, прислуга за всё Паша (по поводу расчета). Скачут, машут руками, каждый в углу готов, для приличия отряхнувшись, стать министерством.

Пулемет у входа склонен залаять. Нарцисс упрашивает фронтовика час-другой идти на фронт — на то он фронтовик. Но бородач пребывает при особом. Очухавшись, потягивается. Может, конечно, проголосовать, а может — кто их знает?.. (Россия непарламентская страна) — рыжим сапожищем примять нарцисса, как будто он не гордость партийной клумбы, а так, какой-нибудь старорежимный клоп.

Комната в глуби. Дощечка: «Классная дама», и приписка мелом: «Фракция большевиков». Выходит прямой, упрямый Курбов. Он готов. Готов, как классная дама, заскрипеть: «Довольно!» Рабочим — винтовки, матросов — к орудиям, меньшевичек-стрижек ближе, в Смольный, за машинки переписывать приказы. А нарцисса?.. Увы, нарцисса придется засушить. Там, в комнате, Курбов осмотрел Россию. Она, ощерясь, подымается, подходит, обступает кругом, как ярославцы Олега, кирпичный дом, где дюжина невыспавшихся нытиков (в голове Лавров, под ложечкой просто ком) старается за хвост поймать «текущие моменты». Пора за дело! Дверь закрылась. Фракция расселась. Фронтовик у входа доволен, он треплет ласково сердечный пулемет.

К октябрю Курбов был в Москве. Громадина-корабль, при отчаянном взрыве спекулянтского шампанского

---

[1] Улица Гласьер *(фр.)*.

в «Эрмитаже Оливье», при прочих взрывах, был спущен. Сначала не сообразили. На Мясницкой не дрогнул хвост на калоши «Треугольник». Потом не стало ни людей, ни калош.

Только где-то на балкончике бутон нарцисса, один из нарциссят вопил:

— Всеобщее, прямое! Манечка, зачем они стреляют?..

Но Манечка не отвечала: наспех прятала среди грязных панталон массивные серебряные канделябры (светоч Прометея) и прочее, помельче. Муж не кто-нибудь — социалист, он двадцать лет состоял подписчиком «Русского богатства», в столовой, под ковром бухарским чуял «дух земли», ему и светоч в руки.

Привстав, пошли: Кожевники, Хамовники, Лефортово, Разгуляй, Пресня, Дорогомилово, Благуша, Марьина роща, Симонова слобода и прочие. Внутри притихло. Последний маклер на Ильинке, акции выпустив, как птицу в Благовещенье, провалился. На Поварской в любом особнячке отпаивали гелиотроповых графинь. Пытались выползти на сцену валерьяновые капли. Подъезды наглухо — щиты, доски, бочонок, и обязательно нахохленный студентик героически дежурит, охраняя тетушку, комод, честь. Дрожат шестиэтажные (модерн, лифт и в кухне газ), разденут догола — кто там? Ночь, дождь, один промокший юнкер, большевики.

Кольцо сжималось. Разгуляй, залаяв, вонзился в самый пуп Москвы, где Мюр и Мерилиз. Курбов с батареей — на Воробьевых. Кто-то:

— Ведь Кремль... История...

— Товарищ, не теряйте времени...

Потом с разведкой на Волхонку.

— Здорово!..

Тагин. Руку наспех. У белых — пулемет. Тагин праздничный. Шесть дней не спал. Но нет ни сна, ни дум, ни слов — одно: рябой, курносый мастеровой — статуя Победы (слепа, глуха), и бьются среди запертых лавчонок, где спрятанный мадаполам, изюм и толченное пулями стекло, чудовищные крылья.

Присвист. Тагин, вскрикнув,— на спину. В живот!.. Шепчет:

— Маузер мой возьмите...

Плачут за щитами. Последний «ух». И сдача. Курбов в автомобиле — по городу. Прилипшие к окнам

и белые, и красные носы. В каком-то переулочке Плющихи — бабка. К сухой груди подносит грязную тряпицу:

— Под Успенье молочка откушала!.. Всё за грехи...

Тряпица — трупик — не внучек — Иисусик. Рехнулась.

И вдруг, как в богадельню, в нудный переулок входит топот. Рабочих — к районному совету. Вышли, сжигавшие под праздник крыс, от харчевых, харчевен, чайных, от потной люботы на нарах и полатях, от карт просаленных, от всех святителей, снетков, чумного рая — наверх: шаг, рычаг, иначе, так (по-старому), нельзя. Кровь из гулких рук переплеснулась на полотнища.

Курбов выскочил, бегом навстречу. Теперь он знает, как радость тяжела! Перед ним в картузах живые, теплые, из мяса — разметки, чертежи, все бывшее годами полями книжек — предвиденная жизнь.

Он, как роженица, блаженно в изнеможении улыбается: теперь ни мякиша Олега, ни Стрыя — голубой легчайший разум, высокое морозное добро. Теперь... он не в силах думать. Обнимает чумазого, колючего и с нежностью неслыханной, со всею отрешенностью материнства целует его. Щеки колются, картошкой — нос. Ну, как же отпустить кусочек мира, клочок бумажки, сбывшийся сон?.

Была минута (может, больше, сердце медленно вело свой особый счет), когда Курбов, согнувшись, забыл о прежней ненависти, как в избе сибирской над уродцем, изошел любовью: не человек, но тишина и нежность.

Была минута. После дни и месяцы. Сразу Курбов почувствовал, что значит власть. Все эти угодники, подвижники, бессеребреники, совсем случайно не сопричисленные к лику святых: журналисты, адвокаты, розовые девушки (вот только что из ванны), очкастые студенты, которые глазами выдыхают возмущение так, что потеют стеклышки, словом, «соль»,— встречая Николая с шепотом, с шушуканием, поспешно расступались. Как-то Николай увидел, на Страстном шли двое. Нежнейший юноша, вчерашний земгусар, познавший тайну и переход от шлейфа небесного Прекрасной Дамы к запечатанному захватчиками сейфу, буркнул спутнице:

— Осторожно!

Она, бела от снега и от бед, бела и зла:

— Палач!

Как от удара, Курбов заслонился. Глядит — знакомый росчерк губ. Ах, вот чьи!.. Лет пять тому назад они выписывали Кадыку символистические лилии, и растроганный Кадык в ответ выписывал чек (на изумрудное колье). Николай отряхнулся, скидывая с плеч снежинки и пустую слабость:

— Да, мы не институтки!

И это было так же буднично и просто, как где-нибудь в еще доисторическом Смольном, среди Чарской и гусаров: «Да, мы не палачи».

Страшней другая встреча: поехал на глубоковскую фабрику. Стоят машины — ни угля, ни сырья. И кому теперь нужны обои?.. Ворчащим ларом с нар опустелых выполз Сергеич — журить: вот там пайка не выдают, там отобрали у Пелагеи швейную машину, там подкупили приказчика — тянут из лавки сахар. Долго пилил, час, другой. Ошибки, промахи, проступки громоздились: гляди — уж преступление. Что Николаю сказать в ответ? Одно: вот скоро управимся, наладим... И усмехается Сергеич: знает это кругленькое «скоро» — не подцепишь, прежде пахло ладаном, теперь со всех заборов несет печатной краской. Погладил Николая по жесткой (щипцы, пилы, сверла) комиссарской руке:

— Говорил я, ничего из этого не выйдет...

Руку вырвал (ею хватать, кромсать, подписывать — пилы скрежещут, визжат буравы, смех свиреп). Встал и перерезал все, скрипя:

— Расследую. Прощай.

Понял: не только против глубоковых, но против этих, может быть,— дух захватывало,— против всех.

Фронт: Волга, степь Кубани, архангельская топь. Курбов дважды ранен. Три тифа — всех пород. Узнать ли тихого марксиста в этом кирпичном шаре под кожаным рогатым шлемом? Герой Майн Рида или наполеоновский гвардеец. Компас. Глоток воды. Отрезать отступление. Перехватить обоз. Фураж.

Гибли молодые Тагины — улыбчивые коммунисты из рабочих, узнавшие одновременно и азбуку, и мировую революцию. Гибли степенные крестьяне, честно, без обмана поделившие помещичьих коров и очень опасавшиеся воскресения из мертвых станового. Гибли разбойники и дезертиры (дуло в затылок, чтобы шли).

Курбов — погоня. Один предел — «скинуть в море». Видит: вечер, шепоток листвы, чувствительного, потного Сергея и Днепр.

Стал еще прямее, суше. Зрачок сгустился, потемнел и перестал искать. Наоборот, как бы пытался избавиться, увильнуть, прорваться к голой беленой стенке, к небу, где пусто и светло.

Под Черниговом белые поймали мальчика из комсомола, шестнадцать лет. Били шомполами. Живому пригвоздили ко лбу звезду с фуражки, подняли на шест («Виси, звездатый, красных дожидайся!»).

Курбов прискакал. Глаза сначала поверх, мимо: яркое и неуютное тряпье осеннего заката, в небе птичьи чертежи, рябина. Потом увидал: висит, на лбу звезда, на шее ремешок. Вплотную подъехал — лошадь билась. Пальцы комсомольца, запятнанные чернилами, напоминали: тетрадка с отогнутыми полями, пенал, ученическая прокламация. Курбов крикнул громко, никому, сильнее сжав поводья:

— Хорошо! О-чень хо-ро-шо!

В тот же вечер словили белого. Молоденький. Чем-то так напоминал комсомольца, что Николай машинально глядел на руки: нет ли чернильных пятен? Вели его. Храбро втягивал губы. Сорвал на ходу ягоду рябины — и в рот. Вспомнил дачу в Конюшках перед отъездом, когда пестреют астры, бьется парусина, возы, экзамены и мама. Мама! Не выдержал — упал. Просит Курбова: всё вместе — гимназия, сестренка торгует спичками, страшно умереть, шестнадцатого сентября — день рождения, ради Бога!.. Курбов, даже не отвернувшись, густыми темными зрачками глядя на белую рубашку (шинель содрали) — пусто и светло,— голосом отмерил:

— К стенке.

На небе красное тряпье. Здесь, вместо дисков, бессмысленная кровь и гадкая, густая духота.

15

После тот же фронт: тысячи заседаний, одних отметок, когда и где, версты. На пустых заводах. В залитых шахтах Донбасса. Субботники: брошюрочными ручками подталкивать вагоны; промерзшее железо жжется. Дискуссия. Хрипота, отчаяние, стакан воды, в стакане «гибнущая революция». Сразу, вместо революции и резолюции — лай телефона, тоже осипшего: «Тревожно... партийная мобилизация». Билет

РКП № 32 618. Снова с винтовкой. Промозгло. Пудовый шаг. Под утро сводка и морковный чай в нетопленном районном клубе, где пахнет участком, мышами, шинельной дисциплиной. Только отхлебнул — уж ждут: комиссия. Финансы. Транспорт. И в глазах рябит, как куст рябины, как небесное тряпье: диаграммы.

В барские гостиные, вслед за бородой Маркса и махоркой, втерлись «разверстка», «трудфронт», «Рабкрин». Теперь у Курбова не компас — портфель, похожий на мешок хозяйки с провизией: кому штык, кому трактор. Давно уже нет людей. Остались цифры, беспокойные, требующие тщательного ухода. Их обуть, насытить калориями, просветить, ввести в обетованный парадиз, приснившийся когда-то (число к числу приходит в гости). Считал и, даже засыпая, еще нырял в глубокие прохладные нули. Глотая наспех ершистый хлеб, давился не усищем — какой-нибудь просчитанной семеркой. Был рьян и праведен, когда вступая в клубы дыма, где страсти, подвохи, обходы, выравнивал сердце в колонны цифр:

— Необходим единый план.

Потом отчаяние: «Ну я, еще две сотни на верхушках. Из рабочих лучшие погибли. Крестьяне, сопя и чавкая, почесывая пуп, ждут — привстать. Теперь в кольце не Олег, не Зимний — мы. Да что крестьяне! Партия — почти что тесто. Взошло, ползет, вот-вот за миллион зайдет, как рубль — хапуны сюда, юлы, коты. Пожалуй, Власов нынче коммунист! Старые, свои и те поддались: принимая, рявкают по-генеральски, плюс братья и сватья, плюс страсть к изящному, до балерин включительно, плюс...» (Так по привычке считал партийные прорехи, как «пробки» или «незасеянную площадь».)

Прежних встретил; Глеб, когда-то ходивший на собрания, как в департамент, теперь торжественно и веско водрузил свое революционное седалище на кресло главка. Уже в передней пахло сановной скукой. Знал все пайки: «трамотский», «богдановский» и даже «милицейский». Пользовался лошадьми, и кучер Захар, несмотря на кризис, в грудях не подался, в окриках же был стилизатором: не то «поди!», не то «пади!», но так, что все неответственные — регистраторши, нештатные инструктора и прочие — готовы были тотчас же и пойти, и пасть. Пять минут пятого товарищ Глеб, загребая разные пайки под полсть, отбывал, причем мурлыкал грозно в кучерскую спину:

— И решительный бой...

Тимофей после изгнания меньшевиков закис. Без дискуссий он и дня не мог прожить. Война, блокада, голод, все равно, он об одном: взять бы партию, нашинковать, чтобы было много-много фракций, и после — фракция на фракцию...

Шел 20-й — третий, тягчайший год. Курбов, ослабев от пчелиного гуда в ногах до полегчания (еще немного — полетит), работал, не Курбов с биографией — икс с портфелем. Пока пришло «событие» — пустячное, из мелкой хроники, но много ль надо человеку?.. Шел по Моховой. Увязалась девочка:

— Подайте!..

Дал бумажку — не берет: «Хлеба!» Долго, среди зимней чумной тишины, бился голосок. Потом — в снег. Ноги в огромных солдатских сапожищах попорхали. Слюна. Хрип. И все. Николай — над ней. У самого такой же хрип, топорщась, прыгал в горле. Лезло из какого-то доклада: «Задержка грузов... банды... транспорт... в Москве не выдавать до двадцать первого числа...» Потом в доклад прополз осипший Сергеич: «Просыпься».

Дрожал. Снял драное пальтишко — тряпье ударило в нос уксусной кислой нищетой,— зачем-то отогреть пытался, как паровоз, дышал на лобик. В отчаянии искал тропинки от числа до этих невыносимо выпиравших ребер. Не отыскал. Но только долго стоял, сутулый, давший крен. Потом пошел и сразу — на знакомое пенсне: меньшевик. Приятелями были. Пенсне не медля:

— Что же? Хлеба нет?.. А у крестьян все отбирают... Уже в Тамбовской начинается... Мы ведь предупреждали... Народное хозяйство в корне расстроено...

И, выложив, блестит стекляшками: посмотрим, что он возразит? Ведь это же правда! Но Курбов молчит. Весь — ненависть.

— Уходите! Не то я вас сейчас же застрелю...

Пенсне — бегом. Поскользнулось, разбилось. И Николай неправдоподобно, как трагик в провинции, захохотал: ха! ха! Быть может, он и прав. А впрочем... Говорят, социалисты. И вот теперь на этой улице, где только что — ребра и салазки — злорадство. Нет, не слова нужны здесь, огромный пулемет. Собрать, ну, скажем, на конгресс, выстроить рядами и в полчаса всех ликвидировать.

Дальше! Но пенсне все лезло и дразнило разбитым стеклышком из темноты. К нему присоединились: седалище Глеба, шейка Мариетты и даже кряхтящий Сергеич. Мешают. Облипают потными тушами, смехом, ропотом, икотой. Ненависть, поклокотав, ушла морозным дымком. Стал, как всегда, прикидывать. Всю ночь нырял: из сугроба в сугроб. Под утро, вспомнив, вычислив, где-то на Садовой сам себе заботливо, как врач, сказал рецепт: необходим усиленный террор. Шапку — на лицо, руки — в рукава. Двигался по всем Садовым, не человек, но танк.

И днем, когда в Цека секретарь тупил перо, когда брезгливый Ялич, увиливая, рвался в Наркомпрод, Курбов, тоску вчерашнюю откинув, пошел туда, куда его вели любовь к числу и дикий подвиг, — в презренную чеку!

16

Можно взять простого человека, курносого ветеринара, который кормит слюнявых племянников шепталой, добряка, мечтателя и ротозея, подклеить к носу закорючку, подмазать, обработать — и в полчаса готов злодей. Племянничек посмотрит — навек забудет о шептале. Взяли дом. Обыкновенный. В номерах жильцы: немцы-коммивояжеры, молодожены из грустных захолустий — поглядеть «Омона» и «Трех сестер», орловский помещик — без «Сестер», один «Омон» и прочие. В подвалах — удельное. На черных лестницах котята и кухаркины ребята содружно пачкали, так что дух захватывало, а среди двора шарманщик проклинал разлуку и, предвидя гнев дворника, наспех подбирал пятак заспавшихся молодоженов. Словом, дом. Взяли и сделали такую жуть, что пешеход, подрагивая даже в летний зной, старательно обходит — сторонкой. Ночью растолкать кого-нибудь и брякнуть: «Лубянка», взглянет на босые ноги, со всем простится, молодой, здоровый — бык — заплачет, как мальчонок. Волчьи головни автомобиля, меховые куртки, дрожь председателя домкома: «Собирайтесь... гражданин...» — и надо всем — Лубянка!

Взяли дом, и стал он мифом. Лестницы, как будто их придумал Пиранези: тридцать три заледеневшие ступеньки, дуло, вверх — решетка, вниз — подвал. Там

духота, темнота, икота. Скользко. Табун автомобилей, храпящих, ржущих, мяукающих, вздыхающих отчетливо, раздельно, как баба на полатях. Войти и выйти — легче умереть. Заставы. Заграды. Здесь — штык. Там — смрадная параша. Во дворе — проходы, переходы, тупики. С лестницы на лестницу. Чем дальше, тем страшнее. Одна ступенька — и забудь, что на Лубянской площади оттепель, призывной с гармошкой, ребята, устроившие в заколоченных ларях хижины индейцев, что там, за пропуском, штыком, за некоей дверью — смех и жизнь.

Впрочем, Курбов не испугался, не заблудился, не грезил о винтах Пиранези — вошел спокойно, как в любое учреждение. На площадке поискал дощечку (некогда «массаж Цилипкис») — «Оперативно-секретный подотдел».

Войдя, увидел комнату, обычную, советскую, обсиженную, обкуренную — канцелярия. Был в этом некий быт, почти уют: схема девяти отделов цветными карандашами, портреты (и в секретном чуть-чуть насмешливо лоснилось знакомое лицо наркома, любящего муз), две машинки: «ундервуд» и «ремингтон», на большом столе — домашние лепешки, пролитые красные чернила, совсем оперативные, рубашки «дел», зачитанная книжка — Кнут Гамсун, «Виктория». Над «Викторией» — Людмила. Между двумя бумагами о применении «высшей меры», она, то есть барышня с машинкой, то есть Людмила Афанасьевна Белорыбова, читает, как Виктория любила, и томно ноет белорыбовское медлительное сердце. Бела, мучниста — вареная картошка. Булку приготовили, испечь же позабыли. Глядит — глаза как студень. Бровей, ресниц и прочих отступлений нет. Лицо как таковое. Под блузкой, что еще, крепясь, скрепляет нечто, лишь поскрипывая при неожиданном повороте, ясно утверждается такое же тело. Чрезвычайно флегматична, хоть двадцать четыре года, любви еще не знала, если не считать сочинений Кнута Гамсуна и прочих, из библиотеки в Петровских линиях. Правда, замзав, товарищ Андерматов, как-то упав в эти рыхлые и тряские просторы, лишил Белорыбову внешних атрибутов девственности, вознаградив ее за это хорошим, тихим местом в чеке. Но, пренебрегая видимостью, можно смело назвать Людмилу Афанасьевну девой. Андерматова не оттолкнув по прирожденной флегме, она

восприняла минуты страсти как небольшую неприятность, как, гимназисткой, уроки гимнастики и впоследствии, девицей,— танцы. Ничего подобного Виктории и прочим ветреным особам, от взгляда теряющим голову, Белорыбова не испытала; быть может, не пришел один, особый, способный поймать в сети белорыбовское сердце, быть может, Белорыбовы, как рыбы, не знали человеческих страстей. Зато она очень любила сон, тепло и бутерброды с чайной колбасой (конечно, еще вкуснее с языковой, но времена не те). Поэтому инциденту с Андерматовым обрадовалась: кстати.

До тех пор Людмила жила с мамашей. Прежде у мамаши была пенсия, и Милочка могла спать в натопленной до задыхания комнате хоть целый день. Просыпаясь, осторожно выдвигала из-под сложной слойки одеял белый жирный локоть, подбирала роман и бутерброд, медленно читала и жевала, снова вдвигала локоть, засыпала. Была прекрасна жизнь! После революции все изменилось: исчезли бутерброды, выдвинутый локоть в морозной комнате мгновенно синел, мамаша, промышляя продажей былых великолепий, дошла до милой Милы, до ее кроватки, так что из слойки шести стеганых осталось одно, почти ажурное. Все изменилось, только жизнь в каких-то книгах оставалась неизменной, и Людмила завидовала всяческим Викториям. Приходилось чистить картошку, ходить на Зацепу, колоть лучины, словом, музейную недвижность белых рук отдавать золе, морозу, занозам и прочим напастям. Мамаша стала невыносимой: каждую минуту плакала. Густо-лиловый нос на сморщившемся личике раздражал Людмилу.

— Милочка, да как же это все случилось?.. Всю Зацепу обегала, нет молока. Попалась баба — двести кружка. Я ей: «Да что ты! Креста на тебе нет!» А она как раскричится: «Тебе уж подыхать, а ты за молочком, туда же. Ты лучше сучьи сиськи пососи!» Какое грубое пошло простонародье! А на обед опять пшено. Ну, что мы будем делать?..

Лиловый нос, капля дрожит и прямо на Людмилу. Разлучаясь с быком Бласко Ибаньеса, лениво:

— А вам бы, право, уже время умереть.

Андерматов краток был. По случаю холода даже не снял меховой куртки, так что Людмилу все время щекотали клочья шерсти. Нахлобучив шапку:

— Служба будет. Приходите завтра. Паек хороший, например, три фунта масла (и благодарный за неожиданный дар — невинность, почти любовно), не растительного — коровьего.

Людмила даже улыбнулась — три фунта масла, распластавшись, сияли огромным бутербродом. Явилась точно, села за машинку, неумело, одним пальцем, и то распухшим от мороза, задолбила: «слушали», «постановили». Получив паек — пять фунтов баранины,— пришла горда. Дверь — триумфальной аркой. Мамаша вздыхала:

— Куда пошла!.. В чеку!.. Да там китайцы — под ногти гвозди, господи спаси!..

Но, вздыхая, острыми, как гвозди, пальцами вонзалась в мерзлое фиолетовое мясо, проверяя добротность. Впрочем, поесть ей всласть не удалось: оказалось много костей. Людмила задумчиво переживала и пережевывала вкусные кусочки. Мамаша, стоя сзади, задыхалась: надежда — оставит, всего не одолеет, ужас — еще берет, вот этот, направо, жирненький!..

А недели две спустя мечтательная секретарша переехала в особняк, бывший князей Дудуковых, на Поварской. В зале каток. В гостиной красномордый, как дуб, торчит «заведующий хозяйственной частью» — чего, неизвестно, главное, торчит, не выкорчевать. Людмила Афанасьевна обосновалась в будуаре. Поставила печурку. Дров не жалеет. Может вечером свободно, высовывая голый локоть, дочитывать роман: и так они, любя, страдали...

Днем же — на посту. Переписывает бойко — научилась. Пожалуй,— символ. Прохожим мнится Пиранези, инквизитор,— словом, опера. Здесь же учреждение. С десяти до четырех. Разносят чай. Бывают выдачи: гильзы, гуталин и даже курицы (к праздникам). Стучит исправно «ремингтон». Таких-то расстрелять. Через синюю бумагу с копией (в архив). Двадцать четыре. Какое имя чудное, верно, армянин. А это длинное — придется перенести. Всех к расстрелу. Бумага переписана. Пауза. Автомобили, нетерпеливо пофыркивая, дрожат. На столике «Виктория»: «Он шел к Камилле...» Так страдали! Так любили!..

— Товарищ Белорыбова, сегодня выдают дрожжи и билеты в цирк.

Шмыготня. Кто-то толкнулся, за дверью кашлянули:

— Перепишите: слушали — постановили к высшей мере...

Это кашлял Аш — заведующий подотделом. Круглое лицо с редкими, уходящими спиралью, волосиками на разных несвойственных местах: под правым глазом, в ушах и даже на носу. Глаза — не на Людмилу, вдаль, небесные, светлейшие глаза, такие только у щенят бывают — кто-то капнул две капли снятого молока. Не смотрят. Аш людей не замечает. Где-то в голубоватом молочном мороке далеких дней маячат просаленный капот в горошек и руки, пахнущие луком: мать Аша была исправной хозяйкой. Аш не часто, раз в год или в два, с конфузом вспоминает: его когда-то звали Сашей. Странные бывают в жизни положения! Засим пустоты: изредка пенсне, бакен следователя, морозный дым Сибири, отлетевшая пуговица, сломанный карандаш, выбитый зуб — жалкие, случайные приметы. Вновь капот, но чистый и в полоску: жена. Как случилось — неясно. Он не успел продумать, пришла часов в шесть, помешала, он глядел растерянно и ждал, когда уйдет. Но не ушла. Осталась. А утром вытащила из корзинки капот в полоску, стала достоверным фактом, раз и навсегда.

Аш не с ними живет, не с бакеном, не с дымом и не с той, что факт в полоску,— с идеями. Их много. Были — толстые («прибавочная стоимость»), потные, росли и угрожали. «Классовое самосознание» — стройна, черна — лань,— как в такую не влюбиться? Были и домашние («централизация организации»), пахли уютом, осенью, яблочной медовой тишиной. Знал, окликал по имени. Встречи, размолвки, примирения. Каторжанином, таская тележку, боролся не с конвойными, не с пудовым холодом, не с камнем, с одной залетной, кокетливой и явно непригодной в таком хорошем домоводстве, звали ее «эмпириокритицизм», а каторга, как оторвавшаяся пуговица брюк, слегка мешала.

Попав в чеку, товарищ Аш наставил свои голубоватые глаза на какое-то обширное постановление. Вскоре из параграфов отчетливо проступили дивные черты: суровое надбровие, покатый лоб, в глазах унылый одичалый восторг. Аш, очарованный, прошамкал: «Массовый террор», и в молочных каплях на минуту занялась радость, как в предрассветном облаке.

Затем он оглядел стол: стопочка бумаги, большие ножницы и красные чернила. Взял ножницы, стал бу-

магу резать: чик-чирик. При этом думал: вот так и контрреволюцию!.. Целый лист изрезав, сам себя словил на порче государственного имущества:

— За это и меня не мешает... чик-чирик...

Для образности поднес ножницы к шее, причем один длиннущий и совершенно ничем не обоснованный волос, произраставший нагло на кадыке, свалился. Всё же ножницы полюбились Ашу; допрашивая, он, как парикмахер, стрекотал. Когда же Андерматов подносил бумагу на подпись и Аш читал, что надо изъять неких смеющих «не только не понимать хода истории, но и вставлять в колеса палки», прежде чем напоить перо красным пойлом, он подымал вверх ножницы и чик-чирикал. Чувствовал: «Падает голова буржуазии, кровожадно подавившей июльскую революцию, Парижскую коммуну, затеявшей мировую бойню», так ясно чувствовал, что щенячьими слепыми глазенками залезал под стол: не там ли она? Но под столом валялись лишь тонкие полоски изрезанной бумаги.

Аш себя во всем урезывал. Пожалуй, листок-другой изрезанной бумаги — единственная роскошь. Пайков не брал. Ел черный хлеб. Чай пил без сахара. Когда случайно замечал на блюдце беленький кусочек или на краюхе хлеба, подкинутый тихонько Людмилой от служебного усердия, ломтик колбасы, негодовал: «При настоящем положении республики, в кольце блокады, такие непроизводительные траты!.. Усиленное питание необходимо занимающимся физическим трудом». Звал курьершу, товарища Анфису, столь монументальную, что, когда она на цыпочках вступала в кабинет, происходило сотрясение, протягивал ей бутерброд и отложенные тщательно в правый ящик стола кусочки сахара:

— Возьмите, товарищ, при ваших трудовых обязанностях вам необходимо усиленное питание.

Мясо Аш ел дважды в год: Первого мая и в годовщину Октябрьской революции. Раз, вернувшись домой не вовремя, часам к пяти (перенесли заседание на одиннадцать вечера), Аш застал нечто ужасное: факт в полоску, то есть жена, спокойно лежа на реквизированной софе, жевала белый хлеб с вареньем. Конечно, Аш мог бы не заметить преступления (так, однажды, он вошел — капот в полоску был распахнут и в его глубинах ютился какой-то усатый курсант, но, переживая интриги военспецов, Аш даже

не взглянул на потревоженную парочку). Теперь же белизна давно не виданного каравая ударила в небесные глаза. Остановился, задумался и, взяв со столика кривые, крохотные ножницы жены для маникюра, приступил к допросу:

— Откуда?

— На Сухаревке...

Аш молча вышел. Ночью он принес со службы нечто длинное, завернутое в «Известия». Жена спала. Разбудил.

— Если я еще раз обнаружу купленные у спекулянтов продукты, прибегну к высшей мере наказания.

И вынул из «Известий», перед сонной, обалдевшей от ужаса супругой, огромный дуэльный пистолет, взятый при обыске и завалявшийся в кабинете Аша как ни на что не годный.

Таков был заведующий подотделом. Обыватели шептались: к нему попасть — крышка. Сам расстреливает и пытает. Английской булавкой ковыряет мозги. Знавшие Аша, наоборот, утверждали: добрейший человек, мухи не обидит. (Последняя деталь вполне точна: однажды Аш в Женеве прокорпел полдня, снимая с липкого мушиного листа, подложенного жестокой домовитой женой, погибавших мух.) Но никто не знал, что в кабинете Аша жила высокая смуглянка, дикая идея, имевшая глаза и губы, по имени «массовый террор».

Товарищ Андерматов диктовал. Товарищ Белорыбова отстукивала. Аш читал, и на минуту встречались две пары глаз: черные, летучие — идеи, щенячьи, чистенькие — Ашевы. Потом курьерша, товарищ Анфиса, подымая топот на весь страшный дом, несла бумагу по проходам, закоулкам. И, предчувствуя бег, нетерпеливо ржали разгоряченные автомобили.

Диктовал и составлял товарищ Андерматов. Другая порода: голова засеяна, ногти тщательно возделаны, галстук артистически небрежен, и всё на месте — не отдельные волоски, например, а прекрасные усы. Глаза, как темные черешни, обещают сладость (только косточка горька). Красавец! Нужно воистину белорыбовское сердце, чтобы, познав, как он, похожий на арабского коня, целуя, фыркает, вернуться равнодушно к бутербродам. Другие, брошенные им, кидались из окон, глотали толченые спички или, назло, выходили замуж за добродетельных старых уродов. Узнавая об этих эпизодах, Андерматов только улыбался, правда, трагически.

Был трагичен с нежных лет. В миг рождения сразу причинил большую неприятность матушке, тишайшей супруге дантиста: пошел ногами. Сам от подобного пассажа съежился, чуть-чуть не кончился. А на четвертом месяце совсем необычайно проросли зубы; тишайшая, выронив наследника, так взвизгнула, что прибежал из кабинета папаша, как был, то есть со щипцами. Дальше все напоминало стилизованную новеллу. Мальчишкой тихонько прошмыгивал в кабинет, играл с пилками, щипцами и сверлами. Особенно чтил бормашину, мечтая: вырастет, всех свяжет, кинет в кресло и начнет сверлить. Когда отец принимал, подслушивал у двери: слаще музыки — слезы, охи; папаша чистит инструменты — лязг и блеск; вой часовой — дерет, в плевательнице сгустки крови и (венец!) серебряное очистительное булькание — полощут рот.

Впоследствии к искусству пристрастился. На диво всем, в семье захудалого дантиста, с женой, способной только грызть сухарики, посыпанные тмином, и икать, рос сноб. Трагичность явно выпирала: на стенках — Гойя и Бердслей, в передней какой-нибудь клиентке с флюсом — в ухо — стих Бодлера.

Юный Андерматов, оглядывая сухари, «Ниву» в приемной и прочее, изнемогал от собственного превосходства. Мир мелок, нет в нем места для черешневых зениц, презрительного колыхания задом и только что всходящих грустных усиков. Значит, надо миру мстить. Но как? Сначала еще детские мечты: стать, как отец, дантистом, каким-нибудь наглым аристократкам, не желающим даже взглянуть на Андерматова, сверлить часами десны. Но с годами хотелось большего, тем паче что профессия зубодера не шла изящному ценителю Бердслея. Вообще, профессия — вещь низменная. Пускай отец содержит: должен гордиться таким сыном. И, не находя простора для своих сатанинских упований, когда окончательно надоело ругать мамашу так, чтобы она с перепугу икала, или щипать до крови, накинув лишний полтинник, на все согласных девок, Андерматов, выдавив из своих черешен любовную трагедию, женился на гимназистке Зине Чишкиной, пухлой курочке, и сразу же все двадцатитрехлетние проекты применил на ней.

Чишкина, чего-то, а может быть, и ничего не сообразив, после брачной ночи, утром, по привычке, пошла в гимназию. Урок закона Божьего. Закрывшись

крышкой парты, Чишкина сообщила подругам нечто столь ужасное, что, пренебрегая батюшкой, весь класс взревел. Чишкину заставили немедленно взять в канцелярии бумаги и отправили под конвоем швейцара к супругу.

Два года Андерматов творил. Осознав себя похожим душой и телом на восточного принца, возжаждал рабынь. Зина должна была утром голая, повязанная старым шарфом, купленным у антиквара Черномордика, прислуживать, а именно: стоять с мохнатым полотенцем, спину волосатую Андерматова натирать францбрантвейном (для оживления) и, пока владыка пил кофе, в живописной позе лежать у ног, копируя какую-то картину (кажется, Делакруа). Имя свое (Игнат) презрел и жену заставлял звать себя «Эльзевиром».

Три года Зина проделывала все это и многое иное (интимного характера). А на четвертый, познакомившись с неким веснушчатым тапером, исполнявшим столь печально «Веселую вдову», что глазки Зины покрывались испариной, сразу все сообразила и взбесилась. Андерматов ждал мохнатого полотенца, супруга же в это время изгоняла печали из тапера. Так и не дождался. Увез тогда ее на дачу в Сокольники и запер. Отпускал только на полчаса, собирать колокольчики, коими она должна была посыпать его коврик у кровати. Вдруг — конверт: бегала «до востребования» получать! Что же, Андерматов в трагический час показал: он не купчик, не крепостник, но Эльзевир, читающий Бодлера.

— Иди к тому кретину, но письма его дай мне. Я их читать не стану, я уважаю тайну переписки. Я буду их хранить в запечатанном конверте. Но когда, через неделю или через месяц, ты, осознав, кто я и кто он, вернешься с повинной, я прочту их, чтоб наказать тебя.

Час спустя он получил большой, желтый, сургучом запечатанный конверт. Проводил жену брезгливым взглядом. Стал ждать. Вот-вот придет... несчастная, познавшая все превосходство Эльзевира, будет плакать, ерзать, молить. Тогда он вслух перечтет все письма: каждым словом станет бередить. По слогам, с расстановкой: «Лю-би-мая» — ну, как любил? Хи-хи! Ну, как? «Це-лу-ю» — вот что! А куда? Извольте, сударыня, каяться во всем! Ждал месяц, другой. Вечерами, облизываясь, вынимал желтый конверт и щелкал, чтобы шуршало: в нем много писем, штук двадцать, на двадцать вечеров потеха!..

Год прошел. Ждать надоело. Зина где-то на Плющихе блаженствовала, произвела младенца и предавалась прочим мещанским радостям, не думая о скорбном духе Андерматова. Под Новый год Андерматов купил бутылку шампанского и заперся. На столике: бокал, конверт, свеча. Разделся, обмотав вкруг бедер шарф Чернсмордика, чтобы выглядеть трагичнее («плоть — горька»). Походил он не то на наказанного Адама с нравоучительной картинки «Грехопадение», не то на банщика из Сандуновских, разочаровавшегося в чаевых. Сам, на губах изобразив двенадцать, выпил бокал и осторожно вскрыл конверт. Сейчас узнает, надругается над ними, будет всем читать (и где-то в памяти приятно застрекотала бормашина).

Бумага, много туалетной бумаги, и Зининым куриным почерком выведено: «Ку-ка-ре-ку!»

От гнева взревел. Наутро в трубочиста, пришедшего поздравить с праздником, швырнул коробкой пудры. Словом, очумел. Стал сложно, обдумывая все детали, пакостить кому придется. В душе таил надежду: доведется еще встретиться с изменницей, тогда... Заранее штудировал «Сад пыток» и выбирал. Например: привяжет ее к нему (он вместо ложа) и выдаст роте солдат, предварительно их напоив. Правда, дорого и сложно, но он сумеет. Беда, что он не выведал фамилии этого паршивенького музыканта. Даже в лицо не знает. Встретит — может мимо пройти...

Как Андерматов попал сначала в партию, потом в чеку — никто не знает. Пришлось как будто подделать бумажонку и просидеть недели две над разными скучнейшими брошюрами. Это было во Владикавказе. Там побаловался малость, душу размял, генералов допрашивая, особенно же одну хорошо сохранившуюся генеральшу. Уже уверенный, с мандатами и прочим, прибыл в Москву, где, очевидно, обреталась мерзкая чета.

В дни всяких чисток и проверок, когда интересовались совсем неинтересным и интимным, к примеру, чем занимался товарищ Андерматов до октября 1917-го, он, предварительно выпив бутылку брома и отправившись на полчаса к какой-нибудь особе, вроде Белорыбовой, чтобы, получив удовлетворение, стать спокойней, отвечал уверенно и деловито. Вместо «Эльзевира» и францбрантвейна, получались: организация, работа, ссылка. Аш умилялся бескорыстности.

Все уважали. Был счастлив, гладя томно списки осужденных. Отыщет Зинку, и тогда... О, это лучше бормашины, лучше роты подвыпивших солдат. Клал на стол листок с «ку-ка-ре-ку», бережно хранимый для расправы, револьвер, мандат и от предчувствий сладострастно фыркал. Но,когда входили Аш или кто-либо чужой, тотчас менялся, ухитряясь даже своим трагическим черешням придавать строго марксистский оттенок.

Так и теперь, увидев Курбова. Знал: важный и опасный, не проговориться бы...

— По предписанию оргбюро...

Аш, ножницы оставив, доверчиво вперил голубоватые.

— Вот хорошо! Вместе будем работать...

(Уютно, по-домашнему, как будто «вместе будем класть пасьянсы» или «собирать грибы».)

Белорыбова и та, на минуту вдохновенно отдернув руку от «ундервуда», как на эстраде пианист, уставилась на Курбова. Подумала: «Красив... Но не моего романа... Мне нравятся толстые и чтобы были закручены усы... Впрочем (вспомнив Андерматова), об этом лучше читать — спокойнее...»

Деловито Андерматов ввел Курбова в гущу работы. Закончил:

— Очень ответственный момент. Есть данные о крупном заговоре. Небольшое заседаньице...

Курбов осмотрелся, принюхался. Пахло, как всюду, пайками и бумагой. Конечно, барышня советская... Еще две пары глаз. Один — угодник, благочестив и кроток, таким бы — в рай, чтобы приятно стрекотали крылышками, а не в чеку. У второго в глазах притон, так и сочится на пол сало. Скорей всего, подлец. А может быть, полезен? Тогда хоть с чертом! Лишь бы вытряхнуть, выветрить; дать тем, другим, счастливым, сидящим не в чеке, а в разных благородных наркомпросах,— дышать.

17

Ясно: заговор. Сначала барон в Крыму недаром брил татар. Сообщение «Росты»: небольшое отступление. Слово «Алешки», шлепнувшись на московские заборы, всколыхнуло забытые надежды. Затем барона тарарахнули, но объявились прыгунчики на

шарнирах и голосящие членораздельно мощи. Далее, меньшевики вынесли несимпатичную резолюцию. Почти что забастовка. В Тамбовской продкома повесили. Сейчас на очереди Москва. Знают: по черным лестницам, по проходным дворам снуют франты и франки, торкаются в военные штабы, вместо мостов подрывают папки служебных дел. Заговор близко, может быть, в ста шагах от Лубянки, кушает французскую беленькую булку, крестится на всех Георгиев, растет, жирнеет. Где-то безусловно болтается его хвостик, то есть язычок какой-нибудь болтливой жены или любовницы, но как его поймать?..

Андерматов сидит над грудой показаний, кокетливо лорнируя огромной лупой. Может быть, какой-нибудь неосторожный росчерк и есть вожделенный хвост?..

Перебирают доносы просто и донесения секретных сотрудников. Старый Карл на стенке, слушая замоскворецкие неторопливые пересуды, пахнущие рассолом, предбанником, где чай и шайка, словом, отнюдь не диалектикой, но Азией,— смеется. Впрочем, смеется тихо, в бороду, никому не мешая. Зато Курбов грохочет: это, кажется, m-me Глубокова — сейчас приедет диван обманутого мужа. В чеке — журфикс.

Какой-то адвокатик, моментально покрасневший, не от стыда, но от натуги (добывая усиленный паек и ордерок — супруге шубу), негодует: вчера он два часа беседовал с писателем Бобычевым: заговорщик. Данные? Сначала говорили о пайках. Бобычев проявлял агрессивное безразличие (остатки саботажа). Потом зашли в чащи абстракции. И что же? Бобычев средь бела дня на Театральной площади, не смущаясь, что рядом Дом Советов и милиционеры, выпалил: «Все дело в духе». Адвокатик не может: Немезида, рази!

Далее, на хорошей бумаге увесистый увраж о злодействах контрреволюции. Пишет спекулянт Папьянц. В его квартире реквизировали комнату антантовы шпионы. Уверяют, что коммунисты, но партийных билетов нет. Папьянц решил проверить, приказал дочурке благоговейно исполнить «Интернационал». Самозванцы не только не встали, как подобает, но один, презрительно сплюнув на ковер (национализированный, как и прочее, то есть составляющий собственность советской власти), закричал: «Врет! Сил нет слушать!» Посему Папьянц, перечислив все свои

заслуги, как, например, пожертвованное нечто в 1905 году на нуждающихся студентов, просит самозванцев срочно расстрелять, а в случае каких-либо амнистий, по меньшей мере, выселить из реквизированных комнат, где Папьянц — главлес, жена Папьянца — главсахар, сын — главгвоздь, и все в каких-то шести каморках!

Наконец — последний. Здесь даже Белорыбова, отпадая от Гамсуна, прислушивается. Некто, бывший судебный пристав, Холщенников, не выдержав, доносит сам на себя.

«Стоя на страже интересов рабоче-крестьянской власти, считаю своим долгом донести вам о покушении на государственное преступление, произведенном мною, гражданином Евгением Холщенниковым, заведующим хозяйственной частью студии героически-комического театра, проживающим на улице Интернационала в доме под № 47. Как известно, в квартире № 4, бывшей моей, проживает с июля месяца 1920 года политком военно-хозяйственной академии товарищ Сивохин, который в свободные от занятий часы высоко поддерживает мое революционное самосознание. 26 января сего года товарищ Сивохин пригласил меня к себе и, по случаю наших дипломатических преуспеваний, угостил трудовым ужином, содержание коего вам, по моему разумению, известно. Все же считаю своим долгом указать, что, кроме морковных пирогов из серой муки, по шести на товарищескую персону, и пшенной каши с компотом из сушеных груш, имелась бутыль спирта, по уверениям товарища Сивохина, не роняющая нашей классовой выдержанности и незаменимая в военном хозяйстве. Откровенно признаюсь, что не помню, как я пришел к себе и лег рядом с женой моей, неспособной к труду, о чем имеется постановление комиссии за № 3481. Проснулся я от зычного голоса. Надо мной стоял инкогнито, для сокрытия своего лица и партийной принадлежности завернутый в простыню. Инкогнито толкал меня пребольно в живот кухонной принадлежностью, коей когда-то взбивали сливки или же куриные белки, и кричал: «Евгений, ты благословен в женах!» Осмыслив этот контрреволюционный призыв, я взглянул на свой чрезвычайно увеличившийся живот и во многом усомнился. Далее настало мое злодеяние: вытащив из печки уголек, я начертал на своем голом животе справа,

выше пупа, упраздненную букву «ъ» в крупном масштабе, слева, внизу «В.Т.Т.З.М.», что должно было означать «вынашиваю торжественное тезоименитство законного монарха». Ныне, осознав свое преступление, прошу меня в срочном порядке ликвидировать, а в награду за чистосердечное показание паек студии героически-комического театра выдавать после моей ликвидации неспособной к труду супруге, гражданке Марии Игнатьевне Холщенниковой».

Аш и тот не выдержал — улыбается. Молочные глазки засветились, младенчик запросился на икону: грудь сосать или играть румяным яблочком.

Впрочем, за дело. Пришел секретный сотрудник Чир. Прошлое его — туман. Был максималистом. Убрал не менее пятидесяти «фараонов». Налеты. Какие-то пятисотки. Теперь — великое усердие. Пропавший голос, легко заменяемый тихим хрипом, ползущим из самого живота, и на лице раскиданные щедро скверные прыщи.

Вновь перебирают донесения, письма, показания. Всё ерунда, всё около да рядом. Заговор играет в жмурки: под ухом шелестит франчишками, резвой ручкой военрука щиплет огромный политкомовский зад и всячески шалит — то в Мертвом переулке, где снег по плечи и «отдел охраны памятников старины», медведем рявкнет: «Становись во фрунт!», то на Красной Пресне, быстро гримируясь, чтобы получились мозоли на ладонях и пот на лбу сиял, забыв о франке и о фрунте, выглядит совсем марксистом: «Свободные выборы»,— не угѣдно ли? Как защемить юркий хвост?

Аш серьезен. Предлагает: изучить классовую природу, пересмотреть архив. Разослать анкету. Реорганизовать подотдел. Конечно, все это весьма занятно. Но где же заговор? И Андерматов протестует: ждать нельзя. Изъять по спискам — тысячу, две, пять. Списки же готовы. Белорыбова запотела, переписывая, почти что адрес-календарь «Вся Москва». Начинает по алфавиту: Абаров, Авигов, Агарин, Адельсон, Ажевский... Андерматова, увы, нет (дядюшка уже изъят за былую непочтительность), зато есть просто Андер. Произносит он имена с особой материнской нежностью, утомлен и бледен — не шутка: пять тысяч детей. Снова возражения. Курбов — против: может быть, изъять и не мешает, но это каникулярные дела, теперь же спешно, раз заговор, не пять тысяч, а просто пять, не по алфавиту, даже без прописок, через хвостик. Пауза.

Тогда выступает Чир:

— Тсс... Что-то...

— Что?

Встает и, отливая прыщавым, пятнистым лицом под Марксом, величественный, как пифия, выдавливает из утробного тюбика одно:

— Здесь Высоков.

Чир недаром становился в позу: эффект необычайный. Аш, оглядывая ящики стола, как будто Высоков в них, пришамкивает:

— Вот как! Высоков! Истребить...

Андерматов хочет скрыть озноб. Не удается. Рука с папиросой на лету вычерчивает ужасные кривые. На радиостанции прочли бы: SOS, а проще, в обиходе: ай-ай-ай! Страшно! Что стоит Высокову меня ухлопать?.. Лучше не выходить на улицу. Впрочем, может и сюда пролезть. Андерматов, при всем трагизме, хочет жить. Как спасательный круг выплывает: взять отпуск. В здравницу: пить молоко с пенками, вести дневник. Не пустят! И папироса, отчаявшись, влетает в ухо вместо губ.

— Вот до чего рассеян. Хорошо бы отдохнуть...

Это к Курбову (ведь он важный — с цекистами на «ты»), но Николай не слышит. От слова «Высоков» он проснулся, преобразился: наконец-то враг! Снова, как-будто год тому назад — английские френчи, названия станиц, на рубашке рыжая, сухая кровь, на карте красным карандашом отчеркнуто: *к 6 ч. занять*. После мушиной скуки канцелярий, шама Аша, андерматовского алфавита, дряни, чепухи, тика часов, тука «ундéрвуда» — взрыв. Оправданы пайки, подвалы, липкое, плохое дело — Чека. Николай, помолодевший, разгоряченный — чуден! Сюда бы Пушкина не мешало: воспеть. Отхлынувшая кровь готовится к прыжку, громко грохочет под котлами: сердце и висок. Наконец приподымается рука: в ней розовый огонь, четкий хруст, сгиб, расчет до миллиметра, страсть и воля. Даже Чир, презирающий эстетику, включая оперу «Гугеноты», морды девок и плакаты на Кузнецком, и тот залюбовался. Потом, недовольный своей слабостью и перемещением центра внимания, вновь зашипел:

— Натолкнулся случайно. Есть такая Машка Свеклокуша. С военморами в «Лоскутной» промышляет. Впрочем, пускает всяких. В мае через нее я спекулянтика Заркевича словил. До ужаса вместительная девка. Так вот она в субботу отправилась на Сухаревку за пудрой: выдерживает чин, и там подцепила сморчка.

Сморчок продавал нюхательный с мятой и сам все время чихал. Она к нему с разумным словом, а он «апчхи», и никаких. Но обещал серебряный полтинник и фунт рафинаду. У нее — как полагается, но только, принимая во внимание седину и чихи, удивилась: слишком резвый. Уснули. И вот, на счастье, Свеклокуше какая-то дрянь приснилась: будто она под деревом. На дереве растет вобла, и та вся обглоданная — одни головки, а внизу китайчонок с пушкой. И будто говорит он: «Если ты мне не сорвешь вот эту воблу, я тебя из пушки расстреляю в пуп». Девка испугалась (хоть не трусиха, но это ведь во сне) и вцепилась в бороду сморчка. Проснулась, глядит — у нее в кулаке пук волос, сморчка как будто и не бывало, а рядом дрыхнет молоденький, еще подхрапывает, сволочь. Машка ему со злости всем фунтом рафинада по бритой морде:

— Мазурик!

Взревел. Опомнившись, попытался было нос закутать в бороду. Не удалось. Помолчал и бух (если только девка не врет) — стал Машкины коленки целовать: «Ты, говорит, мое просветление. Я не мазурик, а высокий человек. Идеалист я — вот кто, против китайцев. Я из тебя сделаю избранную деву».

Машка, понятное дело, расчувствовалась, но полтинник все же взяла и днем забежала ко мне. Я сразу понял, кто — Высоков. Он ей и рандеву назначил. Обещала выпытать: девка — молодец, прямо комиссар. Ко мне ей шляться не годится: может быть, высоковские молодцы следятъ. Пришлет записку с подругой Сонькой, тоже такая, «лоскутница»...

Закончив романтический рассказ, Чир победоносно улыбнулся, и прыщи засветились великолепными опалами. Стук. Курьер.

— Товарищу Чиру.

Странно. Не письмо — пакетик. Развертывает быстро: коробка спичек Лапшина, а в ней вместо спичек живой жирнющий таракан, водит усищами, внимательно осматривает учреждение. Недоумение. Брезгливо жмется к стенке Андерматов: он боится не только Высокова, но и тараканов. (Впрочем, это не страх, а чувство эстетического превосходства.) Аш отважен — готов нападение отразить, уж ножницами чик-чирик. Только Чир, удовлетворенный, щурится на таракана, как кот на мышь:

— У нас теперь все нити. Свеклокуша выведала. Знаете, где заговор? В «Тараканьем броду».

Опять мело. То есть встречались дыхания двоих: отощавшей, очумевшей, согласной не дышать Москвы и московской зимы, весьма добротной. Москва сначала сопротивлялась. В четыре распахнулись двери тысяч канцелярий, и в зиму задышали различные теплые шарики, порой кокетничая наушниками по ордеру или старорежимной муфтой. На бульварах продавали спички. Вокруг распределителя № 48 прибой метели тщетно пытался смыть материковый державный запах доморощенной капусты. Словом, торжествовала жизнь. Но вскоре метель, покрутившись в поле, за Рогожской заставой, разъяренная, опять дохнула, и Москва сгинула. Милиционеры, папиросники, даже фонари пропали. Только клочья стенных «Известий» еще вздыхали в такт метели.

Вдруг на Цветном бульваре, возле цирка, показались трое. Правда, казалось, не идут они — несутся прямо от Марьиной рощи, выдышанные полем. Но это — оптический обман: шли стойко, подрубая снежные столпы, с адресом и с волей. Чуть покрутившись на углу, загнули. Две папахи, платок с ушками — трехмачтовый парусник.

Наконец причалили. Куда — не видно. Оснеженные окна чуть светились, не фосфорическим снегом, но своим внутренним светом, желтым, животным, теплым, напоминавшим сразу лампадку, старческую кожу и мед во рту. Одна папаха храбро навалилась на дверь. Другие помогли. Через минуту примерзшее дерево поддалось, ахнуло, впустило.

— Здесь. Пришли.

Голос Чира. Значит, Чир привел. Чир — умник. Ему бы не «фараонов» бить, не закидывать удочку на спекулянтских пескарей, а прямо сесть с Ллойд-Джорджем в дурачки играть. Даже штат у него министерский. Что́ девка? Дура! А Свеклокуша — дипломат. Не только прелестями натуральными прельстила Высокова, но все выпытала и сообщила так, что Сонька, принесшая коробку с тараканом, никак не могла догадаться, в чем дело, страдая же сызмальства любопытством, пристала за полночь к военмору Масодаву:

— Какой есть символ таракан?

Масодав, подумав, изрек:

— Это и младенец знает — большущий, говоришь, с усищами? — следовательно, польский пан, Пилсудский.

Свеклокуша знала: Чир не Сонька — сразу догадается, ведь не раз совместно дули самогонку и даже как-то спали в «Тараканьем броду». Так и случилось. Военмор мог философствовать, Аш чиркать ножницами, Чир знал: заговорщики встречаются в задних комнатах вегетарианской столовки «Не убий» в Девкином переулке.

Курбов захотел сам попытаться выследить: дело серьезное, никому нельзя доверить. Почему, получив папаху и шинель, стал вполне мешочником. Увязалась еще Людмила Афанасьевна. Она как раз зачитывалась Джеком Лондоном, очень хотелось наяву увидеть московские Техасы. Высоков ей представлялся ковбоем в шляпе с кожаным ремешком. Что же, с барышней даже незаметней. (Это заключение Чира.) Белорыбова послушно намазалась без всякой нормы, повязалась платочком, обещала пить самогонку, не чихая, и, если понадобится, соответствующего соблазнить.

Втроем ввалились. Курбов от метели стал еще крепче: надышался. Сам теперь может выдохнуть такую же. Чир — завсегдатай, как дома. Людмила Афанасьевна слегка трусит, даже подумала: не стоит читать вздорных книжек, лучше просто служба и бутерброды. Как следует додумать ей не дал Чир. Пользуясь конспиративными преимуществами, обнял Белорыбову за текучую неопределенную талию:

— Вы, цыпочка, не сомневайтесь: косых не пожалею...

Пусто и морозно, вроде сеней. На прилавке умывальный таз с солеными огурцами и фруктовая вода. Ни печки, ни людей. Только какой-то безобидный старичок ест очень медленно, обсасывая со смаком жесть ложечки, ненормированный продукт — простоквашу.

Но здесь не задержались. Одолев еще две двери, коридорчик, пустую кухню, где отчаянно мяукала кошка, выплыли в открытое море. Остолбенели: свет, тепло. Люди, много людей на скамейках и под. Горланят, поют, играют в карты, здесь же блюют. В носу защипало от крепкого настоя: мокрой овчины, пота, сивухи и рассола.

Ловко лавируя среди бутылок, шапок, морд и сапог, подошел хозяин, Иван Терентьич Шибитов, церковный староста, почти что мученик за веру: в восемнадцатом, вступаясь за попранную церковь, он целый день ходил по Тверской в крестном ходу и возле Дома Советов, став в позу наподобие пророка Иеремии,

сначала прогнусавил «Христос воскресе», а после, недовольный,— дом стоит, и даже плакаты все на месте — показал фасаду и флагу кукиш. Впрочем, вскоре, будучи человеком очкастым, следовательно, степенным, он подобному мученичеству предпочел реальность. Походил, понюхал, подумал и к весне совместно с Ваней Острюжиным, прежде половым в «Стрельне», а ныне коммунистом безработным, но и беззаботным, стал неожиданно для всех «трудовой артелью». Другие регистрировались: ботинки из боб-рика, бисер, деревянные ковши с молотом-серпом, словом, идиоты. Трудовая артель, то есть Иван Терентьич в широком толковании, человек благочестивый, облюбовал вегетарианство: божья заповедь на вывеске по новой орфографии. Получили ордер на целый дом: правда, дом вроде курятника, только на слом годится, но все же двухэтажный. Прежде, в дни юности и счастья, в нем помещался изысканный бордель мадам Аннет с румынскими девицами. Потом мадам Аннет со всем приплодом выселили на Ямскую. К дому прибили жестянку «Союз рабочих кожевников» (приличные жильцы, оценивая запах, а также наименование переулка, браковали). Союз попах кожей, но был также вскоре выселен в Бутырки. Дом долго пустовал, пока в нем не поселился отставной вахмистр. Занялся он разведением морских свинок для бактериологического института. Свинки плодились, пахли, так до самой революции. Не выдержав дипломатической изоляции России и восьмушек, вахмистр преставился. Свинки тоже сдохли. Мебель растаскали на растопку. Остались только тяжелые слои запахов различных эпох — от румынской пудры до мокрой соломы воспитанниц вахмистра.

Вот в этом историческом сооружении обосновался Иван Терентьич. В бывшей зале — вегетарианская столовая. Иногда заходят дураки на вывеску — какой-нибудь ветеринар, приехавший в командировку, или дама, продавшая последнюю гардину и высчитавшая, что в столовых продукты должны обходиться дешевле — «массовое потребление». Дураков не гонят, дают кому пшенной каши с растительным маслом, играющим различными цветами, будто нефть, кому огурчик, кому простоквашу. От этого один убыток, но иначе «артель» — не артель. Притом уж говорилось — Иван Терентьич человек благочестивый, совестливый,

не может «вдов, сирот», то есть даму без портьеры или заезжего ветеринара обидеть. Тем паче знает: масла такого радужного подольют, что ветеринар, вернувшись в Калугу, скажет жене, романтически бледнея: «В Москве есть Девкин переулок, вот сколько буду жив, не забуду — у-жас!»

А в задней комнате, куда Чир привел сослуживцев,— никаких «ужасов», пожалуй, кроме собачьей колбасы. Иерархия напитков — от самогонки, пахнущей дерущим нос и нёбо деревом, минуя спирт с анисом, до коньяка. Последний по подданству мадьяр, по роду занятий красильщик (скорее всего, таким чистят будапештские перчатки). Иван Терентьич его подносит в кофейных чашках совместно с собачьей колбасой особенно взыскательным, которые требуют, чтобы всё — «как в заграницах». Раз Миша Мыш, укокошив накануне артельщика главкожи, нагло, на глазах у Чира, даже не угостив его, выпил пять бутылок коньяку и слопал при этом копченого пса, разложенного на колбасы, за что вскоре и кончил свои дни у стенки. Впрочем, это было после и вне. Внутри — нейтралитет. Иван Терентьич, повесив в угол Троеручицу, к ней подпустил и Троцкого в шлеме, принимающего парад. Чира он уважает, поит бесплатно спиртом и часто, уводя к себе в угловую комнатку, где отдыхают под перинами жена и три дочки, многое ему сообщает из интимной жизни посетителей. Зато Чир обещал ни в помещении, ни в Девкином вообще не хватать и обещание держит. Поэтому «Тараканий брод» считается местом безопасным, почти как посольство: за полтора года ни одной облавы. Для многих это бóльшая приманка, нежели мадьярский коньячок для того же Миши Мыша. Для Леща с ребятками, художника, печатающего в день до тысячи косых, не отставая от советской власти и сохраняя нежно все ее причуды, вплоть до китайских букв. Для Пелагеи (при женском имени — мужчина, даже не без блеска, то есть с напомаженными усиками), ухитряющегося и ныне, как в семнадцатом, с примерным педантизмом ежевечерне честных спецов освобождать от шуб. Среди таких буколически восседают, друг другу не мешая, Чир или Шмыгин (сотрудник эмчеки). Это все буржуи, «коньякщики», если прибавить к ним Троеручицу,— оплот и умиление Ивана Терентьича.

Далее — золотая середина: скупщик амуниции Чиваров; дедушка Тимоша, продающий кокаин, не без

подмешанной известки (просто отколупнул от стенки, и пять косых в кармане), от которого девки чихают, бесятся, друг другу рожи царапают; тихий Зильберчик, романтически влюбленный в романовки, взглянет на свет: Петр Великий, и прослезится; Свеклокуша; Танечка Типунчина, местная Кавальери, никаких изъянов, если не считать лиловеющих плодов ласк ревнивца Леща, историческая девка, гордящаяся тем, что спала с тремя режимами, то есть с приставом Басманной части, с самим министром при Керенском и с каким-то заспанным профессором коммунистического университета, который принял ее за неофитку. Все это среднее сословие пьет предпочтительно спирт с анисом, зря деньгами не швыряясь, но и не скупясь, к коньякщикам чувствуя должное почтение и презирая чернь.

Чернь же, как черни полагается, безымянная. Иван Терентьич, снисходя, пускает всех: мешочников, папиросников, извозчиков, девок. Приходят спившиеся интеллигенты, облезшие от недоедания бородки макают в самогонку и, быстро охмелев, скулят: «Идеалисты в дураках, вот вам народ, а мы еще за него распинались!..» Таких прежде Миша Мыш, а теперь, после его преждевременной кончины, Пелагея мимоходом бьют валенками по носу до изгнания из чрева самогонки и идеализма. Порой извозчик, от лютости напитка чумея, ярко-фиолетовый, вообразив, что вся вселенная козлы, садится на голову Ивана Терентьича и восседает, но примятый все теми же блюстителями порядка, до утра валяется среди сугробов Девкина переулка. Девки усердствуют и, пользуясь благоприятной температурой, не менее двадцати градусов, коньякщиков соблазняя, расстегивают все что можно, вытаскивают наружу большущие пенистые груди и похлопывают их, как разносчики арбузы: вот что, не обман...

Для дальнейших процедур во втором этаже имеются четыре комнаты. Иван Терентьич, любящий высокопарность, зовет их «номерами». Обставить не удалось — но много ли человеку надо, особенно в минуты экстаза? В двух подороже, впрочем, кровати, даже с одеялами, и заржавелые рыжие тазы. В других — на полу. Что же! Пол — не снег. Но во всех четырех иконы шлют благодать на приходящих. Иван Терентьич сдает на час или на ночь. Когда на час — поглядывает аккуратно на свои массивные серебряные, с накладным цветным павлином, и шлет одну из дочерей: «Гони!»

Дочка, не смущаясь обстоятельствами, входит: если дрыхнут, толкает женщину в нос носком ботинка, посетителя щадит. Иногда уходит только девка, а мужчина, соблазненный дочкой Ивана Терентьича (в три обхвата), собиравшийся было домой, все начинает сызнова. Но дочек Иван Терентьич бережет, берет за них немало.

Так, тихо, просто, среди кризисов и тезисов, ведется в Москве большое, прочное хозяйство: «Не убий» — снаружи, «Тараканий брод» — внутри. Последнее требует некоторых пояснений. Почти феномен. Тараканы, как известно, любят сухость и воды боятся пуще иных купчих, даже в засуху не расстающихся с калошами. Водятся они на кухне возле печек и, по заверениям некоторых наблюдателей, обожают духовое отопление, человек от него вянет, в носу — Сахара, а тараканы, наоборот, весело водят усами, и жены тараканьи на радостях кладут невероятное количество яичек. В помещении Ивана Терентьича чрезвычайно сыро: каплет с потолка, стены, вечно потея, отливают венецианской зеленью, а сгнивший пол, расступаясь и чмокая под ногами, напоминает о чем-то вовсе не домашнем — о распутице или о болоте. Несмотря на это, тараканы противоестественной любовью любят мокрый дом. Они отважно ползают по потным стенам, насмешливо выглядывают из чайников, оживляют мертвецкий сон собачьей колбасы и заставляют визжать счастливых посетителей четырех верхних комнат, оказываясь неожиданно в чьем-либо ухе.

Когда Иван Терентьич только открыл свою вегетарианскую с добавочным, в один из первых вечеров к нему пришел Миша Мыш. Хоть был он с каланчу и весил не менее восьми пудов, но отличался детской нежностью, даже наивностью. Миша Мыш спросил чашку спирта, выпил, задумался: Танька Типунчина обещала заманить в цирк Соломонского армянина с бриллиантовой булавкой. Во время вольтижа Миша Мыш должен был булавку переместить. Обдумывая некоторые детали полета и перелета, Миша Мыш вдруг заметил редкостное зрелище, остолбенел, забыл о Таньке и о бриллианте, завопил:

— Иван Терентьич, видишь?

По полу ползло целое стадо тараканов. Дойдя до лужицы, они не повернули назад, но храбро окунули в воду сухие до хруста лапы и усы. Перебрались. Миша Мыш в восторге лепетал:

— Ну, здорово!.. В первый раз такое вижу... тараканий брод...

Детский лепет впечатлительного Миши Мыша стал именем, утвердился, вошел в историю. Не говорят «к Ивану Терентьичу» или в «Не убий», нет, в «Тараканий брод», а завсегдатаев зовут «тараканщиками».

Вот куда попали, Высокова выискивая, Чир и его спутники. Спросили у подплывшего Ивана Терентьича спирта. Подал и, глядя на вытекающие из-под блузки белорыбовские прелести, почтительно икнул в ухо Курбова:

— Вы, может, гражданин, номерок желаете? Имеется, с кроваткой...

Курбов огрызнулся. От тараканщиков он сразу замрачнел. Столько ломать, кромсать, и что же?.. Все на месте. Провы. Рабочие глубоковские с крысой. Кавказский погребок. Над ним «номер с кроваткой». Знает: тиковый тюфяк, ямка и какая-нибудь маменька вьется юлой. Черт возьми! Но как же сжечь этот тюфяк, громадный, всемирный, в полоску, сальный, повисший над ним, надо всеми?..

Кругом — веселье. Чиваров, выиграв в карты у Зильберчика цепочку и в придачу еще бутылку коньяку, вообразил себя слоном, стал носом щекотать спину Танечки Типунчиной. Танечка вся в упоении трепетала, как бабочка, но Лещ, возревновав, пустой бутылкой трахнул ее по носу, в итоге пострадало платье — кровь не отмоешь. Слон-Чиваров, как слону и подобает, проявил великодушие, угостив чашкой коньяка обиженного судьбой Зильберчика, с результатами совсем необычайными. Тщедушный Зильберчик мигом обалдел, вынув пятисотку, стал хоронить в кухонном решете, похищенном у супруги Ивана Терентьича, императора Петра, поливая его остатками мадьярского напитка и слезами, напевая над ним, как в синагоге, «Ка-а-диш!». В ответ какой-то сопливый папиросник, хлопая себя по брюху, беременному стопами ассигнаций, победоносно грянул:

Цыпленок вареный, цыпленок жареный,
Цыпленки тоже хочут жить...

Николай еле сдерживается. Даже о заговоре не помнит — ненависть цокает в мозгу, как эскадрон. Вот сразу — без допросов, без дознаний, всех этих пьющих и поющих, как цыплят, за шейку раз, два, три! Сжимает свои руки так, что раздается жесткий хруст. Может,

Андерматов прав: минуя церемонии, прямо по алфавиту — всех. Чиру:

— Что ж, Высоковым и не пахнет?

— А вот я пойду понюхаю.

Чир, подмигнув, нырнул в спальню Ивана Терентьича. Долго пытает, улещает: двести бутылок старой смирновки даст, грозит расстрелом. Иван Терентьич от потуги что-либо измыслить раздувается, потеет усердно, клянется и крестится на все угольное, то есть сразу на Троеручицу и на козыряющего Троцкого; если б мог, он с удовольствием родил бы какого-нибудь заговорщика или, по крайней мере, дочкам приказал бы. Для смягчения Чира выкладывает все: Чиваров вчера купил двенадцать полушубков у некоего Бадонина, а Зильберчик, подвыпив, просил Ивана Терентьича, чтобы тот его в случае чего не резал, он сам за церковь, коммунистов терпеть не может, а если и любит что, грешным делом, то немножко, совсем немножко конституции. Может быть, в другое время Чир бы польстился на полушубки или на конституцию, но теперь, высоко паря, презирает.

— Ты об этом Шмыгину выложил в Эмчека, а мне...

(Сиплый голосок еще сиплее, тише.)

— Высокова!..

Потеряв надежду спасти себя какими-то полушубками, Иван Терентьич зовет на помощь Глашеньку, младшую из дочерей, скромненькую, в коричневом гимназическом платье, две косы, ресницы вниз, словом — первая любовь. Чир мягчает, лицо прыщавое багровеет, даже белки глаз становятся цвета раздавленной клубники (так когда «фараонов» бил или в чеке, когда по темным коридорам к допросу водит). Иван Терентьич, удовлетворенный столь быстрым результатом, даже не помышляет о верхних комнатах, — здесь оставит, на своем супружеском ложе.

Николай и Людмила Афанасьевна долго ждут Чира. Молчат.

Курбов — о своем: о покалеченных прекрасных ромбах, о скрежете сурового колеса, о желтых теплых шейках, мерзко хрустящих под руками. Белорыбова же, охмелев и разомлев, исходит в молочном паре мечтаний. Даже хлеба с колбасой не доела. Глядя, как Лещ щиплет грудь Танечки, Людмила Афанасьевна вздыхает четко, громко, как будто у доктора на осмотре, когда ее выслушивают: вот я, Виктория, кто-

нибудь меня, с усами, толстый, как в романе — «так любили...».

Наконец — Чир. Заспанный и успокоенный. Все его жесты дышат миром, благодатью. Причин не объясняет, а на сердитый окрик Курбова, зевнув сначала, так зевнув, что кожа, не выдержав, затрещала,— кратко:

— Ни черта!..

Собираются идти. Вдруг вваливаются трое. Вожаком — кривой и угреватый, Пелагея. С ним двое, не тараканщики — тоже здесь впервые: мужчина отменно плотный, с выправкой оловянных кирасиров, с закрученными туго русыми рогаликами усов и маленькая женщина. Лица ее не видно: платок весь инеем разузорен.

Чир: не эти ль? Мало Пелагее шуб, он путается с кем-то явно несоответствующим! В оба. Усач — из интеллигентов, девка — не местная, самогонку дует исправно, но чашку держит по-особому, будто в кондитерской пьет шоколад. Чир знает таких — в Ялте мигом раскладывал на дорожке, в наше удовольствие...

Людмила Афанасьевна отнюдь не интересуется манерами девицы. Вздыхает еще чаще, еще громче; из молочного пара вырастают рогалики усов. С белорыбовским сердцем неладно, мечется туда-сюда, как беспокойный квартирант. Неужели этот? Плотный, сдобный, распластавшийся где-то в предчувствиях, он сладок, как дивный бутерброд. Пелагея зовет его «Иваном Ильичом». Иван — ну да, Иоганн, а я — Виктория. Дома — нежно: Ваня. Будет щипать высунутый из-под одеяла белый, сонный локоть. Истома.

Курбов:

— Ну что ж? Подсядем, что ли?..

И сразу — обухом. Девушка разматывает платок. На лице, слегка испуганном, под крыльями бровей, то улетающих легко ввысь, то падающих обвалами,— синь, сквозь мамины шторки — звезды, последняя таинственная схема мировых совхозов, сердца, ночи, глубины. Лицо такое, что все — камнями. Лещ поднял кулак — не опускает, Зильберчик смеется ласково, по-бабушкиному, умиленный Чир, забыв про Глашу, про чашку с коньяком, дрожит: как же? разве такое может быть? Поражает слабость, почти предсмертная, когда приподнимают на простыне: воск, пух, дыхание, а в этом невиданный накал последней воли, сталь спирали — к небу, спертость — меж ребер — целый

мир. Каждый вспоминает детство, большая книга, о таких — легенды. С Николаем катастрофа. Курьерский — вниз с насыпи, еще последние вагоны плавно скользят по рельсам, а машинист уже — комок.

Еще спокойно Чиру:

— Подсядем?

А внутри: бежать? Спастись? Нельзя! Прежде знал: умирают от пули, от голода, от злобной скуки и докук, но чтоб от нежности?.. Нет, этого не знал — впервые. Вдруг прояснился путь: от большеголового младенца в избе Сибири, от рабочих, громко топотавших в переулке, сюда, к чужой, быть может, злой и злобной, к врагу. А нежность все сильнее вздувалась, чуял ее всем: в глазах она — сперва туман, потом зияние. В ушах смутный гуд. Соль во рту. Холодеющие пальцы. Запах детства с тряпьем, с животной лаской, с яблоком под подушкой. Забирала всего. Кажется, сейчас умрет. Позади: раскиданные числа, лоскуты фигур, последние припадки плана, судороги равновесия. И тают, как метель, на ее вязаном платке. Имя? Слышит — «Катя». Встает.

И все же отчаянным, никем не понятым усилием одолевает. Снова: Курбов, работник, член, винт, зодчий. Нет! Так не сдастся. Он — в притоне. Это — агенты белых. Впереди ликвидация, скрепы, победа.

Чиру, уже успевшему и умилиться, и кончить чашку, в третий раз решительно:

— Подсядем.

19

Чир правильно подметил все. Катя, действительно, была не из местных девок. Верно и то, что хотя сивуху она глотала храбро, но предпочитала мелкими глоточками отхлебывать горячий шоколад. Как же она попала в «Тараканий брод»? Зачем ей понадобилось в метельную колючую ночь забраться черт ведает куда? Может, за кокаином дедушки Тимоши или (дома — родители) спать с неотразимым усачом, уже поймавшим в сети белорыбовское сердце? Тогда при чем тут Пелагея?

Чтобы ответить на эти тревожные вопросы, надо повернуть назад, по еще синеющим среди сугробов следам, до комнатки на Спиридоновке, и дальше — к Брянскому вокзалу. Следы меняются: вместо ножки с высоким пронзительным каблучком — тупой сапожи-

ще. Еще дальше, без следов,— по нюху. Много городов, границ и фронтов. Наконец, зеркальные вращающиеся двери парижского ночного кабака «Монико». У дверей — негр в красном фраке. За дверями — разгадка чудесного появления Кати и многого другого.

Конечно, «Монико» не «Тараканий брод». Вместо Ивана Терентьича вьется метрдотель, статный, гладкий, сгибающийся предусмотрительно, как перочинный ножик, готовый тотчас же сервировать дюжину мареннских устриц, бутылочку бургундского, любовь и счастье. Входишь — трах по голове: грохот, охание, визг джаз-банда. Малайцы прыгают, как обезьяны на ветках. Уронив губу чуть ли не на пол, один вдруг припадает к причудливо изогнутой трубе и жалостно мяукает. Другой оседлывает барабан, яростно бьет палками, ногами, головой в тарелки, в медные тазы, в шкуры, в пузо какого-то малого малайчика. Звуков столько, что они не успевают оседать, загромождая залу медной рухлядью и битым стеклом. С ними — серный дым «гаван» и парфюмерия английских папиросок. Свет люстр также не может течь, сгущаясь, он плавает среди гула и дыма масляными пятнами.

Меж столиками две голые женщины, в блинчатых шляпах и в оранжевых чулках, танцуют. Раз — прижимаются, два — врозь, раз — снова вместе. Всё ясно и понятно. Как будто где-то на широком ложе почтенный консьерж прижимает и отстраняет свою супругу — четверть часа, пол, час, ночь напролет, всю жизнь. И снова раз — друг к другу, два — передохнуть. Тела склеены. Клейкий грохот, тягучий дым, застывший свет — крепче синдетикона. Будут качаться долго. Когда же малаец выронит в изнеможении палочки, а зевающие отчаянно лакеи повернут выключатель, отпуская на волю, в синюю редеющую темень послушливый свет — перестанут. Разлучат их. И снова кинут, только без шляп и без чулок: раз — вместе, два — врозь...

В укромном углу под пальмой — гости, достойные такого ресторана. К ним приближаясь, метрдотель так сгибается, что за треском манишки чувствуется хруст костей. Вокруг стола нечто торжественное. Ясно, здесь не просто кутят по случаю какой-нибудь удачной сделки, нет — служат идеалу. Никаких нескромностей: черное и белое. Черны: смокинги, шелк дамы, икра в бочонке; белы: скатерти, накрахмаленные груди, пудреные щеки, водка в графинчике, лед. Напоминает бого-

служение. Дама смягчает суровость чина ангельской улыбкой. Недаром ее сосед, плешивенький французик, как лягушонок, прыгает на стуле:

— О, эта мистическая красота! О, Византия!

Услышав «Византия», дама сердобольно кивает головой: не впервые, конечно, но Византия, услащенная духами Герлена и танцем «джимми». Может, завтра в пять часов у Румпельмайера?.. Нехотя берет виноградину и с золотого тельца медленно сдирает черное бархатное платьице. Косточка во рту скользит, пахнет терпким духом винных погребов, лепечет о Ницце и о Массандре.

— Да, жизнь все же прекрасна! Мы столько, столько потеряли!.. У мужа отняли дом, бумаги — всё. Несчастная Россия!..

И над Россией «Византия» готова уронить серебряные капли, но, зная: лучше утешить живого, нежели над мертвым плакать, только лопочет:

— Вы нам поможете? Мы победим. А я?.. Мне ничего не нужно... У нас есть вилла в Ницце... Скромный, почти монашеский конец...

В затонах дивана ее рука с длинными, отточенными, сверкающими, как орудия, ногтями встречает другую — мясистую. Проверяет упругость мяса. Французик от удовольствия жмурится.

— Значит, завтра в пять у Румпельмайера?

И продолжает шепотом, удачно пользуя всезаглушающий рев самого горластого малайца:

— А после ко мне. У меня коллекция эротических гравюр. Уютно, свободно, по-холостяцки.

Дама, сострадательная самаритянка, на все готова, лишь бы людям было легко жить. Не полагаясь на себя (с годами: лысина, катар желудка и ослабление памяти), француз записывает: «Среда, 5 ч. Madame Мариетта Кадык».

Сам Кадык, огромный,— бельмо и пакля в ноздрях кровавых,— сидит недвижно, мраморная дева на Кампо-Санто. Вместо урны — ведерко Ирруа. Весь — скорбь. Можно ли в такие дни веселиться? Французику, который уже от ручки Мариетты дальше прополз, в пухлые, интимные залежи византийского добра:

— Monsieur, мы здесь ужинаем, хоть скромно, но прилично, а в России голод. Едят друг друга. Как же жить?..

Дева над могилой — почти классический шедевр.

Сострадательный лакей обновляет урну, то есть в ведерко вставляет новую бутылку. Ломкий лед звенит. Не выдержав, Кадык уходит. Направо в кабинетике находит скромное бебе. За сто франков в пять минут бебе дает скорбному Кадыку простые идиллические утешения. Раз — прижаться, два — передохнуть... Кадык возвращается к столу просветленный и, с уважением погладив собственный живот, заявляет французу:

— Эти разбойники продают англичанам товары, украденные у меня. Я протес-тую! Законные претензии русской промышленности. Мы заставим всю Европу считаться с нами. Еще бутылку!

В урне лед. Но в сердце француза пламень. Француз почти социалист. Он сам понимает: выше всего социальная справедливость. Но что же? Так обидеть эту миленькую даму, у которой в голове Анри де Ренье и Дебюсси, а ниже — теплые щедроты, этого кротчайшего рогоносца, вольнолюбца, идеалиста, так обидеть, отобрать бумаги, предприятия, даже три рояля, заставить скромно ужинать в «Монико», вести почти монашеский образ жизни!.. Нет, большевики не социалисты, а просто азиаты, «тартары»!

— Не беспокойтесь, друзья, мы вас не покинем. Франция на страже гуманности и справедливости. Я выступлю в палате. Доклад и смета. Вашему доброму гению, генералу... как имя?.. да, Вранжéль! — пошлем в Константинополь пароходы и снаряды. Тартаров перебьют. Ведь этот Вранжéль тоже — я убежден! — почти социалист. И вы, друзья, не правда ли?.. Со временем все разбогатеют, и будет рай.

Слушая француза, дородный князь Саб-Бабакин, писатель и председатель, стонет. От горя породистые щеки виснут и ложатся на манишку. Знающие нравы русских бар и сенбернаров ждут слюны. Ждут с основанием. Князь, подвыпив, голосит:

— Все дело в улицах. Были Хамовники, Плющиха, Молчановка, Курьи Ножки, Мертвый переулок, челове-е-ек, селянка по-московски! Осталась одна Лубянка. Щука по-жидовски. Трудовая кость в горле. Татьяна! Лиза! Ася! Наташа! Чистые русские девушки! Где вы? Три сестры! Спасите!

И князь ложится на пол, предварительно стряхнув салфеткой пыль с коврика. Ползет на брюхе. Малайцы лают. Женщины, склеенные, все так же бьются. Только метрдотель, видя князя в странном положении, на

лице изображает набожный, почти паломнический экстаз. А Саб-Бабакин, расслабленный, пищит:

— Разве это святая русская земля? Разве это тульская, рязанская, калужская? Разве здесь топали стопочки Богородицы? Челове-е-ек, бутылку содовой!..

Князя подымает граф. Тоненький, руки, ноги — спички, а между спичками стеклянная пуговка жилета. Всё вместе — дипломат, советник посольства. Картавит, слаб, взволнован, если не поддерживать его яйцами всмятку, мартелевским коньяком и служебными повышениями, может легко умереть. Смуту державы, то есть чудовищные телеграммы в «Figaro» и увядание посольства с сокращением штатов, едва выдерживает. Был прежде бодр и горд. Заходя в консульство, оглядывал рой посетителей и чирикал секретарю:

— Зачем жидов пускать в Госсию? Употгебляют кговь. Насчет жидовочек не говогите: бывают очень вкусные девчоночки, гимназисточки. У лапсегдачника опега.

В начале революции он поддался, не дожидаясь директив, сам кресло водрузил на стол, взлез и, понатужившись, снял со стенки самодержца в раме. На печатях орла замазывал старательно сургучом. Когда входил в посольство какой-нибудь с сомнительным носом, по всем данным употребляющий кровь, граф на всякий случай мурлыкал:

— Отгечемся от стагого мига...

Но вскоре опомнился. Прибыли из Москвы обиженные князь Саб-Бабакин, Кадык, другие. Слезами и шампанским затопили Париж. Советник понял: здесь не поможешь ни портретом, ни «отгечемся», надо бороться. Сам пересылал различным генералам на юг, на север приветствия, инструкции и, разумеется, франчишки — подъемные, суточные, наградные. Ныне, совместно с прочими борцами из России, учреждает «братство». Клятва кровью. Гибель или победа. Истреблять жидовских комиссаров оптом и поштучно. Для этого пришел сюда, усталый, далекий от светской жизни, любящий только престиж России, минеральную воду и семнадцатилетних девчонок. Готов погибнуть. Обнимает Саб-Бабакина:

— Мы победим!

Малаец грозным гонгом как бы предвидит въезд в Кремль. Но Кадык взволнован подозрительно рассеянной икотой француза.

— Он нам очень нужен. Мариетта, ты его немного обработай...

Мариетта улыбается, загадочно, как Джоконда. Помнит: завтра — Румпельмайер, гравюры, по-холостяцки, кажется, утончен, знает все парижские моды — и так, и наоборот...

Все в исправности. Лакей уже приносит десятую бутылку. Склеенные девы качаются. Но здесь заминка. Ждут кого-то очень важного. Без него — одна закуска, то есть парламентское негодование французика или Саб-Бабакин, под столом лобызающий рязанскую. Он запоздал. Наконец-то, с нежностью предельной:

— Высоков!

Лицо как лицо. Такие лица вроде смокингов, их изготовляют тысячами для всех порядочных мосье. Жидкие, закрученные усики. Плешь. Вежливая улыбка. Только свинцовые глаза напоминают о карьере. Как-то, шутя, Высоков ответил в анкете: «Род занятий? — Убийца». Не преувеличил: с семнадцати лет только этим и занимался, был анархо-максималистом. Впрочем, сам никогда не убивал: грязно, марко, против Христа и красоты. Выбирал других — помельче. Подготовлял, доставал средства, бомбы, револьверы, выбирал жертву и после писал витиевато некрологи обоим — убитому сановнику и повешенному террористу: «Наказан разящей дланью новый Калигула», «Пал за народ светлый буревестник, мститель и мученик, почтим...» Вне дела был скрытен, мрачен, отсутствовал. Никто не знал, как он живет в антрактах. Говорили — женат на немке, пьет кюммель, закусывает килькой, немку бьет и, взяв младенца на руки, баюкает, обливаясь слезами. Кто-то уверял: обожает цветы, особенно герань. Может, врали. Верно одно: сидит землистый, скучный, пьет кофе с молоком, а только заговорят: «Такого-то не мешало бы ухлопать», просыпается, ложечкой о чашку звяк, и в свинцовых глазах круто замешенный, как каша, динамит.

Дождавшись Высокова, обрадовались. Только советник посольства трусит: все еще не может привыкнуть к мысли, что Высоков теперь «совсем, совсем другой». Спички — ручки-ножки — трясутся, как ветки на ветру. Излагают устав «братства». Высоков зевает. Цель?.. Ближе к делу! Устранять. Вот список самых важных. Высоков оживился. Предлагает:

— Назовем «Братство Христа, меча и революции».

Да, да, революции! Он — революционер. И все здесь истинные революционеры, даже советник. Контрреволюция — в Кремле. Что же, можно... Кадык не педант, о словах не стоит спорить. Главное — устранять. Средства будут. Французы тоже поддержат. Если Высоков согласен, аванс на месте.

Согласен. Излагает план. Поедет немедленно в Россию. Через Варшаву — там связи, и французы прикажут, чтобы поляки помогли. (Почти социалист: «Ну да, конечно».)

В Москве идеалистическая молодежь. Наберет «пятерки». Каждая «пятерка» устраняет одного. Руководство Высокова. Расходы: дорога, содержание восемнадцати «пятерок», подготовка актов и прочее... Примерно, с карандашиком, восемьсот тысяч франков.

Общий восторг. Лакеи, почуяв торжественность минуты, тащат гуртом пять бутылок. Кадык шепчется с французом, считает, обдумывает. Наконец, вынув из кармана голубенькую книжку, выписывает чек на предъявителя — аванс.

Саб-Бабакин от избытка шампанского и патетических переживаний окончательно одурел. Требует детский стульчик и чашку теплого молока. Становится на колени.

— Я с женой и с детками, мы будем о вас каждый вечер молиться.

Высоков, чуть усмехнувшись:

— Спасибо. Молитесь Христу. Люблю Христа. Особенно за то, что пустил к себе детей. Высшая невинность. Во имя Христа пролью кровь. Не мир, но меч.

Советник, все еще не успокоившись, лепечет:

— Кговь? Как стгашно! Он пгольет кговь!..

Мариетта:

— Да, да! Много крови!

И в неге шепчет французику, среди дел не забывающему прижать, примять и прочее:

— У Румпельмайера...

Саб-Бабакин хочет поцеловать Высокова. Нет! Брезгливо усмехаясь, Высоков встает:

— Спокойной ночи. Мне пора.

В глазах свинцовая, невеселая радость:

— Восемнадцать устраню.

Качаются девицы. Мяукает труба. Негр вертит зеркальные двери, среди зеркал, как в лабиринте, шагает, путаясь, грустя о черной Африке.

На улице промозглый рассвет. Отовсюду течет. Рабочий злобно ругается. Воз с репой. Жизнь. В кармане Высокова — чек, узел многих жизней. Презирает всех — и пивших в «Монико», и тех, в Кремле, и неизвестных, которых пошлет убить, и эту репу. Скучно! Позевывая, затягивается египетской приторной папиросой:

— Надоело!.. Если бы кто-нибудь знал, как надоело!..

20

Два месяца спустя, в февральский вечер, когда в Париже мокрый ветер с Ла-Манша вдувал в сердца весну и грусть, когда на асфальтах бульваров ежились груды мимоз, когда нежнейший негр у входа в «Монико» уже начинал кружиться в чаще зеркал, по глухим сугробам Спиридоновки, перебираясь с горба на горб, брел скромный старичок.

Подошел к домику, жалкому, плюгавому. Забор пожрали спиридоновские печурки. Сугробы домик затолкали, как старушку в очереди. Вошел в незапертую дверь, с минуту потанцевал на льду площадки, не выдержав, упал. Раздался «черт», довольно юный и задорный, кого-то пробудивший. Вышли. Зашамкали. Старичка втолкнули в большую комнату. Пусто. У окна ящик, на нем громадная голубоватая картофелина, книжка потрепанная и флакон от духов, превращенный в чадный светильник, в углу — подобие кровати. Старичок вгляделся, остолбенел. Среди меха бушевали синие озера глаз. Глухой, грудной голос:

— Садитесь. Сюда. Стульев нет.

— Вы Екатерина Александровна Чувашева?

— Да.

— Я к вам от Веры Лерс. Вы знаете, в чем дело?

— Знаю. Говорите. Здесь никто не услышит.

Старичок, обремененный паклей бороды и разными мандатами, преобразился. В комнате сидел Высоков, равно безразличный к шику «Монико» и к нищете спиридоновского логова, занятый одним: «Скорей бы убить», ненавидящий эту холодную сугробную страну, где чавкают и шамкают, где убивают с неохотой, нудно, медленно.

И все же даже Высоков, увидев Катю, несколько смутился. Он любил давить своими стопудовыми, свинцовыми глазищами различные фарфоровые глазки, чтобы пугались, отвертывались, знали: «Мы — бирюльки, Высоков — смерть». Катя не отвернулась. Вместо фарфора зияла чудовищная глубь: «Я верю, я убью, но я тебя, я всех вас затащу с собою вниз, где свежесть, правда, тишина». Это было не по вкусу. Девчонка, а смеет так смотреть!.. Порадовавшись бороде, которая скрыла некоторые мелкие движения взволнованного подбородка, Высоков решил впредь на девушку не глядеть. Взял с ящика книжку. Оказался Лермонтов. Буквы смесились в ледники, в синь глаз, в провал. Отбросил. И, уж не глядя ни на что, опустив тяжелые, лимонные веки, стал излагать суть дела. Катя слушала. В такт словам крылья бровей вздымались, сбирались, бились, как бы заполняя комнату ветром, беспокойством, готовностью сейчас — да, да, сейчас, не завтра — сделать все.

Это знали с детства, то есть брови, тревогу и готовность. Первой узнала мать в испуганной смуглянке, прибегавшей ночью с маленьким десертным ножиком, готовая маму оградить от гадкого нотариуса, от кашля, от смерти, которая приходит, как в сказках Андерсена, взять душу — тогда ведь надо петь или умереть самой. Семилетняя Катя пела: «Дети, в школу собирайтесь»,— единственное, что знала, и много раз, ложась на стол, как это сделала мертвенькая бабушка, пыталась умереть за маму, но ничего не выходило. Мать свою, болезненную вдову полковника Чувашева, погибшего при Мукдене, любила исступленно. Не игры, не игрушки: могла всю жизнь дышать этим сладким запахом полутемной, с синими шторами, спальни, с настоем камфоры, валерьяновых капель, нафталина и сухих пучков мяты в шкафу среди белья. Жили бедно, но с достоинством, то есть крахмальные накидки на подушках, батюшка в Крещение, копейку нищему, Кате воспитание. Какой-то злой дух, страшней кощея, нотариус, маме писал шершавые, противные письма. Требовал денег. Мама плакала: опищут обстановку, бабушкино серебро. Катя думала, что «обстановка» — это самое прекрасное: то есть полочка над умывальником с лекарствами, с облатками в коробках, на которых незабудки и цыплята, с пилюлями в серебряных баночках, с булькающими бутылочками, таин-

ственно шелестящими крыльями рецептов. Если это опишут, а опишут — значит, отнимут (как мама сказала), нечем будет смерть отпугнуть, и мама ляжет на стол, скрестивши руки. Уж лучше бабушкино серебро, это вроде пятачка, который ей дали раз на именины (купила карамель «Короля сиамского», десять конфет). Это ничего. Так думала. Когда же злой дух пришел за обстановкой, храбро выбежала в маминой ночной рубашке, волочащейся по полу:

— Оставьте обстановку! Опишите меня!

Опишет — унесет. Рубашка как мешок. За плечи — прачке в узел с грязным бельем, потом китайцам в Китай, там говорят по-утиному и стегают пятки вожжами, как извозчики лошадей, больно, но пусть, все равно, только бы не обстановку!

Вместе — слабость, послушливость, дрожь в углу, зарывания в одеяло, в мамины колени и своенравность, бунт от отчаяния. Когда, кивками и слезами, вдова Чувашева пристроила Катю в Александро-Мариинский институт, покорилась. Было ей уже десять лет, понимала — иначе нельзя. Но вот завтра утром, в восемь, расстаться с мамой!.. Всю ночь не спала, как бы погибая, ловила знакомые шорохи, покряхтывание мамы, запахи — бальзама и воска (натирали накануне пол). Уж шторы темно-синие заголубели. Обозначился рассвет. Тогда — восстание. Не выдержала хода часов, неумолимого тиктака, стенных, с боем, из таинственной «обстановки». Встала тихо-тихо, стул подставила и, торжествуя, вырвала у времени, у некоего чудовища, которое знает: сегодня с мамой, бальзам и ласка шафранных, от худобы дребезжащих рук, а завтра институт, беленые стены, смерть, у этакого чудовища вырвала медный язык, страшный маятник. Упала. Жар. Пролежала три недели.

Потом — действительно, беленые стены, послушание, послушничество. Обет — маму не огорчать.

Новые страсти: «Демон» Лермонтова, пролетевший в третьем классе на уроке русского языка. Лед. Синева. И одинокий — страшнее, чем среди беленых стен, никто не проведет горячей, слабой ручкой по звонкому лиловому крылу. Недоумение: как же Тамара его не полюбила, не спасла? Дикое открытие: в глазах Владимира Кузьмича — учителя русского языка — демонова грусть. Старшие шушукались, рисуя цветными карандашами мясистый, по-индюковски багровый нос

Владимира Кузьмича — пьет тихонько водку на черной лестнице, жена за это бьет его шваброй и щелкает по носу. Знала — ложь: если охрипший и опухший — от ночных видений, от сакли, лика и Тамары. Весь класс издевался над Владимиром Кузьмичом. Как-то пришел особенно красный, сиплый, чудной. Грохот хохота — без галстука! Потерял на лестнице, под шваброй лежа,— вот что! Хи-хи! Летят бумажные стрелы, жеваная промокашка, корки мандаринов. Владимир Кузьмич:

— Дети, почему вы смеетесь? А? Смешно? А мне очень, о-чень грустно...

Катя выбежала:

— Нежный! Демон!

И на колени.

— Вы ведь галстук обронили ночью, летая...

— Галстук?

Владимир Кузьмич виновато за шею схватился, хмыкнул, помолчал. Потом вдруг озлился:

— Да как ты смеешь? Невоспитанная девчонка! Мне читать нотации!..

А Катя по-прежнему на коленях, сжав ручонки. В глазах — экстаз и обреченность. Наказали: за грубость воспитателям. Подруги дразнили: что? хотела выслужиться? одна против класса? вот посиди-ка воскресенье за французскими спряжениями, никто не поможет, не принесет тихонько пирожка, не пожалеет — презренная, забытая, одна. Но Катя, причастия переписывая, торжествовала: она остановила оскорбления. Помогла ему. Собой покрыла. Он не знает. Бродит отвергнутый. Если бы она была Тамарой или, по крайней мере, женой со шваброй, не отвергла бы никогда, никогда не обижала бы, приняла такого, с красным носом. Но что она могла, в пустом чернильном классе, с пудрой меловой на партах и на фартуке, что? Было Кате тогда двенадцать лет.

Любовь к подруге, к очень аккуратной Лизе Волочиской. Сначала Лизе — пирожки, переводные картинки, ленточки. Принимала как должное, Катю звала «овцой» и заставляла делать несуразности: в переменках прикидываться нищенкой, во время уроков зако́на Божьего кричать «шалды-балды», как индюшка, становиться в дортуаре перед Лизой на колени и, целуя кончик форменного передника, лепетать: «Я ваш паж». В пятом классе — испытание любви. У княжны

Белецкой пропал медальон. Решили обыскать; Лиза, от досады чуть покраснев, сунула платочек с медальоном под подушку Кати:

— Скажешь, что ты. Тебе удобнее. А то меня папа оставит без подарка, скоро именины.

Катя только мгновенным загибом губ радость выдала: она поможет Лизе! Нашли и начали часами допрашивать, с вывертом, нащупывая там и здесь — зачем? кому? — грозить, оплакивать. Отсадили в отдельную комнату — других не заразила б. Вызвали вдову Чувашеву, и мама принесла в торжественную приемную, с царицами и с птицами, родимый запах камфоры от ваты в ухе, яичного мыла, терпких слез. Так плакала! Так заклинала Катю покаяться — ее хоть пожалеть, быть честной, как отец! Катя не поддавалась. Целый день (почти по Ломброзо) — взгляд исподлобья, хмурая усмешка, молчание или ложь; только на минуту, забегая в раздевальную, прячась под большую шубу Владимира Кузьмича, преображалась. Синие глаза веселились, и губы, еще надутые по-детски, вздували шкуру кенгуру: «Ли-за, Л-и-и-за...»

Кое-как, снисходя к слезливости вдовы Чувашевой и к Мукдену, Катю оставили, но еще долго на нее из коридоров, из приоткрытых дверей учительской, из роя расшалившихся подруг выбегало: «Воровка!»

Сны ветвились. То пожар выталкивал на языках, шипя и злясь, Жанну д'Арк, с узкими, дрожащими плечами, как у Кати, то огромным небосводом расстилался драдедамовый платок, в который куталась, все победив (что точно — Катя не понимала), Сонечка Мармеладова. Как у других растет годами воля схватить, зажать в кулак, успеть сглотнуть сердце, деньги, счастье, руки крючками костенеют, отшлифованный язык готов зарезать, так Катя зрела среди стен и снов, кидаясь от «Мцыри» до высокомерия Лизы, для какого-то совсем простого часа: ляжет, не скажет ничего, возьмут, вытопчут и бросят. Думая об этом, тихо радовалась.

Владимир Кузьмич остался где-то на полустанке, среди детских лет, вместе с нотариусом и вырванным маятником. Но на выпускном балу демонова грусть вновь выпорхнула из серых глаз сумца фон Люца. Фон Люц, после третьего тура вальса, сказал:

— В вас нечто такое... Сегодня весенний день... Я утром вышел на Кузнецкий и опьянел от воздуха...

У Дациаро прекрасные гравюры... Екатерина Алексеевна, если бы вы знали, до чего я одинок!..

Снова вальс качал. Как бы тонули вместе. Он честной, мужской, мужественной лапой хватался за ее талию, за дощечку, за слово ласки. Волны же росли. Нет, Катя не Тамара! Она готова.

Вскоре фон Люц зачастил в квартирку Чувашевых. К прежним звукам, знакомым с детства, прибавились героически боевое звяканье шпор и в темно-синей спальне выкашлянное мамой, шепотливое домашнее словечко: «Что ж — женишок». Кате был он то Карлом — поведет его в Реймс, то милым нелепым мальчиком — заботливо думала, как спит, не жестко ли, кто стелет ему постель, ведь одинок, сам говорил, и узенькие груди от нежности гудели.

Наконец фон Люц, не выдержав, упал перед Катей на колени, рослый, косолапый. Зазвенели китайские вазочки, пастушки, графинчики. Сердце Кати тоже зазвенело. Фон Люц рявкнул, красноречием не отличаясь:

— Я вас люблю... Вообще...Того...

И Кате в этом «вообще» послышалось дрожание звездных, туго натянутых струн, ропотный утробный ключ всех человеческих признаний от пеленочного «мама» до смертного «прощай», звон, гуд, итальянская речь Петрарки.

А вечером явилась Лиза. Слегка всплакнула, аккуратно припудрила порозовевший носик и сказала:

— Он тебе не партия. Поиграет с тобой и бросит. А я его люблю, и это очень, слышишь, очень серьезно. Если святость нашей дружбы — не фраза, ты должна уступить его мне. Понимаешь?

В Кате все столкнулось, заходило: медвежья ласка, звяканье на полке и под корсажем, радость выплеснуть себя — ну что же, пусть бросит, должен бросить — и счастье заслонить собою Лизу, гордую, величественную Лизу, которая прежде позволяла только целовать край передника. Такую вот, любимую, прекрасную, ее спасти!

Ночью Катя лежала на диванчике, свернувшись клубочком, и не было костра, даже драдедамового платка не было. В памяти глухо замирали шпоры и «вообще».

Месяц спустя, принарядившись, прибрав лицо, чтобы было праздничным, Катя пошла в церковь: венчали Лизу и фон Люца. Сумец смущенно улыбнулся от

счастья: теперь не одинок! Она ведь будет на балу? Он ангажирует ее на первую кадриль. С Лизой поцеловались. Катю обдал холодок румяной, фарфоровой щеки, в блаженстве она глаза закрыла. Казалось, батюшка рыком медным (но и медовым) зарычит: «Воровка! Где медальон?»

И это было слаще колокольцев шпор, итальянской речи, сухого дребезжания поцелуя, слаще всего.

Дома мама, лежа, обложенная банками и горчичниками, кряхтя, поплакавши, покашлявши, высморкавшись, выложила Кате свое житейское, простое:

— А женишок-то оказался обманщиком...

Катю прорвало:

— Не смеешь! Я сама обманщица! Ты низко судишь!

В ответ лишь плач и кашель. Катя в ужасе,—что я наделала!—трет мазью желтою запавшую грудь, с диким рвением трет, будто резинкой стирает гадкие слова.

— Мама, мамочка, прости!..

Вскоре в этом, то есть в мазях и в микстурах, очутилась вся жизнь. Маме хуже с каждым днем: двадцать старых, выхоленных болезней, спевшись друг с другом, принялись догладывать тощее, сморщенное тельце. Больше не вставала. Не раздвигали штор. Вся аптечка над умывальником была мобилизована, и Катю захлестывали волны знакомых с детства запахов. Жизнь кончалась на пороге комнатки, и клочья каких-то событий (шла давно война) долетали, как долетают в открытую фортку гуд трамвая или крик газетчика. Здесь были свои великие события: в левом боку начало колоть, температура поднялась на три десятых, сказать доктору Фуксу, что мазь не помогает, попробовать пилюли, понатужась, позвать профессора Игланова и, сжимая в кулаке конверт с двадцатипятирублевкой, подслушивать сквозь дверную щелку, как он цедит небрежно почтительному Фуксу:

— Разумеется... возможно... всякое бывает...

Пока мама дремала, Катя тщательно мучила себя: вот ей сказала «низко судишь», вот этой, под одеялом, вот этой—маме, ей!.. Как искупить такое? И дальше выползали просьбы мамы в институтской приемной, бедной мамы, заплаканной, в заплатанной шубенке, со слезшей набок шляпкой, под насмешливыми взглядами классных дам, неисполненные просьбы: «Признай-

ся», — и Катино сухое, хрусткое молчание. Кивали хвостиками, как в траве юркие гадюки, детские проказы, шалости, обиды. Нет, всего не искупить, даже не вспомнить! Бас профессора гремел одним глухим и страшным: «Поздно».

Мама умерла в Троицын день. Умерла невыразительно, раз только кашлянув, сухой шафранной ручкой в изнеможении зачерпнув пену простынь.

Когда Катя на кашель подбежала, все было кончено. Из угла, темно-синего, как прочее, выплыл теплый, весь залитый медом лампадки. Желтый, как ручки мамы. Живой.

Месяцы неистового поклонения, в пустых комнатах, с неподнятыми шторами, с невыветренным духом камфоры, поклонения, обмирания, свиданий под иконой. Сначала просто — к нему, как спину к печке, как вечером к подушке: сон, тепло. Но вскоре Кате захотелось иного. Как? Только брать? Лик в углу прояснился, стал лицом; на желтом, измученном проступили сгустки крови, ломовой, тяжелый пот. Начался мучительный роман. Порой, когда сквозь щель в темно-синий угол врывался белый, жесткий луч, Христос вставал морозный и суровый — истец, ревнивец, счет язв, гвоздей, ступенек к Понтию. Катя вся белела от ярости и срама. Отцу Василию, отрыгавшему вместе с квасным газом «достойно есть», выкрикивала:

— Как? Апостолы? Святые? Но им ведь легко было уверовать — они его видали. Видали и предали. Не заступились, не пытались отбить у стражи, вместе умереть. Хорошо — Христос сказал: «Вложи твой меч». Он мог сказать, он мог даже пожалеть об отрубленном ухе. Но если они, апостолы, подобранные на дороге, как псы, его любили, они должны были ослушаться: «Нет, господи, живые тебя не предадим!» Нет, эти не любили... Если бы я жила тогда...

Слыша столь еретические речи, отец Василий, забывая о «достойно», напротив, испуганно кряхтел:

— Недостойно! Недостойно осквернять уста хулой. Не нам судить святителей, не нам, не греховодникам...

И взрыв кваса (хлебный с изюмом).

Ночью Спаситель смягчался. Катя иконы натирала маслом. Он обливался потом, как будто крест еще лежал на стянутых в узел плечах. Молил о подмоге. Умирал ежевечерне в темно-синем углу. И Катя не могла помочь. Только билась под образами. Иногда

под утро его рука, прохладная и бережная, ложилась на выпуклый, тревогой распираемый лоб. Тогда засыпала.

Кроме этих страшных свиданий, после которых днем от пола приподнимались ноги, как будто они легче воздуха и должны лететь, горячие ладони жгли, пустая голова катилась шаром, кроме ночных часов, существовали дни. Катя служила приказчицей в перчаточном магазине. Знала руки: холодные и длинные модниц, со штыками ногтей, готовых разорвать и лайку, и сердце любовника, и прочее, что только под рукой; мокренькие — сластолюбцев, мимоходом старавшиеся руку Кати цапнуть, увлажнить; деловые — крючки, чтобы хватать, сжимать бумаги, отсчитывать; пухлые с ямочками, где можно хранить густые сливки, эти — законных жен; волосатые — мигом, пращура припомнив, подступят к чьей-нибудь лилейной шейке; много рук. Покорно подбирала по номеру и цвету, слыла на редкость исправной, к тому же красотой привлекала офицеров, покупавших сверх всякой нормы, целые коллекции.

До скандала. Два гвардейца выбирали лайковые, белые. Катя помогала натянуть на твердые, сухие пальцы. Один другому:

— Он мне «никак нет». Но я, вы знаете, человек гуманный, его бы под суд, и finis[1]. А я, так сказать, в intimité. Ррраз. Рука у меня как будто женская. Перчатки шесть с половиной. А он огромный, настоящий варвар, скиф. Но ловкость — всё. Два зуба — мигом, как дантист, без щипцов. Теперь поумнел. Вот только стал шепелявить. Ужасно неприятно. Ко мне приходит, entres nous[2], Ниночка из Михайловского, она не может слышать: какой-то свист, а не слова...

И Кате:

— Mademoiselle, покажите мне теперь пару замшевых беж.

Но вместо замшевых беж Катя белыми, лайковыми, всей связкой — по щеке. Четко, громко, среди остолбеневшей публики. Катю прогнали. Стала искать места. Но трудно было. Кругом шло нечто неладное. Оказалось: революция.

Катя долго не замечала. Даже бои под самым домом, у Никитских, ее не разбудили. Стало жить

---

[1] Конец *(фр.)*.
[2] Между нами *(фр.)*.

труднее, и это ей нравилось — какой-то общий непрерывный пост пред желтым, потным ликом. Вместо перчаточного магазина очутилась в длинной комнате, должна была бумажки нумеровать и номера записывать в книгу. Длинную комнату звали на иностранный лад — «Музо». Прошло два года. Могло пройти и десять. У Кати было много глаз внутри, глухих, утробных, а синие большие видали вещи по-особому: проглядывая жизнь, она видала все вместе — и пустяк, желтый лик и номер «исходящей».

Так до декабрьского куцего денька. Из «Музо» Катя повернула в Кривоарбатский переулок, где жил советчик, некий братец Наум, поговорить — томило: правильно ли живет?

В комнате стоял густой, горячий пар, как в бане: братец Наум лил на печурку воду, чтобы согреться. От пара у Кати загудели виски, дух захватило, села, слабея, на полено, в пустоту. Лицо Наума в тумане едва-едва розовело. Сидел он в кожухе и пил из огромной бутыли какую-то микстуру. На минуту, пробивая пары, нос Катин щекотнул запах лака, как в столярной мастерской. Пил микстуру и торжественно, богослужебно кряхтел, чем дальше, тем сильнее.

— Как жить?..

Спросил: где служит? Какой паек? Подсолнечному, выданному к праздникам, позавидовал. У него, в Наркомнаце,— хуже. Но вдруг, кончив бутыль и обдав еще одним ковшом воды накаленную добела печурку, преобразился. Голос стал глухим, далеким, как будто вокруг Кати не пар, а Саваофа облака, слова — зычными и праздничными, давно забытыми в «Музо», весь Наум — грозным пророком, пусть из младших: Михеем или тем же Наумом. Длань подняв, стал Катю обличать, на «ты», сурово и величественно:

— Недостойная, как живешь? В мерзости — вот как! Златом искусилась, пайком, подсолнечным. Не только веры не защищаешь, но служишь гонителям, иудам, иродам — тьфу! тьфу! Спаситель, гонимый, ходит из града в град. А ты? Бумаги нумеруешь! С богоматери сдирают последнюю рубашку, ризы с пречистых образов, китайцам на потребу. Знамения даны. Когда убиенный цесаревич лежал в пещере, кровью обливаясь, прилетела голубица, по-человечьему рекла: «Восстань и царствуй!» Унесла его на крылышках. В Тамбовской, под Успенье, объявилась.

На лбу покаявшегося разбойника, вместо сатанинской звезды, загорелся животворящий крест. Когда к святым мощам прикасались святотатцы, шли с неба громы и стенания. Не слышишь, что ли? Или маловерка? Нет, слышишь, знаешь, но Господа нашего предаешь на поругание, благочестивых монахов, старцев, жен православных, младенчиков безвинных на страсти неслыханные, в чеку. Всё за паек. Изыди, несчастная!..

Катя не оправдывалась, не просила о пощаде. Встала. Вышла. Из бани — в морозный пар. Где-то на бульваре присела, не зная холода и ночи. Быстро, очень быстро в душе росло огромное и страшное, разрывая крыльями грудную клетку, когтями впиваясь в мясо,— почти физическая боль. В двадцать два года Катя оставалась все той же девочкой, считавшей когда-то нотариуса злым духом, а Владимира Кузьмича прекрасным демоном. Житейского, презренного, смешного в пророчествах Наума она не разглядела, не задумалась — зачем же Наркомнац? Духа политуры не разгадала. Да если бы поняла и разгадала — все равно сидела бы на бульваре, свою вину вынашивая. Верить мало. Нужны дела. И снова встало, на этот раз возмужав, захлестывая целый мир, искушение — отдать себя, погибнуть, изойти в любви. Вспомнила: два года — чужие обиды, шепоты, вздохи вокруг и рядом, как у вдовы Башмаковой реквизировали комнату и, сидя на приступочке, вдова плакала, как у Щедровых сына расстреляли, только карточка осталась — курносый гимназистик, как горевали монахини Девичьего — кельи оскверняют. И много щек заплаканных, изъеденных слезами, будто железо ржавью, слились в одно лицо, закапанное маслом в темно-синей спальне над мамой, скрестившей руки на груди. Нет, Катя меча не вложит, не простит!.. Даже если он, изгнанный из храмов, дрожащий где-то здесь, в снегах бульвара, даже если он попросит — не простит. Убьет.

Дальше — недели, месяцы. «Музо» и номера. В голове спирали сложных планов — кого? когда? и как? Одной не справиться. Что у нее? Руки и страсть. Хоть бы кто-нибудь пришел, направил, приказал. Пробовала заговорить с братцем Наумом, но тот, отнекиваясь, жаловался на ревматические боли, больше на пророка не походил:

— Смирение! Что ж, я служу в Наркомнаце. Паек улучшили. Зачем Господа Бога гневить?..

А Катя все ждала. Засыпала с одним — «убью», и это было как касание крыл голубицы, унесшей цесаревича. Просыпаясь, сразу вскакивала от испуга, будто кто-то стучится в дверь: надо убить, сегодня, сейчас! Порой, отчаявшись, выходила на улицу — искать главного виновника и револьвер. Вглядывалась жадно в лица прохожих — может, этот? Но люди шли мимо, с портфелями, с кулями, деловые, озлобленные, голодные, шли мимо. Никто не подавал ей знака.

Помощь пришла негаданно. Как-то Катя в церкви Бориса и Глеба встретилась с товаркой по институту, Верой Лерс. Вера зазвала к себе. Средь болтовни о продуктах — где и сколько — вздохнула:

— Видела сегодня в «Известиях» — снова список расстрелянных? Назначили известного садиста Курбова, он объявил массовый террор. Что же будет?

Катя резко отсекла:

— Жаловаться мало. Надо мстить.

Вера взглянула внимательно на угрожающие лавины бровей. Взяла Катю за тоненькую, с синью жилок руку (сидела рядом на диване), погладила и просто, очень просто, не отпуская глазами глаз, спросила:

— Хочешь?

— Хочу.

И, записав на кухонном столе «Спиридоновка, д. 18, кв. 2», быстро ушла. О чем же еще говорить? Скорей бы!..

На следующий день, в большой пустой комнате, угрюмый Высоков повторял:

— Скорей бы!

Изложил подробно. Здесь были: Христос, Антихрист, искупление. Жертва, с детства лежавшая под спудом, в томах или в туманах церковных кадильниц, теперь услужливо и деловито предлагалась как чашка чая:

— Хотите устранить крупного чекиста?

Означало: убить себя, отдать себя за бездомную вдову, за мать расстрелянного, за монахинь из Девичьего, за всех. И никогда ничье любовное, пленительное, под луной, среди сирени, не звучало так нежно, как это «да».

— Наше братство! «Христа, меча и революции». Раскиданы повсюду «пятерки» — устранять самых опасных и виновных. Потом — восстание. В четверг мы соберемся...

Высоков погладил осторожно паклю на подбородке, церемонно поклонился, как танцор после кадрили, и вышел. Вера молодец! Такую девушку выкопала, Юдифь, к тому же почти что в колыбели. Это именно и надо. Клад! Представил, как напишет некролог: «Когда страна под игом захватчиков позорно цепенела, поднялся мститель — слабая девушка, она покарала тирана...» Прекрасно! От нахлынувшего упоения разошелся и ударил какой-то, еще не разобранный на топливо, забор. Посыпался густо снег, и где-то отощавший пес почти по-русски завыл: «Ба-а-а-тюшки». Впрочем, Высоков тотчас же опомнился, стряхнув снег с шубы, побрел к Вере Лерс — пить чай и спать.

Катя же, забившись в угол, всю ночь сидела, глядя на тонкий желтый огонек светильника. Подрагивая, пытаясь сняться с места, свет жил мучительной и дикой жизнью. К рассвету, когда зрачки Кати расширились и потемнели, он стал любимым ликом: вытянулся, распластался на кресте. Катя тогда взглянула на свою руку. Как будто ее и не видала прежде. Весь смысл и пафос сосредоточились вот в этой слабенькой, готовой, как ветка, подломиться, ручке. Ее погладила, особенно погладила Вера Лерс. Жал почтительно и многозначительно Высоков. Эта рука — «пятерка», она уже не Катина, но некая отдельная, величественная в слабости. И Катя с уважением на нее взирала. Ею — сразит. Братец Наум тогда поймет, что рука, выводившая номера в «Музо» и запятнанная советскими чернилами, как кровью, смогла преобразиться. Осторожно Катя подняла ее и с силой опустила, будто гимнастику делала. Огонек светильника заметался, не выдержал, улетел. Но на дворе уже возилось утро, и с иконы глядел суровый, в инее синего света, по-древнему грозя. Катя перед ним упала.

21

Высоков пришел первым. Вскоре, вслед за ним, на камне затанцевал пузатый в кожухе. Но, шлепнувшись, он черта не поминал. Напротив, потирая пузо, вздохнул благообразно:

— Господи Иисусе!..

Катя от изумления привстала: пузо, размотав широкий заиндевевший шарф, оказалось братцем На-

умом. И он в «пятерке»! «Не мир, но меч». Смиренно поцеловала несгибающуюся руку, похожую на мороженую рыбу. Наум присел и стал вздыхать вовсю, сему занятию отдаваясь с исключительной любовью. Высокову это не нравилось: предпочитал слова.

— Что скажете?

Ответил Наум не сразу, для солидности еще немного повздыхал:

— В Наркомнаце сокращение штатов. Жиденок Кац из комячейки сказал: «Уволю». Что делать?

Высоков подсел поближе, шубу распахнул и жестом фокусника выковырнул из свисающего животика пачку царских. Наум промолвил:

— Оно конечно...

Подышав на твердый палец, бумажки пересчитал. После сего вздохи участились, но стали мягче, задушевней, как-то музыкальнее.

Высоков скучал. Он хотел себя утешить мечтами: револьвер, убьет, потом ее, утречком, в прохладе, к стенке, тук-тук-тук. Хорошо! Когда убивают — свежесть, легкость, как будто принимаешь ванну из нарзана, булькание, пузырьки кружатся, роятся... Но даже это не помогало. Высоков был мрачен. Не без причины. Вчера связался с какой-то девкой. Завела к себе. Ночью борода Высокова при интимных обстоятельствах отделилась. Пришлось наполовину признаться. Девка — дура, зачарована словечками и прочим, не словесным. Но все же неприятный инцидент. Сегодня, кроме боли в ногах (недоспанное), перемена масти. Уж не сморчок седой, но молодой брюнет греческого типа. Девчонка встречная так соблазнилась, что выронила кулек с пшеном и, предоставив зерна птицам божьим, сама стала упрашивать Высокова зайти: недалеко, и в комнате тепло. Нет, не пошел — устал. И надоело. Довольно. Пора за дело! Из Парижа торопят...

А пузо снова возобновило вздохи, и в тишине, кружась от строгой Кати до Высокова, налитого по темя тяжелой, как бы бурой колбасной кровью, вздохи эти мнились долгим ветром, ходом часов, мерой времени. Наум вздыхал по многому. Во-первых, был он очень толст, и от малейшего волнения сало колыхалось, не давало дыхания. Во-вторых, и это, конечно, главное,— он томился, слабый человек, придавленный помпезностью истории. Различные дикие стихии смесились где-то под кожухом, под грязной

рыжей рубахой, под волосатой грудью,— слишком много стихий для бедного братца, любившего всего больше в золотые времена старого «прижима» лавочника Синегубова обыгрывать в дамки, попивая при этом чаек с наложенным примерно до половины чашки вареньем из райских яблочек. Ненависть. Ведь в вечер, столь памятный Кате, отнюдь не лгал, раскрылся. Коммунистов ненавидел так, что ночью, проснувшись, вспомнив остренькое личико Каца, начинал от ярости скрипеть крупными лошадиными зубами: «Вот я тебе...» — столь выразительно, что сосед за стеной, бывший лабазник, а ныне инструктор Наркомпроса, стучал — спать мешают. Как не ненавидеть? Господа распяли. Мощи святителя Трифона осквернили. Кац в Наркомнаце, маленький и юркий, подойдет к Науму вплотную, нагнет плешивую головку, как будто ею хочет боднуть задушевное пузо, и закартавит: «Соккатим»,— так, что без чаю с вареньем, напротив, в нетопленном Наркомнаце и то пот ведром. Ну, как не ненавидеть? Далее — стихия героическая. Он — простой, пузатый, склонный вылакать бутыль политуры и дуру бабу, вместо грелки, под бок подложить, пугая адом, но и прощупывая всячески, он — греховодник, мелкота над шашечницей, не поп, а всеми презираемый «советчик», когда отцы и пастыри немотствовали, гнули выи, осмелел, вступился за Христа, поднял глас и длань. От этой мысли он молодел, преображался в хохлатого паренька, однажды некоему приказчику весьма патетично свернувшего гнусные скулы. Примеры из священной истории. Скованного, приведут в Кремль. Он извергу Ленину судьбы откроет, как отрок Даниил. (Наум чувствовал себя действительно отроком, стройным и прекрасным.) Кинут в печь. Хотел представить пытку, мучение, ожоги. Но вместо этого вздыхал, удовлетворенный: тепло любил до крайности, и очутиться в печи, после нетопленной комнаты Кати, казалось райской усладой. Как будто внутри рябиновка, а под боками две бабы сразу, для равномерного согревания и живого урока пышной многоликости природы.

Так незаметно героизм переходил в уют. Проступала под кожухом высоковская пачка. Пятьдесят — все новенькие, хрусткие. За одну и дров, чтобы согреться лучше Даниила, и спирту чистого, и на Смоленском

фунт сала, а еще в запасе сорок девять. От таких предчувствий пузо торжественно вставало дыбом. А бабы? Бабы безвозмездно — за духовные советы. С ними выспится. Спит. Вдруг стук. «Здесь сотрудник Наркомнаца, Наум Скворцов?» Прямо на Лубянку! Ни Кремля, ни пророчеств, ни ночи. Подвал. Мороз (кожух и тот, ироды, снимут). Китайцы — шилом в пуп. Ух!

Наум дрожал и вздыхал, так страшно вздыхал, что Высоков, переживая некролог, дергался, будто у него нервный тик. Пачка томила пузо. Наконец, последнее сомнение: кто знает? Что, если бумажки поддельные, большевистские? Говорили, будто новых не берут, слишком уж скрипучие — вдруг подвох?

Хотел было отозвать Высокова, отдать, отговориться как-нибудь, ну, скажем, ревматизмом. Не успел. В комнату ввалились двое: толстый представительный усач и маленький, кривой, но очень юркий, сразу одним правым глазом ощупавший все, вплоть до пуза Наума, на котором ютилась пачка царских. Решил переждать.

Юркий уже вился возле Кати, гнусавя: «Мамзель». Был это маститый тараканщик, меховщик, то есть специалист по части шуб, а также ротонд, Пелагея. Его биография по-античному проста, ясна, монументальна. В воспитательном — щипки. Парикмахерская Леона, где юный Пелагея, тогда еще Павлуша, два месяца подметал волосы и щеткой скреб зад гостей, выше взлететь не ухитряясь вследствие рокового роста, на третий же самого Леона, то есть Шемухина, основательно обчистив, с выручкой и с прочим, перекочевал в ночлежку, близ Хитрова. Пил важно и еженощно справлял «свадьбы», узнав впервые как слово «мамзель», так и многое иное. Затем — квалификация: форточник. Поймав, избили. Вытек левый глаз. Рукавишниковский. Обучение столярному мастерству и порка с присвистом. Сбежал. Углубление форточничества. Крещение — «Пелагея». Касса. Кутеж. Каникулы в Сокольниках. Раз барышню поймал в лесочке. Галантность изъявляя, шептал: «Мамзель». Угреватое лицо вспотело до сияния лика. Одолел. Для удовольствия давил кобелей. Очень занятно — хрипят и на веревке пенятся, как подбородки в цирюльне Леона. Еще собирал лесную малину и пел от многих чувств: «Полюбила ты, шельма, меня...» Тюрьма. Суд. Арестантские

роты. Революция. Один обман! Сгущенность крайняя в квартирах: спят у самых форточек. Кризис. Перешел на шубы. В «Тараканьем» душу отводил: много шельм, все любят, только косые выкладай. На Сухаревке недавно, сбывая лисью ротонду (чудный мех, цельная покрышка), познакомился с Высоковым. Подружились. Славный парень. Денег не жалеет. Предложил, вместо шуб, кое-что. Можно весь «Тараканий» запрудить коньяком: не советские бумажки,— пух говяжий! — нет, настоящие, и царские, и золотые — сколько хочешь.

Там же, на Сухаревке, глотая быстро горячие щи с жирной солониной, приправленные хлопьями падающего снега, разговорился с Игнатовым. Сразу понравился добротностью и дивными усами. Щами торговал, также (для пролетариата) морковным чаем и пирогами с пшенной кашей на изумрудном маслице, всё без обмана. Понюхав, пощупав, Пелагея привлек Игнатова, авансом выдав две царских, полбутылки неразбавленного и фунт изюма. Игнатов не только согласился, но, закрутив усы, стал над своей жаровней в позе по меньшей мере предводителя дворянства, как бы требуя бронзовой рамы. Возгласил:

— Ныне отпущаеши...

После чего, продав по сходной цене остатки охладевших пирожков, сам поспешно долакав из котелка густые щи, собрал орудия производства и отправился с Пелагеей для выяснения деталей.

Раз были щи, и даже с солониной, Игнатова завлекли не царские и прочее придаточное, а исключительно высокие идеи. Стоило взглянуть на усы, в сетях которых должно было запутаться белорыбовское сердце, стоило услышать этот голос, отдыхающий на гласных («Знаете, така-я ба-ба...»), с развалкой голос, чтобы понять — такой не может щи варить, все это превратности судьбы. Действительно, до семнадцатого Игнатов, не снисходя до щей даже в ресторане, заседал над ворохом дознаний, будучи ротмистром особого корпуса, а из жандармского ехал в «Эрмитаж», где ел суп из бычачьих хвостов, по-европейски. Дознания любил уютные, большие, чтобы папки пухли, чтобы арестованных вводили и уводили, как статистов, чтобы были молоденькие — переписку читать, романчик,— ну и эффект, конечно. Как-то, допрашивая девушку, эсерку, которой некий фрукт писал (при обыске изъяли чуть ли не пуд любовных писем): «Малиновка моя»,— пошевелил усами, промолвил:

— Мали-новочка моя, девчо-ночка!..

«Малиновочка», вскочив, хлестнула Игнатова по мягкой, к плечу свисающей щеке. Но ротмистр не потерялся, как истый христианин подставил и другую:

— А э-ту по-целу-йте!..

Горячие глазенки. Милый домик на Малой Никитской. Ночью цыганки. Время воистину блаженное! И сразу, без всяких предупреждений, как будто Москва стояла на каком-нибудь Везувии,— конец. Искали. Хотели расстрелять. Увернулся. Может, лучше, если бы расстреляли. Два года голода, обид. «Рассыпные» продавал. Ловил бездомных псов для колбасника на Божедомке. Крал казенные дрова. Даже служил три месяца в каком-то собачьем главке. Все было. Только недавно ожил, встретившись в этом окаянном главке с женой Натанчика, скупающего и продающего (для экспорта) закладные на имения: мадам Натанчик обомлела и в тот же вечер прибыла к Игнатову в каморку, предусмотрительно закутанная в пять платков, ибо Игнатов краденые поленья продавал. Потребовала, чтобы было полное изнеможение. Через две недели Игнатов, имея солидный основной, приобрел жаровню и стал выкрикивать:

— Щей жирных, гражданин, а щей, щей!

Хоть холодно было стоять, хоть часто разгоняли, так что пропадали щи, опрокинутые на снег перепуганными бабами, после ловли сук и пакостей в главке казалось это отдохновением.

Грех жаловаться. Но Игнатов знал другое: идеи, тяжелые, чопорные, как в бальных платьях, похожие на придворных фрейлин, проделывавших перед вдовствующей императрицей серии книксенов: «престолонаследие», «благонадежность», «чинопочитание» и другие. В мире стало невыносимо пусто. На людной Сухаревке Игнатов порой растерянно оглядывался — среди зипунов, шинелей, среди хлама, масла, мяса, золотых колец, вместо витрины нанизанных на синеватые, отмороженные пальцы, среди муки, рухляди и граммофонов он звание искал. Вот эта баба — баба или дама? Дама или попросту жидовка? Тайна. Звания не было, а без него вселенная казалась неназванной, отсутствующей, похожей на груду заржавелых гвоздей, разбитых тарелок, пустых флаконов, драных тряпок, высившуюся рядом с жаровней Игнатова. Все стало бывшим. Бывший ротмистр.

В доме бывшем... Отличия бывшие. Так жить нельзя! Если б даже Игнатова поселили в бывшем «Национале» и дали б кремлевский паек — все равно он не утешился бы...

Чем редко утешался — «Всеобщим календарем» на 1898 год, полученным от старичка за пирожок с пшеном. Читал все имена императорского царствующего дома. Великий князь Сергий Михайлович. Великая княгиня и королева эллинов... Страницы благоухали, как будто на Игнатова, пропитанного духом Сухаревки, льняным маслом и потом, вновь брызжет домашний парикмахер, m-r Эжень, из пульверизатора тройным одеколоном.

Дальше «табель о рангах». На вершине обер-гофмаршал или обер-шенк. Почтительно, но и прилично в середке камер-фурьер. Внизу, юля щенками, тафельденер, кофешенк и прочие куцые благородия. Куда? Куда же все исчезло? Как Собинов, из рупора грустя: «Куда вы удалились?..»

Но вот еще подпора. На семнадцатой странице. Сколько у какой державы войска. Если все пойдут на большевиков... Брал карандашик и слагал: Абиссиния, монархия, негус, регулярных 36 000; Австро-Венгрия — ее как будто теперь нет, ужасно, даже календарь стал бывшим; Аргентина, республика, может быть, тоже «товарищи» — пропустим; Бельгия, 80 000. Итого уже 116 000... Так засыпал, слегка удовлетворенный.

Услыхав от Пелагеи о «пятерке», сразу ощутил и звание, и даже престолонаследие. К Кате на Спиридоновку шагал увесисто, как некогда в жандармское (здесь же находилось, по соседству). Пусть смерть! Он умрет за государя, как в Большом театре умирал Сусанин, как памятник Пожарскому на Красной площади, как некий вымышленный обер-шенк.

Поздоровавшись с Катей, щелкнул валенками — ничего не вышло, но в игнатовских ушах раздалось пение шпор, нежнейшее, не то «коль славен», не то «я славен, я, Игнатов!». Согнувшись, ручку поцеловал.

Все в сборе. Высоков без предисловий:

— Эта «пятерка» устранит одного из главарей чеки — Курбова или, на худой конец, Аша.

Вздохи пуза растут. Хитрый смешок Пелагеи («Если двух — набавить не мешало бы...»). Игнатов, ласково, развалившись:

— Разуме-ется...

И поспешное, ревнивое: «Я!» — Кати.

Высоков:

— Конечно, вы. Мы уж условились. Остальные члены «пятерки» вам помогут найти намеченного и прочее.

Пелагея просит слова. Он может поискам способствовать. В «Тараканьем броду» бывают всякие чекисты — Чир, например. Пелагея с ними — приятели, немало самогонки распили, без малейших расхождений. Молодцы ребята, про шубы знают, но никаких нотаций. Можно попытаться выведать, кто этот Курбов, куда ходит. Если любит девок или водку — тогда пустое дело, в два счета. Пелагея один возьмется, барышне незачем утруждать свои ручки.

Пелагея предлагает идти сейчас же. Ревностность какая! Откровенно говоря, он очень хочет поскорее разменять у Ивана Терентьича пару царских, спросить коньячку, похвалиться перед Чиром, Лещом и другими, вот как, и, набрав девок, гуртом, не менее пяти штук, удалиться всем на зависть в верхний номерок.

Что ж, это дело! Наум не может — острый приступ ревматизма. Зато благословляет. Высоков рад бы — нельзя. Глупо рисковать столь ответственной персоне. Ведь у него кроме этой — еще сто восемьдесят девять «пятерок».

Катя — платок на голову. Как лодка плывет среди пены снегов. За нею Игнатов, знает: Катя — дворянка, спокоен. Пелагея костенеющими пальцами грозится: попробуй, Танька, на сопливого Леща взглянуть — расковыряю...

Метет.

22

Лещ бесится. Пелагея горд, только Чира он удостаивает дружественного «так-то». Гонят вместе уже третью бутылку — что им? И между икотой («то-то», «так-то») подозрительно оглядывают: Чир — Леща, Пелагея — Курбова. Людмила Афанасьевна? Что ж, девка девкой, только подороже «тараканьих», видно, сукин кот, то есть Чир, облегчив по дороге в чеку какого-то запористого спекулянта, взял ее с Тверской; там, возле «Люкса», день и ночь конфетки для иностранцев и для «клёшников» в командировке. Игнатов тоже недаром щами торговал, несмотря на

все престолонаследие, так проникся капустным духом, что среди тараканщиков особым не пахнет. Но Курбов? Но Катя?

— Что ж, еще бутылку? (Вслух.)

Про себя оба: «В оба». У Пелагеи один, да он такой пролаза — стоит двух.

Катя пьет из чашки, спокойно, ровно (так мама пила свои микстуры), если надо, выпьет бочку. Вдруг перед ней, снявшись со стола, с протяжным всплеском пролетают руки Курбова. Смятение. Неужели этот тоже чекист? Нет! Вот тот, с прыщами, конечно,— пытает, прижигает тело папироской. Но этот!.. Разве можно такой рукой, длинной, тончайшей, как птица, у которой в лёте пропало тело, только крылья и упор? Нет, не этот! И как могла подумать? Еще чашку.

Курбов себе приказывает, почти что вслух, чуть шевеля узкими и бледными губами, на Катю не смотреть. В сторону, туда, где Белорыбова с Игнатовым над колбасой, еще нетронутой, вопреки логике и угощениям Пелагеи, воркуют. Все в порядке — товарищ Белорыбова старается, хорошая сотрудница.

Ах, Курбов не знает — отчего этот воркот, эти несъеденные ломтики любимой, хоть и собачьей, но все же чайной. Сразу, в Девкином переулке, среди харкунов и рвани, на двадцать пятом году жизни осуществилось: Гамсун стал наличностью. Любовь перекочевала из зачитанных книжек (Петровские линии, по второму разряду) в эти виснущие щеки, в эти вздыбленные гордо, как кони над бездной, чудные усы. Андерматов, ее узрев сейчас, позавидовал бы. Ведь оценив в холодной комнатке всю теплоту и мягкость плоти, он остался все же недоволен отсутствием темперамента, даже когда слегка душил, вымещая злобу на мир вообще, в частности, желая вызвать хоть видимость волнения,— Людмила Афанасьевна только, удивленно щурясь, спрашивала: «Это тоже нужно?» Сейчас иначе. Игнатов, среди беседы, своей немалой лапой придавил ее носок. Больно, но приятно. Теперь она понимает Викторию и других. О ней тоже можно написать большую книгу — «так любила, так страдала».

Игнатов ножку придавил не от невоспитанности — выражая чувства если не столь патетические в их первозданности, то все же достаточно пылкие и прекрасные. В антракте, между героическими усилиями вернуть опустошенной Сухаревке звание и гармонию, он.

развлекался. Видит, не девка с Трубы: манеры, образование, скорей всего своя, дворянка, обстоятельствами, как и он, доведенная до не подобающего званию места. Раздаются отдельные слова:

— В гимназии... Я бы вас записала в карнэ на все кадрили... «Империаль» — шоколадное печенье в кондитерской Трамбле...

— Предпочитаю мазурку... При шпорах... Вы мне напоминаете Венеру, за вашей спиною таится проказник Купидон... Что ж!.. Я сдаюсь...

От «Венеры» Белорыбова совсем дуреет. Машинально оглядывается, но за ее спиной лишь Лещ, отчаявшийся переманить у Пелагеи девок, подцепив какую-то безносую старуху, бьет ее по плеши скелетом обглоданной селедки.

Пелагея завистливо косится на Людмилу Афанасьевну — черт, такую пропустил!.. Но рыцарским жестом наливает в чашку мадьярский коньячок.

— Пожалуйста, мамзель, за всех трудящихся, то есть за вашу женитьбу, ги-ги...

При этом, однако, соображает: тот, высокий, молчит, верно, будет покрупнее Чира. Если Высоков набавит — словлю, нет — примусь опять за шубы. Охота зря возиться!.. Конец один — поймают, и к стенке. Пока что хоть пожить в свое холостое удовольствие, без лишних хлопот.

Курбов томился. На Катю не смотрел. Слов не слышал. Глотал спирт, а в уши бил град: грохот локтей об стол, бряк чашек, брань, все те же «цыпленки», гадко, нагло «хочущие жить». Так час, а может, два. Наконец, кулаки сжались, мысли стянулись, наступило человеческое, деловое: заговорить. Это — девчонка, если причастна — проболтается, и хвост, тот, знаменитый, недоступный хвостик, о котором тосковали на Лубянке, окажется в руке. Но как? Прежде всего — взглянуть, освоиться.

Все завертелось. Дело, партия, Ресефесер — железным, шрапнельным роем прочь ринулись, многих спугнув, — *так* Курбов поглядел, *так* ясно значилось в серых разъяренных глазах: этот все может, *так* запахло в «Броду» Октябрем, броневиками, пулеметными лентами, волей, смертью.

Это с другими. Сам же Курбов сразу опустел. Вынули подпоры, и дом забился на ветру разметанной купой, из окон выкатились кубарем жильцы, крыша

вовсе снялась и улетела. Пожарных, что ли, звать или писать слюнявые стихи? Нет, просто человек чумеет. Видит смуглую, сухую щеку — пахнет степной травой, перегаром пахнет, дышит звериным, пушистым, розовым теплом. Впервые в жизни Курбов теряет память. Рука приподнятая не знает, что ей делать: схватить ли папиросу, или, стол оттолкнув, уйти, или смуглое, полынное, сухое прижать к себе, как прижимают голодающие на вокзалах караваи смоляного, пахнущего кислой жизнью, хлеба? Нечто явственно меняется. То есть: вместо не только 1921 и РКП, но и (пространней) человека в брюках, по степи полынной, знойной, обжигающей и ноздри, и копыта, средь перепуганных печенегов мечется взбесившийся бык. Даже не мечется, стоит понуро, голову пригнув, только белые, холодные глазища наливаются багровым током, и никаких арканов: прыжок, рог, смерть. Впрочем, возможно, это ручная граната; постучал, бросил, остаются три секунды. Дальше — разъединение рук, ног, языка, глаз, всего, что было еще недавно человеком. Курбов вступает вновь в недели сыпняка. Ноги, ненужные, легко отваливаются. Сами, тонкие и к миру безразличные, шагают по Сретенке, по Мещанским, к заставам, вырастают в бессмысленные водокачки и где-то, среди снега, на иксовой версте, гибнут. Руки, напротив,— здесь, но живут раздельно. Левая еще, по старой памяти, чуть поддерживает голову, готовую скатиться, как сентябрьское яблоко, правая же, свернувшись лодочкой, тянется к Кате, хочет немного, ну на грош промыслить чужого жара, ради, ради... когда-то было — «Бог». Съели Спиридон и глиста. Глаза, отчаянно напрягаясь, выскочили из орбит и, птицами, от изумления вереща, присели на узкие, подрагивающие плечи Кати. Язык на месте, во рту. Но тщетно Николай пытается что-либо сказать — огромный ком мяса копошится улиткой, и только. Да, да совсем сыпняк! Очень жарко, снять бы куртку, и густая дрожь.

В «Тараканьем броду» вдруг стало тихо. Хоть всё и все на месте. Очень тихо: воркот игнато-белорыбовский да чавканье Ивана Терентьича, воспринимающего барыши, как щи,— вслух. Что будет?

И спасает Катя. Видит смятение Курбова: нет, такой не может! И как она подумала? Случайно с ними. Пелагея все, что нужно, узнает у того, с прыщами. Еще — Игнатов с девушкой. А Катя сейчас свободна

(ведь был же день, когда звенели вазочки на полках. Потом? Потом придет, конечно, Лиза, впрочем, теперь «потом» не будет — на днях умрет). Взяла у Леща пропревшую колоду (Лещ играл в железку) и первое, простое, Николаю — да, бык, граната, сыпняк! Она же беззащитная, да, заговор! Она же девочка, простое, средь общей сторожкой тишины:

— Вы умеете домики строить?..

— Я?..

Нечленораздельное глухое бормотание. Слово бьется в горле, прорывая кокон. Кризис. Синие большие принимают Курбова всего: не стой на улице, там холодно, ну, милый, войди!

— Умеете?

— Да, да, конечно...

Пригибают уголки, и карты, просмоленные по́том чуть ли не поколений, стойко стоят. Стол обрастает этажами. Курбов, залюбовавшись:

— Хорошо!

И от последнего, особенно большого «о» домище падает, как Курбов давеча, разбегается красными и черными мастями. Но другое держится: могут говорить. О чем? О домиках. Катя всегда любила. Мама вечерами долго сидела, зябнущая, подбирая локтями верблюжьи уши оренбургского платка, и клала пасьянсы, с именами были, смешные имена — «Бисмарк», «Могила Наполеона». Потом карты переходили к Кате. Вырастали пагоды, китайские дворцы. Катя ясно различала запах ванили в трубочке (любила забираться в буфет и нюхать), шелест чайных деревьев, нарисованных на цибиках, и нежное, серебряное содрогание колокольцев. Это были широкие — шестнадцать карт внизу. Другие — вверх: башня, десять этажей, там будет жить с героем, с Наполеоном (он не умер, неправда!) или с Демоном (он, бедный, совсем не страшный, просто Тамара злая). Внизу водопад шумит, точь-в-точь как в ванной, когда наливают воду, только гораздо сильней. Она будет ему рассказывать сказки и гладить руку...

(Здесь как-то руки Кати и Курбова на миг столкнулись — поезда А и Б,— и обе отчаянно — вниз, в пропасть, такого гула и сияния не вынести...)

Строила. А после нарочно дула — было это горько, но необходимо: скорей разрушить!

Нет, Николай не так: карточных не признавал. Рассказывает про свои — из спичечных коробок. Ночью

высчитав: восемь вниз — фундамент, дальше пролеты арок, последняя рвется ввысь. Спички Лапшина, на коробке кораблик, и башня преображается в корабль, плывет, перелетает море, средь бури стойкая, прямая — Коля все рассчитал. Вырастет, построит такой же город из железа, выведет маму, Мишку, всех из мушиных комнатушек в один огромный дом, и дом отчалит. Нет, надо такой, чтобы не падал. Никогда.

Катя спорит: выросла теперь большая, а все же думает, как прежде,— все равно должен упасть, лучше уж самой скорее дунуть. Про маму — как лежала: руки на груди. Про маятник. Учитель был Демоном, остался пьянчужка с красным носом. Вазочки от счастья дребезжали, а час спустя явилась Лиза. Их повенчали. Всё та́к. Год за годом она Курбову дарит свои года, разбежавшиеся красными и черными мастями. Давно не в «Тараканьем» — где-то на отчалившей многоэтажной башне. Николай вбирает, уж не ушами — мало! — легкими грудной широкий шепот. Когда доходит до гвардейца, покупавшего лайковые белые, вобрав в себя наконец-то знакомое, свое, сам просторно выдыхает:

— Так прямо перчатками? Милая, вот это хорошо!

И снова от «хорошо», от слишком большого «о» что-то валится, на этот раз не на столе, а в Кате. Накинув угольные брови на синь глаз:

— А может быть, и очень плохо...

Стрелка несколько минут колеблется. Размолвка может стать разрывом. Спасают не слова, но теплота опять столкнувшихся случайно (случайно ль?) рук. С пальцев ток бежит по телу и глухо отдается в висках: вот это, здесь, не уходи, уйдешь, и ничего не будет — бутылки, тараканы, сугробы, ночь. Катя смиряется, уступает:

— Нет, конечно, хорошо. Я и сейчас поступила бы так же...

(В голове: Высоков, «пятерка», устранить, ведь это — как перчатками.)

Курбов забывает даже синь впустивших, весь — к руке. Эта крохотная, с голубизной, из детской, ее бы согреть за пазухой, дышать на пальцы, все они мизинцы, а мизинец просто в шутку, значок, вот эта — и может ударить. Здесь переход от Курбова, недавно рассекавшего метель, от Курбова с Лубянки, от члена и прочее — к быку, который метался по степи, к ребен-

ку, только что слушавшему на диване под платком сказки о китайских домиках. Николай уверенно продолжает:

— Я сразу почувствовал, что вы — наша.

Катя чуть приподымается. Неужели?.. Что-то в Курбове от вечера средь облачного пара, когда домашний затхлый бас братца Наума пророчески гремел. Так и знала!.. С ними — случайно, наш! Длинное византийское лицо переходит в иконный лик, в тот белый, дневной, суровый, что буйствовал в углу и Катю требовал к ответу: «Как попустила?..»

Катя восторженно:

— И вы? Нельзя, чтобы все молчали... Китайцы пытают... У Щедровых расстреляли сына... Умирают с голода, а в Кремле — шампанское. Насильники. Не русские. Чужие.

— Вы это?..

Не кончает. Хрипя, давясь, проглатывает кучу слов, обиду, боль, отчаяние. Трах! Отрезвел. Ясно — из заговорщиков. Зачем потратил вечер на бабью стрекотню?.. Надо было использовать, пощупать, выпытать. Но это — завтра. Сейчас не может. Идти.

Стул падает. Катя, ничего не понимая, нежно и доверчиво:

— Уходите? Мы с вами ведь встретимся еще? Хотя бы здесь. Я даже не знаю, как вас зовут...

Курбов себе: «Спокойно! Через пять минут ты сможешь бесноваться, там, среди сугробов, здесь не портить дела — узнать, разведать!»

— Владимир Иванович Захаров. Служу в Губпродкоме. Надеюсь здесь еще встретиться с вами. Спокойной ночи.

23

Белорыбова с Игнатовым раньше вышли — ждать не могли. Уверенно вела Людмила Афанасьевна своего массивного младенца, обходя особо скользкие площадки подъездов, в особнячок, бывший князей Дудуковых, вела молча, торжественно, как Антигона слепца. Игнатов, закрыв глаза, доверившись хотя мягкой, но решительной руке, плавно плыл. Очнулся он на льдистом паркете парадного зала, где тускнела бронза вытекших трюмо. Плавание пришлось сменить

на эквилибристику. По неопытности схватился за нечто, оказавшееся изваянием княгини Дудуковой. Музейная комиссия изваяние большинством семи против четырех забраковала. Солдаты не прельстились. Осталось — осенять развалины. И вдруг от легкого прикосновения игнатовской руки оно упало, загрохотав, как тяжелый снаряд. Дверь кабинета приоткрылась, в щель пророс красный нос заведующего хозяйственной частью. Голос раздался, методический, почти приват-доцентский:

— Товарищ Белорыбова, я неоднократно просил соблюдать после двенадцати часов ночи тишину. Сон совершенно необходим, чтобы восстанавливать энергию. Я даже на двери наклеил соответствующее объявление.

Молчание — нос жаждал оправданий. Но произошло необычайное — из глуби зала Белорыбова томно зашептала:

— Ночь вовсе не для сна. Все романы протекают ночью. Ночь — для любви!..

Этого нос никак не ожидал; пометавшись растерянно, как будто на него села досадливая муха, он скрылся. Людмила Афанасьевна же осторожно приоткрыла другую дверь и нежно втолкнула Игнатова в возвращенный рай. О том, что это рай, сказал немедленно горячий пар, дико вырвавшийся в зал: не менее двадцати градусов. Игнатов окунулся в тропики, щеки сладостно зачесались, нос увлажнился — чувствовал, тает, весь, от сосульчатых усов до тончайшей кишки, впервые оттаивает после трех морозных лет, после полярного главка и метельной Сухаревки, беспаспортный, въезжает гордо в Ниццу.

В середине бывшего будуара исступленно гудела дивная и дикая волшебница — большая чугунная печка. Ее бока от удовольствия краснели, а живот даже белел слепящей, страшной белизной. Коленчатые трубы содрогались. Жар кругами метался по комнате, так что кисея на бывшем туалетном столике самой княгини билась в перепуге. Поспешно расстегивая все, Игнатов на минуту все же, среди тропиков, припомнил житейское, то есть долготы и широты. Он недоуменно пробасил:

— Откуда у вас дрова?

Кокетливо улыбаясь, Белорыбова подкинула в печку, обрадованную даром, еще полено:

— Я служу в одном месте... то есть в Наркомпросе, только особом... там выдают...

Игнатов подумал: «Какой он симпатичный, этот Наркомпрос. Может, бросить всякие «пятерки» и туда зарыться: тепло?» Но тотчас же осилил: пребудет верен законному престолонаследнику. Впрочем, поразмыслить как следует помешала Людмила Афанасьевна. Томная, упала на игнатовские колени, подбавляя к жару печки свой особый, тяжелый, влажный, как летняя испарина лугов. Игнатов, задыхаясь, пролопотал:

— Красо-ты! Вене-ра!

Это были именно слова, способные свести с ума Белорыбову: не «душечка» или «кошечка», а выспренность, поэзия, музей. Вспомнила открытку в магазине художественных принадлежностей на Арбате и вся заколыхалась: опознана, понята, живет.

— Милый, закройте на минуточку глаза.

Игнатов охотно согласился — и так смыкались от жара. Погрузился в горячие водовороты, которые его кружили по комнате, по рощам Бразилии, кидая с магнолии на колибри: маленькая птичка, но на ней шестипудовый бывший ротмистр взлетал к звезде, и птичка щебетала. Впрочем, это был не щебет, а скрип крючков и шуршание юбок.

— Теперь откройте.

Открыл. Но также и рот. Даже вздернутые гордо усы от богомольного умиления стыдливо поджали свои великолепные хвосты. Весь — экстаз. Перед ним, на маленькой кушетке, с нее стекая на ковер, в позе классической Венеры, совершенно голая, белая до ослепления, лежала Людмила Афанасьевна. Одной рукой, не забывая об открытке, она поддерживала грудь, но тело вырывалось широким водопадом и сливалось с бушующими валами живота. Это было неистовство огромной плоти, прорвавшей, наконец, плотины «исходящих» и «премиальных», юбок и любовных церемоний, готовой захлестнуть не только особняк, бывший князей Дудуковых, но и Москву, весь мир: потоп.

Игнатов молча обмирал, только раз икнув, и то скорей от свойств тараканьего коньяка. Обмирал, как дрезденские немцы, налитые по горло пивом с пеной, перед «Сикстинской мадонной», забыв о поле и о прочем. Только когда Людмила Афанасьевна коротким, но густым, насыщенным вздохом подозвала, он упал, погрузился в огненную хлябь.

Час спустя усталая, но благодарная Венера подносила Игнатову бутерброды, масло капало, а колбаса потела. Обнимая Людмилу Афанасьевну, он поглощал их, один за другим — дивные плоды. Воцарилось особенное благодушие, доверчивая нега, те высокие и редкие минуты глубокого союза душ, когда даже зачерствелые циники способны на неожиданные излияния. А Игнатов был далеко не циником — скорей романтик. Даже в давние лета, когда, производя дознания, читал чужие любовные письма, даже тогда мечтал — вот кто-нибудь напишет и ему нечто поэтическое. Кокотки и влюбчивые дамы, вроде m-me Натанчик, его не удовлетворяли — они томили, как после ужина сальные, застывшие тарелки: скорей убрать. Теперь, напротив, перейдя от нечеловеческой страсти к бутербродам, умащенный двойным пóтом, он испытывал блаженство. Немудрено, что этой чужой особе он выложил свою заветную, героическую тайну:

— Милочка, а ты какого звания?..

От неожиданности и непонятности вопроса Белорыбова даже всплакнуть хотела.

— Я?.. Я же тебе сказала — в особом Наркомпросе...

— Нет, я про другое... Прежде... Словом, дворянка или мещанка?..

— Папа служил в архиве. Кажется, дворянка...

— Я так и знал — породы не утаишь. Теперь слушай: недели через две твоему Наркомпросу крышка...

Это было грустно, даже в такую ночь. Людмила Афанасьевна печально поглядела на шкафчик, где хранились масло, колбаса и прочее приятное.

— Но почему?..

— Потому что прибудет законный престолонаследник. Я во главе. Я тоже въеду в Кремль. У нас двадцать тысяч «пятерок». Всех чекистов проклятых перевешаем на фонарях. Будут снова звания. Я учиню бо-льшой допрос.

От коньяку, от тропиков, а главным образом от объятий Белорыбовой накопилась страшная сонливость. В самый патетический момент она сразила Игнатова, и, зарывшись усами в телесные подушки, он уснул. Но не сон одолевал Людмилу Афанасьевну — ужас. Полюбив поздно, она зато крепко полюбила. Из слов Игнатова полудремотных поняла: готовится нечто роковое. Боялась не за себя: пускай повесят, она

теперь познала любовь. Нет, за него. Он казался ей ребенком. Вот тихо, невинно дышит... Если бы не усы, подумать можно — ребенок. Хоть шесть пудов и сорок лет — нежнейшая, хрупкая игрушка, одуванчик, мотылек. Должна его беречь, ходить за ним. И вдруг опасность. В успех не верила: звания и наследник казались глупой сказкой, слышала о них когда-то девочкой. Теперь есть служба. Есть Чека. И это крепко, нетленно, вечно. Андерматов схватит милого, начнет допрашивать, товарищ Аш вытащит ножницы и продиктует Людмиле Афанасьевне: «К высшей мере». Не станет. И снова Венера превратится в машинистку, груди бесцельно будут течь, течь будут года. Нет, она не может!..

Щекотнула ласково Игнатова. Тот приоткрыл глаза. Сразу приступила:

— Милый, откажись. Ничего из этого не выйдет. Только расстреляют, а я одна останусь. Лучше день и ночь любить. Хочешь, я тебя устрою в нашем... особом... паек... дрова...

Игнатов возмутился. Даже вскочил и неприступно подтянул слезавшие на пол кальсоны:

— Никогда! Ве-рен престолу.

Но тепло, накопленное под одеялом, приманило (печка уж остывала). Милочка терпеливо ждала. Прилег и, повозившись немного, себя вознаграждая за прерванные сны, уснул.

Теперь Белорыбова знала — упрям, не переспоришь. Но как спасти? Была уже готова записаться сама в эту глупую «пятерку» (погибнут вместе), когда под утро пришла простая, но гениальная мысль. Она откроет все товарищу Курбову и выпросит за это, чтобы Игнатова, малосознательного (молод, случайно втянут в дело), простили. Может, даже его пристроят на службу в том же отделе. Решив, едва дождалась девяти — вовсе не спала. Тихонько выволокла свои груди, оставив заместительницу — подушку. Затопила печку. Игнатов, оглушенный ночью, прихрапывал. Подумала, целуя осторожно хвостик уса, от храпа подрагивавший: «Милый, маленький, ведь он на службу еще не ходит, я его спасу от злых «пятерок», устрою, усажу за стол — не спеша бумаги нумеровать и получать паек». Потом написала: «Возлюбленный! Я ушла на службу (опаздывать нельзя, вычитают). На столе для тебя бутерброды, съешь перед тем, как идти, чтоб не натощак. Приходи ко мне вечером. Твоя Венера». Записку

положила ему на грудь и, еле оторвав глаза от этой выпуклой, объемистой груди, побежала на Лубянку, быстро, быстро, обгоняя толпы сотрудников с портфелями и с кульками, всех обгоняя,— спасать любовь.

24

К утру зима не выдержала, начала публично гнить. Среди сугробов задышали черные, весьма сомнительные дыры. Поерзало. Покапало. И сразу все до того переменилось, стало простоватым, размяклым, ленивым — окна, носы и прочее, что выползшие к десяти те самые сотрудники, которых бойко обгоняла Белорыбова, не знали: зачем спешить? Недописанный доклад, недоголосованная резолюция, даже капуста недоданная уныло ждали в затонах затхлых учреждений. Между вчерашним благом и блаженством этой первой хлюпкой лужи значилась дыра.

Да, дыра! И тщетно Курбов хочет забросать ее комами слов, грудой словопрений о каких-то новых «комах», работой наспех, стоя, по дороге, на лестнице, чтоб ни минуты не было того, вчерашнего, чтоб не дышала среди снега черная, жирнеющая таль. В днях, в летах — разрыв. Конечно, он не уступит на посту: карандаш, в особо неприятные минуты въедаясь в лист, ворчит сердито. Конечно, здесь, и первый: еще пустые столы, курьерша товарищ Анфиса подметает, а чайник закипающий поет. В форточки весело влезают холод и говор, чтобы, увидев горячие, сухие трубы, отношения, чернильницы и курбовские закушенные губы, подумать — скучно, чинно осесть. Всё, как в гимназии до начала первого урока. Конечно, это — свое, и Курбов не изменит. Но достаточно обследовать всю сухость губ, от которых так тошно ранневесеннему деньку, обмороки карандаша, падающего в самые напряженные минуты, сутулость, скуку, холодную, прозрачную деловитость, явно отчужденную от влаги задрожавших палисадников, от громыхания и от пара, от весны, достаточно, чтобы понять: конец. Конечно, снег еще лежит. Конечно, Курбов здесь, не помышляет даже о чем-либо другом, кроме папки с очередными докладами. Конечно... Но все это — продление. Николай погиб.

Неужели мог? От маленькой, тонувшей в шубе, которая в захарканном притоне выдумала строить до-

мики, после рассказывала глупые романы, жизнь по Желиховской, с обаянием шпор, и, наконец, рассевшись всласть, привыкши и раскисши, разоблачилась — выложила на столик, провонявший основательно колбасой, свои сухаревские, подсолнушные идеи: «В Кремле — шампанское». Неужели от такой? Нет Неправда! Знает. Видел. Мог бы устранить десятки Кать, сотни, миллионы. Нет, не от Кати гибель. Катя какое-то бревно, подкинутое злоумышленниками на рельсы. Могли быть Маня или Саша. Могла быть просто черная и теплая дыра в снегу. Все дело в страшном сотрясении ночью, среди ерных шорохов и мерзких песен, где-то возле Трубы, в местечке, открытом прыщавым Чиром, в тесной тараканьей щели.

Ведь несмотря на тяготу и сдачи, на белого, расстрелянного под Черниговом, на девочку, облившуюся смертным потом и слюной, на месяцы и годы, Курбов являл высокую гармонию. Равновесие и точность химических весов. Как бы сверкал медными частями, вторым и третьим солнцем. Про таких писали прежде: олимпиец. (Например, огромный план вселенной, с точностью до миллиметра, который в парике и в туфлях с серебряными застежками прогуливался по уличкам заспанного Веймара.) Курбов был спокоен, светел, в слепоте играя роями глаз, как ночь; в жестокости уподобляясь желтому небесному образчику, изливая, как оно, живительную пагубу зноя. Когда в автомобиле, пугая волчьими глазищами и воем, он носился по ночной Москве, с невымирающими замоскворецкими лабазниками, с часовнями Пантелеймонов, ревностно хранящими густые запашки душегреек и кладбищенского ладана, с шелудивым юлением Тверских,— носилась просто воля в короткой куртке, и лабазники поспешно преставлялись, в распахнувшиеся двери часовни влетал озорной мороз, с морозом взвод курсантов, а разные Тверские забивались под комиссарские постели, с перепугу готовые шить всю жизнь кальсоны для Красной Армии. Воля. Поворот. Колесо под рукой.

И вот вчера воля затрещала, как будто она лишь сгнивший стол под локтем разгулявшегося Леща. Вздор! Редкая нелепость. И все же, в половине первого... Катя здесь ни при чем. Ну да, глядела, загибала уголки карт, смуглая рука и прочее. Гибель в нем. Ходил, чертил, не зная, что сам доверху начинен чем-то тягостным и страшным. Взрыв. Он в кольце. Как

некогда Олег Глубоков. Встали, идут. Мокрота, и всё. Стихия — чужая, топкая, похожая на портяночную, курную, рыхлозадую Расею, обступающую главки, комы, разум. Это было в нем. Сам выкормил и не заметил. Гибнет. Скорей всего уже погиб.

И падает карандаш. Подымает. Пересиливает, пишет: «Срочно... принять меры... твердость...» Пальцы твердеют: не выпустят карандаша.

Стук. Людмила Афанасьевна. Подойдя вплотную к Николаю, сразу, без предисловий, как во всех романах:

— Товарищ, понимаете ли вы, что такое любовь?..

Курбов вспыхивает. Ну, это слишком!.. Неужели выписано на лице?..

Но Белорыбова не замечает. Ей все равно. Ей нужно милого спасти, того, оставшегося дома, глупенького, мальчика еще. Не ждет ответа. Слова скачут, как недавно по улицам скакала сама Белорыбова, вперегонку, скорей, скорей. Все ночное обработано и претворено в трогательный рассказ. (Кто после этого скажет, что Людмила Афанасьевна лишена художественных возможностей, что она зря была записана в библиотеке?) Игнатов сам признался. Случайно втянут. Ужасные злодеи. Хотят через неделю въехать в Кремль. Особенно интересуются, кто какого звания. Сам Игнатов предан революции. Он еще мальчик. Она — должна сознаться — любит. Любовь не шутка. Товарищ, конечно, это знает. Умоляет его — пощадить. Он останется среди заговорщиков. Все выпытает. Сообщит через нее. А после, может быть, местечко, хотя бы внештатным или секретным. Но только чтобы паек — и с маслом. Отощал — необходимы жировые вещества. Умоляет. Любовь порой приходит поздно: ей двадцать пятый, и впервые, но когда приходит, это очень страшно. Страшней, чем пишут. Товарищ знает. Товарищ спасет.

У Курбова первое про себя: «Ах, значит, эта... Катя... с ними... вот что!..»

Белорыбову успокаивает:

— Хорошо. Исполню. Прошу вас все, что вы узнаете об этом заговоре, сообщать мне лично.

Один. Какая гадость! Любовь — кудахчущая баба над жировыми веществами для миленка. Ей можно! Впрочем, можно всем. В ушах снова топорщатся вчерашние «цыпленки» — что делать? «Хочут жить». Да — всем. Но не ему. Он не хочет. Даже если это не белорыбовское масло, а сто томов прекраснейших сти-

хов, все равно противно. Брр! Вот встретил какую-то девчонку, не только повторявшую кухонные сплетни, но еще замешанную в пошлейшем заговоре со званьями, с въездом цугом в Кремль, встретил и раскис. Разве не мерзость?

Теперь осилит. Девчонка глупа, любит душу излить. Сразу все выболтает. Он пойдет еще раз в эту трущобу: встретить, полюбезничать и, между шепотов о разных Христах или Демонах, мимоходом подобрать детали заговора. Чует, раз «Бог» притянут, не без Высокова... От мысли снова встретить Катю на минуту слабеет: слишком сильно бьет в глаза синь влажных глаз и солнечная, щемящая охра руки. Жмурится — уберите прочь! Вздор, стыдно! Вошедшим Ашу и Андерматову:

— У меня нити... Заговор... Как будто монархический, с царем и прочим. Полагаю — высоковские штучки. Выяснится на днях. Собираются в «Тараканьем броду».

Аш ножницами: чик-чирик. Диктует Людмиле Афанасьевне и вскоре на столе кокетничает новенькая синенькая папка́, как институтка в форме, еще вполне невинная. Выведено красным:

«Дело о заговоре в «Тараканьем броду».

Андерматов мечтает: заговор. Начнут хватать по алфавиту. Много. Тысячи. Вдруг (ведь бывает — закинут сеть, а попадется золотая рыбка) среди прочих изменница, насмешница, Зинка проклятая с тапером?.. Тогда... Отвернувшись, чуть улыбается в газетный лист, вышептывает тихо: «Тогда я покажу им, на рассвете, по-петушиному «кукареку»...

Обычный день. В учреждении, то есть в чеке, солнце и пыль. Шип машинки. Курбов, откладывая доклады, берет «Известия». Еще раз: люди могут быть только людьми. Концессии иностранным капиталистам. Возможность экономического отступления. Все правильно, обдуманно, неизбежно. Запад не поддержал. Развал. Длительная пауза. Пока же необходимо жить, то есть поспешно жевать теплый, душный хлеб, греться у мурлыкающей печки и любить. Да, любить, как видно, нужно многим, может быть, и всем. Вот у товарищей подруги, жены, правда, партийные, единомышленницы и прочее. Но разве от этого легче? Разве они, любя, не корчатся, не мечутся, не столбенеют? Разве не подходит вот такое, что кровь со сгустками уже не течет, а будто в ледоход мосты ломает, крутит, губит? Наверно, так. А значит, и они, цыпленки, «хочут

жить». Нет, нужны система, звездный план, воля к единому. Все выстроить. Тогда — другое. Тогда придет любовь — не смерч, не напасть, не бедствие, а равнодействующее начало, точное соотношение, колонка цифр, простая радость, благо. Пока — нельзя. Пока — работать, вдвое, втрое. Пусть концессии, отступление. Пересидеть тех брюшковатых и беспечных в Европах, играющих в футбол и пляшущих фокстроты. Пересидеть и пересилить. Снова берет доклад.

В окошко торкалась весна. Она с отменной наглостью влезала в короткую минуту между докладами, чтобы кой о чем напомнить, смутить и всласть побередить. Была нерадостной. Гнилые черные провалы на мостовых, на крышах. Пахло гнилью. От всего мутило. Слова докладов, маленькие и привычные, вдруг до того разбухли, что не влезали в голову. Каждое по несколько раз кидалось в глаза и наконец, дойдя до мозга, лопалось. Оставалась труха, то есть буквы. Надо работать. Только не любовь! Какая пошлость! Заговор. Девушка и тараканы. В докладе: «Обнаружены тенденции...» Что? Откуда? Хорошо бы крепкого чайку стакан! Баловство. «В некоторых губерниях...» Губернии — где это? Не здесь... Большое «Б»...

Курбов уснул, не выпуская папки из цепких рук. Спал долго, сидя, и этого никто не замечал.

Когда же Андерматов заметил и пристально вгляделся в землистое, сразу сдавшее всю жесткость, почти тряпичное лицо, он, даже не заслоняясь для приличия газетой, хихикнул Людмиле Афанасьевне:

— А товарищ Курбов, видно, по ночам не спит...

Белорыбова вспомнила другого, безмятежно спавшего, оставленного в пустом будуаре, и чувствительно, глубоко вздохнула. Курбов проснулся. Сам не осознал, что спал. Вернулся к той же букве.

Большое «Б»... Да, беспорядки в Тамбове. Надо работать. Работать — и вовсю.

25

Катя остановилась перед вывеской «Вегетарианская столовая «Не убий». Постояла. Было очень страшно, пожалуй, страшней, чем Жанне д'Арк подняться на костер. Потом, про себя, «раз, два, три», как

девочка, когда, купаясь, кидалась в холодную, секущую все тело воду, шею вытянула, выпростала руки и влетела в часть официальную. На этот раз не имелось даже простокваши: просто морозный кошачий дух. Потолкалась в какие-то сомнительные двери. Ведро опрокинула. На барабанный грохот выплыл наконец Иван Терентьич. Катю недоуменно обследовал:

— Ты что же, без кавалера? Нельзя.

— Пустите! Мне очень нужно.

Еще раз осмотрел. Глазом намозоленным залез под шубку. Ползал всюду, так что Кате от взгляда сразу стало щекотно, стыдно, нехорошо.

— Пожалуйста, пустите!

Осмотр, как видно, был благоприятен, ибо Иван Терентьич, раньше сердито хрипевший, теперь цедил малиновый сироп:

— А ты не скандалистка? То-то. У нас ведь живо — за косы и на мороз, да так, что после три года будешь плешь отращивать. Скандалить не полагается. Человек создан по божьему подобью, вот что, не скот какой-нибудь (при этом Иван Терентьич сапогом подкинул забредшую виновницу местных ароматов кошку Титьку так ловко, что Титька, пролетая спиралью, запищала, как масленая сковорода). Что же, если будешь соблюдать порядок — можно. Ты особа не без приятностей. О прочем я с тобой отдельно потолкую. Открою, так сказать, устав.

Катя вошла. Неловко села на какой-то гвоздастый ящик. Иван Терентьич, деньги спросив вперед, принес чашку самогона, голубизной похожего на осеннее небо. Уставившись на новенькую, тараканщики хихикали. Но Катя не замечала. Перед ней было одно живое: дверь, рыжая, хитрая, поросшая войлочной бородой, способная сейчас раскрыться, дать радость, весенний холодок, стальные тяжелые глаза, или обмануть, впустить других, вот этого молодчика с серьгой в одном ухе и с мордой столь припухшей, что вся она — один всесильный нос. Открывалась дверь не сразу, капризничала, жалостно скрипела, и по скрипу Катя всякий раз пыталась угадать: кто?..

С того вечера ждала его. Искала всюду. По-детски. На улице. Увидев сзади куртку, кидалась вслед, догоняла, и удивленно на нее взирало чье-нибудь усатое лицо. Один даже милицией грозил. Разыскала губпродком. Караулила и в десять и в четыре. Наконец

осмелилась: спросила у какой-то пигалицы — не знает ли товарища Захарова, Владимира. Пигалица пикнула: «Не знаю». Злая пигалица! А его все не было. Был он очень, очень нужен! Все остальное как-то истончилось, зачахло, стало похожим на заспанный сон: если рукой пощупать — текучий воздух. Все эти дни не вспоминала даже о «пятерке», о том, что скоро кого-то убьет. И не молилась. А раз, взглянув на лик в углу, пронзительный и дикий, вместо молитв шепнула: «Владимир», глазами сбрила бороду, вместе с бородой исчезла благость. Грозил, судил и — судия — томился, ждал ласки, простого утешения. Перст, поднятый к небу, хрустел и леденел. Был похож до потрясения. И на того, другого, летавшего высоко, где гул воды и грохот лавин, обиженного злой грузинкой. Какой-то монастырь!.. Впервые Катя с отвращением подумала о чистоте, о белой стенке, о душе крахмальной и неуязвимой: таких бы вниз!..

Когда позавчера зашел Высоков, сразу вспомнила: «Ведь я в «пятерке». Чуть удивилась: это не входило в мир последних дней, наполненный до края гудом крыл, дрожанием ресниц, сверканием серых глаз, то серо-синеватых, как клинки, то серо-желтых, серных, цвета грозовых туч. Впрочем, не отстранилась. Дело спаялось с ним: он такой же, поймет. Убийство перестало быть своим, раздельным, родившимся от топота поклонов в углу под Спасом,— общее теперь, почти любовная тайна: он и она. Жалела об одном: так скоро!.. Не успеет погладить длинной, закинутой бог весть куда руки, руки — весла, руки — прорыва в оттепель и в ночь. Утешить не успеет. Помочь. А в ней такая жалость! (Может, не только жалость, но другое слово она суеверно обходила, так и о злой грузинке думала: почему не пожалела? Иногда, стыдясь себя, уже полуспящая, в подушку: почему не поцеловала?) Нет, надо его скорей найти!

И Катя наконец решилась отправиться в ужасный кабак, где встретились тогда. Что там — не знала. В тот вечер, глядя на грозно-серые и на весло, не заметила ни Леща, ни игнато-белорыбовской идиллии. Только прорывались клочья шумов: ругань, слезы, смех. «Тараканий брод» ей вспоминался страшным и прекрасным адом. Не то сошел туда, тоскуя о человеческом, простом, суровый, подымавший перст в углу; не то оттуда вышел отверженный (ночь и лавины),

влача по грязным, скользким половицам свое поломанное крыло.

Да, ад! Вошла со страхом и билась, стиснутая глазищами Ивана Терентьича, как птенчик в кулаке. Но, глядя на живую, изворотливую дверь, страх забывала. Придет! Придет ли?

А тараканщики, вдоволь наглядевшись, всласть насмеявшись, решили приступить к знакомству. Чир особенно. Хотел себя вознаградить за двойную обиду: за Курбова, проделывавшего куры с этой щуплой мамзелькой, и за Пелагею, поразившего весь «Брод» избытком и денег, и энергии. Теперь Чир всем покажет: барышня (верно, с голодухи, девять юбок обменяв на хлеб, последнюю решила попросту задрать) боится — вот с такою он, прыщавый Чир, величественно проследует в верхний номер. А Курбову при встрече скажет: «Так и так, вы разные дискуссии, а мы с ней по-семейному». Так мечтая, Чир скинул с колен оскорбленную Свеклокушу, после излияний Высокова вправду возомнившую, что она, несмотря на широчайший зад, духовная особа, и, небрежно сплюнув, подсел к Кате.

— Что, мамзель, уединились? Позвольте поухаживать, зовут меня товарищ Чир. В некотором отношении почти что местный совнарком. Оно конечно, с непривычки здесь не ароматно. Но позвольте угостить вас заграничным коньячком.

Катя злобно отстранилась. Ощерилась, как маленький зверек. С дверью все же не могла расстаться.

— Оставьте меня. Я жду знакомого.

— Как же, нам все известно. Мой товарищ. В прошлый раз ведь вместе пили. Разве не помните? Только он — митинговый человек. А язык — мягкий, языком дела не наладишь. Я безо всяких резолюций, исключительно озабочен наслаждениями дамы...

И с этими любезными словами Чир Катю решительно сгреб. Вырвалась. Кричала. Чир ругался, а Свеклокуша, почуяв, что теперь и она может выступить, стала выкладывать свою ревность и обиду:

— Да как ты смеешь, тварь постная? Кости бренчат, а туда же!.. Барышня, и, между прочим, на людях непудреная ходит, рожа — самовар. На наших кавалеров пялит свои телячьи... Вон отсюда!..

Все сильнее распаляясь, Свеклокуша, также предпочитавшая дела дискуссиям, в зените гнева, ловко рукою въелась в волосы Кати. Чашка взвизгнула. Катя

закачалась, проступили слезы, минута — и упала бы под мощным прибоем Фемиды-Свеклокуши. Но пришло спасение: подплыл корабль — Иван Терентьич. Свеклокушу — коленкой в зад, подмигнул приятельски Чиру:

— Девочку зачем же обижать...

Катя:

— Я уйду. Я подожду у двери.

— Вот как — кавалера ждешь? Ну, на улице не очень-то удобно. Замерзнешь. Да еще пристанет кто. Разденет. Ты лучше наверх пойди. Там комнатки такие — тихо, народу нет. А как придет твой хахальчик — жена нас позовет. Я-то с тобой пойду. Такой у нас порядок. Каждая — разок. Вроде как в трудовую книжку записываю: отработано. Да ты не сомневайся — я человек семейный, тихий. Жену спроси или дочек.

Глаза Ивана Терентьича от избытка семейных воспоминаний увлажнились. А потная, ёрзкая ручища уже пробиралась под Катину шубенку. Поднял. Катя упиралась. Подталкивал ее, огромный, как упрямого ребенка, за тоненькую шейку. Уж возле лестницы. Извернувшись, Катя вынырнула из мокрых рук, ринулась к знакомой, почти любимой двери. И дверь в ответ, сочувственно застонав, распахнулась. Курбов! Катя — волосы стекают вниз, платье на груди расстегнуто, слезы — к нему:

— Владимир!

Может, если б встретила его час тому назад, было бы другое, беседа, спор, медленное усилие, за шагом шажок на льду, вырубая ступеньку, чтобы подняться выше. Но сейчас не до того. Мысли разметались, как купа этих волос. Только нежность, неслыханная, страшная, которая способна взять язык с синтаксисом и с Далем, взять и сделать из него какой-то детский лепет, пенье дикаря, слога, обломки фраз, почти что придыхания, но полные значимости: вот в этом бездумном звуке — года. Здесь было всё: и как искала, и как колючий на Никитской, обомлев, чуть-чуть портфеля не выронил — «куртка вроде вашей» (счастливая улыбка: нашла, теперь-то наверняка), и как похож — в углу, без бороды, и после — какой он бедный, надо пожалеть, и странные прозвища: «Заяц», вовсе невнятное «Левун», и теплота слезы, скатившейся на руку Курбова, и снова извержения слов грозных в ласковос-

ти и, наконец, последнее, преодолев все суеверия, несказанное, но только вычерченное детскими еще губами, кинутое внутрь и все же понятое, горькое «люблю».

Курбов пришел уверенный, сухой и деловой, почти как в кабинет: чинить допрос, и только. Сначала он хотел понять, что же случилось. Не смог. Слова обволокли, как будто опустилось облако, все стало невесомым, белесым, пустым. Потом (и это было, пожалуй, страшней всего) сквозь белесоватость четко проступила почти что напечатанная фраза: «Я снова схожу с ума, мне уже не хочется разбираться в ее словах, только бы слушать...» И снова пусто. О Христе ничего не понял. Колючий с Никитской показался страшным сном. Зато «Левуна» признал как нечто свое, давно знакомое. «Левун» — теплый и пушистый. Вроде щеки. В это время руку обожгла увесистая крупная слеза. Одна, но продолбила. Даже вскрикнул. Во рту закопошилось: какие-то слова хотели выйти, но не могли никак пролезть в сузившееся горло. Наконец выдохнул. А может быть, и не те, совсем другие — помельче, порасторопней:

— Я тоже ждал вас. Очень ждал.

Это было правдой. Сейчас не помнил: зачем пришел. Заговор? Да, это было, но давно: некогда, до рабочих, топотавших в переулке, до сибирского детеныша, до мамы, приносившей к сундуку запах мыла и домашних слез, до всего — в угрюмом, преджизненном, ледниковом сне, под синей папкой, на Лубянке. Пришел увидеть. Уйти с ней. Пришел... И снова слово затопорщилось. Его необходимо было вытолкать наружу. Все время ведь молчал. Слово голое, пустынное, вслух:

— Пришел, чтобы погибнуть.

Здесь началось невнятное. Здесь Катя вся прояснилась последним светом, как будто было сказано «чтоб жить». Опознала свое, почти уютное, почти микстурное, и, немного поборовшись, ответила ему так, как никогда бы не сказала, даже не подумала бы, если б он, счастливый, смеялся, говорил, как счастлив с нею, если б он лежал в ногах или, торжествуя, вел ее под руку, никогда, только сейчас. Сразу после темного «погибнуть» вдогонку ринулось высокое «люблю».

Курбов это понял. Не переспросил. Не смутился. Знал — иначе нельзя. Согнувшись, не глазами, губами нашел ее маленькую ручку, затерявшуюся в мехе, и к ней прижался, как к граниту. Долго дышал

смолью, солнцем, донесенным сюда по хлюпающему снегу, от детства ли, от дачи, из которой зной высасывал сосновый дух, или, дальше, от случайно затесавшейся прабабки, от цыганки в кибитке, прожженной насквозь, так что даже гортанные призывы напоминали скрип сухого дерева? Дышал и ничего не ждал. Длительная пауза.

Даже тараканщики примолкли: так молчат, когда кто-либо рядом кончается или просто молится стеклянноглазому, чужому, но все же Богу. Было в этой общей тишине большое напряжение двух людей, готовых сейчас же, на месте,выстроить из спичечных коробок гигантские шагающие пирамиды или вместо строек изойти паром, вылететь на улицу, в прореху разбитого окна. Тишина начинена была тысячами шумов: от героических — выйти на Трубу и, кинув это сердце, взорвать миры до атомов, до счета дыхания умирающего, до журчания слезы, до хода, нарастания и отмирания травяной, незрячей жизни.

Только Иван Терентьич въедался в торжественную тишину своим юлением. Мигом забыв о прежних планах, страсти остудив, смиренно дожидался: потребуется «номерок», без этого не обойдется, надо только в подходящую минуту оказаться под рукой.

Паузу ликвидировала Катя. Почувствовав, что значил этот поцелуй, это молчание, широко, до холода в кончиках пальцев, распахнулась, как давеча, дверь. Открыто, без утайки, скрытой в уголочке, чтобы после можно было опомниться, утешиться, отчитаться перед самой собой. Нет, настежь. И что ему дать? Главное ведь вышло, выдышанное ходит вместе с дымом под причудливыми трещинами потолка, и выше, под желтыми поспешными оттепельными облаками. Дала это «люблю», эту руку, эту тишину, что же дальше? Может, если бы женщиной была: мудро, легко и просто повела бы Николая за руку наверх, в мерзкий «номерок», перед этими Лещами, которые и усмехнуться бы не посмели,— такова любовь. Но Катя могла припасть и покориться, вести же не умела. Тогда встало: дать ему (даже не дать, почти по-детски — подарить) стеклянный шарик на мамином комоде с метелью в воде,— весь тот особый мир, страшный, прекрасный, призрачный, сейчас такой далекий и игрушечный, где гремел братец Наум и угрюмый Высоков говорил с уютцем о смерти,— подарить ему. Милый, бери, иди со мной,

вместе — розы головешек у ног, костер Жанны д'Арк и лик, обрадованный этим подарком двух жизней, того, второго, двойника — в углу. Катя заговорила.

Сначала Курбов воспринимал ее слова как тот же сон, как нежное продление «Левунов» и прочего. Стеклянный шарик в детской ручке весело дрожал, хлопья порхали, была метель и где-то обрастали святочным снегом диккенсовские фонари. Но шар рос. Снежинки, слипшись, уже душили желтые, воспаленные глаза кремлевских окон. Курбов почувствовал: запахло бурей. Но, нежась еще, он знакомый запах обрядил в легенду: дитя!

— Мы должны убить крупного чекиста Аша или Курбова.

Здесь Курбов не выдержал — ласково усмехнулся. В детскую случайно заглянул: играют в индейцев. И с особой мягкостью, почти неловкостью взрослого, который хочет войти в такую игру, путается и робеет, спросил:

— А кто же организует?.. Ястребиный Коготь?..

— Высоков.

И это было концом. Четко выступили отвислые груди Свеклокуши, прыщи Чира, сало Ивана Терентьича, проступающее сквозь две фланелевые рубашки и пиджак, чашки, скамейки, грязь, плевки, на блузке Кати верхняя кнопка отстегнута, сейчас три четверти десятого, пришел по делу — допытать, и вот барахтается...

«Высоков!»

Уж не снежинки в шаре. Антанта. Деньги. Мерзость. Смерть. Надо пресечь, скорей, сейчас же! Схватить ее. Пойти за ней. Выследить. Ведь если дать таким ходить, целовать, бесноваться, убивать — всему конец. Это изъяны. Дыры. Черные, гнилые на снегу. Как грибы: только поплачет сверху — вскакивают, бухнут. Газ спертой, гранитом сдавленной земли. Загнать их снова в юродивые топи, в соломенную ерунду. Ну, Курбов!..

Катя почувствовала слом и выпад. Почему, не знала и не решалась спросить. Она дала ему волшебный мир, свою «пятерку», что же еще? Как сгладить эту страдальческую синь под серыми и серными, готовыми истечь огнем? Вспомнила лампадное масло: сухой судил, а навощенный золотел и миловал. Не рассудком, нюхом догадалась:

— Милый, все это не то... Не главное, второе... Сейчас одно: люблю.

Бедный Курбов! Как он ребячлив, как слаб, как молча, тихо гибнет, не вмешивая в хмельной, беспечный вздор «Тараканьего брода» своей звериной тоски! Что делать? Да, она права! Все это не то. И хуже: огромное, родное — все главки и учеты, тоже не то. «Сейчас одно: люблю». Так в маленькой девчонке — вся на ладони — больше силы, больше правды, чем в нем, обдуманном, вымеренном, безупречном. «Сейчас одно...» Но это «одно» — прекрасное для миллионов, для поэта и для токующего тетерева, для схоластика и для жадной лилии с исступленным пестиком и с вздрагивающими тычинками, для всех прекрасное, для него: позор, отказ, гибель. Он не может. Сам себя построил. Строил год за годом: Колю с микроскопом, Николая на митингах, Курбова в комиссиях. Строил для высокого и длительного горя: дать бешеной, разнузданной, расхлябанной земле великий строй. И сам теперь запутался в двух-трех словах, зацепился о горячее дыхание, упал. Нет, этого нельзя! И Кате вслух:

— Нельзя!..

Но ясно — этим не спасешься. Надо рубить. Если сам не может, ее заставить убежать. Дать ей ненависть, если в нем неистребима нежность. Пусть глупо для дальнейшего, теряет нити, выдает себя,— что делать? — он с изъяном. Пусть жестоко и пахнет мертвечиной, заглоданным младенцем, насильно затравленной любовью, что ж, ему не выбирать: он гибнет.

— Вы должны меня ненавидеть. Я не Захаров. Я — тот самый Курбов, которого... Поняли? Теперь идите. Готовьтесь с Высоковым. Я тоже буду готовиться... Кто-нибудь из нас погибнет... Прощайте.

Даже слов не разглядев — только голос, Катя встает. Какая маленькая, и еще согнулась! Плечи — вниз. Зуд в голове. Вот и пришла Лиза... Счастье отбирают. Его убить? Господи, за что же? Надо идти! Гонит. Милый! Чекист. Пытает. Высоков говорил, что он вбивает гвозди в тело. Серые мои, родные!.. Умираю... Идти. И Катя кидается в дверь, сулившую все, обманувшую, скрипящую: прощай! Чекист! Дверь упирается. Трясутся плечи. Ушла.

А Курбов занят одним — дыханием. Спасен. Может встать и сесть. Может даже выйти. И, не глядя на оскорбленного Ивана Терентьича, напрасно готовившего «номерок», выходит. Подмерзло. Скользит. Он будет жить. Он не погиб. Работать. Двигать дальше этот проклятый воз, с накиданным до неба жалким

скарбом испорченных локомотивов, ленивых скаредных сердец, двигать, проталкивать в гулкие, просторные века, где воз очнется изумительным мотором или, снявшись с земли, гудя, взлетит. Толкать. Подгонять отставших. Утреннее, гнилое и мутящее, исчезло. Легкий морозец заштопал дыры, подчистил все.

На Сретенке остановился перед желтеющим стеклом. Когда-то магазин. Теперь клуб комсомольцев. Вошел. Полутемь. Какая-то лекция по космографии. На белом экране рождаются стройнейшие фигуры, напоминая: таким и ты родился, таким ты должен, слышишь, должен быть! Все остальное — нахлынь, произвол, случайные клубы облаков: выдохни немного ветра, прояснись! Ты — Курбов. Ты — как мы.

Экран темнеет, будто зимний день к четырем. Взамен встают другие звезды, пойманные, замкнутые в стекло, прирученные и вышколенные. В комнате оказываются молодые и задорные. Готовы взять тотчас же звезды с потолка, с экрана, с неба, заставить их стадами биться и звенеть по всем ухабам московских улиц. Курбова узнали. Гордость — к нам пришел! И — как маме кантату к именинам,— выстроившись в ряд, смущенно улыбаясь, затягивают «Интернационал». Потом, омытые своими же голосами, летящими подобно косому проливному дождю, забывают смущение, именины, даже Курбова. Идет здесь, в тесном магазине, после скучной лекции какого-то инструктора, с незримыми врагами: с сединой, с залежами книг, со временем,— «последний и решительный бой». Время (может, это седенький инструктор, верящий в диплом и презирающий все революции?), покашливая, уступает. Древний Хронос ползает в ногах. Еще одно «это есть наш», и он издохнет, просыплется трухой. Останутся лишь звезды в кулаках, голос, пролет.

Курбов поет. Для этих Курбов — гордость, вождь. Для себя сейчас — спасен! Не Николай Курбов, не человек, способный любить и уступать, любя, нет, среди многих голосов — такой-то голос, слитый так, что не отцедить его от прочих, среди рук — рука.

26

Как будто прошли недели. «Пятерка» родилась в морозный вечер, когда братец Наум тайком вздыхал о Данииловой печи. Теперь же совсем тепло.

В палисадниках на мокрой Спиридоновке вязкая земля уже обрызгана чем-то зеленым и праздничным.

Но Высоков хмур. Ему не до травы. Из Орла плохие вести: должны были поднять крестьян видением «Всех Скорбящих». Хамы — умилились, и все тут, даже комиссара продкома не потрудились укокошить. Подъемные пятнадцати ребятам, куш псаломщику, сработавшему (впрочем, очень чисто) чудодейственное — все зря. Из генштаба ждал нужную записку: состав частей у западных границ — обещал за мелкую услугу друзьям-полякам. Что же — военспец съел франки и надул. Попробовал напомнить — грозится: вызову чеку. Моральное разложение России приняло воистину ужасающие размеры. Царство дьявола. Надо будет, когда в Париж вернется, написать об этом едкую статейку. Пока что — ерунда. Связался с девчонкой — дура! Разыгрывает Юдифь, а время идет. Вся «пятерка» ненадежная. Брюхатый братец годен на одно: служить панихиды по камергерам. Усач невероятно глуп: такой способен только, плотно пообедав, пальчики дамские лизать или заниматься геральдикой. Одна надежда на босяка: парень деловой, но плут редчайший, требует вперед, за все надбавка. Сегодня утром явился на свидание с целым индюком. Заявил: или вперед на стол сто тысяч царских, или к черту! — будет целую неделю лопать индюшатину и плевать на тараканов. Не угодно ли? Выгнал. А теперь жалеет: без Пелагеи, кажется, не обойтись.

Остальные в сборе. Перемены не только в палисадниках Спиридоновки — в глазах Игнатова. Потерял всю важность владетеля жаровни на Сухаревке, человека, сознающего и днем и ночью свое звание. Вместо этого — невиданная томность, тургеневский, девический оттенок. Даже тело прояснилось, хотя и не убавилось в весе: поддерживала белорыбовская колбаса. Просто, проникая каждый вечер в разогретый эдем, стал приучаться к прозрачности и духовности, свойственной всем ангелоподобным существам. «Пятерочные» разговоры еле доходят до него, в ушах гнездятся: «милый», «я твоя Венера», «скушай еще».

Наум, напротив, общителен до крайности. Весел. Несмотря на сырость сезона, совсем забыл свой ревматизм. Правда, перед заседанием лечился: высоковская пачка убывала, но не без сладости. Сегодня утром по случаю приобрел бутылку смирновки и честно,

скромно распил оную во славу Господа, тостов суесловных избегая, но после каждой стопочки провозглашая «аминь». Теперь заигрывает с Высоковым:

— Что, братец, покуролесим, а?.. Бомбочку-конфеточку — и прямо на Лубянку...

Высоков цедит:

— Разумеется.

Про себя — болван! Взять бы такого и буравом пузо... Всех устранить, чтобы было только: голая земля, беленькие косточки и черный огромный некролог, в миллион строк.

Открывает:

— Итак, господа, к делу. Удалось ли вам проследить образ жизни Курбова или Аша?

(Ах! Пелагее, может быть, и удалось, но Пелагеи нет — бастует. Зачем утром прогнал? Надо было б индюка приправить соусом из франков.)

Молчание. Высоков злится.

— Но вы же что-то делали. Ходили в какой-то «Тараканий брод». (Игнатову.) Вот вы, насколько мне известно, даже свели знакомство с подозрительной особой...

Игнатов, просыпаясь:

— Что вы! Что вы! Исключительно духовное общение. После стольких лет одиночества — среда. Девица прекрасного происхождения: дворянка. Подозрительного ни-ни. Служит в Наркомпросе. Изредка заглядываю: выпить чашку чая и совместно поговорить об отечественной литературе.

Кате:

— Вы?

— Нет.

Потеряв любовь, еще упорствует: нет, не знает, нет, не раскроет, кто сидел тогда с Игнатовым в «Броду» и терпеливо строил домики — высокий, дикий, темный. Найдут другие, прикажут — покорится, подымет эту руку, которой недавно любовалась (теперь: лучше б отрубила), выстрелит в милого, любившего башни из катушек, как будто теплая грудь — устав чеки, звезда, кокарда, номер. Но сама не скажет. Смиренная и отчужденная сидит, почти враждебная. Надежда одна: того, другого, Аша. Да, конечно: чекистов надо истреблять, надо мстить за всех. Она убьет чудовище — невиданного Аша, который, верно, свирепый, рыжий, с засученными рукавами, как мясник, убьет нечто

с Лубянки. А Курбова?.. А Курбова пусть кто-нибудь другой... (Где-то очень глубоко, где кончаются последние лучи, в темно-зеленом бутылочном иле барахтается женская томительная полнота — приписка: да, пусть другой, и может... может, промахнется...)

Окончательно раздосадованный, Высоков вынимает из кармана две карточки:

— Вот фотографии обоих. Приглядитесь. Может быть, вы и видели их в этом «Тараканьем броду». Пелагея мне клялся, что кто-то из двоих туда шляется.

(Зачем прогнал? Жрет индюка, мерзавец!)

Сначала смотрит Игнатов. Курбова не узнает. Как будто лицо знакомое. Нет, это только показалось. В тот вечер, сжигаемый двойным огнем: мадьярского бензина и белорыбовского бюста, не видел мира зримого, то есть низменного. Но что-то запомнилось:

— Глаза, знаете ли, знакомые... Впрочем, это бывает — психологический обман... А красивый мужчина — и зачем такому Чека понадобилась?..

Другая... Нет, и этого не знает.

Катя сразу, стараясь не смотреть:

— Нет.

И все же смотрит. На скверной, линючей фотографии, с выглоданными рыжими подпалинами темнеют глаза. Все темнее, все суровей, приказывают Кате: «Встань, иди сюда, служи в чеке, будь цифрой, я сложу тебя с миллионами других; плюс, знак равенства, к высшей мере». Так говорят глаза. И Катя почти готова встать, идти, служить, даже пытать: булавочку под ноготь — слишком доверчиво и нежно гнется шея, а сзади, где фон провинциальной фотографии (колоннада и ландшафт), чует: хрустит, жалобно влачится поломанное крыло.

— Нет, я его не знаю!

И, пользуясь сумятицей, быстро прячет карточку под блузку, где чекист неистовый тотчас же принимается за дело: вбивает гвоздики в замученную грудь.

Суматоха от Наума. Увидав фотографию Аша, загрохотал:

— Как же, как же! Каждый день его вижу. Не подозревал, что он палач и грешник, даже содействовал. Хитер злодей! Могу его доставить куда прикажете.

Катя:

— А я его убью. Вот хорошо!..

Но Высоков думает иначе: отнюдь не хорошо. Что Аш? Букашка! Эффект ничтожный, пожалуй, во французских газетах канальи даже не напечатают. Таких, как Аш, тысячи. То ли дело — Курбов. В «Matin» — статья. Номер «Известий» в черной раме. Поздравления. И прочее. Нет, надо попытаться через Аша выследить Курбова. Науму — директивы:

— Вот что: вы этого субъекта мирно и по-хорошему куда-нибудь зазовите, ну, к себе, что ли. Припасите винца. И расспросите. Только толком. Обо всем. А станет отпираться: дверь на замок, к виску наганчик. Поняли? Вот вам на расходы и «собачка». Может быть, я сам к вам загляну.

Наум трясется. Снова ревматизм? Нет, поздно! Сам вызвался. Судьба. Что ж, он примет мученический конец. Сопричислен будет.

27

Счастливый соперник Андерматова, бывший тапер Иосиф Пескис, стоял, как всегда, на Пречистенском бульваре и, чрезмерно вытянув гусачью, изъеденную ржавчиной веснушек шею, выводил тончайшим тенорочком:

За красу я получила первый приз,
Все мужчины исполняют мой каприз...

Лицо его не выражало, впрочем, никакого счастья. А голос был столь печален, что молодые бабы, останавливаясь, тягостно вздыхали, думая — одни о драчливых мужьях, другие о том, что хлеб снова на три тысячи вздорожал: не жизнь — бурчание. Бабки быстро семенили мимо, суеверно крестясь,— пение походило на нечто нечистое, хотя бы на вой кладбищенского ветра. Немудрено: Иосиф Пескис пел и думал о вещах скорее мрачных. Вчера половина трухлявых брюк решительно ушла, легла в изнеможении на пол, и Зина, обе половины тщательно исследовав, заявила: «Починить нельзя, все расползается». Теперь беженцы приколоты двойной булавкой, но норовят, трюк повторив, остаться на бульваре. Дальше — хуже: Зина вздумала обзавестить еще одним ребенком. То есть вовсе не вздумала, просто так случилось, как и почему, сам

Пескис не знает, он не доктор и не бог: на всякого мудреца довольно простоты. Расходы экстраординарные, а денег, между прочим, вовсе нет. Прежде были балы и свадьбы: кадрили, вальсы, венгерки. Чистая прибыль за вечер пять рублей и ужин. Теперь — бульвар. Мороз, дождь, пекло. Иосиф Пескис каждый день регулярно приходит, вытягивает шею и поет, поет все то же: «За красу».

Сначала он пытался артистически перевоплощаться: стать гейшей и, подымая с земли кленовый лист, им, как веером, обмахивал веснушки. Но вскоре понял: безнадежно. Пел просто. Давали мелочь. Зина теперь тоже подрабатывала по категории беременных, «карточка А». Сынишка ел картошку, супруги суп на картошке. Все это было хоть печально, но выносимо. Хуже — страх. Иосиф Пескис с младенчества боялся мира. Вселенная, а следовательно, и Москва, и комнатка в Николопесковском — походили на девственные леса, полные засад: огромных микробов, бомб, побоев, тюрьм, расстрелов. Когда он полоскал рот (воды никогда не пил, а глотая суп на картошке, утешался: он ведь кипяченый), чувствовал: заболевает холерой. Чесался бок: укусила, сыпняк. Пел: схватят, недозволено. Шел: схватят — зачем? куда? откуда? Каждый человек ему казался чекистом, особенно если он шагал уверенно: ясно — с мандатом! И часто гейша, обрывая свой кокетливый вой, при виде кожаного шлема или меховой ушастой шапки стройной ланью неслась по бульвару.

Сейчас же Пескис пел и думал: даже убежать нельзя, стоит только расставить шире ноги, и половина брюк немедленно отвалится, улика, отыщут, засадят, напечатают в «Известиях»: «Иосиф Пескис»... Ой!

За красу я получила...

Братец Наум, от ужаса переживая смертельный зуд в желудке, но зная — ничего не поделаешь,— назвался груздем и прочее, стойко приблизился к извергу Ашу, то есть к Иосифу Пескису и, не дав ему допеть о первом призе, пробасил:

— Сын мой, следуй за мной!

Пескис задрожал, но скрыться не попытался — брюки! предательские брюки!.. Рысью он помчался рядом с огромной глыбой, шагавшей в Кривоарбат-

ский. Навстречу им кидалась из палисадников, из двориков весна, в виде клейких веток, глянца луж, собачьих свадеб. Также — люди. Но никто не знал, что этот огромный оголтелый бык и трусящий рядом жалостный теленочек следуют на бойню, замирают оба от предсмертного томления, прощаются с каждой лужей, с каждой сукой (кому же охота умирать?).

Час спустя, приступая ко второй бутылке, смертники пили на брудершафт. Наум сказал: «Хер», после «Иосиф Прекрасный», Пескис: «Эпидемия», «Певучий Дунай». Облобызались. Вошел кто-то третий, вовсе не веселый. Посидел с минуту, а после отозвал в переднюю Наума. Нервы, хотя пузатого, но все же деликатного героя, не выдержали, и, слушая угрюмое шпынянье Высокова: «Вы и-ди-от. Тот — большой, высокий, а это карлик. Тому лет пятьдесят, если не больше, это мальчишка. И, вообще, никакого, слышите вы, никакого сходства. А деньги пропили?..» — братец не сдержался, заплакал. Весь сразу замок и готов был, моля о снисхождении, замочить сухие, известковые щеки Высокова, но тот, зловеще лязгнув дверной цепочкой, спасся. Оставалось выложить обиду этому лже-Ашу. Жиденок был кротчайший, и в глазах Наума, продолжавших лить щедро влагу, он с каждой рюмкой обрастал кудрявой белой шерсткой, превращаясь в пасхального барашка.

— Ты агнец.

Иосиф Пескис пролепетал:

— Мерси.

— Я перед тобой покаюсь. Заблуждался. Счел тебя за губителя, знаешь за кого? За главного чекиста.

Пескис подпрыгнул, икнул:

— Ой! Где чекист?

— Найдем, всех перебьем. Ты хотя и жид, а славный, симпатичный жид, должен сам понять: не допустим такого поруганья. Нас знаешь сколько? Сто миллионов. И всё — «пятерки». Теперь считай: сто миллионов подели на пять.

Ничего не понимая, Пескис чуял: страшный счет, страшнее статистики погибших от тифа или расстрелянных чекой, поэтому он считал чрезвычайно долго. Сто на пять вскоре разделил, в нулях же запутался. Наконец:

— Кажется, двадцать миллионов.

— Вот-вот! Двадцать миллионов «пятерок». Каждая «пятерка» убьет одного чекиста. Понял? Теперь считай — сколько всего мы перебьем?

Нет, Пескис считать больше не мог. Он бегал по комнате, попытался открыть запертую дверь, у окошка погадал: второй этаж, может, прыгнуть, но, изможденный, свалился на сундук. Наум, наоборот, развеселился и, быстро совладав со второй, принялся за третью. Глаза саботировали. Исчезли и пух, и сам барашек, и вообще присутствие чего-либо живого. Белое сверкание, а в ушах идущий от сундучка мышиный писк. Послушав и подумав, Наум сообразил:

— Мышь, побойся Творца всякой твари сущей, пей!

Иосиф Пескис водки никогда не пил: боялся тошноты, менингита и участка. Но сейчас он перешел пределы страха — все равно ведь! И рукой уже загробной он поднес к холодным губам посмертное питье. Кишки, облитые керосином, мигом вспыхнули. Даже губы накалились. В голове произошел полный подлог. Пескиса вынесли и похоронили. Сидел нахал, пил спирт, не боялся ни тифа, ни чекистов и даже поддакивал:

— Ровно двадцать миллионов. Смешно!

От Пескиса этот новорожденный субъект сохранил только одну, правда особенно интимную и никому, даже Зине, не известную страсть. А именно — бывший тапер, стоя на Пречистенском бульваре, в перерывах между двумя саморекламами гейши, любил исследовать различные слова, разлагая их на части и выявляя при этом скрытый мистицизм своей натуры. Так, например: «гей» — буйно, «ша» — тихо, гейша— умница, всюду проживет. «Чек — ист»,— конечно, если иметь чек, особенно на американский банк, можно всегда откупиться, а если нет чека?.. «Бур — жуй» — жевал белый, ручку от калача, пеклеванный с изюмом, жуй бурый, мокрый, жуй — ком (отсюда — продком, только там еще: продуться). Так вот развязный собутыльник братца Наума, выпив ровным счетом три рюмки, приступил к подобным увеселениям. Прежде всего он тявкнул:

— Наум, что тебе пришло на ум?

Братца Наума от этой нечистой игры чуть затошнило:

— На ум пришло, что ты — крапленый лягушонок: бородавки сеешь, вот что!

Но лягушонок, не смущаясь, приблизился к шкафчику, в оном покопался, под огурцами и носками нашел пухленькую книжицу, вынул, раскрыл.

«Книга Наума Елкосеянина». Другие — пшеницу, то есть булки, я бородавки — мясо, а ты что? Елки сеешь? Так и запишем. Елки-палки. «Вянет Васан». Какой Васан? А вот какой: Всероссийская асбестовая антимония. Ты против? Против сана? На Лубянку! «Так и ты опьянеешь и скроешься». Куда? Не скрыться никуда. Пьян, эпидемия, как сто микробов! Бунтуешь против Аммона? Против Моно? Стремишься подсунуть народу опиум? Между прочим, здесь предсказана твоя судьба. «Пожрет тебя огонь»: расстреляют из пушки — ядром в слепую кишку; «посечет тебя меч»: будут латыши котлетки делать; «поест тебя как гусеница»: без соуса и мигом. Наум, Наум! Пришло ли тебе на ум и что пришло?..

Чем больше квакал и подпрыгивал на корточках этот лягушачий пророк, тем все страшнее становилось Науму. Он отступал, как полк, теряя пядь за пядью. Шея лиловела. Забился в угол. Здесь страшный враг, прикидывавшийся долго пасхальным агнцем и лишь в болотном виде обнаруживший интимность своих отношений с Сатаной, нанес ему последний удар. Высоко подпрыгнув, почти до потолка, и, для торжественности, предварительно напялив на редкий пух полосатую каскетку, он выпалил:

— «В страх труса». «Пятикнижие». «Навечерие». «Пятерку» в Вечека. Предсказано. Ква-ква.

Это была явная победа. Ни о чем не думая, братец Наум ринулся к дверям. По лестнице. По Кривоарбатскому и дальше. По Арбату. Через мост. Ничего не замечал. На вокзале было темно. Но Наум нашел где-то на стенке, под декретами и под «Гудком», проталину: старое, старорежимное расписание. Потом прокрался на платформу. Шел, балансируя по рельсам, а дойдя до безжизненного, всеми брошенного паровоза, остановился. Стал упрашивать:

— Сын мой! Понатужься! Вывези из этой окаянной Ниневии. Я тебе дам третий звонок!

Губами фыркал: бум, бум, бум. Трепал ласково заржавленное брюхо. Но паровоз упирался. Тогда Наум в отчаянии подпрыгнул, проревел:

— Упорствуешь, Аммон? Хочу дальше. Бровары, Бобровицы, Бобрик — брр! Еще дальше! Нежин. Здесь.

Круты, Плиски. Вкрутую и всмятку, по копейке за яичко. Любезный, понатужься!

На крик пришли. Еле сняли — отбивался и одному красноармейцу прокусил ухо. Братец Наум так пах, что всем стало завидно: винный погреб. Поругались, но все же препроводили в комиссариат.

Это — Наум. Но в комнатке на Кривоарбатском остался победитель. Иосиф Пескис вторично торжествовал: после красавца Андерматова он одолел и семипудового пророка. Но победы не означают счастья. Дальнейшее тому пример. Оставшись в одиночестве, дерзкий прорицатель сразу лопнул, в точности подтвердив слова Наума о лягушке. Лопнул явственно, воскликнув при процессе «ой». Остался прежний Иосиф Пескис, с гейшей, с улепетывающими брюками, а главное — с неистребимым страхом. Как и что случилось? Он попал в какие-то ужасные «пятерки». Убьют двадцать миллионов. Хорошие шутки! Так просто возьмут себе и убьют. А он, Иосиф Пескис, если даже не убьет, все равно замешан, притянут, погиб.

Неизвестно, как он выбрался из дома пыток, как добрел до Театральной площади. Но утром, часов в девять, милиционер увидел в сквере чудного человека: на одной ноге имелись честь честью брюки, другая же, очень худая и волосатая, разгуливала нагишом. Человек выл дико: «Ой-ой!» Милиционер полюбопытствовал:

— Гражданин, вы что же, того, и в беспорточном виде?..

Пескис, забывшись и на минуту приняв Театральную площадь за Пречистенский бульвар, деловито вытянул шею:

За красу я получила...

Но тотчас же оборвал. Вспомнил ночь. Конец. Ущемив рукав милиционера, стал вопить и биться:

— Я же не виноват! Меня туда затащили! Дали водки. Я непьющий. У меня жена, Зина, сын Абрашенька и будет еще сын — Моня, по карточке беременных. Там такие ужасы! Двадцать миллионов «пятерок». Убивают всех чекистов. Какой-то пророк Наум, ужасно толстый. Я же не могу, товарищ! Вы поймите, я так боюсь!..

Иосифа Пескиса арестовали. Путь от Театральной до Лубянской был недалеким, но трудным путем. Ка-

кой-то парень в папахе, продававший зажигалки, шествие увидев, крикнул:

— Ведут!..

И от удовольствия даже неистово чирикнул колесиком машинки. Выпорхнули искры. Баба перекрестилась. Пескис больше не визжал. Услышав «Лубянка» — сгинул. Шли только ноги — одна обыкновенная, другая же — как будто в назидание: «Нагим пришел, нагим и ухожу».

28

В глуби большого дома, среди винтов, спусков, тупиков, вымышленных новым Пиранези, сидят ноги Иосифа Пескиса. Ноги не могут думать. А Пескиса, который слишком много думал и, думая, пытался проникнуть в скрытый смысл различных слов, больше нет. Давно исчез. Ноги смирно сидят. Одной надоедают появившиеся мухи. За стенкой май приносит чириканье, сирень, сюда же из всех весенних выдач доходят только докучливые мухи. Ноги сидят вглуби: дверь направо, налево, лестницы, еще направо, камера семнадцать.

В том же доме — третий этаж с парадного — сидят, нет, не сидят, а заседают Аш голубоглазый, красавец Андерматов и над клавишами «ундервуда» от неизбывной неги размякшая Белорыбова. Апартаменты внутренние и внешние сообщаются. Два раза ноги Пескиса должны были спуститься и подняться, чтобы предстать пред мрачным Андерматовым. Ноги, как ногам и подобает, ничего не говорили. Но милиционер, арестовавший Пескиса, показал: проходимец лопотал о неких таинственных «пятерках». Поэтому все, касавшееся неопределенных ног, попало в чистенькую папку с наклейкой «Заговор в «Тараканьем броду». Но тщетно Андерматов пытался расшевелить замлевшие, немые ноги, попеременно играя «собачкой» браунинга и раскрывая окна на площадь, где в избытке обретались солнце, люди, голуби и прочие соблазны. Ноги, расставленные тупо, в тупых штиблетах, проявляли редкостное равнодушие. Ноги находятся в камере семнадцать. Ноги согласны умереть.

Андерматов же хочет жить. А жить как следует — ведь это значит мучить. После допросов, когда валяются в ногах, от ужаса икают, целуют полированные

тщательно ногти, особенно приятны эти буколические радости: громкое вторжение солнца в комнату, барышня, прошедшая по улице, от того же солнца раскачивающаяся, как уточка. Мысль: хорошо бы и ее привлечь. Допросить. Отомстить за гнусное «кукареку». Ах, если бы наконец разыскать эту пакость — Зинку!.. От одной надежды расцветает, как будто солнце, не довольствуясь стекляшками пенсне, вскочило внутрь и завертелось где-то в самых андерматовских глубинах.

Прерывает негу слоновий топот курьера, товарища Анфисы. Подает записку. Фамилия: Зинаида Пескис. По какому делу: арестован муж. Стоит ли?.. А впрочем, бабы все болтливы, во всяком случае разговорчивей этих симулирующих ног. Можно попытаться. К тому же, верно, молоденькая, он гаркнет, она ручку, пальчик, ноготок оближет. Ну? А потом?.. Словом, пустить!

Андерматов сегодня нежен. Черный демонический усик греется на солнце. Глаза закрыл. Открывает, и сразу резкий прыжок к двери. В дверях не сон под Новый год, не видение многих лет — живая, в шляпке Зина, Зинка, изменница! Она — жена того прохвоста! Но быстро себя осаживает: не сразу, понемногу, ведь это наконец награда за усердие, за терпение, за все.

— Гражданка Пескис? Зинаида?

Но «гражданка» ничего не отвечает: узнала. Понимает — конец. Раз он в чеке — прощай, Иосиф, прощай, сынок Абраша, жизнь, прощай!

— Если не ошибаюсь, мы знакомы? Кажется, встречались?

Шляпка от ужаса сползает. Вырываются космы волос. Огромный, бесповоротно выпяченный живот трясется. И наконец — два слова:

— Игнат!.. Прости!..

— Дура! Куш! У ног. Забыла? Я не Игнат — я Эльзевир. Владыка. Лижи ботинки!

Зина ложится покорно на пол. Шляпка отваливается. Андерматов, чуть улыбаясь, вынимает из бокового карманчика заветный листок: «кукареку».

— Это помнишь?

— Эльзевир! Владыка! Простите!..

Через минуту:

— Эльзевир, что с ним?

— С ним? С музыкантом поганым? Что захочу, то с ним и будет. А захочу... а захочу... на твоих глазах

пристрелю... Сейчас я вызову его. И вместе будете кричать «кукареку».

— Но я ведь!..— И в отчаянии хватается за свой живот, распираемый, весь в пламени, дольше невыносимый...

Ужасный вой. Зина в корчах бьется. За дверью скрип. Входит Аш. Лицо Андерматова тотчас же принимает глубоко деловое выражение. Выполнял тяжелую, но важную работу. Протягивает Ашу лист:

— Мне удалось добиться...

А Зина все кричит и бьется. Коленки подпрыгивают, как безголовые курицы. Уже нет лица — только эти исступленные колени, еще живот и крик. Но Аш не смотрит. Снятое молочко невинных глазок льется мимо, мимо Андерматова, мимо весны, куда-то в угол. Вероятно, там какая-нибудь дивная идея. Он кроток, очень кроток, кротче обычного. Отвечает Андерматову:

— Хорошо. Я вас только попрошу на минуту в мой кабинет.

Вошли. Аш рассеян. Аш что-то ищет. Вылезают ножницы, и Андерматов, не сдержавшись, улыбается: вот-вот сейчас «чик-чирикнет», и Зинке конец. Нет, Аш искал не ножницы.

— Я слышал все.

Глазки все те же: колыбель, лазурь и тишина. Но Андерматов готов упасть под стол, как Зина ползать, целовать ноготь, он на все готов.

— Я... я...

— Да, вы.

От готовящегося взрыва слез, особенно катастрофического, ибо никогда в жизни не плакал, пенсне взлетает. В голове проскакивает «кукареку». Безумно жаль себя: уволят, еще, пожалуй, разоблачат, еще... Но даже пожалеть нельзя — поздно. Аш наставил револьвер. Аш стреляет. Впервые — раньше не приходилось, вот только жене грозил дуэльным пистолетом. И крик.

Нет Андерматова. «Кукареку», и жалость, и прочие дрянные мыслишки разлетелись, перепачкав розовые обои, кабинета. Аш спокоен. Он не мог иначе — так хотела идея, суровая и нежная, стоявшая в углу на дозоре. Вытирает аккуратно забрызганный чем-то скверным и липким очередной доклад.

А Зина все кричит. Над ней Анфиса. Аш понимает, если так кричат, нельзя работать. Встревоженный, спрашивает Анфису:

— Товарищ, как вы полагаете — она долго еще будет кричать?

— А кто ее знает... ведь рожает баба... напужали...

Это очень странно, сложно, и нет какой-либо соответствующей идеи. Конечно, женщины рожают. Это так. Но, кажется, в больницах. При чем же тут Чека? Не понимая, в чем дело, Аш хочет действовать — хуже всего бездействие. Он суетится. Зину несут через площадку: в комнате двенадцатой — кровать.

Врач:

— Роды преждевременные, вряд ли удастся спасти.

Аш весь вечер сидит в коридорчике на табуретке и слушает угрюмый, звериный вой.

Часам к двенадцати вопли понемногу расходятся, последний исчезает. Аш дремлет, видит он во сне нечто очень нежное: большая, монументальная мать, конечно, пролетарка, держит младенца. Венок из красных гвоздик. Просыпается от хмыканья Анфисы. Уже светает.

— Родила?

— Кончилась. Да разве можно? Напужали...

На столе копошится нечто живое, красноватое, пискливое, как мыши ночью в кабинете. Аш очень осторожно мизинцем касается головки. От ужаса отдергивает руку: мягкое, вроде хлеба. Успокаивают — будет твердым, крепким. И долго Аш стоит над этим невиданным комочком. Две пары глаз, до крайности похожих друг на друга, встречаются. Аш согласен опоздать на заседание. Аш умилен. Аш, оглядываясь, чтобы не услыхали (все же неловко, он — ответственный работник, заведующий отделом), шепчет:

— Миленький!.. Совсем сынишка...

Анфисе же с гордостью:

— Новый гражданин Ресефесер.

29

Когда причудница-судьба, взяв доску, двух постояльцев стерла губкой, а третьего вписала, Курбова не было в строении Пиранези: он пропадал на важных заседаниях, таская тоску по зелени столов, где затейливые параграфы резолюций и кусты окурков образовывают цветники.

Утром пришел, прошел к себе, сел. Испытывал легкое головокружение, отмирание рук — щипцов

и скрепов. Это было привкусом, оставшимся после свидания с Катей. Он ослабел, стал как будто близоруким, то есть с каждым часом погружался в хлябь деталей. Интересовался уже не просто человеком, а придаточными — нос какой, как зажигает папироску, забавно скашивая глаз, как, покряхтывая, говорит: «Музыку люблю»,— и прочим. Мир распылился, разложился, сделался огромной и никчемной лабораторией. Люди, даже понятия теряли контуры, раскладывались на две, на шестнадцать, на сотни частиц. Ночью Курбову казалось: вселенная загромождена циклопической пылью, грандиозной ерундой. Под этим задыхался, тщетно ища какой-нибудь знакомой цельной формы. Вместо стройных кубов, пирамид, трапеций сновали холерные запятые величиною в дом. Впервые многое заметил: залежи чужих, но все же правд, слабость, хрупкость, жалостность, земную золотушность. Оказывалось, люди идут не прямо, но скачками, вправо, влево, назад, плутают, залезают, как тараканы, в щели, годами барахтаются на спине, подрыгивая лапками; все вместе это называется жизнью. Неужели он прежде жизни не замечал?..

Сам чувствовал: тончает и мельчает. Вместо каменной громады — облако. А все от зрения, от этих деталей, от невозможности увидеть гору (справа, возле камня, репейник). Болезнь, подобная склерозу, его одолевала: сложность. Теперь всякое петитное соображение вертелось, показывая себя кокетливо со всех сторон: обожди, подумай, может быть, не так, сегодня — правда, завтра — вздор, для тебя — добро, а для Ивана — пакость, и дальше, дальше, распространяясь до тома философии, до полного бездействия.

Курбов старался это все преодолеть. Язвил себя: вот-вот! хорош! влюбился и раскис... Работал. Делал все как прежде. Чужие ничего не замечали, кроме разве чрезмерной бледности да иногда, среди заседаний, отчужденности (заседал только пиджак, а человек далеко был), последнее приписывали, впрочем, важным государственным заботам. Все в порядке.

Так и в это утро. Даже не мысли — какая-то тяжелая, неотцеженная муть. Еще не принимался за работу, когда вошел товарищ Аш. Был он после бессонной ночи, вчерашних тягостных хлопот и душевного сближения с новым гражданином Ресефесер еще голубоглазей, еще бесплотней, еще чудней. Сразу озадачил:

— Товарищ Курбов, вы должны меня арестовать. Я совершил преступленье перед партией.

— Вы?

— Да. Вчера, около семи часов вечера, я убил нашего сотрудника и члена РКП Андерматова. Поступить иначе я не мог.

Аш рассказал, как он работал, как раздались крики, не дававшие возможности работу продолжать. Пошел осведомиться. У двери услышал, остолбенел: Андерматов сводил свои личные счеты с какой-то женщиной, издевался над ней, над гражданкой, над женщиной, над матерью. Аш понял: устранить.

— Он осквернял достоинство партии. Это чистка...

(Так вот как звали дивную идею, стоявшую вчера в углу и кончившую андерматовские дни: «Чистка партии».)

— Я знаю, что я поступил неправильно. Я должен был его арестовать. Заявить вам, в Цека... Я проявил непозволительное самоуправство. Вы должны меня арестовать. Я сдам дела. Но я не мог иначе. Он позорил партию...

Курбов, взволнованный, встает. Высокий, сильный, прямой, как кол. Да, это прежний Курбов! Вот лекарство от всяких сложностей: молочные, щенячьи глазки и древнее железное: «Не мог иначе». И Курбов обнимает Аша, прикладывается к личику, похожему на смятый лист бумаги, целует. Он ожил, как будто вылечился, одно кидает, захватанное, замаранное в пыли всех главков, в сале всех Сухаревок, и все же самое густое, самое торжественное слово:

— Товарищ!

После работал до трех. Хорошо работал. Разобрал все дело о польских шпионах. (Высоков не всегда прогадывал: на этот раз удалось ему изрядно напакостить.) Вышел: пора на заседание в Кремль.

Возле Театральной площади в глаза вскочил плакат — голубенький, пахший сухо-скошенными васильками и монпансье. Прочел:

«Дети — цветы жизни».

Как в детской сказке, эти цветы передвигались, продвигались навстречу, выстроенные парами, в одинаковых, мешковатых, уродливых платьицах. Детский дом. В дугах ножек, в глянце голодном глаз, скачущих вдогонку бабе с пирожками, во всей картинной истонченности, прозрачности был знак: не просто дети —

цветы вот этих лет! Цветут наперекор Высоковым, Антанте, незасеянной площади, испорченным локомотивам, наперекор всему. Вгляделся в последнего: бутуз, важно, непреклонно семенящий — не отстать. Ему бы булку. Но он доволен — в руке трепещет самодельный флажок. Не забава взрослых — игра, а значит, большое и ответственное дело. Подымая навстречу ветру флажок, мальчик вовсе не улыбается — суровое довольство. И Курбов видит: знакомые глаза, сегодня утром они сияли в чеке, прекрасные глаза. Да, Аш — дитя! Он тоже, как надпись на плакате, цветок. А Курбов — взрослый. Курбов знает. Нет, не вылечился: снова отовсюду выскакивают гнусные вьюны и пересмешники: вопросительные знаки, скобки, томительные многоточия. Нежной улыбкой проводив флажок, идет печальный, очень, очень одинокий.

Пасть Кремля с зубами часовых. Дальше тихо. Оглядывает рассеянно кремлевские площади: нет, нехорошо!.. Неподходящая, злая резиденция. Конечно, другие любуются: история, архитектура, купола и голуби, словом, идиллия. Курбов чувствует иное. Здесь накопилась вся ханжеская пакость, все лицемерное бесстыдство огромной степи с кобылами, с царицами, которую звали «Русью». В центре Москвы, в центре всей России на самом пузе — огромный гнойный нарыв. Любуются? Понятно: и гной играет радугой. Но лучше бы раздавить, снести. Здесь запах веков, отвратный запах сундуков с запревшими набрюшниками, с пропотевшими кацавейками. Здесь запечатлелись собачья угодливость, причитания, звериная жестокость (сапогом по харе), хамство, чаепития, шелудивые забавы — тихонько, под иконой, мерзостное рукоблудье, квасная лень с отрыжкой, с зевотой на все материки, здесь, в этих покоях, кельях и палатах. Тьфу!

Курбов с омерзением плюет на гнилую кремлевскую землю.

Заседание. Увидел всех.

Насмешливый слегка, простой, как шар (не это ли вожделенная фигура?). Слова расходятся спиралями. Точен — аппарат. Конденсированная воля в пиджачной банке. Пророк новейшего покроя, сидевший положенное число лет сидьмя за книгами (или за кружкой бюргерского пива), а после в две недели ставший мифом, чье имя сводит равно с ума и пекинского кули, и джентльмена из Лидса, чуть испачканного угольной пылью.

Доморощенный Бонапарт, шахматный игрок и вождь степных орд, вышколенных, выстроенных под знаменем двадцати одного пункта некой резолюции. Этот — треугольник.

Трапеция — почтенный, в кашне. Как будто пьет чай вприкуску и брюзжит, а вдруг напишет что-то, и почтеннейшую дочку m-r Эйфеля явно разбирает дрожь.

Молоденький, веселый. Идеальная прямая. Грызун — не попадись (впрочем, это только хороший аппетит,— вместе со смехом всем передается). «Enfant terrible»[1],— говорят обиженные в разных реквизированных и уплотненных, здесь же очевидно — простонапросто живой, не мощи: человек. (Таким был задуман и Курбов, если б не вмешалась жизнь.)

Всех видел. Нахлынули какое-то семейное любование, преданность и теплая, шершавая нежность: здесь — свой, отсюда не уйду.

Тяжелое, неповоротливое заседание: не миноносец — баржа, перегруженная сводками, отчетами, цифрами. Голод. Редеющие города. Деревня, послушная и неприступная, ожидающая еще подачки: коммуны не хотим, а впрочем, все — большевики. Запад? Запад пока не поддержал. Значит...

Курбов видит героическую, притихшую Россию, ржавь машин, человеческую рвань. Высокое эпическое напряжение: об этих годах уже готовы легенды. Нет даже ропота — шепот только: изнемогли. Октябрьская Россия ослабела, как цинготный, из десен кровь сочится, зубы готовы выпасть. И все же не предает! Даже в этой болезненности — великий миф. Кабацкая земля с мошной (по карману — звяк), с половыми и Стешами, с мадамами Жюльет из самого Парижа, с енотовой великодержавностью, вздыхающей над сомовской маркизой, а между вздохами обмазывающей рожу человека соусом борделез, эта земля, «избранная Богом», обхарканная посему духовными и светскими персонами, стала просторной, голой, суровой, с Коминтерном и с восьмушкой глиняного хлеба. Закрытые лавки, кабаки забитые и забытые, никому не нужные бумажки. Кто забудет эти годы: девятнадцатый, двадцатый?.. Теперь — перелом. Значит...

---

[1] Ужасный ребенок *(фр.)*.

А Запад? А Всемирная?.. И это видит Курбов. Границы. Последний маленький советик. Красноармеец без сапог, зато со звездою: если надо — умрет. (Сапоги были, будут, а звезды не каждый год, даже не каждый век падают с неба прямо на шапку.) А дальше — дальше огни, бутылки: жизнь. Почти как прежде. Европа раскачивается в фокстроте, перелицовывает фраки, пьет поддельные коктейли и целует юркий хвостик некоего таинственного существа: имя — «доллар», на пузе — портрет благообразного янки; может дать счастье, может мигом ликвидировать весь мир, на то он доллар. Где-то, в берлинском Нордене, в лохмотьях дохлой Вены, в бараках Круппом зацелованной Пикардии, рабочие вымирают, просто, без мифа, без Коминтерна, без звезды — так хочет фрак, так хочет доллар, так хочет фокстротская чечетка: вымирайте, только скромно, никаких демонстративных похорон. В сторонке сто социалистов деловито раскалываются, критикуют «пагубную тактику России» и обещают когда-нибудь, конечно... но теперь? Теперь нельзя. Да, конечно! Когда-нибудь вот эти вымирающие тихо, если только не окончательно вымрут, встанут, зевнут и примутся: дикий скрип раздираемых, крепких, почти нетленных долларов. Будут и у них свои Кронштадты. Сена, Темза, Шпрее ничуть не хуже наших Моек и Фонтанок, все придет... Теперь же?.. «Теперь нельзя». Значит...

Так от докладов, сводок, речей, от счетов и выкладок родился пухлый младенец с отменно старческим лицом. Сразу, в люльке, рвался к аршину, требовал вина и лихача, хлопал о голенькую грудку, предчувствуя ее взбухание в виде солидного бумажника. Был мерзок. Составляли гороскоп (хотелось верить — не жилец). Окрестили: «Нэпо» (впрочем, имя было слишком итальянским, следовательно, романтическим, и вундеркинд через месяц, войдя в года, «о» выкинул).

Курбов, присутствуя при этих нерадостных родах, понимал: так надо. Не спорил. Только слышал под окнами глухое кудахтанье тех самых, что ужасно хотели жить. Нет, не свернули шеек!.. Не успели... Отводят место: до сих пор, не дальше... До сих пор цыплячий рай, а дальше суровая работа. Цыплята ж бойкачи, им не очень страшно.

Имя «Нэп» уже летело к Эйфелевой, и башня, хихикая, тряслась. Кадык гадал: может, бросить Высокова (столько денег ухлопали — все зря), стать

полуангличанином и вырвать какую-нибудь жирненькую концессию? А князь Саб-Бабакин — писатель и председатель — уж волочил к вокзалу свои свисающие щеки: пока в Берлин, все-таки поближе к селянке по-московски, к святой рязанской и калужской. Зачем же ползать по подстилке «Монико»? Предвидятся ковры помягче, попушистей. Строчил наспех манифест: «Я, князь Саб-Бабакин, того... слегка заблуждался... Большевики, оказывается, русские — рязанские, калужские...» Дальше ничего не выходило, все равно кого-нибудь попросит дописать. Главное — не опоздать бы!..

И ближе: в уплотненных, в реквизированных цыплята недорезанные, смиренно продышавшие три года в вате мандатов, суетились: «Скоро даже биржу откроют, вот как...»

Курбов это слышал, и было очень, очень тяжело. Да, да, конечно!.. Голосовал. Подписывал. Пока что мы наладим здесь хозяйство. Государственные тресты. Монополия внешней торговли. Цыплят не слишком распускать. А после? После Всемирная и прочее. Если б он был прежним Курбовым или веселым грызуном — на этом точка. Дальше — работать. Пусть еще труднее, пусть тысячи опасностей — не привыкать. Ну, нэп, уступка, отступление — разве мы не отступали до Волги, до Смоленска, до Орла, чтобы снова побеждать? Но Курбов был уже другим, погибшим, не воля — нудное раздумье. И, оглядев зеленый стол, милых, верных до конца людей, папки бумаг, он увидел иное. Цыпленок рос ежесекундно — под перышками обозначалось власовское брюхо, на жестком клюве — пенсне Глубокова. Раскрыв свой нежный, пасхальный, христианский ротик, он проглотил вот этих: и шар, и треугольник, и идеальную прямую, всех, не подавился ни папками, ни пишущей машинкой, ни Всемирной. Брр! Какая пакость!.. И Курбов, подбежав к графину, вплеснул в себя стакан воды. Робко прошмыгнула мысль: может, это чисто физическое, от переутомления, тогда взять отпуск... Мигом цыкнул: в такое время, когда особенно нужны работники... Нет, никогда! Просто — строго смотреть за собой, зарыться в дело с головой, совсем.

Когда он вышел, было девять вечера. На счастье, Кремль, проглоченный темнотой, отсутствовал. Появились укрепляющие звезды. Путь древний — с детских лет. Что нэп? Что отступление? Что Катя и лю-

бовь? Есть безошибочные исчисления. Подняв воротник, шагал: сухо, отчетливо, как стук машинки. Прошел ворота.

И вдруг навстречу дико ринулись две звезды. Оказались не на небе — на лице, под грузом бровей. Неистовствовали. Слепили. Это была Катя.

30

Все произошло совсем случайно. Но обоим показалось неизбежным. Катя шла к подруге на Ленивку за книжкой. Встала стеной его спина сухая, замкнули путь углы плеч. Все прежние сомнения ей показались излишеством, глупым и стыдным. Одно — догнать его, быть с ним. Чекист? И пусть! Ведь можно полюбить совсем чужого, например, магометанина или разбойника. Это у него — профессия, то есть нечто внешнее (даже не белье — костюм), для женщины неинтересное. Под пиджаком, под рубашкой — простая теплая грудь, как у всех. Нет, вовсе не такая — единственная, любимая! И кинулась к нему.

Вначале молчали. Молча постояли, молча пошли, не разбирая куда. Оказался сад, хотя замызганный, но все же весенний, обдающий влажной теплотой земли. Скамейка. Без уговору сели. И сразу заговорили, как добрые знакомые, просто, по-каждодневному:

— Вот хорошо, что мы встретились... Я шла к подруге. А вы где были?

— В Кремле, на заседании.

Катя-вторая, спиридоновская, высоковская, та, что в «пятерке», на минуту насторожилась, ощетинилась: «Конечно... чекист... Может, и меня выслеживает?.. Надо быть с ним осторожней...» Но было в саду тепло, туманно, и от земли, и от Курбова шло густое, приторное наваждение: его вдохнув, Катя-вторая, с идеологией, задохнулась. Осталась просто Катя, и эта ласково спросила:

— Что ж там было?..

Курбов стал доверчиво рассказывать, как старому товарищу, какие все они чудесные,— шары и треугольники. Рассказывая, увлекся, вскочил и с нежностью, столь неожиданной в этом сухом точеном теле, зашептал:

— Ведь он больной... измученный... простреленный... а как работает...

И Катя заражалась. Кажется, она уже любила этих колючих, занозливых, чужих людей. В теплом тумане Кремль, Совнарком, Николай — все становилось слитым мифом, огромной рощей прекрасных, сероглазых, распятых, точащих (в рифму) кровь и любовь, древним полувизантийским гнездом, где грохоты воскрылий не демона, но целой стаи демонов. И Катя вслух сказала:

— Они хорошие...

Так был положен мост, наспех, без свай и без быков. Был он необходим. Никто не требовал устойчивости, логики, обоснований. Пусть через час провалится. Сейчас можно ступить. Ступить же необходимо: слишком долго ждали, слишком много, целые ушаты тепла и горя вылила на них весна, слишком лепка любовь. Так были перепрыгнуты в одну минуту сомнения, стены, громады, арараты сомнений, нагроможденные в течение недель, если не лет — «пятерка», Чека и прочее,— чтобы просто очутиться двум влюбленным в залузганном Александровском саду, без чисел, без Христа, совсем обыкновенным. Это было, конечно, чудом и, конечно же, самым будничным житейским делом. Это напоминало «жизнь».

Вмешались в дело руки. Уже не отскакивали друг от друга, как в «Тараканьем», касаясь — сливались, сливаясь — срастались. Звуки и цвета услужливо приспособлялись к древней теме. Бой башенных часов, взрыв листвы от налетевшего внезапно ветра и меланхоличный припев папиросника: «Вот «Ира», «Ира», «Ира»,— звучали иволгами, придыханием волн, то подымаясь до грома с рассеченными тучами — скальдами, изливающими вместо крови звонкий огонь, то сбиваясь на драже какого-нибудь Верди. Вместо махорочной едкой гари — кислый запах травы, растертой в руке, и пряных медовых левкоев. Вся скамейка, полуразвалившаяся, без спинки, с огромными щелями, была готова стать лодкой, зазвенеть отсутствовавшей, впрочем, цепью и уплыть. В лодке — двое. И разве могло быть иначе, не так, как во всех лодках мира, когда звенят иволги и кисло пахнет трава? Конечно, не могло! И чья голова первая пригнулась, налитая густой, пудовой страстью? Неизвестно. Безразлично. Обе вместе. Так случился поцелуй. Когда-нибудь он должен был случиться. Мостик оказал услугу, оправдал себя. Безо всякой муки, просто, чисто, даря свой застоявшийся жар, они поцеловались. Это было в среду, в десять с четвертью (последнее отметили угодливо кремлевские часы).

Засим — перерыв. Мост захотели укрепить. Искали материала: ощупью, вслепую, ни о чем не помышляя, доверившись всецело тому звериному и мудрому, что вот сейчас, минуя рифы, как самый зоркий лоцман, губы привело к губам.

Снова заговорил Николай. По своим следам назад от Кремля до Лубянки. Когда он шел, случилось что-то очень важное. Но что? Да, дети!.. Значит, о них. О дымной сибирской избе, где угостили кислым молоком с плававшими мухами, где было как в сотнях тысяч изб и где случилось чудо — палец сосал, сам крохотный, так бередил, замучил, запомнился на всю жизнь. Как они глаза таращат на пуговицу, вот эту... Как тянутся ручонками: достать. Сегодняшний был с красным флагом. Не правда ли, вот так, вот с ними, ради них жить стоит: сидеть на заседаниях, приговаривать к «высшей мере», заслонившись синей папкой, планом будущего века от этого майского дурманного тепла (иначе не выходит: май хочет, чтобы всех поцеловал, ему же нужно устранять).

— Если сказать правду, кого я люблю, только ребят...

И после обоюдные терзания. Он — неужели? А партию? А число? Катя — он так сказал после всего, что было, после того, как губы говорили совсем иное,— значит, не меня.

Но мост выдержал всю тяжесть недомолвки. Курбов снова заговорил:

— Вы знаете, сейчас мне страшно захотелось...

Нет, не договорил. Стыдливый и суровый, никак не мог договорить. Последнее слово, самое важное и тяжелое, застряло в утробе. Но Катя его узнала: «Сына». Ведь это слово копошилось и в ней. Ах, отнюдь не литература, не разговоры о «таинстве материнства», даже не мысль себя продлить: смутная необходимость, темный, сосущий голод. Как — лечь или закрыть глаза. Предельная потребность синей и летучей, столь легкой, что мечется по свету от «пятерки» до восторгов перед гнездом Кремля, вот этой вздорной и задорной — наконец потяжелеть. Узнать долгое прозябание, простейшие законы: выносить, родить, откормить. Явилось это сразу, раньше не думала. Пришло от теплого тумана, от теплоты большого, крепко сколоченного тела — рядом в лодке, на скамье. И, не глядя и не слыша, касаясь лбом его плеча, Катя призналась:

— Да... от тебя...

Лодка плыла. Плечо почувствовало всю сухость и нежность лба. Николай, укачиваемый, знал: подходит. Раньше было: дети. Почти символ. Когда сказал ей о том, что хочет, эти безликие сгустились в одного, в своего, в собственного, в сына. Теперь же сын смешался с нежным грузом на плече, с мягкой горечью разжатых губ, с синим буйством, с единственной, с любимой. Да, только от нее! Это совсем не походило на мысль о «цветах жизни», о новом веке, нет, тысячеверстый простор исчез, мир сузился до щели. Трудно дышать, но в этой щели — счастье. Сюда входили долгие ночи с мятой, с сухим чугунным жаром, звериное, ощеренное: только я, только мое, радость — я ей дал, несет *мое,* и после — новое, в чем дико, дивно слиты он, Николай, его глаза, ее глаза — сплав, амальгама, и в нежном тельце какие-то таинственные припоминания всех ночей: *мой, наш.* Да, это — счастье!

Дальше показалась жизнь того, другого. Если Курбов не мог, сломался, если не смогут эти, за стеной, в Кремле,— он продолжит. Курбов переживал довольство продления, рост веток. Корни сладко ныли. Лабазник Павлов думает — вот будет сын, Ванюшка, дело возьмет, не пропадет все даром (все — то есть лабаз и дедова конторка). Также Курбов — продолжит: партия, стройный рой, организация, зеленое и праздничное насаждение, на перекопанной глубоко земле, чудных фигур. И Кате, показывая рукой в ночь, туда, где за двойной цепью зубов — зубцов Кремля, зубастых курсантов — еще сидели шар, треугольник, прочие:

— Он будет таким же...

Здесь мост, не выдержав, заскрипел. Сам Курбов усомнился. Ну, хорошо, весна, любовь, природа, иметь ребенка и так далее. Но почему же от нее, от такой чужой и чуждой, пусть милой, но все-таки враждебной? Чтобы научила кликушествовать, биться под образами? Чтобы вырос еще один эстетический террорист в стиле Высокова? Ведь он встречал немало женщин, хороших, славных, всячески пригодных, своих, любивших его дело, его жизнь — почему же не от них, от этой, как понять такое?.. Неужели он, разумный, конструктивный человек, тоже только «вареный и жареный цыпленок»? Где же тогда высокая безошибочность его расчетов? Не только мост скрипел — скрипел, сжав зубы, Курбов. Тонула лодка. С нею тонул и человек.

В Кате фраза Николая помогла родиться, вернее, подняться от груди к голове, давно барахтавшемуся чувству — ревновала. Это началось, когда он заговорил о заседании, но тогда нахлынь нежности осилила. Теперь же было охлаждение, то есть между лбом и плечом — щель с внезапным ветром. Обрадовавшись случаю, ревность выпрыгнула, выпустила свои кошачьи когти. Даже теперь об этом думает!.. Он любит не меня, а это... это... Имя все равно. Что из того, если вместо соперницы, с лицом и с грудью, нечто большое и сложное, нагромождение рук, слов и неких этажей,— город, мир. Ее ведь туда не пустят. Ревновала к революции, к каким-то числам и фигурам, к партии.

Через пять минут, кормясь наставшей тишиной и потемневшими от сомнений глазами Николая, ревность обжилась. Как любая ревность, она потребовала у Кати точных данных — деталей, цвета волос, которые можно хотя бы в мыслях вырвать, оттенка глаз, чтобы мечтать: подойду и выцарапаю. Катя отвечала: партия (это было все же конкретней чисел). И партия стала женщиной. Катя прежде всего ее язвительно высмеяла: такая смеет тягаться! вульгарная (даже точнее: вульгарное лицо, с плаката «Роста»). Потом обида: со мной минута, объедки, после нее ведь, к ней ходил на заседание — и то случайно встретились. Наконец, отчаяние: нет, ничего не будет, ни любви, ни сына; он и теперь, когда Катя раскрылась, когда, девушка, все переступив, она сказала стыдное и страшное, он и теперь о той подумал, он хочет сына от нее. Кате надо уйти к себе домой, на Спиридоновку... И ревность, довольная удачей, добавляла: в «пятерку», ибо ревность хотела мстить.

Все это молча, про себя. Вслух — ни слова. На мост ни Курбов, ни Катя ступать не решились. Признаться же, что провалился, не могли: как перечеркнуть вот этот час (или два? или три?), быть может, самый важный? Оставалось молчать.

Встреча кончилась так же случайно, как началась. К скамейке прокрался какой-то субъект. Остановился. Помялся. Спросил:

— Товарищ, дозвольте узнать, сколько сейчас времени будет?

Катя машинально подумала: ведь это тот босяк, что приходил с Игнатовым. Как его?.. Да, Пелагея! Но сразу о нем забыла. Курбов же вздрогнул. Тонущая

лодка оказалась поломанной скамейкой. Взглянув на часы, ответил:

— Тридцать пять минут первого.

Встал, взял Катю за руку:

— Ну, мне пора домой... уж поздно... завтра надо рано вставать...

После всего это было невыносимо обыкновенным. Могло означать все и ничего не означать. Полная неопределенность. Шли по Воздвиженке — Николай провожал Катю. Вот уж и Спиридоновка — ни слова. Встреча, полная чудовищных признаний, пения иволг и растравы единственного поцелуя, кончилась томительным ничем. Что же дальше? Кто победил — те первые часы или сказавшаяся напоследок разность? Неизвестно. Партия между волей и любовью кончилась вничью. Неужели завтра начинать сначала?.. Все исходы казались правдоподобными. Николай мог бы через неделю-другую жениться на Кате, иметь сына, даже, с годами, многих сыновей. Мог также завтра утром подписать ордер: Екатерину Алексеевну Чувашеву — арестовать. Мог еще, пренебрегая партийной дисциплиной, убежать с нею в Австралию. Словом, сотни различных возможностей. Пока — молчали. Шли быстро и остановились сразу у подъезда, дружно откинувшись назад, как паровоз.

Стали прощаться. И все.

Лубянка. Завтра с утра допросить этих шпионов.

«Пятерка». Шла за книжкой на Ленивку, придется завтра снова пойти. А вечер? А скамейка? Ну, что же...

— Прощайте.

Уж дверь толкнув, Катя все же не выдержала. Откинув ревность, она сказала тихо, ласково:

— Николай, когда мы увидимся снова?..

Он хотел было ответить: зачем? — так уж мысли шли, правильно, по рельсам. Но ласковость, но широта разлива, почти захлебывание в слове «Николай» произвели крушение.

— Когда хотите. Завтра я не могу: весь день заседания.

Ах так! Завтра с ней. Советчица быстро показала остренькую мордочку — я здесь.

— Когда же вы свободны?

— Хотите в пятницу?

Если бы сразу предложил: конечно, да. Теперь же знает: завтра он с другой. А в пятницу придет Высо-

ков. (Той, с когтями и с остренькой мордочкой, очень хотелось, чтобы Высоков пришел, хотя сама еще не знала зачем.)

— В пятницу я занята.

— Ну, тогда в субботу.

Хорошо. В субботу. Где? Курбов предложил: он придет к Кате. Если неудобно, пусть Катя к нему придет. Но недаром она выросла в душной спаленке с запахом камфоры, со смуглыми иконами, недаром годами билась, причитала: и здесь нашелся чудной, юродствующий изворот:

— Нет. Приходите в «Тараканий».

— Но там ведь мерзко...

Катя настаивала: обязательно туда. Там встретила его. Простая, еще ничем не тронутая радость — первый вечер: встреча, карточная башенка. И тот, второй; сначала оскорбления тараканщиков, потом одна минута блаженства: пришел, и обухом по голове — чекист. Там развернулся весь недлинный, но запутанный роман. (Сад и зеленый запах на руке являлись исключением.) Катя полюбила гнусную трущобу. Предчувствуя: суббота будет важной, может, самой важной, хотела там встретиться, только там.

— Что ж. Хорошо. Пусть в «Тараканьем»...

Было по-прежнему тепло, туманно. С пустой, стеклянной, легчайшей головой, ни о чем не думая, Николай шел к себе. Раздеваясь, впрочем, подумал: завести часы. А остальное?.. Остальное — завтра.

31

Катя встретилась с Курбовым в среду. Собрание «пятерки» было назначено на пятницу, в семь вечера. Но не было еще шести, когда в щель двери нырнула голова Высокова. Катя испугалась. Она всегда его боялась, особенно когда он усмехался очень невесело: «Ну, что же, устраним...» Но после вчерашней встречи с Николаем этот смутный страх оброс мясом, имя получил, приобрел нечто от кудахтанья наседки с выводком, которая чует сужающиеся круги ястреба. Если б заслонить его! Знала — невозможно. Ведь она сама лишь камешек в высоковской руке, рыжей, волосатой. Разрешалось только плакать.

Порой Катя вспоминала все свои обиды: его любовь к другой, далекой, сделанной из палочек и цифр,

невозможность просто взять за руку, остаться вместе всю жизнь, поехать куда-нибудь, хотя бы в Сокольники, собирать землянику, и тревога становилась сладкой на вкус. Глаза Высокова, носившие в своей серой свинцовой массе очередной некролог, тогда сулили избавление. О том, что дни идут, что, может быть, сегодня или завтра ей придется убить Курбова, Катя вовсе не думала. Вероятно, подумав и додумав до конца, то есть до крови на милом выпуклом виске, сказала бы: «Нет, не хочу!» Не думая же, знала: отказаться невозможно.

Думала же Катя эти дни об одном: в субботу увидятся. Возможно, после этого конец, то есть будут молчать, как позавчера. Молчание же, еще не выслуженное общим горем, томило: заливало оловом горло, било в виски. А может, счастье: рука в руке, теплая земля, земляника, лукаво припрятавшаяся среди лапчатых листьев, ночи, сын. Веря — так может быть, и земляника и сын,— Катя все же не вырывалась из злобного спиридоновского логова, где, вместо икон, в углу давно стояли дикие, остановившиеся, как часы, глаза Высокова.

В ней как-то необъяснимо сочетались несовместимые миры: револьвер, хранившийся в сундучке, и годы вместе, «пятерка» и ребенок. Это объяснялось тем, что Катя, много думая, не умела вовсе думать. Ее мысли, лишенные пропорции и строя, образовывали какой-то несуразный и вместе с тем строго замкнутый хаос, где инфузории ступали мамонтами, где гиганты тысячами поскрипывали под ногами (песок), где солнце еще сильнее разжигало рой звезд. От мыслей таких срастались веки, спину ломило, наступало одурение.

Из длительного полусна Катю вывел приход Высокова. Все сразу прояснилось. И в Кате запрыгала синеглазая девчонка: страшно! Был он на этот раз особенно угрюмым, особенно тяжелые спадали фиолетовые веки, здороваясь, особенно рыжая рука схватила Катину и по-щучьи проглотила. Все говорило о пятом акте. Сын отпал. «Пятерка», вылезшая из белесых окон, вступала в права, готовилась поставить точку.

Высоков и вправду был сегодня необычайно уныл. Причины имелись в изобилии. Предприятие с похищением Аша кончилось печальным, но и скандальным фарсом. Ко всему этот болван Наум исчез. Должно быть, спьяна икая, проболтался. Катя должна сегодня

же искать ночевку: духовный кобель общителен, а когда чекисты пузо чуть пощекочут, все Ашу выложит на стол. Дальше: один из агентов Высокова сообщил, что в чеке сидит какой-то уличный певец по делу о «Заговоре в «Тараканьем броду». Совсем плохо. Еще: из Парижа приехал курьер. Делишки — дрянь. Колеблются. Съездить бы туда и выплюнуть статейку о грозном разложении благородной эмиграции. Саб-Бабакин, несмотря на телосложение, колеблется как тростинка, а это скверный признак: такое брюхо — барометр. Кадык отвиливает. Граф из посольства и француз (почти социалист) умоляют Высокова: как можно скорее несколько эффектных выступлений. По меньшей мере, солидное восстание на окраине и два-три террористических акта. Необходимо, чтобы настроение поднять и меняющих стадами вехи (или че́ки) немного озадачить: не так спешите, господа!..

Насчет восстания позаботится. Достал командировку. Через неделю в Самарканд. С актами сложнее. Наладил вторую «пятерку» — засыпались ребята. С этой — ерунда. Хуже всего, что наша милая Юдифь вызывает сильнейшие опасения. Здесь центральный пункт угрюмости Высокова. Сомнения достаточно обоснованы. Разуверившись в Науме, Высоков решил пойти на мировую с Пелагеей. Ледяное сердце тараканщика он согрел десятком золотых. Сегодня утром Пелагея сообщил Высокову нечто потрясающее, почти неправдоподобное: в среду Катя сидела с Курбовым в Александровском саду. Роман. Счастливые влюбленные как ни в чем не бывало нежно ворковали. Что же это? Может, Катя — провокатор, сотрудница чеки? Но Высокова не так легко провести: старый воробей, на провокаторов особый нюх, гордится, Бурцеву даст сто очков. Для этого девчонка слишком глупа. Значит, знакомое явление: бомба под юбкой. Высоков никогда не верил в политические убеждения женщин. Подбирая террористок, усмехался: половая истерия, впрочем, надо использовать. Катя, без сомнения, тоже истеричка. Беда в том, что, по описанию Пелагеи, не только она влюблена по уши в этого негодяя, но и он — хорош марксист! (Ах, дайте Высокову газету — он разоблачит!) — тоже неравнодушен. Дело пахнет семейной буколикой, отнюдь не актом.

Все это взвесив, Высоков был крайне зол. Но все же решил без боя позиций не сдавать: потребовать,

пригрозить и психологию подпустить. Для этого пришел раньше условленного часа: по душам, наедине.

Начал с дипломатии:

— Новости слыхали? В чеке чудовищные вещи. Курбов арестовал свою бывшую любовницу и ее мужа. Пытал ножницами. Шомполом бил. Женщина была в интересном положении. Преждевременные роды. Умерла, несчастная.

Говоря, врывался взглядом. Катя слушала рассеянно, почти что безразлично. Вместо слез отчаяния или дикой защиты Курбова она лишь обронила ничего не значащее:

— Да?

Высоков разъярился:

— Представьте себе! Самолично. А младенца он задушил.

Здесь Катя слегка оживилась. Брови взлетели. Впрочем, сдержавшись, отгородилась:

— Это неправда. Вы лжете.

Пелагея недаром слопал золотые: идиотка — влюблена! Через неделю в Самарканд, и ничего не выйдет! Высоков издавал какие-то притушенные, яростные звуки: тк, тк. Наконец привел себя в порядок. Надо попытаться применить все меры.

— Вы знакомы с Курбовым?

— Да.

Высоков должен был призвать на помощь присущие ему различные добродетели, как-то: терпение, сдержанность, самоотверженную преданность идее, чтобы не вскочить, не плюнуть, не ударить эту пакостную овечку. Просто «да»! Как будто — «знакомы ли вы с Иван Иванычем»! Хоть бы смутилась! Здесь бесполезно убеждать. Единственное — выволочь угрозы: клятва «братства» нарушена и прочее. Кровавая расправа.

Высоков вместе с портсигаром вынул браунинг, как будто невзначай.

— Екатерина Алексеевна, вы вошли в «пятерку», ознакомившись с уставом «братства», и, если память мне не изменяет, сами предложили убить чекиста Курбова.

Катя с минуту помолчала: вот и пришло... Значит, неизбежно.

— Я завтра его увижу. Я сделаю все, что надо. А револьвер спрячьте — вы мне уже дали один.

Высоков, ошеломленный, быстро изрезал комнату острыми шажками. Он считал себя тончайшим психо-

логом, был убежден, что Катю видит насквозь: девчонка. Но здесь настало полное непонимание. Провокация? Вряд ли. Испугалась? Но он ведь даже не успел потребовать, не то чтоб пригрозить. Сидит какая-то будничная, может, сейчас чайник на печку поставит, черт побери! Глаза Высокова, разбиравшиеся, как в брелочках своих часов, во всех трагедиях истории, готовые разложить детально, расписать все мученическое благородство Каина или Иуды, заблудились в этих васильковых, ситцевых глазенках. Долго он шагал и молча чертыхался. Этой сосредоточенной работе помешал бас мармеладный Игнатова:

— Дружище! Как дела?

Фамильярничает, балбес! А теперь что скажешь?

— Завтра выступление «пятерки». Вы должны быть на своем посту.

Посоветовавшись с Катей, точно указал:

— В половине восьмого вы зайдете за Екатериной Алексеевной и с ней направитесь в известный вам «Тараканий брод».

Игнатов не ответил. Он только тяжко закряхтел, как старый диван, на который сразу опустились почтенные пуды. Завтра ведь суббота, Людмила Афанасьевна освобождается в четыре, обещала приготовить блинчики со свежим клубничным вареньем. Да и она сама, становясь с каждым днем все гуще, все слаще, могла легко затмить любое, даже довоенное варенье. Арестуют, спустят в подвал, снимут сапоги, и — крышка! Ужасно щекотливое положение. В особенности теперь, когда белорыбовская температура, наркомпросовский паек и нежная любовь почти что заменили Игнатову жандармское управление на Малой Никитской. Но что же делать? Отказаться невозможно: звание, честь, престолонаследие. Следовательно, одно: кряхтеть.

Ушел Высоков успокоенный, даже веселый. Насвистывал изученный проездом в Берлине сладенький бостон. На ночевке, предварительно поиздевавшись тщательно над какой-то вдовой попадьей, преданной идее «братства», но ужасно неуклюжей, сел в шелковом парижском трико писать некролог — первый черновик. Подумав, вывел на бумаге число, значительное для многих, и зажмурился — цифры пахли пресно и тяжело, как в мясной, где с белых, облупленных полок каплет дивный аромат:

«Двадцать восьмого мая пал тиран Николай Курбов...»

32

Бывший будуар княгини Дудуковой был загроможден ароматами бакалеи. Хоть не пробили стенные еще шести, в нем уже настоялась густая, пахучая ночь. Глаз еле различал предметы, нос же, предаваясь пиршеству запахов, мог уверовать, что здесь большая гастрономическая лавка. Блинчики старательная Людмила Афанасьевна обсыпала ванильным порошком, и дух его остался. Также дух клубники, свиного сала, цедры, гари. К этому широчайшая, княжеская кровать, спинка коей была украшена лебедем, щекочущим бабищу в теле, подливала запах пота и пудры. На ней, как на прилавке бакалейной и гастрономической торговли былых времен, возлежали две рыбы: белорыбица и сиг, лоснящиеся, белые, обещая закусывающим прокурорам блаженство. Были это Игнатов и Людмила Афанасьевна, пережившие все блинчики, все ласки и тихо отдыхавшие, вперившие свои остановившиеся, мутные глаза в пространство, где пролетали ароматы: ваниль, золото лимонов над синевой Мессины... Рыбы дружно, в такт дышали.

Тогда пробило шесть. Каждый удар Игнатову звучал, как бой кремлевских колоколен, встречающих наследника на белом коне. Князь Пожарский, встань! Встать было нелегко, еле-еле оторвав от белорыбицы свое мужественное тело, сиг приподнялся. Людмила Афанасьевна, не размышляя о причинах, обхватила его крепко и повалила назад, на широчайшую, так страстно задышав при этом, что Игнатов надолго был лишен возможности слушать голос часов:

— Милый, еще!..

А пробило уже семь. Игнатов стал томиться, вздыхать, пытаться вынырнуть из-под одеяла.

— Пузанчик, что с тобой?..

— Должен все тебе открыть. Тверд, как древний муж. И ты мужайся. Сегодня совершится. Большевикам каюк. Может быть, я погибну. Утешься сознанием. Будешь фрейлиной при дворе. А я... а я...

И сахарный басок, еще особо услащенный клубничным вареньем и предсмертной нежностью, заколыхался, расплылся, едва-едва докончил:

— А я пришел с тобой проститься. Навеки. Милая, любовь моя, прощай!

Тропическая ночь разрешилась ливнем тяжелых, холодных слез, быстро увлажнивших грудь и живот

Игнатова. Он только ежился. Это рыдала Людмила Афанасьевна. Но разум, столь неожиданный в меланхоличной читательнице Гамсуна, взял снова верх.

— Скажи мне толком, в чем дело?

— Сегодня вечером одна из наших, из «пятерки», застрелит чекиста Курбова. Я должен ее сопровождать в «Тараканий брод».

Людмила Афанасьевна легко вспорхнула. На себя накинув одеяльце, проскользнула в кабинет, где жил заведующий хозяйственной частью. Людмила Афанасьевна, схватив телефонную трубку, ее прижала к мокрой щеке, как руку друга. Никто не отвечал. Томилась, наседала всей полнотой своей на аппарат, била палочку и голосом, еще нечистым от застоявшихся слез, гнусавила:

— Станция? Станция?

Дверь оставалась приоткрытой. Игнатов, изнывавший от жалости и нежности, слушал этот знакомый голос, так часто по ночам звеневший в оранжерейной теплоте подобно пению птиц экватора. И теперь она произносила металлическое, сухое «станция» с такою томной страстью, что получалось нечто пушкинское — «стансы». И с ней расстаться!.. Затихла. Снова:

— Станция? Коммутатор Вечека? Кабинет товарища Курбова?

Здесь не было уже ни пушкинского тембра, ни жалости, ни неги: измена, предательство, смерть. Но даже возмутиться, но даже одной мыслью, одним вздохом проводить обманувшую любовь не мог Игнатов: времени не было. Быстро вскочил. Живот от страха вытанцовывал сложнейшие фигуры. Осторожно прокрался к окошку и раздвинул шторы. Брызнул синий сумеречный свет. Игнатов, как был, в одном белье, выпрыгнул, вернее, вывалился из окна и, грузно шлепнувшись, разбил седалище. Хотелось хотя бы почесаться — не смел. За ним вдогонку гнался страшный, скуластый, раскосый «Коммутатор». Побежал. Дама, с виду благородная, обиженно несшая со Смоленского никого не соблазнившее богемское фамильное стекло, увидев чудище в кальсонах, упала, завизжала, зазвенела. Час спустя милиционер вытаскивал из гущи ротозеев Игнатова. Он шел, потупив стыдливо взор, усы поджав и с музейной грацией прикрыв рукой прорехи.

Трагическое бегство Игнатова было выполнено быстро и умело. Белорыбова ничего не слыхала. Правда,

она слушала в это время гул, щедро лившийся из трубы и затоплявший ухо.

— Товарищ Курбов? Это я, Белорыбова. Я хотела вас предупредить... Простите, это очень спешно. Малосознательный товарищ мне открыл. Они сегодня хотят убить. Вас. Да, да, «пятерка». Так что вы не ходите в «Тараканий брод». Товарищ, простите, еще минуту... Помните, я вас просила... Нельзя ли пристроить его, хотя бы внештатным. Он очень предан. Но чтобы паек. Хорошо? Я вам очень благодарна.

Успех — спасен, получит место, паек, теперь уже не расстанутся до гроба. И Людмила Афанасьевна мчится назад — порадовать скорее любимого пузанчика. Лицо, омытое дождем, сияет. В глазах радуга: радуйся, потопа больше не будет, все на месте и еще паек...

В комнате — никого. Брюки, скорбно согнувшись, висят на стуле. Ног же нет. Окно раскрыто. Катастрофа. Сбежал. Не поверил. Презрел. Руку трагически подняв, как погребальный факел, к тусклым сосулькам княжеской люстры, Белорыбова взором обходит опустевший парадиз: на туалетном столике рыжая сальная сковорода: милый, блинчики любил!.. Шкаф с никому не нужными продуктами: вот возьмет и выкинет все масло, три фунта, на улицу — так скорбь сильна!.. Размытая недавней любовной бурей кровать; большая впадина — здесь он лежал, и ус его задорно, залихватски, кавалерийски подталкивал Людмилу. Все кончено!

Она не плачет. Подняв с полу белый, заштопанный носок, целует. Слез нет, не может быть — ни тропиков, ни ливней. Прошло. Теперь конец. Как во всех романах — последняя страница, эпилог. Могла быть свадьба, усы, густое дремотное дыхание. Выпало вдовство — десятка пик.

33

Людмила Афанасьевна быстро отложила трубку и не слыхала, как пронесся далекий, легкий вздох Курбова. Да, услыхав взволнованное донесение рьяной покровительницы «малосознательного», Курбов прежде всего до неприличия обрадовался. Все эти дни его вязали лилипуты: узлами двойными, тройными и прочими, хитрейшими. В итоге не мог уже шелохнуться. Например, отчего вместо субботы не

встретился в четверг: ведь все равно на важном, очень важном заседании, где надо было видеть, слышать, говорить,— молчал, отсутствовал, несмотря на подпись. Зал мнился глубоким дном. Он — водолаз, с огромным, сложным аппаратом, ныряет, ищет. Впрочем, аппарат испорчен, аппарат уже воспоминание, биография. Кругом вода, мертвенная зелень, тишина и гул. Слова доклада — глухие темные течения. Мелькает рыбий глаз. Окаменелость. Ночь. Веревку дернуть: довольно! поднимите! Но никто не поднял, только секретарь, тщетно, в третий раз уж попросивший подписать протокол, учтиво промолвил:

— Вы, кажется, переутомились, товарищ Курбов?

Все это были лилипутовы узлы. Начинаясь с капли, свалившейся почти случайно, с Катиной слезы, упавшей в «Тараканьем», расширяясь четким потопом, любовь давно уже перестала быть частью, ущербом, даже наводнением. Среди жадной хляби метался мелкой щепой воистину допотопный ковчег. Дело не в Кате, хотя о ней он думал непрестанно, нет, думать не мог — шар, поставленный на шест, пометавшись с минуту, падал — вбирал ее. Образ зыбкий и дикий, вливаясь, валом наполнял Николая давкой, ходынкой красок. Все формы вопреки природе сливались, распластывались, извивались вьюнами. Это грозило то полной изоляцией: ничего не нужно, все — зыбь и дрема, тогда сидел часами в кресле и пропускал меж пальцев мысли, слова, отчеты, годы напряжения, как песчинки. То, напротив, хаотичным и практичным вздором: взять отпуск, уехать с ней на север, где шалаш, белесый свет и кислая морошка (все время хотелось пить), уехать — не вернуться (при этом точное, но слишком хладнокровное, со стороны — «какая подлость»). Но это все простые, первичные узлы. Страшнее другое: начало нового, некурбовского зрения, как будто у него прорезался третий глаз, опрокинувший и опровергший равновесие двух прежних.

Где голый, новый город, асфальтом заливавший топь, изгонявший цвета и цветы, величественная формула для каждодневного скрипа? Вместо него — шалаш с морошкой! Стыдно, Курбов! И все же не может: если сейчас, вот здесь, по соседству, вместо потного, слюнявого Кремля взойдет тот вожделенный город, Николай в нем не останется, тихонько улизнет далеко в топь и в ночь. Там ведь Катя, во всей прекрасной

несуразности: просчеты, изъяны, гимназическая чепуха. Что же делать? Строить для других? Не может: на острие циркуля, как на булавке, проколотой бабочкой бьется Катя. Узел двойной.

Тройной: сам любит это безобразие! Читал, считал и вычислил, а вот теперь доволен, что вприпрыжку прибежала девочка и выкладки перемешала. Курбов не отвиливал: опасность в нем. С каждым часом вырастало запоздалое пристрастие к ошибке, к неоседланным стихиям — к ветру или к огню, ко всяким отступлениям: заблудиться, стать еретиком, выследить свою особую чудную правду, такую же шершавую и теплую, как это прозвище «Левун» (вот нет такого в словаре!). Два прежних глаза еще смотрели, и Николай хранил сознание пропорций. Да, эта правда — маленькая, вглубь растет, не вширь, ею щедро других не оделишь. Но что же делать, если крохотная, рыжая ягодка морошки может затмить сверкание всех шестигранных солнц неслыханного городища? Еретик! Тогда зачем же еще восседает над многоэтажными диаграммами и красным карандашиком отчеркивает на докладе Аша: «Принять меры»? Как он смеет?

И вчера, когда медлительная секретарша принесла на подпись бумагу, разразилась решительная катастрофа. «К высшей мере». Подписывал не раз такие, уверенно и просто, полол огромный огород, выдергивая разные бурьянные фамилии. Но теперь... Ведь знал: этих за дело, сам допрашивал — польские шпионы. И все же перо, нырнув в чернильницу, выплыть не смогло, жалко барахталось. Как он может?.. Ведь его же самого, предателя, вздыхающего о какой-то приятельнице Высокова, шкурника, озабоченного морошкой и шалашом (знаем эти «шалаши» — квартирка с обстановкой); его, такого, следует немедленно, и к «высшей мере». Нет, не может! Перо осталось мокнуть. Курбов с бумажкой побрел искать спасения:

— Товарищ Аш, может, вы подпишете? А я... я не могу...

В голубеньких глазенках с минуту потолкалось удивление. Они заботливо прошли по Курбову: есть ли рука, не отвалилась ли от чрезмерной работы? Оказалось — рука на месте. Тогда Аш подписал и не задумался: некогда, перегружен делами. А Курбов, к себе вернувшись, свалился в кресло: трус! негодяй! Встать не удалось. Узлы оказались затянутыми на славу. Ра-

ботать? Не может. Бросить дело, партию? Сбежать? Тоже нет. Сиди. Так погибают от мушиной личинки, от крохотного микробчика гиганты.

И вот сегодня звонок Людмилы Афанасьевны. Нежданные просверкали ножницы (не Ашевы — другие): узлам конец. Кто-то за него решил. Чужие, враги, может быть, Высоков, определили: «К высшей мере». Правильно. Легко. О Кате вовсе не подумал: зачем? Был весь охвачен блаженством подступающего грохота и света, легкого конца.

Радовался лжи. Вот так погибнет, и никто не скажет: отступник. Простреленное тело не откроет этих трактатов о величии морошки. У Белорыбовой не будет лишней липкой книги, чтобы, прилипнув, стенать: «Ах, так любили!..» Попал в ловушку. На посту погиб, как истинный чекист. Даже поддержка прочим: берегитесь, крепитесь!..

Утешаясь столь невзыскательным обманом, привел в порядок срочные бумаги; из кармана вынув одну, секретную, вложил ее в конверт, пометил: «т. Ашу», запер. С револьвером немного повозился. Угрюмая игрушка раза три пропутешествовала из брючного кармана в ящик стола и назад, наконец крепко осела между двух папок: так лучше, чтобы соблазна не было...

Впервые, спускаясь по лестнице, он понял тайну этого мифического дома, хватку Пиранези: ступени, переходы, винты и штык. Шел так же ровно и бездумно, не продвигаясь к цели, но по инерции проделывая известные движения, сгиб колен и прочее, как шел недавно Иосиф Пескис, как шли другие постояльцы внутреннего решетчатого флигеля. Безразлично — куда, насколько и зачем.

В дверях столкнулся с Ашем. Светлоглазый на работу спешил. Даже шагая, явно обдумывал проект. Ноги чиркали по камню, подчеркивая трудные места. Наверное, сегодня не обедал: занят, перегружен. Любовь? Факт в полоску? Оставьте! Он видит новую угрюмую идею: недотрога, как с такою жить?.. А все же любит и все же победит: «Роль Чека при нэпе».— «Некоторые товарищи напрасно полагают...» Раздосадованная нога перечеркивает всех еретиков. И Николаю стыдно, очень стыдно. Хоть бы прошмыгнуть сторонкой, чтобы не увидел. Ведь на курбовских запавших голубоватых щеках выведено: морошка, любовь к индивидуальным проявлениям, вплоть до «пятерок»,

проще и короче: «подлец». Но Аш поворачивает свою коротенькую домоседливую шею. Заметил:

— А, товарищ Курбов! Вы куда же? В Кремль?

— Нет, в «Тараканий брод».

— Все с заговором возитесь? Мы так перегружены...

Курбов не хочет больше обманной славы.

— Товарищ Аш, я иду по личным делам. Я, видите ли, самый обыкновенный шкурник...

В синих каплях молока такое младенческое недоумение, что Курбов не может — бежит прочь. Чувствует, как Аш стоит и грустно думает: «Принимая во внимание общее нервное переутомление...» Потом стойко идет наверх и со стрекотом разверзает над миром («бритье и стрижка») свои величественные ножницы. И в Курбове — вдруг жалость, незаконная, приблудная: бедный Аш! Да, бедный, очень бедный, совсем не винт безукоризненного механизма, а просто чудак, астролог, мечтатель в парике.

Задумавшись, свернул, пошел кругом через Трубную. Здесь праздновали крестины рослого уродца, рожденного в Кремле в тот вечер, когда блестящий шар сиял всей безошибочностью исчислений, а углы треугольника поскрипывали дико, повернутые к заспанному Западу. Наспех, не теряя драгоценнейших часов, темнотой пренебрегая, какие-то шустрые голубчики сколачивали ларь. Подмигнула нагло забытая, почти из детства выползшая витрина гастрономического магазина. Смущенно остановился, как перед забиякой, высунувшим среди бела дня язык: «На-ка! Выкусь!» Зарей сияла розовая семга, грудились гордо золотые апельсины, окорок, томно нежась, предлагал: «Целуйте, я так нежен», важничал упраздненный и восстановленный во всех правах академик — слезливый, затхлый сыр. Все вместе, хором, включая даже скромную чайную, поджавшую свой хвостик, подпевали: «Так-то, это тебе не карточки, не категория!..» Глубокову немного балычку. А Власов предпочитает ломтик жирненькой ветчины. Курбов витрине показал кулак. Но рыбья морда семги безразлично, царственно взирала вдаль. Тогда он усмехнулся: то же морошка, личные дела. Даже обрадовался: не только он, все слабы, все «цыпленки». Однако (жест прежнего Курбова) сплюнул:

— Сволочь, «хочут жить»!..

На Цветном бульваре какой-то разморенный цыпленок в заграничном пиджачке, который, моде повину-

ясь, создавал из небытия бабий зад и груди, в стоптанных, охровых, еще не обновленных младенцем-нэпом солдатских сапожищах, вталкивал в пролетку визгливую девицу.

— Варенька, часок на дутых...

Из распираемых карманов, похрустывая, выглядывали непоседливые «лимончики». Варенька зачем-то здесь же, на ветру, припудривала свой большой, мясистый, от веснушек рыжий нос, столь щедро пудрила, что лихач и тот разок чихнул. Посадка длилась долго. Успело подкатить какое-то существо в лохмотьях и, вцепившись в руку Вареньки, занятой серьезной художественной работой, проголосить:

— Товарищ!.. барышня!.. голодающим!.. яви такую!..

Рядом с Курбовым стоял, вероятно, тоже увлеченный живописностью картины, сотрудник Эмчека и древний тараканщик Шмыгин. Сначала, по инерции, он, зажмурившись, хотел сгрести томного мужчину с бабьими придатками. Явно — спекулянт. Нетрудовые элементы. Но быстро вспомнил: нэп, инструкция, теперь того... И в раздражении крикнул голосившим лохмотьям:

— Гражданка, проходите! Не приставайте к публике!..

Лошадь рванулась. Из-под копыт взлетела стая искр. Лохмотья, отвалившись, дальше проволочились. Шмыгин тоже ушел.

Курбов видит: цыплячий рай широк и необъятен, в нем дивно сочетались древние тенистые традиции и буйство новой поросли: нос Вареньки, пахнущий отныне не иначе, как цикламенами. Еще раз радуется звонку сухому Людмилы Афанасьевны:

«Вот за угол. Третий дом направо. Сейчас конец!..»

В «Тараканьем броду» необычайное оживление. Сегодня утром младенец-нэп (а это имя повторяют набожно, елея не жалея,— «святой младенец»), гуляя по обнадеженной Москве, и в Девкин заглянул, в кривое окошко густо пахнущего дома, улыбнулся мученику за веру — самому Ивану Терентьичу. Праведных награда ожидает, мученик расцвел. Верное известие: разрешат рестораны с легким вином. Ныне самые почтенные тараканщики (среди них Чир и Пелагея) обсуждают реорганизацию передней части «Тараканьего» (задняя по-прежнему пребудет неофициальной — для водочки

и девочек). «Артель» и «Не убий», отслужив свой век, как прочие романтики и утописты, просятся в отставку. Вместо вегетарианского фасада — ресторанчик с пожарскими котлетами и с удельным. Как окрестить? Лещ, который вечно чванится своею образованностью, предлагает: «Авангард». Очень красиво, но невнятно. Пелагея предпочитает по-нашему, по-русски, чтобы все знали: «Ешь и пей». Иван Терентьич — соглашатель по природе.

— А мы и так, и этак, и для фасона, и для ума. Маляру дам бутылку, мигом наляпает — это тебе не «пролетарии, соединяйтесь!».

Курбов не слышал этих дискуссий. Сел в угол и почувствовал страшную внезапную усталость, голову на стол уронил. Рахитичные мысли путались и, только что родившись, умирали. Скоро должна прийти. Расстреляют. У нас снимали сапоги: резонно. А офицерик, под Черниговом, к сапогу прилип. Боялся. Это легче, чем жить. Катя опоздала. А как же карты?.. Может, построить домик?.. И морошка... Дрянь!.. Дерет в горле... Пожалуй, стоит пока поспать...

34

Пока он спал, тупо, без снов, Катя бежала длинным кольцом зеленых, жадных, разыгравшихся бульваров. Она не замечала ни нэпа, ни колбас, ни лихачей. Вокруг одно — любили. Какая-то громадная идиллия, на каждой скамейке теснота дыханья, запрокинутые губы — жестяной, жесткий, жестокий поцелуй. Все это было декорацией, не живыми судьбами, но плоским фоном.

Катя шла убить Николая Курбова. В полотняной сумочке, рядом с зацелованной фотографией, которую как-то принес Высоков, холодел чопорно браунинг. И дуло нетерпеливо прикладывалось к улыбавшемуся лицу. Шла быстро, как на службу, не опоздать бы. Деловой шаг. Старалась думать только о дороге: сейчас киоск, половина Тверского, потом площадь, короткий Страстной... Когда же в голове цепь бульваров прерывалась какой-нибудь грохочущей и грузной мыслью, Катя от испуга останавливалась. Идет убить. Зачем? Остановиться! Выкинуть из сумки злой высоковский подарок, а карточку еще раз, подойдя к фонари-

ку, чтобы видна была улыбка, поцеловать. За идею? Но идей больше нет. Вероятно, их никогда не было. Приснился трудный сон — слова Наума, Вера Лерс на диване, рыжая прохладная ладонь Высокова. Довольно! Теперь спуститься, и Трубная... Кольцо текло до новой встряски. Он же — тот! Ну да, и желтый, маслом умасленный, и обиженный грузинкой, волочащий по канцеляриям крыло. Нашла его. Любить! Век не отходить! Каждое дыхание, заслонив от ветра рукой, вынашивать, чтобы стало вихрем. Родить сына, сероглазого, большого, неприступного, как он. И Трубную прошла. Теперь в гору. Шаг реже. Назойливей мысли. Захватывает дух. Убить? Нет, никогда! Если нужно, если только скажет, прикажет, хрустким пальцем повернет — пойдет куда угодно. Станет сама чекисткой. Высокова застрелит — вот этим черным в сумочке. Но только чтобы он не думал о своей, краснолицей, с тычинками цифр вместо ресниц, о ненавистной партии. Будет думать. Будет сидеть ночами, в чеке, дышать шорохом докладов, паром красных чернил, расстреливать будет. Так партия хочет. Проклятая партия! Значит, снова идеи? Да, да — идеи: Курбова, чекиста, убить. Вот и Девкин... Пришла.

Увидев Николая, Катя все забыла. Сумочки не стало, хотя она висела, тяжело впиваясь в левую руку. Он спал. Детское, прелестное лицо, чуть затемненное синим отсветом предсмертья. Милый мальчик! Такому бы под подушку деревянную саблю, плитку шоколада. Убить? Да нет же!.. Кто сказал?.. Любить! Утешить!

Осторожно подошла и окунула руку в теплый мех волос. Курбов взметнулся, головой покачал, стряхивая обморочный, теплый, тяжелый, как летний ливень, сон. Наконец сообразил: уже пришла, я спал как будто... что же... а теперь конец... Не видел глаз Кати, из сини впавших в густую черноту от любования и любви. Кратко сказал:

— Наверх. Там удобней.

И на радость Ивану Терентьичу, наконец-то дождавшемуся от притязательного гостя признания его хваленого «номерка», они прошли по скрипучей лесенке наверх. Молчали. Ни о чем не думали.

В комнате духота, одурь. Кровать, покрытая лоскутным сальным одеялом. Рыжий таз, в котором плавают огрызок огурца и окурки. Николай глаза закрыл, прислонился к стене. Катины, напротив, все

ширятся, вбирая его, с колючей партией, всего. Брошенная сумочка обиженно топорщится на подоконнике. Николай ждет. Слышит, кроме одури, мух, Катиного быстрого дыхания: нудный гул. Так растет в раковине уха тишина — кругами. Гибель.

Катя подходит ближе. Вплотную. Дыхание убивает гул — слишком близко. В ответ ему свирепо отвечает сердце Николая. Замедление. И сразу дикий поворот (сумка на подоконнике, некролог написан, Курбов привел дела в порядок, все готово, где-то на Сретенке ходит Высоков, ждет). Просто, в сторону, иначе могло быть быстрым выстрелом, ответным грохотом — оказывается поцелуем, водоворотом, встречным исступлением, тоже концом, но непредвиденным.

Здесь — первая любовь, под мухами, над тазом с огурцом, на сальном и лоскутном, в предельной мерзости, здесь, где у дверей довольный Иван Терентьич смакует тишину, здесь — все равно! Великая и мудрая, простая! Этого никто ведь не отнимет у неуживчивых, помешанных людей. Мясо, слово, задыханье. Должна была быть смерть. Не вышла, задержалась, пропустила вперед такую же хищную и дикую соперницу. Где идеи, годы, обношенная теплая одежда? Нагота и пустота. Последнее, глухое сопротивление и круженье камня вниз, до обморока, до неподвижности, до ощущения в пальцах ног гудящей долготы времени.

Так, кажется, прошли часы. Пока не началось некоторое, робкое отъединение, мельчайшие симптомы раздельной жизни, медленное сгущение отличных тел. В верхние минуты были только груда, глухое молчание, любовь. Потом возможно стало ощутить блаженную, бессмысленную, почти идиотическую в животной мудрости улыбку Кати и руку Курбова, бессильно свесившуюся вниз, как сломанный и никому не нужный инструмент. Хотя по-прежнему присутствовало счастье, но оно уже принадлежало каждому отдельно, и надо было, подавая губы, чуть скосив глаза и выдыхая рой прозвищ, это счастье ревниво оберегать.

Впрочем, Катя проявляла крайнее спокойствие. Не успев еще подумать, что именно произошло, она уже знала насыщенностью тела, отмиранием и тяготой: нечто важное. Лежала: наконец-то разрезанная и прочитанная книга. Все двадцать с лишним лет, демоны и Лермонтовы, Наумы, идеи, жертвенная чесотка, по-

клоны — только подготовка этого часа, в каморке, над тазом с огурцом. Зачем ей какие-то идеи?.. Предать себя, метаться, слабеть, но уголком одним задернутого глаза все же видеть, как милый от радости чумеет, выгребает из вздорного комочка золотую жизнь. И, крепче сжав глаза, плавно погружаясь в гудящую ночь, где только вспышки искр — нежный фейерверк от слишком густой и теплой мглы, Катя начинала видеть по-иному. Время исчезало: минута длилась век, минута говорила: будет век, века, века веков, ничто, минута. Мира, то есть цвета, объема или веса, давно не существовало. Жизнь, как в древнейший период, едва-едва копошилась в ее утробе. Начальное тепло, простейшие растения, прикрепы клеточек, связь, сон. Постепенно это становилось все реальней и реальней. Тепло твердело. Тогда Катя вдруг вспомнила: ведь будет ребенок... сын! И это было столь диким ликованием, что губы с всплеском раскинулись в улыбку. При этом они коснулись щеки Курбова. Тогда произошло неизбежное: изъяснение, первое сцепление доселе совершенно несвязных слов. Катя, зная, что надо нечто вычеркнуть, смыть словом уже смытое красным, теплым крапом на этом лоскутном, тихо попросила:

— Дай мне мою сумочку... там, на подоконнике...

И, вынув гадкий дар Высокова, его подала Курбову.

— Возьми... Я не буду больше...

Это было очень смешно, с убежденностью до слез, как после шалости девчонкой — маме. И, правда, разве не детская шалость все эти «пятерки»? Игры «казаки и разбойники», «когда море волнуется» и пр. Теперь взрослая: жена, мать. Не будет больше так глупо проказничать. Курбов должен взять.

И Николай взял. Металлический холодок, чужой, невнятный после теплоты и мягкости тела, хотел напомнить о другом. Понимая, что Курбов растерян, он прибегал к простейшим понятиям: заговор, «пятерка», Чека, трубка телефона. Так Курбов вспомнил, что все происшедшее лишь искажение плана: Катя шла его убить. С любопытством взглянул на маленькую ручку, темневшую под щекой. Этот взгляд, сам по себе невинный, скорей всего праздный, Кате показался карой. Дрогнула, взметнулась, робко, с собачьей нежностью, пряча провинившуюся руку, губами поискала его (щипцы). Такой минуты как будто достаточно, чтобы

сразу разлучить, сделать радость выдуманной и разоблаченной. Но теперь имелась прививка: сын. И сцена с револьвером кончилась сухим, коротким поцелуем: сургучная печать, конец, молчи, мы вместе. Дальше снова забытье.

Пробуждение настало только для Курбова. Катя, когда наконец отхлынуло его большое тело, незаметно погрузилась в любование своей судьбой: будет сын. Кажется, ему успела шепнуть об этом, а может быть, и нет. Даже Николай стал ей ненужным, являясь частью внешнего, неубедительного мира, тоже огрызком в тазу (пускай прекрасным). Вступив впервые в мир иной, утробный, полный ненареченных вещей, она жила жизнью напряженной и в то же время тишайшей, травяной. Жизнь эта просто и неприметно перешла в глубокий сон. Одну руку по-детски подложив под щеку, другой прикрыв маленький живот, Катя спала. Комнатушка полнилась нежным дыханием, казавшимся походкой часов и лет.

Смутные и смятенные мысли Николая постепенно переживали фазы рождения миров. Вначале кипь и зной, тяжелый, полный частиц несуществующих предметов. Дальше части сталкивались, сцеплялись, отвердевали. Явились первые понятия, сушь дней. Курбов уже ясно понимал свершившееся. Вновь на тело, легкое до испарения, пал груз: это наседала биография. Но несмотря на тяжесть, он радовался, морошка не обманула, оказалась верным счастьем, огромным миром. Улыбнулся. Прекрасный хаос, способный перетасовать всех людей и, выкинув одну крохотную женщину, ею покрыть, раздавить чудовищные материки, этот хаос торжествовал.

Но торжество было недолгим. Сгущение продолжалось. После биографии, после пафоса одной ночи появилось оскаленное «завтра», со всеми родственниками, то есть с «послезавтра», «через месяц» и так далее. Оно даже не хотело дождаться рассвета. Еще густо плавала непроцеженная мгла и снизу по шаткой лесенке поднимался рев тараканщиков — отрыжка многих бутылок, чайников, ковшей. А Курбов уже метался по комнате, затравленный вот этим «завтра». Искал лазейку. Искал наивно, неумело, глупо, как всякий деловой и дельный, обычно слишком сильный и любовью ушибленный мужчина. Минуя спящую рядом Катю, он пытался смастерить объяснение, оправ-

дание, согласовать «вчера» и «завтра». Ничего не выходило. Вся правда первой любовной ночи бессильно отступала перед взводом выстроенных доводов. «Как он будет завтра жить»? И в комнату съезжались спешно все сомнения последних месяцев.

Подвел итоги — честно, стойко. Быть прежним, работать, думать, выполнять свой ясный план? Не может. Удолговечить эту ночь, сделать из лавы дыхания, из прибоя тел, из забвения нечто твердое, стойкое, многолетний сон — тоже нет сил. Значит, жениться и мирно существовать?..

Так, извиваясь, шатаясь из угла в угол, жил час, другой. Наконец остановился у окна. Ночь, накануне сдачи, еще кичилась своим великолепием. Николай врылся глазами в синеву, и здесь произошло простое разрешение. Было ль это только любовью или строгой последовательностью рока, немыслимыми воспоминаниями, но Курбов, зачатый в такой же час, когда над скрипом Завалишина бушевали светила, Курбов, передавший земным цифрам утаенный свет, сделавший любую диаграмму небосводом, взглянув теперь на стаи звезд, в древнем гневе распластавшиеся над «Тараканьим бродом», труднейшую задачу сразу разрешил. Нет, правда не в такой любви! Синеве и веку: долой морошку!

Правду он знал, был с нею дружен, запросто, годами, на «ты». Пусть ссоры и размолвки: то ненависть подлизывалась (ведь с ненавистью много легче!), и тогда скользил, падал в лужу бурой нудной крови, то подвертывались под ногу проклятые Андерматовы, то просто ноги, слабые — кость и мясо — гадко ковыляли. Но правда, обижаясь, не покидала.

— Чтили Христа, сказавшего: «Огонь пришел я низвести на эту землю». Мы же низводим на злобную, огнем охваченную, звездный строй, единый план вселенной.

Да, правда — его, курбовская,— в жадных взглядах, в голосе крутого комсомольца, в голом городе, в черной, пулеметной, ротационной беседе. Это — ясно.

Ясно и другое: он выбыл из строя. Он не может. Перепутанное уравнение. Машина испорченная, и настолько, что никак не починить. Идти назад? Шагать на месте? Пробовать работать, косым взглядом, пронырливой мысленкой, юрким вздохом пытаясь улизнуть к ней, к спящей, полной тяжести, тишины и горя, как мать-земля всех ветхих песен? Нет! Это недостойно...

Черная, холодная, знакомая с давних лет вещица по-собачьи лизнула руку Курбова. Напомнила: дурные травы надо полоть. Правильно, товарищ Курбов! Это было последним даром звезд, последней, закономерной и точной точкой в книге: устранить себя.

И, уходя, невольно прислушался, заслушался: легкое дыхание. Катя, беспомощная, но взявшая верх, все так же спала. Ее лицо являло мудрость и довольство. Мысль — как прабабушка... (Кто-то злой, насмешливый подставил: и как правнучка. Такую никогда не одолеть — земля.)

Внизу еще шумели. Чир и Пелагея, для услады, травили кошку с помощью двух, подбодренных колбасою, кобелей. Кошка отчаянно, истошно, по-древнему мяукала. Когда же замолкала кошка, гнусавый, отбитый кашлем и самогонкой голос, с педантизмом немецкого философа, пояснял ученикам:

И ён смутился и застрелился —
Цыпленки тоже хочут жить.

Николай Курбов, впрочем, уже отсутствовал. Он был в кремлевском зале, где сияет обточенный на славу шар и поскрипывает треугольник, где еще хотят и могут, где огромный зеленый стол скрипит под тяжестью классифицированных прирученных звезд: прощался, жал наспех сухие, отрывистые руки.

С этим сблизил друг другу полюбившиеся дуло и висок.

Берлин
Февраль — ноябрь 1922

Рвач

роман

Да будет воля твоя, чтобы этот год был росистым и дождливым, и да не проникнут в тебя молитвы путников на путях по поводу дождя, который им помеха, в час, когда весь мир нуждается в дожде!

Молитва еврейского первосвященника в Судный день

ТЕЛЕСКОП, ПАПАША, ПОРТНОЙ ПРИМЯТИН И НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ ГЕРОЯ

Можно было бы начать историю нашего героя восклицанием: «Злоупотребления в «Югвошелке» наконец-то раскрыты!» Но добросовестность принуждает нас начать издалека, не с «Югвошелка», а с телескопа, с большого хвостатого телескопа, который задолго до образования различных трестов плавал в круглом аквариуме, среди прочих рыбешек и кудластых травинок.

В Киеве, в Пассаже, где прятались порой ревматические чиновницы от дождя, а незарегистрированные барышни от неожиданной облавы, в грязнющем Пассаже помещался зоологический магазин Абадии Ивенсона. Витрины его несколько утешали и чиновниц, и девок, и просто случайных зевак. В левом окне преобладали чучела, ибо сам Абадия Ивенсон умел артистически потрошить орлов, белок и незабвенных болонок. Мифологические совы напоминали глазевшим дуракам о вечности. Что касается кролика, то он щипал гофрированную капусту. Под стеклами линяли оранжевые крылышки бабочек, а на стеклах тучнела пыль. Левое окно могло легко сойти за музей. В правом торжествовала жизнь. Зеленая квакша неизменно заседала на верхней ступеньке игрушечной лестницы, даже в ливень щедро обещая всем ревматикам хорошую погоду. Белые мыши то сбивались в клубок, то от кашля Ивенсона растекались во все стороны, так что делалось их много-много. Рябило от них в глазах. Притом они ухитрялись даже сквозь стекла обдавать прохожих особым запахом уютца и мышиного бесхитростного благополучия. Над мышами возвышался аквариум, а в аквариуме плавал телескоп, с которого и следует начать нашу историю. Это был особенный телескоп, увечная рыба, подлинный инвалид подводной войны. Золотые рыбки не в счет: они плавали,

жирели и дохли. Но по аквариуму сновала маленькая рыбешка с голубоватой чешуей. Породы ее не знал и Абадия Ивенсон, называя попросту «той самой рыбкой». Так вот «та самая рыбка» жесточайшим образом изуродовала телескопа. Как? За что? Дело рыбье. Она не тронула его прекрасного шлейфа, нет, она остановилась на глазах. Глаза у телескопов, надо сказать, замечательные: две горошинки на ниточках. Глаза как будто чужие, взятые напрокат из оптического магазина. Может быть, эту неестественность и почувствовала «та самая рыбка». Так или иначе, она оторвала оба глаза телескопа. Странное дело, но безглазый телескоп с двумя дырами нежно-абрикосового тона казался чудовищным. Он плавал по-прежнему, по-прежнему заметал шлейфом песок, глотал облаточную бумагу, пускал пузыри. Но это была уже не рыбка, а живые страхи, бред мрачного Пассажа. Трудно понять, почему Ивенсон не выкинул его. Прилипнет, бывало, к стеклу чиновница, все хорошо, даже пятнистое брюхо тритона и то похвалит, а как только проплывет безглазый телескоп, перекрестится и вон, хоть под дождь.

Но была пара глаз, которой нравились эти дыры, нравились до блаженной идиотической улыбки, до слюней. Если стояла у окна старушка, мальчонок ее отталкивал. Он приходил к телескопу на свидание. И, увидев розоватые впадины, живые добротные глазенки Мишеньки как бы уплотнялись. Что ему полюбилось в этакой пакости? Кто знает? Мало ли странностей у детей. Как-то раз Мишка, сжимая в кулачке тридцать копеек, полученные от крестного на карамель, храбро запросил самого Ивенсона, сколько стоит телескоп, не обыкновенный, глазастый, и вот «та самая рыбка». Стоили они вместе, даже с любительской скидкой, полтинник. Купить же одну из них Мишка не захотел. Мальчику тогда едва исполнилось восемь лет, но у него уже были и свои вкусы и, по всей вероятности, свои планы.

Во сне громадный слепой телескоп плавал по заплеванному, наслеженному, надышанному Пассажу. Он был завсегдатаем этих теплых и душных снов, наравне с курами-танцорками. Это, разумеется, не наседки, мирно клюющие просо, но безголовые куры, вырвавшиеся из рук кухарок, чтобы протанцевать среди крови и помета несколько трагических па. Во сне прыгающие куры достигали каланчи, порой даже звезд, но кровь скверно пахла, и пальцы от нее прилипали к подушке,

так что приходилось со сна кричать. Подзатыльник оказывался заработанным. Кроме традиционных кур, мальчику снились и гусеницы. В мае месяце по Пушкинской или по Бибиковскому бульвару можно ходить только задрав вверх голову: внизу происходят переселения гусениц, фиолетовых, изумрудных, апельсинных. Прохожие безжалостно их давят, и зеленоватая кашица достойным образом окаймляла Мишкины сны.

Думая о раннем детстве, Мишка, а впоследствии Михаил Лыков, прежде всего наталкивался на слепую рыбу. Потом уже показывалась аппетитная улыбка папаши, не улыбка, приличный намек на нее, улыбочка под мельхиоровым колпачком, как котлет де воляй,— можно приподнять, если только клиент захочет. Конечно, папаша умел улыбаться и по-другому, даже хохотать, но только при исключительных обстоятельствах, например в первый день Пасхи, когда он пил из зеленого бокала для рейнвейна, с отбитой ножкой, беловку, пил единым духом, объясняя это не порочной склонностью, а исключительно хромотой посуды, не терпящей пауз. Выпив, он смеялся, хрюкал, как боров на «Контрактах», и в итоге методически избивал престарелого пойнтера Трефа, ночевавшего у своей хозяйки, мадам Овчинниковой, и приходившего к Лыковым вроде как столоваться. Треф понимающе, даже сострадательно подымал паралитическую губу, роняя на колено папаши пену, и пытался по-собачьи улыбаться, но, не выдерживая методичности побоев, начинал скулить. Это, видимо, папашу успокаивало. Что касается Мишки и Темы, то он никогда их, как лицо цивилизованное, без крайней надобности не бил.

Вокруг папаши лепились различные ритуалы детских лет. Одни названия чего стоили! Все непонятные и дикие, они заменяли и «иже на небесах», и сказки Гримм. Это была волшебная заумь, молитвы, поэзия. «Тимбаль а ля миланез» не раз ластилось, миловало, почти заменяя мать и даже сливаясь со смутными приметами мамаши, которая умерла, когда Мишке было четыре года. От нее запомнились: коровьи ясные глаза, голубизна их, икота, нежная мелодичная икотушка, еще запах ношеного белья, родственный духу ивенсоновских мышек.

Что касается «шатобриана-бэарнез», то он означал основу основ, один заменяя то вязкое и огромное, для чего в школьном катехизисе имеется «троица» с тремя

ответами (это по части зубрил) и с ломкими березками в июне. Как нежно, как благоговейно произносил эти слова папаша, торжественно подкрепляя их скрипом манишки! Манишка... У других людей манишка — деталь, предположение, слуховое окошко, пестрый клочочек под галстуком. У папаши манишка была всем, она раз и навсегда проглотила его щуплое тельце. Папаша был живой манишкой, произносившей поэтические названия нездешних вещей. Когда утром он фыркал или плевался у рукомойника и, вместо горделивой белой пустыни, на впалой груди жалко болтались косички волос, Мише хотелось заплакать: папаша умирал на глазах. Старший брат, Темка, тот в нетерпении сдувал с манишки пылинки: скорей бы сделать папашу папашей!

Странное, однако, семейство. «Человек» и детишки — это как-то не вяжется. Кто же из посетителей ресторана «Континенталь» на Николаевской мог представить себе, слыша «буше а ля рен», кроватку с сеткой или лифчик, на котором, до известного совершеннолетия, держатся штанишки? Казалось, что не только семьи, даже имени не может быть у того, кто унижен или возвышен до обобщения, почти до абстракции: «человек». Однако у «человека», обслуживавшего столы двадцать два — двадцать восемь, направо от входа, было имя, притом самое обыкновенное: Яков Лыков. Были и дети, которые рождаются, очевидно, не считаясь с профессиональными особенностями родителей. Вне этого недосмотра Яков был образцовым «человеком»: он разрезал пулярку, как виртуоз, безукоризненно угадывал соотношения специй в салатах и неприметно, грациозно, воздушно подсовывал счет именно тому, кому нужно. Если подрядчик угощал интенданта, то Яков, храня всю незамутненность государственной совести, тщательно скрывал от приглашенного ноли неприятных сложений. «Не извольте беспокоиться... уже-с!» «Ссс» долго, приятно свистело в ушах, как ветерок в приречной траве.

Утром, в засаленном номере газеты «Киевлянин», Мишка и Тема иногда находили необглоданную лапку фазана или ком слипшихся макарон. А папаша разглаживал газетный лист и читал, все больше о пожарах. Читал он вслух и крайне чувствительно — оплакивал какие-то сгоревшие «службы». Потом уходил в «Континенталь».

Братья играли в бабки. Братья росли.

Раз папашу вызвали гастрольно в кабачок «Босфор», что на острове. Он взял ребятишек с собой: пусть подышат свежим воздухом. Горели громадные буквы, но одна лампочка вскоре погасла, и ночь немедленно проглотила «р». «Босфо», однако, не унывало, веселье шло вовсю. Толстый господин разбил пустую бутылку, при этом он кричал на папашу. Он даже ударил его, хотя и небольно,— салфеткой по щеке. Папаша не заплакал. Чуть-чуть улыбаясь, он заботливо обнял господина, поддерживая ручками тучный живот. Тогда изо рта толстяка полилась на манишку папаши красная кровь. Мишка визжал. Ему объяснили, что это не кровь, а вино. «Босфо», однако, осталось в памяти тем подлым местом, где салфеткой хлещут папашу, где люди плюются подозрительной краской, где, может быть, турок с вывески фруктовой лавки ночью потрошит детей, как Ивенсон своих болонок.

Но было одно воспоминание, страшнее и кур и «Босфо», по назойливости равное только телескопу. Кто знает, не играй сопливый Мишка в то далекое летнее утро на углу Малой Подвальной, возле чайной Терентьева, может быть, вся жизнь Михаила Лыкова сложилась бы иначе. Детей воспитывают по разнообразным системам, изучают влияние на них различных цветов и звуков, годами осторожно натаскивают их на всяческие чувства, а здесь в две-три минуты маленький Мишка, игравший в бабки на углу Подвальной, познал существеннейшую науку. Было это так: портной Примятин, почтенный, очкастый мужчина, вышел из чайной. Шел он неестественно, как будто обе ноги тянули его в разные стороны, а раздираемое туловище все время трепетало на распутье. Проходя мимо Мишки, он откровенно грохнулся наземь, хотя вовсе и не было скользко. Мишка струсил: портной решит, что это он ему подставил ножку, и потаскает пребольно за ухо. Но Примятин, приподнявшись с натугой, даже улыбнулся Мишке:

— Иди, брат, к жидам Леви, в третий двор, там студень готовят, а бабок прямо тысячи.

Потом Примятин прошел к себе (жил он в том доме, где чайная, четвертый этаж, вход со двора). Мишка о нем успел забыть. Вдруг он видит: в окошке, важный, еще важнее, чем всегда, очки на месте, даже синий широкий картуз с пушком. Портной машет Мишке одним пальцем, острым и длинным, как игла.

— Эй, мальчик!.. Бабки считаешь? Смеешься? Думаешь, я — Примятин, портной военный и штатский, на вывеске покрой, а по совести, чтобы трухлявые задницы утюжить? Врешь! Я и не портной. Я — жаворонок. Я в небесах играю. Я безо всяких шаров обхожусь...

Мишка потом отчетливо помнил все эти несвязные слова и отчаянный голос, то хриплый, кипящий внутри — это пока портной бубнил о покрое, то неприлично для такого почтенного человека визгливый, когда он перешел на птиц. Засим наступило самое необычайное: Примятин вскочил на подоконник, помахал фалдами своего перелицованного сюртука и взлетел вверх, как был, то есть в очках и в широком картузе. Взлететь, конечно, не взлетел, чуть подпрыгнул и свалился вниз, шагах в десяти от Мишки. Красная краска брызнула, как будто маляр уронил ведерце с суриком. Теперь-то Мишка знал, что это не вино, как в подлом «Босфо». Из чайной выбежали люди: потные ломовики, халатники. Чей-то узел в сутолоке развязался, и наземь посыпалось вшивое тряпье. Тяжелозадая лошадь, стоявшая за углом, повела крупом и вдруг пронзительно, тонко заржала, рванулась вперед. Терентьев же, боязливо оглядываясь на чайную, где в курносых чайниках откровенно булькала водка, крестился:

— Перехватил, а от этого другим беспокойство... Вот меры не знал человек.

Потом все разошлись. Только мухи, докучные мухи облепили живым пластырем мостовую.

Папаша вернулся домой как всегда, то есть под утро. В комнате уже серело, и в рассветном чаду он сразу увидал перед окошком большие оттопыренные уши Мишки.

— Ты что не спишь?

Мишка молчал. Папаша пытался понять, разузнать, урезонить и, только увидав, что все деликатные способы исчерпаны, раздосадованный молчанием, отстегал Мишку помочами. Мишка молчал. Мишка видел на углу Малой Подвальной, среди шелухи тыквенных семечек и конского навоза, расклеванного воробьями, широкий картуз портного, утюжившего трухлявые задницы, а на картузе краску, яркую, прекрасную краску. Не дотрагиваясь до своей спины, больно чесавшейся от помочей, он вдруг прокричал:

— Вы, папаша, сволочь! Все вы сволочи! А я вот... а я вот... жаворонком... И к чертям!..

ДВА БРАТА. ЗЛОДЕЯНИЕ НА РЕЙТЕРСКОЙ. ПЕРВЫЙ КУТЕЖ

Тема был старше Мишки на два года. С лица они не походили друг на друга, никто не сказал бы, что это родные братья. Тема был сработан добросовестно, впрок, безо всяких любительских причуд. Ноги, хотя не длинные, но крепкие, как бревна, играли, пожалуй, первенствующую роль. Лицо же можно назвать привлекательным. Что с мальчика требуется? У Темы были умные серые глаза, при встрече с другими глазами никогда не пятившиеся под брови, высокий лоб, вроде вывески: «Мальчик не глуп, правильно решает задачи на проценты, выйдет в люди», светлые курчавые волосы на предмет грядущей лирики (ведь, судя по всем романам, русским и переводным, женщинам нравятся именно такие волосы). Словом, наружность Темы была хоть и лишенной для паспортиста особых примет, но приятной. Характер тоже: ровный, спокойный, легкий. Он не носился по двору, крича от восторга, как сосунок, чтобы пять минут спустя с угрюмо отвисшей губой бежать в отхожее место из ненависти к миру и там часами отсиживаться, проклиная товарищей, себя самого, все и всех. Нет, это проделывал Мишка, а Тема играл, думал, учился, рос и как-то всем существом — телом, головой, особенно ногами,— укрупнялся.

Папаша отдал обоих в прогимназию: пусть выйдут действительно в люди. Он был просто «человеком». Если приналечь, эти могут взобраться выше, стать, например, метрдотелями. И, разглядывая по субботам балльник Темы с триумфальными шеренгами пятерок, папаша приговаривал:

— Выбьешься, Тема?

— Выбьюсь, папаша.

Не следует, однако, думать, что это прилежание означало тупость или хотя бы посредственность. Тема был, что называется, весьма и весьма способным. Пятерки он срывал легко и просто, как яблоки в саду купца Головченки. Забор у купца был с колючками, но Тема смастерил клещатые палки и вечером, без риска продрать штанишки, угощал всю ватагу головченковскими ранетами. Он вообще был изобретателен. На салазки с рулем, которые он соорудил, чтобы, слетая с Михайловского спуска, поворачивать налево, приходили глядеть взрослые. Один господин дал пятиалтынный:

— Что же, может быть, инженером будешь...

Тема дружественно улыбнулся:

— Может быть, инженером...

Инженером, или метрдотелем, или купцом, вроде Головченки,— это еще неизвестно, выяснится впоследствии. Во всяком случае, не «человеком», как папаша: выше.

Папаша за Тему и не боялся. Вот Мишка — другое дело. Может из него выйти и нечто замечательное, гениальный метрдотель, которому место не в «Континентале», а в самом Петербурге, сервировать какой-нибудь дипломатический банкет. А может, и наоборот — свихнется. Мало ли мазуриков проводят по Львовской, голова бритая, халат, две шашки наголо — в Лукьяновку, а оттуда дальше, в Сибирь, где нет никаких банкетов, снег, камень, смерть. Что будет с Мишкой? Все в нем как-то ненадежно. Оставить на столе полтинник и то нельзя: стибрит. Потом или нажрется пирожных в самой шикарной кондитерской Жоржа, как будто он сын владельца «Континенталя», или, того глупее, отдаст целиком полтинник паршивым попрошайкам, которые шляются из Соловков в Лавру, растравливая солью гнойные язвы и выклянчивая у честных людей «милостыньку».

Даже наружность Мишки казалась подозрительной: покойница была русой, папаша, прежде чем полысел, брюнетом, а Мишка шевелюрой всех озадачил. Жесткие волосы с неукротимым чубом, и не золотистого цвета, не то чтобы рыжеватые, нет, откровенно рыжие, рыжее не бывает. Чуб издали казался язычком огня. Лицо капризное, подчас злое, но с большой оговоркой: глаза. Может быть, вводил в заблуждение пигмент: как бы опровергая волосы, глаза были темно-карие, глубокие, почти ангелические в их печальной доброте. Такие глаза бывают только у очень старых, замученных палкой погонщика ослов. Какой подлог совершила природа, снабдив Мишку долготерпеливыми, страдальческими глазами! Или, правда, были в нем лирические залежи, где-то далеко, под злостными проказами, в стороне от мертвой хватки, залежи, не известные ни папаше, ни Теме? Разве нет таких глаз среди тех, кого проводят по Львовской с бритой головой?

Встречные, впрочем, замечали прежде всего Мишкины руки. И глаза и чуб оставались на месте, а руки рвались вперед. Откуда они взялись? Ни Яков Лыков,

ни покойница здесь как будто ни при чем. Такие руки нужно суметь придумать. Очень тонкие, белые с синью, не загоравшие даже на июльском припеке, они, упавшие, казались столь беспомощными, столь умилительными, что можно было, глядя на них, даже забыть про чуб. Но потом руки взлетали, проступали жилы, оказывалось, что они — притворщицы: сильные, хваткие, отчаянные. Такие руки все могут. Главным образом — рвать. И не раз, случайно взглянув на уличного мальчишку, гоняющего собак, прохожий с некоторой нервичностью думал: «Странные руки... бумажник?.. Нет, цел... красивые руки... однако такие дети, предоставленные соблазнам улицы,— это серьезная социальная опасность...» А мальчик, не видя ничего примечательного в своих руках, запачканных чернилами или вишневым соком — в зависимости от сезона,— продолжал гонять собак. Все кобели Еврейского базара его боялись.

Не только кобели. Здесь следует раскрыть одно злодеяние, имевшее место на Рейтерской улице глубокой ночью. В доме Неховецкой помещалась «венская булочная» госпожи Шандау, которая всем в околотке была известна медовыми пряниками с имбирем, а также желтоглазым сиамским котом Барсом. И пряники и Барс являлись гордостью владелицы булочной Минны Карловны Шандау, гордостью справедливой. Других таких пряников в Киеве не было: пахучая хрустящая корочка, а под ней не мякиш — золотой пух. Кот же походил на все что угодно, только не на кота: рысьи глаза, львиные повадки, а ум какого-нибудь сенбернара. Минна Карловна уверяла, что кот на выставке кролиководства (да, почему-то именно кролиководства) получил почетный отзыв и серебряный вазон. Это вполне возможно — ведь приходили же за ним как-то господа с Липок, просили отпустить на денек: на Банковской улице якобы существовала сиамская кошка с неразделенными чувствами. Минна Карловна хоть и была польщена, но кота не дала. Как же она могла расстаться с Барсом, с Барсиком, который спал под венской периной, а утром пил сливки (молоко, даже цельное, кот презирал, очевидно сознавая, что он не простой, но сиамский)? Мишка, кажется, был единственным посетителем булочной, не удостаивавшим Барса вниманием. Кот его никак не интересовал. Нельзя этого сказать про имбирные пряники — на них шли

различными путями добываемые гривенники. Но случилось несчастье: как-то Мишка пришел покупать для папаши франзоли. Запах медовой корки его особенно сильно потряс, а гривенника не оказалось. Он вышел, вернулся, понюхал, снова вышел. Запах из этой борьбы вышел победителем: Мишка попытался стянуть большущий пряник, но промахнулся, задел поднос, и поднос звякнул. Пойман с поличным! Если бы Минна Карловна его избила, избила до членовредительства, если бы она позвала городового и преступника повели бы в часть, Мишка знал бы: за дело, больно, но справедливо. Но то, что сделала Минна Карловна, возмутило его неожиданностью и обидностью. При всех — в булочной находились тогда и кухарка Неховецкой, и какой-то студентик, преглупо гоготавший, и еще напуганные ребята — она закричала:

— Иди отсюда, ничтожный мальчик! Я плюю на твою душу!

Правда, Минна Карловна это только сказала. Она и не подумала плюнуть на Мишкину душу, но страшная обида была нанесена. За пряник, подлюга какая, посмела плюнуть на душу! Убить ее? Сжечь дом Неховецкой? Хорошо бы именно сжечь и с угла глядеть, как горит эта ведьма со всеми ее франзолями. Но как это «сжечь»? Дом каменный, если даже раздобыть бутыль керосина, и то не выйдет. Сжечь булочницу Мишке так и не удалось. Но плакать ее он заставил. Перины оставались несмятыми, утренний кофе со сливками нетронутым. Никакие «кис-кисы», в трагической шепотности слышные даже на Подвальной, не помогли. Барс, гордость околотка, лауреат конкурса, духовный владелец серебряного вазона, идеал кошки с Липок, раритет, сиамец, Барс исчез.

Ночью по Рейтерской Мишка волочил мешок. Дойдя до церковного дворика, он оглянулся — прохожих не было. Тогда он принялся кирпичом утрамбовывать прыгавший мешок. Оттуда шло томительное мяуканье: жаловался и умирал сиамский кот, как все коты мира,— раздирающе. Мишка улыбался. Ему казалось, что это отвратительно мяукает не какая-то хвостатая, хотя бы и сиамская тварь, а душа самой Минны Карловны, поганая душа, которая просит пардона, бьется и гибнет. Он же, Мишка, плюет на нее, вот так, сквозь зубы, тонким плевочком.

Труп Барса утром нашли на паперти. Неделю спустя Абадия Ивенсон вручил безутешно рыдавшей

Минне Карловне чучело, не чучело,— шедевр. Преступник обнаружен не был. Хотя имелись некоторые подозрения, прямых улик не оказалось. Как-то Неховецкая, стоя у окна булочной, сказала Минне Карловне:

— Миленький мальчик. Поглядите, какие у него изящные руки!

Это Мишка нагло разглядывал имбирные пряники в витрине. Минна Карловна только вздохнула. Не одни кобели боялись Мишки.

Можно сказать, что минутами его даже папаша побаивался. Только Тема, тихий Тема, отзывался о брате пренебрежительно: «Трус». Он знал некоторые особенности Мишки: дрожь, неожиданное заикание, даже мелькание пяток. Напугать Мишку окриком или затрещиной было немыслимо — он распалялся, чуб твердел, руки рвались в бой, начиналась наглость. Но стоило ему натолкнуться на нечто спокойное, на неморгающий взгляд или на уверенную широту Темкиных плеч, как он сразу спадал с тона, смущался — девочка, и только,— причем изумительные руки приходили на выручку: так они — руки, ручки, бедные ручонки, смиренно складывались на груди: «я не играю», «я больше не буду», «прости». Это не было лицемерием: руки Мишки служили «за все». Очевидно, Мишкина субстанция, та самая душа, на которую хотела плюнуть Минна Карловна, далеко не отличалась твердостью и жесткостью его шевелюры.

Исторической датой его жизни можно назвать первый кутеж, кутеж поневоле в отдельном кабинете папашиного «Континенталя». Кутил приезжий, полтавский сахарозаводчик Гумилов с маклером по продаже домов Розенцвейгом и с думцем Ламановым. В блокноте папаши значилось: «Мадера-драй-2, Мумм — 3, Шабли 1898—4» (это не считая двух графинчиков к закуске). Ассортимент напитков уже давал себя знать, когда Гумилов, которому надоели еврейские анекдоты Розенцвейга о «Балте-Балте» и похабщина Ламанова, клявшегося, что в Бухаресте «мальчики этак раза в четыре дороже девочек», решил вступить в беседу с плешивым официантом:

— «Человек», ты к б... ходишь?

«Человек», то есть папаша, сообразив, что от него требуется, почтительно улыбнулся:

— По слабости природы унижаю себя. Прикажете на сладкое парфе или куп-сен-жак?

— Нет, ты мне скажи, почему это такое, ты к б... ходишь?

— Виноват,— как на исповеди вздохнул папаша.

— Женатый?

— Восемь лет — овдовел. Детишек оставила покойница.

Последнее папаша добавил, полагая, что раз беседа принимает столь интимный характер, упоминание о детках может размягчить сердце подвыпившего сахарозаводчика и тем увеличить чаевые.

— Детишки? Ха, у тебя, «человек», детишки? А ну-ка, подай нам сюда своих детишек! Мы их молочком угостим.

Папаша твердо знал: гость спрашивает, «человек» подает. Отказа быть не могло. Но никогда никакой клиент не спрашивал у него детишек. Парфе, мадеру-драй, наконец, девочек — все это в порядке вещей. Но детишек?.. Неприличие было явным. И все же нужно было подать: гости высшего качества, из тех, что в карте напитков, не глядя, тычут пальцем пониже, где значится самое дорогое.

Когда папаша, полчаса спустя, ввел Мишку, лучше бы сказать «подал», ибо чувствовал, что подает гостю с причудой блюдо хоть и невкусное, но редкое, на особый вкус, Гумилов успел уже заесть, запить, даже заспать (чуть вздремнул) свой разговор с официантом.

— Это что же?

— Изволили спросить детишек. Это сын мой.

— Сын?

Гумилов, напрягаясь, хотел что-то вспомнить, но не смог, его голова окончательно замлела, он только приказал дать мальчику бокал шампанского. Мишка залпом выпил и, вспомнив домашние повадки отца, понюхал корочку хлеба. Ламанов захохотал:

— Дурачок, это не водка! Это «Мумм». Экстра сэк. Хочешь еще?

Мишка выпил еще, и третий, четвертый. Глаза его остановились, стали круглыми, яркими, чрезвычайно похожими на стекляшки, которые употреблял для чучел Абадия Ивенсон. Лоб покрылся красной сыпью. Он был дик и достаточно страшен, но никто на него не глядел. Ламанов пил мараскин, рюмочку за рюмочкой, и, щелкая стеклянную пуговку на своем жилете, смеялся: видно, ему было весело с самим собой. Розенцвейг в этой переделке пострадал, он был патетически

бледен, на кончике длинного носа накоплялись крупные капли пота. Время от времени он порывисто вскакивал и несся в угол, к плевательнице, но все же не поспевал. В кабинете начинало попахивать. А сахарозаводчик все пытался вспомнить: почему он затребовал детишек? О чем это он давеча говорил? Вспомнив наконец, как будто и не было часового перерыва, он тупо повторил все тот же вопрос:

— Почему ты к ним ходишь, человек?

Ответа не последовало. Как папаша теперь ни силился, он не мог ничего придумать и решил ограничиться улыбочкой. Гумилов, однако, не удовлетворился.

— А скажи мне, человек, какие они, жареные или маринованные?

Папаша явно плошал и терялся. Он не только молчал, его знаменитая улыбка становилась все более и более жалостливой. Хотя на нем имелась торжественная манишка, казалось, он с каждой минутой вянет.

Доконал его последний вопрос:

— А что ж, у тебя ребятишки тоже от б...?

Здесь из-под груди «человека», которая определенно существовала, хоть и блиндированная манишкой, из-под впалой груди, покрытой косицами волос, раздалось подозрительное хмыканье. Весьма возможно, что минуту спустя папаша и оправился бы, вспомнил свои профессиональные обязанности и предложил бы любознательному Гумилову — «еще кофейку-с». Но в дело вмешались, для всех совершенно неожиданно, Мишкины руки. Они рванулись вперед и, схватив с пирамидчатой вазы большую, сочную, изнемогавшую от спелости и от сладости грушу, швырнули ее в наивно осклабленную физиономию сахарозаводчика. Произошло общее смятение. Папашин визг, визг потерпевшего, который вскочил и, тотчас упав на задний диванчик, скатертью утирал щеки, залитые соком дюшеса, смех Ламанова и методические звуки несчастного Розенцвейга, в углу над плевательницей,— все это шло под аккомпанемент разбиваемых стаканов и падающих стульев. Только Мишка был спокоен, над катаклизмом высился его чуб. Он важно прошел к креслу, где до инцидента с грушей восседал Гумилов, небрежно развалился и гаркнул прямо в лицо смущенного кутилы:

— Эй, «человек»,— теперь ты у меня «человеком» будешь! Подай «кофейку-с»! Понял? И еще отвечай, брехун цыплячий, у тебя, между прочим, супруга или сука? Скорей всего сука...

Дома папаша долго и нудно порол Мишку. Порка была обоснованной, и Мишка молчал. В этот день все ему казалось простым и серьезным: дождаться «случая», спихнуть вот такого и самому сесть на его место, чтобы все «человеки», чтобы все метрдотели, чтобы все управляющие мира пели бы хором: «Кофейку-с». Папаша никак не подозревал об этих фантазиях. Он думал, что мальчишка вступился за честь покойницы. Поэтому ему было стыдно пороть Мишку. Но что же делать? Надо приучать мальца быть почтительным с гостями, чувствовать дистанцию. И все же папаше было стыдно. Он порол молча. Молчал и Мишка, думая о своем, совсем не о матери с ее мелодичной икотушкой, но о коленопреклоненных управляющих. Потом оба легли. Но Мишка не мог уснуть. Под утро папаша проснулся от нежнейшего прикосновения: над ним стоял Мишка и слабенькой ручкой ласково гладил его тощие щеки.

— Папаша, какой же вы глупенький! Ведь у того, что блевал, из кармана торчал бумажник. Толстющий. Наверное, все сотенные. Вот бы нам!.. Не им же оставлять. Свиньям таким: весь кабинет запакостили. А вы, папаша, как ребеночек, ничего не понимаете...

Папаша со сна долго не мог разобраться, что это вздумалось Мишке. Поняв же наконец суть его сетований, он сокрушенно вздохнул, не поленился, хоть и был смертельно усталый, встал. Мишка был выпорот вторично. Мишка молчал, злобно на этот раз молчал. Портной Примятин был прав: если не вверх, то лучше уж наземь...

«КАРМЕН» В ОПЕРЕ И «КАРМЕН» В ДАРНИЦЕ

Всякое детство душно. Не в нежные ли годы плотнее всего облепляет слабое человеческое естество костенеющая скорлупа быта? Но есть духота теплая, духота материнского тела, телесной животной теплоты, идущей от свежеполитых огуречных грядок, духота кладовок со всяким занятным скарбом, буфетов с шепталой, духота саше в белье, дядюшкиных шуб, яичного мыла, левкоев, слез. Мишкино детство было душным по-иному: терпкой, жесткой духотой — детство мно-

гих, достаточно обычное детство, наперекор вывеске игрушечного магазина, отнюдь не «золотое», даже не золоченое, откровенно оловянное, «третий сорт».

В прогимназии, отзубрив проценты, перешли к учету векселей. «Случаев» же не было, и хоть странно это, но правда: необыкновеннейший случай, приключившийся в тот год со всем человечеством — война,— Мишке показался мелким, не достойным внимания, ничтожней любого уличного скандала. Война? Что она меняла в его жизни? В прогимназии отслужили молебен. Иные из сверстников Мишки, толкаясь у старенькой карты, висевшей в актовом зале, брали австрийские крепости. Это ли «случай»? Наводнение и то интересней. Жизнь оставалась неизменной, и быстро навстречу Мишке, вместо неслучающегося «случая», неслась третьесортная карьера мальчика на побегушках. Тема волнуется? Читает газеты? Но Тема — баран. Мишке плевать на войну.

В ту зиму, первую зиму войны, его взволновало совсем другое, с виду зауряднейшее событие: он раздобыл билет в оперу. Давали «Кармен». Мишка сидел аккуратно, и, наблюдая за ним со стороны, можно было подумать, что он порядком скучает. Только в конце, когда раздались жиденькие хлопочки, приличия ради, тех, что боятся утрудить ладоши, но все же жалеют актеров, Мишкины руки перелетели через бархатный барьер. Они не аплодировали, нет, они рвались к сцене, где за линялым занавесом остался чудесный хлам, скалы, контрабандисты.

Ночью Тема проснулся от непонятных звуков. Как будто кто-то мычал по-телячьи. Звуки шли от Мишкиной кровати. Странно: Мишка не плакал никогда, он, кажется, и не умел плакать.

— Ты это что? Зубы болят?

— Ах, Тема!..

И Мишка выпростал тонкие руки. Нелепо стал он рассказывать заспанному брату о каких-то скалах, о темных страстях, где рядом роза в зубах и нож. Тема отчаянно зевал.

— Глупости это. И как тебя может интересовать подобная ерунда? Ты только подумай: война. Я вот весной обязательно убегу на фронт.

— Да нет же! Конечно, театр ерунда. Ты думаешь, я не вижу, что это все нарочно? Вот та, что Кармен представляла, совсем старуха. Морда у нее

вся в краске. Разве в этом дело? Но папаша — «кофейку-с». Ты — в конторе. Я — через месяц в «Континенталь», это же скучища! Зевай, дурак, мало зеваешь! А есть жизнь. Иначе нельзя такое придумать. Пусть в Испании. Тогда нужно туда бежать, а не на твой дурацкий фронт. Что я, солдат не видел? Портянок? Понимаешь, чтобы с розой в зубах и на смерть. Вот, как поет «а-а-я»...

И, вскочив на кровать, в больших латаных кальсонах, с хвостиками тесемок, Мишка все тщился передать своим ломающимся, то хриплым, то мяукающим, голоском какую-то одну ноту, из-за которой вот он, никогда не плакавший, взял и замычал в подушку. Ничего из этого, разумеется, не вышло.

— Да замолчи ты! Спать хочется.

Одиночество, Мишка уже знает тебя! Ты — тесный, стеклянный аквариум. От той ноты можно умереть. Где-то живут люди взаправду. Этого никто не поймет. Темка хочет спать, а потом на фронт. В газетах война. Испания далеко. Деньги... Кто же ему даст деньги? Вздор! А если стянуть — изобьют, и в Лукьяновку. Через два месяца «Континенталь» — на побегушках. Звуки выдуманы. Мишка несчастен. Мишка очень страдает. Он даже поплакать не умеет, мычит, несносно, отвратительно мычит, а тонкие ручки рвут жесткий войлок одеяла.

Снова шли дни. Кончилось наконец образование. В прогимназии знали, как говорил папаша, «дистанцию». Учили настолько, чтобы уметь подсчитать «приход — расход» и без конфуза составить письмецо «М. Г., с совершенным почтением». Не переучивали, памятуя, что знание для многих поприщ только минус.

А «случая» все не было. Мишка перекочевал в «Континенталь» к телефону — соединял центральную с комнатами. Дышал он теперь вслух, причем эти вздохи принимали круглую форму: «алло». Особенно важным френчам, возвращавшимся под утро из бара с мигренью, приходилось передавать телефонограммы. Часто от текста их мигрень возрастала, а руки смешно подпрыгивали, как безголовые куры. Например, приказ: на позиции. Это было единственной радостью Мишки. Он вдруг становился властителем важных и наглых людей, еще час тому назад ливших шампанское за корсаж певичек. Это он отдавал приказ. Разве не значилось внизу листка, к которому прилипали

трезвеющие с перепугу зрачки: «Принял Михаил Лыков»? Имя Мишки въедалось в рыхлый мозг френча, и Мишка торжествовал.

Потом появились некоторые новые развлечения: он стал с любопытством разглядывать фотографии голых дамочек, выставленные в витрине парфюмерного магазина на углу Александровской. Он начинал понимать, что эти мясистые шары живы какой-то второй жизнью. Сотни различных ругательств, знакомые ему с младенчества, зазвучали теперь по-другому, ожили, обросли теплым мясом. Все это было далеко не радостным, скорее напоминая назойливый экзамен, от которого нельзя улизнуть.

Особенно выразительно он почувствовал это в то утро, когда настоятельно просили кого-нибудь к аппарату из комнаты двести четыре. Двести четвертая не отвечала. Мишка пошел, постучался. Ему показалось, что ответили «войдите». Он приоткрыл ленивую мягкую дверь. Тогда он увидал впервые то весьма простое и все же потрясающее, что было нарисовано в уборной «Континенталя» с похабной припиской внизу. Конечно, он знал, что так, именно так и бывает. Но одно дело картинки или на переменах в прогимназии теоретические шепоты наиболее предприимчивых второклассников, другое реальность: одышка, брянчащая глупо шпора и светло-розовая — цвета зари или ветчины — прогалина повыше чулка.

День прошел, огромный, тифозный день. Цифры плясали, липли друг к другу, слипались в одно. Это «одно» было противно-розовым, как резина, прекрасным, нет, не противным и не прекрасным: очень нужным, прямо необходимым. К вечеру Мишка понял, почему Кармен так пела. Теперь и у него в горле барахтались эти звуки: они шли снизу. Дело, оказывается, не в розе.

Начались сны, полусны, метания, переворачивания с боку на бок, фантазии, где соединялись различные «любия» — сластолюбие, честолюбие, самолюбие: как та из двести четвертой. Но не одну — всех, притом самых шикарных. Теперь он оставил френчи в покое, зато каждую даму, входившую в гостиницу, сопровождал глазами. Чем важней, чем дороже берет номер, тем лучше. Не раздевать, не целовать. Ему нужен только факт. Сознание: и эта! Миллионы. Они лежат, он проходит мимо. Считает. Они просят: «Остановись!» Он хохочет. Он плюет, плюет по старому рецепту поганой булочницы, «на душу».

Так вот о чем пела Кармен! Или нет? Не об этом? Должно быть, другое. Ведь это же гадость, это то, что рисуют в клозетах, об этом и рассказать по-хорошему нельзя, только выругаться. Слова как отрыжка. Но это нужно. Нужно, вроде как есть или спать. Есть и спать скучно. Тогда о чем же те ноты?

Мишка готов был направиться к девочкам. Имелся адрес, имелась и отложенная для этого трешница. Он не направился. Явиться мальчишкой с улицы, теряясь, торгуясь (еще, пожалуй, денег не хватит), нет, он должен быть повелителем. Лучше уж тогда в монахи или оскопить себя, как румын с Фундуклеевской, у которого Мишка покупает фиксатуар для смягчения чуба. Лучше не жить. Жить можно только со шпорой, шпорой впиваясь в душу, в розовый клок. Для этого нужен «случай», все тот же проклятый «случай».

«Случай», о котором мечтал Мишка, не пришел. Ни одна из останавливавшихся в гостинице дам не упала перед ним на колени. Но в июльский душный день, когда от жестокого зноя шло жужжание в ушах и болели глаза, пришел к нему случай, не пришел — подвернулся, случай совсем другой породы, маленький, паршивый, случай, каких много везде и повсюду, не катастрофа, а оказия.

Случилось это под Киевом — в Дарнице, куда Мишка забрел (был у него выходной день) от зноя и скуки. Солдатка простая, хорошая, что называется, честная баба.

В те годы — шла ведь третий год война — произошло известное упрощение, оголение процессов. Нота из «Кармен», обычно необходимая в обиходе, как салфетка, стала явным излишеством. Мужчины и женщины оказались территориально разделенными. В итоге этого перемещения некоторые чувства, как, например, «любовь», остались вовсе без местожительства, если не считать за таковое бумажные и духовные оболочки писем с обещаниями «вечной верности». О выборе часто не могло быть речи, и разнообразие карточек, соответствующих «Континенталевской», заменилось однородностью, плотностью, эпичностью ржаного хлеба. Если все это верно даже по отношению к посетителям городской оперы, то тем паче применимо к крепкой телесной глыбе женского пола, лишенной необходимых ощущений вследствие, скажем по-плакатному, «хищничества империалистов», — к той глыбе, на которую натолкнулся наш герой.

В избе, среди картофельной кожуры и утиного помета, стояло множество кринок с молоком. Молоко в жару томилось и кисло, распространяя острый запах,— так пахнут новорожденные щенята. Так пахла и баба. Мишку мутило. Но он в ту минуту мало о чем думал. Все соображения о роли властителя спасовали перед клейкостью и близостью соответствующих форм. Его руки, толковые звериным чутьем, оказались превосходными проводниками. Что касается бабы, то отроческое волнение этого «случая», то есть с неба, с знойного белесого неба упавшего кавалера, даже льстило ей. Конечно, сама она, еще никак не раздраз-ненная, сохраняла полное спокойствие и еле удерживала вызванную истомой и духотой зевоту. Дело кончилось бы, наверное, к общему удовольствию, если бы не произошел внезапный разряд. Руки Мишки резко рванулись вперед. Чуть позевывая, баба лениво спросила: «Сиськи хочешь?»

Так же, как говорила она, прикармливая грудью своего Гришку: «Сиську хочешь?» — просто, по-хозяйски. Эффект был необычаен. Мишка отдернул руку и вскочил. Это был явный подлог. Последняя его ставка, ставка на странные, утробные, до слез пронзительные звуки, ставка на розу в зубах Кармен оказалась битой какой-то «сиськой», похожей на соску, гнуснейшей вещью из обихода. Снова его охватывал быт, ватный, меж двумя рамами, засиженный быт. Мишка воспринимал это как заговор против него. Он вдруг возненавидел лениво усмехающуюся бабу. Он повалил ее на пол и стал бить, тупо, долго бить, топтать сапогами. Баба не отбивалась. Понимая совсем иначе язык побоев, она даже приятно раскраснелась.

— Молоденький, а как мужик...

Потом Мишке надоело. Перед застекленевшими в недоумении глазищами бабы он метнулся к двери. Выходя, однако, он остановился: пожалуй, подумает, что он мальчишка и ни на что не способен. Нужно прикончить. И с этим «нужно» школьных уроков, он тяжело упал на истоптанное, никак не милое тело, чтобы пять минут спустя, задыхаясь от кислоты молочного духа, с тошнотой и тоской выбежать вон, чтобы бежать под ожесточенным солнцем, по пескам, увязая в них, в сухих, злых песках.

Что делать дальше? Мычать на манер слез? Глупо. «Алло»? Номера? Михаил,— да, Мишка уже Михаил,

он не ребенок, он взрослый,— Михаил должен жить. В этот час на сухих, разожженных песках его карие глаза действительно печальны, их печаль не имеет выхода, она — мираж, она — просто красящий пигмент, руки же валятся вниз: бить или ластиться — дело другое, но жить они, кажется, вовсе не могут.

РЕВОЛЮЦИЯ ВООБЩЕ И РЕВОЛЮЦИЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К МИХАИЛУ

Мы не станем перечислять ни тех борделей, куда ходил умеривший свою тоску Михаил, ни тех, растравлявших сны, книжек, мелких проигрышей, опрокинутых рюмок, понижений или повышений по службе, которые составляли его жизнь в течение двух последних лет. Он рос, но не определялся, ботанически не зацветал, так что не могло быть и намека на последующие плоды. Что бы стало с этим юношей из телефонной будки «Континенталь», порой замечаемым, вследствие музейности его рук, что бы с ним стало, не случись «того»? Выравнялся бы он, папаше на удовольствие, в тонного метрдотеля или все завершилось бы первым неосторожно торчащим из бокового кармана кожаным бумажником? Праздные вопросы. То, что случилось, разве могло оно не случиться?

Конечно, об этом никто не думал. Процесс размышлений при подобных обстоятельствах играет весьма малую роль. Разве думала баба, в хвосте у булочной, у обыкновенной булочной на Петроградской стороне, под золотым выборгским кренделем, разве она думала, первая баба, с досады завопившая: «Ироды, хлеба!», что «иродами» открывает величайшую эпоху? Конечно же нет, она вовсе не думала, она кричала, она не снисходила до раздумий, она и не смела думать, как тот солдат-волынец, первый солдат, который, переменив направление дула, как будто повернул ветер, выстрелил не в бабу, визжавшую под золотым кренделем «иродов», а в звезды погон. Он тоже не думал, он стрелял.

Она вышла из этих криков, визга, разрозненных залпов, из толкотни и прятания в подворотни, из тысячи мелких нелепостей, достойных только хроники происшествий, вышла огромная и неожиданная, чтобы

расти, чтобы перерасти нежность одних, ненависть других и стать достоверностью, сплошной, простейшей, как воздух, нас окружающий, или как смерть.

Она сразу стала личным, семейным, хозяйским делом всех и каждого. К этому оказались причастны все: и незвонивший телефон «Континенталя» — онемел, и пропавшее хотя бы на день парфе, так как поваренок, которому надлежало вертеть мороженицу, демонстрировал «против аннексий и контрибуций», а френчи не то козыряли, не то отплевывались, и контора, где Артем Лыков вместо недельных счетов за электричество изучал Брокгауза на «п» — сразу проглатывая «прибавочную стоимость», «пролетариат» и «пропорциональное представительство». Михаил? Почему не Михаил герой ее? Разве он не шлялся по Крещатику, приятельски улыбаясь «ветеранам каторги» и возмущаясь знаменитым «ножом в спину» цензовых элементов? Можно сказать, что даже папаша, с опаской улыбнувшийся если не непосредственно демонстрантам, то воздуху, наполненному осколками песен и криков, даже этот «человек», битый не раз лакей, «якей», как говорили снобы, был в ней своим человеком.

Революция! Как не приветствовать всего ее милосердия, рассказывая историю жизни темной и тяжелой! Забудем на час различные социальные проблемы, забудем о том, что полукрепостной мужичок, на радость нашим народолюбам, продолжавший и в студенческих песнях, и вне песен «стонать», должен был стать фермером, а трехполье смениться многопольем. Не станем сейчас измерять, какое политическое значение уже приобрел захват политической власти новым классом. Ограничимся восхвалением милосердия той, которую даже ее кровные дети (впрочем, не без ласковой усмешки) зовут «жестокой». На следующий день после происшедшего сдвига, не на определении сравнительной ценности различных пластов, ценности для хозяйственной или научной эксплуатации, хотим мы остановиться, но на благословении самому процессу. Страшен отстоявшийся быт, и, если бы не эти время от времени находящие катаклизмы, человек давно превратился бы в свою собственную визитную карточку. Один воздух, тот, в котором «висел топор», воздух флигелей и казарм, замоскворецких покоев и петербургских канцелярий, сколько он весил, махорочный, портяночный, сивушный? А ризы? А блины? А тулупы и еноты шуб?

А шуточки «Будильника» или «Стрекозы»? А доморощенная философия поразительного избранничества страны, весь пафос которой якобы состоял в умелом подставлении морды, лоснящейся от лампадного масла и от испарины ста самоваров, под кнутовище? Вентиляция являлась необходимостью. Конечно, скептики усмехнутся: надышат. Но это ли довод против вентилятора? Вспомним: буря была живительной и прекрасной. Вместо подведения итогов лучше вновь переживем первый глоток весеннего воздуха, те времена, когда папаша, забыв о судках, младенчески улыбался, присоединяясь к Артему, еще раз заглянем в словарь, что это такое «пролетариат», и вместе с нашим героем, который уже бродит, смеется, негодует среди этого самого пролетариата, вместе с ним прокричим, как тогда: «Да здравствует революция!»

Впервые два брата, снятые великим переполохом со своих жизненных постов, сошлись, даже подружились. Это было прежде всего общностью занятий, если только можно назвать таковыми гудение на митингах, ночные дежурства у подъездов и даже организацию особой полумайнридовской дружины «защиты революции». Может быть, сближало их также ощущение, что на эти празднества они оба пришли из той же земли, тесной, как стеклянная банка, земли манишек и «кофейку-с». Неунывавший папаша ежедневно напоминал им о реальности этой земли. Какие бы телеграммы ни слал «всем-всем» исполком Демиевского района, папаша неизменно сервировал свои «тимбали» спекулянтам, оправившимся после первого испуга.

Сближение братьев не было длительным. Шла дифференциация толп и людей. Надо было примкнуть к какой-либо партии. Артем нашел свою сразу, скорее чутьем, нежели разумом: никакими политическими познаниями он не обладал. Зато у него имелось шестое чувство: немедленная и точная отдача коллективных восприятий, как будто его сердце являлось не самостоятельным органом, но частицей огромного группового сердца, частицей, во всем подчиненной общему ритму. Он со всеми ошибался и со всеми торжествовал. За это его Михаил и прозвал «бараном». Не вмешиваясь в спор между братьями, заметим, однако, что шестое чувство Артема — завидное чувство: жизнь с ним ясна и действенна, смерть легка. Это чувство помогло Артему, еще в летние месяцы всеобщего разброда, когда,

изнемогая от высот Реомюра и от высот слога, члены комитетов или съездов неуверенно подымали руки сразу за две, за три исключающие одна другую резолюции, найти свою партию. Пусть Крещатик еще растерянно верещал, покупая открытки и Керенского и Ленина, восторженно приветствуя французского атташе, кончившего завтракать в «Континентале», пением «Интернационала». Печерск, Демиевка, Подол из подвалов, из коечных домов уже выделяли самых непримиримых: Артем стал, разумеется, большевиком. Он не был сколочен для митингов-концертов, где после душки, грациозно сочетавшего социализм (конечно, в грядущем) с платочком, обрызганным «Ориганом», выступала все та же оперная примадонна, поразившая как-то Мишку-меломана. Он искал дело и нашел его. В казармах, где маршевые роты перед отправкой на фронт смутно ворчали, в хвостах, где страстно обсуждали вопрос о подорожании на гривенник сахара, в трущобах Подола, где старики опасались погрома, а молодежь проводила дни исключительно в мировом масштабе, охраняя турок от хитрого Милюкова, всюду, где хотели, но еще не знали толком, чего именно хотят, появлялся Артем, с точным перечнем лозунгов, одобренных губкомом.

Михаила там не было, Михаил кочевал. Не узнав счастья подлинной и внезапной любви, он пережил всю мучительность мимолетных связей. Три года назад, прельщенный розой в зубах Кармен, он, понятное дело, теперь прежде всего прельстился эсерами. Ведь революция только встряхнула, проветрила его, переделать его нутро она не могла. Его прежние фантазии, очищенные от корысти, оставались фантазиями одинокого и обособленного юнца. Испания оставалась Испанией, хотя и подававшейся теперь под доморощенным псевдонимом «земли и воли». Эсеры красиво изъяснялись, и Мишка, когда-то молившийся на таинственный шатобриан-бэарнез, замирал от политических трелей всех присяжных поверенных словоохотливого города. Кроме того, здесь были перспективы выделиться, добиться славы. Кокетливые барышни, покупавшие в магазине Альшванга красные банты и липнувшие взволнованными грудями к пыльной дверце автомобиля, в котором сидел один из присяжных поверенных, не лучше и не хуже других, просто человек, нашедший свой

«случай»,—это было улучшенной разновидностью старых снов Мишки в телефонной будке. Итак, Михаил стал эсером. Он вошел в эту партию, напоминавшую грандиозный митинг-концерт. Братья разделились. Происходили перебранки, ссоры, по программе, хорошо знакомой в то лето и в ту осень всем российским семьям. Усталые от собраний, дома они ограничивались несложной аргументацией «пломбированного вагона» и «наемников Антанты», подкрепляемой обидными словечками из семейного обихода.

Артем твердо стоял на своем. Нельзя того сказать о Михаиле. Ему нравился эсеровский тембр, слова же, поскольку он стал в них разбираться, скорее злили его. Это были зачастую пословицы, произносимые патетично, с дрожью, как прозрения. Его раздражало неизменное запаздывание. Еще барышни липли к автомобилю, но Михаил уже чувствовал вялость последних дней ярмарки. Центр, пока невидимый, явно переместился с Крещатика на окраины, и, думая об этом, Михаил чувствовал, что ненавидит брата. Неужели этот баран оказался находчивей его? Что теперь делать Михаилу? Отправиться на фронт, на старый, трехлетний фронт, противно ноющий, как запущенная опухоль? Нет, ни за что! Протест рождался не от страха, а от скуки: фронт лежал где-то вне революции. Никакие красные значки на штыках «ударников» не могли этого изменить. Тогда оставалось стоять в стороне и ждать, ждать, что придумают другие, хотя бы тот же Артем. Достаточно унизительное положение! «Вы — эсер» звучало так же, как «вы — тумба» или в лучшем случае «вы — житель». История с дарницкой бабой повторялась. Уйти к большевикам? Как будто нужно уйти именно к ним, жизнь там, ничего другого не остается. Но это невозможно. Прежде всего из-за Артема; он усмехнется: «А что же «пломбированный»?..» Но черт с ним, с Артемом! Можно окончательно разругаться. Можно, наконец, уехать куда-нибудь, хотя бы в Москву. Была другая остановка, серьезней Артема. Михаилу не раз приходилось сталкиваться на митингах с еще немногочисленными доктябрьскими большевиками. Таким образом, он увидел эту партию в ее густом растворе первых лет революции. Он чувствовал, что большевизм требует большего, нежели принятия пунктов программы: люди были другими. И Михаил в душе побаивался большевиков. Он терялся

перед их прямотой и оголенностью, как терялся когда-то Мишка перед широкими плечами Темы. В их партию нельзя было заглянуть, зайти проходя, как на митинг. Самое понятие «дисциплины» оскорбляло его. Оно пахло масляной краской гимназических сборных, чадило, как душная лампа казармы. Михаил ходил потерянный. Если бы это практиковалось, он, пожалуй, снес бы в газету объявление: «Ищу партию по себе». Тщетно заходил он на последние митинги, где нехотя второстепенные ораторы еще повторяли опостылевшие всем помпезные фразы. Убеждения не находились.

Наконец он решился. Для объяснения был выбран некто «товарищ Егор», заходивший изредка к Артему, бывший наборщик, не только отравленный свинцом и задыхавшийся от приступов профессионального кашля, но как будто весь присыпанный металлической пудрой. Говорил он с исключительной методичностью, то набирая слова, то раскладывая их по отделениям кассы. Биография его, вне партийной работы, была абсолютно краткой: родился в таком-то году. Это порождало особую преданность, которую знало только большевистское подполье с его аскетическими нравами.

— Мне нужно поговорить с вами, товарищ.

Происходило это ночью на Безаковской, возле вокзала. Пустыри пропускали острый сквозняк, и дрожь Михаила, ребяческую экзаменационную дрожь, можно было отнести за счет температуры. Несмотря на поздний час, улица была наполнена топотом: шли солдаты с фронта. Эти знали дорогу; на короткий срок их шкурное «домой» и героическое революции «вперед» указывали одно и то же направление.

— Что скажете?

Действительно, что скажет Михаил? Кратко: хочу к вам в партию? Пространно: о своей неудачной любви к эсерам? Нет, он выбрал самое неожиданное. Весь пропитавшийся декламацией ораторов, которую он сам так возненавидел, сконфуженный и от сконфуженности наглый, Михаил произнес митинговую речь. Он выбирал самые торжественные слова, как будто его слушал не товарищ Егор, но все эти солдаты, кряхтя, с узелочками, спешившие домой. Припомнив выступления заезжих эсеров, он привел несколько наиболее театральных аргументов, обличавших, что ли, «материалистическую душу» большевизма. Это являлось введением. Но все же есть правда, вернее, доля правды

и у большевиков. Словом, он согласен стать выше высказанных сомнений и примкнуть к ним. Последнее было сказано с такой торжественностью, как будто речь шла по меньшей мере о присоединении целого народа. Михаил сам чувствовал всю неуместность своих слов, неуместность, которую подчеркивали хлюпающие по лужам рваные калоши и его, Егора, спина, согнутая в виде вопросительного знака.

Свинцовый человек с трудом опомнился. Это ночное словоизвержение, среди пустырей, показалось ему тяжелым сном, карикатурой на тот период революции, когда вся Россия говорила, говорила днем и ночью, мешая в одно восторженные слюнки о «святости бескровной» и матерщину, когда руки казались созданными исключительно для голосований, а городские тумбы поставленными для ораторов. Он с подлинным ужасом поглядывал на говорившего. Кто этот?.. Зачем?.. Но так как подобные вопросы казались Егору праздным занятием, он быстро перевел себя на практический путь. Болван? Что же, теперь, когда предстоит орудовать главным образом числом винтовок, и болваны пригодятся. Поэтому; не вступая в пререкания с Михаилом, товарищ Егор ответил кратко: пусть обратится в райком. Спросить такого-то. С пяти до семи. Михаил остановился у светлого выреза окошка, записал чье-то чужое жесткое имя, поблагодарил.

Михаил остался один. Он мог бы радоваться: так или иначе, экзамен сдан, вход в эту железную партию найден. Завтра с пяти до семи... Но не тут-то было. Товарищ Егор уже, наверное, успел позабыть о неприятном болтуне, а Михаил, все еще стоя у светлого окошка, заново переживал свое объяснение. Его не поняли. Его боль, отчаяние, наконец, особые мысли спокойно зарегистрировали. Партия живет своей жизнью, жизнью хорошо налаженной. Можно войти, но обязательно через двери, подчиняясь распорядку, без сцен. Хотя товарищ Егор отвечал лаконично, Михаил хорошо понял язык его металлических глаз. Урок был дан. Самое большое, на что он может рассчитывать, это на безразличие: не будут замечать особенности и обособленности. То, что он — Михаил, непохожий на Тему, на всех Тем мира, до поры до времени ему прощают, и предложат скучнейшее дело: например, расклеивать на заборах воззвания. Член номер такой-то. Здесь даже не могло быть «случая», эффектного

жеста, подвига, героизма, автомобиля, кокетливых барышень — ничего. Сухая победа, похожая на топот вот этих солдатских сапог, когда лиц не видно, только ноги, сумма ног, масса...

Думая так, Михаил курил папиросу за папиросой, и раздумья его были прерваны одним из топотавших землячков с традиционным паролем тех бесспичечных лет: «Прикурить разрешите». Михаил вдруг в бешенстве отвел руку с папиросой.

— А ты большевик?

— Если касательно замирения — оно конечно...

— «Оно конечно!» Шкура! Видишь, что это?

Михаил вертел перед глазами перепуганного землячка клочок бумажки, на котором было записано имя секретаря райкома.

— Думаешь, на цигарки? Здесь вся твоя партия. А я ее к черту!

В полном беспамятстве Михаил рвал бумажку на мельчайшие доли и клочочки швырял в лицо солдату:

— Нет твоей партии! Вышла! А мне... А мне наплевать... Извозчик!..

В голосе Михаила уже звучали отчаянные ноты. Крик начинал сбиваться на знакомое Артему по одной ночи мычание. Все это было столь подлинно, столь томительно, среди пустырей и тьмы, сырой гуттаперчевой тьмы, что, когда товарищ окликнул солдата, каменевшего с нелепо вытянутой вперед, так и не закуренной, козьей ножкой: «Пьяный, что ли?» — тот угрюмо отозвался:

— Какое там!.. Просто осатанел человек.

А Михаил в это время уже трясся на паршивой пролетке, с клочками соломы, торчащими из сиденья. В паштетную! Имелись, на счастье, две керенки. Он хотел одного: напиться, напиться скорее, чтобы голова стала легкой, стеклянной, плавая, как поплавок среди масляного дыма.

И Михаил напился. В мокром чаду, среди бугорчатых, прыщавых, поверх прыщей напудренных морд, среди холодных, сальных котлет, полный сивушного духа и горя, он сидел и ненавидел. Он ненавидел Тему, сразу пришедшегося к месту, как пуговица к пиджаку. Ведь это же «случай»! Ненавидел свинцового человека, для которого все просто и ясно: не жизнь, а набор. Но больше всего он ненавидел революцию. Разве он мало любил ее? Мало ей радовался? А она,

проклятая, отталкивает его, берет Артема, тысячи Артемов, их голубит, его же, Михаила, отталкивает. За что? За то, что он не такой, как другие, козел, упрямый козел среди стада баранов? Что же, тогда Михаил плюнет. Просто плюнет, как на эту котлету. Он пройдет мимо нее. Он станет путешественником. Уедет в Тибет. Он начнет писать романы, потрясающие романы, от которых заплачут все эти пудреные морды. Его все оценят. Тогда и революция пожалеет, поймет, кого она упустила. Тем хуже для нее. Он презирает революцию. Он не замечает ее. Еще бутылку!

— Долой революцию!

Это вопил Михаил. Официант осторожно отодвинул посуду. Сальные пятна котлет уплыли. Он поступил резонно — в углу уже шел гам: «провокатор».

— Закрой глотку!

Михаил, войдя в раж, орал. Тогда какой-то субъект, с шелковистой, каракулевой шевелюрой, проведший здесь также время не даром, хоть в трезвом виде считавший себя врагом насилия и толстовцем, все же приложился к Михаилу. Подоспели другие. Исключительные томления Михаила завершились жалкой потасовкой по пьяному делу, с неизбежной руганью и кровью из носу, одной из банальнейших потасовок, происходящих в нашей стране, независимо от запрещения крепких напитков или политических переворотов, когда кулаки обязательно выражают сложнейшие душевные переживания, а душа, согласно выражению «просясь вон из тела», предается физиологическим функциям.

ГЕРОЙ УХОДИТ ОТ РЕВОЛЮЦИИ. РЕВОЛЮЦИЯ ПРИХОДИТ К ГЕРОЮ

Революция, разумеется, продолжалась, но наш герой делал вид, что не замечает ее. Он не читал газет. Завидев на углу улицы кучку встревоженно гудевших обывателей, он обходил ее, как лужу. Он брезгливо морщился, когда громадные буквы стенных воззваний врывались в его зрачки. Он убеждал себя, что жизнь прекрасна и вне революции. Разве не был прекрасен и в ту осень, как во все прочие осени, Киев, полный неожиданной голубизны в просветах горбатых улиц,

а по ночам звездных плошек и теплого запаха гниющих листьев? Это было чудачеством, сентиментальным бредом: среди людей, оголтелых от ежечасного ожидания: «выступят?» или «выступим?» (смотря по кварталу), от очередей, забастовок, дежурств, слухов, любоваться небом или Днепром. Михаил был горд собой. Ему казалось, что он выше, умнее других. Изредка только прорывалась обида ребенка, не взятого на праздничные гулянья, но он быстро справлялся с ней.

Он даже направился к некоей Шурочке, с которой познакомился перед самой революцией. Тогда он не успел довести дело до конца: Шурочка была осмотрительной и, несмотря на задушевность Мишкиных глаз, упорствовала, заводя разговоры о тяжести жизни, о преимуществах замужества и о прочем, скорее деловом, нежели романтическом. Среди вершин «земли и воли» шейка Шурочки была, понятно, забыта. Она нашлась теперь при перетряхивании воспоминаний, в жажде найти жизнь как таковую, помимо событий. Эта тоненькая шейка, чуть тронутая веснушками так, что они казались игрой солнца на пушке, великолепно гармонировала бы с изучением осеннего неба. Разыскав Шурочку, Михаил попытался убедить ее в этом. Он жаждал не столько припухлых губок, сколько понимания. Он сделал широкий жест, отгоняя Шурочкины вопросы: «Вы какой партии?», «Правда ли, что Керенский жид?», «Скоро ли подпишут мир?» — никак не вязавшиеся с буколичностью шейки. Он попробовал передать ей радость отъединения, холодок ночных прогулок, постоянный язык дождя. Шурочка скромно зевала, угощала Михаила купленными по случаю помадками, сгоняла с шейки липких сентябрьских мух и никак не подымалась на необходимые высоты. Михаил только через час (да, потеряв битый час среди приторных помадок и мух!) узнал причину ее холода. Оказалось, что Шурочку, пренебрегая проблемой брака, успел заговорить какой-то приказчик, брюнет и анархист, заняв, таким образом, место Михаила. Даже помадки предназначались для него и были выданы Михаилу исключительно в порядке гостеприимства. Оставалось саркастически усмехнуться и уйти.

Среди философских вопросов появились и житейские. В одно утро не оказалось ни денег, ни службы. Родительские чувства папаши и доверие приятелей были превзойдены дороговизной жизни. Дело, вернее,

дельце подвернулось само собой, пожалуй, не вполне чистое, но обстоятельства исключали брезгливость. Товарищ Михаила по «Континенталю» Сладков привез из Крыма табак. Хотя в общей суматохе людям было не до акцизного инспектора, да и акцизному (если он тогда существовал еще по инерции) не до табаку, все же в магазинах товар взять отказались. Михаилу за комиссионные пришлось обходить различные трущобы, где среди тряпья, оладьев, угара приготовлялись так называемые «рассыпные». Эти прогулки никак не допускали раздумий. Из темных коробочек дворов, где легче погибнуть, нежели найти дверь, на которой намазан номер квартиры, из этих квартир, заполненных слезящимися котятами, сохнущим бельем, пинками и подзатыльниками, подымалось на Михаила его собственное детство. Не нужно думать, что наш герой был бесчувственным. Напротив, его можно назвать скорее сентиментальным. Он был теперь недурно одет, обедал в паштетных (даже с пивом), комиссионные обещали месяц-другой безбедной жизни. Однако нищета папиросочных трущоб воспринималась им как своя собственная. Предложи в такие минуты Михаилу весь «Континенталь», он с негодованием отказался бы. Здесь большевизм являлся не сложной проблемой, но такой же реальностью, как ближайшая получка. Революцию здесь нельзя было обойти. Впалость щек, рахит младенцев и постность борща, сапоги, просившие «каши», все здесь было мобилизовано для ее защиты. Несколько вечеров подряд в Михаиле боролось чувство, которое мы назовем скорее социальным инстинктом, нежели состраданием, и душевный комфорт одиночки. Победил последний.

Михаил снова очутился в паштетных. Он хотел уверить себя, что наслаждается. На самом деле он скучал. С поразительной настойчивостью ему кидалась навстречу мертвечина. Если он глядел на лица женщин — это были морщины, все разновидности морщин, от тончайших гусиных лапок до глубоких канав лба, вялые одутловатые щеки, носы, испещренные угрями, синяки под глазами, все жалко заштукатуренное пудрой. Если он принуждал себя вслушиваться в звуки танго, разыгрываемого худыми и длинными, как смычки, скрипачами, звуки были невеселыми, ноющими, истошными,— не танец, а панихида. Во рту после пьяных ночей он чувствовал подлинный привкус гнили. Он менял паштетные, но веселье не открывалось.

Новизна ощущений первых дебошей исчезала при виде этих людей, уныло допивающих свои последние бутылки. Кабаки напоминали тогда вокзальные залы с томительными мухами и зевотой. Никто не смеялся. Когда же падал, задетый подвыпившим гостем, стул, все привскакивали: начинается! Случайные собутыльники говорили между собой о выгодной перепродаже мануфактуры, о грабежах в Липках, о том, когда же вернется «порядок». Михаил молча слушал их. В торговле все его познания ограничивались недавней операцией с табаком. Грабежей он не боялся. Что касается «порядка», то одно это слово вызывало в нем ужас и тревогу, как будто собеседник тащил его за шиворот к континенталевской будке. Все эти люди и прежде ходили в паштетные, теперь, общипанные первыми же переменами, они спускались ниже, меняя разряд посещаемых заведений. Среди них Михаил чувствовал себя пришлым. Он боялся проговориться, выдать себя. Одновременно он презирал их. Скука все возрастала. Предстояло опуститься: предаться мелкой уличной спекуляции или запить.

Здоровье, верный нюх, наконец, возраст (Михаилу тогда было всего девятнадцать лет) вывезли. После одного из таких похоронных кутежей он, вместо дома, направился к вокзалу. Иной читатель, забывшись, дорисует картину: взял билет и сел в вагон. Он лишит то утро Михаила всей его живописности. Дощатый барачный вокзал был в действительности забит солдатами и мешочниками. Несколько часов Михаил локтями тупо пробивал сплошную человеческую толщу, которая в ответ обсыпала его руганью и вшами. После этого он вместе с другими штурмовал скрипящий вагон. Ему удалось влезть в окошко. Внутри были свалены груды тел. Лежали на полу и на полках. Зады качались в сетках, ноги гроздями свешивались с верхних полок, из-под скамеек торчали тыквы голов. Повернуться было немыслимо: если у кого-нибудь замлевала нога, стонал и ругался весь вагон. Сверху сыпалась соль мешочницы, внизу тухли селедки другой. Люди пытались держаться за карманы, но не могли: приходилось чесаться. Мочились под себя. Кто-то все же ухитрился стибрить четыре чайные ложечки. По ошибке заподозрили другого и выкинули в окошко, мнимый вор расшибся. Ехали до Москвы шесть дней.

Уже в Брянске узнали: начинается. На этот раз слухи были такими настойчивыми, что поверили все,

даже какая-то благодушная голова, торчавшая из-под мешков с сельдями и до Брянска заверявшая: «Все обойдется». Среди сваленных тел имелись «за», имелись и «против». В Петрограде уже дрались. Здесь драться было невозможно, приходилось только злобно дышать друг другу в лицо и совместно трястись. Лишь выйдя на широкие платформы московского вокзала, неуклюже переступая разучившимися двигаться ногами, путники самоопределились. Совсем недалеко бухали пушки. Одни радовались успехам большевиков, другие уповали на какого-то генерала (кажется, Алексеева). Обладательница соли, впрочем, проклинала всех, признавая только Сухаревку, где за соль ей дадут фантастическое количество ситца, и еще святейшего патриарха — этого бескорыстно. Словом, все принимали чью-нибудь сторону, и если не действовали, то, во всяком случае, выражались.

Исключением являлся Михаил. Увиливать больше было немыслимо. Революция, с которой он затеял игру в прятки, настигла его, совсем не играя, вплотную, всерьез. Нужно было действовать. Но как? Раздор летних месяцев перешел в апатию. Правда, он убежал в Москву, в живую Москву, от мертвых кувертов паштетных, чтобы как-нибудь жить. Но Москва его встретила слишком ошеломляюще. Это не митинг!

Беспомощно оглядывая вокзальные залы, в которых еще красовались архаические рекламы «Сенаторских» папирос и «Спотыкача», Михаил вдруг увидал большие инициалы, памятные до болезненности по увлечению весенних дней, почти что инициалы первого романа: «С.— Р.». Воззвание изобиловало славянизмами, в другое время оно могло бы сойти за церковное, только с заменой «товарищей» «прихожанами». Чувствовалась редкостная поэтичность натуры, например: «Вольнолюбивый русский народ, огради от леденящего вихря насильников хрупкое древо свободы». Присутствовавший народ, в виде одного дорогомиловского бондаря, дойдя до «древа», разразился крепким словечком. Но Михаилу словарь показался понятным, даже родным. Адрес бюро на Арбате, где записывали добровольцев, он воспринял как рекомендацию семейной гостиницы.

Уже точным шагом, среди первых перестроек, направился он туда. По дороге, возле Смоленского рынка, его несколько озадачил старый рабочий в картузе, чуть смахивавший на покойного Примятина, который,

не укрываясь в подворотню от юнкерских пуль, сам не стреляя (у него и винтовки не было), стоял посредине улицы с большим лоскутом и кричал в сторону Арбата, где заседали защитники Керенского:

— Дудки!

Вот это слово и озадачило Михаила, столько в нем было возмущения и отчаяния. Михаил уже остановился. Но стоять было опасно: грозили не только пули, грозил душевный разлад. Надо было спешить в бюро.

Помещалось оно в маленьком «иллюзионе». Первое, что почувствовал Михаил,—дрожь. Нет, не свою, все вокруг дрожало. Дрожали от ветра (пули уже истолокли стекла) занавески, дрожали хриплые голоса старавшихся перекричать друг друга представителей партии, дрожал весь дом. Дрожь передалась и Михаилу, дрожь не страха, но неопределенности. Валявшиеся в углу винтовки казались декоративными, свезенными сюда скорее для подсчета инвентаря, нежели для практического употребления. Только один человек среди этих зыбких фигур сохранял твердый контур—это был полковник с короткими, на английский манер подстриженными усами. Он заботливо берег все приметы своего достоинства—от презрительной краткости в репликах представителю городской думы «к среде усмирим» до облачка тройного одеколона. Глаза у полковника были бульдожьи—круглые, выпуклые, боевые. Напав на них, Михаил отшатнулся: такой может взять и, здорово живешь, выпороть. Что касается других, то они напомнили Михаилу завсегдатаев киевских паштетных. Идеологию подавал представитель Думы, с высот эстрады жалостно кудахтавший: «Они могли бы, во всяком случае, подождать до выборов в Учредительное собрание...» В углах шло более жизненное: «третью ночь не спал», «из Минска четыре эшелона перешли к большевикам», «черт с ними, вопрос, как достать колбасы?». В ожидании своей очереди Михаил присел на ступеньку. Может быть, он задремал после шести утомительных ночей в вагоне, а может быть, только задумался. Но если это и было дремотой, то живой, благодетельной, когда, разрывая связь очередных жидких мыслей, человек проникает в свою вторую жизнь, плотную, органическую. Наконец-то черед дошел до Михаила. Он поднялся с тяжелой головой, но как бы протрезвевший. Чуждость окружающего в последний раз подчеркнули случайно

дошедшие до него слова: «Советы, mon vieux[1], но это просто воняет...» Он стоял у стола, ручка гимназиста выжидательно заострилась. Но вместо имени и фамилии последовало совершенно нелепое слово — «дудки!», которое Михаил сказал самому себе в виде резюме, сказал вслух, достаточно громко, чтобы его услышали все, вплоть до идеолога на эстраде. Сказав же это, он спокойно, безразлично, не проверяя эффекта, произведенного брошенным словечком, направился к выходу. Он даже не помнил, сказал ли он что-либо. Нужно признаться, что эффект был ничтожен. При всей его бессмысленности, поведение подозрительного добровольца никого не поразило: все эти люди, воспитанные на декадентских стихах, на понюшках кокаина, на диких годах, когда галицийская шинковка шла под бешеный танго танцулек, были ко всему привыкшими. Тот, что щеголял французскими словечками, впрочем, пожал плечами: «каналья», и все.

На Арбате проверяли документы. Тенькали пули. За углом, возле лавчонки, наперекор событиям торговавшей макаронами и картошкой, толпились люди, у которых аппетит первенствовал и над политикой, и над инстинктом самосохранения.

Можно подробно рассказать о том, что делалось в этот день не только на Арбате, но и на других улицах, например на Плющихе, на Воздвиженке или на Басманных, добросовестно отметить, где еще торговали и чем именно, где были юнкера, а где большевики, перечислить особенно важные позиции, как-то: телефонную станцию, почтамт, Александровское училище, дать детальный отчет о переменчивых успехах сторон, с жалостью или с презрением уделить место обывателям, нейтралитет которых диктовался отнюдь не солидарностью с бывшим тогда в роли арбитра «Викжелем», а только привязанностью к жизни, безотносительно от партий и строя. Принимая во внимание численное превосходство этих обывателей над двумя боровшимися сторонами, можно остановиться с сугубым вниманием на их занятиях, на набирании воды про запас в ванны, кадки и ведра, на приспособлении нужников, лишенных предательских окон, под жилые помещения, на дежурствах в подъездах. Можно, разумеется, и этот день принизить до прочих

[1] Старик *(фр.)*.

дней, взять его глазами обывателя, смотревшего на мир сквозь щелку деревянных щитов подъезда, или же покрыть его патиной историка. Но тогда сделается совершенно непонятным дальнейшее поведение Михаила, машинально повернувшего назад, к Смоленскому рынку.

Чтобы не попасть впросак, следует пойти за ним по пятам, следует в этом дне различить нечто, кроме достоверных фактов, кроме выстрелов и кроме приплюснутых носов членов домового комитета. Что он увидел? На углу бульвара рабочих, суетившихся возле пулемета? Раненую девочку? Осеннее небо? Да, конечно, все это было. На одном из рабочих зачем-то была уже зимняя шапка, с ушами, с жалкими, насквозь промокшими песьими ушами. Девочку пронесли в Смоленскую аптеку, причем аптекарь трусил и долго не хотел отпирать. А небо? Небо было только понятием — белесое и пустое. Конечно, он видел это. Но он увидел и другое: революцию, уже без улыбок барышень, без флагов, кокетливых, как бантики барышни, без чирикавших адвокатов, возмужалую и суровую революцию. Огромный день, проглотивший благополучие предшествующих лет, их бедствия, самое память! Среди рынков, церквушек, чайных, песьих шапок, среди декорации, созданной разве что для нудного, злого бунта, для одного из тех бунтов, который собирался к среде усмирить полковник с бульдожьими глазами, среди этой декорации, появилась она, редчайшая гостья, чтобы каждый выкрик мастерового в нелепой ушанке стал бы волнами радио. Только подумать: здесь, напротив трактира Семенова, «без права продажи», на мостовой, где в праздник шла торговля старыми, прелыми валенками, куда в прочие дни бабы сажали ребят, среди этой зевоты, припечатанной крестом, какой-нибудь Иван Беспалов (или, может быть, Федор Кубышкин) начал свой спор с веками. Здесь каждый жест был историей, теплый и трогательный в своей человеческой неуклюжести. В тот день здесь был не только Беспалов или Кубышкин, здесь была революция. И Михаил увидел ее и вдруг понял, где его место. Он не думал, думала за него она. Начиненный обычно мелким самолюбием, он теперь легко подчинялся чужим приказам. С младенчества влюбленный в победу, он, как и многие из его товарищей, был убежден, что юнкера пересилят, но это не уменьшало его радости. Привычным, банальнейшим движением кидался он не раз в течение этого дня, в течение последующих дней прямо под пулеметный

огонь. Здесь были проявления подлинного героизма, которые мы не перечисляем лишь потому, что героизм в те дни, еще всем памятные, был воздухом, то есть и самым существенным, и самым неощутимым, что не поддается описаниям и не нуждается в них.

Так совершилась подлинная встреча Михаила с революцией. Мы не являемся теми народными заседателями, которым было поручено рассмотреть жизнь Михаила Лыкова с точки зрения его социальной пригодности или опасности. Мы только рассказываем историю этой жизни, год за годом, во всей ее непритязательной наготе. Но, дойдя до одного часа, до того часа, когда Михаил бежал по Никитскому бульвару, под огнем, увлекая за собой бородатых солдат, бежал оборванный, без шапки (обронил), с издали видневшимся пылающим чубом, дойдя до этого часа, мы должны остановиться. Мы не ждем от читателей особой любви к нашему герою. Наверное, не раз, с понятной нам гримасой раздражения или даже брезгливости, они отворачивались от его мелких чувствований и сомнительных похождений. Но в каждой жизни имеются часы, достойные любования и зависти. Мы хотели бы, чтобы читатели на Никитском бульваре столкнулись с Михаилом. В нем не чувствовалось никакой злобы. На этот раз фосфорическая нежность его глаз не являлась обманной. Глаза сохраняли ту же ясность, когда он упал. Само падение было легким, так падают детские змеи или листья. Острота физической боли не могла стереть с его лица улыбки. Его руки, как всегда, рвались вперед, расходуя последние силы. Казалось, они продолжают прерванный бег по бульвару, к Арбатским воротам. Потом он потерял сознание. Улыбка, однако, длилась, являясь внешним выявлением изумительной радости, переполнявшей его.

ПОДХОДЯЩАЯ ПАРТИЯ. БУНТ. ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ ОДНОЙ КАСКИ

Операция была произведена удачно, пуля извлечена. Однако общее истощение оттянуло на несколько месяцев возможность вставать, ходить, думать — словом, снова занять в жизни некоторую позицию. Это было Михаилу на руку. Все, что предшествовало октябрьскому утру на Смоленском, казалось

ему сугубо непритягательным. А рассчитывать на самозабвение тех исключительных дней не приходилось. Он сознавал, что тогда был заряжен чужим током. Оставленный теперь на самого себя, он снова оказался у знаменитого «корыта».

Выздоровление все же завершилось, и маленькая комнатка в Левшинском переулке приняла шаги из угла в угол, стоянки у засахаренного окна, докучливое недоумение Михаила. Казалось, чего тут недоумевать? Он сражался на стороне большевиков. Большевики победили. Открыты тысячи возможностей искренней и плодотворной работы. Но беда была в том, что исконная неприязнь к большевистской спайке, смятая октябрьским штормом, оправилась одновременно с ним. Он сам с трудом понимал свою роль в те дни. Он не жалел о случившемся, трезво учитывая все превосходство Михаила, бежавшего по Никитскому бульвару, над теперешним, тупо поглядывающим в непрозрачное окошко. Но продолжения он не видел.

Выход нашелся случайно, в виде хлеба, как-то выданного из домового комитета завернутым в газету. Хлеб был давно до крошек поглощен, когда, обычно не читавший газет, Михаил со скуки расправил помятый лист. То, что он увидел, было настоящим сюрпризом. Оказывалось, можно перехитрить судьбу, совместить прошлогоднюю эсеровскую партитуру с жестким ригоризмом Октября. Так, по крайней мере, обещал Михаилу орган неизвестной ему доселе, совершенно особой партии. Проглотив статью о примате личности, Михаил от волнения даже привстал. Впервые комнатка в Левшинском услышала его воинственное посвистывание. Открывалась романтическая карьера. Если тот, с одутловатой заспанной физиономией, преждевременно улыбавшийся в автомобиле, сдрейфил перед матросскими клешами, Михаил не сдрейфит. Он из другого теста. Следовательно, он может стать героем, меть выше — вождем! Вся чудотворно найденная партия левых эсеров казалась ему специально для этого устроенной. Было от чего насвистывать.

Месяца два спустя Михаил уже по-домашнему позевывал в особнячке Леонтьевского переулка, где помещались тогда левые эсеры. Правда, пока что он являлся не вождем, а всего-навсего помощником экспедитора газеты. Досуги перевешивали потребность в них, и целые дни Михаил слонялся по залам

партийного клуба. Он обозревал самых ответственных работников. Имелись среди них даже наркомы. Михаилу они импонировали исключительно положением. Их умственного над собой превосходства он не ощущал. Конечно, они цитировали множество книжек, но Михаил это считал делом наживным. Наверно, существует пособие, где все такие цитаты подобраны по рубрикам. При случае, если дело станет за этим, можно приналечь и вызубрить. Зато с примерной тщательностью изучал он их манеру держаться, вплоть до закуривания папирос, все повадки, тон, реплики, будучи убежденным, что только благодаря этим внешним приметам они дорвались до своих мест.

Разговоры в клубе шли предпочтительно о нравственности. Посторонний, случайно заглянув туда «на огонек», решил бы, что это не политическая партия, а кружок чудачащих моралистов. Делалось это обычно так: брался какой-нибудь поступок, с точек зрения и церковной и обывательской предосудительный, например убийство. После чего все «ответственные», щеголяя цитатами, принимались доказывать, что нет ничего на свете нравственней, нежели убийство. Михаилу подобные занятия казались праздными. Вопрос о нравственности его никак не занимал. В своих понятиях он был, скорей всего, обывателем, считая не только убийство, но и вообще всякое нарушение общепринятых норм дурным. Но что из этого? Ведь только безнравственное и увлекательно, хотя бы то же убийство.

Не интересуясь дебатами, Михаил запоминал отдельные витиеватые словечки, заводил лестные, а подчас и полезные знакомства, старательно выполнял мелкие партийные поручения и ждал. Действительно, к весне разговоры приняли значительно более конкретный характер. Место нравственности занял «Брест». Наиболее горячие уже выволакивали грохочущее словечко «выступление». Казалось, что поддаться влево немыслимо, вследствие предельного уплотнения. Однако все время «жали масло», споря, кто левее. Все члены клуба, включая Михаила (а было их свыше ста), охотно пошли бы на фронт «против похабного мира». На основании этого и выносились ультиматумы. Соотношение между ста членами и ста пятьюдесятью миллионами здесь никого не интересовало. Романтизм исключал арифметику. Каждый судил по себе и думал за себя. Михаил, таким образом, пришелся вполне ко двору.

В наивности наш герой предчувствовал повторение Октября. Подошло Первое мая. Левые эсеры тогда еще входили в правительство, и Михаил встретил празднество в автомобиле, расписанном художником-супрематистом. Роспись выражалась в красных квадратах, воюющих с черным ромбом, причем означало это сложную мысль, на всякий случай дополненную подписью (тоже неразборчивой,— буквы, как блохи, прыгали без определенных маршрутов): «Красная трудовая мечта победит черные будни мещанской Европы».

Весь романтизм первого года революции, включая сюда и футуристические плакаты, и кокетливые пулеметные ленты матросов, был налицо. Москва, сызмальства падкая на пестрядь, щеголяла новинками живописной моды. Пролетарии, освобождающие вселенную, почему-то были в куцых юбочках, скорей приличествующих балеринам. Что касается их лиц, то, по словам людей компетентных, «разложенные на плоскости», для профанов они представляли рыбьи глаза, круглые, как горошинки, изобилие щек квадратной формы, оранжевые треугольники вместо носов. Все это вертелось на фасадах ампирных особняков. Дома трясло от грузовиков, «бывших Ступина», до Октября перевозивших мебель, а теперь нагруженных безработными актерами, представлявшими аллегорические сцены — «Парижскую коммуну» или «Подвиг Степана Халтурина». Некоторые из актеров декламировали «Двенадцать» Блока, другие пели «Интернационал» и почему-то «Укажи мне такую обитель». Словом, это было решительным переселением карнавала со знойных площадей Апеннинского полуострова на улицы и переулки Москвы. Сознание, что он наравне с полоумными квадратиками представительствует большую политическую партию, пьянило Михаила. Автомобиль давно закончил свой рейс. Теперь наш герой бродил по улицам. Он вышел к Иверской. Надо напомнить, что Первое мая в тот год совпадало со Страстной пятницей. Это обстоятельство делало карнавал в глазах салопниц не чем иным, как игрой дьявола. Часовенка астматически дышала искупительными свечами. Михаил задумался: что бы выкинуть? Не скандал, но жест! Срочно требовался эффектный исторический жест! На беду, его воображение работало слабо и ничего, кроме насвистывания, не подсказывало. К часовне подошел осанистый человек, с виду

кучер, и, сняв картуз, принялся напряженно, как бы вдавливая в себя знамения, креститься. Это зрелище раздражило Михаила. Он с удовольствием арестовал бы степенного молельщика, но никаких оснований для этого не имелось. Тот, уже кончив креститься, направился к Охотному ряду, навстречу Михаилу, а наш герой все еще продолжал негодовать. Он воспринимал поведение этого человека не как суеверие, даже не как государственный проступок, а как акт, направленный непосредственно против него. Вот до какой степени подействовало на экспансивного юношу турне в супрематическом автомобиле. Михаил рвался в бой, помериться с широкогрудым ревнителем иверских свечек,— если не эрудицией, то хотя бы бицепсами. По Тверской спускались манифестанты, размахивая плакатом «Вечная память борцам за коммунизм». Михаила тогда осенило — он подскочил к степенно шагавшему человеку и крикнул:

— Товарищ, из уважения к павшим, предлагаю вам немедленно обнажить голову!

Человек не сразу понял, что именно от него требуется. Эта пауза переполнила Михаила радостью: молчание он учел, как сопротивление. Но не прошло и минуты, как человек, сообразив, что дело клонится к комиссариату, жалостливо осклабился и снял картуз. Михаил окончательно обозлился. Вдруг среди карнавала, квадратов, рифм, среди своего величия, потянуло папашей, миллионами «папаш». Отвернувшись, он буркнул что-то глубоко уничижительное, вроде «сопля». Давно прошли манифестанты. Однако человек с блестящей, маслом смоченной головой продолжал по-прежнему стоять. Мысли Михаила были уже далеко, они теперь догоняли другой автомобиль, примеривая осанку истинного вождя, когда раздался томительный басок:

— Разрешите надеть?

Вместо разрешения последовало новое ругательство и бегство Михаила. Мечты о грядущей карьере были нарушены этой собачьей покорностью. Он остановился на Красной площади. Что ему делать? Кремль? Хорошо. Во-первых, он построен. Во-вторых, уже взят. На Николаевском дворце — красный флаг. Причем по мелким хозяйственным деталям чувствуется, что эти люди переезжать из Кремля не собираются. Остается, конечно, в-третьих, то есть уничтожить, но процесс уничтожения никогда не привлекал Михаила.

Не ценя людей, он умел ценить вещи. Пролезть самому? Но как? Те, из Леонтьевского, глупо проматывают месяцы на дискуссии о морали. А эти? Эти заперлись наглухо. Вместо случайностей жизни — холодная, ровная неприятность. Впервые Михаил пожалел: зачем он тогда пошел с ними? Кто знает, не лучше ли было подохнуть с теми слюнтяями?

В клубе, куда он направился, было пустовато. Все знаменитые цитаторы не захотели пропустить оказии сорвать хлопки на первомайских митингах. Михаил с тоски читал «Пинкертона». Действенность книжки бесила его. Он не мог вынести чужой удачливости, даже вымышленной. В скучном клубе, где от предстоящего доклада «Этическое наследство Лаврова» зевали даже двери, толкаемые слоняющимися без цели товарищами, где томительно стыл разлитый по стаканам чай, читать о такой фантастической жизни. Книжка была злобно отброшена. Уж подступала крайняя безнадежность, когда к Михаилу неожиданно подошел товарищ Уваров, один из самых ответственных, чью привычку повторять через слово «понятно?» помощник экспедитора последнее время тщательно осваивал. Уваров не только дружественно поздоровался с Михаилом, он подсел, он (и это было уже удачей,— оглушительней, чем то, из «Пинкертона») заговорил, причем не об обязанностях экспедитора, даже не о первомайской демонстрации, а сразу «схватив быка за рога».

Словоохотливость — одна из самых неизлечимых болезней: кажется, легче бабнику пропустить пресловутую юбку, нежели вот такому говоруну, как Уваров, чужие подвернувшиеся уши. Интимные места, никогда не слыхавшие человеческой речи, заполнялись патетическими выступлениями Уварова, к вящему удивлению квартирных хозяек. Он часто думал вслух. Митинги, однако, он презирал, как гастроном презирает кашу. Ему были необходимы острота поставленного вопроса, специи реплик, азарт голосований с сомнительным исходом — словом, дискуссия. Поэтому скрепя душу он не пошел на праздничные собрания. В клубе он рассчитывал найти десяток-другой серьезных товарищей и обсудить с ними все вообще и нечто, называемое спорщиками по профессии «текущим моментом». Увидав же неразобранные стаканы чая и пустые стулья, он почувствовал такие позывы к словоизлиянию, что, подвернись ему даже не симпатичный

юноша, а манекен из конфекционного магазина, он и то заговорил бы.

Это был небольшой, но крайне категорический доклад, расшитый впрок полемическими блестками против воображаемых оппонентов. Сущность его сводилась к тому, что, подписав Брестский мир, большевики окончательно осквернили нравственный лик революции. Отвечая на зов всей России, единственная партия трудящихся должна наконец выступить. Прерывалось это регулярными «понятно?». Вначале Михаил попробовал отвечать «понятно», но, заметив, что это раздражает Уварова, перешел на деликатные кивки. Он пропустил мимо и «нравственный лик», и вопрос о мире, как несущественное, все это было, на его взгляд, мелкими придирками, зато «выступление» показалось ему и впрямь понятным, более того, необходимым. Выступить против большевиков слева, повторить Октябрь, конечно,— другого достойного выхода Михаил не видел, а если это совпадало с теориями самого Уварова, если к тому же это соответствовало зову всей России, можно было не только кивать головой, но и кричать от радости. Конечно, Михаил не закричал. Он лишь с краткостью и почтительностью ушей (не языка, одних ушей), когда Уваров кончил, ответил:

— Что касается меня, то я — в первых рядах...

Наконец наступил этот день, день летний, потный, припудренный пылью застав. Были относительно дешевы ягоды — клубника, земляника, красная смородина. Москвичи, уже успевшие на четвертушках и восьмушках основательно отощать, ходили с руками, замаранными розовым соком, и с резью в желудке. Михаил тоже за утренним чаем съел фунт ананасной клубники. Хотя, по некоторым признакам, он понимал, что выступление не за горами, дня ему не указали, и грохот в соседнем Денежном переулке, где для начала революционной войны кто-то укокошил германского посла, застал Михаила врасплох. Когда он выбежал из дому, квартал был оцеплен. Латышские стрелки молчаливо проверяли документы. Прохожие хмурились. Признаков революции нигде не имелось. Но Михаил, спешно направлявшийся к Большому театру, где заседал съезд Советов, мысленно видоизменял окружавший его ландшафт. Он верил, что в центре идут бои, что сейчас за углом заплещет флаг победителей. К театру его не пропустили. Он бросился

в клуб, но те же латыши, неподвижно стоявшие у ворот, остановили его. Он носился по городу, гремучему и сонному в своей повседневности, разыскивая товарищей из надежнейшего ядра. Их не было: одни спешно укатили в подмосковные затоны — подышать свежим воздухом Клязьмы или Быкова, другие, налаживая приятельские отношения с большевиками, разбрелись по различным клубам, разумеется, не своей скомпрометированной партии. Поздно вечером, на частной квартире, он разыскал экспедитора. Тот был угрюм и явно трусил.

— Ничего у них не выйдет. Нам-то что — мы люди мелкие. Подадим заявление: являлись техническими работниками и — айда к большевикам. Там будут люди посерьезней.

Михаил возмутился: перебежчик! Не этическая сторона дела оскорбляла его, но дряблость мелкотравчатого экспедитора. Как можно отойти от зеленого сукна, пока в кармане бренчит хотя бы мелочь! Хорошо, пусть съездовские делегаты арестованы, но ведь несколько воинских частей высказались за левых эсеров. В резерве вся страна. Бои еще предстоят. И вот, в такую минуту, менять огромный куш победы, который может быть сорван, на жалкую службу в экспедиции большевистской газеты!

Ночью Михаил, преодолев немало препятствий, пробрался в Семеновские казармы, где сидели мятежники. То, что он нашел там, мало чем отличалось от настроений экспедитора. Поражала прежде всего помесь людских пород. Здесь были и «учредиловцы» втайне, и анархисты, и просто заправские виртуозы смуты. Храбрясь и отругиваясь, все, однако, искали приличной лазейки. Вопреки безупречным аргументам Уварова, страна явно в переделке не участвовала. Торговка огурцами на Зацепе, расслышав привычный бас пушек, которыми большевики теперь уговаривали левых эсеров быть «легче на повороте», лениво забормотала:

— Белых побили, теперь серых бьют.

Это являлось, кажется, единственным откликом на инсценировку классической революции. Даже удивления не было. Обыватели еще помнили выстрелы, которыми как-то ночью большевики выселяли анархистов, квартировавших перед тем в перворазрядных особняках, и применение в дискуссиях артиллерии казалось им естественным.

Наиболее нервные из числа тех, что сидели в Семеновских казармах, предлагали перейти в наступление. Михаил решил во что бы то ни стало повторить Октябрь. Он тщательно внушал себе, что переживает подъем: это его бунт, бунт Михаила Лыкова!

С криком пробежал он несколько шагов, но быстро осекся. Мучительность стыда за плохой любительский спектакль судорогой прошлась по лицу. После этого он уже сидел молча, не разделяя ни бравирования, ни паники, сидел, пока не настало так называемое «отступление», то есть бегство по шоссе, по жиденьким огородам, бегство, в котором преследователями являлись все: большевики, огородники, их собаки, едкое солнце, страх и стыд.

Беглецы, вначале сохранявшие видимость боевой части, быстро распылились, каждый за свой страх искал спасения. Инерция бега сохранялась, и Михаил, проделывая сотни верст, меняя телегу на теплушку, ночуя то под мостом, то на залусканном перроне станции, подчинялся скорее инерции, нежели разумно избранному маршруту. Если он и переживал что-нибудь, то только полноту поражения, увеличенное во сто крат похмелье киевских паштетных, знакомую ему скуку дней, начинающихся бесцельной зевотой, со всей отчетливостью часов и даже получасов, с духотой засыпания. Именно это ощущение знакомости, а не осознанное желание перейти границу, и повернуло его на юг, к родным местам. Опоминания еще не было. Лица товарищей в казарме, мяукание снарядов, слова воззваний, смородина московских ягодников, лай натравленных на беглецов собак — все это являлось еще длящимся, живым унижением.

Опоминание началось только тогда, когда в черноте летней ночи, как будто созданной для вызревания хлебов и для любовных утех, показался тусклый блеск металлической каски. Блеск этот был чужд, нов и значителен, так что не только сердце Михаила, но и многие другие сердца людей, шедших с тюками или с корзинами, увидев его, дрогнули, забились чаще.

Политические дороги, как и обыкновенные, железные или шоссейные, чреваты неожиданностями, но на свой лад логичны. Уводя путника от чудных гор к скучной равнине, они знают, куда ведут. Бегство Михаила, начатое совместно с людьми более или менее ему родственными, среди которых имелись и спорщики

особняка в Леонтьевском, закончилось переправой через границу, среди черноты ночи, переправой акций, закладных, семейных драгоценностей и просто всякой всячины, увязанной в нелепые узлы. В этой толпе Михаил был одинок. Узнай кто-нибудь о его поведении в Октябрьские дни, ему бы пришлось плохо. Снова в поисках вернейшего для себя места он оказывался вне комплекта, где-то на отлете.

По так называемой «нейтральной полосе», прочерченной среди полей одной из центральных российских губерний, двигалась толпа беженцев. Обсуждались будничные проблемы: как куда добраться, посадят в карантин или не посадят, что лучше — керенки или «украинки». Но, как мы отметили, при первом соприкосновении с острой каской германского часового эти мышиные заботы на минуту сменились некоторым осознанием происходящего. Так начиналось то явление, которое, оставаясь лишь печальной сноской в истории России, все же оказалось способным и заставить досадливо поморщиться весь мир, и прикончить не одну человеческую жизнь. Так — со скромными узелочками, по-дачному, налегке, пешком начиналась эмиграция, чтобы выполоть наугад сотни тысяч существований, чтобы заставить серпуховского инспектора где-нибудь в римском Пинчио тосковать о белесоватости обшмыганных березок, чтобы привести сиятельного сибарита в швейцарскую одного из непотребнейших заведений Монмартра.

Среди этой толпы, пугливо галдевшей над своими тюками, среди черноты летней ночи, которая совместно с царскими десятками покрывала бегство, Михаил пережил опоминание. Металлическая каска завершила бунт, гордо поднятый «против постыдного мира с германцами». Теперь ему предстояло слиться с этими сомнительными попутчиками, с этими дамами, быстро меняющими бабьи платочки на примятые в чемоданах шляпки, у которых под юбками таятся вполне реальные сокровища в виде различной, приятно шуршащей валюты, с этими потрепанными субъектами, под эгидой острой каски выволакивающими из недр карманов и совести все сразу: и титулы, и бриллиантовые запонки, и монархические убеждения. Октябрь был бесповоротно вычеркнут из его жизни.

Немцы выстроили беженцев для проверки бумаг. Михаил протянул свой паспорт и несколько вышел при

этом из хвоста, а так как паспорт не сопровождался ни титулом, ни соответствующим аллюром его обладателя, ни хотя бы мелким подношением в виде цибика чая или куска туалетного мыла, фельдфебель, презрительно блеснув кончиком каски, ударил Михаила в грудь:

— Стой в ряду!

Михаил ничего не ответил. Один из участников недавних событий, герой Октября, пусть взбалмошный, но отнюдь не трус, только поднял воротник, зарываясь головой в сукно и с отменной послушливостью наказанного школьника стал на указанное место. Он хотел познать унижение до конца.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ОТЧИЙ ДОМ. ЗНАКОМСТВО СО СЛАВОЙ

Нет, дым отечества не был сладок. Это был прежде всего дым кухни литературно-артистического кружка на Николаевской, где, не считаясь с традиционными катарами журналистов, изготовлялись сомнительные «дежурные блюда», дым подгоревшего масла и лука. Возвращение потерпевшего жестокую аварию героя в родительский дом являлось продолжением больших и малых обид, испытанных им в пути. Жестокость мягкосердечного обычно папаши диктовалась обстоятельствами: «горе побежденным». Пятнадцать лет всевозможных обкарнываний папашиного бюджета были поставлены на карьеру сыновей. Если бы Михаил явился победителем, безразлично — белым или красным, если бы, не залезая в политические капканы, он предстал бы перед папашей устроенным, хотя бы носильщиком или даже золоторотцем, он мог бы рассчитывать, что знаменитая манишка будет подставлена для прикосновений его рыжей шевелюры, что растроганный папаша выставит бутылку хереса и начнет вспоминать о детских проказах милого Мишеньки. Но на лысую голову папаши свалился великовозрастный младенец с непонятными приключениями. Пренебрегая внушаемой ему с детских лет мудростью, Михаил рассорился со всеми. Его нигде не хотят, ни в красной Москве, ни в белом Киеве. Вместо багажа он привез из странствий подозрительные манеры гамле-

тизированного интеллигента и надоедливое однообразие партийного жаргона. Притом он ничего не умел делать, разве что мечтать о своем главенстве и участвовать в «выступлениях», но ни то, ни другое не сулило заработков. Притом, как и все смертные, он хотел есть, что окончательно выводило из себя папашу. Вместе с мелочью на обеды Михаил получал те оскорбительные словечки, которые может выговорить человек, привыкший, чтобы его хронически оскорбляли, когда наконец нарвется на кого-нибудь рангом пониже.

Папаша чувствовал солидность своих позиций. Среди неимоверного кавардака бар «Континенталя», куда его перевели из верхнего ресторана, казался эпическим образцом постоянства. Менялись не раз посетители, преследуемые очередными победителями, папаша же, как земля или как звезды, неуклонно продолжал сиять и, сияя, описывать орбиты. Погоны появлялись или исчезали, оставляя на плечах предательские рубцы. Проплывали переменчивыми спутниками голубоватые кепи французов и устрашающие усищи германских майоров, австрийская, чешская или румынская мелкота, но если это и отражалось на ком-нибудь, то исключительно на музыкантах, по утрам разучивавших различные гимны. Что касается папаши, то он спокойно сервировал свои космополитические и надпартийные крюшоны. Против этого были бессильны и вся локальная живописность украинских чубов, и, страшно выговорить, сами большевики. Правда, при последних бар, подчиняясь веянию времени, спешно переменил паспорт. Он стал именоваться «Хламом». Там, отдыхая, военруки и политкомы поглощали шницеля под патриотические стихи начинающих авторов (предпочтительно о вселенском сдвиге). Бар был недосягаем для политических бурь, и папаша, в сознании этого, глядел на Михаила так, как глядят курганы на сусликов, то есть высокоторжественно, несмотря на свою плешивость и малый рост.

Итак, Михаилу пришлось вновь испытать хлесткость если не помочей, то ругательств, особенно разнообразных в Киеве, благодаря лингвистической пестроте его населения, где «пся крев» легко сменяется «ганефъом», а кацапская заезжая «мать» независимым «трясця твоей...». Он воспринимал это как естественный аккомпанемент. Он бродил по улицам с опущенной головой и тяжелым дыханием отставшей от

хозяина собаки. Человеческие чувства можно как угодно деформировать. Поэт, склонный к гиперболам, описывая Михаила, может быть, припомнил бы Наполеона после «ста дней» или декабриста, убежавшего с Сенатской площади, мы же предпочли заурядный образ бесхозяйной собаки, как наиболее соответствующий душевному состоянию Михаила. Неудачливый бунтарь теперь вовсе не думал о мировых событиях. Еще месяц назад судьбы революции уплотняли его сутки. Тогда он не отделял своих будничных занятий от того громоздкого, о чем пишут, сначала в мотыльковых, марающих пальцы газетах, а потом и в солидных фолиантах историков. Эта карьера теперь казалась ему исключенной. Уроки папаши, естественно, возвращали его к прогимназии. Жизнь вторично требовала выбора профессии, знакомств, протекций, среды. А он был способен теперь на одно: уклоняться. Если занятие и нашлось, в виде должности, раздобытой папашей, то это можно назвать не житейским поприщем, а первой подвернувшейся подворотней. Обстановка гетманского Киева, с олеографическими бликами беглых сановников, с одуряющим изобилием паштетных, как бы подкрепляла его в ощущении тошнотворной мути. Если и шла речь о чем-нибудь, то об удачно спекульнувшем на австрийских кронах Финкелевиче, но никак не об истории. Оказия казалась Михаилу безвозвратно упущенной. Как все юноши, не обладая масштабом, чтобы измерить пережитые злоключения, он свои двадцать лет почитал за старость и, дыша порой в тусклое зеркальце, служившее папаше для установки галстука, искренне удивлялся отсутствию у себя седин, приписывая это особенности рыжих волос.

Он даже не подумал огрызнуться на предложенную должность, хотя она была препротивной: в упомянутом нами учреждении на Николаевской принимать и подавать калоши, с которыми гардеробщик Григорий, вследствие исключительного переполнения бара, никак не управлялся, различные калоши: рваные с напиханной в них бумагой — кабаретной и газетной мелюзги, горделивые, твердые полуботики, снабженные блестящими инициалами,— солидных особ, издателей или же импресарио, дамские, кокетливо вилявшие меховыми челками,— словом, все разновидности калош, бот, полуботиков, незаметно, внизу дорисовывавших социальное положение человека.

Кто только той зимой не бывал в литературно-артистическом кружке? Киев являлся тогда своеобразным климатическим курортом, переживавшим разгар сезона. Привлекая особо благоприятной атмосферой северных изгнанников, он не спешил их сдавать своим наследникам, то есть Одессе или Ростову. Подобно всякому курорту, он изобиловал эфемерными магазинами, начинавшими прямо с распродаж, в частности комиссионными, где продавались соболя и подержанные шприцы, шашлычными, открываемыми налегке, в кредит, чуть ли не без фунта баранины, театрами-миниатюр, театрами-гиньоль, клубами-лото, кабаре-артистик, с интимнейшим окружением художественного мира, игрой в баккара, в шмэн-де-фер, танцклассами по-американски, банями с номерами, ресторанами с кабинетами,— словом, всеми аттракционами, предназначенными для людей, отлученных от налаженных занятий и перегруженных досугами.

Гости съехались, облепленные попутчиками в виде журналистов, сорокалетних девочек с кудряшками, румынских гитаристов, безангажементных инженю, поэтов, героически не пожелавших променять пастушек на коровниц, лекторов о любви со световыми проекциями. Все они быстро обжились, и не прошло месяца, как патриархальные туземцы были приобщены к столичной цивилизации. Они могли теперь читать десять газет, есть беф-строганов под сафические строфы и спать с омоложенными ветераншами московского «Омона».

Вся эта живописная свита и заполняла «кружок» на Николаевской, оставляя Михаилу грязные калоши и пронося во внутренние залы, вместе с хорошим аппетитом, с построчным или поночным гонораром, подлинное вдохновение, выражавшееся как в неожиданности скандалов, так и в сольных выступлениях: в ариях, в поэмах, в эстрадных анекдотах. Михаил мог воочию убедиться в экстерриториальности искусства. Трудно было определить, где обитает этот шумливый народец: в гетманском Киеве, в революционной России, в захудалой африканской колонии или же непосредственно в кандидовском, безо всяких кавычек, Эльдорадо,— до того мало занимали его грандиозные события. Эту экстерриториальность признавали все режимы, предшествующие и последующие, так что дом на Николаевской, в котором квартировали различные цеховые организации, напоминал консульство

иностранной державы. Там выдавались справки, удостоверения, мандаты, освобождающие поэта пастушек или пышнозадую инженю абсолютно от всего — от воинской и трудовой повинностей, от реквизиций и мобилизаций, от уплотнения и даже от гражданской совести.

Прислушиваясь к беспечному говорку в прихожей, Михаил начинал завидовать этим людям. Он ведь тоже очутился вне событий, но без соответствующих привилегий (понимая под этим не только грубые внешние блага, но действительно аполлоническую ясность духа, с которой еженощно, что бы ни сулили вечерние выпуски газет, тучный трагик Лавров подносил к своему, далеко не трагическому, скорее индючьему, носу рюмку зубровки). Несколько излеченный однообразием дней от московской встряски, Михаил стал внимательно присматриваться к быту нового для него племени. После театров, то есть за полночь, когда гардеробная почти бездействовала, Михаилу удавалось, отлучаясь от калош, заглядывать в зал. Как мы уже указывали, там поглощались не только подозрительные изделия чадной кухни, но и различные духовные восторги, не значившиеся в карточке кушаний. Здесь тоже были свои «ответственные». Звали их «знаменитостями». Столики, за которыми они ужинали, неизменно омывались почтительным прибоем поклонников, подражателей, интервьюеров. Слава здесь делалась на месте, не артиллерийской дуэлью, с ее всегда сомнительным исходом, не докучными баллотировками, но исключительно приятным гудом над остывшими дежурными блюдами: «Нет! Вы слыхали, как он читает?..» Любое имя могло оторваться от паспортных низин, с жужжанием взмыться вверх, как самолет. Михаил оказался в стране «счастливых случаев». Что ни день он присутствовал при рождении чьей-нибудь славы. Паршивая служба превращалась в неожиданную удачу. Грязные калоши почти любовно переставлялись аристократическими ручками Михаила. Заглядывая в расширяющиеся зрачки прилипчивых поклонниц, хорошо знакомые ему еще по прошлому лету, когда имелись автомобиль и министр, он начинал оживать. Может быть, он и не так стар? Может быть, неудача объясняется неправильно взятым направлением? Высокой беззлобности искусства он предпочел злобу дня. Теперь следовало наверстать потерянное: усво-

ить язык и нравы, завязать знакомства, наконец, главное, выбрать масть, с которой начать игру. Когда пианист кончал этюд, Михаил изучал все вариации аплодисментов. Не метя в парикмахеры, он детально обследовал сложные прически выступавших поэтов. Конечно, его руки были специально созданы для того, чтобы вдохновенно отрываться от клавиш. Но он ни минуты не подумал всерьез о музыке. Все, что явно требовало длительной выучки, отталкивало Михаила: занятие, достойное Темы. Где люди вкладывают в дело солидный капитал, то есть долгие годы работы, там нет места азарту. Другое дело театр или поэзия. Колебанию между ними было уделено немало ночей. Казалось, театр с ангажементами, рампой, париками, вызовами перевесит. Но имелся один серьезный довод против: трудность дебюта. Проспекты бесчисленных театральных студий, которыми в революционные годы обросли заборы всех русских городов, даже буколические плетни местечек, твердили о какой-то темной учебе. Пойти в театр Соловцова и потребовать, чтобы его хоть разок выпустили, Михаил не решился. Таким образом, побеждала поэзия. Сколько и как готовится поэт, об этом никто не знает. Можно приналечь и в месяц одолеть всю науку. В какой редакции станут допытываться о стаже поэта? Наконец, можно, при случае, прочесть свои стихи вслух, соблюдая как интонации, доставленные сюда из петербургских кабаре, так и соответствующую шевелюру. Михаил решил стать поэтом, притом в кратчайший срок.

С удвоенным вниманием он прислушивался теперь к выступающим. Были далеки те времена, когда его могла довести до ночного мычания оперная ария. Чуждый взволнованности, он трезво, как коммерсант товары, расценивал звуки. У любого профессионала, привыкшего к искусству, как стряпуха к стряпне, все же, бывает, прорвется: вместо делового поддакивания или конкурентской усмешечки он одарит чужое вдохновение благороднейшими слезами. Не таков был двадцатилетний Михаил: волнение и поэзия в его представлении никак не сочетались.

Анализируя ухом специалиста произведения различных поэтов, особливо того, что испугался пролетарской коровницы, Михаил все свои свободные часы отдавал соответствующим экспериментам. Это было напряженнейшей работой. Он даже стал подвергаться

едким нападкам гардеробщика, так как, занятый аллитерациями, безжалостно путал калоши. Слова, которыми он оперировал, очищенные от обременяющих их обычно понятий, никогда не враждовали друг с другом, всецело подчиненные воле Михаила, они шли на самые непостижимые встречи. То, что в результате получалась бессмыслица, нимало не смущало молодого автора. Разве понятны стихи других поэтов, хотя бы самого знаменитого? Нет, дело не в смысле, а в сложных рифменных комбинациях. Очень скоро Михаил в точности усвоил и версификационные приемы, и лексикон поэта, которому подражал. Он написал не менее двухсот стихотворений, хотя писать ему совсем не хотелось. Наконец он нашел подготовительный период законченным. Предстояло перейти к борьбе за славу. Его восприемником мог быть лишь первейший из поэтов, следовательно, все тот же ревнитель пастушек. Препятствием являлось малозаметное для других обстоятельство: у знаменитого поэта не было калош. Его хоть и лакированные, но сильно поношенные ботинки бесцеремонно пачкали паркет кружка. Это устраняло простейшую форму общения. Приходилось ждать оказии. Она представилась в виде виноватой улыбки поэта, прикатившего в кружок на извозчике с напрасной надеждой призанять у кого-либо из приятелей сотню карбованцев. Преследуемый красномордым извозчиком, который в негодовании дошел до передней кружка, поэт растерянно улыбался. Выручил его Михаил. Уже на правах кредитора несколько дней спустя он заговорил с поэтом, конечно, не о возвращении карбованцев, а о чистой поэзии. Свидание было назначено на одно из ближайших утр, причем Михаил должен был явиться к поэту со своими произведениями.

Поэт, рассмотренный теперь Михаилом вблизи, поражал нелепостью как своего вида, так и поведения. Могли ли сочетаться недавно приобретенный за солидную сумму муаровый серебристо-зеленоватый галстук с пальто, переделанным из солдатской шинели, извозчики, причем всегда лихачи, с хроническим отсутствием в его днях чего-либо, напоминающего обеды? Это был вымирающий ныне тип традиционного поэта, всю свою жизнь нищенствующий и бескорыстно влюбленный в былую помпезность, веселое дитя, надоедливая птица, словом, чудак, не раз описанный нашими предшественниками. Каморка, в которой он жил, озадачи-

ла Михаила: по сравнению с ней даже папашины закоулки казались хоромами. В чем же дело? Неужели слава столь существенна, столь весома, что может одна заменить все прочие приманки? Подобные предположения только усиливали волнение юноши, сжимающего в руках объемистую тетрадь.

Поэт принял Михаила ласково. Это было трогательной участливостью одного чудака, нашедшего другого, притом там, где он меньше всего ждал его: среди отсутствовавших и в обиходе поэта, и в сконструированном им Трианоне обыкновенных резиновых калош. Обитатель полуигрушечного мира был далек от бездушности. Нищенствуя, неизлечимым изъяном лишенный простого телесного счастья, он в свинцовые чернильные ночи одиночества, когда другие несчастливцы себялюбиво плачут, занимался легчайшими словами. Его стихи были формулами звукового блаженства. То, чего не расслышал Михаил, учитывавший лишь логическую бессвязность строф, доходило, однако, до других, создавших ему славу большого поэта. Это было лирическим акцентом, еле слышной горестью, чувствовавшейся среди манерных притяжений и отталкиваний звуков. Заговорив с начинающим поэтом из гардеробной, он предугадывал душевные бессонницы, патетические темноты биографии, гордость слез, переработанных в рифмы, угрюмую страну, где родилась эта клеенчатая тетрадь. Он ждал неумелых признаний, гимназических виршей, часто в своей беспомощности более выразительных, нежели все достижения виртуозов. Сколько таких произведений, где ямб сбивался на анапест, где рифмовались «правда» и «года», были написаны в первые годы революции бородатыми школьниками пролеткультов, мечтательными рабфаковцами или красноармейцами, стосковавшимися по своим милым. Поэт приготовил себя к нежной, почти родительской, снисходительности. Но по мере того как Михаил читал, его лицо, обычно беспечное, становилось угрюмым. Начальную приветственную улыбку сменила гримаса недовольства, даже неприязни.

Зевака в зоологическом саду прощает мартышке многое, по существу оскорбительное, за ее хвост, являющийся даже более ощутимым разделом, нежели прутья клетки. Здесь хвоста не было, и никакие калоши не могли его заменить. Вся игра звуками, стоившая поэту немало ночей, полных грусти, была спародирована

этим беззастенчивым фокусником. Искажающее зеркало паноптикума вызывало ненависть и к оригиналу. Чувство отвращения, заполнившее поэта, давно уже оставило толстую тетрадь, оно перешло на его собственные стихи. Он в отчаянии дергал серебристо-зеленоватые уши любимого галстука. Он чувствовал себя душевно разоренным.

Михаил трудился не впустую. Обладая даром переимчивости, он в точности усвоил все домыслы современной версификации. Он овладел сложнейшими формами, но трудно вообразить себе нечто более пошлое, более оскорбительное, нежели содержимое этой тетради. Кажется, впервые знаменитый поэт заговорил на простом языке, вместо обычных отзывов об инструментовке, он спросил Михаила:

— Скажите, зачем вы это делаете?..

Михаил счел вопрос глупым и, не ответив, стал допрашивать поэта, точно и настойчиво, о различных практических применениях своих трудов. Какой дебют предпочтительней: выступить с чтением или послать стихи в редакцию? Если в редакцию, то в какую? Наконец, может быть, издать сборник? Он ждал от своего сотоварища не психологической беседы, а полезных указаний. Ничего не добившись, он подумал, что сглупил, обратившись к знаменитому поэту. Никто услужливо не уступает облюбованного им в жизни местечка. Поэт почувствовал в Михаиле опасного конкурента. Что же, Михаил обойдется без него!

Каллиграфически старательно были переписаны стихи и посланы во все десять газет. Ответа не последовало. Михаил объяснял это исключительно ревностью революции, напоминавшей о себе близившимся грохотом пушек и требовавшей все полосы газет. Однако он был уверен в близком признании. Почтальон каждый день мог перевернуть его судьбу.

Развязка действительно скоро подоспела, хотя и в несколько неожиданной форме. «Кружок» в ту ночь был особенно переполнен. Не хватало вешалок, так что шубы сваливали на скамьи. Днем артиллерия басила настойчивей обычного, и столики «кружка» не могли поместить всех бутылок. Это была многим памятная ночь, когда трагик Лавров, напившись, вскочил на стол и завизжал: «Где мой нос? Расскажите, пожалуйста, где мой нос?» — глупая, пьяная, бестолочная ночь, последняя перед очередной сменой правительств. Зна-

менитого поэта поили коньяком. Пить он не умел и после третьей рюмки впал в раздражительный сентиментализм. Когда музыкальные номера были кончены, а Лавров благополучно уведен восвояси, почитатели, выставившие бутылку коньяку, подступили к поэту с просьбой прочесть стихи. Поэт не соглашался: какие стихи? зачем стихи? Он требует для себя права быть просто пьяным нахлебником, никогда и в глаза не видавшим пастушек. А если они хотят обязательно поэзии, то здесь имеется другой поэт. Где? В гардеробной...

Какие-то подвыпившие журналисты приволокли Михаила на эстраду. Он держался превосходно, как будто привык читать свои стихи. Час был достаточно поздним, да и выпито было достаточно, чтобы люди вслушивались в монотонное чтение. Однако все поняли: это всамделишные стихи, эстетические экзерсисы. Причем пишет их человек, обыкновенно подающий калоши. Оказывается, ему снятся нимфы! Это было экзотикой, подлинной сенсацией, и самая внушительная овация, которую когда-либо видал «кружок», досталась Михаилу. Некто Шейфес (хотя по профессии и не критик, а биржевой обозреватель «Киевской мысли») не мог удержаться. Он произнес импровизированную речь, сочетавшую чувствительность глубоко растроганной души с гражданской непримиримостью.

— Господа, возясь с калошами, поэт не сел в калошу. В то время как в Совдепии вся поэзия сведена к печному горшку, здесь мы видим истинного пролетария, которому дорого чистое искусство...

Аплодисменты возобновились. Михаил сохранял спокойствие. Не было даже признаков улыбки. Слава лишь несколько побелила его лицо. Инженю бросила ему чуть порыжевшую на морозе белую хризантему. Здесь руки неожиданно выдали волнение: они въелись в цветок и мгновенно разодрали его. В зале стоял восторженный гул: «Каково!.. Калоши и нимфы!.. Поглядите на его руки!..» Только пьяный поэт не утерпел и в сердцах крикнул:

— Зачем ты это делаешь, мандрила?

Но поэта уняли. Михаил быстро прошел в гардеробную. За ним последовала какая-то компания. Его приглашали поужинать вместе. Одна дама особенно настойчиво подпевала:

— Ну, какой вы злой! Останьтесь!

Он взглянул в ее зрачки и отвернулся: это было слишком потрясающим чтением. Слава, огромная слава отдавалась ему, самолюбивому фантазеру из телефонной будки, карикатурному бунтарю, гардеробщику-самоучке. Все остальное являлось незначительным. Рядом со зрачками пропадала даже дама, шикарная дама, готовая хоть сейчас подчиниться любой прихоти рыжего гордеца. Он мог слушать всю ночь это имя «Михаил Лыков», расширяющееся до определения из словаря, слушать похвалы, изумления, философствования. Он мог пить, на правах чествуемого, шампанское, милостиво одаривая чужие бокалы снисходительным позвякиванием. Он мог попросту лечь с этой, если считать на деньги, недоступной ему женщиной. Он мог все. Но, сухой, белый, он молчаливо рвался к выходу. Он попросил о единственной награде: отпустить его от калош. Он должен уйти. Куда, он не объяснил, предоставив обиженной даме дорисовывать шиньон соперницы, а сентиментальному Шейфесу уверять всех, что счастливый дебютант помчался к своей мамочке, чахоточной прачке, «делиться радостью».

Он бежал по пустой заснеженной улице, принимающей уроки забывчивости и немоты в виде пушистого крупного снега. Это снег отражал световые вылазки окон, опереточных штабов и трагических лазаретов. Он учил потере последующих ночей, лишенных света и ограды. Он падал также на окрестные поля, где стояли крестьянские курни, наводя на барочные соборы панского Киева глотки пушек. Он глушил выстрелы. Он делал их похожими на зевоту. Меняя пропорции, снег превращал волновавшее всех огромное событие в мельчайший след, в шаги запоздавшего прохожего, в скрип обмерзшей двери, настолько он был не только довоенным, но и доисторическим, молчаливым снегом, легко, от дыхания ребенка тающим, умирающим каждую весну, но и самым постоянным из всего, что знает русская история и русская душа.

Михаил, однако, не видел снега. Тишина казалась ему насыщенной мириадами приветствий и виватов. Положив на мокрое, в снежинках, лицо ладонь, чтобы защитить это бедное, полудетское лицо от дышащей на него новой любовницы, он бежал мимо наросших сугробов и редких патрулей.

Куда спешил Михаил? Порадовать папашино сердце, дряхлое сердце, с каждым месяцем все слабее ударявшееся о древнюю твердыню манишки? Или просто в поле, экстатичным языком беседовать с традиционным «болваном» всех любовных и прочих игр, с молчаливой природой? Наконец, может быть, имелись у него на примете нам неизвестные зрачки, расширенные присутствием не славы, а простой человеческой страсти? Нет, все эти предположения ошибочны. Ни на минуту не останавливаясь, Михаил бежал на Малую Васильковскую, где жил человек, как будто позабытый и нашим героем, и рассеянными читателями.

Почему Михаил не зашел к Артему прежде, не попытался найти опору у родного брата, сверстника игр? Ведь одиночество его угнетало, он готов был заговорить с осенним дождем, пожаловаться любой лошади. Самолюбие, проклятое самолюбие закрывало самую простую возможность. Папаши, еще недавно задиравшего ему рубашонку, он не стыдился. Другое дело Тема — равный и в то же время злостный соперник. Перед ним Михаил мог предстать только с победными реляциями. Как-то, случайно встретив брата, он прикинулся заговорщиком. Со всей фантазией газетного репортера он нарисовал героическую оборону Семеновских казарм, особенно останавливаясь на тех деталях, которые могли бы ожесточить Артема против него. Для этого он даже попытался восстановить в себе давно изжитую неприязнь к большевикам. Зато он утаил от брата единственную страницу своей биографии, равно понятную обоим: Октябрь. Он боялся, что, рассказав об этом, натолкнется на нежность серых глаз, более для него болезненную, нежели отчуждение. Он был рад, что положение Темы, занятого подпольной работой, устраняло возможность частых встреч. Не видя брата, Михаил, однако, напрасно пытался не думать о нем. Тема становился для Михаила чем-то нарицательным, за него по ночам говорили угрюмые орудия. Это о Теме, о его узком деле шумели полосы десяти газет, пренебрегая безупречной поэзией Михаила. Побежденный, казалось, видимостью жизни, театрами-миниатюр, реставрированным распорядком будней, Артем вдруг напоминал о себе то патрулями, то вокзальной паникой и перестрелкой, то ознобом «экст-

ренных выпусков» газет. Симптомы огромного исторического процесса в восприятии Михаила легко становились хитростями Артема.

Трудно в точности определить, как Михаил относился к брату. Пожалуй, это являлось единственным запутанным местом в его чувствах, обычно ясных и конкретных. Папаша вызывал в Михаиле лишь чисто утилитарные соображения. Папаша был для него предметом обихода, смотря по обстоятельствам, то полезным, то обременительным. Даже когда отец оскорблял Михаила, он испытывал умеренное раздражение, и только. Другое дело Артем: здесь можно было увидеть все градации человеческих чувств. Порой Михаил ненавидел брата, ненавидел до самозабвения. С какой радостью он бы его убил, но не исподтишка, нет, смакуя все торжество унижения, волоча за собой, как некогда кота булочницы!.. Ненависть легко сменялась мучительным пристрастием. Откровенно говоря, только один человек на свете и занимал Михаила: брат. И удачи Артема, и его напасти отдавались в Михаиле, еще со времен первых игр, физиологически остро. Кто знает, как ему хотелось в часы тоски, сиротства, отчаяния побежать к Артему! Зачем? Этого он сам не понимал. Он презирал брата, и вместе с тем ему хотелось спрятаться за широкие плечи Темы. Возможно, что в этом были повинны подсознательные воспоминания самых ранних лет, когда Теме приходилось волей-неволей нянчиться с младшим братом. Таким образом, слишком жидкий для того, чтобы быть осязаемым, образ матери заполнялся приметами старшего брата.

В последнее время, однако, главенствовала злоба, и отнюдь не идиллические мотивы ускоряли бег Михаила по Малой Васильковской. Герой, увенчанный Шейфесом с компанией, искал последней, наиболее сладостной награды — унижения брата. Наконец-то этот самонадеянный баран, способный лишь числиться мельчайшим колесиком организации, увидит всю незаурядность Михаила. Он нес ему хранившиеся еще в ушных раковинах ворохи аплодисментов и на кончиках пальцев парфюмерию дамских прикосновений, нес бюллетень славы.

Артем не спал. Все было исключительно буднично в этих комнатках, вплоть до оханья кухонных часов, вплоть до тараканов. После «кружка» с его люстрами и овациями, после триумфа это показалось Михаилу

прозябанием. Сам Артем, в серости пиджака, щек, глаз являлся тоже частью обстановки, может быть, даже наиболее будничной. Ведь его страсти, хорошо камуфлированные, никогда не бросались в глаза. Пододвинув табурет ближе к лампе, он читал номер московской газеты, своей смятостью и зачитанностью говорившей о трудности проделанного пути, причем в статичности сцены, в антураже чашек и часов, в размещении медовых ковриг света было больше от жанровых картин старых голландцев, нежели от пестроты и быстроты событий, переполнявших смятый лист. Михаил, не будь он столь занят собой, наверное, одарил бы эту сцену презрительной улыбкой. Такой революционности, то есть кротовой, подрывательной, с чтением под лампой, революционности защитного цвета, он никак не мог признать. Если подполье, если нет мажорных боев, романтизм все же должен продиктовать пароли, двойные выходы, особую интонацию шепотов. Теперь он, однако, даже не мог оглядеть брата. Его трезвости хватило лишь на то, чтобы разыскать достаточно путано расположенный флигелек. Уже стук в дверь выдавал экзальтированность. Являясь, кроме того, и поздним (кухонные часы доковыляли до трех), этот стук несколько встревожил Артема. Ведь близость сроков сказывалась не только в количестве бутылок, распиваемых посетителями различных ночных заведений, но и в таких запоздалых посещениях, за которыми обычно следовали недолгие сборы, две-три пустые заснеженные улицы, стенка и короткий залп. Артем был давно готов к подобному эпилогу и, услыхав нетерпеливый стук, машинально оглядел висевшую у двери шапку, эту единственную подругу, сопровождающую несчастливца по окольным улицам и вместе с ним падающую на тихий снег.

Нет, это был Михаил, тяжело дышавший от быстроты ходьбы, еще больше от импозантности минуты и всей нерасторопности человеческого языка. Артем обрадовался неожиданному приходу брата. Их чувства состояли в некоем соответствии, одно формируя другое. Артем не мог освободиться от материнской заботливости да и снисходительности к своему младшему брату. Не будь этого, он, наверное, при виде сомнительно печалящихся глаз Михаила испытывал бы только отвращение. Артем принадлежал к тем людям, которым органически претит всякая театральность,

начиная от наиболее оправданной, то есть от декламации профессиональных актеров и кончая аффектированными соболезнованиями или патетическими жестами обывателя. А жизнь Михаила разыгрывалась на ходулях. Занятый делом, Артем уделял мыслям о брате не много времени, но мысли эти были горькими и пропитанными жалостью.

Артем обрадовался Михаилу, почти забытому в кропотливой напряженности подпольной работы. Вид нахального чуба возрождал чехарду или бабки детских лет. Не желая вникать в значение прихода Михаила, в его бледность, волнение, он просто сказал:

— Ты?.. Вот хорошо! Хочешь чаю? Я поставлю самовар.

Нельзя было придумать ничего более кощунственного, нежели эти слова. Их действие на Михаила было катастрофическим. Сразу стали ощутительными и лампа, и часы, и тараканы. Они ползли на Михаила, со всеми манишками, со всеми калошами мира. Он делал глупейшие телодвижения, как бы отбиваясь от этого нашествия. Со стороны казалось, что он прыгает. Наконец он преодолел диссонанс встречи. Он стал говорить. Он говорил о своем триумфе, нет, он вслух восстанавливал его. Он переполошил тараканов люстрами и музыкой. Он заново повторял все стихи, и тысячи рук закидывали его звездообразными цветами. Его руки положительно сходили с ума, не зная, что им предпочесть: снисходительные пожатия или наполеоновский жест надменного одиночества. Кончался этот рассказ зрачками, уже отделившимися от лица женщины, помноженными на его фантазию, бушующим множеством звездных зрачков. После этого последовала пауза, ибо люди еще не выдумали соответствующих слов, заполняя словари идиотическими тараканами, а за паузой один только вздох, подкрепленный неопределенным жестом и означавший «славу».

Участие и брезгливость боролись в Артеме. Заболевание требовало, конечно, жалости, но своими отвратительными выделениями оно делало эту жалость подвигом. Какой чистой казалась эта тихая комната с шорохами тараканов до прихода Михаила! Теперь на стенах, как в кинематографе, шла проекция пошлейшей кабацкой истории. Речь Шейфеса заставила Артема, при всей его сдержанности, болезненно поморщиться. Это напоминало кислый запах блевотины.

Потребовалось большое напряжение взрослой нежности и снисходительности, чтобы не выкинуть Михаила за дверь, чтобы вместо этого, со всей сосредоточенностью боли, проговорить:

— Жаль мне тебя, Михаил...

Слова эти были сказаны хоть и вслух, но никому. Михаил присутствовал в комнате, однако они до него не дошли. Они показались ему абсурдом, как стихи знаменитого поэта из «кружка». Михаила можно было жалеть, когда он бежал по подмосковным полям, его следовало жалеть, когда он метил мелком рыжие калоши. Сколько раз тогда втайне он помышлял о теплоте, о сладости этой Теминой осторожной, как бы вскользь, жалости. Но теперь, после ночи в «кружке», речь шла не о жалости, не о глупой и наглой жалости, но о преклонении.

Михаил был слишком счастлив, слишком отрешен от привычных душевных рефлексов, чтобы рассердиться. Он только замолк. Идти домой было поздно: Артем, ссылаясь на тревожное время, не хотел его отпустить. Ему предстояло провести здесь ночь. Он прошел в кухню. Он слушал, как в трубах пела вода, и это являлось стройным продолжением приветствий. От непрерывности подъема он задыхался. Приоткрыв дверь из сеней во двор, он натолкнулся на чье-то лицо. Белизна снега позволила ему различить усы и погоны. Несмотря на всю отдаленность от окружавших его вещей, Михаил сразу понял — за Темой!.. Язык этой снежной ночи, с ее тихостью, с безумствованием вокруг бутылок шампанского, со всей многозначительностью нестройных залпов, стал ему теперь внятен. Действительно великой была ночь его вознесения и счастья. Даже события подтягивались: вместо тараканов они заговорили кобурами револьверов. В центре неизбежно стоял он, Михаил.

Поэтому последующее, во всей его необъяснимости, было для Михаила вполне естественным. Когда раздался грубый, трафаретный, как погоны, голос: «Артем Лыков?» — Михаил, хорошо понимая, что это приглашение не на пир в честь новой знаменитости, а на смерть, на смерть всерьез, на лаконическую и скудную смерть среди снежных пустырей, все же без запинки ответил:

— Да, это я.

Грубый голос был лишь видоизмененным голосом славы. Когда же Михаила вывели на улицу, он не думал ни об окружавших его людях, ни об Артеме,

жизнь которого спас. Он даже не думал о славе. Он уже находился в той фазе счастья, когда место мыслей занимают светлые туманности, быстрый бег ассоциаций, подобных пронизываемым прожектором облакам. Он глядел на пуговицы офицера и видел зрачки. Он улыбался.

Сказалась ли в поведении офицеров их, по тем временам, исключительная гуманность или же только усталость от повторности каждоночных сцен, то есть метания, залпов и судорог, но они, вместо естественного исхода (именовавшегося тогда «убийством при попытке к бегству»), доставили Михаила в бывшие меблированные комнаты «Скутари», приспособленные для содержания арестованных.

Испытания, однако, лишь начинались. Рослый субъект, с русой, тщательно выхоженной бородой, называвший себя «представителем астраханской армии», судя по гнилостной кислоте дыхания выпивший достаточно водки, почему-то, проходя по комнатам, заваленным телами арестованных, облюбовал именно Михаила. Был ли это чуб, хранивший свою демонстративную неуступчивость, или подвижность рук, или еще не разрядившаяся приподнятость общего состояния — неизвестно, но что-то определенно заставило офицера остановиться возле Михаила. Постояв с минуту молча, в той томительной напряженности, которая может разрешиться чем угодно — выстрелом, слезами или буйством,— человек этот придвинулся к Михаилу и начал его бить. Весь остаток неторопливой декабрьской ночи он уже провел здесь, неизменно повторяя те же короткие и тупые удары, сопровождаемые однообразной руганью. И в его голосе, и в его движениях было уныние засыпающего человека, и если бы не кровь на костистой руке, можно было бы со стороны подумать, что он совершает какой-то непонятный обряд. Он бил по носу, по глазам, без охоты, как нанятый на поденную работу, он забил бы Михаила насмерть, если бы рассвет на час не опередил бы смерть.

О жестокости гражданской войны, с выпарыванием семитических и арийских кишок, с вырезыванием перочинными ножиками на плечах погон, а на лбу звезд, то есть с кропотливым вырезыванием кусочков теплого склизкого мяса, со всеми ухищрениями, на которые способны мастера-самоучки, написаны уже тома. Но как не отметить здесь, ведя рассказ об отвратительной

ночи в бывших номерах «Скутари», одной черты, делающей жестокость глубоко традиционной? Не в самой жестокости суть. Достаточно вспомнить все историческое значение открытия доктора Гильотина или кайеннские лихорадочные топи, где, привязанные к позорным столбам, гнили героические инсургенты, чтобы не говорить о мягкосердечии других народов. Но редко где люди бывают в своей жестокости такими скучными, редко где смерть граничит настолько вплотную с подступающей прямо к горлу тошнотой, как на земле, прославленной долготерпением. И кто знает, к кому относится это хваленое долготерпение, кого приходится больше жалеть — истязуемого или истязателя,— когда оба они изнывают, охваченные скукой, той великой скукой, которая выворачивает челюсти, выдумывает черта и делает весь мир похожим на пыльную уличку, залусканную подсолнухами?

Михаил продолжал пребывать далеко от клетушек «Скутари». Напряженность внутренней работы делала его нечувствительным к физической боли. Едва прикрываемая рукой бородача, качавшейся как маятник при каждом ударе, к Михаилу приближалась смерть. Она была здесь своей, хозяйкой, среди постояльцев этих бывших «номеров». Михаил, который обошел молчанием и расспросы сотоварищей, и брань стилизованного опричника, от объяснений с ней не мог увернуться. Она подступала во всей ее простоте, делая даже безразличной обстановку предстоящей встречи: еще несколько тяжелых ударов или же белесость зимнего рассвета с проходами по коридору и с предварительным снятием сапог. Это приближение было слишком ощутимым, чтобы гадать о характере последних минут.

При всей ее жестокости эта ночь по отношению к Михаилу была известной заботливостью судьбы. Конечно, протрезвление наступило скорей обычного, подогнанное всей важностью часа. Водевильная слава не сочеталась с естественной торжественностью красного клейстера. Смерть требовала иной настроенности. Она превращала недавние голоса триумфа в отвратительное мяукание вербных гармошек. Ее немота была настолько выразительной, что слух терялся среди беззвучности пространства. Протрезвление произошло внезапно, во всей его полноте. На Михаиле еще значились сапоги, но он был внутренне гол чудовищной голизной белого, комнатного, несчастного тела, среди

сложности и нагроможденности вещей, мыслей, дел, которая пугает нас в операционном зале. Но ведь протрезвление все равно должно было прийти, раньше или позже, только измельченное, чтобы замучить этого самолюбивого человека всеми деталями глупейшего положения, стыдом перед собой, перед пьяными ценителями из «кружка», даже перед стоявшими на столиках бутылками. Оно все равно должно было завершиться встречей с серыми глазами брата, видавшими и приход и нелепые прыжки, фарсовый экстаз самодовольного наивца. Тогда мы вправе говорить о заботливости судьбы, сделавшей это протрезвление не провалом в слезливые трущобы раскаяния, но подъемом на еще неизвестные Михаилу высоты.

Одно мгновение он болезненно вздрогнул, припомнив эстраду «кружка» и себя на ней. Бородач, который принял эту дрожь за особенную меткость своего кулака, удовлетворенно ухмыльнулся. Но быстро мысли Михаила перешли к иному, большему. Его спасал масштаб состояния, спешка нескончаемых мыслей, импрессионистические наброски вместо вырисованной картины, а главное, неожиданный взрыв всех запасов человеческой нежности, никак не сумевшей проявиться в его жизни, если не считать нескольких заспанных снов, да еще, пожалуй, окраски глаз.

Эта нежность шла теперь к тому человеку, которого, как ему казалось прежде, он ненавидел: к Артему. Михаил в умилении вспомнил мохнатость ресниц, смягчающих металлическую волю глаз. Он вспомнил, как Тема когда-то клал ему на хлеб остатки сливового повидла, сам облизываясь и выдавая свое желание отведать лакомство только страстностью вопросов:

— Что, вкусно?

Михаил слышал слова, сказанные этой ночью: «Жаль мне тебя». Он отдавался этой жалости Артема, заполнявшей комнату присутствием той, которую зовут все смертники, будь то среди досок, шлюпок и арктических льдов или на заплеванных полах тюремных камер.

Он ощущал физически ее теплоту, мелодический трепет, соленость. Осознав наконец, что вне своего желания, по одной инерции, он спас брата, что Артем избежал качания этой русой бороды, что он является его заместителем в боли и в смерти, Михаил улыбнулся. Истязатель заметил эту улыбку. Он задержал под-

нятую руку и задумался. Потом же отчаянно зевнул и вернулся к прерванной работе.

Нежность была столь велика, что ее хватило и на тощую грудь папаши, снявшего манишку, и на продранные ботинки знаменитого поэта, на всех. Она золотила теперь его детство. Впервые вечно ему сопутствующий образ портного Примятина предстал в ином окружении. Исчезли чайная, мухи, смешные шажки пьяного портняжки — словом, вся тошнота, вся унижающая душу протокольная точность быта. Примятин не произносил анекдотических фраз. Он был птицей, легким жаворонком в картузе. Он летел, героически и блаженно.

Это уже являлось полусном. Михаил, ослабев, потерял сознание. Астраханец все продолжал его бить: ведь он бил не Михаила Лыкова, даже не большевика, одного из тех, что сожгли его беленький хутор, нет, он бил свою дюжую живучую скуку. Он кончил бить только тогда, когда резкость рассвета и переполох в номерах «Скутари» напомнили ему, что время убегать, не то через несколько часов другой бородач будет тупо бить его по носу.

Таким образом, смерть на этот раз замешкалась, опоздала. К вечеру Артем уже стоял с компрессами над головой Михаила. Залечить следы ночи в «Скутари» было делом нескольких недель. Но благодетельность происшедшего внутреннего слома не подлежала зарубцеванию. Михаил, который месяца два спустя встречал на Крещатике шедшие из Броваров полки красных, был новым Михаилом, не кандидатом в вожди и не знаменитостью, нет, просто человеком в толпе, одним из тысяч, который разделял общее волнение «идут? не идут?», который улыбался, потому что в этот весенний день улыбались все.

Таковa целительная сила героизма.

МОФЕКТИВНАЯ СЕКЦИЯ СОБЕСА

Правильное распределение рабочей силы — необходимое условие для государственного преуспеяния, скажут нам рассудительные граждане. Мы не станем, разумеется, спорить с ними. Мы только скромно заметим, что если влюбленный и забывает иногда вовремя пообедать, нарушая таким образом

методичность своего пищеварения, то это ничуть не умаляет патетичности его чувств.

Факт, взятый вне окружения той весны, может показаться неправдоподобным: в одном из особняков Липок, в салоне, где красовались три колченогие табуретки и ампирный секретер с наклеенным на него при описи инвентаря большим ярлыком, под малиновым плакатом, витиевато вещавшим, что «социальное обеспечение — венец на челе пролетариата», среди безвозрастных фребеличек, от экзальтации теряющих жидкие хвостики наспех закрученных волос, среди оставшихся после постоя красных партизан поломанных винтовок, а также среди по чьему-то недомыслию доставленных сюда двух писклявых подкидышей, сидел наш герой, один чуб которого достаточно предохранял его от возможности смешения с кем-либо. Причем по тому, как уверенно читал он упомянутым растрепанным особам нечто полное спецификации о «социальном воспитании мофективных детей», было ясно, что его пребывание на колченогом табурете не является случайным, но постоянным, скорее всего служебным. Чтобы устранить упреки в фантастичности биографии Михаила Лыкова, вскоре после вторичного прихода красных в Киев оказавшегося сотрудником мофективной секции подотдела защиты детства Наркомсобеса Украинской Советской Социалистической Республики, мы должны напомнить читателям о некоторых ненормальностях этого прекрасного времени, справедливо приравненного нами к эпохе влюбленности.

Чем занимались люди в течение первых трех-четырех лет революции? Если не брать в расчет некоторых занятий, равно обязательных для всех, как-то: бесчисленных заседаний, взаимного истребления на фронтах, голодания или стояния в очередях,— то окажется, что все занимались тогда неприсущими им делами. Диктовалось это не только, скажем, даже не столько привлекательностью пайков различных главков с наименованиями, малопонятными для большинства населения, но главным образом общей сумятицей, в которой окончательно перепутались все идеи и все профессии. Замечательное время, когда поэту из «артистического кружка» была поручена статистика госконтроля, когда биржевой хроникер Шейфес занимался не чем иным, как охраной материнства, а гардеробщик Григорий организовывал ботанические экскурсии при всеобуче!

Нас удивляет скорей папаша, не сделавшийся, вследствие своего крайнего консерватизма, инструктором какой-нибудь коллективно-мимической студии, нежели Михаил, покорившийся сумасшедшей логике событий и в ответ на предложение, сделанное ему одним из бывших посетителей «кружка», согласившийся направиться в собес. Ни паек, ни мандаты не играли в этом решении никакой роли. Михаил был одержим жаждой деятельности и, не обладая квалификацией, согласился работать над чем угодно, лишь бы работать. Лихорадочная активность тогда овладевала всеми, и экзальтация собесовских фребеличек отнюдь не была исключительной.

Киевляне встретили большевиков, как встречают на глухом полустанке столичные газеты. Изнемогавшие от паштетных и от холостых переворотов, от гетманцев и от петлюровцев, с равным усердием насаждавших одни «твердый знак», другие «мягкий» и этим ограничивавших культурное строительство, они кинулись в гущу бесчисленных комитетов, комиссий и совещаний. Это было время проектов и смет, пусть потом безжалостно обкорнанных цензурой жизни, но от этого не ставших ни глупыми, ни праздными, какими хотят их представить теперь иные чересчур прозревшие мечтатели. Не пора ли нам перенести обличительность наших усмешек с юноши, детально проектирующего установку всеобщего счастья, на его позднейшее перевоплощение, то есть на брюзжащего скептика, для которого ограниченность средств из беды превращается в некоторый пафос жизни, для которого отсутствие теорий — теория, а хозрасчет — единственное мерило человеческих идеалов?

К прискорбию, мало что сохранилось от того периода. Даже так называемые «материалы», то есть вагоны бумаги, исписанные благородными фантастами, были сожжены, частью перед приходом белых перепуганными домкомами, частью впоследствии для растопки «буржуек», отличавшихся плохой тягой. Сколько высокого и завлекательного таили эти сгоревшие проекты! Жизнь, нарисованная в них, обладала притягательностью возвращенного рая. «Дворцы труда» и «дворцы искусства» высились чуть ли не в каждом квартале, причем названные, очевидно, в честь детских сказочных воспоминаний «дворцами», они оправдывали свое название. Сколько непонятных чертежей,

сколько десятизначных цифр, сколько садов на крышах и электрических вентиляторов! Это все предназначалось для какой-нибудь Демиевки, где нет не только дворцов, но и порядочного дома с водопроводом и канализацией, где взор прохожего обнаруживает, вместо проектированных цветников, мальчугана, остановившегося в подозрительной позе у забора, под сакраметальной всероссийской мольбой: «Останавливаца воспрещаица». Архитекторы покрывали Киев скверами, отводя услужливо место скульптурам не только для десяти разновидностей Карла Маркса, но даже для памятника некоему борцу за освобождение мартиникских невольников. Музыканты обещали в ближайшем будущем исполнение на заводских гудках новых рапсодий. Педагоги уже видели всех детей резвящимися во «дворце ребенка» (конечно же, во дворце!). Они спорили только о том, как должны выглядеть комнаты для отдыха чересчур впечатлительных к ярким тонам детей. Что касается врачей, то они заботливо отсылали всех киевлян в крымские «дома отдыха». Но разве мыслимо перечислить, хотя бы вкратце, содержание этих пудов бумаги, согревшей на месяц сердца людей, а потом, в тяжелую зиму, на час, их иззябшие тела? Если среди них имелся проект подачи сигналов красному Марсу и смета на всеобщее обязательное обучение пластике, дабы превратить корявую походку граждан в грациозное порхание, предпочтем все же взволнованное молчание невзыскательной насмешке.

Подобно прочим учреждениям, мофективная секция собеса предавалась, конечно, проектам. Несоответствие между ними и действительностью было впрямь поэтическим. Секция обсуждала целесообразность для мофективных детей различных видов театральных зрелищ. Доводы сторонников музыки и мимики, вырываясь из салона, облетали большой барский сад с жасмином и белой акацией в цвету, граничивший с другим барским садом, где тоже цвели жасмины, и принадлежавшим дому бывшего генерал-губернатора, отведенному теперь под Губчека. Жестокость времени и отнюдь не идиллические нравы бывшего губернаторского дома никак не отражались ни на жасмине обоих садов, ни на нежности секции, ни на голубизне воздуха, хоть и прорезываемого часто страшными в своем лаконизме выстрелами, но все же весеннего и революци-

онного, вдохновившего людей где-то, очевидно, на границе между двумя садами, создать афоризм, долго красовавшийся на киевских стенах: «Будьте беспощадны, чтобы детям улыбнулось золотое солнце коммунизма».

Секция трудилась без устали. А на местах, в исправительных заведениях для малолетних преступников и проституток, именовавшихся по-новому «детскими домами», те же ремни полосовали спины. Что касается рук девочек, то они в своей пятнистости говорили о виртуозности щипков надзирательниц, этих старых дев, вымещавших на преждевременных грешницах одиночество и отверженность. «Центр» (то есть описанная нами секция) возмущался и посылал энергичнейшие инструкции. На местах досадливо читали параграфированные заверения об отсталости и непедагогичности щипков, а прочитав, пускали листки в несоответствующий оборот. На местах ждали хлеба и ситца, ждали напрасно. Ночью девчонки спускались по веревке вниз и бежали к военным с криком: «Дяденьки, мы могим!» «Дяденьки», в благодарность за необходимые, по обстоятельствам военного времени, услуги, награждали этих вундеркиндов щами, колбасой и сифилисом. Мальчишки же утекали предпочтительно к различным «батькам», к Стрюку или Тютюнику. Менее предприимчивые с голодухи обжирались кормовой свеклой и гибли от дизентерии.

Что касается секции, то она разрабатывала проект «опытно-показательной колонии с трудовыми процессами». В выработке проекта принимали участие все спецы. Дебаты шли с утра до ночи и отличались исключительным жаром. Контрастность проектируемого рая с отчетами вернувшихся из ревизионной поездки педагогов усугубляло рвение сотрудников секции. Ошалевшая воспитательница, прибывшая из Новозыбкова или из Ромен чуть ли не пешком с твердым намерением либо раздобыть ситцу, сахару, керосина, либо, не возвращаясь в темный, голодный, бесштанный дом, умереть на глазах у начальства, прежде всего волей-неволей получала лошадиную дозу проекта. Увы, и сахар и ситец являлись для секции абстракцией. Делегатка сначала грозила и бранилась, но вскоре привыкала к единственности проекта. Неделю спустя она, сама того не сознавая, вступала в какую-нибудь четвертую подкомиссию,

обсуждавшую некоторые детали организации этой воистину титанической «опытно-показательной колонии».

(Было ли тогда что-нибудь в России не «опытно-показательным»? Быстро забылось это время, быстро сгорели проекты, и только поныне красующаяся в Москве, на Неглинном проезде, загадочная для детей вывеска «Показательное производство халвы» говорит о былом.)

Фребелички волновались, вводя в программу предполагаемой колонии гимнастику по Далькрозу и многоголосую декламацию. Но что делал Михаил? Как мог он применить к такому достаточно специальному делу свой наивнейший пыл? На этот вопрос трудно ответить. Есть лихорадочная видимость работы, плетение из рогожи расплетаемых потом кулей, которым гуманные британцы исправляют каторжников, есть маршировка, даже бег на месте, утомляющий подвергнутого этому экзерсису не менее, нежели обыкновенный бег. В бывшем салоне, где помещалась секция, от беспрерывных заседаний, от цокания «ремингтона», от номеров исходящих, от количества и фасонистости секретарш у провинциала шла кругом голова: казалось, здесь не до него, здесь управляют по меньшей мере государством. Это было иллюзией, но иллюзией, захватывавшей и самих сотрудников, промотавших и голос и голову на сотнях заседаний.

Михаилу казалось, что он работает не покладая рук, и, несмотря на это, мы все же затрудняемся определить характер его работы. Числился он по ведомости «делопроизводителем», но никакого отношения к делопроизводству не имел, так как сразу был привлечен заведующим секцией к обсуждению знаменитого проекта в качестве человека, знающего быт и психологию беспризорных детей. Вначале некоторая робость, усиливаемая сознанием своего невежества, обрекала Михаила на примитивные жесты статиста. Но, чуть освоившись с терминологией, он стал вмешиваться в дебаты. Он иллюстрировал предложения различными воспоминаниями из собственного детства, производившими на чинных подслеповатых фребеличек совершенно ошеломляющее действие. Он являлся местным Максимом Горьким. К его голосу прислушивались, как к «голосу социальных низов». Это был эксперт по части жестоких забав и безысходной

сиротливости городского ребенка. Заведующий секцией гордо докладывал самому наркому о наличии пролетарских элементов в комиссии, разумея под ними, конечно же, нашего героя. Рассказ о покушении на телескопа (из стыдливости приписанный Михаилом другому мальчику) имел исключительный успех. Старый психиатр, от восторга в сотый раз роняя пенсне, пришептывал:

— Так вы говорите, он хотел ослепить? Интереснейший казус!

О телескопе должна была появиться статья в проектировавшемся «Вестнике социального воспитания Екатеринославщины». Таким образом, Михаил вновь подвергся испытанию славой, на этот раз замаскированной и потому сугубо опасной. Здесь не было ни шампанского, ни кабацкой дешевки восторгов. Лирически-деловая атмосфера располагала к доверчивости. Придя сюда с простым желанием работать, поборов все тщеславные побуждения, Михаил неожиданно оказался опять на положении героя, и, разумеется, его впечатлительная натура не могла отнестись к этому с должным безразличием. Все время он находился в приподнятом состоянии. Перед каждым заседанием он волновался, подобно молодому актеру перед поднятием занавеса, обдумывая, какой бы дикой и жестокой историей из своих детских лет ошеломить слушателей.

Увы, весь запас воспоминаний однажды оказался окончательно сношенным. Начались повторения со столь мучительными для рассказчика вставками теряющих терпение слушателей: «Да, да, об этом вы уже говорили нам». Михаил попробовал смириться и вновь перейти на первоначальное положение молчаливого ученика, но тогда весь знаменитый проект, еще недавно почитаемый им за прекраснейшее выражение человеческой воли и фантазии, стал казаться ему глупейшей дамской затеей. Быть в стороне он положительно не мог. Оставалось начать выдумывать всякую дичь поособенней и пострашней, выдавая ее за свои подлинные переживания или наблюдения. Михаил предался этому с усердием, ночью изобретая истории и потрясая ими днем наивных фребеличек. Благодаря своим способностям ему удалось сохранить центральную роль. Однако тщеславие, раздразненное и благодарностями заведующего, и вниманием дам, и предполагаемой статейкой о телескопе, требовало

дальнейшего продвижения. Мало-помалу Михаил стал вмешиваться в теоретические споры педагогов, даже психиатров. Ни деликатные намеки председательствующих, ни досадливый шепот экспертов не могли уже его остановить. Он расценивал это как интриги завистников. Сознавая все же свое невежество, он как-то раздобыл учебник психологии для средней школы и попытался одолеть его. Но не те были времена: люди тогда с трудом дочитывали даже две полосы куцых газет. События происходили на улице, прямо под окнами, так что не требовалось и телеграмм. Учебник был отброшен. Выступления же продолжались. Восторг перед разговорчивым «представителем пролетариата» давно сменился общим возмущением. С ним еле здоровались; когда он подсаживался, все замолкали. Тяжесть этого молчания предсказывала близость грозы. Действительно, одно из заседаний, посвященное анализу сравнительного влияния на дефективных детей жиров, белков и углеводов, кончилось необычайно. Когда Михаил, взяв слово, авторитетно заявил, что полезнее всего белки, председатель прервал его и закрыл заседание, ввиду «невозможности при создавшемся положении продолжать спокойное обсуждение вопроса».

Михаил был взбешен. Он вновь пережил далекий час, когда Минна Карловна плюнула на душу Мишки. Его, обычно бледное до фисташковых тонов, лицо сделалось густо-красным. Кровь не отступала от головы, заменяя стройное чередование мыслей гулом, прыжками ассоциаций, приступом звериной злобы. Как он ненавидел этих шамкающих экспертов и приличных дам, которые, сами не сумев родить хотя бы одного ребенка и зазубрив сотню иностранных словечек, считают себя компетентными судить о всех детях мира! Михаил был Мишкой, он-то доподлинно знает, что такое детство на Еврейском базаре, он более вправе заседать здесь, чем все прославленные спецы. Если ему не дают говорить, если его оскорбляют, то это только потому, что революция в рассеянности победы проглядывает своих врагов. Разве ему не говорили, что он «представитель пролетариата»? И что же — десяток буржуев, запрятавшихся в секцию от трудовых повинностей, теперь изгоняет его. Стерпеть это невозможно. Нужно кричать караул, нужно разогнать псевдоученых обманщиков, восстановить авторитет Михаила. Все

слышанное им прежде от делегатов с мест теперь вставало в памяти, помогало подвести итоги, требовало возмездия. «Там ребята свеклу жрут, а эти о музыке разговаривают...» Нет, медлить нельзя!

Михаил еще стоял, а руки его уже тронулись с места, указуя направление. Он еле помнил себя. Он не разбирался ни в разумности своих поступков, ни в нумерации домов. Но два слога, страшные и патетичные для любого гражданина, пережившего годы революции, два слога, предшествовавшие «маме», ибо ими пугали в колыбели, как некогда «букой», и сопровождавшие несчастливца даже после смерти, вплоть до выгребных ям, два простейших слога, которых запамятовать не дано никому, оказались в сознании Михаила среди всей бесформенности, всей немоты его бешенства. Акация одного сада белыми пахучими кистями свешивалась в другой. Дежурному, выдававшему пропуска, Михаил, путая все вместе — и свеклу на местах, и брюшко психиатра, и свое пролетарское происхождение,— тщился изложить преступные замыслы соседнего особняка. Звучало это неубедительно, и дежурный, лениво позевывая, никак не хотел пропустить Михаила наверх. Фребеличкам повезло: этот дежурный, несмотря на молодость, обладал известной долей скептицизма. Он знал, что в легендарную Чека порой заявляются расхрабрившиеся от злобы обыватели (до революции прибегавшие к господу Богу и к серной кислоте), чтобы покарать наставившую рога супругу или же утвердить первенство одного художественного таланта над другим. Дежурный чекист признавал реальность деникинцев и петлюровцев, эсеров и спекулянтов. Что касается педагогических разномыслий, то, находившиеся вне его профессионального применения, они казались ему литературой. Любительское кляузничество ему претило. Словом, это был весьма положительный и трезвый чекист, безо всякой достоевщины, из тех, что не раз воспевались нашими комсомольскими авторами. Он предложил защитнику детей обратиться с соответствующим докладом непосредственно к Наркомсобесу.

Однако Михаил в беспамятстве продолжал негодовать. Он дошел до предположений, что чекист сам снюхался с саботажниками, после чего и был деловито вышвырнут на улицу.

Нужны были часы, часы сумасшедшей беготни по городу, лишенной всякой цели, нужен был поднявшийся

к вечеру холодный ветер, стягивавший кожу и умерявший разгоряченность чувств, нужна была темная ночь, неизменно оголяющая и мир и человеческую совесть, чтобы Михаил опомнился. Но какой же большой и неприветной была эта ночь, с темнотой, с выстрелами и с оханьем нудного «яблочка», распеваемого призывниками, со всем осознанием своей мелкости и дрянности! Беспризорное детство не было одними рассказами на заседаниях секции, оно еще длилось. Ребячество и подлость сожительствовали в этом неуемном сердце. Только что желавший гибели своих воображаемых врагов, показавшийся дежурному в Губчека не суровым спецом террора, а дилетантом анонимных ночных жестокостей, словом, мелкий, к тому же неудачливый злодей, как он был все же трогателен в своей непритыканности, в раскаянии, в теплоте паршивейших слез, которыми тщетно пытался умилостивить неприязненную ночь!

Короткий срок отделял эту ночь от ночи в бывших номерах «Скутари»: три месяца, девяносто дней. Подчеркивая всю короткость этого срока, мы хотим лишь напомнить и критикам, готовым встретить с недоверием нашу подлинную историю, и судьям, которым дано судить не книги, а людей, в какой тесной близости живут подвиги, прославляемые поэтами различных эпох, награждаемые всеми орденами, и пакость человеческой тли.

ШЛЕМ И ПАРТБИЛЕТ. СТОИМОСТЬ УЛЫБКИ

Разгримированный снова, осознав до конца комедийность трех пустых месяцев, Михаил принялся за тщетные поиски места, где бы он мог честно работать. Такого места не было, вернее, Михаил не обладал никакими знаниями, никакими выраженными пристрастиями, никаким опытом, ничем, что помогло бы предпочесть одно учреждение другому. Он еще долго носил бы по крутым, утомительным улицам Киева свою растерянность и тоску, если бы за его устройство не взялась судьба. Расклеенные по городу плакаты о мобилизации в четверть часа устранили необходимость чересчур трудного выбора. Профессия создава-

лась условиями, поколение Михаила должно было учиться воевать. Оно училось и научилось, научилось настолько, что для него день демобилизации явился столь же трагическим в своей неопределенности, как для бородатых запасных июльские дни четырнадцатого года.

Михаил наконец-то нашел свое место, кочующее, с чередованием побед и поражений, со всеми возможностями преданности, героизма и беззастенчивой жестокости, место по себе. Гражданская война стала его университетом, армия — семьей. Как нельзя быстро он привык к новой роли. Фронт, казавшийся ему прежде чем-то нудным и неподвижным, вроде ревматизма, гнущего ноги, тупой отсидкой в мокрых окопах, был живым, летучим, чудовищным и привлекательным, как бред тифозного, наконец-то вырвавшегося из лазарета. Впервые его авантюризм расценивался не как преступление, не как мальчишество, но как полезное свойство, вроде крепких рук или хорошего зрения.

Вскоре после мобилизации Михаил стал членом РКП. Это совершилось легко и просто, причем место прежних колебаний и раздора заняла естественная последовательность движений. Россия, Красная Армия и РКП в сознании Михаила, теперь совсем не склонного философствовать, увязывались в одно. Положение и упрощало и укрепляло его. Михаил воевал, и поэтому он мог не думать,— наш герой высоко ценил эту своеобразную привилегию. Он наслаждался своей внутренней неответственностью.

После первых же стычек с бандами возле Межигорья он почувствовал себя обновленным, как больной, проделавший курс кумысного лечения. Он нашел себя. В этом, как и во многом ином, он остался верен своему времени. Можем ли мы представить себе героя наших дней хоть год не носившим на голове высокого шлема с горделивой звездой, а в боковом кармане магического кусочка картона, именуемого партбилетом?

Войдя в партию после двух лет притяжений и отталкиваний, со стажем достаточно противоречивым, в котором при каждой очередной «чистке» приходилось номерами «Скутари» выкупать левоэсеровский клуб, Михаил принес с собой сохраненный от Октября энтузиазм и честность бродяги, польщенного оказанным ему доверием. В этот период своей жизни, после политического донжуанства, он предавался

дозволенной чистоте семейного счастья, то есть естественному участию в государственной, монопольной и все же революционной, то есть живой, партии. Теоретическими или практическими вопросами он интересовался в меру, не более чем того требовали курсы политграмоты, но партию любил цепкой любовью моряка, гордого своим судном. Это чувство должны понять те, кто только недоуменно разводит руками перед исключительной дисциплиной и героической преданностью, неизменно выручавшими компартию в часы наибольших опасностей. Нет, не страх, не механическая муштра, но огромная органичная привязанность вела десятки тысяч ее членов на бесчисленные фронты, на «субботники», где люди руками проталкивали груженые вагоны или, очищая город, охотились за тифозными вшами, на все виды жестокой и неприряженной работы, на ордера оперативных отделов Чека, на горе, на расстрелы, решительно на все.

Любовь Михаила к партии менее всего напоминала приверженность к идее, фанатизм сектанта, восторг мыслителя перед реальным воплощением своих теорий. Это была любовь не вождя, не вдохновителя, но обыкновенного рядового члена. Всего вернее будет сравнить ее с патриотизмом молодого и впервые берущегося за государственное строительство народа. Эта любовь питалась боевым юношеским задором и первым осознанием своей силы. Маршируя рядом с другими, Михаил хмелел от резонанса шагов, от одинакового наклона остроконечных шлемов, множа все это на грандиозность зеленого пятна географической карты, не перестающую волновать любого русского человека. Здесь был пафос множества. Поэтому другие партии он отвергал не за ошибочность идей, не за разность устремлений, но исключительно за их немощность. Критика меньшевиков ему была, прежде всего, смешна, как была бы смешна французскому шовинисту мобилизация Монако или Андорры. Не знавший большевистского подполья женевских или парижских времен, Каружа и Монружа, воли к победе крохотных кружков, он, сам того не понимая, ставил знак равенства между правотой и силой. Если такая арифметика и не отличалась углубленностью, в этом не было его, Михаила, вины: он рос в те годы, когда все человечество, исчерпав словесные запасы, от Евангелия до революционных энциклопедистов, перешло к артиллерийской аргументации.

Итак, Михаил был счастлив в своей новой роли, счастлив, несмотря на общую встревоженность, на сказывавшийся тогда ущерб дела, которому он посвятил себя. Его части приходилось, что ни день, выступать против различных банд, все ближе и ближе подходивших к Киеву. Две наиболее многочисленные из этих банд, имевшие даже некоторую видимость политической идеологии (скорей всего для облегчения работы иностранных корреспондентов), так называемые «деникинцы» и «петлюровцы», подходя с запада и с востока, клещами сжимали и без того расплющенный грозовым двухлетьем город. Хотя газеты писали, как пишут при подобных обстоятельствах все газеты мира, о мелких военных успехах и о революционном брожении в Скандинавии, кроме газет имелись нервозность членов коллегии, словоохотливость красноармейцев, грохот грузовиков, мчавшихся к вокзалу, и грохот поездов, мчавшихся на север,—словом, десятки примет, по которым обыватель определяет политическую ситуацию, как по форме облаков или по полету птиц предугадывает он погоду. Достаточно было взглянуть на два знакомых нам особняка, окруженных садами с уже отцветшей акацией, чтобы догадаться о сути происходящего. Один из них был теперь тих и пуст, напоминая дачу после окончания каникул. Отсутствие фребеличек с их майским прекраснодушием могло быть легко приравнено к осеннему отлету птиц. Зато в другом доме шла напоследок горячая работа. Одышка непрерывно подъезжавших к воротам автомобилей и ночные выстрелы являлись конкретным выражением того, что, перенесенное на язык газет, именуется «хлопанием дверью» и что, вопреки лицемерным заверениям наших кобленцских моралистов, присуще всем партиям и всем классам, терпящим в жестокой борьбе неудачу.

Так подоспел день эвакуации, душноватый летний денек. Красные отходили на север, к Чернигову. По Крещатику шли один за другим полки, молча, хмуро, со сдержанностью игрока, решившего отыграться и пасующего в ожидании хорошей карты. Это был седьмой или восьмой переворот, и прошедший горькую учебу, драный город сохранял видимость будничного спокойствия. Впрочем, те, кому нужно было радоваться, разумеется, радовались. Еще Крещатик полнился топотом красных, а в укромности завешенных гардинами квартир уже выволакивались на свет божий

хранимые пуще души офицерские погоны, послужные списки, различные займы, акции, купчие, закладные, иконы (уступившие было место всезащитительным ликам Карла Либкнехта или Розы Люксембург) и попросту бриллианты, долженствующие определять социальную значимость некоей мадам Горченко. Что касается окраин, то они умели разделять сдержанность отступающих. Окраины верили в обратное возвращение красных, как в обязательное климатическое явление. Угрюмость этих молчаливых и все же мучительных проводов, лишенных речей или знамен, несколько смягчалась той теплотой, которая, выражаясь в малозначащих словечках участия, в подносимых «землячку» ковше воды или пироге, все же выходит из подвалов сердец, становясь атмосферой и придавая даже тишине форму самого красноречивого сочувствия. Все это было в порядке вещей, то есть уже стояло в программах шести или семи переворотов: и радостная суетливость одних и ощеренное молчание других, при замечательном безразличии классического обывателя, озабоченного покупкой хлеба про запас (мало ли что будет впереди?) и твердо помнящего, что как ликование, так и возмущение — вещи для него недоступные, за которые приходится порой расплачиваться жизнью.

Среди красноармейцев, проходивших молча по Крещатику, находился и Михаил. Общая угрюмость сказывалась уже в походке. Он ступнями въедался в летний размягченный асфальт, как будто пытаясь оставить на нем отпечаток своего присутствия. Еще не приученный к переменчивости военных успехов, он воспринимал это отступление с наибольшей горестью. Ему казалось: командуй он Красной Армией, Киев не был бы сдан. Как можно подарить врагу город, хороший большой город, с не разрушенными еще домами, со всем его живым и мертвым инвентарем? Стратегия ничего не говорила Михаилу. Зато азарт был его родной стихией. Он подчинялся потому, что ничего другого ему не оставалось. Судьба Киева и судьба Михаила — все это находилось теперь не в его власти, за него решали другие. Но горечь от этого не уменьшалась. Лишенная действенного исхода, она заражала весь организм. Глаза, изменяя привычной пастелевой печальности, вызывающе посвечивали. Хлеб был не съеден. Что касается слов, то даже когда его товарищ, некто Башилин, шедший с ним рядом, в упор спраши-

вал у Михаила что-нибудь, слов все же не оказывалось. Молчаливость других, сгущаясь в Михаиле, доходила уже до патологической немоты.

Он шел, опустив голову вниз, глядя, таким образом, исключительно на свои ноги. Возле здания Совета пришлось задержаться. Обозные телеги, спускавшиеся из Старого города, забили площадь. Стоять было особенно невыносимо. Михаил поднял голову, оглядел улицы, памятник всеобучу из гипса, казавшийся особенно хрупким, как будто бы ощущавшим, что доживает он свои последние часы (на следующее утро белые действительно разбили его), торговок с пирогами и с фруктами, прохожих, дома. Будничность окружения еще более растравляла его. Люди шли настречу, по делу, за припасами, домой, как будто ничего не приключилось. Фрукты торговки нагло хотели пережить историчность короткого дня. В фасадах домов, как и в сухости лиц, он читал нежелание разделить с ним горестность минуты. Вдруг он заметил улыбку, именно улыбку, а не улыбающегося человека, так как черты лица не дошли до него. Улыбка, однако, была настолько выразительной, что одна заменяла и паспорт ее предъявителя, и справку о политических убеждениях,— преждевременная улыбка, приготовленная на завтрашнее утро, когда должна была, вместе с астрами сангвинических дам, полететь под копыта осетинских лошадок, нетерпеливая улыбка, вылетевшая из кокона этак за сутки до положенного срока. Ненависть Михаила только и жаждала конкретизации. Как мог он ненавидеть невидимых офицеров или тем паче «империалистов Антанты»? Теперь была найдена точка прицела. В одурманенной голове улыбке уже ничего не стоило разрастись до титанических размеров, стать не только натянутым символом, но и живой душой всех неудач революции.

— Куда ты?—спросил Башилин.

Но Михаил не мог ему ничего ответить. Повинуясь своим рвущимся к делу рукам, он побежал за угол. Ему пришлось подняться на третий этаж. Ничего не соображая, сбивая с ног людей, Михаил всецело отдался своей ненависти. Она нашла и подъезд, и квартиру с балконом. Руки Михаила, эти тонкие, почти женские руки, наконец-то могли расквитаться за улыбку. Дело прошло молча, без крика, без метаний или погони, короткое мелкое дело. Мягкощекий человечек, один из тех, что толкались возле кондитерской Семадени, неся

в жилетке живот и «интересуясь с фунтами», лежал теперь на коврике передней. Удар прикладом стер наглую улыбку. Лицо убитого, утратив теперь и эту продиктованную политическими соображениями улыбку, и профессиональную настороженность, голое лицо сохранило лишь обиду, ребяческую трогательную обиду человека, которому не хотелось, как и всем людям, отдавать пусть плохонькую, обывательскую, не отмеченную ни высокой идеей, ни подлинными страстями, но все же теплую, надышанную, уютную, бесконечно дорогую жизнь.

Сбежав вниз, Михаил почувствовал такое облегчение, как будто происшедшее только что на третьем этаже меняло весь характер эвакуации. Его шаги приобрели даже известную бодрость. О сожалении не могло быть речи. Беззаконность? Но какие же существуют судьи в арьергарде отстреливающейся армии, кроме винтовок и истории? Жестокость? Да, конечно. Однако жестокой была и улыбка, жестоким был этот тёмный уход, перед всполохнутыми радостью балконами спекулянтского Крещатика, жестокой была вся жизнь.

На углу Михаил остановился купить у бабы сливы — он выздоравливал, он вдруг почувствовал, что со вчерашнего вечера ничего не брал в рот. Торговка, спешно прикрывая своим задом сливы, завизжала, как будто Михаил хотел убить ее. (Впрочем, тот, наверху, молчал,— очевидно, так визжат люди, цепляясь не за жизнь, а за содержимое кошелька.)

— Не дам! На что мне пятаковки твои!

Будь это пять минут назад, баба недешево заплатила бы за свою скаредность, но теперь Михаил, просветленный законченной операцией, только добродушно усмехнулся:

— Да не визжи ты. Я тебе керенку дам.

— Ты где был? — спросил Михаила Башилин, когда наш герой, догнав свою часть, как будто ничего не произошло, зашагал дальше.

— Я? Покупал сливы.

ЭПИЗОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Где несутся, без интервалов, сменяющие друг друга кинофразы, не зная ни придаточных предложений, ни пауз, лаконичные картины преступления, пого-

ни, смерти, там нет места психологическому анализу. Углубление чувств, конечно же, роскошь, и не всегда человек может ее себе позволить. А приписывать Михаилу, гоняющему белых или махновцев, как гонял Мишка аллегорических собак Еврейского базара, умилительные состояния толстовских героев или хотя бы перманентное сознание мировой значимости борьбы за коммунизм мы не станем. Мы находим нашего героя достаточно живописным и без этого, с его загрубевшей, как кожа на ветру, душой, с поредением и слов и чувств, обременительных в походной жизни.

Не протоколируя по порядку событий тех месяцев, мы, вместо исторического перечисления боев и разведок, ограничимся лишь свидетельством, что орден Красного Знамени, столь удививший три года спустя некоторых москвичей, был Михаилом честно заработан. Рассказами о храбрости в обстановке военного времени трудно теперь кого-либо удивить. Долгие годы были не чем иным, как школой смелости, и, находясь безразлично где — в вагоне трамвая, на Сухаревке или же на театральной премьере,— можно быть уверенным, что окружающие люди по меньшей мере раза три обретались на знаменитом и, очевидно, магическом в своей непереходимости «волоске» от смерти, умеют распознавать голоса всех дюймовок мира, сидели в Чека или в контрразведке, катались на буферах и на крышах,— словом, что место им не на базаре, не на галерке, а на страницах авантюрного романа. Кажется, что описанием рыбной ловли или токания глухарей, этими классическими длиннотами наших предшественников легче теперь и озадачить и увлечь читателя, нежели самыми легендарными похождениями из недавнего времени гражданской войны.

Но не одну храбрость воспитало это время: оно явилось школой, где без помощи фребеличек человеческая личность буйно и достаточно неожиданно разрослась. Бои за Донбасс, захват Северного Кавказа, наконец, взятие Перекопа — все это было не только торжеством коллектива, но и ростом, упорством, силой скромнейших дотоле человеческих дробей. Армия побеждала без Наполеона, ибо «наполеонствование» являлось достоянием каждого, вплоть до плюгавого фельдшера из Кимр, гордого и своим новым наименованием «помлека», и своей классовой сознательностью, и своим правом на победу.

Таким образом, рядом с историей армий, бригад и полков существуют бесчисленные истории рядовых участников войны, причем жирные даты последних редко совпадают с датами общих побед или поражений. Возвращаясь к Михаилу, мы должны вкратце остановиться на некоторых, для него одного существенных, днях.

Первым из памятных ему был сырой и ветреный день, созданный для насморка или для флюса, когда Михаил очутился вновь в своем родном городе при довольно тяжелых обстоятельствах. Бои с белыми шли на улицах. Крещатик был линией фронта, по многу раз переходя из рук в руки. Казалось очевидным, что красным не удержаться. От сознания этого сочувственность своих осторожно пряталась, зато все враждебное нагло лезло в глаза. Конечно, здесь играла бóльшую роль интуиция, нежели точные данные. Однако и Михаил, и его товарищи были убеждены не только в подлом шушукании за иными щитами подъездов, не только в предательских выстрелах из умело камуфлированных окон, но даже в неприязненности воздуха. Все это усиливало озлобленность усталых, назябшихся, голодных людей, которые без надежды на успех защищали несколько домишек или пустую площадь. В таком состоянии находился и Михаил, обводя глазами Житомирскую улицу, дома с дощечками зубных врачей и дамских мод, дома-тихони, откуда только что выскочила пуля, случайно вместо головы Михаила раздробившая фонарное стекло. Винтовка была наготове, выстрел, все равно по кому, просился на волю, когда рядом раздался детский голосок:

— Пожалуйста, не стреляйте пять минут, пока я не дойду до угла!

Это было сказано деловито, скорее повелительно, нежели жалостливо. Озадаченный Михаил опустил винтовку. Он потребовал подробностей, он даже пригрозил девочке, которой было на вид лет семь-восемь. Он узнал, что Таня (ибо его собеседница, привыкшая к тому, что взрослые, не зная, о чем говорить с детьми, обязательно спрашивают «как тебя зовут?») прежде всего отрекомендовалась, что застряла у тети Вари, что в это время пришли большевики, что эти большевики — «жиды» и «разбойники», что ей нужно пройти домой к мамочке, что ее не пускали и она выбежала тайком, что мамочка живет на углу Владимирской,

наконец, что если он будет ее еще о чем-нибудь спрашивать, то она начнет плакать. Узнав все это, озлобленный Михаил, понимавший, что пуля, случайно его миновавшая, могла вылететь из квартиры «дорогой тети Вари» или не менее «дорогой мамочки», где большевиков зовут разбойниками, но, не видя в эту минуту ничего на свете, кроме приветливой голубизны вверенных ему глаз, нежно взял руку девочки в свою. Если какой-нибудь храбрый наблюдатель стоял в это время у одного из окон, выходивших на Житомирскую улицу, он должен был немало изумиться: ведь рыжий красноармеец в роли заботливой нянюшки, да еще под обстрелом, встречается не каждый день. Михаил честно выполнял своеобразное поручение, возложенное на него если и не командармом, то все же кем-то достаточно для этого ответственным. Он решил, что всего вернее будет сдать девочку непосредственно в руки матери. Он постучался. Увидев свою дочку в сопровождении красноармейца, заплаканная женщина сразу догадалась, что этот человек спас ее ребенка. Захлебываясь слезами, она без конца повторяла несложные благодарствия. Михаил испытывал мучительный стыд. Ему казалось, что эта женщина, считающая большевиков разбойниками, должна в душе над ним смеяться. Он чувствовал нелепость сцены. Вместе с тем он не мог придумать ничего, что бы вернуло его поступку недавнюю естественность и простоту. Он не отвечал на просьбы женщины зайти отдохнуть. Он и не уходил. Пытка усиливалась. Наконец он попятился к двери. Женщина, видя, что спаситель уходит, не зная, как выразить всю свою признательность, схватила его за руку. Это было красноречивей слов. Но, окончательно затравленный стыдом, Михаил вырвал руку и, неожиданно даже для себя, ударил большие стенные часы. Стекло, взвизгнув, изрезало его пальцы. Скверно выругавшись, он выбежал на лестницу. Испуганный крик, донесшийся сверху, окончательно успокоил его. Пусть думают, что он разбойник, что он зашел побуянить, пусть думают все, что им угодно, лишь бы не стоять глупым добряком с винтовкой перед умиленной буржуйкой!

Этот противный день оказался весьма важным для Михаила: герой наш узнал, как трудно, как мучительно дается человеку доброта. Выучка сказывалась потом. Всякий раз, будь то нелепейшее спасение какой-

нибудь ошалевшей бабки или самоотверженная экспедиция за раненым товарищем,— словом, все то, что выпадает на долю даже самых черствых людей,— Михаил неизменно уничтожал всякие приметы мягкосердечия, стараясь казаться иглистым, как еж, насвистывать, поплевывать и быстро убирать в сторону свои предательски ласковые глаза.

Вторым эпизодом был тоскливый и бессюжетный вечер в деревушке, недалеко от Изюма. Михаил сидел у огня. В котелок, за неимением чая, кинули сушеные яблоки. Дождь беседовал со стеклами о невыносимой сиротливости русских просторов. Докучная это была беседа. Рядом с Михаилом два бойца, лениво истребляя вшей, фантазировали:

— А если она комиссарская будет?

— Чего?..

— Комиссарская если?..

— Что у нее, ворота другие? Я хоть и царицу пущу в ход. В бане я как-то был, в Воронеже, так мне один городской прямо сказал: у тебя, братец, целое состояние пропадает...

Михаил слушал их слова, слушал кропотливое резюме дождя, шум котелка, хруст вшей. Перед ним был черный ход мировой истории. Он тщетно пытался думать о другом: об Артеме, о революции, о жизни. Было ясно, что он сгниет, стухнет в один из таких вечеров от осколка снаряда или, еще проще, от крохотной вши. Тогда-то и родилось решение: бежать. Дверь из избы вела не к описанной дождем земле, но дальше: к морю, к городам, к границам, к завлекательной кинематографической жизни. Михаил встал, вышел. Он прошел с версту под дождем, вытянув вперед руки, как лунатик. Вдруг он вскрикнул: гвоздь вцепился в его ступню. Только тогда он заметил, что вышел разутый. И первой мыслью было — бежать босиком глупо, нужно вернуться за сапогами. Когда он, промокший, вернулся, огня уже не было, спорщики спали, наполняя избу храпом, чмоканием, теплом, тяжелым духом хлева. Подумав, что ему нужно сейчас сесть, кряхтя натягивать сапоги, Михаил визгливо зевнул. Колебание длилось недолго. Усталость пригнула голову к полу и в одно мгновение связала руки.

Два месяца спустя, за удачную разведку возле Никитовки, Михаил был награжден орденом. Самолюбивейший герой, однако, нашел в себе достаточно муд-

рости, чтобы, узнав об этой награде, прежде всего вспомнить промокшую, пахнущую собачиной рубаху и вязкую глину под Изюмом. Он знал, что от дезертирства отделили его не идеалы, а всего-навсего сапоги, и в душе он даже не стыдился этого.

Третий день — день энтузиазма. Ничего нет удивительного в том, что Михаил был приподнят Октябрем: в те дни даже львы на воротах дворянских особняков готовы были, изменив и классу и материалу, сорвавшись с места, ринуться в горящие джунгли. Но как, не зная всех возможностей нашего героя, понять, что он, на четвертый год революции, в буднее зимнее утро изголодавшегося Ростова, когда примерзшие мысли никак не могли подняться выше двадцатиградусного прозябанья, выше таранки или валенок, вдруг сошел с ума? О какой-либо общей взволнованности не могло быть и речи. Даже в героическом Темернике фантазия ограничивалась вагонами, груженными пшеницей, сгущенным молоком и кондитерскими изделиями, движение которых пока что выражалось лишь в трагическом сердцебиении измученных сотрудников губпродкома. Михаил шел по апатичной улице, лишенной магазинов, не знавшей даже, зачем ей существовать, так как школ или просветительных клубов на ней еще не было, а демонстрации происходили редко, не чаще раза в месяц, шел не менее апатичный, нежели она, с мороженой, с вяленой мечтой о десятке бывших «асмоловских» папирос. Он машинально остановился возле огромной витрины, когда-то обольщавшей ростовцев наивными мордами осетров или девическими тонами окороков, а теперь отведенной под различные плакаты, уговаривавшие редчайших прохожих давать хлеб городу, защищать революцию, баней победить вшей и показать Вильсону, что такое пролеткультура. Под плакатами были фотографии: «Бронепоезд имени Калинина», «Дети — цветы жизни» и другие. Вдруг Михаил на одной из фотографий увидел себя. Это не было галлюцинацией. В группе, среди красноармейцев, значилось и его лицо. Подпись «Занятия политграмотой» напомнила Михаилу приезд какого-то иностранного коммуниста (кажется, ирландца), который, что ни шаг, звонко щелкал затвором под басистое приговаривание переводчика: «Товарищи, не двигайтесь, глядите натурально». Вспомнив заграничное пальто коммуниста, свидетельствовавшее о всей его нездешности, Михаил

взволновался. Он был видоизменен фотографией. Здесь-то и начиналось сумасшествие. Разве мало он снимался прежде? Дело не в восторге дикаря перед своим изображением, нет, на пустой слеповатой улице он как-то сразу почувствовал себя залитым тысячесильным светом мировой рампы. Несколько аршин, отделяющих сцену от зрителей, отделяли Михаила от любого ростовского обывателя, занятого таранью, но эти аршины намного превосходили все мыслимые дистанции. Присутствие, хоть и незримое, заграничного пальто с «паткой» являлось раздвижением события до действительно мирового. Как пописывали тогда провинциальные газеты «Красная заря Бобровской коммуны» или «Трудовой пахарь Башкирии», все шло в «планетарном масштабе», и если попытка Михаила дезертировать казалась ему жалким эпизодом, то теперь, возвращенный к свежести Октября, он и впрямь чувствовал, что он, Михаил Лыков, решает — быть человечеству или не быть. От сознания этого, принимая во внимание экспансивность героя, было уж недалеко до нелепого возгласа, все там же, у витрины с плакатами, без свидетелей, если не считать за таковых нарисованных капиталистов и живых галок, да патетического крика «даешь!». Это знаменитое словечко, из похабного прыгнувшее в героические, рожденное разбушевавшейся молодостью людей и чувственным лаконизмом революции, не сопровождалось никаким дополнением: Михаил требовал не Крыма, не Европы, но решительно всего. Он был без ума. Он знал, что это «все» должно ему даться. И как бы ни показалась такая минута чрезмерного накала смешной, для него она была великой.

Мы подходим к четвертому эпизоду, достаточно позорному. Взятый сам по себе, он один дал бы право презирать нашего героя, ибо как же совместить только что описанную нами глубину дыхания человека, взлетевшего на высоты истории, с подлежащей ведению нарсуда мелкой кражей серебряного молочника?

Михаил, в сопровождении товарища, зашел обыскать квартиру, оставленную удравшим с белыми владельцем (дело было в Бахмуте). Они искали оружия и, ничего не обнаружив, собрались было уходить, когда товарищ робко потрогал лежавшую на столе ложку, что свидетельствовало о переживаемой им драме. Потрогав, подумав, он засунул ее в карман. Хоть ложка

была и серебряной, это все же не походило на кражу: у человека не было ложки. Притом война несколько отличается от мира, так что драму следует приписать чрезмерной щепетильности красноармейца, виноватого всего-навсего в скромнейшем желании есть суп ложкой. Другое дело Михаил: он спрятал в свой мешок вещь, ему вовсе не нужную, первое, что подвернулось под руку, проверив притом, есть ли на ней проба,— словом, Михаил украл молочник, и причину этого поступка никто, в том числе он сам, не мог бы толком объяснить, тем паче что в доме имелись более ценные вещи. Уйдя, он тотчас забыл о своем странном поступке и только на следующий день, обнаружив в мешке молочник, стал додумываться, зачем он, собственно говоря, унес его? Тогда ему вспомнились смутные мечтания, предшествовавшие обыску, о грузинском коньяке, которым бойко торговали в городе. Очевидно, руки оказались достаточно находчивыми и, увидев молочник, сами приступили к осуществлению. Дойдя до этого, Михаил почувствовал стыд. Может быть, если бы в мешке оказались бриллианты, он нашел бы смягчающие обстоятельства, но молочник вызывал прежде всего брезгливость. Он с удовольствием вернулся бы назад, чтобы поставить глупую вещицу на место, но это было невозможным. Оставалось раскаяние.

Вечером Михаил, впрочем, обрел достаточную жизнерадостность, чтобы отправиться, все с тем же товарищем, на любовную разведку. Без особого труда и не прибегая к дискредитирующей помощи колбасы или монпансье, исключительно благодаря своей молодцеватости, они нашли двух «съедобных» девочек. Остановка была за помещением, так как подруги жили в одной, к тому же крохотной, комнатушке. Пришлось установить две смены. Ждать Михаил не мог и прошел первым. Это диктовалось не эгоизмом, но предусмотрительностью: он знал свой темперамент.

Он был достаточно груб и циничен в своих ласках, если можно назвать «ласками» страсть, не процензурированную никакими человеческими чувствами. Он всегда считал, что дарит женщине нечто очень важное, снисходительно унижая себя до нее. Женское тело вызывало в нем неразрывно с желанием отвращение, а страсть обладать переходила в страсть уничтожить. Его объятия напоминали вражеское нашествие. На этот раз, однако, молоденькой женщине, советской

барышне, товарищу Наде, спавшей с кем придется, ибо это ей казалось догматом современности, а в душе конспиративно хранившей мечту не только о муже, но даже о муже бесполом, производящем детей исключительно семейным уютом и поцелуями в лоб,— вот этой, на словах бесстыдной, девочке удалось чем-то тронуть Михаила, может быть, своей физической незаинтересованностью. Уходя, он не без ласковости сказал ей:

— А зовут меня Михаил, Мишка.

Это было лишено практической цели. Он знал, что завтра покинет Бахмут и никогда больше девицы не увидит. Это было всей мыслимой для него нежностью, для него, не знавшего ни трогательности простого бескорыстного поцелуя, ни многообразия слов, на которые способны даже самые неизобретательные влюбленные. Прощание происходило на лестнице, где покорно поджидала очереди вторая парочка. Тогда-то Михаил и вспомнил о своей не по весу обременительной поклаже. Украденная вещица была, без долгих размышлений, вручена партнерше товарища. Переведя в голове молочник на фунты масла или сахара, товарищ Надя, тощая, изголодавшаяся, жившая губной помадой и пшеном, робко спросила:

— Почему не мне? Ведь ты же не с ней?..

Негодование Михаила тщетно искало выразительных форм. Мысль о возможности награды в виде мерзкого молочника той, которую он только что наградил всем своим неистовством, наконец, более того, своей неуклюжей лаской, была на редкость оскорбительной. Ответил он кратко:

— Ты свое получила.

Но, оставшись один, он долго не мог успокоиться. Все происшествие, вместо обычной после таких развлечений приятной усталости, оставило в нем боль и ярость. Он жалел об одном: почему он ей сказал, что его зовут Мишкой? Лучше бы ударить ее с тоски, больно ударить по щеке!..

Вскоре после этого неприятного инцидента, но отнюдь не в связи с ним, Михаилу пришлось на некоторое время выбыть из игры.

Большой харьковский вокзал был круто нафарширован теплой вонючей мешаниной. Ехавшие с севера отличались портативностью. Слово «мешочник», применяемое к ним, являлось лишь предсказательным.

Они кидались на пироги с морковью. Выделяемая в избытке слюна просачивалась изо рта наружу. Те же, что ехали на север, обнимались с мешками. Наевшись до отвала, с непривычки они отрыгивали и клевали носом. Опасаясь за свое достояние, они со сна вскакивали, прорезая бормотание вокзала острыми воплями людей, которых режут. Страшный призрак «заградиловки», обретавшейся, по словам одних, где-то не доезжая Курска, по заверениям других — возле самой Москвы, в Серпухове, может быть, вездесущий, витал над вокзалом, залезал за пазухи, вытаскивал из-под голов мешки и усиливал горячечность ожидания. Среди мешочников были и красноармейцы, вышедшие из лазарета или туда направляемые, усталые, неподвижные, похожие на тяжелые, подкинутые кем-то мешки. Все эти люди, ожидая задыхавшихся среди снежных полей поездов, редких поездов, спешащих смешной жалостливой спешкой паралитика, как-то жили, но о жизни их трудно что-либо сказать, как о жизни в ямах, заменяющих китайцам тюрьмы, или о жизни в лепрозориях. Эта жизнь, то есть промышление кипятка, бередение расчесанных до крови боков, кашель, харканье, храп были механическими сокращениями огромной косной материи. Поэтому человеческая масса только слегка раздалась, лишенная признаков изумления, когда какой-то красноармеец, подражая большой рыбине, поплыл по полу, отталкивая руками головы и мешки.

Это был Михаил. Предчувствие, как-то охватившее его, оказалось верным. Едва чувствительный укус, один из многих, стал катастрофой. Уже с утра предметы, утратив свои обычные пропорции и положение, стали требовать внимания, от мешков, раздувавшихся в горы, до вагонов, несчастных искалеченных вагонов, похожих на кляч и сдаваемых живодеру.

Сыпняк был одной из общих повинностей революционных лет, и говорить о его симптомах — это все равно что говорить о том, как идет дождь или как делают обыск: кто же этого не знает?

Из затворов хитровок были посланы, на зависть всем генштабам мира, необычайные, белесые, крохотные, мириадные армии, быстро сделавшие горе самой что ни на есть повседневностью и доставившие столько работы трудолюбивым статистикам. Но как бы ни была тривиальна эта болезнь, она допускает, подобно шахматной игре, тысячи вариантов. Здесь были

и чудища, просившиеся в паноптикумы, чувствовавшие, что у них две головы или множество ног, были и буйные, требовавшие смирительной рубахи, были кротчайшие фантасты, при прикосновении шприца ощущавшие себя черемухой, посещаемой пчелами, здесь было, наконец, патетическое завершение легенды о Вечном жиде, в виде бритых, полуголых безумцев, вырывавшихся из лазаретов, проявлявших нечеловеческую выносливость, бежавших до последней минуты с единственной целью: умереть на ходу.

Так было и с Михаилом. Когда сильный жар наполнил его зрачки огненной фейерверочной ночью, наш герой, жалостно выкрикивая «даешь!», расправил плавники и поплыл, то есть, отвратительно содрогаясь, пополз среди не чувствительных ни к чему мешочников. Где-то, вероятно на перроне под железными калеками, промелькнула «та самая рыбка» Абадии Ивенсона. Несмотря на все жалобы, глаза не возвращались.

Ни крик, ни красные печати на щеках не могли никого всполошить. На сыпняк люди тогда уже не оглядывались. Их волновала «заградиловка». Только на следующее утро Михаила перетащили в казарму, приспособленную под лазарет. Он кричал и бился. Действие крохотного укола продолжалось, кривая температуры рвалась вверх, тиф вступал в силу, плотнел и рос. Из лазарета горячечные крики высыпались на улицу. Но люди не слышали их, как не слышат моряки голосов бури. Ведь на десятках фронтов, в городах и в теплушках, возле каждой «заградиловки» тифозная страна жевала мокрую мякину, испражнялась и бесплатно обучала мир героизму. Как известно, она не умерла.

ОЛЬГА

Тиф — болезнь аккуратная, соблюдающая сроки. Кризис наступает на тринадцатый или четырнадцатый день, за ним следует либо смерть, либо долгие недели слабости, зачастую всяческих осложнений. Таким образом, мы обладаем достаточным запасом свободного времени, чтобы, покинув впервые Михаила, заполняющего угрюмый лазарет своим маловнятным бредом, приступить к знакомству с Ольгой Владимировной Галиной или, для краткости, просто Ольгой, опередив нашего героя.

Начнем, разумеется, с наружности, столь важной для молодой женщины. Ольга же, хотя и была на шесть лет старше Михаила, должна быть названа молодой: к описываемому нами времени ей исполнилось двадцать семь лет, а на вид, несмотря на поношенность одежды, ей не давали больше двадцати трех. Наружность ее мы назвали бы привлекательной, если бы этот эпитет не вводил в обман. Ведь имеются и вправду «привлекательные» женщины, похожие на липкую бумагу для мух, в любой обстановке буквально облепленные поклонниками. Задумчивое, порой даже страдальческое лицо Ольги казалось анахронизмом, вроде трагедий Расина, почитаемых всеми и проходящих в пустом зале. Ее глаза своей требовательностью отпугивали людей, подходивших к женщинам, как к гостиницам, и пуще всего боявшихся психологического прикрепления. Что касается любителей на душевную недвижимость с обстановкой, то для них Ольга явилась бы чистым кладом. Но годы войны и революции почти повсеместно вывели из обращения людей такой породы. Они-то, эти сумасшедшие годы, сделали Ольгу в ее драматической несезонности праздной. Здесь были бессильны и все обаяние женственных, то есть чрезвычайно беспомощных и трогательных жестов, и натуральное золото волос, и способный довести иного чудака до слез счастливый тембр голоса. Ольге не хватало легкости. Она могла как угодно дурачиться, могла проводить ночи в кабачках Монмартра, могла разделять наирадикальнейшие идеи века, все же своею основательностью, существенностью вызывая в памяти тип «русской девушки» из учебника истории литературы, то есть преданной родным пенатам и полной беспредметной морали. Новые люди, будь то деловые бунтари или спортивные дельцы, явственно слышали за запахом духов Герлена, которыми до семнадцатого года душилась дочь владельца спичечной фабрики в Полесье Галина, плотный запах чернозема и, слыша его, ретировались.

В итоге девушка, обладавшая всеми физическими и душевными достоинствами, осталась девушкой не только по паспорту, так и не узнавшей ни любви, ни ее общедоступных суррогатов. Претендентов в свое время, то есть до национализации спичечной фабрики, было немало, но все они настолько откровенно, обходя голубые глаза Ольги, поглядывали на спичечные

дивиденды, что даже инсценировка влюбленности становилась немыслимой. В свою очередь, голубые глаза парализовали предприимчивые руки тех, которые пытались приступить к делу прямо с объятий.

Возможно, что оживленность, нервическая подвижность ее внешней жизни объяснялась именно отмеченной нами неудовлетворенностью. С восемнадцати лет начались ее житейские и духовные блуждания. Она прожила около двух лет в Париже среди модернизированной богемы, среди шведов или датчан, обладающих достаточным запасом как здоровья, так и крон, чтобы позволить себе роскошь быть экстравагантными во всем, от меню обеда до кубического изображения грудей натурщицы, среди поэтов, занимавшихся, вследствие моды, педерастией (от которой их, откровенно говоря, подташнивало), наконец, среди стилизованных сутенеров, выдававших себя за «анархо-индивидуалистов» и сторонников «естественного воспитания». Ольга уехала из Парижа, не утратив ни на йоту своего ошарашивающего целомудрия и тургеневской улыбки. Она объездила всю Италию, в итоге чего загорела и разлюбила искусство. Приехав в Ассизи, вместо того чтобы, спустившись в подземную церковь, наслаждаться бедностью духа и «госпожой бедностью», изображенной Джотто, она демонстрировала с какими-то двадцатью каменщиками против расстрела неведомого ей испанского анархиста Ферреро. В Риме, проглядев Форум, она заинтересовалась его обитательницами, то есть крикливыми одичавшими кошками. Она ела мороженое и любовалась в витринах Корсо кожаными чемоданами, которые могла бы найти в любом другом городе. Немало таких чудаковатых и бескорыстных путешественников, блуждая по свету, догоняют свое счастье, неизменно отбывающее с предыдущим поездом дальше.

Застигнутая революцией в Харькове, где она гостила у дядюшки, Ольга стала сотрудницей столовой при Доме Советов, отрывала талоны карточек. Внешняя убогость жизни, механичность всех процессов успокаивала ее, как вязание или раскладывание пасьянсов успокаивали когда-то ее бабушек. Дядя с больной печенью и пропавшим «займом свободы», в который он сдуру ровно за месяц до Октября вложил свое состояние, раздраженный не только вскрытием сейфов, но и переводом часовой стрелки на два часа вперед

(что, по его мнению, являлось «иерусалимским временем»), умирающий от большевиков и от разлива желчи, негодовал на беспечность Ольги, называя ее, не без заграничной элегантности, «большевизанкой». Пожалуй, до известной степени он был прав. Перетасовав все судьбы и кинув Ольгу в капустную атмосферу столовки, революция избавила ее от дальнейших метаний. Эстетизм, урбанизм, католичество, ницшеанство, Монпарнас, Сицилия, полесские болота, Москва, все это было уже проделано хоть наспех, но с душой. Все оказалось равно неудовлетворяющим. Нужно было, что ни день, вытаскивать из редеющей колоды карту и, не веря в удачу, наигранным азартом прикрывать растущую апатию. Вот почему, ничего не смысля в политике, Ольга все же радовалась успехам большевиков, отнявшим у нее, вместе со спичками, возможность так называемого «беззаботного существования». Конечно, подобный образ мыслей, нежелание последовать за родственниками, при первой возможности перекочевавшими в Ниццу, казавшееся новым ниццарам унизительным продырявливание карточек в какой-то столовой — все это являлось настоящим семейным скандалом. Никакие уговоры и пристыживания не могли переубедить Ольгу. После средневекового католицизма или кубизма сочувствие революции стало ее очередным привалом. Мы настаиваем на этом вульгарном определении «сочувствие», которое применялось обыкновенно при заполнении затруднительных анкет застенчивыми беспартийными, боявшимися одновременно и комячейки, и своей совести. Сочувствие Ольги было иным, оно не переходило в следующую фазу приверженности и активной борьбы только вследствие ее чрезмерной честности. Революция потому и привлекала Ольгу, что в революции для нее не было места. Богомольно она воспринимала процесс, который был назван одним из не лазящих за словом в карман журналистов «организованным принижением культуры». Здесь все импонировало ей: и величавая суровость «субботников», и повестка некоего заседания при Наркомпросе с ее бессмертным порядком дня: «установка официального советского стиля» (причем под стилем понимался не календарный, а художественный, вроде барокко или Людовика Пятнадцатого). Насмехаться Ольга предоставляла печеночному дядюшке, которого не успокоили даже ниццские пальмы. Она же хотела,

заглянув лет на сто вперед, увидать даже в упомянутой повестке симптомы грядушего ренессанса. Многодумание ведь являлось ее органической слабостью. Стать коммунисткой? Но это было бы жалкой попыткой разжижить густой раствор революции. Она предпочитала роль чернорабочего. Место в столовке вполне соответствовало допустимой степени ее участия в революции.

Такой мы застаем эту девушку, то есть поглощенной неблагодарной работой, как все — голодной и оборванной, но не разделяющей общих сетований, напротив, примиренной, с иззябшим сердцем, едва согретым хоть и мудрым, однако не жарким огнем «сочувствия». Мы застаем ее притом девушкой, так как вся легкость, вся упрощенность интимнейших связей в те годы никак на ней не отразились. Ее прежние знакомые, люди равного духовного уровня, казались ей теперь неживыми, чем-то вроде камней Форума, только без кошек и без благодатного римского солнца. Когда один из таких людей, еще недавно числившийся самым модным адвокатом Харькова, а теперь занятый разноской по лавочкам, торгующим «ненормированными» продуктами, ванильного порошка, заглянув с тоски и с голодухи к Ольге, несколько неожиданно закончил свои причитания поцелуем, Ольга от ужаса даже вскрикнула. Лишенные теплоты губы адвоката показались ей гуттаперчевыми. Она ответила не поцелуем, но и не словами возмущения; вспомнив, что у нее осталась от пайка четвертушка хлеба, она молча вскипятила чай. Адвокат удовлетворился по тем временам щедрым угощением. Впрочем, адвокатский поцелуй следует рассматривать как нечто исключительное. Вопреки заверениям иных из наших беллетристов, жизнь бывших буржуа или интеллигентов, словом всех, получавших паек по карточкам третьей, а где существовала четвертая, и четвертой категории, в те годы отличалась крайним аскетизмом. Не говоря уж о духовной пригнетенности, диетический режим, отсутствие мяса и возбуждающих напитков, общее ослабление организма — все это мало располагало к любви. Что касается «новых» людей, столь привлекавших Ольгу, то они сходились с женщинами наспех, так же как наспех ели, за кашей читая газету и догрызая сухарь на заседании. Новые люди не гнались за женщинами и не тратили времени на отбор. Нет, женщины должны были сами

попадаться им на глаза. Вид чрезмерно сдержанной, молчаливой Ольги никого не привлекал, и новые люди, подобно старым, проходили мимо нее. Все запасы никем не востребованной нежности продолжали храниться в сердце девушки, отрывающей талоны на обеды.

Как же нам не порадоваться, увидав нашего героя, вознагражденного за тифозные месяцы, за всю свою тифозную жизнь дружественным взглядом этой анахронической женщины? Обстановка исключала романтичность встречи. Михаил, заполучивший для подкрепления, кроме красноармейского пайка, право обедать в столовке Дома Советов, предъявил карточку и получил ее обратно, но сопровожденную ласковым взглядом, который он, расположенный пережитой болезнью к лиричности, вполне оценил. Последовало несколько малосущественных фраз о положении на Крымском фронте и о меню столовки, все разнообразие которого заключалось в переходах от картошки с селедкой к каше с растительным маслом. Так произошло первое знакомство.

На второй день число фраз возросло, причем в итоге последовало приглашение прийти к Ольге вечером,— посидеть, поговорить. Михаил был взволнован до крайности. Остаток дня он провел в мучительных усилиях расшифровать значение этого приглашения. Женщина, на его взгляд, могла звать к себе исключительно с одной целью. Разве поза дамочки, которую он как-то обнаружил в номере «Континенталя», при всей шикарности, отличалась от позы любой бабы? Эта — не хуже и не лучше других, нечего зря ломать голову. Думая так, Михаил все же, из уважения к интеллигентской внешности Ольги, подверг себя строгому осмотру, вымылся с головы до ног и, повозившись битый час, смирил даже свой, успевший уже отрасти после болезни, чуб. Его удивляла эта непонятная подготовка к самой что ни на есть заурядной вещи. Как будто мало женщин он поиспробовал на своем коротком веку? Однако все эти мысли остались где-то на лестнице, ни одна из них не перешагнула вместе с Михаилом порога Ольгиной комнаты, вернее, кухни, где Ольга поселилась поблизости печки (как селятся колонизаторы поблизости воды). Поздоровавшись, Михаил первым долгом сконфуженно взъерошил свой чуб, как будто прическа выдавала его дневные размышления. Он сразу почувствовал, что

никогда не посмеет коснуться этой женщины, усадившей его гостеприимно возле печки и начавшей преспокойнейшую беседу о каких-то массовых зрелищах. От сочетания приниженности и злобы его лихорадило. То он чувствовал себя бесконечно счастливым, стараясь поддерживать разговор, злоупотребляя иностранными терминами и явно путаясь, то мрачно замолкал, обдумывая, как бы с достоинством выйти из позорного положения. Явно не за этим Ольга позвала его. Мужчина он или нет? Ему пришла в голову нелепая мысль прервать разговор, который теперь перешел на итальянских петрушек, каким-нибудь анекдотцем попохабней, чтобы показать свою независимость. Действительно, он начал что-то невнятное: «Вот в связи с театром, у нас был курсант...» — но дальше этой, вполне пристойной, справки не пошел. Привыкший к сознанию своего превосходства, он неожиданно был посажен на парту прогимназии. Недоставало только папашиных помочей. Он должен был слушать, как Ольга объясняла ему, что такое commedia dell'arte. Это было свыше его сил. Даже кровать, скромно прикрытая одеялом, кровать, на которую он не посмел швырнуть эту особу, явно над ним издевалась. Михаил прервал Ольгу:

— Все это вздор и ликвидировано Октябрем!

После чего, топорно попрощавшись, он вышел. Всю ночь он ругал себя за проявленную слабость. К утру он решил плюнуть на Ольгу. Бессонница из-за какой-то бабы являлась апофеозом падения. В столовой он сухо поздоровается и, не говоря ни слова, пройдет дальше. Однако при виде Ольги вся решительность была немедленно позабыта. Михаил понял, что эта женщина, не в пример другим, занимает его.

Когда Ольга спросила, не зайдет ли он к ней вечером, Михаил превратился в патетическую благодарность. До вечера было много времени. На этот раз Михаил уделил больше внимания разработке плана действий, нежели прическе. Он твердо решил использовать предстоящий вечер целесообразней и дорваться минимум до губ Ольги. Но, учитывая ее отличие от прочих женщин, которых он попросту валил на пол, Михаил надумал предварить первые элементарные жесты объяснительным словом. Предполагаемая речь начиналась так: «Принимая во внимание общность и презрение к предрассудкам...» Речь так и не была произнесена. Руки Михаила не решились даже сойти с колен.

Вместо задуманных объяснений он скромно сидел на табуретке, отвечал на вопросы Ольги о боях с белыми и слушал ее рассказы о Париже. После этого он снова провел бессонную ночь, но уже без легкомысленных расчетов «плюнуть на Ольгу». Симптомы некоторого заболевания были налицо. Наш герой не сомневался в значении их: он влюбился.

Странная, однако, это была влюбленность. Михаил не мог ни о чем думать, кроме Ольги, но если б его спросили: «А какая она с виду, Ольга?» — он бы не сумел ничего ответить. Встречаясь с ней по два раза в день, он, например, не заинтересовался тем, какие у нее глаза. Установив при первой же встрече, что Ольга женщина «очень ничего себе», он вполне этим удовлетворялся. Не следует думать, что подобное невнимание вытекало из особой духовности его чувств. Нет, Ольга привлекала Михаила исключительно потому, что была недоступной для него женщиной. Правда, каждый вечер он слушал, иногда с искренним вниманием, ее рассказы о путешествиях или о различных неизвестных ему книгах, но все это являлось в его глазах лишь украшающими элементами, чем-то вроде бриллиантов на кокотке. Это только повышало расценку ее объятий.

Прошло две недели. В рассказах была, кажется, перерыта вся жизнь. Но на коротком пути к кровати не было проделано ни одного шага. Самочувствие Михаила с каждым днем ухудшалось. Еще не оправившийся после болезни, поражающей нервные центры, он как будто определился в школу умалишенных. Жить без апломба для него равнозначило смерти. Бывает, неврастеникам кажется среди ночи, что они онемели, и успокаиваются они, лишь выговорив что-нибудь вслух. Так и Михаилу необходимо было заполучить Ольгу для того, чтобы убедиться в том, что он жив. В течение дня он ее ненавидел. Припоминая все унизительные минуты, он тщательно натаскивал себя на ненависть. Им изобретались самые разнообразные способы мщения, от изнасилования до сложного дипломатического ареста. Явственное целомудрие девушки придавало его фантазии особенно ернический характер. Не веря в возможность ее любви, он в мечтах удовлетворялся ее страхом, мольбами о пощаде, если не поцелуем страсти, то хотя бы собачьим целованием его рук. Так проходили дни. Но между этими днями лежали неправдоподобные оазисы вечеров, освещенные крохотным

светильником, сделанным из баночки, и еще ярче женской нежностью,— они превращали нашего пакостного мечтателя в самого смиренного из всех влюбленных, счастливого одним присутствием Ольги, ее улыбкой, ласковой снисходительностью к невежественным суждениям Михаила, а в минуты пауз эпической ровностью ее дыхания.

Что думала Ольга, видевшая и эпизодические извержения ярости в виде грубых реплик или внезапных уходов, и смиреннейшие ужимки, похожие на извинительные приседания хищника перед дрессировщиком, что думала эта девушка, немало в своей жизни видавшая и больше всего на свете любившая думать? Михаил был плохим психологом. Тщетно он пытался подыскать объяснение противоречивым, на его взгляд, поступкам Ольги, настойчиво приглашавшей его каждый вечер к себе и в то же время не подсказывавшей, хотя бы мельчайшим движением, возможности того, ради чего только и может женщина приглашать молодого мужчину. Иногда ему даже казалось, что Ольга больна, что у нее мозги не в порядке. Как же иначе понять ее поведение? Когда он однажды, стараясь взять ее же тон, стал распространяться о знаменитом «примате личности», Ольга резко его осадила:

— Вы как-то удивительно верно сказали: «Все это ликвидировано Октябрем».

Таким образом, его грубая выходка получила одобрение, а попытка заговорить по-хорошему, по-интеллигентски, наоборот, встретила отпор. Это было окончательно непонятным. Все мысли и чувства Ольги казались Михаилу простыми, но недоступными, как китайский букварь. Он играл втемную. Время шло. Он явно проигрывал. Он все сильнее ненавидел и свою партнершу, и далеко не легкую игру.

Наконец в его дневные шатанья, наполненные срамом и злобой, вошел новый фактор: через две недели он должен направиться в свою часть, значит, через две недели финал и так называемой влюбленности, и умилительным беседам при светильнике, и наглости несмятой кровати. Это несколько успокоило его. Он впервые почувствовал некоторую самостоятельность. Как о своем триумфе, сообщил он Ольге о близком отъезде, при этом его задорный чуб вполне заменял острие шлема, а походный облик окончательно скреплялся улыбкой снисхождения, которую швыряют путе-

шественники из окон экспресса станционным будкам и подсолнечникам. Важную новость Михаил приберег под конец, сказал ее, уходя, на лестнице, и поэтому не смог проверить, какое впечатление произвела она на Ольгу.

Весь последующий день Михаил бился над головоломкой этой темной лестницы и не менее темной для него души Ольги. То он видел девушку горько плачущей в подушку, и тогда жизнь становилась для него настолько приятной, что он жалел всех: и усталых комиссаров, отягченных государственной ответственностью плюс весом толстейших портфелей, и туберкулезное небо Харькова, и дохлую клячу, валявшуюся второй день на площади Тевелева, и себя самого (последнее перед зеркалом, вследствие послетифозной худобы, похожих на спицы ног и выпирающих ребер), жалел хорошей приветливой жалостью. Ольгу он не жалел, так как считал ее слезы возвышающими. То он представлял себе девушку весело болтающей с другим красноармейцем. В его упрощенном представлении возможный заместитель почему-то обязательно являлся красноармейцем. Причем наиболее бесил его предполагаемый эпилог, тот, другой, более решительный и находчивый, преспокойно проделывает с Ольгой именно то, что проделывал Михаил со всеми женщинами, со всеми, кроме этой проклятой недотроги. В такие минуты Михаил готов был на все: бежать в Чека, писать, тряхнув стариной, стихи, ругаться, плакать (то есть выразительно мычать), стрелять в соперника, стрелять в Ольгу, он даже был готов застрелиться. Последний план был, впрочем, быстро отстранен, как нелогичный. Если Ольга и целовалась с кем-нибудь, в этом меньше всего вины Михаила. Чередования приподнятости, блаженства с яростью ревнивого рогоносца настолько замучили Михаила, что он даже не пошел в столовку. Он боялся установить состояние Ольги, предпочитая продлить до вечера неопределенность догадок. Вечер все же настал, и в нерешимости Михаил толкнул дверь Ольгиной комнаты. Он увидел только небольшое пятно светильника, дрожавшее на раскрытой книге. Это еще ничего не означало. Однако первые же слова Ольги явились ответом на все загадки как этого, так и многих предшествующих дней.

— Простите, но я занята. Я читаю...

Михаил отошел к двери. Он готов был убежать. Что ему делать здесь, где хронические оскорбления

долгих вечеров привели к этой откровенной пощечине? Ольга, наверное, поджидала другого. Место Михаила, скромное место на табурете бессловесного поклонника и застенчивого слушателя, даже оно было занято. Вся ненависть Михаила сказалась в эту минуту. Он больше не испытывал ни стесненности, ни умилительного почтения. Молча подошел он к Ольге, сгреб ее, повалил на посрамленную наконец-то кровать и с деловитостью профессионального злодея приступил к давно предвкушаемому мщению. Всецело сосредоточенный на уничижении гордячки, он даже не успел почувствовать никаких признаков страсти. Комната не услыхала ни единого слова, ни вздоха, ни стона. Светлое пятно попрежнему дрожало на неперевернутой странице книги.

Наконец Михаил решил проверить взором победителя взятую крепость. Он поднял голову. Впервые он заметил, что у Ольги голубые и нежные глаза. Он отвернулся, но и отвернувшись, услышал ее голос:

— Милый!..

ИДИЛЛИЧЕСКАЯ НОЧЬ И ЕЕ ОБРАМЛЕНИЕ

К подобным приемам прибегают некоторые, модные сейчас, американские беллетристы: неожиданность развязки заставляет даже сдержанного читателя, дойдя до последней страницы, говорить своей половине, а в случае холостяцкого положения и одиночества какой-нибудь семейной фотографии или же портретам вождей, имеющимся повсюду: «Что? Каково? Все оказывается не так, а наоборот!..» В комнате Ольги не было ни семейных фотографий, ни портретов вождей. Ровный круг светильника спокойно освещал не сумасшедшую историю, выдуманную в углу на кровати, а популярное изложение теории сновидений доктора Фрейда. Соглядатаев не имелось. Ольга и та не могла догадаться о всей диковинности происшедшего. Ведь Михаил менее всего был склонен посвятить ее в свои недавние замыслы. Лежа на спине, он тяжело дышал. Вздувшиеся на висках жилы и бессмысленность зрачков свидетельствовали, с каким напряжением переживает он эту неожиданную развязку. Гнуснейшее покушение, помимо его воли, закончилось буколическим счастьем. Здесь действительно было над чем задуматься.

Возможно, что и некоторые читатели разделят озадаченность Михаила. Поведение Ольги Владимировны Галиной, этой пуританки и привередницы, еще недавно нашедшей для экс-адвоката всего-навсего чай с хлебом, а теперь повторяющей рыжему красноармейцу, бесцеремонно ею овладевшему, «милый», покажется им необъяснимым. Какой толк находила она в беседах с этим самонадеянным и невежественным субъектом? Неужели грубоватость Михаила могла польстить ей, как побои польстили когда-то Кармен из Дарницы? Таким читателям мы должны лишь напомнить, что четыре правила арифметики, которым обучали Михаила в прогимназии, применяемые и к самой гениальной философской системе, и к мелкому счетику за казанское мыло на постирушку, решительно бессильны там, где выступают человеческие чувства. Было бы тривиальным распространяться о слепоте любви. Гораздо полезнее восстановить, согласно всем литературным традициям, пейзаж, окружающий счастливых любовников, то есть в данном случае не столько комнату Ольги, ничем не примечательную, сколько эпоху, ее дух; он как бы обволакивал рассказанное нами псевдопреступление.

Ни Уэллс, ни какой-либо другой из известных нам авторов утопических романов не придумал ничего более ирреального, нежели жизнь обыкновенного города, хотя бы Харькова, в те памятные годы.

Фантастика начиналась с простейших астрономических явлений. Благодаря переводу стрелки, столь обидевшему дядюшку Ольги, белые ночи оказывались перенесенными с Невского на улицу Карла Либкнехта, бывшую Сумскую. Рождество праздновалось после Нового года. Празднование, впрочем, выражалось исключительно в выдачах азербайджанского изюма по карточкам «Красной звезды», а также щепного товара. Что касается будней, то в будни все граждане, запряженные в тележки или же в салазки, рысью мчались по мостовым: они то прикреплялись, то открепляялись. Это было хоть и бескорыстным, но полным высокой значимости занятием. Из города сотрудники Главмузо уезжали в теплушках за хлебом или на фронт. В город же приезжали предпочтительно делегаты на различные съезды и совещания: «по борьбе с чумой в Туркестане» или «по распространению красного эсперанто». Когда прибыл первый транспорт Внешторга, в нем оказались клозетная

бумага и копировальные чернила, закупленные в Ревеле. Женщины ходили в военных шинелях и в элегантных супрематических шляпках, сделанных из ломберного сукна. Летом веяло античным духом, и сандалии, которые продавались на улице Артема, назывались «римками». Чай заваривали на сушеной моркови, на пастилках «Красный луч», на рябине, на бобах. Хлеб ели, как рыбу, сосредоточенно и не разговаривая,—хлеб был костлявым, застревал в горле. Приходя в гости, приносили с собой кусочки сахара в коробках от довоенного зубного порошка. Зато, если у хозяев функционировал клозет, гости не пропускали оказии, заходили туда—впрок. Продавали и покупали предпочтительно камни для зажигалок, хотя не было ни табаку, ни керосина, ни дров. Это происходило от огнепоклонничества и от отсутствия других товаров. Когда в город привозили мороженое мясо, его выдавали во всех главках сотрудникам, и вечером Харьков предавался любви. Вследствие уплотнений жили тесно и любить приходилось на людях; выручала темнота. Все ходили в театры глядеть Шекспира, Кальдерона, Гоцци. Прикрепляясь или открепляясь, писали стихи, главным образом о космосе и без размера. На Московской улице перед разрушенным домом висел плакат «Мы электрифицируем земной шар». Читая его, никто не усмехался. Всем было ясно, что это правда. Из-за коробки спичек возле Госоперы бывший инспектор реального училища Соловьев убил слесаря Семенко. Суд над ним устроили показательный в школе имени Бабефа. В этой же школе учащимися первой ступени была поставлена агитпьеса матроса Балтфлота Губова, где меньшевики фигурировали в виде посрамленных карасей. Зрителям особенно понравились меньшевистские плавники из серебряной бумаги. Курсанты военно-хозяйственной академии увлекались заумным языком, их литкружок примкнул к направлению, именовавшему себя «41°». Самоучка, машинист паровозных мастерских Яниченко, изобрел модель гигантского гидроплана, способного подымать триста пассажиров. Товарищ Шуснер, из Главстекла, изобрел музыкальную шкатулку для хранения карточек продовольственных или широкого потребления, исполнявшую «Варшавянку». Хотя денег печатали много и на всех языках, граждане успели позабыть, что

такое деньги. Как в прекраснейшей утопии, все жили пайками и выносливостью. Письма опускались в почтовые ящики без марок, но бумагу раздобыть было трудно: она шла на протоколы главков. Поэтому почтальоны перестали интересоваться ящиками. Зато все читали бесплатно газеты, расклеенные на стенах. Иногда Чека арестовывала родившихся без рубашки за спекуляцию бензином или за свойство с левым эсером. В Чека расстреливали. В Чека, однако, арестованному говорили «товарищ». Тогда все были товарищами. Это было изумительное время, и отнюдь не посмеяться, нет, почтить его великолепную несуразность хотим мы теперь, оглядываясь назад. Голодая и мытарствуя, каждый знал, что он разделяет общую участь. Каждый, кроме того, знал, что все эти муки не зря. Социальная революция была не абстрактным лозунгом, но делом завтрашнего дня, как объявленная выдача по талону такому-то. Земля ходила под ногами, и жалеть о реквизированной кушетке не приходилось. Ничего никого не удивляло. Гибель Иокогамы определенно запоздала. Случись она на три года раньше, ее в Харькове встретили бы так же естественно, как перевод часовой стрелки или как сообщение о советской республике в Баварии. Любой обыватель, приглашенный на тютчевский «пир богов», был горд, хоть его и мутило от крепости исторического напитка, принимаемого к тому же натощак. Катастрофически жили и дышали все. Повторим еще раз: это было изумительное время!

Как бы ни была ничтожна по сравнению с ним ночь двух любовников, все же можно сказать, что она являлась крохотной частицей этого патетического пейзажа. Самодельное страдание, неожиданно, как лотерейный выигрыш, выпавшее счастье, все это было темным и замечательным вымыслом. Ольга больше не прятала своих чувств. Она раскрыла Михаилу содержание китайского букваря. Это был, конечно же, самый ошеломляющий из всех ее рассказов. От удивления нашего героя начало знобить. Он узнал, что Ольга все эти недели ждала его признаний. Он понял наконец язык сдержанности и стыдливого отталкивания. Переживший длительную стадию сомнений в себе, он в течение одного часа отыгрался. Он получил не только былой апломб, но и новые, ему дотоле неизвестные материалы для самовозвеличения. Так, например, ему

было сообщено, что он действительно «новый человек», полный «варварской хватки» и «примитивной мощи». Весь восторг рафинированной и, по существу, глубоко несчастной Ольги перед этим грубоватым человеком, овладевшим ею, был ему передан, расширенный любовью и темнотой до бреда. Михаил чувствовал, как он сказочно растет. Комната, Харьков, мир стали ощутимыми, вроде одеяла: они давили. Причем это не были привычные экзерсисы на ломких ходулях. Нет, теперь величие создавалось помимо его воли, без потуг, без пота. Он познал величие легкое, дареное, сугубо дорогое в своей незаслуженности. Чувство это знакомо многим честолюбцам, с помощью объятий стремящихся перейти в следующий духовный или социальный класс, мнимое величие тех, которым мало подлинно бессюжетного блаженства, рождаемого музыкой и любовью. Михаил теперь измерял свое положение в мире Ольгой. Час тому назад она была недоступными Гималаями. Оказалось, что она ждала его ласки, ждала, как благословения, то есть, что внизу, ломая шею от заглядываний вверх, стояла она, а Гималаями был он, Михаил. Прыжок, превосходящий все дерзания портного Примятина, проделан успешно. Храня внешнее спокойствие, с признательностью сжимая руку Ольги, Михаил на самом деле безумствовал, плакал, кричал, брал мировые рекорды полетов.

Подобный ход мыслей, вероятно, привел бы Михаила к одной из достаточно для него будничных выходок: к какому-нибудь глупейшему выкрику или к мимической декларации, если бы случайно не оказался прерванным скромнейшим движением Ольги, после поцелуев и любовного шепота нежно погладившей нашего героя по его жесткой шевелюре. Ольга была движима признательностью за произведенное в ней опустошение, за потерю и девичества и свободы, за новую тяжесть, за второе рождение. Еще не узнав женской страстности, она уже предчувствовала все ее темноты. Она уже была, как ребенок, привязана к этому человеку, страшному ей чуждостью, рыжеватой волосатостью ног, мыслями, движениями, казарменными кальсонами, угрюмым детством,—словом, страшному всем и в то же время исключительно родному, физиологически неотрывному, чью зубную боль или неудачу она восприняла бы теперь как свои. Не догадываясь, какими эксцентрическими полетами за-

полнена рыжая голова, Ольга заботливо погладила ее. Еле обрисованное губами слово «мальчик» все же дошло если не до ушей, то до сознания Михаила.

Наш герой не отстранил своего рыжего чуба от этой почти материнской руки. Со всей подвижностью ночных бескостных эмоций он перелетел от глетчеровой температуры самолюбования к теплоте женской жалостливости, напомнившей ему ржавую детскую ванну с белесыми подтеками, в которую опускал его когда-то Тема. Он начал жалеть себя. С тоской припоминал он свое безлюбое и бессолнечное детство. Грудь Ольги приобрела всю защитность Теминых плеч. Почему ему прежде никто не говорил таких нежных слов? Почему это сладкое прикосновение к жесткой голове, обычное, необходимое, как хлеб, для других, является по отношению к нему чем-то исключительным? Ведь он же несчастен, бедный Мишка, до сих пор без толку гоняющий по миру собак. На его душу все, положительно все, плюют. Плевал Егор, плевал эсер Уваров, плевали посетители «кружка». Все! Как будто они сговорились. А его нужно жалеть. Он еще не окреп. Вот как Ольга говорит: он еще мальчик. Он мог, наконец, много раз умереть. Орден? Конечно, орден — это много. Но нужно, чтобы за храбрость не только хвалили, а еще и жалели. Сколько у него позорных минут, которые он вынужден прятать?.. Разве это легко? Вот скажи он Ольге про серебряный молочник, небось перестанет жалеть. Скажи ей, что он хотел ее изнасиловать, и не от страсти, а от злобы, — вместо «мальчик» он, пожалуй, получит «подлеца». А ведь его за это не ругать следует, но жалеть. Он вовсе не подлец. Он может быть очень благородным. Разве он сдрейфил в Октябре? Он выдержал и ночь в «Скутари». Тема, тот знает, что он не подлец. Почему рядом с ним нет Темы, родного, строгого, милого Темы? С этими шашнями он снова запутался. Другие говорят, что все счастье в бабе. Вздор. Это пакость. Сначала четверть часа бешенства, голова кружится, как от вина. Мишка пропадает, зря пропадает. Ему жаль себя, очень жаль...

Скупые железы, обычно не сопровождавшие трагические излияния Михаила никакими признаками увлажнения глаз, на этот раз расщедрились. Слезы, настоящие слезы в избытке хлынули на плечо Ольги. Чем больше их было, тем легче и туманней становилась жалость Михаила. Сначала отдельные эпизоды, ли-

ца, фразы расплылись в широкие серые пятна. Все же он еще чувствовал, что жалеет себя. Но вскоре жалость распространилась, как пар, захватила Ольгу, Тему, всех, решительно всех. Где-то быстро прошмыгнуло свинцовое личико Егора, но Михаил все же успел пожалеть и его. Наконец и жалость потеряла отличительные контуры. Она перешла в умиленность. А слезы продолжали течь.

Ольга не испугалась, не удивилась. Как всякой женщине, ей было нетрудно понять язык этих мельчайших водяных частиц. То, что рядом с ней не ребенок и не подруга, а рослый, крепкий мужчина, что у него щетинистые волосы и казенное белье,— все это было немедленно забыто. Как на ласку лаской, она на слезы ответила слезами. Вследствие обостренной телесной близостью чуткости слезы эти, как и слезы Михаила, сначала разъедающе горестные, потом усладились, стали бессмысленными, физиологическим процессом, вроде зевоты при напряженном ожидании или смеха в минуту опасности. Они стали так называемыми «слезами радости».

— Мне хорошо с тобой.

Михаил ничего не ответил. Он только доверчиво и бережно поцеловал руку Ольги.

Разреженный, как бы нормированный свет утра застал двух любовников в дремоте обнимающими друг друга, с лицами, проясненными этой, благословляемой всеми лирическими поэтами мира, росой.

Потом дремота Михаила сменилась плотным сном. Проснулся он поздно. Ольга не спала. Беззвучность тщательно задерживаемого дыхания показывала, как бережет она сон своего любовника. Еще не стряхнув с себя дремы, Михаил улыбнулся. Эта улыбка была детской, в чистоте подлинно блаженной. Она вызвала ответную улыбку Ольги, гордой, как своим произведением, его счастьем. Но уже минуту спустя лицо Михаила сделалось озабоченным. Улыбка являлась еще частью одного из забытых сновидений. Теперь же, наконец проснувшись, он был не на шутку озабочен. Он сознавал необходимость срочно выяснить, какую роль в его жизни займет эта, лежащая рядом с ним, женщина. Не отвечая на смущенные вопросы Ольги, он предался размышлениям. Прежде всего он восстановил в памяти все события ночи. В его утреннем сознании они походили на похабный анекдот о курсанте, который он как-то порывался рассказать

Ольге. Слезы он старательно обходил, чтобы не покраснеть за минуты подобной слабости. Что касается до всего остального, то, очищенное от придаточных, обесцененных дневным светом, чувств, оно предстало перед ним в виде скудной графической схемы. Давние предположения оказались правильными: между Ольгой и дарницкой бабой не было никакой разницы. До поры до времени задаваясь, она размякла, как только он, вместо бесед об Италии, швырнул ее на кровать.

Как бы ни были свежи события, подчиняясь человеческой воле, они легко деформируются. Михаил теперь не помнил о том, что в течение двух недель он униженно мечтал об Ольге. Нет, он и впрямь был убежден, что все это время горделиво проходил мимо нее, просящей и унижающейся. Он даже попрекнул себя за излишнюю уступчивость. Он молча оделся и собирался так же молча уйти, когда Ольга, еще не понимая, что этот человек в сапогах — не мальчик, плакавший ночью у нее на плече, руками оплела его шею.

— Ты уходишь?

Михаил наглядно разъяснил ей происшедшую перемену. Не выбирая ни слов, ни жестов, он раздраженно оттолкнул ее:

— Хватит с тебя ночи. А днем мне не до баб...

ДАЛЬНЕЙШИЕ ФАЗЫ ИНТИМНОЙ СВЯЗИ

Выйдя на улицу, Михаил почувствовал назойливую, вроде тошноты после выпивки, непонятную ему самому тоску. Он долго бегал по городу — с вокзала на Чернышевскую и назад. Быстротой ходьбы он хотел ослабить интенсивность боли. Это ему не удавалось. Он чувствовал себя глубоко обиженным.

Он влюблен в Ольгу? Влюблен. Значит, сегодняшний день должен быть самым радостным в его жизни. Так, по крайней мере, заверяли все книги, все пьесы, все фильмы. Почему же ему не только не радостно, но попросту тошно? Даже физиономии прикреплявшихся или откреплявшихся граждан казались Михаилу вызывающе радостными. Женские улыбки провоцировали его на скандал. Пробегая мимо театра, он остановился. Там дежурил хорошо известный всем харьковцам бывший прокурор Феофилов с лысым паршивым пуделем Боем. Завидев гражданина с салазками или с сум-

кой, прокурор обыкновенно начинал пришептывать: «Товарищ, помогите обломку», а Бой безмолвно становился на задние лапы, передними помахивая в такт хозяйским мольбам. Картина эта умиляла даже ко всему привыкших людей того времени. Салазки иногда останавливались, и кусочек паечного хлеба перепадал злосчастному «обломку». Теперь, однако, прокурор, увидав шинель и злое лицо Михаила, не решился произнести сакраментальной формулы. Только пудель, нарушая все правила, начал самостоятельно служить. Его голая розовая морда со слезящимися глазами красноречивее прокурорских слов говорила о страшной участи «обломков», о пожираемой дохлятине, о холоде нетопленной комнаты, о старости, о собачьей старости и одинокой смерти. Но Михаила этот дрессированный зверь, как ни в чем не бывало помахивающий лапками, не растрогал, а обозлил. Он ударил его сапогом. Раздалось тявканье, может быть и смешное у щенка, но подлинно трагическое у этого издыхающего пса, фокусами вырабатывающего хозяйский хлеб, у старого собачьего артиста. Прокурор прикрыл руками свои небритые щеки:

— Нехорошо, товарищ, животное обижать, негуманно!

Михаила еще попрекали.

— Молчать! Нищенствовать нехорошо. Идите на биржу труда. Идите, наконец, в собес. Поняли?

Пудель перестал тявкать. Оправившись от пинка, он вспомнил о своих обязанностях и смешно закивал дрожащими от дряхлости лапами. Михаил поспешил прочь. Этой выходкой ему наконец удалось достичь какого-то бесчувствия. Он считал фонари. Он смаковал пустоту и спокойствие. От тоски оставалась лишь щемящая боль под ложечкой. Вдруг он увидел дверь столовой. Якобы забытая ночь сразу оказалась у него под носом. Зайти? Там Ольга... С изумлением он должен был констатировать, что боится увидеть Ольгу. Ему пришло в голову, что он сам во всем виноват. Сначала эта мысль показалась ему настолько нелепой, что он даже рассмеялся. Но через минуту он привык к ней. Он стал находить ее правдоподобной. Множество доводов пушистым роем облепили его. Ольга лучше его, умней. Она везде была, все знает и, однако, не погнушалась снизойти до него. Она, не скупясь, отдала ему свою нежность. Чем он ей ответил? Циничной

фразой при расставании. Он сам во всем виноват, исключительно он. Дойдя до этого, Михаил инстинктивно поплелся назад к театру. Увидев «обломка» с собакой, он догадался, зачем его ноги проделали этот путь: необходимо подойти и просто, по-мальчишески попросить прощения. Однако он этого не смог выполнить. Как он ни принуждал себя, вместо слов получалось невыразительное мычание. Прокурор, увидев своего обидчика, решил, на всякий случай, ретироваться. Михаил втайне этому обрадовался. Он был освобожден от препротивнейшей обязанности. Он побежал в столовую. Он хотел как можно скорей увидеть Ольгу, сказать ей все. Да, он гадок, жалок, но пусть она не уходит. Он исправится. Ночные слезы были первым неуклюжим шагом. Только она должна быть с ним строгой, очень строгой. Снисходительность его вводит в соблазн. Он же будет тихим, послушным, нежным.

Все эти слова и множество других были им поспешно заготовлены. Заплаканные глаза Ольги с достаточной точностью говорили о том, как нелегко ей сегодня отрывать талоны. Михаил, впрочем, не обратил на это внимания. Он был слишком поглощен всей новизной и остротой своего чувства. Он хотел сразу приступить к объяснению. Длинная очередь пришедших обедать оказалась, однако, непреодолимым барьером. Встав в хвост, Михаил стал поневоле разглядывать нелепо сгруппированные слои кожи на затылке человека, находившегося перед ним. Кругом говорили: «Сегодня опять каша...», «Опаздываю на заседание...», «Несознательные уносят ложки...», «Нужно принять меры». Пахло льняным маслом. Будничность окружения в двадцать минут ухитрилась экстатичность заготовленного покаяния низвести до скромного намерения уладить дело как можно проще. Действительно, добравшись наконец до Ольги, он проявил спокойствие, как будто ничего не было: ни кровати, ни грубых слов, ни пуделя, ни повинной.

— Ты не сердись, если я нагрубил. Дело настроения. Это со мной после тифа случается. А я вечером приду к тебе.

Это, конечно, совсем не походило на мольбы, ворох которых был припасен при входе в столовку. Это было скорее апологией своей черствости. Но все-таки это заставило Ольгу проясниться. Ее судьба была решена ночью. Никакие гнусности Михаила не могли

уже переродить ее чувств. Поздно поддавшись любви, она теперь была готова на любые пресмыкания ради счастья своего любовника. Знойное, засушливое солнце, убивая хлеба Поволжья или Канады, дает изумительные урожаи винограда, так что черные даты голодных лет золотыми ярлычками красуются на бутылках наиболее лакомых вин. О благодетельности или губительности любви написано достаточно книг. Михаилу минувшая ночь, в зависимости от его настроения, казалась то приятной, то отвратительной. Для Ольги она была неизбежной, лежащей вне ее субъективных оценок, данной, как жизнь. Приход или уход Михаила, любой росчерк его своевольных губ решали все. Она восприняла его обещание прийти к ней вечером, как разрешение видеть небо и дома, как разрешение быть.

Михаил не проглядел этой радости. Глотая наспех кашу, он и сам радовался своим возможностям то вызывать слезы, то осушать их. Это казалось ему замечательным фокусом, чем-то вроде писания стихов. Это возвышало его. Весь день прошел в уравновешенной радости человека, обладающего хорошенькой, умной, образованной, словом, всячески привлекательной любовницей. Самая банальная улыбка не сходила с его лица. Однако менее всего наш герой был способен удовлетвориться таким благоразумным состоянием. Подходя к дому, где жила Ольга, он замедлил шаги не от предвкушения каких-либо восторгов, но от внезапно нахлынувшей скуки. Он почувствовал, что никак не влюблен в Ольгу. Человеческому телу присущи свои вкусы, значительно более причудливые, нежели все изощрения ума. Порой бюллетень, заключающий эти оценки, слишком поздно доходит до сознания. Не только ночью, но и днем, в столовке, Михаил не сомневался в своей влюбленности. Он только удивлялся, что отсутствует обычно сопровождающее ощущение счастья. А теперь, при виде скучной оконной шашечницы большого дома, предчувствуя медленную походку ночных часов, всю тяжесть и черноту воздуха, белесоватую тоскливость чужих плеч, он понял, что вовсе не влюблен в Ольгу, что ее тело вызывает в нем неприязнь своим бескровием, мелкой костью, угодливостью и холодом, предательским холодом по-человечески «пылающей» от муки рыбы, ударяющей хвостом сухой песок. Тело не хотело считаться с культурной

орнаментацией Ольги. Считая, что ночью оно — хозяин, тело настойчиво протестовало. Михаил сейчас предпочел бы целовать любую девку, год не мывшуюся и с прошлого лета сохранившую запах подмышников, кого угодно, только не Ольгу.

Казалось бы, после такого резюме Михаилу остается как можно скорее повернуть куда-нибудь подальше от шашечного дома. Но Михаил и не думал об этом. Как подвижник, пересиливая все плотские позывы, он решительно приблизился к светлому кругу в кухоньке. Он не мог просто бросить такую добычу. Стоило подняться наверх хотя бы для того, чтобы еще раз услышать от Ольги слова признательности или смирения. Это все же не дарницкая солдатка! С любой точки зрения Ольга заслуживала внимания. Правда, ее былое богатство, то есть сгоревшие спички, мало что говорило Михаилу. Он был достаточно предан идеям своей эпохи, чтобы презирать деньги, к тому же еще подвергшиеся девальвации. Булат в те годы торжествовал над златом, и, опуская нехарактерный инцидент с молочником, можно сказать, что Михаил предпочитал винтовку всем сокровищам. Ольга импонировала ему другим: утонченностью, так называемой «культурностью», завидным умением из общедоступных вещей извлекать ассортимент неизвестных Михаилу состояний. Этого наш герой не мог простить женщине, место которой было под ним.

Подымаясь по лестнице, он твердо решил, не размякая, как вчера, поставить Ольгу на природой уготованное для нее место. Вид раскрытой книги взбесил его: буквы и те насмехались над бессильной яростью человека, с грехом пополам окончившего прогимназию и еще недавно подававшего «господам» калоши. Он прескверно выругался. Он был убежден, что оскорбленная Ольга либо выгонит его, либо начнет читать лекцию по морали. Тогда-то он покажет свои мужские права... Ольга, однако, молчала, и ему пришлось повторить номер. Подойдя к нему вплотную, не сводя с его обманно-мечтательных глаз своих, тревожных и пытливых, Ольга спросила:

— Что с тобой? Я ведь вижу, что ты от боли...

Михаил взревел. Это не образ, нет, раздался действительно звериный рев. Подобного оборота он никак не ожидал. Его лицо горело, как будто, чтобы заглянуть внутрь, с него содрали кожу. Конечно же, он

выругался от боли, он теперь и сам это знал. Но как смеет Ольга подглядывать в щелку, рыться в чужой душе, как смеет она его разоблачать? Он бегал по комнате, преследуемый стыдом. Он задул светильник, больше всего на свете боясь сейчас встретиться с этой пронизывающей, как рентгеновские лучи, голубизной ее глаз. Он искал поступка, который замаскировал бы его стыд. Приходили в голову различные планы: сесть и завести спокойную беседу, хотя бы о Париже, сказать, что у него осложнение после тифа, и сбежать, прикинуться пьяным, но все они, после краткой проверки, браковались. Наконец он устал и думать, и бегать из угла в угол. Он остановился на самом простом, диктовавшемся, по его мнению, временем и местом: кинув Ольгу на кровать, он повторил вчерашнее надругательство, только с еще большей злобой. Он подверг Ольгу всем унизительным положениям, какие только мог изобрести. Не испытывая никакой радости от физического обладания, он зато переживал душевное удовлетворение, унижая эту женщину, посмевшую при дневном свете быть выше его.

Двенадцать последующих ночей, все ночи до отъезда Михаила, были лишь различными вариациями этой. Истощив свою фантазию, Михаил старался инсценировать знакомые ему грязные анекдоты. Помимо этого, он непрестанно требовал подтверждения своих достоинств. Он смягчал для себя томительную черноту этих полных внешней дикости и все же подлинно бесчувственных ночей панегириками ему — «варвару», «новому человеку».

Раз, выдвинув ящик ее стола, он напал на чьи-то фотографии и письма. Он немедленно их разорвал. Ольга сочла это за приступ ревности. Однако это не было ревностью. С не меньшим удовольствием Михаил уничтожил бы все прошлое Ольги, ежечасно угнетавшее его, хоть и не упоминаемым, но все же ощущаемым превосходством. Он дошел до того, что потребовал от Ольги прекратить чтение книг. Он запретил ей говорить о своих путешествиях. Если бы только это было осуществимым, он заразил бы ее своими воспоминаниями: Минной Карловной или пьяным сахарозаводчиком. Но, увы, две недели не могли скостить ее двадцати семи гигиенических, как больничные стены, лет. Понимая свое бессилие, Михаил становился еще грубее. Все это не имело бы выхода, если бы дата

отъезда не прекратила самую непонятную из всех любовных связей, какие только можно себе представить.

Ее вполне выдержанным по стилю завершением явилось само прощание. Ольга долго готовилась к этой минуте, боясь слезами или жалобами раздражить своего любовника. Познавшая впервые любовь в образе Михаила, она жалко барахталась среди сомнений и догадок. Несмотря на возраст, на все увеселительные трущобы Парижа, она была невинна не менее своего прообраза, то есть пресловутой тургеневской героини. Она даже не знала, что следует отнести за счет естественной дикости человеческих чувств и что за счет грубости «нового человека». Она видела злобу и гнусность, но, в снисходительности любящей женщины, спешила объяснить это то неловкостью своих ласк, то тяжелым детством Михаила, то его глубоко скрытой нечеловеческой болью. Думая об этой боли, она не занималась собой. Только когда подошел день отъезда, она как-то сразу почувствовала, что с ней сделали эти недели. Простые формы вещей, человеческие голоса, даже свое собственное дыхание — все это причиняло ей беспричинные страдания. Она с трудом дышала. И все же она нашла достаточно сил, чтобы в последнюю минуту, когда руки Михаила, уже позабыв о существовании на свете рук, которые они не раз в досаде гнули и ломали, кинулись к дверям, в страшную минуту расставания сказать это самое нежное, самое невесомое слово с его полным самоотречением уже не любовницы, но матери:

— Мальчик!..

Две недели тому назад теплота и едкость слез явились ответом на это. Но теперь Михаил и не думал плакать. Жестокое испытание влюбленностью кончалось. Он уже дышал свежестью дороги. Он был слишком счастлив, чтобы целоваться или ругаться. Насмешливо косясь на остающуюся Ольгу, как летчик на жалкую недвижимость, он козырнул и весело крикнул:

— Наше вам с кисточкой!

Выйдя на улицу, он тотчас забыл об Ольге. Он больше не вспоминал о ней. Только раз, месяц или два спустя, ее голубые глаза неожиданно, можно сказать исподтишка, напали на него. Это было на пароходной палубе. Михаил ехал из Ростова в Мариуполь. Какой-то красноармеец жалостно играл на гармошке, нудно играл, как будто расчесывал искусанную вшами грудь.

Михаил, не слушая музыки, резался в карты. Он бессмысленно приговаривал: «А мы ее тузом, вот как...» Рядом с Михаилом, на бочонке сельдей, сидел военный врач, плюгавый еврей с глазами, съеденными трахомой. Подслеповато поглядывая на темное беззвездное небо, дыша вонючей рыбой и гнилью водорослей, врач вдруг мечтательно сказал неизвестно кому:

— Странно вот, когда на гармонике играют, я такую красоту чувствую...

Скинув действительно оказавшегося у него туза, Михаил с ненавистью поглядел на мечтательного уродца. Отчего-то ему вспомнилась голубизна Ольгиных глаз в ту первую ночь, когда одним словом «милый» она довела его, никогда не плакавшего, до лившихся беззвучно едких и сладких слез. Это было, впрочем, весьма кратковременным налетом. Минуту спустя, тасуя колоду и отведя в сторону свои печальные глаза, Михаил с ленивой любознательностью обратился к врачу:

— Вот вы скажите лучше, товарищ, если человек ничего, абсолютно ничего не чувствует, разве он в этом виноват?...

ГЕРОЙ ДЕМОБИЛИЗУЕТСЯ

В январе тысяча девятьсот двадцать первого года, то есть вскоре после официального завершения гражданской войны, мы застаем нашего героя блуждающим по одной из татарских деревушек Южного берега Крыма, с тщетной надеждой раздобыть бутылку вина. Как ни были плодоносны таврические лозы, они все же не смогли удовлетворить жажду враждующих армий, перенесших последнюю решительную партию с прямолинейных проспектов Петербурга на этот благодатный приросток России. Жажда людей не уступала их озлобленности, и последним по счету победителям достались лишь опустошенные подвалы. Зато они могли пьянеть победой, не эпизодическим исходом одного сражения, но концом тяжелого тома истории, бледнеющими в водной мути, как призраки, вымпелами угоняемых на невольничий рынок линейных кораблей. Это опьянение Михаил пережил сполна. Но теперь, в холодный октябрьский день, полный степного ветра, он искал другого хмеля, душного и теплого, как овчина. Ветер измучил его, отвратительный

ветер, зимой требующий присоединения этого беззащитного края к мертвой ледяной державе, снегом или пургой бомбардирующий зябкие бегонии, летом же тошный, как полустанок среди степи, превращающий даже приморские убежища в огромную духовку, северный насильник, пристающий со своими скулящими песнями к неженкам розам. Кажется, если бы мог этот ветер, он заломил бы картуз набекрень и стал бы лускать семечки. К счастью, все это для ветра недоступные аттракционы. Что касается Михаила, то Михаил хотел вина. Ветер иссушил его душу. Татарские домики обдавали пришельца сложным запахом козлятины, шафрана и никогда до конца не разматываемых лоскутьев. Он попробовал прикрикнуть, но старые татарки, сидевшие на корточках, начали трястись, как безлистый кизил, обдаваемый описанным нами ветром. Вина у них и вправду не было, но они боялись за спрятанные подальше от рыжего шатуна не менее рыжие (вследствие хны) головки своих дочерей и невесток. От крика першило в горле, а ветер и тоска не утихали.

Наконец Михаил попал в дом, резко отличавшийся от других своей архитектурой, в нарядный коттедж, как бы перенесенный сюда с вересковых холмов Шотландии,— ведь чистота и комфорт, хотя бы примитивный, на юге всегда кажутся чем-то привозным. Увидев в первой же комнате, еще до встречи с хозяевами, большой портрет Льва Толстого, мудро занимающегося земледельческим трудом, Михаил понял, что ему предстоит объяснение с зазимовавшими — и не на одну зиму — дачниками. Тощая физиономия и веревочные туфли вышедшего на шум человека подтвердили эти догадки. Говорить о вине не приходилось, но, чтобы чем-нибудь мотивировать свой приход, Михаил произнес трафаретную фразу, являвшуюся тогда столь же распространенной, как в другое время «который час?» или «здравствуйте!»:

— Оружье имеется?

Человек усталым жестом предложил Михаилу обыскать дом, как уже обыскивали его много раз всяческие люди, обязательно заглядывавшие в погреб, где среди гнилой прошлогодней картошки попискивали крысы. Но Михаилу было не до обыска — в этот проклятый день он сделал не менее тридцати верст под жестоким ветром. Если нет вина, то остается сон, он один, как

компресс, теплотою может смягчить режущую тоску. Лениво, для виду оглядев комнату, как будто в середине ее мог находиться припасенный пулемет, Михаил уже намеревался уйти. Но тепло помещения удержало его. А сонливость вполне заменила отсутствовавшее приглашение хозяев. Зачем ему идти в сырую школу, где товарищи спят вповалку, когда эта комната с кроватью кажется как бы нарочно созданной для ночевки? Остановившись, уже в дверях, он сообщил хозяину, что останется здесь до утра. Ни тощая физиономия, ни веревочные туфли не выразили, хотя бы малейшим движением, своего изумления или досады. Это тоже было в порядке вещей. Кто здесь только ни ночевал: и врангелевцы, и буденновцы, и гвардейские офицеры, и политкомы.

Молчаливость этого философического хозяина плохо действовала на Михаила. Ничего нет тяжелее для человека, охваченного беспредметной тоской, чем непроницаемое нейтральное молчание. К молчанию хозяина успело присоединиться не менее угнетающее молчание вошедшей девушки, его дочери, светлой, безбровой и привлекательной той особой северной чистотой, которой был полон этот пуританский коттедж, брошенный во всю неразбериху гражданской войны. Михаил решил во что бы то ни стало разорвать чересчур плотное молчание.

— Что ж, вы недовольны таким гостем?

— Нет. Почему же... Места хватит.

— Однако когда офицеры приходили, вы их, вероятно, полюбезнее встречали?

— Как кого. Это от человека зависит.

— При чем тут человек? Вы, собственно говоря, кто с классовой точки?

— Я писатель.

— Вот что. Очень приятно. О чем же вы пишете? О розах?

— О розах и о шипах. Вы находитесь в доме Федора Васильевича Тумакова.

Михаил достиг своего. Последняя фраза была произнесена утратившим всю свою непроницаемость хозяином не без гордости. Бедный Тумаков никак не мог свыкнуться с делом революционных лет, разрушивших, среди прочего, и его, хоть не бог весть какую, все же скромную и чистоплотную, вроде этого коттеджа, известность. Ему трудно было понять, что никто из этих молодых, чрезмерно самоуверенных людей,

щеголяющих вчерашними погонами или же красными звездами, не читал, да и не мог читать, «Русского богатства» и «Вестника Европы», где лет этак двадцать тому назад печатались рассказы Федора Тумакова, полные передовых идей о тяжелом положении горничной, доведенной бесчестным бюрократом до детоубийства, или же о жажде знания у бедного незаконнорожденного юноши, повесившегося у запертых для него ворот московской альма-матер. Все это было так недавно! Идеи не могут устареть. Гуманные чувства бессмертны. Просто люди теперь сошли с ума. И, увидав на лице Михаила недоумение, Тумаков саркастически забормотал:

— Тумаков Федор. Не слыхали? Рассказы пописывал. Да, занимаясь войной, то есть истреблением равных себе существ, трудно уделять время литературе.

Михаил мог торжествовать — ему не только отвечали, его вызывали на разговор, притом крупный. Он, конечно, и не думал увиливать.

— А на кой шут, спрашивается, ваша литература? Розы цветут? Я сам знаю. У меня, при всем моем пролетарском детстве, мать была... Я розу понюхаю с удовольствием и без вашего совета. А шипы?.. Так меня, извиняюсь за выражение, к такой матери засылали, что вы бы и придумать не смогли. Шипы ломать следует, а не рассказики об этом сочинять. Я вот сам стихами баловался. Это не путь, а наследство умирающего класса. Бороться вы должны, если у вас сознание. С нами или против нас. А вот сидеть в домике и розы слюнками поливать — это, позвольте вам сказать, гражданин писатель, свинство, розовое свинство!

Начав говорить со скуки, Михаил быстро оживился. Сопротивление, в виде иронической физиономии Тумакова, подхлестывало его. Он говорил теперь с мрачным энтузиазмом алхимика или вещателя. Девушка, равнодушно слушавшая спор, залюбовалась им. Под бушевавшим пожаром волос два угля жгли не шутя. Тумаков тоже разошелся. Он даже забыл, кто перед ним. Он спорил не с каким-то красноармейцем, реквизировавшим мимоходом удобную кровать, а с новым поколением, с революцией, с жизнью, горько обидевшей старого честного писателя. Тумаков, веривший во взаимную любовь людей, а также в английский парламентаризм, как в таблицу умножения, сам теперь призывал к ответу беззаконное и безлюбое время.

— Насилием ничего нельзя достичь, молодой человек. Здесь начальные школы нужны, а не революция. Совершенствовать себя нужно. Ломать легко, а вот попробуйте построить что-нибудь. Я сам в свое время страдал за убеждения. В манеже сидел. Но мы о конституции мечтали, а не о Чека. Я гражданской войны не приемлю. Совершенно верно, я предпочитаю здесь, вот в этом доме, погибнуть от голода или от визитера, вроде вас, чем стрелять в своих же братьев.

— Ах вот как! Ну, такую услугу вам всегда можно оказать. Для подобного разочарования и пули не жалко. Но только, поверьте мне, в революции вы ни черта не смыслите. Можете хоть на меня посмотреть. Скажу вам прямо — я человек неважный... Хочется мне, конечно, очень многого, а пороху, откровенно говоря, разве что на скандальчик хватает. Я это великолепно сознаю. А кто меня в люди вывел? Революция. Я о чем думал прежде? Как бы дамочку пошикарнее употребить. В «коты» метил. Меня революция до крика, до счастья дотрясла. В Октябре ранили меня. Жаль, что вылечили. Во мне тогда героизм был. Да и потом: как в сторону отходишь, так начинается баловство и мразь. Вот стишки, вроде вас, пописывал. Или — недавно это — оказался у меня месяц свободный, после сыпняка. Что же — немедленно развел пакость. С девушкой одной спутался. Тут-то я себя в настоящем виде показал. Меня за это следовало бы утюгом, а она по головке гладила: «мальчик». Ну, а революция — это другое предприятие. Та по головке не погладит. Чуть оступился — и в расход. Правильно! От этого и в ногу идешь. Революция, она воодушевляет. Поняли? Это как барабан — под него хоть тысячу верст пройдешь. Михаил Лыков, сам по себе, сопля в шинели. Ничего я не знаю. Не то что ваших жалких рассказиков, я и Карла Маркса не читал. А с революцией я весь мир могу перевернуть!

Голос Михаила уже перешел в пронзительный рев. Это была сумасшедшая исповедь, где каждый грех увеличивал для исповедника шансы оказаться под конец заколотым штыком грешника. Самооценка, пусть лапидарная, но достаточно резкая, шла не от сознания. Михаил не знал себя. За пять минут до этого он воспринял бы утверждение, что Михаил Лыков ничтожен, не только как оскорбление, но и как нелепость. Это было внезапным озарением. Короткие, жесткие, грубые фразы вылетали помимо его воли. Будь здесь

вместо Тумакова какой-нибудь коммунист, дело могло бы для Михаила скверно кончиться: ведь он дошел и до истории с молочником. Не следует принимать это за наслаждение самобичеванием. Нет, различные унизительные детали были нужны Михаилу, как фон для выделения всего могущества революции. Он задыхался от очевидности своей правоты. Как бы ни были горьки и страшны годы гражданской войны, они являлись жизнью, напоминая чудовищную шахту, где в тесных штреках, дыша едкими газами, теряя и зрение и радость, падая вниз, копошились сотни тысяч людей, добывая не нарядное золото, но черные неказистые глыбы, дающие тем, кто выше или моложе, свет и тепло. Правда, бессмысленная, нелепейшая правда войны, вечно осуждаемой и все же живучей, особенно наглядно ощущалась здесь, среди мертвечины этого коттеджа, рядом с физиономией Тумакова, своей желтизной напоминавшей старые страницы «Русского богатства». Физиономия эта теперь была покрыта рябью негодования.

— Ваши слова только подтверждают правильность моей позиции. Если революцию делают подобные вам мальчишки, не брезгующие при случае и молочником, ничего нет удивительного в том, что вместо Учредительного собрания мы получили Чека. Еще одна иллюстрация, и только...

— Стоп, гражданин! Может быть, я и сволочь. Это не вам судить. Если меня к стенке приставят, я первый скажу: «Поделом!» А революция тут ни при чем. Я на партийности моей только и держусь, как штаны на подтяжках. Почему я вам о молочнике рассказал? Потому что знаю — стыдно. А почему стыдно? Только из-за него, из-за билетика. Да не будь партии, я бы направо и налево... И не молочник какой-нибудь... А с партией я вот на Перекоп лез — умирать. Да вы этого никогда не поймете! Вы думаете, раз я пришел сюда и кровать вашу забрал, значит, я разбойник. Плевать мне на ваш семейный уют. Я не удовольствия, я подвига хочу!

Дойдя до этого, хоть чрезмерно патетического, но, безусловно, в ту минуту искреннего восклицания, Михаил сразу осекся, как будто завод, двигавший его, кончился. Даже глаза его потухли. Прежняя тоска, дополненная злобой на этого желтолицего умника, которому он столько выложил и который все же его никак не понял, сменили недлительное возбуждение.

Он едва слушал Тумакова, защищавшего теперь духовные преимущества своей нейтральной позиции. Начиная ненавидеть собеседника, он грубо оборвал его на какой-то особенно пышной сентенции.

— Вы мне скажите лучше, что это за штука ваш «нейтралитет»? Вот если к вам врангелевец заявится, вы его спрячете?

Тумаков ответил не сразу. Он понял, что теоретический спор становится опасным. Но, почитая больше всего на свете гражданское мужество старого народника, он ответил:

— Спрячу.

— А если это мерзавец какой-нибудь? Если он мосты взрывает или заговор устраивает, что же, вы и такого спрячете?

После новой паузы, тяжелой для обоих, а особенно для присутствовавшей при этом девушки, после паузы, напоминавшей часы в ожидании судебного приговора, последовало все то же:

— Спрячу.

Сознание Михаила ответило на это короткое слово столь же коротким: «В расход!» Его злоба по интенсивности далеко уступала былым дням, когда при эвакуации Киева он расквитался смертью за подсмотренную улыбку. Теперь это была лишь ленивая и усталая злоба. Однако она все же подсказывала Михаилу необходимость расправы. Наш герой дышал воздухом тех триумфальных, но и сугубо беспощадных дней. Конец гражданской войны превзошел ее самое жестокостью. Одни убегая, другие побеждая, напоследок спешили брать мрачные рекорды. Здесь было значительно больше от инерции движения, чем от подлинности несдерживаемых стихий.

Писатель Тумаков был спасен исключительно сонливостью Михаила, удержавшей его теперь от убийства, как она же удержала его от дезертирства. Не стащив даже сапог, он повалился на кровать. Засыпая, он успел лишь подумать: «Прикончу завтра». Гул ветра, проникшего в дом, залил его уши. Он уснул. Все это произошло на глазах у Тумаковых, ожидавших совсем иной развязки. Они ведь не догадывались о последней деловой мысли заснувшего Михаила. Они видели лишь трогательный, по-детски приоткрытый рот, всю беспомощность этого огромного ребенка, только что зло ругавшегося, теперь же помеченного подлинно нежной улыбкой сна. Нервная депрессия привела де-

вушку к слезам. Тумаков, забыв о всех недосказанных аргументах, вдруг по-бабьи засуетился, стащил со своей постели одеяло и заботливо покрыл им непрошеного гостя.

Когда Михаил уснул, было не позднее восьми. Он проснулся ночью и не без удивления оглядел комнату, захоложенную луной. Вчерашняя беседа и ее мрачное резюме им не были заспаны. Человека, который может, хотя бы и на словах, спрятать врангелевцев, следовало определенно ликвидировать. Здраво, вне азарта подумав об этом, он одобрил свое решение. Но тогда тощая физиономия и веревочные туфли стали назойливо метаться в его голове. Какое-то новое чувство открылось в Михаиле, настолько новое, настолько непонятное ему самому, что он сначала отнес его за счет своего сонливого состояния. Действительно, ни тщедушные щеки Тумакова, ни его столь же тщедушные рассуждения не вызывали больше в нашем герое злобы. Совершенно неожиданно для себя он подумал, что писатель стар и тощ, вероятно, скверно питается и скоро умрет. У Михаила все впереди. Он молод, он член РКП, следовательно, победитель. А у этого что? Комплекты старых журналов, на которых нельзя даже супа сварить, дряхлое брюзжание, какие-нибудь болезни и, наверное, тоска. Хоть у Тумакова была другая профессия, он чем-то напоминал папашу. Тут только Михаил догадался, что неизвестное ему чувство — это жалость, первый чахлый росток жалости, показавшийся на мертвом поле гражданской войны, самой безжалостной из всех войн. Догадавшись о характере своего нового чувства, Михаил не порадовался и не устыдился, он принял его за нечто естественное, вытекавшее из самого положения.

Наш герой был прав. Известно всем, сколь сложен для государственного организма процесс демобилизации. К размещению безработных или к переводу заводов, выпускавших снаряжение, на производство плугов готовятся с тревогой, как к перерождению сосудов. Но газеты, разумеется, не могут заниматься молчаливым и малоприметным ходом душевной демобилизации граждан, вчера еще согреваемых коллективной ненавистью, а сегодня очутившихся в мире без врагов (кажется, более нам необходимых, нежели друзья), принужденных менять храбрость на житейскую выдержку, боевой задор на терпение. Это трудный и мучительный переход. Неясные чувства проснувшегося

среди ночи Михаила были лишь частичными симптомами огромной психологической трансформации, охватившей страну. Статистика террора могла еще давать высокие цифры, но гражданская война, законченная официально, кончалась и в человеческих сердцах.

Михаил жил импульсивно, его чувства неизменно сопровождались какими-либо конкретными поступками. Еще не выработав никакого плана действий, он все же встал и направился в соседнюю комнату. Как всегда, его руки опережали мысли. Разбуженная топотом шагов, дочь Тумакова тихо вскрикнула. Последнее из ее сновидений было атавистическим: убегая от члена ревкома Гуссейна, она прыгала с ветки на ветку, пока не свалилась. Полет был бесконечно долгим, как будто под ней находились тысячи футов. Она хотела кричать — и не могла. Она вскрикнула, лишь проснувшись и увидав перед собой лицо фанатичного спорщика, которое, облитое лунной зеленью, казалось разложившимся лицом утопленника.

Испуганный вскрик обидел Михаила. Вечером он бы обрадовался ему, но теперь лирическая острота чувств жаждала иного. Сам того не понимая, он требовал от других людей аккомпанемента своим весьма изменчивым настроениям, и фальшивые ноты его оскорбляли. Он даже сам несколько сбился с тона и проявил раздражение.

— Напрасно вы испугались. Я не за вашими сокровищами пришел. Ко мне женщины сами липнут — чувствуют мою душу. А вы мне и не нравитесь вовсе. Запрели вы здесь с вашим нейтральным папашей. Рекомендую поступить на советскую службу. А брови отрастить тоже не мешает, говорят, имеется для этого какая-то притирка. Впрочем, мне наплевать. Я не за этим. Вот только вам придется сейчас захватить папашу и выйти погулять.

Девушка окончательно проснулась. Приглашение было отнюдь не двусмысленным. Расправа, предчувствуемая вечером, теперь становилась реальностью. Их вели на расстрел. Мало ли имелось в те годы для этой трагической прогулки галантных псевдонимов: «в расход», «в употребление», «в штаб Духонина», «к Николаю», «поддержать стенку», «выйти в тираж», «подлить свинцу», «крестить жида». Забыв о себе, она успела только подумать, как отец будет шагать по мокрой глине, и разрыдалась. Упав на колени, она тщетно пыталась поймать сумасшедшую неуловимую руку Михаила.

Наш герой ответил на это меланхолическим вздохом.

— Напрасно вы стараетесь. Меня разжалобить нельзя. Для этого у меня ни окон, ни дверей нет. Да только я не собираюсь вам ничего плохого сделать. Я даже спасти пришел вас. Сами знаете, время у нас еще жаркое. Папаша ваш, тот прямо мне сказал, что он любого мерзавца готов приютить. Ну, а такое, с позволения сказать, гостеприимство совсем не по сезону. Мне бы следовало его определенно устранить. Но только и я человек, черт вас всех возьми! Вы думаете, мне не скучно в расход людей пускать? Одним словом, сейчас же вылетайте отсюда, и куда-нибудь подальше! Голова у меня ненадежная. Кто еще знает, какое на меня утром настроение найдет? Сейчас мне вот жалко его. Худой он, подлец! Вас не жалко. Вы еще молодая. Можете оторваться от своего класса, стать партийной, жить можете. А ведь он со своими рассказиками чистая дохлятина. Ну и жалко. Марш отсюда. Раз-два-три!

Жалость была для Михаила столь затруднительным в своей новизне состоянием, что, произнеся эту речь, он почувствовал сильнейшее утомление. Не глядя на девушку, он прошел назад к своей кровати и немедленно уснул. Когда он вторично проснулся, было уже утро. Северный ветер сменился теплым, морским, и природа этого края, привыкшая быть цилиндром в руках опытного фокусника, засыпала нашего героя неожиданным солнцем, запахом мимоз и птичьим верещанием крохотных татарчат. Вечер и ночь с минуту повоевали в сознании Михаила, причем оставалось невыясненным, кто же победитель. Это было предоставлено простой случайности. Михаил обошел внимательно все комнаты, заглянув даже в погреб с картошкой. Тумаковых не было, они мудро последовали ночному совету гостя. Судьба писателя была, таким образом, решена помимо утренних настроений Михаила.

Он шагал по присыхающей глине. Солнце его не радовало. Да и ничто не могло бы сейчас его обрадовать. Он был пуст, как будто его выпотрошили, и эта пустота рождала неуверенность в слишком уж легких шагах, в слишком теплом для месяца ветре, во всем. Он переживал конец войны, не ее победный и, следовательно, радостный исход для своего дела, но томительность предстоящей свободы. Внешне, разумеется, партия найдет для него хорошее, трудное, исключающее опасные до-

суги, занятие. Но откуда взять пафос, равный буре, повалившей перекопские стены, пафос для повседневной канцелярской суетни в каком-нибудь главке? У него отнимают винтовку. Чем он ее заменит? Невежеством можно было, да и то до поры до времени, кокетничать перед собесовскими фребеличками. А для новой жизни нужны знания. Сейчас вот все газеты полны дискуссий о профсоюзах. Дискуссия — это слово бодрит, в нем температура боев. Но Михаил не может ринуться вперед, он даже не знает, что такое «демократический централизм». Он очутился в хвосте, ничтожным членишкой, при всей несправедливости этого, он, бывший на фронте почти два года, награжденный орденом Красного Знамени, окажется в бессловесном подчинении у такой дуры, как эта дочка писателя, если только ей вздумается войти в партию, у любого интеллигентика. Вместо триумфальной арки его ждут прозябание и скука.

Сердце Михаила билось очень медленно, ничем не подхлестываемое, как бы сомневающееся в нужности этих редких, ленивых толчков. Ему предстояло просто жить, а это так же скучно, как просто гулять, без цели, без дела и без выпивки. Своими сомнением и тоской он вторил всей стране, переживавшей эту нелегкую зиму, с ее нарушенным кровообращением, закончившимся кронштадтским нарывом. Желчность разоблачаемых жизнью иллюзорных достижений, потребность в первичных удобствах (если удобством можно назвать фунт ржаного хлеба), строительный зуд в руках и одновременно послепраздничная тошнота, разгон последней Сухаревки для немедленного утверждения коммунизма и уже первые черновые мысли о нэпе, вся радость и тоска наступавшего успокоения в ту зиму прерывали дыхание и сводили судорогой Россию.

Михаил отчетливо зевнул и, увидев на крыше голубя, отправил пулю, не достигшую писателя Тумакова, в крохотное голубиное сердце.

Он был демобилизован.

УЧЕНИЕ — СВЕТ

Среди «артемовцев», великолепно усвоивших эту на редкость благонамеренную из русских поговорок, Михаил все же умудрился стать первым по своему исключительному рвению. Прежде всего, однако, сле-

дует разъяснить тем из наших читателей, которые не имеют никакого отношения ни к городу Харькову, ни, в частности, к его просветительным начинаниям, что такое «артемовцы». Конечно же, это не секта последователей брата нашего героя, Артема Лыкова. Нет, артемовцы — это то же, что в Москве свердловцы, а в Ленинграде зиновьевцы, то есть учащиеся комвуза имени видного большевистского деятеля тов. Артема. Чтобы попасть в означенное заведение, нужно, кроме партийного стажа, обладать удачливостью, ибо сочетание коммунизма с высшими знаниями представляет немалую приманку. Что же, после стольких испытаний Михаилу повезло: он попал в светлые аудитории бывшего коммерческого училища. Он мог, таким образом, отдаться ковке нового оружия, взамен винтовки, из которой напоследок был убит ничтожный голубок, оружия достаточно боеспособного, чтобы, толкая вперед дело, и самому не застрять в обозе, но продолжать выдвижение, столь удачно начатое орденом Красного Знамени. Его двадцать два года позволяли на многое надеяться.

Как повстанцы с голыми руками кидаются на щетинистые подступы арсеналов, наша страна, едва кончив воевать, кинулась на библиотечные форты, на учебники политической экономии или электротехники, на начальную арифметику и на гегелевскую диалектику, на курсы агрономии и на третий том «Капитала» — на все эти Перекопы, обвитые проволокой непонятных терминов, минированные темнотами семи гимназических классов и тридцати веков культуры.

Пусть злопыхатели, любящие попрекать свой народ тем, что победоносным походам республиканских генералов французской революции он смог противопоставить лишь усмирение десятка доморощенных Вандей, подумают о величественности этого штурма. Народ, в раже садящийся за парту,— разве это зрелище не превосходит все Аустерлицы истории? Иностранные ученые, поражавшиеся трудам своих русских собратьев, совершенным в годы отмороженных рук и тухлой конины, могли бы помножить это законное изумление на число жителей СССР, ибо между академиком Павловым, склоненным над рефлексами, и каким-нибудь отнюдь не нарицательным Ивановым, потрясенным чудом образования из таинственных значков реальных наименований, мы не видим существенной разницы.

Мы можем с гордостью подтвердить, что не витрины ювелиров, но публичные лекции,— безразлично о чем, о коллективном инстинкте муравьев, о проблеме любви с точки зрения научного марксизма, об австрийских социал-предателях, о межпланетном сообщении,— требовали удесятеренных нарядов милиции. Вузы впитали в себя такое количество юношей, что их пришлось разгружать, как города. Книги библиотек стирались и разлетались серой пыльцой. Не доверяя больше ни попам, ни комиссарам, бородатые сельские хозяева налегали на философские проблемы. Учились сами, учили друг друга, учили своих детей, а также родителей, учились до отупения, заучиваясь и переставая понимать простейшие вещи. После разоблачения грозы, оказавшейся проделками не пророка Ильи, но какого-то электричества, ждали особого разъяснения дождя, наверное же происходящего не от чересчур примитивного накопления туч. Сколько рабфаковцев заболело от чрезмерных занятий, об этом знают наши психиатры. Героическая эпопея — и не походом на Варшаву займется российский Гомер, но исторической осадой знания, осадой, имевшей свои жертвы, свои подвиги и свои безумства.

Как бы ни относиться к нашему герою, нельзя отрицать одной присущей ему добродетели: редкостной рьяности. Попав в здание Коммунистического университета, он, конечно, не стал заполнять аудитории позевыванием. Нет, вцепившись в горло гордячки науки, Михаил снова показал всю свою одержимость. Кажется, ни один влюбленный не мог бы дойти до ночных безумствований Михаила, кидающегося на теорию прибавочной стоимости. Программа занятий, при всей ее громоздкости и сложности, не удовлетворяла его. Прежде всего это была программа для всех — границы ее являлись установленными границами знаний, необходимых для добросовестного партийного работника. Наверное, вожди, чьи портреты красуются в аудиториях, знают много больше. Находясь весьма далеко от этих границ, ровно ничего не зная, Михаил уже их ненавидел. Они как бы являлись барьерами в его грядущей карьере. Он набирал груды книг из библиотеки, стараясь таким образом урвать нечто, превышающее общий паек. Заподозривший однажды чекиста в саботаже, он подозревал теперь всех профессоров (коммунистов чистой воды) в том, что они скры-

вают от слушателей какие-то важнейшие знания. Один из них дал общую, весьма нелестную характеристику идеализма. Михаил этим не удовлетворился. Он засел за «Историю философии» Куно Фишера. Это отнюдь не являлось попыткой усомниться в правильности узаконенного мировоззрения. Нет, Михаил сразу почувствовал, что идеализм устарел, не по времени, да и не по нему. Но, жадничая, он хотел запастись всеми аргументами против идеалистов — пригодится! Прочитав тридцать страниц, он забросил идеализм, потому что необходимо было приняться за электротехнику. Разве Ленин не сказал: «Коммунизм — это советская власть плюс электрификация»? Будущность инженера, электрифицирующего страну, показалась ему наиболее обольстительной. Но здесь требовалась длительная выучка, а число часов в сутки, как бы ни переставлялись стрелки, оставалось неизменным в своем консерватизме. Электричество пришлось также оставить, тем паче что волнения в Германии и в некоторых других странах подсказывали всю важность изучения иностранных языков. На первом месте стоял, разумеется, немецкий. О событиях в Силезии и Вестфалии кричали все харьковские заборы. Но Михаил заметил, что его сотоварищи — по большей части евреи — как-то сразу понимают этот язык. Пока Михаил их догонит, успеет произойти не одна революция. Английский? Но из отчетов Коминтерна явствовало, что в англосаксонских странах капитализм отличается максимальной устойчивостью. Михаил вычитал где-то, что испанский язык, обыкновенно презираемый, как язык мертвых армад и «карменистых» брюнеток, на самом деле является языком перворазрядным, на котором говорит вся Южная Америка. Он стал докучать профессорам вопросами о мексиканской нефти и о сельском пролетариате Аргентины. Он решил заняться изучением испанского языка, но наткнулся на неожиданное препятствие: во всем Харькове не оказалось самоучителя. Михаилу предложили вместо грамматики сочинения святого Хуана дель Круза. Это никак не подходило. Мысль о коммунистической миссии в Южной Америке пришлось, не без сожаления, отбросить, сохранив в памяти несколько туманных фраз о приисках Мексики и еще известное головокружение от одного упоминания о странах, остающихся обетованными для всех авантюристов и мечтателей мира.

Блуждая в поисках побочных знаний, Михаил все же успевал глотать, хоть часто и не прожевывая, курсы своего вуза. Учебное невоздержание сказалось прежде всего на его здоровье. Гражданская война для его тела была благотворным курортом. За зиму, проведенную в Харькове, он успел потерять и загар и силы. Его прирожденная нервность очутилась теперь в благоприятной атмосфере. По ночам Михаила доводили до бешенства головные боли. Его верхняя губа вышла из подчинения, время от времени начиная негодующе подпрыгивать. Этот тик со стороны казался не болезненным явлением, а эффектной гримасой. На заносчивом и без того лице Михаила он был курсивом вызова и презрения. Нервность и слабость пугали Михаила. Как очень многие, не боясь смерти в виде пули или осколка снаряда, он терялся перед хитроумными происками болезни. Ночная мнительность, напоминая ему о возможности быстрого сгорания, наполняла и его дни особенной спешкой, лихорадочной жадностью. Кроме этих патологических отступлений, спешка диктовалась и всеми навыками поколения, у которого месяцы шли за годы. Пять лет, для дореволюционного студента одновременно и длительные и мимолетные, как летний день на даче, не для одного Михаила, но и для всех его сверстников казались эпохой, которую не каждому удастся пережить, эпохой, способной не только стереть какую-нибудь малюсенькую жизнь вузовца, но и заново перерисовать очертания материков.

Михаил минутами начинал сомневаться в осмысленности своих занятий. По пути к знанию им было пройдено ровно столько, сколько нужно для того, чтобы увидать обманчивые размеры предмета и свою от него отдаленность. Он узнал теперь отчаяние путника, подымающегося к неизвестному ему жилью, который, думая, что он уже подходит к цели, вдруг замечает высоко над собой бесконечные строчки все той же крутой тропинки. Однако он еще боролся с этим чувством, как с малодушием.

Все лекторы, наезжавшие той зимой в Харьков, получали записочки от Михаила. Он не пропустил ни одной лекции. Со скандалом пробирался он в первые ряды. Если милиция подкрепляла кулаками контроль, на требование билетов он отвечал возмущением: «Я на фронте кровь лил!», а если и это не действовало, начинал петь перед шалеющими от непонятности ситу-

ации и на всякий случай козыряющими милиционерами «Интернационал». Сопровождала его повсюду самодельная тетрадка, сделанная из каких-то анкетных листов, подобранных в канцелярии. На правой стороне ее значилось: «Владели ли до 1917 года недвижимым имуществом?», или озадачивший бы даже самого Кандида вопрос: «Какой партии сочувствуете?», как будто анкеты предназначались специально для самоубийц. На левой стороне Михаил записывал конспекты лекций. Там можно было прочесть: «Тяжелая индустрия Германии, не заинтересованная во внутреннем рынке, настроена непримиримо», «Футуризм — фактически буржуазная вылазка против нового содержания», «Ассоциация по смежности у собаки вызывает зачастую слюну», «Тов. Коллонтай, говоря о любви, забывает, что центр тяжести в красной физкультуре» и тому подобные записи. К лекторам Михаил относился еще более подозрительно, нежели к своим вузовским профессорам. Он считал их всех оптом шарлатанами и идеалистами, то есть заядлыми контрреволюционерами. Он их обстреливал инквизиторскими вопросами: «Сколько вы, товарищ пролетарий, получаете за лекцию?», «Что вы фактически делали в Октябре?», и будь лекция посвящена эйнштейновской теории относительности, все равно: «Почему вы ничего не говорите о мировой революции? Не нравится?» Кроме этих биографических справок, он требовал полного удовлетворения своей любознательности. Лектора, читавшего об евгенике, он запрашивал, что такое омоложение, другого, посвятившего свою лекцию «загадке Атлантики», он закидал вопросами о матриархате. Что делать — он хотел все знать. Неизвестное оскорбляло его, а времени было мало.

Одуревая от книг и конспектов, он изредка позволял себе роскошь читать, по его словам, «пустую брехню», то есть романы. Но даже над ними он не отдыхал. Восторженное мычание маленького Мишки, рожденное когда-то арией Кармен, не имело продолжения в дальнейшей его жизни. Поскольку наш герой показателен для своей эпохи, пессимисты, утверждающие, что искусство переживает теперь тяжелые, а может быть, и предсмертные часы, найдут в его чувствованиях новое подтверждение своей теории. Нельзя сказать, чтобы Михаил вовсе не любил искусства, нет, иные пьесы, иные книги, чаще всего фильмы, увлекали

его своей находчивостью. Он преклонялся перед трюками в искусстве, как перед спортивным рекордом или перед остроумным мошенничеством. Это было, конечно же, чувством, весьма далеким от лирического умиления. Романы вызывали в нем житейские соображения. Он презирал неверные шаги неудачников, а успехам героев, находившихся под покровительством фортуны и автора, откровенно завидовал. В этом отношении для него не было никакой разницы между Достоевским и Шерлоком Холмсом. Кроме того, и книги и театр ему порой помогали разобраться в себе. Читая «Преступление и наказание», он немало издевался над Раскольниковым за мелкость его амбиции (очевидно, забывая об истории с молочником). Он ощущал все превосходство человека, желающего, как и Раскольников, взлететь высоко, но выбирающего для этого не детский шарик банального преступления, а безукоризненный мотор великого исторического события. «Саломея» напомнила ему историю с Ольгой. Хотя умом он и не понимал этой бессмысленно воющей бабы, захотевшей если не живого любовника, то, по крайней мере, его ни на что не годную голову, но сердцем он чувствовал, что это темное хотение родственно ему, что, более того, он предпочел бы в своих любовных делах мертвые головы, то есть статистику побед, живым женщинам, с которыми приходится разговаривать и даже целовать их.

Вскоре после этого спектакля и вызванных им мыслей Михаил случайно на улице встретил Ольгу. Он не сразу узнал ее, в чем было повинно, гораздо более изменившегося от пережитой разлуки лица Ольги, его страстное отталкивание от своего прошлого. Он умел думать только о предстоящем. Военные похождения и те казались ему теперь достойными исключительно снисходительной улыбки, как детские проказы. Разумеется, Ольгу он помнил, как эпизод своей жизни, но голубизна ее глаз уже являлась незначительной и запамятованной деталью. Ольгу подобная встреча потрясла более, чем все его прежние выходки и оскорбления. То можно было, при желании, объяснить душевным изворотом. Вид Михаила, сначала не узнавшего ее, а потом безразлично с нею поздоровавшегося, не допускал никаких снисходительных толкований. Ольга почувствовала, что Михаилу нет, да и не было до нее никакого дела, что за жестокостью его ласк стояла не

темная страсть, не ревность, но скука, изобретательная скука бесчувственного человека. Это открытие было страшным. Однако даже оно не смогло побороть любви. Поэтому, когда Михаил сказал: «Нам по дороге»,— она безропотно наклонила голову и пошла рядом с ним. Михаил отправился проводить Ольгу, а затем и поднялся с ней в хорошо знакомую ему кухоньку, влекомый не лиричностью воспоминаний и не чувственной страстью, но исключительно самолюбием. Ему было совершенно необходимо рассказать Ольге о своей новой интеллектуальной карьере и, заняв место на знавшей его позор табуретке, уже не слушать, но рассказывать. При напряжении он мог теперь разговаривать по-интеллигентски, изредка только выдавая свои трудности чрезмерным употреблением словечек вроде «гипертрофия», «экспериментально» или «констатировать». Любуясь собой, он сообщил Ольге о перспективах революции в Персии и об опытах профессора Штейнаха. Он посвятил ее в свои надежды: он должен использовать передышку для приобретения знаний, чтобы стать потом партийным вождем или крупным спецом. Все это заняло не менее трех часов. Пропустив мимо ушей и омоложение, и карьеру Михаила, Ольга всецело предалась бесплодным попыткам победить в себе ненавистную ей самой любовь. Она издевалась над своими чувствами: «Бабская блажь!» Она давала себе бессмысленные обещания немедленно порвать с ним.

Наконец Михаил почувствовал усталость, даже хрипоту. Он встал. Корректура проделана. Образ нового, полного идей, Михаила поставлен на место грубо буянившего Михаила-красноармейца. Прощаясь, он случайно оказался в тесном пространстве между двумя дверьми прижатым к Ольге. Нужно сказать, что, предаваясь до умоисступления учению, Михаил пренебрегал всем прочим. В то время как его товарищи «артемовцы» сходились и с «артемовками» (что еще могло сойти за общность идеологии) и с беспартийными мещаночками, кокетливо щебетавшими: «Ах, вы коммунист, какой ужас!» — и получавшими за беспартийность своих чувств различные коммунистические услуги, как-то: рекомендации, пропуска и билеты, Михаил вел образ жизни аскетический. Тело его, однако, хоть и изнуренное, не могло удовольствоваться лекциями. Теперь, между двумя дверьми, почувствовав теплоту

чужой жизни, оно неожиданно напомнило о себе. Не задумываясь, Михаил вернулся в кухоньку и прилежно обнял Ольгу. Он был на этот раз безупречно корректен, как английский лорд, имеющий дело со своей супругой. Ни одним жестом он не оскорбил Ольгу. Его ласки отличались непонятным лаконизмом, деловой фантастикой, напоминая советский укороченный лексикон. Это был ряд механических движений, почему-то необходимых, но ни в какой мере не затрагивающих человека. Кончив же, он встал, оправился перед зеркальцем и, желая до́ конца проявить свою воспитанность, перед тем как уйти, поцеловал руку Ольги.

До этого деликатного поцелуя роль Ольги, как и всегда, была пассивной. Она напрасно попыталась в минуту первого вступительного объятия вспомнить о своем недавнем решении порвать с Михаилом, чтобы тотчас предать себя всецело на милость его утонченных и вместе с тем обезьяноподобных рук. Она опомнилась лишь от этого последнего, столь изысканно вежливого обряда, чтобы, вся дрожа от боли, броситься в угол. Не умея еще перевести на язык укоров свои чувства, она только бессмысленно бормотала:

— Ты что ж это... уходишь?..

Глупость вопроса, да и всего поведения Ольги, вызвала нотацию Михаила.

— Разумеется, ухожу, а не прихожу. Кажется, сама видишь. У меня в шесть практические занятия. Вообще, должен тебя поблагодарить за все, но в твердые отношения я сейчас вступить не могу. Половые эмоции — яд для человека, занятого умственной работой. Ты вот, прошлой зимой, мне часто говорила о своей любви. Очень хорошо! Если любишь, то ты должна избавить меня от подобных свиданий. Мне необходимо работать. Ясно?

— Ты... негодяй!

Наш герой не ответил руганью. Он не кинулся на Ольгу. Только тик, удачно придававший вящую презрительность его лицу, указывал на некоторое волнение.

— Ты так говоришь потому, что завидуешь мне. Ты путешествовала, читала — словом, в свое время ты жила. Теперь ты что? Старая самка. Вся твоя жизнь, извиняюсь, у тебя под юбкой. А я живу. У меня теперь тысячи интересов. Вот и завидуешь... Впрочем, я только констатирую факты. Откровенно говоря, мне тебя жаль. Повалит ли тебя мужчина или не повалит, от

этого вся твоя жизнь зависит. Желаю привести чувства в порядок. А мне пора на практические. Пока!

Это «пока», в процессе американизации чувств и обкорнания языка ставшее тогда излюбленной формулой расставания, должным образом завершило речь Михаила. Он не прощался навеки, он и не напоминал о желательности нового свидания, он покидал Ольгу «пока», пока она ему снова не потребуется. Ни «негодяй», ни «мальчик» теперь уже не могли на него подействовать. Двадцать минут спустя он сидел над статистикой.

Визита к Ольге он не повторил. Он по-прежнему отдавался занятиям. Но перебои все чаще прерывали ровный ход лекций и книг. Все чаще он стал задумываться, верный ли путь выбрал? Не залез ли он снова в сторону от живой жизни, как это было с левыми эсерами или со стихами о пастушках? Учение требовало определенно не недель, даже не месяцев, а длительных лет. А интенсивность жизни не ослабевала. Если другие кинулись на книги, это понятно. Что же им было делать? Но в процессе накопления знаний, в этом систематическом и медлительном процессе Михаил лишен возможности проявить всю исключительность своей натуры. Значит, он взялся за чужое дело. Все, что привлекало его прежде, будь то политическая борьба, искусство или фронт, было открытым для гениального налета. Здесь же что он мог урвать? Еще десять лекций или сто книг. Недостойная мелочь! Человек просит грушу, а ему предлагают крохотное зернышко: посадите и терпеливо дожидайтесь, пока вырастет дерево.

Такого рода соображения все чаще и чаще врывались в усталую голову Михаила. Вопрос стал ставиться во всей широте — не бросить ли нудную, бессмысленную учебу?

Еще одна кожа была сношена. Но так как вместо нее не имелось никакой другой, то до поры до времени она еще продолжала придавать Михаилу вид честного вузовца. От прежней ревностности не осталось и следа. Он дремал на лекциях. Если же он их посещал, то только ради отметок, предохранявших его от различных неприятностей, вплоть до снятия с довольствия и даже «вычистки» из партии.

Решающим явилось одно, само по себе малозначительное знакомство. Как-то, лениво позевывая в своей вузовской библиотеке, Михаил увидал весьма плюгавого человека, распекавшего библиотекаря:

— Это же, товарищ, даже неприлично. У вас комвуз — и вдруг нет такой важной книги. Я сообщу об этом в центр.

Последняя, чисто хлестаковская, фраза заставила заведующего библиотекой меланхолично вздохнуть. Плюгавый, видимо, знал, как с кем обращаться. Развязностью он великолепно искупал и свой низенький рост, и редкую невыразительность физиономии. Он продолжал скандалить, требуя книги о Персии. Наконец для него раздобыли толстющий том «Жизнь народов», оставшийся по наследству от библиотеки коммерческого училища (из тех, что «с многочисленными иллюстрациями»). Через пять минут негодование приезжего, однако, снова вылилось в буйное обличение местных порядков.

— Удивительно! Я здесь проездом. Я не могу ждать. В партклубе нет. В публичной библиотеке нет. Прихожу в комвуз, мне дают книгу о каких-то свадьбах. «Шииты»! Я вас спрашиваю, какая численность индустриального пролетариата, а вы мне суете кишмиш! Это же черт знает что!

Михаилу стало прежде всего обидно, что какой-то чужой субъект позволяет себе шуметь в библиотеке его вуза.

— Товарищ, попрошу вас потише. Здесь, кажется, не улица. Ясно?

Жесткость тона, а может быть, и всего облика произвела на скандалиста должное впечатление. Он принес извинения, объяснив свою невоздержанность нервным переутомлением, и не без робости спросил Михаила, может быть, тот знает какой-нибудь справочник, заключающий хотя бы самые общие данные о перспективах коммунизма в Персии. Знаменитая самодельная тетрадка находилась при нашем герое, и, порывшись в каракулях, Михаил с явным удовольствием изложил приезжему, отрекомендовавшемуся товарищем Либкиндом, наиболее существенные места из лекции некоего московского профессора. Он говорил, а Либкинд записывал. Закончив перечисление всех грехов британского империализма, к которым для вящего эффекта даже припутал Месопотамию, Михаил решил полюбопытствовать, кто его слушатель и для какого именно уездного горклуба ему потребовались эти сведения? Может быть, на очереди «неделя пропаганды», посвященная нашей восточной политике? Но Либкинд

конфиденциально, как только и может говорить один ответственный работник с другим, сообщил Михаилу, что назначение в тегеранское полпредство застало его врасплох. Бывает. Недочеты механизма. В общем, это не так уж плохо. Он кое-что почитает в дороге. На месте осмотрится. Главное — воля...

Рассказ Либкинда показался Михаилу и неправдоподобным и прекрасным, как сказки Шехразады. Остатки трезвости родили последний вопрос:

— Вы что же, персидским языком владеете?

— Нет. Но что это такое, когда у нас замечательные переводчики. Я говорю вам, главное — не растеряться...

Кретин Михаил, разве он не потратил неделю на поиски испанского самоучителя! Разве не потратил семи месяцев на бесполезные лекции! Воля! Это воля вела его в Октябре. Она одна сорвала орден. Михаил с видимым волнением, прощаясь, пожал потную хилую руку товарища Либкинда. Этот мелкий пройдоха, смертельно надоевший всем сотрудникам Наркоминдела, от Чичерина до курьеров, одно появление которого рождало панические возгласы: «Спасайтесь! Либкинд идет!», в итоге выклянчивший местечко младшего делопроизводителя полпредства, показался нашему легковерному герою мудрейшим наставником.

Ночью он попробовал было раскрыть учебник русской истории. Лет тысячу тому назад удельные хамы ссорились друг с другом. Михаил впал в беспамятство. Он бросил книгу на пол и принялся топтать ее. К черту! В Москву! В Москву, где так называемые «недочеты механизма», на местах способные лишь калечить обывательские сутки, рождают великолепные нелепости, превращая товарища Либкинда в вождя иранского пролетариата! Они выдвинут и Михаила на вожделенный аванпост. В Москву!

Скорее в Москву!

Мы предостерегаем читателей, способных заподозрить Михаила в обычном карьеризме. Наш герой не искал ни спокойной жизни, ни довольства, ни даже склоненных почтительно голов. Он пошел бы на самую опасную работу. Если б его послали курьером Коминтерна в Бессарабию, мы убеждены в этом, он был бы счастлив. Схваченный румынской сигуранцей, он скорей бы умер, чем выдал своих товарищей. Он стосковался не по уютной жизни (ее он и не знал), но

по бенгальскому огню романтики, к которому, подобно многим, успел пристраститься за годы гражданской войны. Он топтал книги. Он презирал эту беспроигрышную лотерею. Он хотел идти на авось.

На следующее утро он направился к Ольге. Это не было потребностью в объятиях. Напротив, боясь разрядить чем-либо свое напряжение, он пошел в столовку, где обстановка исключала возможность перехода к поцелуям. Он пошел к Ольге, ибо с товарищами не дружил, Артема не было, а чувства во что бы то ни стало требовали выражения. Не здороваясь, не взглянув даже на нее, он угрюмо зашептал:

— Учиться — хлам! Для баранов. Разве твоя ученость чего-нибудь стоит? Мертвечина! Я жизни хочу! Понимаешь, умереть мне хочется. Уеду в Москву. Может быть, там выбьюсь в герои. А нет — к стенке. Это тоже мое место. Не университет... Я проститься пришел. Хорошо, что здесь люди, не то бы я, чего доброго, задушил тебя. Я вот все книги изорвал. Прямо с ума схожу. Дрожу даже... Это перед тем, как прыгнуть. На плакатах видала: «Из царства необходимости в царство свободы»? Ясно? Ну, мне пора...

Остальное, то есть обработка вузовского комиссара и секретаря парткома, принимая во внимание энергию Михаила, было недлительным делом. Через три недели он шагал с Курского вокзала на Остоженку. Это было триумфальным шествием. Проходя мимо Красных ворот, он принял их за соответствующую арку. Но возле Кремлевской стены, где на солнце и под дождем линяют венки на могилах октябрьских героев, он остановился. Прерывистость его дыхания подчеркивала лирический характер этой остановки.

НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК И БЫВШИЕ ЛЮДИ

Переход от всякой крайности, будь то Сицилия, где объем домов съеден светом, где мозг, размягченный зноем, как асфальт, болезненно воспринимает любое движение, где напрасно пытается человек дымчатыми очками и соком дряблых лимонов ослабить смертельные укусы древнего дракона, будь то тундры Лапландии с упрощением пяти человеческих чувств, с жизнью, сведенной к поддержанию скудного живот-

ного тепла и сжатой, подобно ртути градусника,— переход от этих, может быть, и увлекательных, но все же чрезвычайно мучительных крайностей к умеренному климату Центральной Европы неизменно радует нас. Наросты кактусов не раз прельщали художников. Наравне с песками Сахары полярное сияние давно вошло в хрестоматию романтизма. Однако вызревание пшеницы и различные процессы, с ним связанные, являются надежнейшей базой для нашей, по существу умеренной, цивилизации.

Как бы мы в качестве поэта (то есть едва терпимого в организованном обществе существа, которое иные из особенно энергичных радетелей неоамериканизма предлагают теперь начисто ликвидировать) ни любовались различными живописными деталями Михаила Лыкова, со столь неимоверной легкостью меняющего героизм на подлость, все же не скроем, что, переходя сейчас к его более уравновешенному брату, мы испытываем известное облегчение. Мы достаточно тверды в азах политграмоты, чтобы понимать естественные интересы общества. Конечно, в некоторые кратковременные периоды энергия Михаилов, умело использованная, может содействовать социальному прогрессу. Но не их порывистыми руками строится государство.

Если при одном упоминании об Артеме мы невольно переходим на язык передовиц, то исключительно потому, что богатство этого человека (как и многих его сверстников) состояло в откровенном и потрясающем убожестве так называемой «личной жизни». Говоря о нем, приходится говорить о конференциях, о борьбе с бандитизмом, о восстановлении советской промышленности, обо всем, чем угодно, только не о тех живописных казусах, которые оживляют главы любого романа. Если даже указать, что Артем сперва был политкомом N-ского полка, проделавшего всю кампанию против белополяков, что затем он работал в Гувузе и, наконец, поступил в военно-химическую академию, вряд ли это удовлетворит любопытство читателей, напоминая скорее страницу истории революции, нежели биографию человека. Ничего не поделаешь — для того, чтобы стать героем романа, Артему надлежало перестать быть просто героем и, последовав примеру младшего брата, оживить свои дни изнасилованиями, кражей, сентиментальными слезами или дебошами самодура.

Варьируя известное изречение, мы осмелимся сказать, что у хороших коммунистов нет биографии. Артем же был образцовым коммунистом. Его чувства и поступки диктовались не инструкциями, но коллективной волей, пусть бессловесной, однако ощутимой волей, строящей муравьиные кучи, треугольники журавлей, циклопические сооружения и новое общество. Нам достаточно знать факт и отношение к нему десяти коммунистов, чтобы безошибочно угадать, как был он воспринят одиннадцатым, то есть в данном случае Артемом Лыковым.

Устанавливая этот ущерб индивидуального начала в Артеме, во многих и многих Артемах, мы далеки от осуждения. Средневековым поэтам нравились женщины узкотазые и мелкогрудые. Люди Возрождения, наоборот, все свое предпочтение отдавали вполне развитым формам. Чтобы оценить силу и даже привлекательность Артема, надлежит прежде всего переменить свою позицию.

Мы все хорошо помним заповедь романтиков: делай лишь то, чего не могут сделать другие. Культ оригинального, жестокий культ, сколько пророков и захолустных телеграфистов испепелил он! Артем же делал только то, что делали все. Мысль отличительная, другим неприсущая, казалась ему ничтожной и недостойной выражения. Стоя в ряду, он больше всего боялся одного шага, может быть и выделяющего какнибудь человека, но зато уничтожающего стройность и точность фигуры. В минувшем столетии он бы расценивался как существо отсталое. Автор той эпохи, пожалуй, спешно отослал бы такого героя в какуюнибудь заштатную канцелярию, украсив его ухо гусиным пером, а всю физиономию кретинической улыбкой. Мы же видим в Артеме превосходного и заслуживающего всяческого уважения представителя нового жизнестроительства. Конечно, многие критики не поверят нам. Для того чтобы Артем был живым, скажут они, необходимо показать его теневые стороны, одарить его присущими всем людям слабостью и страстишками, словом, необходимо сделать его хоть чемнибудь похожим на самих критиков. Не спорим: Артем отнюдь не являлся... ангелом — хотели было мы сказать, забыв о ком и о чем говорим,— он отнюдь не являлся тем, «ночем», то есть «научно организованным человеком», о котором теперь мечтают пензен-

ские комсомольцы. Мы охотно выдадим его пороки: он любил иногда выпить, и Первого мая двадцать второго года, увлекшись кахетинским, дошел до бессмысленной декламации «Коммунаров» в пустой кладовке. Он был вспыльчив и не только раз обругал товарища, запачкавшего его курс органической химии помадой «Жиркости», но даже сгоряча запустил в него гнилым яблоком. Наконец, во время последней партдискуссии, доведенный сначала полемикой в «Правде» до бессонницы, он в итоге голосовал против аппаратчиков только потому, что так голосовала вся ячейка, не раскусив спорных тезисов. Список грехов можно было бы, конечно, продлить, но вряд ли это придало бы Артему ту живость, о которой пекутся критики. Ведь живость эта не что иное, как коллекция особых примет. Артем же был и природой и временем нарисован по-плакатному: крупные формы, отсутствие деталей, повторность линий.

Когда такой Артем пьет чай вприкуску, это никого не может заинтересовать. Когда же миллионы Артемов делают Октябрь, то об этом говорит потрясенный мир, забывая про все оригинальные и полные душевной значимости чаепития героев Достоевского.

Все чувства Артема, таким образом, следует множить на восьмизначные величины, в нем же самом видеть лишь показательную дробь. Учась, он не думал, подобно своему брату, о карьере, хотя бы и в благороднейшем смысле этого слова. Он знал, что соответствующие органы найдут нужное применение его знаниям и энергии. Та жажда просвещения, эпидемия учебы, о которой мы говорили недавно, захватила, разумеется, и его. Он двигался медленно, по-битюжьи, но он двигался, и ясно было, что никакие трудности не остановят этого терпеливого продвижения. Его приезд в Москву, его первое появление в Савеловском переулке, точнее, в квартире гражданки Ксении Никифоровны Хоботовой, бывшей классной дамы Александро-Мариинского института, теперь занятой изготовлением ахалвы, появление с юношеским пылом, а также с ордером на комнату, было появлением действительно голого человека. Последнее, разумеется, следует понимать фигурально, ибо штаны и тужурка достаточно ограждали естественные чувства стыдливости Ксении Никифоровны от возможных потрясений. Этим, то есть примитивным костюмом, однако,

ограничивалось богатство Артема, плюс уверенность в победе и партийная принадлежность. Его существо обладало притягательностью девственных земель, не испытавших каблука колонизатора. Проверяя заново, не шарлатаны ли Ньютон или Галилей, он столь же критически относился ко всем деталям нашего заштатного европеизма, обычно даже незамечаемым, от религии до рукопожатий. Его рационализм не довольствовался простым видоизменением прежних форм. Октябрины или «Красный огонек» оскорбляли его пуританскую совесть. Попав случайно на балет в Большом Академическом театре, он был обижен классическими пуантами балерин как явной бессмыслицей и успокоился лишь под утро, решив, что это нужно для успешной деятельности Наркоминдела, наравне со знаменитым фраком Чичерина. Он был, понятно, одним из первых членов «Лиги времени», с фанатической верой тратя немало времени на пропаганду экономии времени. Но не следует принимать его за выверенный часовой механизм. Не раз ведь его отрывали от книги, доводя до непонятного волнения, бронхитные звуки уличной шарманки. Глядя возле памятника Гоголю на ребят, играющих в налеты и расстрелы, он неизменно испытывал сильнейшее желание подойти и потрепать их лохматые головки, но своей косолапой нежности стыдился. Он любил хорошую погоду, быструю езду верхом и запах полевых ромашек. Атавистические приступы были сильны в этом молодом и здоровом человеке. Что касается любви, то ее существование он считал мифом, не более реальным, нежели непорочное зачатие или же платоновская космология, мифом, разоблаченным теперь, как мощи. Это не означало аскетизма. Умеренные, но вполне явно выраженные половые потребности человека среднеевропейского климата, не возбуждающего себя алкоголем или наркотиками, время от времени сводили Артема с женщинами. В такие минуты он был молчалив и серьезен. Он не терпел циничных шуток. Языка поцелуев он не знал. Можно сказать, что в страсти он тоже являлся первичным, голым человеком тех эпох, когда еще не было ни сонетов Петрарки, ни отдельных кабинетов «Эрмитажа». Своих случайных подруг он никогда не вспоминал. Зато он считался отменным товарищем. Как в полку, так и в академии он имел много преданных друзей, ради

них не раз он рисковал жизнью так же просто, как отдавал им сахар и папиросы.

Таким образом, это был, что называется, «добрый малый», и страх, испытываемый перед ним Ксенией Никифоровной Хоботовой, следует отнести за счет ее душевной мнительности, принимавшей размеры настоящего заболевания. Мы бы никак не останавливались на второстепенной фигуре квартирной хозяйки Артема, тем паче что даже ответственным съемщиком являлась не она, а сотрудник Наркомфина Каплун, если бы не роль, сыгранная ею поневоле в жизни подлинного героя нашей истории. Сама по себе Ксения Никифоровна могла интересовать лишь сластен особенностями своей ахалвы да еще, пожалуй, психиатров актуальной разновидностью мании преследования.

Это была особа лет пятидесяти, седая, с презабавнейшей прической в виде накрученных на макушке жидких косиц. Вместо обычной одежды она употребляла множество платков — оренбургских, шерстяных, клетчатых, ситцевых, в узорах, всяческих сортов, но одинаково драных и грязных. Ее тощее тельце, едва поддерживаемое булочкой или тарелкой творогу, исчезало под этой тряпичной броней. Бывшие ее сослуживцы по институту немало бы удивили того же Каплуна, заверив, что некогда она отличалась редкостной элегантностью. Создав себе, благодаря диетическому отказу от супа и питья, а также парижскому корсету мадам Бельвуа, тридцатисантиметровую талию, она в течение одиннадцати лет продержалась на этом уровне. Кроме талии, она обладала прекрасным французским прононсом и наличностью высококультурных запросов, делавших ее приятнейшей собеседницей. К ее мнению в институте прислушивались с опаской, особенно после злостной эпиграммы на преподавателя рисования Равича, хвастуна и невежду:

Равич раз нарисовал
Аполлона молодого,
Репин в зависти сказал:
«Натуральная корова».

Во время известной войны между «шаляпинистками» и «собинистками», взволновавшей Москву в начале нашего века, присоединение Ксении Никифоровны к «собинисткам» заставило весь институт признать превосходство сладкогласого тенора над грубостью,

да, да, оскорбительной грубостью мужицкого, в лучшем случае — дьяконовского баса.

Все кончилось с революцией: институт, положение, довольство, молодость. Место культурных запросов заняли ахалва и страх, нечеловеческий страх. Халва лакомство всем известное, зато ахалва вещь экзотическая. Приготовлению ее научила Ксению Никифоровну некая караимка, в семье которой соответствующий рецепт передавался, наравне с религиозными традициями, из рода в род. Нам, к сожалению, он неизвестен. Видом эта ахалва напоминала ореховую нугу, но на вкус была много нежнее и маслянистей. Ксения Никифоровна изготовляла лакомство на заказ для любителей. Расширению производства препятствовал исключительно страх, ибо она была уверена, что рано или поздно ахалва доведет ее до Чека. Не говоря уже о годах военного коммунизма, даже при нэпе изготовление ахалвы без соответствующего патента казалось ей государственным преступлением. Поэтому, вручая пакетик клиенту, она шептала:

— Ради бога, спрячьте и никому не говорите!

Проявления ее страха были весьма разнообразны. Булочку Ксения Никифоровна покупала конспиративно и проносила к себе со всеми предосторожностями, боясь, что кто-либо из домкома сочтет ее за злостную спекулянтку золотом. Последние годы, на нервной почве, она стала плохо слышать, ей приходилось теперь, обнимая собеседника, подставлять к его губам свое ухо. Это рождало особые страхи, так как, принимая в объятия нового покупателя, пришедшего за ахалвой и готового произнести условленный пароль: «У лукоморья барабан с хвостиком», Ксения Никифоровна всякий раз ожидала услышать вместо «лукоморья» страшное приглашение на Лубянку. То, что в мире стало тихо, беззвучно, еще сильнее пугало ее. По ночам она никогда не раздевалась, чтобы быть готовой к последнему переезду. Каждый вечер, перерывая свое жалкое барахло, она выискивала, как арестант вшей, доказательства своей контрреволюционности. Этих доказательств было так много, что, несмотря на все усердие, она никак не могла уничтожить их. То находились ленточки от котильона, то французский роман с беззастенчиво титулованными персонажами, то, еще хуже, записочка Адольфа Людвиговича, бывшего преподавателя космографии (имя которого в институте

подозрительно ассоциировалось с классной дамой Хоботовой), записочка, до крайности подозрительная: «Клянусь сохранить тайну и во всех испытаниях быть рядом с Вами, mon cherubin» [1]. Обнаруживая подобные улики, Ксения Никифоровна сама дивилась, как она до сих пор жива. Истребление злостных документов было делом нелегким, особенно в летние месяцы, когда горсточка золы красноречивее всех бумаг говорит о замыслах преступника. Раз, напав на карточку Собинова в офицерской форме, бедная женщина совсем обезумела. Безгласная темнота показалась ей наполненной чекистским топотом и присвистом (она была убеждена, что, ведя на казнь, чекисты обязательно присвистывают). Она попробовала было успокоить себя: ведь Собинов теперь ихний, «народный» артист. Но погоны от этого не теряли своей преступной выразительности. Вслед за фотографией были немедленно извлечены: бархатная полумаска, «Нива» (далеко еще не «красная»), со Столыпиным на отдыхе, огромная гравюра «Осени себя крестным знамением, русский народ», и в довершение всего эмалированная коронационная кружка. Ни один убийца не дрожал так над трупом своей жертвы, как Ксения Никифоровна над этой посудиной. Она еле уложила небольшие по размеру предметы в огромную корзину и с тяжелой ношей побежала на улицу. Путь был ясен — вниз по переулку к Москве-реке, скорее бросить в воду свое темное прошлое. Но по набережной шлялись подозрительные люди, не то комсомольцы, не то фининспекторы, не то просто чекисты. Тогда Ксения Никифоровна поплелась через весь огромный и страшный ей город, с его хищной фауной, на Покровку, где проживала ее единственная подруга Муся Жигулева. Она умоляла приютить корзину хоть на ночь. Ведь Муся служит в тресте, ей нечего бояться. Объяснить, что находится в корзине, она наотрез отказалась. Муся, решив, что ей подбрасывают бомбы или, по меньшей мере, портфель с экс-шпионажем, несмотря на всю дружбу, быстро выставила и Хоботову, и ее сомнительный багаж. Тогда Ксения Никифоровна решилась: в каком-то пустом переулке она подкинула корзину, как младенца. Когда она бежала домой, ее глухота

---

[1] Мой ангел *(фр.)*.

рождала топот преследователей, гудки автомобилей, даже выстрелы. Неделю после этой ночной экскурсии она пролежала без сил, отвечая любителям ахалвы:

— Я больна, только, ради бога, никому не говорите!..

Ясно, какое впечатление должен был произвести на Хоботову въезд Артема. Каплуна она не боялась. Да, как это ни странно, были люди, которых и она не боялась. Каплун ведь должен был сам всего бояться. Разве он не преступен с головы до ног? Он поглощал пирожные до всякого нэпа. После нэпа он увиливал от налогов. Его сынок Моня ухитрился обойти все мобилизации. Его дочь Раечка пудрилась пудрой «Шипр». Они, конечно же, лишь по недосмотру не были расстреляны, и Ксения Никифоровна испытывала к ним нечто вроде профессиональной солидарности, удивляясь только их непонятной беспечности. Но молодой коммунист, сразу повесивший на стенку портрет Дзержинского,—это было явным внедрением Лубянки в ее последнее убежище. Сам Каплун вначале струсил и, боясь выселения в качестве «нетрудового элемента», запретил Раечке пахнуть по-французски в коридоре и в передней. Но Каплуны вскоре увидели, что Артем существо безобиднейшее. Занятый своей химией, он не выказывал к соседям никакого интереса. Что же, Каплуны, по мнению Ксении Никифоровны, всегда отличались легкомыслием. Она вдвойне стала бояться опаснейшего хитреца, который, не говоря ни слова, готовится накрыть ее на месте преступления. Опасаясь проникновения в коммунистическую комнату звуков и запахов, она ограничила изготовление ахалвы, требующей длительного кипения, часами занятий в военно-химической академии. Таким образом, вселение Артема отразилось и на качестве лакомства. Столкнувшись однажды с чекистом на лестнице, Ксения Никифоровна не выдержала и от страха заговорила:

— Вы, товарищ, не верьте! Насчет спекуляции золотом—это все интриги преддомкома. Они хотят мою комнату продать. А я ничем не питаюсь. У меня идей нет. Я просто инвалид труда. Я, товарищ, вероятно, скоро умру, вы уж пожалейте меня!

Артем только пожал плечами. Может быть, и наши читатели вздумают повторить этот жест. Хорошо, скажут они, вы нам рассказываете подлинную историю одного из печальных героев «Югвошелка», имя кото-

рого упоминалось в газетах. Но зачем же вы вводите в нее явно карикатурные фигуры, лишенные всякого правдоподобия? Ах, читатели, вы, значит, еще верите в художественную фантазию, вы еще не поняли, что самый изобретательный карикатурист сконфуженно останавливается перед витриной любого провинциального фотографа. Мы же не только не преувеличиваем страхов Ксении Никифоровны, но, учитывая нервозность и стыдливость наших читателей, мы о многом умалчиваем.

На шпице революционного небоскреба высится горделивый флаг, который и мы приветствуем, обнажая, по традиции, голову, но мы никак не можем, нахлобучив на уши шапку, спокойно миновать подвалы этого величественного сооружения, где живут неизбежные жертвы исторического сдвига, не те счастливые героические жертвы, которые заставили Михаила в восторге остановиться перед Кремлевской стеной, но другие, вызывающие лишь недобрую жалость прохожих. Какой старьевщик подберет эти никому не нужные, поломанные жизни? Кто расскажет об их томительном прозябании? Они по большей части не испытали в годы революции ничего, кроме страха, зато это чувство они испытали до конца, узнав все его малообследованные вариации. Наверху террор рождал ненависть и героизм, он кормился сопротивлением, дышал волей к победе. Здесь же, в подвале, он становился кухонным шушуканьем, мышиной пискотней, переодеваниями, прятанием в волосы гривенников, паникой перед кожаной курткой, перед портфелем, перед всем, он становился бессонницей, слезами, доносами, глухотой или слепотой, помешательством. Мы знаем немало историй, способных рассмешить любого иностранца: о девице Клавдии Шепеленко, ранившей себе руку при соскабливании с формочки для пасхи преступных инициалов «ХВ», о некоем Каганском, который, узнав, что его однофамилец привлечен за спекуляцию шнурками для ботинок, сам заявился в Чека, умоляя, чтобы его скорей ликвидировали, о купце Головизине, возле памятника Фердинанду Лассалю (принятого им за тов. Лациса) публично покаявшемся в своем меньшевизме, то есть в увиливании от субботников с помощью медицинских свидетельств и в соблюдении различных религиозных обрядов, как-то: молитв, кутьи и суеверного страха при встрече с попом. Но вряд ли такими

казусами можно позабавить русского человека — он давно пригляделся к страху, он сам может рассказать десяток историй, почище наших. Он ведь только в книгах почитает Ксению Никифоровну за злостную фантазию известного своей неблагонамеренностью автора. В жизни он, по всей вероятности, сам бегал к ней за знаменитой ахалвой. Если же он не был с нею знаком, то уж наверное знавал Мусю Жигулеву или ее свояченицу, словом, кого-либо из граждан, живущих от уплотнения до уплотнения, от высылки до высылки, чьи годы можно пометить следующими этапами: вселение — реквизиция швейных машин — Губчека — шитье кальсон для Красной Армии — утайка серебряных подстаканников — Вечека — покупка муки на Сухаревке — перепись — сокращение — фининспектор — жилтоварищество — анкеты — налоги — Гепеу — накипь нэпа — Нарым. Таков послужной список людей, в иное время проживших бы свой век счастливо, скучно и пошло, а теперь раздавленных событиями и вдвойне несчастных, ибо они даже не знают, почему на их плечи, на обывательские плечики, сотворенные лишь для фасона пиджака, взвален историей груз подневольного героизма. Мы тоже этого не знаем. Но мы испытываем при виде подвальных пискунов чувство, продиктованное нам и человеческой природой, и нашими учителями в литературе: жалость. Рассказав о встрече Ксении Никифоровны с Артемом на лестнице, мы предпочитаем теперь поговорить о другом, чтобы скрыть если не влажность глаз, то красноту щек.

Мы предпочитаем вернуться к нашему герою, в упоении поглядывающему на древний город, который ему предстояло завоевать. Путь с Каланчевской площади к Арбату, к Пречистенке или к Замоскворечью,— сколько юношей в эти годы, волнуясь, проделали его, предвидя жестокую борьбу и победу! Духовная централизация в административно децентрализованной стране вряд ли кем-нибудь будет оспариваться. Одессит, написавший три стихотворения с модными «имажами», томский рабфаковец, занятый изобретением безмоторного самолета, секретарь комячейки наробраза в Пензе, составивший небольшой трактат о литературном стиле тов. Сталина — все они в некий чудеснейший день оказывались на площадях нашей столицы. В Москве ведь создавались литературные имена, делались дипломатические карьеры, подыма-

лись научные кафедры. Гигантский магнит притягивал с берегов Черного и Белого морей всех юношей, полных энергии, ревностности или честолюбия, изобретателей, спорщиков, самоучек, беллетристов, кинокомиков, шарлатанов и претендентов в заграничные представительства Внешторга. Таким образом, путь Михаила, казавшийся ему прокладываемой в девственных джунглях тропою, был достаточно проторенным. Это, конечно, не могло уменьшить взволнованности нашего героя.

Он шел к Артему, у которого рассчитывал прожить некоторое время, пока не определится его будущее, обходя, таким образом, жилищную проблему. Общая приподнятость и желание скорее увидеть брата раздвигали его шаги почти до прыжков и заставляли руки вылетать разведчиками далеко вперед. Провинциальный энтузиаст, он был даже трогателен среди первых ларей трестов, среди явного скептицизма видавшей виды Москвы. Подымаясь по лестнице, он пропускал ступеньки и улыбался. Кто-то открыл в это время дверь, так что ему не пришлось стучаться. Боясь оступиться, он только чиркнул спичкой. Увидав бешеные руки и огненный чуб, Ксения Никифоровна сразу поняла, что это пришла смерть. Пренебрегая всей своей мышиной мудростью, она пронзительно закричала.

ЛЮБОВНОЕ ОБЪЯТИЕ

Радость Артема, после длительной разлуки увидевшего брата, быстро сменилась тревогой. Он достаточно хорошо знал характер Михаила, чтобы не усомниться в мотивах, вызвавших его приезд в Москву, какими бы рассуждениями об активной работе они ни прикрывались. Вся сеть сложных комбинаций, благодаря которым Михаилу удалось перейти из харьковского вуза в московский, оскорбляла Артема. Но он знал также, с какой осторожностью следует подходить к брату, чтобы не задеть его самолюбия, и отодвигал решительный разговор.

Артема следует пожалеть: единственный человек, к которому он чувствовал подлинную нежность, заместитель несуществующей жены или подруги, являлся в то же время представителем чувств и свойств, наиболее ему антипатичных. Сколько раз, глядя на руки

Михаила, на эти нежные и в то же время дерзкие руки, он хотел крикнуть: «Работай, шалопай! Коли дрова, сгребай снег, таскай камни, но только оставь твои честолюбивые замыслы! Ты снова несешься к позорному триумфу в кабаке, но годы не проходят бесследно, они опустошают человека, они же отрезвляют историю. Больше тебя не вывезут ни пафос революции, ни твой собственный юношеский героизм». Но Артем молчал. Он не умел говорить о чувствах. Любя брата, он не знал слов, которыми можно это выразить. Он только укоризненно на него поглядывал. Боясь, что Михаил может простудиться, он отдал ему свою теплую фуфайку.

Михаил, впрочем, мало интересовался мнением своего брата. От него он ожидал только конкретной помощи, в виде полезных рекомендаций и знакомств. Зная, что Артем еще в двадцатом году был политкомом, он рассчитывал найти его где-нибудь на партийной верхушке. Увидав вместо папок с докладами и секретарш скромный учебник химии, он презрительно поморщился: конечно, Тема симпатичный парень, но бараны звезд не хватают, на то они и бараны. Придется действовать самостоятельно.

Зарядки первых впечатлений — автомобильных гудков, афиш о диспутах, толкущихся взад и вперед по Кузнецкому молодых людей, убежденных, что они насаждают нравы Нью-Йорка, в действительности же перенесших на север ажитацию Ланжероновской или Ришельевской улиц,— всей этой суматошной суеты базарного дня двухмиллионной деревни, хватило ненадолго. Как только Михаил начал приглядываться к физиономиям, плакатам, вывескам с практической целью, то есть учитывая, какое место готовит Москва ему, первоначальная приподнятость перешла в утомление и досаду.

Гроза и восхищение пензенской комячейки здесь сразу превращался в скромненькую пешку. Ответственные товарищи, в Харькове доступные, как все прочие смертные, ужинавшие в партклубе и ходившие в кино, здесь становились мистическими подписями под декретами. Близость власти, на благотворность которой Михаил столь уповал, ощущалась лишь в квартирном кризисе и еще в количестве автомобилей, обдававших грязью неповоротливых пешеходов. О быстроте партийного восхождения смешно было думать. Ясно, что настроение нашего героя с каждым днем портилось.

Он валялся на кровати Артема, читая романы Джека Лондона, дразнившие его, как дразнит заключенного свист локомотива, или просто разглядывая фотографии вождей. Когда Артем бывал дома, Михаил всячески над ним подтрунивал. Он мечтал довести братца до исступления, но неизменно натыкался на вежливый ответ:

— Прости, мне надо заниматься.

Положительно никакие насмешки, от намеков на стадность до богохульных покушений на исторический материализм с помощью тридцати страниц все того же Куно Фишера, не могли пронять Артема. Он уходил в академию или на собрание. Недоброе предгрозовое молчание накоплялось в комнате.

Чувствовала ли Ксения Никифоровна, варившая рядом свою ахалву, чем чревата эта тишина, или для нее затихший навеки мир давно уже был заполнен дыханием смерти? Как жила она эти недели, сознавая, что рядом с ней копошится страшный рыжий человек, одно появление которого довело ее до обморока? Кто знает. По-прежнему она вручала покупателям аккуратно завернутые пакетики.

Так настал катастрофический день, с его невыразительным вступлением, с тем же романом Джека Лондона и позевыванием, с той же ахалвой за стеной, с кропотливым рабочим дождем, бившим в стекла. Отчаявшись чем-либо рассеять свою угрюмость, Михаил вышел в коридор. Он попробовал заглянуть к Каплунам, но час был деловой, и все Каплуны промышляли: сам на Ильинке приценивался к шведским кронам, Каплунша в Охотном покупала телятину, Моня в правлении треста обсуждал вес различных кобыл (в связи с реставрацией так называемых «рысистых испытаний»), что касается Раечки, то ей приходилось теперь усиленно ухаживать за одним из режиссеров Пролеткино, обещавшим взять ее для съемок. Всем известна роль рака на безрыбье. Михаил постучался в дверь комичной старушонки, так своеобразно отметившей его первое появление в Савеловском переулке. Артем как-то сказал брату, что соседка у них глухая, но Михаил успел об этом забыть. Повторив настойчиво стук, он наконец приоткрыл дверь. Судьба бывшей классной дамы Хоботовой была решена: на столе лежала ахалва, в дверях стоял чекист. Как бывает это часто с очень трусливыми людьми, Ксения

Никифоровна в час смертельной опасности проявила подлинное мужество. Она не пыталась прикрыть своим тряпьем ахалву, не завизжала, не упала без чувств. Воспитанная в атмосфере скорее вольтерьянской, нежели православной, она и не вздумала облегчить свои последние минуты молитвой. Философское спокойствие нашло на нее. Раскрыв объятия, она привлекла к себе на этот раз не покупателя ахалвы, но самое смерть.

— Вы меня на Лубянку поведете или здесь прикончите?—спросила она строго, даже бесстрастно.

Этот вопрос сразу восстановил в памяти Михаила все рассказы брата о соседке. Сумасшедшая! Ему стало несколько не по себе. Он впервые видел вблизи одно из странных существ, которых обыкновенно держат в загородных домах, где беленые стены и бритые головы. Почему-то мимо него отчетливо проплыл безглазый телескоп. Но через минуту он успокоился. Эта-то старушонка, во всяком случае, не опасна. Положение показалось ему даже забавным. Его приняли за чекиста. Он решил вознаградить себя за скуку бездельного и томительного дня, за химию Артема, за гаммы дождя веселенькой шуткой. Припав к женщине, он ласково, почти любовно прокричал ей в ухо:

— За приготовление подобной пакости вы, гражданка, приговорены к высшей мере наказания. Предлагаю вам явиться сегодня, к двенадцати часам ночи, в Особый отдел Вечека со всем походным гардеробом.

Сказав это, он не выдержал и добродушно расхохотался, как рассказчик, довольный своим же анекдотом. Он представил себе эту ведьму с узлами в полночь у ворот Вечека. Он ждал, что она будет молить о пощаде, плакать, оправдываться. Но Ксения Никифоровна молчала. Она даже не глядела на него. Ее взгляд проходил мимо, разрезая стены с клочьями обоев. Это был взгляд путешественника, уезжающего в очень далекий и трудный путь, которого уже никак не могут интересовать ни ругань носильщиков, ни афиши вечерних спектаклей, ни будничная болтовня провожающих. Несколько разочарованный этим малоэффектным финалом, Михаил вернулся к Джеку Лондону.

Вскоре глаза его оторвались от книги. Он стал мечтать о том, как его пошлют в Индию. Слова «Бомбей» или «Калькутта» никак не помещались в ко-

мнате, рождая едкость белого пронзительного света и одурманивающие, незнакомые ему запахи. Они переводили мечтательность в сон.

Вечером пришел Артем, и братья мирно побеседовали о том о сем, о папаше, недавно закончившем свои земные труды, до последнего дня разносившем если и не буше а ля рен, то морковные оладьи в артистической столовке, о папаше с манишкой и без манишки, о манишке самой, о занятиях в академии, о последних нотах Чичерина, о перспективах мировой революции, о настойчивости дождя, обо всех сезонных делах Москвы, столь скоро вместившей и мировую революцию, и Чичерина в свой повседневный быт. Беседа, избавленная от обычных выходок Михаила, носила идиллический характер. Прервал ее крик за стеной, где стояла всегда тишина. Михаил вышел посмотреть, что произошло. В коридоре его чуть не сшиб с ног один из покупателей ахалвы, визжавший: «Она... она...» Михаил хорошо помнил свою утреннюю шутку. Поэтому он сразу догадался о конце трагического восклицания. Приоткрыв дверь, он прежде всего увидел узлы, те самые узлы, мысль о которых заставила его утром рассмеяться, глупые узлы с жалким скарбом, готовые к переезду. Из одного, недовязанного, торчал рукав старомодного выходного платья с большим буфом. Слишком добротная для каких-нибудь трех пудов веревка поддерживала хиленькое тельце Ксении Никифоровны, в последнюю минуту вылетевшее из кокона платков. Глаза стеклянные, как в витрине Абадии Ивенсона, и крохотный кончик язычка удостоверяли завершенность события.

— Жаль таких. Но что делать. Лес рубят — щепки летят,— сказал Артем.

Конечно, ничего другого он и не мог сказать. Он ведь не знал ни этой женщины, ни происшествия, вызвавшего самоубийство. Он был спокоен. Не то Михаил. Он в безумии носился по комнате. Это не было раскаянием — для раскаяния требовались хоть какие-нибудь мысли. Это было попросту страхом, как будто все маниакальные страхи покойной Ксении Никифоровны, соединившись в один, невероятный, лишенный причин, а следовательно, и выхода, смертельный страх, достались ему в наследство. Раскачиваясь на веревке, мертвая старуха мчалась навстречу, распахивала руки, заключала Михаила в объятия. Он не мог никуда от нее скрыться.

— Что с тобой? — спросил в недоумении Артем.

Тогда первая мысль, достаточно мелочная и гадкая, обозначилась в голове Михаила: только чтобы он не узнал!..

— Ничего. Нервничаю. Последствия тифа.

И чувствуя, что все это звучит неубедительно, что погоня продолжается, что руки его тщетно борются с когтистыми объятиями, боясь, что Артем догадается о выходке, стыдясь, что, не догадавшись, он сочтет его поведение за глупую, даже неприличную сентиментальность, Михаил продолжал:

— Исключительно нервность. Никак не связано с этой старухой. Я не понимаю, почему ты ее жалеешь? Таких истреблять надо. Мне вот ее ничуть не жаль, слышишь ты, ничуть! Мне наплевать на нее!

И для подкрепления последнего, а может быть, вследствие полной развинченности, Михаил действительно сплюнул на пол. Удивление Артема росло.

— Я тебя не понимаю. Чем она провинилась, бедная женщина? Больная. Жалеть следует, а не плеваться.

— Что же, если тебе приказали бы расстрелять ее, ты не пошел бы?

— Это другая статья. Если приказали бы, значит, была бы и необходимость. Для удовольствия не расстреливают. Если мне плюнуть приказали бы, я бы плюнул. А вот твоего поплевывания я не могу понять.

Михаил знал, что спор немыслим. Стараясь сдержать себя, он разделся, лег, прикинулся спящим. Пошуршав еще «Органической химией», лег и Артем. За стенкой шумели, волновались. Впервые комната Ксении Никифоровны сделалась центром событий. Моня бегал за милицией. Составляли протокол, рылись в узелках. Потом ушли, уступив место необходимой тишине. Ксения Никифоровна лежала теперь аккуратно на кровати. Но Михаил не мог успокоиться. Голоса Каплунов и понятых были все же некоторым облегчением, мешая воздуху стать призрачным, зеленоватым, как вода аквариума. Но тишины он не мог вынести. Он задыхался в объятиях сумасшедшей. Он бился, как червяк. Не выдержав пытки, он поднялся. Артем спал. Повинуясь чему-то постороннему, может быть любопытству, присущему некоторым преступникам, он направился в комнату Ксении Никифоровны. Свет уличного фонаря, процеживаясь сквозь шторы, давал возможность разглядеть лицо покойницы. В полусвете,

а может быть, и в полубеспамятстве Михаила это лицо казалось новым, значительным. Оно утратило выражение запуганной фабрикантши ахалвы, нелепой женщины, над которой смеялись все, кто еще не разучился в наши дни смеяться, бывшей классной дамы, предводительницы «собинисток», авторши эпиграмм, жалкие приметы никчемной и скудной жизни. Зато оно обрело всю выразительность, весь пафос человеческих черт, вечно прекрасных и обыкновеннейших, голое лицо, обозначившееся впервые у мертвой, лицо, требовавшее мрамора и не в Савеловском переулке растущих цветов, требовавшее умиления, теплоты дыхания, благодетельных слез, облегчающих жизнь, как масло машину.

Над мертвым лицом колыхалось в муке живое лицо Михаила. Он понимал язык этой суровой тишины, этих рук, еще утром занятых какой-то ахалвой, а теперь готовых судить и миловать. Он понимал язык смерти. Он готов был ответить теми слезами любовной жалости, которых ждала эта несчастная, одинокая, замученная женщина. Но вдруг он вспомнил утро, объятие, анекдотически веселое и несшее смерть. Он неожиданно понял до конца свою вину. Тогда ему показалось, что руки мертвой, благообразно прибранные, подымаются, снова замыкают Михаила в объятие. Он хотел выбежать, но поскользнулся и упал рядом с покойницей. Он закричал, скажем лучше, завыл, ибо было нечто темное, звериное в этом внезапном ночном крике.

Артем со всей заботливостью уложил брата. Он всячески старался успокоить его. В душе он сам волновался. Его подозрения окрепли. Он не верил в последствия тифа и не удовлетворялся общей сентиментальностью. Для него было очевидно, что между самоубийством полоумной соседки и его братом существует какая-то связь. Но что могло произойти? Возраст и облик покойной исключали возможность романтической интриги. Тогда? Тогда оставалось одно: деньги. Могли же быть у этой сумасшедшей нищенки припрятанные ценности. Что, если Михаил украл их? Артем ждал всего от своего брата. Его растерянность в Москве, апатия, хорошее настроение этого вечера, наконец, впечатление, произведенное на него смертью, говорили за правдоподобность подобного предположения. Когда Михаил несколько успокоился, Артем в упор спросил его:

— Мишка, может, ты стянул у нее что-нибудь?

Вопрос этот застал нашего героя врасплох. Он понял, что нужно сейчас же ответить. И он нашелся:

— Молчи! Как ты не понимаешь... Я любил ее.

Произнеся эту нелепую фразу, Михаил весь просветлел от горя и нежности, как вымытое зеркало. Он решил вывернуться, солгать, а солгав, почувствовал, что сказал правду. Он верил теперь, что его боль и крик рождены любовью, подлинной человеческой любовью. Да, он любил, не ту с ахалвой, над которой он так гнусно пошутил, другую, строгую и прекрасную, глядевшую на него при смягчающем свете желтого фонаря. Он больше не убегал от ее объятий.

Артем, конечно, не поверил ему. Неправдоподобность заявления била в глаза. Едва превозмогая отвращение, он вышел из комнаты. Наш герой, оставленный теперь один с ночью и с памятью, плакал, пакостник, дорвавшийся до убийства, лгунишка и позер, он плакал высокими слезами любви, разлуки, последней человеческой разлуки — смерти.

ГЛАВА О ФРАКАХ

Как бы ни было сильно потрясение описанной нами ночи, оно быстро уступило место мечтам о карьере и томительным поискам мало-мальски привлекательного занятия. Лекции для Михаила являлись лишь паспортом. Неопытность и неосведомленность препятствовали сколько-нибудь ответственной партийной работе.

Выросший в артиллерийско-пайковой атмосфере военного коммунизма, всемерно преданный его недвусмысленным навыкам, он никак не мог расшифровать путаного облика Москвы, переживавшей тогда первый год нэпа, всю разухабистость его отроческих фантазий, вперемежку с деловым исступлением безупречных работников. Прежнее можно было любить или ненавидеть: оно отличалось прямолинейностью, трогательной наивностью, совмещая грубоватый азарт вояки с детскими играми. Новое прежде всего было непонятным. Наш герой растерянно оглядывался где-нибудь на Петровке, — ему казалось, что он обойден с тыла коварным противником. Боксера усадили за шахматную доску, предложив ему сложный гамбит с отдачей

ферзя, ради выигрыша в положении, и боксер готов был заплакать.

Шло «сокращение»: сокращение штатов, сокращение планов, сокращение фантазии, сокращение всего. Сверху было мудро сказано «лучше меньше, но лучше». Мудрость всегда горька. В одну ночь воображаемые «дворцы искусства» или «дворцы ребенка» рассыпались, не оставив после себя даже поломанного корыта, которое могло бы своей реальностью как-нибудь утешить нашего фантаста. Сокращенные барышни, вчера еще переписывавшие проекты, полные стилистических и арифметических высот, частью выстроились у Мосторга, выкрикивая: «Пироги с вареньем!», «Чулки шелковые!», «Духи «Убиган!», частью, обрызгав себя этими, весьма сомнительными духами, стали ночью зазывать прохожих. Слово «товарищ» исчезало из обихода. Бывшим «товарищам» дали белый хлеб, но их разжаловали в «граждан». Нищенка на углу Столешникова переулка, оперируя, как вывеской, гнойным младенцем, по-модному вопила: «Гражданинчик, явите милость!..» На углу помещалась кондитерская, где, компенсируя себя за былые карточки категорий «б» или «в», москвичи ели пирожные, взбитые сливки в натуральном виде и бриоши с маслом. Люди толстели на глазах, и город казался успешно работавшей здравницей. Разумеется, толстели далеко не все — Волга и на московские улицы выплеснула своих голодающих. Они принесли с собой вшей, человеческую муку и темный доисторический дух, который прерывал первые программы вновь открытых кабаре протокольными легендами о людоедстве. Как на вернисажи, граждане собирались созерцать витрины гастрономических лавок. Трудно описать трогательность физиономий всех этих вновь обретенных друзей: молочных поросят, сигов, лососей. Деньги перестали быть абстрактным наименованием. Они вспомнили свое исконное назначение и занялись распределением между гражданами молочных поросят и голодных слюнок. Даже милиционеры стали уважать этот, на плакатах давно уже побежденный и зарезанный, капитал. Они теперь ограждали вокзальные буфеты от явно деклассированных граждан. Что касается вагонов, то вагоны отличались деликатностью — они выбрали себе псевдонимы: «мягкий», «жесткий», «особого назначения». Со стороны вагонов это было даже трогательно.

Рестораны и казино оказались откровенней: они не стали ни «столовыми особого назначения», ни «клубами для карточных испытаний». Посетители, впрочем, не интересовались вывесками. Дети своего времени, они презирали слова и заменяли поэзию хорошим нюхом. Поэзия действительно сразу пошла на убыль, и не менее половины членов «Всероссийского союза поэтов» занялись перепродажей галстуков, мест в спальных вагонах и эстонского коньяка. Литературные критики преважно объявили, что «открывается эпоха прозы».

Иногда за изобилие денег расстреливали. Ведь неизвестно было, как смотреть на эти листочки, отпечатанные в экспедиции государственных бумаг: как на почетные дипломы или как на преступные прокламации? Руководились, главным образом, чутьем и настроением. Приходилось всюду идти ощупью.

Слово «восстановление» лишено внешней эффектности. Однако, вопреки утверждению литературных критиков, объявивших поэзию несвоевременной, мы почитаем восстановление хотя бы советского транспорта, все эти грандиозные и малоприметные подвиги соответствующих тружеников, достойным материалом для самой патетической поэмы. Право же возобновления работ на любой фабрике «Жиркости» или «Анилтреста» являлось событием, взволновавшим причастных к этому людей не меньше, чем взволновала Христофора Колумба первая птица. Не только ответственным работникам, но и рядовым было предложено в кратчайший срок пережить и изжить подлинную трагедию. Швейцары «Эрмитажа» и прочих увеселительных заведений, принимавшие в свои почтительные объятия млеющих от неги новых клиентов, чье порхание по лестнице, несмотря на весомость комплекции, могло быть приравнено к порханию первых весенних мотыльков, вряд ли думали, что их вывески, их уютно завешенные окна, их люстры и реставрированные пальмы вызывают негодование, скорбь, даже отчаяние во многих и многих сердцах. Но переживать различные трагические чувства могли отдельные люди, а партия, быстро переменив движение некоторых рычагов, должна была работать. Для трагедии не оказалось времени. Открывались новые пути и новые возможности. Нечеловеческая воля прозвучала в этом приглашении «учитесь торговать», брошенном беско-

рыстнейшим борцом своим товарищам, принужденным менять теперь диаграммы главков и карты генштаба на стук костяшек или на книги двойной бухгалтерии. Трезвость, эта самая требовательная и, скажем откровенно, наименее заманчивая из всех добродетелей, быстро вернула людям сознание времени и пространства. Она безжалостно вмешалась в высокое человеческое вдохновение, чтобы металлическим голосом напомнить людям о всей долготе времени. Время, жестокое время, оно слишком мучительно для нашего поколения, привыкшего жить не переводя дыхания, для детей Мазурских болот и Октября! Все знают, как трудно армии, выполняя, пусть гениальный, стратегический план, сдавать врагу за городом город. Но и нелегко дались нашей стране эти аппетитные булочки, эти чистенькие вагоны, эти серебряные гривенники, чей звон теперь прославляется добродушными поэтами. Нам понятны иные из так называемых «пролетарских писателей», которые вставили в мажорный грохот государственного мотора свои человеческие ноты скорби. Нам понятен и тот знаменитый бандит (кажется, его звали Ленькой), который три года был честным солдатом революции, а на четвертый, когда его поставили у дверей «Гриль-Рума» охранять ненавистных ему «буржуев», дрогнул, дезертировал и кончил свои дни у стенки.

Во избежание кривотолков мы спешим отметить, что далеки от критики новой экономической политики. Мы принуждены лишь нарисовать бытовой и психологический фон, на котором развертывалась жизнь нашего героя. Мы, разумеется, понимаем необходимость нэпа. Мы видим в нем не только «Гриль-Румы», но и живительный процесс экономического возрождения страны, разоренной войной, интервенцией и междоусобицей. Наконец, мы хорошо помним, что Марнская битва была выиграна в итоге отступления. Но эти различные соображения не мешают нам разделять недоумение, боль, а иногда и негодование, испытываемые Михаилом Лыковым, бродящим по улицам Москвы. Описывая дождь, автор не посылает на небо тучи, он только берет зонтик и говорит: «Подождем, выглянет и солнце».

В тот день, скажем кстати, шел всамделишный, не аллегорический дождь. Он заставлял первых модниц и модников, прерывавших ровную шинельную повесть московских улиц справками о быте «разлагающейся»

Европы, в виде заграничных пальто и шляп, то и дело прятаться в подъездах. Промокший Михаил (хотя ему вряд ли стоило оберегать свой весьма потрепанный костюм) тоже забрался в одну из подворотен Неглинного проезда. Там уже находился некий человек, достаточно забавно одетый: сочетание элегантнейшего пиджака в талию с латаными штиблетами и с военным шлемом свидетельствовало о «периоде начального накопления». Все это дополнялось портретом Маркса в петлице и рыжими лайковыми перчатками. Модный пиджак субъекта раздражил Михаила, как раздражали его магазины ювелиров или катание на «дутых», как раздражала его московская улица, откровенно наслаждающаяся примитивными благами жизни после четырех лет подневольного героизма. Слово «нэпман» тогда еще не выходило за пределы газет, поэтому Михаилу пришлось для выражения своих чувств воспользоваться несовременным оборотом:

— Хапун паршивый!

Субъект, столь неделикатно Михаилом определенный, испуганно оглянулся. Ведь никто не знал тогда в точности, что такое нэп. Толкование его некоторыми людьми, сохранившими от прежних лет не одни только кожаные куртки, было достаточно своеобразным. Таким образом, запутанностью политической ситуации, а не природной пугливостью следует объяснить тревожный полуоборот элегантного гражданина, готового уже предать свой пиджак немилосердному дождю. Но стоило ему повернуться, как волнение перешло на физиономию Михаила. Наш герой сразу признал в обиженном им человеке своего товарища по полку Арсения Вогау.

— Ты! Однако...

— Однако, и ты!..

Добродушнейший хохот и дружеское рукопожатие завершили эту живописную сцену в подворотне. Около года совместной боевой жизни, нудных стоянок и рискованных разведок достаточно весили, чтобы перетянуть и обидность словечка «хапун», и возмутительность явно нетрудового костюма. Вспомнили различные эпизоды того года. Потом перешли к настоящему. Михаил поделился с Вогау своими мечтами быть направленным куда-нибудь за границу на подпольную работу. Вогау едва сдержал презрительную усмешку:

— Это, брат, не по сезону. Прости меня, в Харькове ты, видно, отстал от событий. У нас теперь такая

каша варится, почище твоей агитации. Знаешь что, пойдем-ка вместе поужинаем. Я тебе предложу кое-что действительно интересное.

Предложение заинтересовало Михаила. Кто знает, может быть, пиджак Вогау только описка? Ведь он был всегда хорошим товарищем. Не трус. Вместе под Перекопом дрались. Правда, в партии Вогау никогда не состоял, предпочитая «сочувствие», но это не помешало ему храбростью и преданностью превзойти многих партийных. Словом, Вогау, если снять с него столь возмутивший Михаила пиджак, если пропустить мимо ушей несколько странных реплик, заслуживал всяческого доверия. Наконец, Михаил слишком стосковался по активной работе, чтобы, даже не выслушав, отклонить таинственное предложение. Не задумываясь, куда именно они идут, Михаил опомнился, лишь когда услужливый швейцар распахнул перед ними дверь, на которой значилось «Артистик ресторан «Лиссабон». Программа. Ужины а ля карт. Отдельные кабинеты». Вместо скромной столовой Вогау завел его в спекулянтский кабак. Нет, видно, пиджак не являлся случайностью! Михаил остановился. К моральным соображениям примешивались и материальные. Он мрачно заявил:

— Нет, я не пойду. Противно, да и денег у меня нет.

Вогау не смутился. Как опытный соблазнитель девушку, он обнял за талию Михаила, подталкивая его вперед, навстречу носовым звукам, звону стаканов, пару.

— Ерунда! У меня от «лимонов» карманы рвутся. Даже хорошо, если здесь разгрузят, а то они мне весь фасон испортят. У меня, брат, пиджак берлинский. Один из Внешторга привез. Здорово сшит?

Сколько раз она уже описана, эта тривиальная история падения юной скромницы! Право же, мы можем опустить все паузы и необходимые душевные колебания, отделявшие швейцарскую от круглого столика под искусственной пальмой, куда привел нашего героя новый его покровитель. Мы можем даже прослушать жизнерадостный басок Вогау, разрезавший пар буженины и дамских, усиленно потевших боков: «Эй, гражданин услужающий...» Но мы не в силах обойти молчанием жесткой манишки и великолепного фрака этого самого гражданина, его традиционного облачения, сгиба в пояснице и шепотка, которые не могли не остановить внимание сына киевского официанта.

Фраки! Задумались ли вы когда-нибудь, уважаемые читатели, соучастники грандиозной эпопеи, партийные и беспартийные читатели, уделяющие немало времени раздумьям над мировой революцией, над грядущей пролетарской культурой, над обитаемостью Марса и над другими великими проблемами, задумались ли вы когда-нибудь над судьбой этих маскарадных вериг, над птичьим костюмом, обязательным для дипломатов и лакеев, над таинственным языком нелепейших фалд? Они исчезли в семнадцатом году, наравне с другими вещами, большими и малыми, с «народолюбием» интеллигенции, с доморощенными файф-о-клоками у Трамбле, с фельетонами «Русского слова», с территориальным пафосом «единой и неделимой». Прошло четыре года, каких, читатели! Сколько проявлено было героизма, безумия, зверства и подлости! Сколько великих идей родилось и умерло! Были и незабываемые радио Чичерина, и бои за Перекоп, и сотни тысяч детских гробов, были вера, мука, смерть. Кто же помнил тогда о фраках? Казалось, все взрыто, до самого пупа земли, все заново перепахано, от старого не осталось и следа. Прошло четыре года. В один (как назвать его, прекрасным или мерзким? — назовем его лучше «будничным»), в один будничный день появился крохотный декретик, несколько строк под заголовком «Действия и распоряжения правительства РСФСР», и тотчас чудодейственно из-под земли выскочили эти живые покойники, более долговечные, чем многие, большие и малые, вещи. Никто не знает, как провели они эти годы, как, спрятанные от посторонних глаз, хитро выжидали своего дня, уверенные, что рано или поздно, но обязательно понадобятся. Они не превратились ни в пыльные тряпки, ни в вороньи пугала. Поджав осторожно свои фалды, они пересидели безумие и вдохновение. Они появились в тот самый день, когда несколько строчек милостиво амнистировали их. Читатели, вы ведь в детские годы учили, что круглую форму нашей планеты подтверждает один несколько утомительный эксперимент: если выйти из Калуги на восток, то в итоге, в последнем итоге придется вернуться все в ту же Калугу, только с запада. Неужели вы можете спокойно смотреть на фраки? Неужели злость, которая взметала руки нашего героя в ресторане «Лиссабон», не понятна вам?

Михаил в любом предмете этого банальнейшего учреждения, одушевленном или неодушевленном, мог

прочесть все ту же таинственную историю, которая еще ждет своего поэта. Обливая суховатую буженину сентиментальным соусом, цыгане главным образом носами передавали исключительную страсть и ревность. «В Самарканд поеду я...» — выползало томно из мясистого носа одной Вари или Шуры, особы лет пятидесяти, с темпераментом, не признающим никаких, ни бальзаковских, ни других ограничений. И посетители, для которых Самарканд обычно являлся лишь сухим наименованием, пунктом на карте, партией перепроданного хлопка или суммой за сбытые туда мешки, распускались, пофыркивая и румянясь, как масло на сковородке. Цыгане не отличались естественной немотой фраков. Они могли бы за сотню «лимонов» изложить свою весьма поучительную историю. Когда были закрыты рестораны, цыгане попали под покровительство Музо в качестве исполнителей народных песен. Из Музо это кочующее издавна племя перешло в Тео, выделившее особую «секцию эстрады». Путь из Тео шел дальше, не в Самарканд, но в Наркомнац, где цыгане получали право жить, дышать и даже поглощать скромные пайки, как культурные деятели одного из национальных меньшинств. Путешествовали они в сопровождении кипы исходящих. Потом? Но потом вышел крохотный декретик, и толстоносая Шура (а может быть, Варя) вернулась в «Лиссабон», ибо не одним хлебом сыт человек: кроме буженины ему нужны искусство, страсть, ревность.

Михаилу показалось, что он никуда не уходил из «Континенталя». Не было ни прекрасной ночи в бывших номерах «Скутари», ни юношеского сумасшествия перед витриной с фотографиями на улице полумертвого Ростова, ничего! Он был настолько подвластен этой заколдованной атмосфере, отдававшей его ухо на милость буфетчика, придававшей манишке «гражданина услужающего» тональность папашиной, что голос Вогау даже не доходил до него. Буженина с капустой и херес поглощались механически. Проникновение в детскую темень неизменно укрепляло жесткость и злобность Михаила, однако облагораживая эти чувства. Так было и теперь. Час тому назад, в подворотне, его можно было заподозрить в некоторой неискренности, можно было сказать: «Ну, ну, гражданин, без арапства, начистую, скажите нам, нет ли в вашем негодовании простой зависти? Модный пиджачок на

чужих плечах кажется вам отвратительным. А если бы он оказался на ваших?..» Для подобных подозрений тогда могло найтись место. Другое дело теперь. Подышав «континенталевским» духом, Михаил набрался лучшего, что было в этом далеко не обворожительном человеке: непримиримости, той непримиримости, которая одна могла складывать его пролазливые руки в горделивый знак отказа. Ни пиджаком, ни «лимонами», ни всеми новорожденными витринами Кузнецкого или Петровки его теперь нельзя было подкупить. Но если бы сейчас, за стеклянными дверями с надписью «программа, а ля карт, отдельные кабинеты», среди сплошного, холодного дождя какой-нибудь сумасброд крикнул бы «смерть «Лиссабону»!», «смерть пиджакам!», «смерть всему!», если бы под этим ультратрезвым дождем и ему наперекор зажглись бы костры бесплодных самосжигателей, забыв сразу и о своем долге и о молодости, о партбилете в кармане, о честолюбии в сердце, полный одной великой непримиримости, Михаил нашел бы свое место, свое мщение, свой конец.

Конечно, знай Арсений Вогау об этих чувствах, он бы не трудился зря. Разве легко было изложить наивному провинциалу, профану, до сих пор хранящему ароматец воблы и пороха пережитой эпохи, все преимущества работы в деликатном и сложном учреждении, именуемом Центропосторгом? Вогау принимал молчание Михаила за восторг перед щедростью, перед разнообразием культуры, совмещающей и носовые завывания цыганки, и субтильность хереса, и перспективы, раскрываемые его речами. Он чувствовал себя пророком, наставником, смазывая для успеха не только свой голос, но и фантазию испанско-московским напитком. Он не забывал подливать и Михаилу. Четвертая бутылка уже была прикончена. Вогау начинал переходить из мира метрической системы в иной, более высокий,— головокружительных цифр и поэтического тщеславия.

— Ты, Лыков, не понимаешь, где пульс! Мы вот вчера перепродали кооперативу «Электрик», он же единолично Оська Лямчик, бязь «Текстиля». А все счета — Госторгу в Баку. По четыреста «лимонов» за подпись, плюс ужин две тысячи. Значит, чистой двести сотен. Дели на три. По семидесяти тысяч на рыло. Съел? А если ты войдешь, мы весь мир перекувырнем. Нам партийный прямо-таки до зарезу нужен. Я, сам знаешь,

не разиня. Ты тоже хвост сосать не станешь. Плюс партбилет. Да ведь мы всю Ресефесер купим. У меня есть овчины на примете. Значит, первым делом овчины обработаем... Потом заграничные мотоциклы. Шик пойдет. Сами в Берлин катнем. На самолете. Чтобы вниз поплевывать. Всех девчонок перепробуем. Шампанское с утра, вместо чая. Идет? Ну скажи — идет? Тряхнем, брат, стариной! Пиф-паф! Даешь такую-сякую!..

Вогау в экзальтации схватил Михаила за плечо, другой рукой, как боевым знаменем, помахивая пустой бутылкой. Так как «лимоны» выпирали не только из карманов Вогау, но также из всех его крайне неуравновешенных жестов, столик, за которым сидели наши собутыльники, стал притягивать к себе различные упования. «Гражданин услужающий» ловко менял пустую посудину на полную. Варя (скажем, что это была Варя, а не Шура) перенесла и путешествие в Самарканд, и более ощутимые телесные мячи своей соблазнительной комплекции поближе к центру событий. Наконец, неизвестный субъект, воспользовавшись минутой замешательства, сглотнул два бокала хереса, один за «вечную молодость», другой за «процветание красного купечества». Словом, собеседники отнюдь не чувствовали себя одинокими. Несмотря на это, Михаил, когда Вогау, закончив свою речь, схватил его за плечо, поднял глаза, еще более обычного меланхоличные, и спокойно ответил:

— Хапун! Я тебя там в точности определил. И притом сволочь!

Вогау не смутился. Нет, они не отличаются обидчивостью, наши юные хапуны! Зная цену вещам, даже подержанным, они искренне презирают слова. В подворотне Вогау струсил. Теперь он не боялся Михаила. Во-первых, это был как-никак его товарищ, во-вторых, оба они находились в стадии пятой бутылки, то есть бесстрашия. Хапун? Пусть хапун. Между друзьями и не то говорится. Поэтому вместо оскорблений он приступил к деловой аргументации.

— Ругаться ты после успеешь. Лучше подумай. Что ты — на восемь рабфаковских рублей проживешь? Это, может, и хорошо голодать, когда все голодают. А теперь другая ориентация. В «Лиссабон» небось захочется. Пожалуйста! Мандатов не требуется. Только денежки. Я тебе предлагаю: сядем за овчины. Да с партийностью мы это в два счета прикончим. И кутнем же тогда.

Михаил уже не сдерживал своих чувств. Затравленный всем — светом, романсами, балалайкой, вином, апломбом Вогау,— он злобно щерился. Он попробовал было, хватаясь за логику прошлого, крикнуть этому нахальному предателю, еще не успевшему заменить модной каскеткой военного шлема:

— Что же, мы за это дрались?..

Но добродушнейшая улыбка показала ему, что логикой больше не проживешь. Для Вогау все было просто:

— Тогда одно, а теперь другое. Разве я против революции? Да она наша кормилица! Прежде здесь всякие ваши сиятельства зады полировали. А теперь сиятельства в Константинополе сапоги ваксят. Мы вот в «Лиссабончике» херес попиваем. Ты меня, Лыков, выражениями не проберешь. Я, брат, сам патриот. Кажется, не дезертировал. Воевать так воевать. Паек так паек. Я на все согласен. А если «Лиссабон» открывают,— пожалуйста, и для меня найдется местечко. Небольшое, я ведь худой: шесть пудов, не больше. Словом, Лыков, брось ломаться! Давай дело делать!..

— Врешь, сволочь! Тебя к стенке следует за подобные штуки.

Презирая пустые слова, Вогау, однако, уважал названия вполне реальных институтов, вроде «стенки», тем более произнесенные в публичном месте. В одну минуту его ноги, затекшие от хереса, прониклись сознанием долга и подняли грузный корпус. За перегородкой был спешно оплачен счет с придаточными, и, превосходя все трюки фильма с погонями, единым духом Вогау пронесся от столика «Лиссабона», через две пустых улицы и проходной двор, в свою комнату. Михаил остался один, среди явного недоброжелательства отодвинутых стаканов, замолкшей Вари и напуганных, но в то же время наглых взглядов «граждан услужающих». Он попробовал еще раз резюмировать свои чувства возгласом:

— Сволочи!..

Но тогда один из официантов подошел к нему и хоть вежливо, однако настойчиво, чувствуя за собой как строки декрета, так и кулаки коллег, заявил:

— Извольте, гражданин, не скандалить. Это вам не семнадцатый...

Знаменитое изречение, новая поговорка — при каких только случаях не употребляли ее! Ею пытались унять и пьяного буяна, и благородного мечтателя. Она

клеймила и воровство, и беспорядок, и неутоленный голод справедливости. Михаил, растерянный от всей новизны и непонятности обстановки, может быть и от вина, воспринял ее по существу. Что ему делать? Пойти в милицию или в райком с сообщением о проделках Вогау? Но черт их всех поймет, что они придумали с этой новой политикой! Теперь действительно не семнадцатый. Откуда Михаил знает, где кончается узаконенная торговля и где начинаются злоупотребления. Его высмеют. Кричать? Буянить? Сорвать душу на этой кабацкой мелюзге?

Столь мало свойственный Михаилу такт удержал его на сей раз от скандала. Может быть, в этом сыграло роль пугливое поскрипывание манишки «гражданина услужающего», сразу напомнившее нашему герою гнусный душок кабацкого донкихотства. Может быть, слишком целомудренна и горька была его скорбь. Так или иначе, он сдержался. Молча вышел он, жалкий, ободранный, под злое пришептывание всех — и хозяина, и официантов, и гостей. Спустившись вниз, он услышал, как прерванное его выкриками веселье возобновилось. Варя снова обещала любовь, и чоканье сгущалось в ликующий набат.

Дождь все шел. Как хорошо теперь понимал его Михаил! Унылый дождь, один не разделяющий восторгов этой новой московской ночи с разухабистыми голосами, с торгующими до трех часов ночи обжорными лавками, с лихачами, с нищенками, с пестротой и назойливостью восточного базара. Ночь, лишенная недавней молчаливости и сосредоточенности, пустячная, жалкая, дребеденная ночь. Дождь в ней был таким же чужаком, непрошеным пришельцем, как и Михаил. Наш герой долго бродил по улицам. Он не знал, куда ему деться. Пойти домой, рассказать обо всем Артему? Но Артем поморщится и с жестким шорохом газетного листа вытряхнет из себя сто раз читанные утешения: «Да, это тяжело, но необходимо; впрочем, скоро мы перейдем в наступление». Разве газета могла утешить взыскующее сердце? Он не мог сейчас думать. Он только болел этим жестоким и темным разуверением, как когда-то болел тифом. Его блуждание носило маниакальный характер, а отрывистый бессмысленный шепот о чьем-то предательстве походил на бред. Причем не было ни единомышленника, ни просто сострадательной души, никого, кроме дождя.

Дождь не только пропитывал насквозь одежду, он входил в Михаила. Вскоре глаза нашего героя стыдливо и неприметно присоединились к нему.

Почему этого никто не видел? Почему потом никто не кинул на чашу весьма нервных весов правосудия всей тяжести этих двух или трех, в отличие от дождевых, едко соленых капель, более убедительных, нежели все справки о классовом происхождении и все ордена?

ТАК НАЗЫВАЕМОЕ «РАЗЛОЖЕНИЕ»

Размеров явлений не следует преувеличивать. Дождь, даже упорный дождь описанной нами ночи, еще не означает наводнения. Две-три слезинки, пророненные Михаилом, как бы искренни они ни были, являлись, увы, меньшей порукой его стойкости и выдержанности, нежели суховатое газетное молчание Артема. Есть множество неприятных подробностей, окружающих нас, от назойливого рисунка обоев до усмирения индусов рабочим правительством Великобритании. Однако они все же не мешают нам жить с большим или меньшим душевным комфортом, работать и, в положенные для этого часы, веселиться. Артем даже не знал о существовании «Лиссабона», и это невежество было благодетельным. Конечно, он слыхал о так называемых «гримасах нэпа». Но кто не слышал о чуме в Индии? Он дышал здоровым рабочим духом своей школы, жил партийными кампаниями, солнцем над Девичьим полем, ходьбой, смехом. Инфекционная болезнь поражает не всякого. Суровая и грубоватая честность, прирожденная скромность скрепляли тот, далеко не изысканный, материал, из которого был сделан Артем. Они вели его к коммунизму, к пробиркам химика или к циркулю инженера, к загару, к благотворному поту спорта. Закрывая для него лихорадочные тропики фантазии и искусства, они одновременно предохраняли его благородное плебейское сердце от расположенных по соседству с кактусами и пальмами заповедников преступления. Да об этом и говорить не стоит. На что у папаши был куцый умишко, но и он понимал иммунитет своего первенца.

Возможно, что, дойдя до двадцатой главы, читатели уже начнут разбираться в своеобразном расписании больших катастроф и малых скандалов, неизменно

прерывающих жизнь нашего героя, ибо, при всей хаотичности, известная, пусть уродливая, логика руководила ими. Ясно, что Михаил должен был украсть серебряный молочник (на разумном выборе вещи мы, впрочем, не настаиваем), чтобы потом выкинуть его. Ясно, что «Лиссабон» довел его прежде всего до слез. Не менее ясно, что дня через три он свернул на Рождественку и совершенно бессмысленно простоял несколько минут у стеклянной двери ресторана, причем место злобы заняла любознательность естествоиспытателя, ассимилирующего неизвестные ему дотоле явления. Ясно, наконец, что флора и фауна «Лиссабона» больше не выходили из его головы. Правда, он пытался жить вне этого. Он даже принялся за занятия. На всякий случай он приступил к изучению восточной политики советской власти. Но все это оставалось придаточным. Смех Вогау не давал ему покоя. Почему он так смеялся? Очевидно, затоны Центропосторга отличались подлинно веселящими свойствами. Там шла игра, и крупная. Предприятие с бязью и с Оськой Лямчиком по отчаянности, по бесшабашности напоминало заговор. Конечно, Вогау негодяй. Но ему, по крайней мере, не скучно. Это уже много. Ведь Михаилу скучно в серых аудиториях, обсыпающих и локти и душу едкой известкой, очень скучно, нестерпимо!

Прирожденная мнительность, заставлявшая его во всем, начиная от приветливости прохожего и кончая сообщениями о теории Эйнштейна, видеть ловкие трюки, подвохи, попытки обойти и надуть, эта нездоровая подозрительность теперь могла вволю разойтись. Экономический и психологический перелом, принесший вместо известного расположения вещей переполох, наталкивал любые руки на осторожное ощупывание окружающего мира. Снова вера из предмета широкого потребления стала прекрасным украшением мудрецов и слабоумных. Необходимые специи, в виде критицизма, даже скептицизма, начали многими употребляться в неограниченном количестве и без питательных блюд. Эти наклонности являлись то благодетельными, то пагубными. Несомненно, что, брошенные в иные, чересчур спокойные и доверчивые сердца, они сыграли роль дрожжей. Им мы будем обязаны появлением грядущих ученых, поэтов и бунтарей (если только таковые появятся у нас). Они перевели глаза не одной тысячи от примитивного катехизиса лозунгов

к библиотечным полкам. Они окрестили блаженных или попросту душевноленивых, продолжавших по старинке на собраниях односложными «так» и «так» боготворить данного судьбой оратора, презрительной кличкой «такельщики». Но они же повысили статистику преступности, дезертирства, самоубийств, как сильно действующие медикаменты, взятые для чересчур слабого организма.

Мы останавливаемся на этом скептическом поветрии, желая тем самым облегчить работу наших критиков. Дело в том, что сами мы являемся тесно связанными с этой эпохой. Наши сатирические труды, в частности описание необычайных похождений мексиканца Хулио Хуренито, встретили столь горячий прием исключительно благодаря отмеченному нами умонастроению. Появись они раньше или позже, ими заинтересовались бы редкие единомышленники или профессионалы. Но то были годы, когда еще не сошедшая с небес (и с уличных заборов) каноническая улыбка правоверия требовала злого, пусть поверхностного, однако едкого смеха.

Поэтому наши труды усиленно читаются и не менее усиленно поносятся наиболее благонамеренными критиками. «Смеяться легко», говорят они, «легко описывать теневые стороны современности. Но вы не видите всего величия нового класса. Поэтому вас не следует печатать. Это растление душ и недопустимое расходование бумаги, которая может быть с большей пользой употреблена на наши высокооптимистические труды». Со всей скромностью, хорошо учитывая ограниченность нашего дарования и соблюдая пропорции, мы ответим, что подобные речи уже были известны русской литературе. Не они ли, произносимые тоже благонамеренным (хоть и духовным, по условиям того времени) лицом, довели великого сатирика до безумия, а рукопись его до надежнейшего из всех цензоров — огня? Мы ответим им, что смеяться очень трудно среди людей, привыкших сызмальства считать насмешливую улыбку за примету неблагонадежности, даже преступности. Мы превосходно сознаем, что в СССР много высокого и героического, достойного подлинного вдохновения и высокого пафоса. Если в наших книгах так называемые «отрицательные типы» отличаются большей выразительностью, то в этом следует видеть отсутствие универсальности, ограниченность

человеческой природы, а не хитрые козни. Как бы мы хотели вместо обличений наших книг прочитать прекрасную эпопею нового, здорового, бодрого человека! Увы, благонамеренные критики не торопятся ее писать, они предпочитают осуждать нас.

Мы же предпочитаем отдаваться работе, к которой чувствуем прирожденную склонность. Не дожидаясь часа, когда будет написана вдохновенная книга об Артеме, мы хотим рассказать современникам историю его брата. Мы можем успокоить наших читателей: мы тщательно оберегаем наше жилище от духовных особ и, живя в двадцатом веке, мы не подвержены соблазну каминов. Таким образом, история Михаила Лыкова, тяжелая и горькая, будет доведена нами до конца.

Не теряя времени, мы должны теперь возвратиться к нашему герою. Подобно отмеченным критикам, он подозревал всех. В своих товарищах он видел неудачливых карьеристов. Когда кто-либо из них говорил: «Я — рабочий»,— Михаил язвительно морщился. Хорош рабочий! Разве такой вернется когда-нибудь к станку? Вскочив на одну ступеньку выше, разве он спустится вниз? Никогда! «Рабочий» для него лишь почетный ярлык, звание, как прежде «дворянин». Подозрения его шли дальше. Любую шероховатость нового распорядка, сложного и мало кому понятного, он учитывал, как доказательство лицемерия. Все, начиная от Генуэзской конференции и кончая рекламами, которыми один кондитерский трест старался забить другой, казалось ему признанием краха, сконфуженно покрываемым старомодными фразами. Он жадно выслеживал широкие замашки и не вполне доброкачественное жуирство каких-нибудь, хоть и второразрядных, однако достаточно для этого заметных партийных. Он расширял свою подозрительность до обвинения всей партии. Он был нафарширован злобными «почему?». Почему Чичерин дружественно беседовал с кардиналами? Почему спецы и просто хапуны, вроде Вогау, катаются в автомобилях? Почему школы стали снова платными? Почему спальные вагоны полны надушенными дамочками, едущими в Ялту? Ответы, как бы толковы они ни были, его не удовлетворяли. Проходя в полночь мимо магазина Моссельпрома, он останавливался и подолгу разглядывал смакующие жизнь физиономии покупателей, парадные люстры, семгу и сигары, неведомый мир,

Индию средневекового мореплавателя, разглядывал без досады, внимательно и подробно, как бы проверяя их реальность.

Подозрительность вызывала озлобленность. Привычка ставить себя в центре событий сказывалась и здесь: это его обманули, именно его, Михаила Лыкова! Его заставили сражаться, голодать, ходить в штыки, хворать сыпняком, и все ради того, чтобы одни покупатели семги сменились другими, ничем не отличающимися от прежних, то есть с такими же мутными глазами и розовым колером излюбленной ими рыбины. Мало занятый науками, он всецело был отдан уличным соблазнам: запахам английского «Кепстена», который покуривали в коротеньких трубочках спецы, и «Шипра» спецовских половин, витринам на Кузнецком, где под портретом Троцкого блистала полная обмундировка денди с Пикадилли, от замшевой шляпы до шелковых платков цвета «танго», великорусским хорам и ароматам почек в мадере, вылетавшим из пивных, балансированию задами воскресших кокоток, кондитерским, театральным разъездам, огням казино. Каждый подъезд поучал его новой мудрости, в точности повторяя речи Вогау.

Этот хапун как-то прошел мимо Михаила под ручку с дамой, в спортивном костюме, весело пофыркивая, розовостью и жизнеобилием напоминая молодого англичанина. Но этим не ограничивались уроки. Михаилу пришлось встретиться и с Дышкиным, бывшим сослуживцем по киевскому собесу, тогда регистрировавшим бумаги, а теперь воротилой треста «Северопенька», обладающим автомобилем «ройс» и породистой борзой, которая важно заседала рядом с шофером. Дышкин снисходительно одарил нашего героя рассказом о своей недавней поездке в Гурзуф, с пикантными дамочками, пикниками и вообще «недурственным сезоном». В студенческой столовой, где Михаил обедал, что ни день передавались, хоть и точные, то есть с фамилиями и учреждениями, но все же фантастические истории об очередном герое, променявшем честную выучку на нэповский азарт. Говорили об этом не то как о несчастном случае, ожидая общего соболезнования: «Еще один свихнулся», не то как о счастливом выигрыше: «Повезло человеку!» Разве в морали было дело? Факты учили Михаила, учили до одурения, до тошноты. А ведь он был далеко не тупым учеником.

Кругом шла игра. Смелые и счастливые выигрывали. Ставкой (как, впрочем, и при всякой крупной игре) являлась жизнь, ибо нередко Чека, а впоследствии ее новое воплощение, то есть Гепеу, неожиданно прерывали повесть о счастливчике металлическим акцентом «высшей меры». Мог ли Михаил удержаться, не подойти к зеленому сукну? Если и были колебания, то это лишь показывает, что Октябрь и годы гражданской войны не случайно значились в биографии Михаила, что за свои последующие грехи он расплатился не только судебной карой, но прежде всего неделями блужданий среди огней Неглинной и сырой мглистой тишины москворецких набережных, блужданий, мучительность которых трудно передать разумными словами, не прибегая к звериному вою или рыку.

На политическом жаргоне эти недели следовало бы назвать «разложением». Подобно мясу, в душный предгрозовой день разлагается, судя по отчетам газет, живой человек, сначала утрачивая идейность, потом различные гражданские признаки, наконец, начальную человеческую честность, эту третьесортную добродетель, не обязательную ни для гениев, ни для истории, но строго необходимую для третьесортных граждан независимо от политического строя. Мы должны, однако, несколько усложнить понимание этого распространенного процесса, напомнив о телескопе, который недаром услаждал детские глазенки, о коте Барсе, умершем далеко не естественной смертью, и о многом ином. При виде стойкости Артема, не довольствуясь легкими социальными обобщениями, мы должны углубиться в пущи евгеники, начать гадать, что бы такое могло занимать покойных Якова Лыкова и его супругу в ночь зачатия? В каком настроении находилась матушка, вынашивая такого сына? Пожалуй, кто-нибудь из киевских старожилов напомнит нам, что в ту весну было сильное наводнение и четыре пожара на Демиевке. И все же эти догадки мало помогут. Остается ограничиться утверждением, что характер Михаила сыграл в его судьбе роль не меньшую, нежели исторический антураж. Можно даже сказать, что герой наш начал разлагаться (если уж необходимо употребить этот сильно пахнущий термин) с младенческого возраста, причем годы подъема, опустошив душу, значительно облегчили дальнейшую работу соответствующих бацилл. Стреляя в крохотного голубка на крыше

мазанки, Михаил уже был настолько легким и пустым, что остается только дивиться, как это он сразу не принял предложения Вогау.

Глаза, коричневые глаза, что они должны были выражать по замыслу художника? Какая человеческая тоска ютилась под жестким чубом? Нет, жизнь все же много сложнее, нежели говорят о ней газетные отчеты!

— Что ж ты, Бромберг, тоже спекульнул? — спросил как-то Михаил своего товарища, увидав на этом честном рабфаковце, золотушном и мечтательном бедняке, шикарнейший ульстер.

Бромберг обиделся:

— Ничего подобного! Я тебе не Рыдзвин. Жить как-нибудь нужно? Я сделал совершенно чистое дело. Знаешь Помжерин,— комитет помощи жертвам интервенции и контрреволюции? Так вот они посылают агентов с марками. Очень художественные марки. Прямо из Третьяковки. Смотреть и то удовольствие! Я съездил к себе в Витебск. Это даже с идейной стороны завоевание. Что мне осталось? Двадцать процентов, минус дорога и расходы. Почти что для комитета работал. Но зато какая же работа!..

Бромберг был много осторожнее и хитрее Вогау. Навоз, названный золотом, для поэтической души тем самым теряет часть своего неприятного аромата. Кроме того, между ночью в «Лиссабоне» и беседой с Бромбергом лежали три недели, горячие и сухие, как пески пустыни. Не удивительно, что Михаил, поговорив о зачете, о большом студенческом митинге, посвященном «смычке с деревней», в конце как бы невзначай спросил:

— А ты не знаешь, этот комитет еще набирает представителей? Здесь товарищ один, из Киева. Голодает, бедняга. Вот бы его туда...

КЛЕЕНИЕ МАРОК

Пришлось, однако, в поисках рекомендации признаться Бромбергу. Более того, пришлось, отдавшись всецело под его покровительство, вместе с ним выехать с Виндавского, хотя это был явный крюк. (Ведь бесплатные билеты раздобыл все тот же Бромберг, у которого брат промышлял в Наркомпути.) Ехали они в жестком. Осторожный Бромберг, пред-

видя дорожную грязь и подозрительность провинции, оставил свой ульстер в Москве. Ели тухловатую колбасу, причем всю дорогу Бромберг жаловался на желудочные рези. Михаилу он успел порядком надоесть, тем паче что приподнятое, даже лихорадочное состояние нашего героя, решившего наконец-то отыграться, требовало скорее уединения, нежели разговоров о пищеварении. Поэтому расставанию, достаточно сухому, имевшему место на хлюпкой платформе Новых Сокольников, он в душе обрадовался. На прощание Бромберг, схватившись за живот, все же не обделил его товарищеским напутствием:

— Ты того... клей!

Михаил ничего не ответил: он знал, куда едет и зачем.

Оставшись один, он предался фантазиям. Кто это выдумал, что за деньги нельзя всего иметь? Вероятно, те слюнтяи, как их,— да, «идеалисты»,— словом, из сочинений Куно Фишера. В Одессе, кажется, тоже сезон, то есть дамочки, может быть, и пикники. Михаил хотел бы сейчас сжимать ручку какой-нибудь попикантней. У моря. Больно сжимать. Чтобы скрипка при этом безумствовала. Песни — одно хамство. Для мужиков. Хорошо, когда — скрипка и без паскудных слов. Если душа зудит, какие тут могут быть слова? Вина бы при этом, да покрепче! И ручку сжимать, чтобы закричала... Впрочем, все это на сладкое. Потом. Раньше всего толкнусь в губполитпросвет. Комсомольцы. Славные ребята. На таких можно положиться. Скорей бы! До чего медленно тащится поезд. Кругом одна паршь. Болото. Спички здесь делают. Спички — тоже отсталость. Сразу бы электричеством чиркать. Да ползи ты, чугунная кляча!..

В интересах справедливости следует отметить, что ускоренный поезд 973 шел весьма корректно, запаздывая не более чем на час-полтора. Таким образом, хулы Михаила являлись следствием его нетерпеливости, доведшей руки нашего героя до безобразия — они сорвали со стенки какое-то постановление, что обошлось Михаилу в рубль золотом, тотчас взысканный бдительным кондуктором.

Как бились у слезящихся стекол руки Михаила, как откликались огни его глаз на скудные огни семафоров редких станций Полесья, крупных, просеянных сквозь туман звезд! Нет, не нашей ломовой прозой описывать

подобные грозовые красоты. Даже засыпая, он не разлучался ни с напряженностью своих мечтаний, ни с небольшим потертым саквояжем, купленным за весьма скромную сумму на Смоленском рынке, наполненным не бельем, но духовным, исключительно духовным багажом.

В Гомеле он вышел подышать приятной сыростью теплого вечерка, традиционной атмосферой узловой станции, с ее закоренелой лихорадкой, с эпической грустью и с нервирующей разноголосицей звонков, свистков, хриплых выкриков. Кажется, более созвучной ему обстановки нельзя было придумать. Он пошел в буфет, увлеченный и торопливой гурьбой пассажиров и соблазнительными запахами. Потные пирожки просились под поцелуи скромных советских служащих и мещаночек. Для аппетита и возможности граждан, хоть лишенных по Конституции СССР активного и пассивного избирательных прав (как прибегающие к эксплуатации чужого труда), но зато обладающих многими иными правами, имелись рассольник с потрохами, котлеты отбивные телячьи с гарниром и даже гусь с яблоками. На большом затуманенном зеркале рядом с рекламами старого литовского меда и папирос «Красный дипломат» красовался поучительный лозунг, очевидно написанный еще в то время, когда и буфет и гусь находились под запретом, в зале же помещался клуб, занятый бесплатной раздачей кипятка и литературы, а также инсценировками летучих продагиток. Этот лозунг своим настойчивым акцентом выдавал как особую энергию, так и плохое знание русского языка. Схватив пирожок с яблоками, Михаил вслух прочел: «Кто не трудится, тот пусть и не ест»,— прочел спокойно и деловито. Форма, конечно же, его, чуждого всякого лингвистического пуризма, не могла рассмешить. Но и вся ироничность подобной сентенции, осеняющей отбивные котлеты и гуся, никак не дошла до него. Быстрая ассимиляция — одно из типичнейших свойств современности. Убедившись в телесности нэпа, он уже без малейшего удивления, как нечто должное, воспринимал все его наиболее фантастические детали. Мудрое изречение можно, разумеется, понимать по-разному. Оно воодушевляло октябрьских революционеров, что не мешает ему быть любимой поговоркой французских консьержек. Очевидно, некоторый смысл вложил в него и Михаил, ибо, прикончив

пирожок, начинка которого, естественно, наводила мысли на гуся, приветливо улыбнулся лакомой птице, как бы говоря: «До скорого свиданья, на обратном пути я тебя не обойду». Даже последующая сцена никак не могла поколебать его душевного равновесия. Крохотная нищенка, лет восьми (для которой собесовские фребелички так и не выстроили своего изумительного «дворца»), прошмыгнув в зал, гнусавыми воплями стала омрачать аппетит некоего гражданина, поглощавшего котлеты с гарниром. Этот подлинно сентиментальный путешественник не рассердился, он даже протянул тарелку нищенке:

— Жри!

Официант, бормотавший нечто о кражах посуды, тарелку из рук девочки быстро вырвал и вытряхнул, точнее, вылил ее содержимое, то есть картошку с подливкой, на тряпье, заменявшее собой платьице. Всем этот жест показался вполне естественным, даже маленькой нищенке, которая, опасливо поглядывая на буфетчика, стала жадно слизывать с вонючих лоскутьев густой коричневый соус. В былое время Михаил вмешался бы. Не было более верного средства вызвать его на скандал, нежели обидеть ребенка. Теперь же он равнодушно поглядывал на энергично работавший язычок девочки. Может быть, борьба за счастье всех сделала его нечувствительным к горю каждого. Оставив в сердце героя некоторую наклонность к мелодраме, она устранила неудобства примитивной человеческой жалости.

Поезд стоял долго. Михаил успел изучить и прейскурант вин, и расписание поездов, и юмористические журналы в киоске. Он даже успел познакомиться с газетчицей, толстой веснушчатой девицей, бюстом и меланхоличностью глаз бутылочного цвета привлекшей нашего героя. Девица, конечно, пожаловалась на провинциальную скуку, заявив, что ужасно любит читать романы,— потупление глаз, а также порывистое содрогание бюста добавляло, что она любит их не только читать. Михаил, однако, не поддался соблазну. Ревниво сжимая саквояж, в котором покоилось счастье, а следовательно и сердца многих веснушчатых или не веснушчатых, он взглянул на ее бюст хоть с аппетитом, но стойко, как на гуся, то есть откладывая все наслаждения до обратного пути.

Дорожные разговоры, столь же неизбежно оседающие в голове путешественника, как копоть в его носу,

может быть, и приятны иным бездельникам. Но нет ничего мучительней для человека, одержимого идеей, для влюбленного, подыскивающего предпочтительную форму изъяснения, для заговорщика, обдумывающего различные детали своего темного дела, для спекулянта, оперирующего фантастическими коэффициентами червонцев, долларов, крон, нежели эти прогорклые анекдотцы, рассказы о странных болезнях свояченицы, вздохи по поводу цен на дрова, среди жестяных чайников и яичной скорлупы, среди попутчиков, тупо отряхивающих с себя сон, как мокрая собака дождевую влагу, среди фантастической нелепицы обыкновеннейшего вагона.

Болезненно напрягаясь, Михаил дорисовывал план действий. Все шло великолепно, один ход неизбежно вытекал из другого, обезоруживая невидимого противника, будь то древний рок или нескромные сотрудники вездесущего Рабкрина. Но имелась небольшая деталь, трагическая деталь, заставлявшая торопливые руки Михаила в изнеможении падать на колени. Как быть с маленьким кусочком картона, бережно хранимым в боковом кармане?

С виду непонятный, даже неприличный вопрос являлся последствием одной весьма критической минуты, пережитой Михаилом в уютном кабинете заведующего издательской частью Помжерина. До этой минуты было ясно, что кусочек картона благоприятствует всегда и всему. Одно магическое появление его заменяло пропуска и мандаты, делало милиционеров сентиментальными, а контролеров рассеянными. Сколько дверей он раскрыл и сколько глаз закрыл, этот крохотный билет! Его присутствие придавало мускулам Михаила наполненность и гибкость, подкрепляло надменность волос и не давало глазам расплыться в виноватом тумане. Время от времени он в тревоге хватался за карман, проверяя, на месте ли этот крохотный покровитель (подозрительный жест, который присущ и простому обывателю, проверяющему, не украли ли у него бумажник), а обнаружив, что билет цел, он улыбался. Даже при нэпе, когда воскресли иные приметы избранничества, как-то: пачки «лимонов» или просто элегантный костюм,— все равно билет оставался палкой-застукалкой. Словом, для Михаила, считавшего идеи последним, плевым делом, чем-то вроде знаменитой «точки» в глазах, которую художник ставит,

когда портрет уже закончен, партбилет был большей реальностью, нежели программа. Постепенно меняя свои мечты, вместо подпольной Индии склоняясь к ресторану «Лиссабон» с Варенькой, он, однако, и не думал по доброй воле уходить из партии. Он считал, что билет им заслужен, как орден. Скорей он усомнился бы, на радость всем кретинам из Куно Фишера, в действительности своего существования, нежели в партбилете.

Так было до той минуты, когда заведующий издательской частью Помжерина, деликатно улыбаясь, спросил Михаила:

— Вы, конечно, беспартийный?

Последовавшая за этим пауза объяснялась полной растерянностью Михаила, принужденного в течение одной минуты переменить свой взгляд на партбилет, а следовательно, и на весь космос. В характере вопроса он не мог усомниться. Сколько раз таким же доверчивым голосом спрашивали его: «Вы, конечно, партийный?» Это даже не нуждалось в ответе, как вопрос «вы, конечно, человек честный?», обращенный к обывателю. Вдруг Михаил понял, что партбилет может быть балластом, преградой, белыми ручками пришедшего наниматься на завод интеллигента, признаком верной неподходящести. Он, конечно же, нашелся:

— Да, да, беспартийный. Разумеется, беспартийный.

Однако это внесло смятение в его душу. Пока трясся вагон и попутчики громыхали над еврейскими анекдотами, он тщетно пытался уразуметь это событие и сделать из него выводы. Ежели девица с прошлым выдает себя за невинную отроковицу, это понятно. Но оказывается, что порой подлинной девственнице, одержимой желанием как можно скорее пасть, приходится приписывать себе несуществующие грехи, чтобы этим обнадежить кавалеров, падких на легкое и пуще смерти боящихся скандалов. Сложность ситуации доводила нашего героя до головной боли.

Уж показалась героиня всех кабаре Одесса-мама, встречающая приезжего вместо веселых куплетов угрюмыми предместьями, разрушенными взрывами, а Михаил еще томился над той же проклятой мыслью: как быть с партийностью?

Живительный воздух города, насыщенный морской влажностью, грязью, рыбьими отбросами и чесноком,

воздух города авантюристов и мечтателей несколько успокоил его. Вместо разгадки он удовлетворился надеждой на свою находчивость, которая должна его вывезти.

Он решил ознакомиться с городом. Проглядев «Известия», утренние и вечерние, он начал бродить по улицам, рассматривая афиши на столбах и витрины магазинов. Впечатление было весьма заурядным. Вряд ли какой-нибудь другой город так изменился за годы революции, как эта беспечная и жизнерадостная хипесница. Дело не в мертвенности порта, не в разрушенных зданиях. Разве мало резали, полосовали, обливали серной кислотой другие города? Но здесь искалеченной оказалась не только каменная оболочка. Легкомысленная Одесса, эта Манон Леско с еврейским акцентом, по-женски обаятельно занятая спекуляцией, как модница папильотками, не выдержала аскетической атмосферы правоверных лет. На прощание она еще одарила хмурый север некоторыми (перворазрядными) писателями, а также преступниками (предпочтительно шулерами и шантажистами), внесла в блатной словарь московских притонов ряд выражений, способных вызвать нескрываемую зависть поэтов-имажинистов, и на жесткость нового распорядка ответила беззлобной песенкой о том, как «ужасно шумно в доме Шнеерсона». Песенка эта свидетельствует лишь о фантазии одесситов, ибо тихо стало и в доме Шнеерсона, и во всем городе, тихо, прилично, уныло на этих улицах Лассаля, Интернационала и Пролетариата.

Но как бы ни был сер облик города, по которому бродил Михаил, он все же подсказывал ему великолепные жесты, внушал бодрость и веселье. Очевидно, никакие ветры, никакие декреты не успели окончательно проветрить этот питомник франтов, хвастунов и жуликов, где можно пить черный кофе, наслаждаться иностранным «дюком» и не менее иностранным небом, печатать фальшивые ассигнации, влюбляться напропалую и спорить с неповоротливым Далем.

Прогулка, вернее, разведка длилась недолго, но была чрезвычайно благотворной. Появившись около двух часов в губполитпросвете, Михаил не только забыл свои сомнения касательно партийности, но тотчас сообщил обалдевшему от неожиданности замзаву, что тот уделяет недостаточно внимания работе среди молодняка, что необходимо вообще приналечь на по-

литграмоту, о чем Михаил уже не раз указывал в Москве. На местах дело, очевидно, обстоит совсем плохо. Михаил будет рад совместить свою деловую командировку от Помжерина с некоторой общей ревизией. Замзав сначала пробовал спорить, но Михаил обладал неисчерпаемым запасом слов, вполне столичных и сезонных. На «разграничение функций» он немедленно ответил «борьбой с узким делячеством», на соображения об автономности УССР — конфиденциальными намеками: «объединение в порядке дня предстоящей сессии ЦИКа», на ограничение деятельности агентов Помжерина рамками добровольных пожертвований — презрительным заявлением о важности выдвижения жертв интервенции, в предвидении переговоров касательно ликвидации международных обязательств, а также длиннущими мандатами со всей мыслимой пестротой различных наводящих трепет печатей. Словом, замзав был пристыжен; будучи скромным, он чувствовал себя чуть ли не секретарем Михаила. На восемь часов вечера было назначено междуведомственное совещание для выработки новой кампании: «Все на помощь жертвам интервенции и контрреволюции».

Объяснение легкости одержанной победы следует искать не только в природной наивности бедного замзава, но и в том престиже Москвы, который делает нравственно обязательным для всего нашего обширнейшего Союза даже суждение о пьесе Бернарда Шоу, высказанное театральным рецензентом столичной газеты. Любая обмолвка или опечатка, пришедшие из центра, рождают подлинные душевные драмы. Каждый писатель спешит подкрепить свои малоубедительные произведения авторитетом Сосновского. Красные профессора, проштудировав «Экономику переходного времени», доводят своих слушателей до душевных заболеваний, заставляя их чертить самые фантастические фигуры. Что касается до милых провинциальных барышень, то они теперь не играют в фанты, но инсценируют Синклера по Мейерхольду, портя для этого (правда, и без того не действовавшие) телефонные аппараты.

На междуведомственном совещании Михаил держался более осторожно — среди двадцати присутствовавших мог оказаться какой-нибудь скептик, склонный к разоблачениям. Он произнес весьма сжатую речь о задачах Помжерина. Вполне естественно, что одесситы были потрясены. Счастливая способность Михаила придавать

цифрами реальность самой неправдоподобной чепухе дала наилучшие результаты. Только представитель губфина попробовал запротестовать, но и он на сострадательный вопрос Михаила «какое впечатление произведет отказ Одессы» ничего не смог ответить, кроме угрюмого монолога об ущербе, который претерпят гербовые марки. Михаил снисходительно заметил, что ведомственный патриотизм представителя губфина делает его близоруким в вопросах общегосударственных. Губфин раздраженно высморкался. Спор был кончен не в его пользу. Михаилу не пришлось даже вносить предложений, это сделал за него пытавшийся загладить свою халатность по отношению к молодняку и многое иное замзав губполитпросвета. Нужно ли добавить, что предложения были приняты единогласно?

На следующий день Михаил развил предельную энергию. Прежде всего он направился в редакцию местной газеты. Это была замечательная газета, нашедшая счастливое сочетание туземных сплетен с модной деловитостью столичных передовиц, ухитрявшаяся говорить о посевной площади игриво, как о непритязательной оперетке, а обыкновенный мордобой рассматривать с глубокомыслием, достойным мирового явления. Портреты приезжих членов Коминтерна; стихи местных пролетарских авторов, лозунги, набранные жирным шрифтом, исключительное изобилие «хроники происшествий» — все это придавало ей и внешне презабавнейший характер. Оперируя с оптическими образами, наиболее у нас употребительными, мы должны напомнить, что чистые цвета встречаются в природе чрезвычайно редко. Не раз высказывались опасения, что мы получим прессу розоватую. Этот цвет, действительно, приличествует скорей английским девицам, обладающим Макдональдом, утренней кашицей и романами Локка. Но есть ведь и иные отклонения от красного цвета. Так, например, смешанный с желтым, он рождает цвет, который модники зовут цветом «танго». Однако воздержимся от дальнейших рассуждений, могущих быть воспринятыми за критику губоргана. Вернемся к Михаилу. Наш герой в редакции занялся ведь не изучением цветов. Нет, он умело польстил редактору, сказав, что его газета может потягаться с московской «Правдой». Вечерний выпуск вышел с подзаголовком: «Все на новый фронт. Неделя Помжерина».

В том же номере газеты сообщалось о постановлениях, принятых на вчерашнем совещании: отныне все до-

кументы, выдаваемые загсом и милицией, как-то: свидетельства о рождении, о браке, о разводе и прочие,— должны оклеиваться марками Помжерина, каждое на пятьдесят золотых копеек. Кроме того, домкомам вежливо рекомендовалось при выдаче удостоверений следовать благородному жесту.

В течение дня Михаил успел наладить также организацию литературного вечера совместно с просветительной ячейкой Губчека, причем тридцать процентов чистого сбора должны были идти на агитпункт подшефной деревни Либкнехтдорф, а остальное Помжерину. Однородное соглашение, касавшееся лотереи, было заключено Михаилом с кооперативом гормилиции. Сотрудники Губчека и милиции сами разносили по квартирам обывателей билеты — лотерейные и на вечер. Отказов, конечно, не встречалось.

Потом Михаил отправился к комсомольцам. Зная, что этих декламацией не проберешь, он слов зря не тратил, а непосредственно предложил мобилизовать комсомол для успешного проведения «недели». Он еле говорил от усталости. Но гордость проделанной работы поддерживала его. Будучи всего на несколько лет старше своих слушателей, он чувствовал себя искушенным маршалом, наставляющим молодую гвардию. Здесь он был вполне своим. Все выражения, жесты, интонации этой аудитории казались ему внятными и родными. Город разделили на участки. Последние запасы марок, изображавших красноармейца, отсекающего многочисленные головы гидре интервенции, были переданы комсомольцам. (Заветный саквояж Михаила, однако, не худел, он только менял начинку, вмещая теперь кипы дензнаков).

Заседание кончилось поздно, около двенадцати. Три комсомольца пошли проводить Михаила до Лондонской гостиницы, куда он был вселен по распоряжению замзава губполитпросвета. Теплая ночь с редкими брызгами дождя, казавшимися брызгами моря, с запахом акации и влажного асфальта, с близостью порта, заморских фелюг и легкого контрабандного счастья располагала к лирике. Усталость Михаила еще усиливала эту потребность. Он начал говорить, сначала о мечте всех, о Москве, о ее мировой лихорадке, о съездах Советов в Большом театре, о бодрости наркомов. Комсомольцы слушали его восторженно, с тем жадным молчанием, которое впитывает и слова и душу рассказчика. Они, конечно, не подозревали, что Михаил врет, что он,

например, никогда не был на том съезде, все детали которого описывал. Для них он являлся работником из центра, опытным партийцем, старшим наставником. Но и сам Михаил не воспринимал своего рассказа как ложь. Он находился в той стадии вдохновения, когда уже не ставится вопрос о протокольной правдивости, когда реальность желаемого легко затмевает все убожество существующего.

Постепенно он перешел на себя. Они давно миновали цель, то есть подъезд гостиницы. Они теперь просто бродили по бульвару, дыша влажностью воздуха. Наш герой рассказывал комсомольцам историю своей жизни. Зная не только все факты его биографии, но и различные сопровождавшие их переживания, мы, конечно, не можем разделить доверчивость его юных слушателей. Михаил ничего не сказал им ни о Шейфесе, ни о молочнике. Но все же мы считаем необходимым передать, хотя бы вкратце, его рассказ; ибо, греша против истины, он выразительно передает как лирическую настроенность той ночи, так и общий уклон мечтательности Михаила.

Сначала — кризис. Выполнив свой долг в Октябре, он не понял Бреста. Его ошибку разделяли тогда и многие партийные вожди. Хотя бы Бухарин. Это была трагедия. Он пошел с левыми эсерами. Невольный грех перед революцией. Он загладил его последующей работой. Для партии он предал все. Он писал стихи. Его считали первоклассным поэтом. Он любил искусство до самозабвения. Но, поняв, что это буржуазные штучки (Михаил именно так и сказал: «штучки»), он бросил поэзию. (Следует отметить, что Михаил обошел молчанием ночь в «Скутари».) Ради революции он оставил девушку, которая любила его. Он? Он тоже любил. Это было в Харькове прошлой весной. Дождик, теплый дождик. Но девушка не была партийной. Буржуазное воспитание, буржуазные навыки. Она не могла стать его товарищем по борьбе. Сжав зубы, он расстался. Фронт. Слыхали ли вы о Перекопе? (Эта часть рассказа напоминала: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром...») Комвуз. Партийная работа, Москва. Кстати, у него была тетка в Житомире. Бедная сумасшедшая женщина. Делала ахалву (это такое лакомство). Он ее любил. Она в детстве заменяла ему мать. Ее? Ее повесили поляки. Сейчас он ездит как представитель Помжерина. Неблагодарная, тусклая работа. Конечно, он предпочел бы поехать от Коминтерна в Индию. Но что делать? Партийная дисциплина, это выше всего.

Теплый дождик ласково трепал щеки. Ветер с моря сулил удачу. Как прекрасное созвездие, над тремя комсомольцами, над этими косолапыми, наивными и честными комсомольцами, стояла их высокая молодость. Михаил молчал. «Если бы сейчас умереть»,— подумал он и блаженно улыбнулся. Он не сказал этого. Он только при расставании, сжимая три руки, передал им свою взволнованность и счастье.

Двадцать пять процентов с марок, проданных учреждениям или взятых на комиссию, составляли две тысячи восемьсот шестьдесят рублей золотом. Михаил записал эту цифру, тихонько, во время заседания в комиссии, проделав ряд арифметических выкладок. Но если бы сейчас, у освещенной двери Лондонской гостиницы, перед тремя парами светящихся глаз, кто-нибудь сказал бы ему о марках, о процентах, о рублях, он удивился бы, негодуя, он крикнул бы «ложь», он пошел бы на смерть, убежденный в своей невинности.

ОДЕССКИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ГЕРОЯ

Путаница, великолепная путаница, бережно выращиваемая в кабинетах авторов трагических новелл или игривых водевилей, сколько она требует натянутых встреч, перевранных адресов, переодеваний! А у нас, в нашей обильной решительно всем стране, путаница валяется под ногами, и какая же первосортная, волосатая, самая что ни на есть натуральная!

Конечно, чтобы ознакомиться с нею, лучше покинуть столицу. В Москве живут люди обтесанные. Они сразу находят свое место. Нэп так нэп. Их бы и землетрясение не удивило. В бывшей гостинице «Метрополь» помещается 2-й Дом Советов, там коммунистические идеи, скромные биточки, беспрерывные телефонные разговоры. Этого не спутаешь с гостиницей «Эрмитаж», бывшей и сущей, где останавливаются нэпманы и где нет никаких идей, только продукты винтреста и расстегаи. Москвичи знают, кому сказать «товарищ», кому «гражданин», а кому еще что.

Чтобы отыскать путаницу, следует уехать куда-нибудь подальше, хотя бы в облюбованную нашим героем Одессу. Там этого товара сколько угодно. Сразу же на вокзале вы услышите нищенок, путающих упраздненного «господина» с «товарищем» и «гражданина»

с «барином». Улицы все переименованы, некоторые даже дважды, так что, разыскивая приятеля-одессита, вы проблуждаете немало. Где кончается общежитие и где начинается гостиница, этого уж никто вам не скажет. Окажется у вас мало денег, вы попадете в финотдел. С червонцами приедете, чего доброго, попадете в Гепеу. Совершенно неожиданно у вас спросят на улице, занимаетесь ли вы производительным трудом? Но это не мешает всем спекулянтам «Пале-Рояля» состоять в различных профсоюзах. Молодые поэты следят за тем, чтобы цензура была построже. В угрозыске сотрудничают некоторые граждане, разыскиваемые угрозыском. Если вы попросите в ресторане бифштекс, вам обязательно дадут кефаль по-гречески. Если же, показав на стилизованный славянский лик, украшающий собою одну из площадей, вы полюбопытствуете, что это за удельный князь, вам ответят: «Карл Маркс». Если... Однако довольно предупреждений. Мы пишем не руководство для любителей путаницы и не путеводитель по Одессе, а историю Михаила Лыкова. О некоторых особенностях южного города мы заговорили исключительно для того, чтобы объяснить читателям, как наш герой, после трудового дня и ночной экзальтации, расставшись в 12 часов 40 минут с тремя комсомольцами, мог очутиться в 12 часов 45 минут, то есть ровно через пять минут, в зале ресторана, отданный услужливому шепоту официанта:

— Рислинг Армении замечательный будет...

Войдя в честнейшее советское учреждение, Михаил оказался в ночном ресторане с музыкой. Кто же станет отрицать после этого доброкачественность расхваливаемой нами путаницы?

Трудно человеку, любящему в понятиях ясность и порядок, объяснить, чем в точности была Лондонская гостиница. С одной стороны, как будто Дом Советов. Там жили некоторые ответственные работники, даже семейные, портфели, примусы и детские горшочки в коридорах свидетельствовали о скромном, духовном характере места. Приезжие, вроде Михаила, получали комнаты по ордерам. Дух военного коммунизма еще стоял в этих давно не ремонтировавшихся комнатах. Швейцар хранил военную осанку и часто вместо «счетец» произносил «пропуск». Мандаты и телефонограммы носились по лестницам. У входа висели грозные правила, подписанные комендантом. Не хва-

тало только пайков, револьверов и некоторых житейских затруднений (водопровод и канализация работали исправно). Словом, входя туда (днем), близорукий человек мог поверить, что, отъехав от Москвы на тысячу верст, он вернулся к двадцатому году. Мы оговорили «близорукий», ибо, обладая хорошим зрением, легко было сразу заметить и кожаный чемоданчик с заграничной наклейкой «Отель Адлон», и чей-нибудь вполне современный галстук. Нэп проник и в Лондонскую гостиницу, но он не разрушил ее былого устроения, он прилепился, поселился по соседству, предпочел путаницу. (Так некоторые соборы хранят следы архитектуры пяти-шести веков, от романской до барокко.)

За червонец в сутки любой иностранный или отечественный спекулянт мог получить номер, причем у военнообразного швейцара находились для него вполне гражданские интонации, вплоть до старорежимного «ссс». Столовая, выдававшая борщ и мясо, легко превращалась в питейное заведение со всеми изысканными яствами, с шампанским, даже с румынами, исполнявшими фокстрот. А наверху, в номерах «ответственных», шли важные совещания, и секретарши записывали, как Одесса реагирует на очередную наглость Керзона. Причем самое удивительное в этом — находчивость и приспособляемость людей. Возьмем того же швейцара: он никогда не предложил бы завнаробразу, зимой бегавшему в легком сквозном пальтишке, страдающему одышкой от сердечной болезни, от количества закрываемых, вследствие перехода на хозрасчет, школ, от гололедицы, ветра и лестниц, зайти в номер шестнадцатый, где работавшая со швейцаром на паевых началах Хася Цвибель, именующая себя итальянской киноэтуалью Биче Беличели и уверявшая, что она прибыла с мандатом «Югкино» для съемок, принимала мужчин, нуждавшихся в нежности и в артистическом режиме. Швейцар знал, кого спросить о курсе червонца, кого о предстоящей конференции, кого о ценах на контрабандный коньяк. Не ошибались и посетители. Казалось, все было готово для водевиля. Но ни разу ни один спекулянт не попал на совещание об английской ноте и ни один коммунист не оказался с Биче Беличели в ночном ресторане. Все находили свое место.

Михаил, однако, попал не на ночное заседание касательно Помжерина, а прямо к румынам и к хересу. Рассеянность? О нет, далеко не рассеянность, сложность,

если угодно, двойное бытие, естественная галиматья наших дней. Читатели, конечно же, заметили многообразие интересов и наклонностей нашего героя. Марки имели различное применение, дензнаки также. Словом, вкатившись в темное чистилище вестибюля, полный еще морского ветра и настороженного целомудрия комсомольских глаз, Михаил выявил такую неопределенность состояния, что даже безошибочный в оценках швейцар и тот усомнился, как его приветствовать и что предложить. Направо белесой матовостью стекол, лязгом и отрывистыми вскриками гитар, этих чувственных подружек всех забулдыг, говорил о своих преимуществах обыкновеннейший ночной ресторан. Тихая лестница вела к сосредоточенности идей, то есть к «ответственным». Десять — двадцать секунд прошло среди топотания Михаила и растерянности швейцара. После чего Михаил решительно завернул направо. Час спустя он был уже пьян.

Пил он с каким-то субъектом, отрекомендовавшимся «красным купцом» из Николаева. Сперва разговор держался на высоком уровне статеек из «Экономической жизни»: о преимуществах Николаевского порта, об экспорте зерна, о недоброкачественности итальянских фабрикатов. Но вскоре оба начали распускаться. Субъект, участвуя в торгах на аренду пароходных буфетов, изложил Михаилу различные способы «смазывания». Каких только не было: помимо вульгарных червонцев ужины а ля карт, пикники, излияния и возлияния, отдача напрокат своих жен, а в случае нужды и принятие на себя чужих, ряд психологических диагнозов и сложнейших, невесомых услуг. Таким образом, торги превращались в пустую формальность, вроде оклейки бумаг гербовыми марками. Ясно, что беседа с торгов перешла на марки. Успех налета на Одессу и крепость вин Армении доводили бахвальство Михаила до анекдотических пределов. Субъект, однако, не удивлялся. Он знал, что при таланте все возможно. Михаил клялся, что направится вскоре в Сибирь и выпустит там свои особые марки Кроме того, он предлагал ехать совместно на Запад: заставить немецкие профсоюзы заняться также клеением марок из «международной солидарности». В ресторане, помимо них, никого не было, и как выразительное взвизгивание гитар, так и мимопластика официантов относились исключительно к ним. Они еще успели

и прочитать и даже оценить висевший на стене плакат: «Граждане, дающие чаевые,—вы даете взятку!» Субъекту изречение настолько понравилось, что он препохабно выругался и, подозвав официанта, отвалил ему кипу дензнаков:

— Стой на посту! Кто не берет, тот не ест. Притом, как говорит поп попадье: тщетная предосторожность.

Еще позже Михаил, заставив собутыльника, в порядке медицинского освидетельствования, высунуть язык, смочил о него большую марку Помжерина и хотел наклеить ее на нос румына:

— Заграничный паспорт!..

Дальнейшего Михаил не помнил. Проснулся он днем в номере шестнадцатом, окруженный потным ароматом и кокетливым кружевцем киноэтуали Биче Беличели. Она лечила пациента от головной боли огуречным рассолом и подогретым пивом. Михаил послушливо исполнял все ее указания, а от разговоров уклонялся. Трудно сказать, что происходило в его душе. Скорей всего, душа отсутствовала, тактично предоставив голове и желудку залечивать изъяны затянувшегося ужина. Столь же тихо, невыразительно прошли вечер и последующая ночь. Если и была выпита бутылка красного, а Биче удостоена кой-каких, весьма апатичных, телодвижений, то это происходило не от чувств Михаила, но от известного распорядка комнаты номер шестнадцать, которому он, как гость, невольно подчинялся. Утром он встал вполне бодрым и выздоровевшим. Ряд спешных посещений и телефонных звонков успокоил его. Компрометирующая ночь не вышла из полутьмы ресторана «Лондонской». Дело с марками двигалось без него. Одесса, не зря прожившая пять бурных лет, знала: сказано клеить. Слюнявя пальчики, Одесса клеила.

После обеда к Михаилу заглянули комсомольцы. Их отчет превосходил другие по рьяности, но Михаил его не слушал. Он был слишком взволнован самим приходом. Эта косолапая честность, прямота, грубость жестов и слов, которыми прикрывался юношеский идеализм, его и очаровывали и раздражали, как старика выцветшие фотографии его молодости. Он ведь еще недавно был таким же! (Он никогда не был таким же. Прошлое, впрочем, быстро забывается.) Он уже им завидовал. Он уже чувствовал, что они выиграли, они, с их жизнью впроголодь, с клеенчатыми

тетрадками и горластым пением. Отчаявшись, он решился на героическое нападение. Выбрав одного, глаза которого своей потрясающей ясностью напоминали глаза средневековых богородиц или же влекомых на заклание ягнят, Михаил прервал сообщения о сборе на заводах и неожиданно спросил:

— Простите, товарищ, я вот вам один интимный вопросец поставлю. Не хочется ли вам иногда, так сказать, разложиться?.. Ну, знаете, разное: то есть кутнуть в ресторане, что ли, или к девочкам?..

Ясные глаза выдержали наскоки глаз Михаила, разъедающих тревогой и фосфором, они не зажмурились, не вздумали отвернуться, улизнуть под веки. Только к их доисторической, догрехопаденческой успокоенности примешалась некоторая доля удивления:

— Нет.

Одно скупо уроненное слово прозвучало, пожалуй, убедительней речи о ничтожестве нэпа и прочем. Атака Михаила была отбита. Он ожидал другого, жалких в своей ханжеской напыщенности фраз или красноречивой, полной учащенного дыхания паузы. Только не этого. Он ждал подкрепления со стороны, оправдания своей двойной жизни, некоторой канонизации разбитых стаканов в ресторане, бравад и рулад, дезабилье Биче. Вместо этого он получил оглушительный удар. О невинности, об удивленности комсомольских глаз нельзя сказать иначе: они именно глушили. Огромное чувство одиночества и своей пропащести овладело Михаилом. Но лирика грозила многими неприятностями. Как бы ни было неподдельно отчаяние нашего героя, он все же успел подумать о подозрительности своего поведения. Он нашел в себе силы, чтобы с жаром схватить лапу мучителя, потрясти ее и воскликнуть:

— Вот это хорошо, товарищ! Молодая гвардия не выдаст. Я в «Правде» помещу статейку: комсомол — могильщик нэпа.

Этим были побеждены удивление и общая натянутость. Закончив отчеты, комсомольцы ушли восвояси. Михаил, обрадованный падением занавеса, дал волю своим чувствам: головной боли, тику, ненависти к себе и ненависти ко всем. От недавних гостей в нем осталось отвращение к белизне, пресности, сладковатости. Подобно пьяному, легко жонглируя образами и понятиями, он видел их в виде пасхальных ягнят с открыток. Кроме того, он боялся разоблачений и кон-

трольной комиссии. Наконец, авантюра начинала казаться ему, при всем ее размахе, тесной. Об этом ли мечтал Михаил? Обслюнявленные марки, обманутые наивцы и червонцы в карманах. Что дальше? Ночью залитые вином скатерти, а утром блевотина. Вздор! Пакость! Михаил бегал по комнате до одурения.

Удивительно, как не поняла состояния нашего героя Хася Цвибель, она же Биче Беличели? Где же прославленная всеми профессиональная женская чуткость? Ей определенно следовало бы, услышав дробь его шагов, не прикасаться к двери. Однако она вошла. Хуже того, она с живостью кинулась к Михаилу, распахивая широко и руки, и полы фиолетового капота, и чрезмерно доверчивую душу. Она обдала нашего героя пудрой и воркованием. Все это было ею проделано со скромнейшим намерением получить от своего нового покровителя один червонец, необходимый для приобретения шелковых чулок змеиного колера, прибывших в Одессу прямо из Константинополя.

— Это последний крик моды,— наивно щебетала Биче.

Для ответа Михаил воспользовался совершенно иным словарем. Он припечатал почтенную женщину весьма лаконичным словечком, хоть и выражающим в точности достаточно распространенную профессию, но, благодаря сложившимся традициям, недопустимым для воспроизведения. Биче, разумеется, обиделась. Как все люди, обычно крайне фамильярные, обидевшись, она стала церемонной и перешла на «вы».

— Вы не имеете права говорить такие выражения! Я — артистка. У меня из киноотдела мандат есть. Я могу даже вам скандал в газете устроить...

Конечно, это было наивностью, ибо никакие мандаты не могли изменить оценки Михаила, сделанной на основании опыта двух ночей. Но пафос Биче одновременно и взбесил и рассмешил обличителя, он привел его в довольно редкостное состояние добродушного бешенства. Повалив негодующую даму, он деловито, хоть и пребольно, однако не переходя границ, избегая как увечий, так и вульгарных синяков, отшлепал ее. Признаться, бедная Хася, или Биче, играла глупейшую роль заместительницы: Михаил был зол на самого себя. Но всякий поймет, что не может же человек в трезвом состоянии, среди бела дня, агент Помжерина и прочее, начать тузить самого себя. Жен-

ские мягкости подвернулись под руку. Биче пыталась немилосердно визжать, но Михаил зажал ее ротик, причем жертва успела все же укусить мизинец своего обидчика. Закончив экзекуцию, Михаил препроводил женщину в идейный коридор, бесцеремонно ногой подталкивая некоторые из ее телесных отслоений. Он ненавидел всю одесскую эпопею. Он жаждал честной трудовой жизни. Отдышавшись, он вышел на улицу, захватив отягощенный дензнаками чемоданчик. Первым долгом он направился в аптеку и, купив йоду, поспешил смазать пострадавший мизинец. Далее, он занялся судьбами чемоданчика, точнее, его содержимого, для чего и свернул в темный проулок. Расталкивая толпу, он вошел в большой двор, хранивший пышное наименование «Пале-Рояля». К сведению читателей, незнакомых с нашими южными красотами, мы должны заметить, что пышность этого места ограничивалась наименованием. Если в парижском «Пале-Рояле» еще имеются и фасады Ренессанса, и цветники и старинная кофейня, где не то Альфред Мюссе писал письма Жорж Санд, не то наоборот, то в одесском сохранилось всего-навсего одно кафе Печеского, абсолютно не связанное с историей отечественной литературы. Зато этнография этого двора заслуживает всяческого внимания. На современный форум выходили все одесские спекулянты, не расстрелянные, не вымершие естественной смертью и не перекочевавшие в Москву. Чистота породы встречавшихся здесь экземпляров была поразительной. Конечно, в Москве на Ильинке делались дела и покрупнее, но в цифрах ли дело, поскольку речь идет о высоком искусстве? Любая сделка здесь сопровождалась такими жестами, такими монологами, такими патетическими объятиями, а порой и затрещинами, что мы удивляемся, почему не выводили сюда адепты биомеханики своих нерасторопных студийцев? Двести — триста человек, ежедневно приходивших в «Пале-Рояль», гудом наполняли мертвый город, растекаясь по улицам, то в виде озабоченных тружеников, то притворяясь беспечными фланерами и бесстрастно пришептывая при приближении какой-нибудь вышедшей за покупками хозяйки: «Беру — даю червонцы». Что они делают ныне, после введения твердой валюты? Перепродают польские злотые, спекулируют на мануфактуре или безропотно умирают, как их родная Одесса?

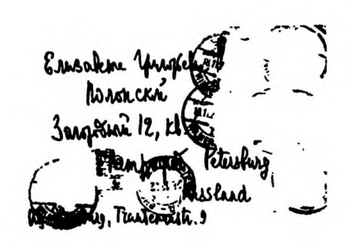


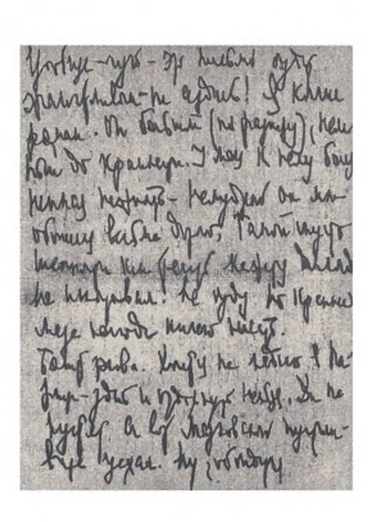
И. Г. Эренбург. Париж, 1925 г.



И. Г. Эренбург. Берлин, 1922 г.

Письмо И. Г. Эренбурга Е. Г. Полонской (Берлин, 10 октября 1922 г.): «Мой роман — на 19 главе. Дело трудное, скверное, но занятное все же. Хотя план разработан детально заранее и напоминает диаграмму какого-нибудь главка, но... герой меняется, хоть биография остается прежней. В общем он человек хороший, но, увы, должен погибнуть...»





Конверт и письмо И. Г. Эренбурга Е. Г. Полонской (Берлин, 18 ноября 1922 г.): «Я кончил роман. Он большой (по размеру), нелепый до крайности. У меня к нему болезненная нежность...» (собрание Б. Я. Фрезинского, Ленинград).

И. Г. Эренбург. Портрет работы А. Куренного (Берлин, январь 1923 г.). Гослитмузей, Москва.



БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННИКОВ

И. ЭРЕНБУРГ

ЖИЗНЬ и ГИБЕЛЬ
НИКОЛАЯ
КУРБОВА

„НОВАЯ МОСКВА"
1 9 2 3

Обложка первого советского издания романа «Жизнь и гибель Николая Курбова» (Москва, 1923 г.).

Обложка берлинского издания романа «Жизнь и гибель Николая Курбова» работы Л. М. Козинцевой-Эренбург (1923 г.).





Обложка последнего прижизненного издания романа «Жизнь и гибель Николая Курбова» работы Н. И. Альтмана (1927 г.).

Художественные обложки книг И. Г. Эренбурга 1920-х гг., не вошедших в настоящее Собрание сочинений



Обложка книги «Лик войны» (София, 1920 г.) работы Вл. Маккавейского (Киев, 1919 г.).



Обложка книги «Лик войны» работы Н. И. Альтмана (Берлин, 1923 г.).





Обложка и иллюстрация из книги «6 повестей о легких концах» работы Эль Лисицкого (Берлин, 1922 г.).



Обложка книги «Трест Д. Е.» работы В. Константиновского, (Берлин, 1923 г.).



Обложка книги «Трест Д. Е.» работы Н. И. Альтмана (1927 г.).



Обложка книги «Портреты современных поэтов» работы Г. А. Ечеистова (1923 г.).



Обложка книги «Акционерное общество Меркюр де Рюсси» (изд-во «Пучина», Москва, 1925 г.).



Обложка книги «Любовь Жанны Ней» (изд-во «Россия», Москва, 1924 г.).



Обложка книги «Любовь Жанны Ней» работы Н. И. Альтмана (1927 г.).



Обложка книги «Лето 1925 года» (изд-во «Круг», Москва, 1926 г.).



Обложка книги «Материализация фантастики» работы А. М. Родченко (1927 г.).



И. Г. Эренбург. Харьков, февраль 1924 г.

Фотографии И. И. Эренбург (1983 г.)





Гостиница «Ницца» (Париж, бульвар Монпарнас, 155), в которой осенью 1924 г. И. Г. Эренбург работал над романом «Рвач».

Париж, авеню дю Мэн; здесь в доме № 64 жил И. Г. Эренбург в октябре — ноябре 1924 г.



Париж, кафе «Дом», где в 1924—1940 гг. постоянно бывал и работал И. Г. Эренбург.

Париж, ресторан «Куполь» на Монпарнасе; в его баре в 1924—1940 гг. И. Г. Эренбург постоянно встречался с друзьями.





Л. М. Эренбург, Т. И. Сорокин и И. Г. Эренбург в кафе «Дом» (Париж, 1925 г.).

Париж, 1925 г. Фото И. Г. Эренбурга (собрание И. И. Эренбург).





И. Г. Эренбург в мастерской художника
А. Федера (Париж, 1925 г.).

Письмо И. Г. Эренбурга директору Ленгиза И. И. Ионову (Париж, 23 декабря 1924 г.) об издании «Рвача» и резолюция Ионова: «Денег больше не посылать. Печатать не будем» (Ленинград, ГАЛИ).

Письмо И. Г. Эренбургу из Ленгиза о запрещении «Рвача» (29 января 1925 г.).

29 Января 5

И. ЭРЕНБУРГУ,

Париж, 156 Boulevard Montparnasse
Paris-6-e.

В ответ на письмо Ваше от 25-го с.м. сообщаем, что тов. Ионов, ознакомившись с содержанием Вашего романа, пришел к заключению, что выпуск его в пределах СССР невозможен.

Впредь до окончательного выяснения вопроса о судьбе заключенного с Вами договора, выплата авторского гонорара приостановлена.

Зав. Редакторией /Ангерт/

Секретарь /Прейман/

Обложка парижского издания «Рвача» (1925 г.).





Одесса, 1920-е гг.

Обложка одесского издания «Рвача» (1927 г.).





И. Г. Эренбург и Т. И. Сорокин. Москва, Проточный переулок, 1926 г.

Е. О. Сорокина с детьми в Проточном переулке (1926 г.). Собрание И. И. Эренбург.



Париж, улица Лас-Каз, дом № 19; здесь в 1926 г. жил и работал над «Проточным переулком» И. Г. Эренбург. Фото И. И. Эренбург (1983 г.).

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГЪ

ВЪ ПРОТОЧНОМЪ ПЕРЕУЛКѢ

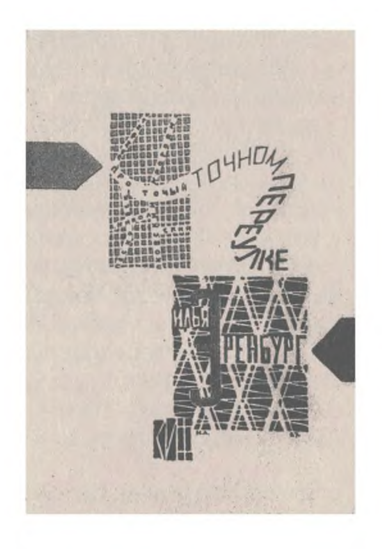
РОМАНЪ



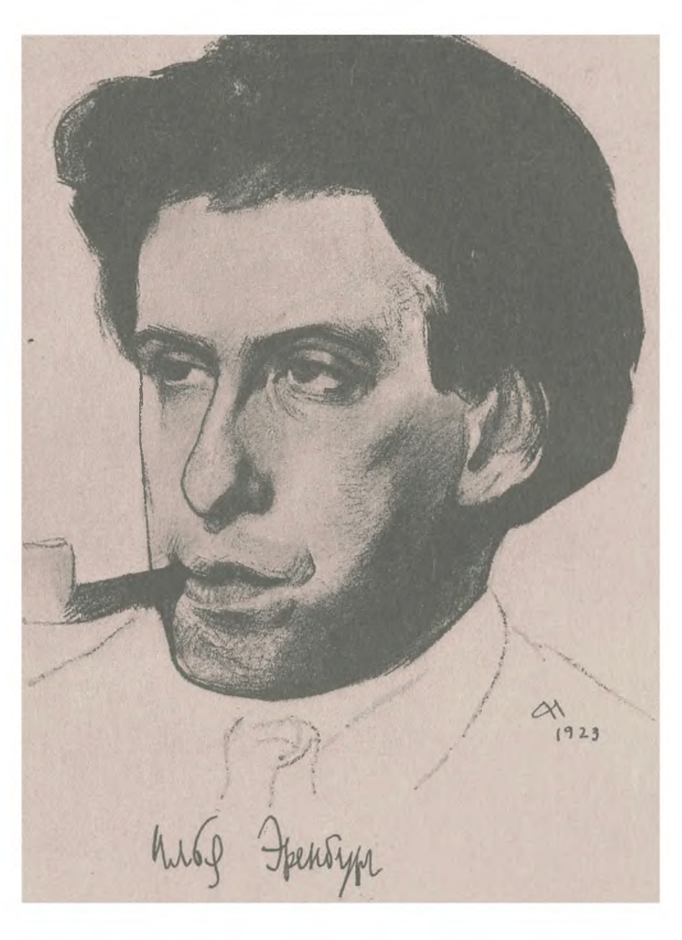


КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „ГРАМАТУ ДРАУГСЪ"
РИГА · ЛАТВІЯ · ПЕТРИЦЕРКОВНАЯ ПЛ · 3
1 9 2 7

Обложка рижского издания книги «В Проточном переулке» (1927 г.).



Обложка книги «В Проточном переулке» работы Н. И. Альтмана (1927 г.).



И. Г. Эренбург. Портрет работы Н. А. Андреева (1923 г.).
Гослитмузей, Москва.

В кафе Печеского, куда вошел Михаил, покорно стыли на столиках стаканы неотпитого чая. Нужно сказать, что спекулянты всегда заказывают чай. Мы не знаем в точности, происходит ли это от безразличия или от профессиональной склонности к указанному напитку, так или иначе именно чай, не кофе и не лимонад, является необходимой частью спекулянтского антуража. Стаканы стыли, ибо за столиками никто не сидел. Все толпились в проходах. Общее оживление усиливалось от пущенного слуха, будто какой-то заезжий москвич скупает доллары. Михаил мог познакомиться со сложным толкованием американских ассигнаций, с целой наукой о долларах, созданной в одесском «Пале-Рояле» и неизвестной в Вашингтоне. Однородность материала не могла удовлетворить талантливых одесситов. Как женщин, они делили доллары на различные категории. Выше всего ценились «зеленые, с бабой» (так неуважительно называли посетители кафе Печеского статую Свободы), чуть отставали те, что «с быками», за ними следовали «портретики», в хвосте же шли «желтенькие». Говоря «в хвосте», мы не берем в расчет доморощенных долларов, одесского происхождения, рассчитанных на человеческую наивность или на подслеповатость. Михаил, впрочем, не проявил никакого интереса к долларам. Спросив себе, официанту на удивление, кофе и выпив поданный стакан, он стал прицениваться к червонцам, обрастая постепенно наиболее солидными представителями «пале-рояльской» расы. Путая все наречия, ссылаясь на Бога и на гражданские добродетели, выдавая себя за агентов Госбанка или за доверенных иностранных фирм, различные усатые мужчины с трудом выдавливали мелкие надбавки, отталкивая друг друга, потея и ругаясь, пока наконец не покрыл всех один, с виду наиболее плюгавый, принявший кипы чемодана и вручивший вместо них триста двадцать шесть червонцев. Вспрыснуть сделку Михаил отказался, сославшись на дела, в душе же гнушаясь компанией. Даже кофе показался ему противным, жирным и прогорклым. Морщась, он вышел из кофейной.

Еще кто-то, догоняя его, шептал о партии румынских лей, а он уже шагал к вокзалу. Встреченному замзаву было сообщено, что работа в центре не ждет и что комитет требует его, Михаила, срочного возвращения.

Так было закончено клеение марок, оставив, кроме трехсот двадцати шести червонцев, гнусный привкус, как будто Михаил непосредственно участвовал в смачивании слюной тысяч и тысяч значков. С этим весьма неприятным ощущением, пренебрегая триумфом, Михаил и вошел в спальный вагон скорого поезда на Москву.

— Вздор! Дрянь! — снова бормотал он. Тщетно было объяснять самому себе все трюки, вплоть до удачного размена в кафе Печеского, интересами Помжерина, то есть государственными, то есть революции. Михаил, однако, и за это ухватился. Он попробовал заявить себе, что семьдесят пять процентов, то есть двести сорок пять червонцев, идут в комитет. Это что-нибудь да значит. Много ли таких полезных сотрудников? Он ведь представит честный отчет. Не надует. Но восемьдесят червонцев комиссионных, как бы пахнувших ночью в ресторане и «Пале-Роялем», даже капотом выпоротой Биче, чересчур отчетливо напоминали о себе. Михаил готов был впасть в угрюмое состояние, столь хорошо памятное теперь киноэтуали из шестнадцатого номера.

Но в дело с успехом вмешалось неодушевленное существо: спальный вагон. Как известно, вагоны эти, так называемые «международные», не ведают государственных границ, поэтому лирические, а подчас и эпические описания их мы находим в литературе всех народов. Боясь столь серьезного соревнования, мы ограничимся здесь указанием, что вагон, в котором ехал Михаил, был самым обыкновенным спальным вагоном, со всеми красотами и чарами, присущими этим волшебным сооружениям, хранящим и в Сибири и в Сахаре как теплоту подушек, так и прохладный блеск медных пепельниц. Выскажем лишь вновь удивление перед живучестью вещей. Михаилу старый проводник, бывший проводником и в довоенное время, с ласковым пришамкиванием подал чай. На стакане стояли инициалы «W. L.», подтверждавшие, что стакан оказался долговечнее Российской империи. Как он уцелел в годы атаманов и бронепоездов? Спросите еще, как уцелела жизнь. Уцелела! Лучше, не спрашивая, пить чай с ванильным сухариком.

Со рвением неофита Михаил предался комфорту, дотоле известному ему лишь по старым романам (с ятями). Он испробовал все приспособления, вымылся,

лег, снова встал, проделал на ремнях несколько гимнастических упражнений, даже плюнул в блестящую плевательницу. За низкими окнами ночь как бы символизировала отсутствие, скуку, смерть. Здесь же белели простыни, издавая приятный аромат свежего белья. Чисто физиологический восторг перед жизнью победил в Михаиле все сложные драматические столкновения. Нэп или не нэп, откуда восемьдесят червонцев, вопросы этики и идейности — все это было выкинуто в сыпучесть и черноту мира, караулившего человека за окном, но не смеющего пробить стенки чудесного вагона. Вися на ремне, Михаил улыбнулся своим набухшим мускулам. Отхлебнул чаю, обрадовался его аромату и теплу. Черт возьми, он жив! Он здоров. Он молод. Этим сказано все.

Достав из шкафчика ночную вазу, Михаил залюбовался. И на ней красовались вездесущие инициалы. Он проделал над ней то, что и требовалось, но не как унылую человеческую обязанность, не формально, а с душой. Прекрасная вещь! Прекрасная жизнь!

После чего он уснул.

ГРАЖДАНИН ИЛИ МУРАВЕЙ

Две ночи и день длилось это восторженное забытье в крохотной коробке, с легкостью меняющей губернии, среди кожи, меди и укачивающей дрожи. Еще поезд не замедлял своего хода, еще сон мог бы длиться, но уже сознание близости Москвы начало напоминать Михаилу то о Помжерине, то о партийной чистке, то о тоске. Как всякое обольщение, спальный вагон начал терять магичность, отдавать дымом и скупыми аршинами вязать затекающие ноги.

Тупо вышел он на платформу столь памятного ему Брянского вокзала, купил газету «Вечерняя Москва», тотчас же отбросил ее, зевая и морщась, втесался в трамвай «Б» и начал московскую жизнь, двигая конечностями, произнося слова, но ничем, по существу, в этой жизни не участвуя. Ни партия, ни революция не занимали его. Восемьдесят червонцев оказались невыразительными, как малоинтересное письмо. Они лежали непересчитанные в боковом кармане. Михаил не вздумал пойти хотя бы в тот же «Лиссабон», где мог теперь легко взять реванш за недавнее принижение. Он

не останавливался перед витринами. Он даже перестал бриться, что быстро сделало его лицо смахивающим на площадь умирающего города. Сдав отчет и деньги в Помжерин, он этим ограничил свои обязанности. В нем даже отсутствовал страх, и на конфиденциальный шепоток заведующего издательской частью о том, что все предприятие с клеением может вскоре раскрыться, он никак не реагировал. Он возмутил собеседника невыразительностью своего ответного «да?». Он ел картофельное суфле в вегетарианской столовой и ни о чем не думал.

Впрочем, может быть, и не стоит столь настаивать на этом. Еще один припадок отчаяния современного романтика, жаждущего на черной бирже сорвать небесные звезды и умирающего от скуки при виде вполне доброкачественных ассигнаций. Притом припадок не длительный: в Москве Михаил пробыл дней десять. Как-то очутился он на Курском вокзале. Кто же не знает, что вокзалы, эти малоуютные сооружения, являются в нашей жизни дверьми? Удрать! Куда и зачем — не важно, восемьдесят столь презираемых червонцев превращали любой бред в достоверность. Следовало готовиться к переселению нашего героя на Южный берег Крыма или в один из кавказских курортов. Мы убеждены, что врачи, освидетельствовав его, нашли бы какую-нибудь презанятную болезнь, воды же в источниках никогда не иссякают. Но дальних поездов в этот день не оказалось. Михаил попробовал просидеть в буфете час, другой, лениво роняя на колени капусту щей. Потом он решительно встал.

Подольск? Что же, и Подольск место. Проезд туда длился немногим больше часа. Перед вокзалом свинья сосредоточенно чесала об изгородь свой неподтертый зад. Не хватало только почесывающих уши провинциалов. Они, вероятно, делали это за тусклыми стеклами своих домишек.

Михаил начинал понимать, что он приехал зачем-то в Подольск. Одесская путаница не улеглась. Он явственно увидел печатные буквы: «Переезд членов партии должен сопровождаться...» Он погибал. Конечно, можно бы оформить все. Но зачем? Подольск — что это? Город? Свинья у изгороди? Выдумка? Нечто вроде фиолетового капота киноэтуали? Тьфу! И Михаил сплюнул. Подольск. Ну, конечно же, город. Местная парторганизация. Два завода. Откровенно говоря,

вздор! Зачем он сюда залез? Чесать зад? Даже «Лиссабона» здесь нет. Можно с ума сойти. Если бы взять спальный вагон на год и кататься. Но ведь это же галиматья. Кончится тем, что его вычистят, обязательно вычистят. Еще, чего доброго, посадят. Что же теперь делать? В Москву? Трудиться? Да, кажется, нужно трудиться...

Но, вспомнив о Москве, Михаил никак не мог представить себе никакой работы. Москва вспоминалась только как головная боль, трамвай «Б», полный до отказа, и картофельное суфле. Он то отходил на сто шагов от вокзала, то возвращался назад, переживая скучнейший разлад, среди безлюдья, под крохотным и безучастным оком свиньи, настойчиво продолжавшей свое традиционное занятие. Он не мог раздумывать. Оформившись, колебание стало мелкими практическими вопросиками: ехать с поездом два сорок в Москву или снять здесь комнату?

Отработав тучное облако, солнце с ошарашивающей резвостью дворового пса выскочило на волю и начало метаться по Подольску. Мысли Михаила были прерваны теплыми лапами, ласково упавшими на малокровные городские щеки. Михаил улыбнулся. Он стал изворачиваться, на манер свиньи, подставляя то лицо, то плечи, то спину лучам. Это и решило его дальнейшую судьбу. Он никуда не поедет. Подольск так Подольск. Главное, жить. Дышать, жевать, ходить. Скорей всего, он болен. Тогда нужно выздороветь. Тогда Подольск должен стать «домом отдыха». Его работа, восемьдесят червонцев, идеи, амбиция — что это по сравнению с теплом на плече, с теплотой самого плеча, еще живого и крепкого? И когда второе облако снова загнало солнце в закуток, когда внезапный холодок и серость стираемых тенью теней обдали уличку, Михаил испытал физический ужас, как от смерти. Нервничая, он зашел в лавочку и, купив неизвестно зачем банку засахарившегося варенья, спросил, не сдают ли они комнату. Ему нужна комната, маленькая, плохонькая, какая ни на есть комната. Скажем, на месяц.

Комнату сдавала некая Лышкова, вдова почтового служащего, и комната была даже не плохонькая: рукомойник, комод, на комоде вазочки. Сама Лышкова весьма любопытствовала, кто ее новый квартирант. Из Москвы. Коммунист, что ли? (Подумав последнее, она с опаской поглядела на Троеручицу, красовавшуюся

в углу.) Но Михаила не занимали ни вазочки, ни икона. Наспех договорившись о цене, он вручил умиленной хозяйке четыре червонца и собрался было уже выходить, когда вспомнил о весьма существенном:

— Да, а комната у вас солнечная?

Лышкова просияла. Вопрос квартиранта внес спокойствие в ее несколько встревоженную душу, он как бы определял и породу и занятие неизвестного приезжего. С предельной ласковостью она заворковала:

— Утречком. Утречком всегда солнце. Как проснетесь, так солнышко. Так что, значит, вы дачник будете? А я уже не знала, за кого вас почитать. У нас прежде всегда дачники жили.

Ее радости не мог омрачить даже хохот, громовые спазмы хохота, вылетевшие неожиданно из широкой груди Михаила и заставившие вазочки кокетливо взвизгнуть.

Ах, как смеялся Михаил! Дачник! Оказывается, он дачник. Это так. Ничего не ответишь. Совсем неожиданно. Катастрофически неожиданно. Дышать воздухом и лечиться молочными продуктами. Дачник, не что иное. Ярлык его положительно веселил. Он превращал молокососа в некий исторический тип. Конечно, эффект мог быть обратным. Кто поручится, как бы воспринял Михаил наивные пришамкивания вдовы Лышковой час тому назад, шмыгая у вокзала? Мирному исходу, то есть хохоту, немало способствовало солнце, теперь шалившее на крашеных половицах коридора. Удивительная вещь это солнце! О нем приходится поговорить особо.

Известны ли читателям открытия, совершаемые неожиданно, открытия благоуханности обыкновеннейшей летней ночи, увлекательности давно валявшейся на полке книги, трагичности, да, первичной мифической трагичности, какого-нибудь слова, обычно всучаемого и ненужного, вроде трамвайного билета, какого-нибудь слова, хотя бы слова «прощай»? Конечно, известны. Ведь читают нас такие же люди, как мы. Они знают, что эти открытия, не попадая на столбцы газет, являются более патетическими, чем открытие Америки неким генуэзцем. Так и с Михаилом. Он прожил на земле, то есть на планете, живущей за счет тепловой энергии солнца, почти четверть века исторического и полвека человеческого, не замечая солнца. Солнце было для него радиатором или электрической лампоч-

кой. Стоило ли его замечать? И вот в один, весьма притом будничный день — открытие: Михаил открывает солнце. Открывает его бешенство и доброту, его сексуальные ласки и жестокость полководца, касания, отталкивания, мудрость, именно мудрость, сочетаемую с проказами твеновского школьника. Он переживает восторги предков, атавистические неистовства солнцепоклонников, слушатель вуза, в толстовке, он склонен к приседаниям, к кувырканию, к языку бессмысленных жестов и звериных прыжков. Если он не кувыркается и не кричит, то все его существо безумствует, загорается, подожженное лучами, так что по пыльной улице уездного городишка, взятого напрокат из посредственной повести беллетриста 80-х годов, среди палисадников с желтым цветом огурцов, среди пыли, мелочных лавок, танцулек, партчитален, где мухи и слюнявый малец, швейных машин и домовитых кур, несется менада, и рыжий чуб уже не обидная прихоть природы, не особая примета паспортиста, а торжественный факел.

Открыв солнце, Михаил открыл и многое иное. Обладая ключом шифра, он смог читать в этой огромной книге, знакомой многим из его современников лишь по затасканному переплету. Он вернулся к вокзалу на свидание с оставленной свиньей. Он нашел ее, разумеется, у той же изгороди и мог теперь душевно насладиться свиной мудростью. Лучи солнца, наравне с кольями изгороди, чесали ее спину, грязную жирную спину, родственную в черноте, хлюпкости и жадности земле. Он открыл и землю, миновав улицы города, блуждая вокруг огородов, землю чувственную и завлекательную в ее теплоте, в тысяче различных крепких и нежных запахов, от живительного, подобного голосу трубы или бокалу шампанского, настоя навоза, который щекочет нос и кружит голову, до тончайшего аромата простой травинки, растертой меж пальцами, неистребимого в его слабости и беспомощности, как дыхание брошенных перчаток. Дойдя до леса, он открыл новый континент: архитектуру стволов, сырость мха, листья, иглы, птиц и совершенно непонятные синие куски, безразлично называемые людьми «небом», как будто над Страстной площадью и над лесной поляной один и тот же свод. Удерживая собственные лирические восторги, передаваемые нам впечатлительным героем, мы скажем как можно суше: Михаил открыл природу.

Иные ошибочно думают, что горожане, для которых сочетание ревerберов давно заменило звездное небо, а запах варящегося в котлах асфальта благовоние соснового леса, что эти люди, покрывающие волосатость тела сложными наслоениями рубашек, манишек, жилетов, пиджаков, пальто, не способны разделить восторги примитивного человека перед природой. Напротив, именно горожане подготовлены для таких восторгов. Природа для них не обычная обстановка, но ошарашивающая загадка. Лес или море они воспринимают не как средство пропитания, но как театр. Кроме того, они не требовательны, эти строители или обитатели грандиознейших небоскребов. Любая пригородная чащица с ее банками от консервов, клочками газет и яичной скорлупой мнится им загадочными джунглями. Не умея отличить липу от клена, они обобщают и торжественно говорят: «Мы сидели под деревом»,— и право же, это синтетическое безымянное дерево грандиозней всех легендарных дубов, пальм, баобабов, хотя и является оно обшмыганной березкой в летнем увеселительном саду, где выступают куплетисты, и где дамы, потея, пьют ситро.

Лес под Подольском был вполне корректным лесом с папоротником, с ягодами, с различными ариями зябликов, иволг и синиц. В нем можно было аукать, пытать по кукушке судьбу, подносить возлюбленной ромашки или колокольчики, искать, смотря по сезону, ягоды или сыроежки,— словом, пользоваться всеми традиционными атрибутами любого порядочного леса. Но это следовало бы заключить в скобки, ибо не в достоинствах окрестностей Подольска дело, а в экзальтации нашего героя, как известно, и свинью превратившего в персонаж лирической поэмы.

Михаил бежал по лесу, от ствола к стволу, вырывался на неожиданность полян, терялся в темнотах кустов, падал на кочки, облипая сухими листьями и муравьями, кричал, смеялся и, лежа на спине, огромными неморгающими глазами нырял в щедрую синь. Это был Михаил, все тот же Михаил, который в Октябре бежал по Никитскому бульвару. Какой непонятной нагрузкой корыстных чувств и измельченных мыслей наградила его судьба? Читатели ведь не забыли предшествующих глав. Они помнят противный клей марок. Пожалуй, они помнят и об обиженной Ольге и о многом другом. Но Михаил ни о чем не помнил.

Факты своей биографии, как и прочее, он выбросил где-то по дороге, возможно, что они остались у подольского вокзала, вспугнутые солнцем. Так или иначе, Михаил в лес пришел голым, вернее, в лесу не было Михаила Лыкова, а было существо, связанное с дятлами, с гниющей корой и с шорохом ветвей, безличное нарицательное существо, тот же дятел или муравей, только более крупной породы. Великая способность терять себя! Прекрасная рассеянность! Скажем, глядя на того же Михаила, окунувшего лицо в свежесть мха: вот она, грубая и темная свобода, верная порука неиссякающей жизни!

Бездумная нега Михаила была нарушена чуждым шорохом, посторонним лесу и даже звучавшим диссонансом в стройной спевке его различных шумов. Это был человек, и, нехотя, недоуменно поглядев на него, Михаил мог убедиться: человек почтенного возраста, который, несмотря на лета и, следовательно, на трудно сгибающуюся поясницу, был поглощен сбором земляники. Разговор стал неизбежен, и вслед за возрастом Михаилу открылись как фамилия человека (Круглов), так и его социальное происхождение: бывший генерал. Удивляясь ходам муравьев, Михаил не мог удивляться хитрейшим извивам человеческих судеб: ведь он жил в наши годы. Генерал, собирающий ягоды для продажи на базаре, показался ему естественной и достаточно скучной деталью жизни. Что ж ему еще делать? Конечно, Михаил был прав: Круглов и до революции годился лишь на украшение мещанских свадеб, чтобы невпопад бормотать о какой-то доисторической Хиве. Ну, а теперь свадьбы украшались уж иными фигурами: предисполкома или, на худой конец — начальником милиции. Ягоды же всегда остаются ягодами. Круглов жаловался:

— Глаза ослабли. Проглядываю. Да и мало земляники в этом году. Пройдут дети — и чисто. Притом культурности в них никакой: зеленые обрывают. Чернику, конечно, легче, но черника не в цене...

Эти жалобы, как и вопрос о глазах или о болях в пояснице, также не могли подействовать на Михаила. Нет, не жалость, совершенно иные побуждения вызвали его весьма внезапный и с виду эффектнейший поступок. Слушая старческие сетования, эти человеческие, обыденные, связанные с фунтом хлеба или с трамваем «Б» слова, столь чуждые лесному говору, он

поневоле вспомнил о себе. Ему подкидывали удостоверение личности. Ему напоминали, что он не муравей, а Михаил Лыков, гражданин, член компартии, ездивший недавно в Одессу с весьма подозрительными марками. Рядом с партбилетом топорщились потрепанные червонцы. Он не хотел знать о них. Он хотел лежать в лесу. Только. Просто. Без всяких дальнейших планов и выводов. Он не удовольствовался бы теперь и рассмешившим его званием «дачника». Он предпочел бы вправду быть муравьем. И вдруг червонцы...

Последнее, то есть червонцы, выступило особенно отчетливо после застенчивой, в сторону куда-то к безучастному глянцу листвы обращенной, просьбы: не может ли Михаил ссудить Круглова небольшой суммой? То есть, попросту, Круглову хочется есть, а корзинка пустая. Еще раз: дети обирают ягоды. Во всем виноваты эти чересчур резвые дети. Здесь-то в голове Михаила со всей резкостью встал вопрос: что же дальше?..

«Лиссабон»? Девочки? Ульстер? Да́ нет же! Был слишком свеж и чуден этот лес. Ставшему немым, недвижным, бесчувственным, рот разинувшему от удивления Круглову Михаил всучил всю пачку, отягощающую и правый карман и душу. После чего он быстро нырнул в заросль орешника. Он слышал издали отчаянный крик несчастного генерала:

— Краденые? Я краденых не возьму. Я честный человек!

Крик сопровождался хрустом веток: Круглов пытался догнать Михаила. Но куда ему было с его генеральским прошлым, с Хивой и отслужившими ногами! Михаил весело шел вперед. Он улыбался, может быть, солнцу, а может быть, улитке, кокетливо виляющей рожками на изощренном ковре кленового листа.

ОВЧИНЫ. ЕЩЕ ОДНА СТРАСТЬ

Конечно же, он не стал муравьем, не стал и дачником. Приподнятости хватило ровно на три дня, и когда прошли эти блаженные дни, Михаил заставил почтенную вдову Лышкову вторично пережить отмирание ног от исключительного изумления. Хотя Лыш-

кова и была современницей введения нового «безбожного» календаря, изъятия церковных ценностей и многого иного, воистину изумительного, поведение ее нового квартиранта явилось для нее столь непонятным, что реагировать на него иначе, то есть не всплеснуть руками, не взглянуть умоляюще на Троеручицу, она не смогла. Пусть люди со стороны, незаинтересованные, сами рассудят. Прожив кое-как три дня (мы говорим «кое-как», потому что Лышкову немало смущал образ жизни Михаила, неизвестно где слонявшегося и приносившего среди ночи в пристойную вдовью квартиру сосновые иглы, крохи сухого хлеба и жеребячий топот), он на четвертый явился к хозяйке и, развязно зевая, потребовал денег, чтобы доехать до Москвы. Не в деньгах дело: ведь Михаил заплатил Лышковой за два месяца вперед, в приличии. Можно ли снимать комнату на лето и через три дня бросать ее? Хорош дачник! Это мазурик! Удивительно, как он ночью не прирезал беззащитную вдову. Второпях Лышкова убежала подымать в кухоньке половицу, под которой хранились ее·сбережения: все бы, кажется, отдала, лишь бы поскорее выпроводить из дому подобного злодея.

Итак, Михаил оказался вновь в Москве, правда, немного загоревший, но зато с душой, вконец промотанной среди первобытных безумств, и без червонцев, которые, отсутствуя, теряли все свои неприятные психологические свойства и делались вновь заманчивыми, особенно натощак. А дни Михаила проходили почти регулярно натощак. Помог бы Артем, но брату Михаил говорил то о важном назначении с высоким окладом, то, уж вовсе нескладно, о лотерейном выигрыше,—словом, держал перед ним фасон.

Это давало нашему герою некоторое духовное удовлетворение, но это, конечно, не насыщало его. А он мало-помалу излечивался и от меланхолии, и от беспричинных восторгов своей одесской экскурсии. Проходя как-то мимо «Лиссабона», он даже вполне определенно вздохнул. Если бы сожаления производили червонцы, он, вероятно, пожалел бы о бумажках, сдуру подкинутых экс-генералу. Жалеть же зря не стоило. Картофельное суфле и то перешло в разряд мечтаний. Следовало серьезно подумать о каком-нибудь новом предприятии.

Ему повезло. В очень голодный, до сухости во рту, до ломоты в спине, вечер, проходя по обжорному

Арбату, с его засадами колбасных, гастрономических и кондитерских, Михаил напал на знакомую физиономию. Она, право же, стоила всех яств витрин. Одно на мгновение удержало скачок рук Михаила, не выпустило радостного возгласа из горла: как-никак он его изрядно обидел... А впрочем... Какой деловой человек станет обращать внимание на едкость эпитетов? Ведь жизнь не литература.

Расчет Михаила оказался правильным. Арсений Вогау дружески потряс руку Михаила, хоть и был ему обязан бегством через проходной двор, одышкой, даже бессонной ночью. Он сразу понял и оценил многообещающий язык этого рукопожатия: дело могло касаться только овчин.

Вогау, конечно, не ошибался. В сознании Михаила он был тесно связан именно с овчиной, с тепловатостью и уютом желтоватого меха, с легким трюком и с аккуратно отсчитываемыми червонцами. Увидев в зеленоватом отсвете аптечного окна физиономию приятеля, Михаил прежде всего произнес не «здорово!» и не «как живешь?», но «овчины».

— Что же, овчинка выделки стоит,— улыбаясь, ответил Вогау.— Вот зайдем в Мосгико, потолкуем.

Ясно, что беседа была не абстрактным спором о порочности нэпа, омрачившим памятный вечер в «Лиссабоне», но деловым, дружественным сговором.

Если Вогау был все тем же, что в «Лиссабоне», успев за это время лишь приобрести рыжие модные полуботинки с носками вверх и триппер, то Михаил проделал сложнейший путь. Потребовались месяцы искуса, метания и перебоев, чтобы, начав с негодующих слез, закончить подготовительную школу простым рукопожатием. После Одессы ему нечего было бояться. Для Вогау нашлись и внятные тому интонации, и соответствующий бодрый подсчет предстоящих прибылей, и деловитое хамство в разговорах с официантом.

Пили они пиво и портвейн. Это сочетание, на вид эксцентричное, было для обоих простейшим: водки здесь не промыслить, а за свои деньги нужно получить максимум эффекта. Портвейн пили, как водку, закусывая селедочкой, пиво же утоляло жажду. В манере пить они не были одинокими, и как лоск щек, так и забубенность дискантных разговоров, методически дополняемых органными басами отрыжки, подтверждали действенность подобного союза напитков.

Туберкулезный скрипач, года два тому назад, наверное, занимавшийся музыкальным образованием масс в каком-нибудь губнаробразе, теперь злобно резал скрипку смычком, а скрипка, живучая скрипка, отвечала мотивом лондонского фокстрота, который, однако, звучал как визг избиваемой хитровской девки. Ассимиляция — хитрая штука. Тот же фокстрот где-нибудь на Пикадилли, в «Савое» отдает экзотикой колоний, ходит в смокинге и дышит сложными ароматами коктейлей, духов Аткинсона, плотных исторических туманов. Здесь же его напоили черносливным портвейном, смешанным с пивом, дали заесть мелкими кусочками воблы или моченым горохом, и ничего, фокстрот не умер, он только стал зудящей бранью, истерическими воплями героинь Достоевского, напоминая о предсмертной пене повесившихся квартирантов или о сапожном запахе милицейских протоколов. И, слушая надрывы скрипки, какая-то девка из ресторанных, из тех, что даже почитывают переводные романы модных авторов, выпускаемые Госиздатом (с целью найти в них новинки для разборчивых клиентов), бойко крикнула:

— Да что ты ко мне с заграницей своей лезешь! Будто я сама не могу фокстротой пройтись!..

Могла бы, прошлась бы, ей-ей, сочетая наивные ужимки холмогорских дойных хороводов с тряской американской заводной игрушки, портвейн с пивом, навалившись мясом и молоком на партнера, требуя душевного участия и червонцев, плача от тоски и матерщину прерывая иностранными словечками. Впрочем, танцевать в Мосгико не танцевали — места не было. Если подымались, то либо по домам, либо бить друг друга. В углах духовные соратники Вогау шептались о пеньке, о скобяном товаре, о червонцах, о чулках. Один из наших духовных соратников, так называемый «брат писатель», щипал под столом колено немолодой, но экспансивной особы, преданной до самоотверженности отечественной литературе и автографам, а щипая, задумчиво приговаривал:

— Прежде всего, формальный метод...

Таким образом, в Мосгико все были заняты делом, обновлялись бутылки, марались скатерти. Воздух все сильнее насыщался дымом популярных папирос «Червонец» и кислотами газов. Заключались сделки, кровоточил подбитый нос, и скрипка, паскудная скрипка, не

погибала: у нее были действительно воловьи нервы. А очкастый гражданин, представляющий здесь иной мир, с талончиками обходил лоснящиеся пары и взывал:

— Граждане, после двенадцати: пятьдесят золотом на беспризорных детей.

— Да что ты с заграницей своей!..

— Ленька, ты ее штопором!..

— Нам малаги три бутылки и огурчиков.

— Я уже с Мосхозторгом наладил. Проволока по шестнадцать триста...

— Ах ты хам собачий, да я тебя!..

— Пососи!.. Пососи!..

Среди этого своеобразного уютца, попутных возгласов и летающих бутылок приятели могли свободно обмозговать овчинное дело. С виду оно казалось несложным. «Сельсбыт» предлагал четыре тысячи двести овчин по пятьдесят за штуку. «Вохз» давал сто десять. По пятьдесят это уже составляло ровным счетом двадцать одну тысячу — стоило потрудиться: сто семьдесят червонцев. Затруднение для Вогау было в том, что и «Сельсбыт» и «Вохз» не желали иметь дела с посредниками. На счастье, они друг друга не знали, то есть различные исходящие о спросе и о предложении, носясь по бесчисленным канцеляриям, как идеальные прямые нигде не скрещивались. Нужно было купить овчины у «Сельсбыта» по пятьдесят, купить от имени какого-нибудь госучреждения и тотчас перепродать их «Вохзу». Даже денег не приходится выкладывать. Две бумажки с подписями завов. Последних либо уговорить в бескорыстности предприятия, либо сделать соучастниками. Вогау это не по силам, а Михаил — коммунист, притом с девственной репутацией. Где бы он ни служил, ему ничего не стоит это склеить. Дело почти что для питомцев яслей. С последним Михаилу трудно было согласиться: предприятие представлялось сложным и опасным. Но пустые бутылки, пары пивной, наконец, азартность собственной натуры требовали согласия, и, для бодрости взвизгнув в такт скрипке, Михаил согласился.

Началась новая лихорадочная жизнь: розыски, шмыготня по коридорам учреждений, шепоты, надежды и разочарования, уголовщина защитного цвета, ежедневная погоня не на автомобилях, не на благородных конях, как в американских фильмах, а бумажная

погоня в огромном канцелярском лабиринте, где Рабкрин, Гепеу, угрозыск охотились за тысячами Вогау и Лыковых. Несмотря на внешнюю беззвучность, бескрасочность, графичность этой борьбы, на изобилие цифр и специальных терминов, она, право же, полна драматизма, театральных эмоций и завлекательности. Пусть недоверчивые читатели прослушают судебное разбирательство по обвинению каких-ибудь третьесортных «хозяйственников», они убедятся, что пыльные залы губсуда вполне заменяют (будучи к тому же бесплатными) кинотеатр.

Дебют Михаила был не из легких. Приходилось торопиться: ведь «Сельсбыт» мог ежедневно продать овчины если и не «Вохзу», то другому учреждению. Втереться в «Сельсбыт» оказалось делом трудным, для этого прежде всего требовалось время. К тому же, не освоившись с нравами места, с порядком местного бумагообращения, со слабостями зава, со страстишками замзава, со степенью зоркости местного Рабкрина — словом, с климатом и этнографией,— трудно было подстроить фиктивную продажу. Оставалось найти третье место, которое согласилось бы выполнить роль посредника. Зря потолкавшись среди товарищей Артема, Михаил вспомнил о Дышкине из «Северопеньки», как-то взволновавшем нашего героя и запахом бензина, и чудесами гурзуфских пикников. Он согласен был предоставить Дышкину две трети заработка: сто десять червонцев. А ведь это деньги, способные соблазнить даже обладателя автомобиля, тем паче что дело для человека оседлого, то есть чувствующего себя в тресте, как дома, пустячное. Купил. Продал. Как провести в отчетах? Ну, на это у Дышкина хватит ума: ведь тот же автомобиль — аттестация некоторых, чисто духовных способностей.

Дышкин принял Михаила в столовой, в умилительной столовой, сохранившей все очарование доисторических лет, от фикусов в зеленых кадках и картин с большущими рыбинами до хрустальных подставочек для вилок и ножей. Нет, Дышкин не был заурядным гражданином! Помилуйте, московские газеты только и говорили что о квартирном кризисе, а у Дышкина были и столовая, и кабинетец с английскими клубными креслами. Дав маху в начале революции, сбежав в Киев и дойдя там до драматических низин, то есть до регистрации фребелических

проектов в собесе, Дышкин быстро наверстал потерянное. Он вскоре оказался и в «Главльне» и в «Северопеньке», попутно перепродавая вагоны мыла и партии крон, спекулируя на лодзинском сукне и на посылках «Ары», участвуя в изготовлении пива и в ремонте шести домов на улице Кропоткина, задуманном простодушными жилтовариществами, подрабатывая то на конских состязаниях, то в казино,— словом, как человек современный, универсальный, внося во все области человеческой жизни свой обслюнявленный карандашик, жирные студенистые пальцы и свободный от предрассудков интеллект. Начал он карьеру до революции, но тогда его тормозили и общая вялость, и различные страхи, и даже этика. За годы террора он разучился бояться, он свыкся с близостью смерти, и это придало ему, как горькие капли, необыкновенный аппетит к жизни. А вскрытие сейфов вконец разрушило его моральные устои. Он больше ни во что не верил и ничего не боялся. Он любил хорошо поесть и поспать с дорогими дамами (причем в последних ценил гораздо больше рыночную стоимость белья, нежели их прелести). Говоря с коммунистами, он искренне радовался: «Аппарат налаживается». Когда же те вдохновлялись: «Вот, в Саксонии начинается, скоро мы им покажем»,— он сиял без лицемерия, он ничего не имел против вскрытия сейфов дрезденских дураков. Ведь он был застрахован от этого и не малонадежной полицией, нет, Красной Армией, историей, Октябрем, ставшим для него уже воспоминанием. Он был убежден, что два раза такие вещи не случаются. Он переболел корью, и слава богу. Богатство дореволюционное ему казалось мифом, детской глупостью. А час спустя, беседуя уже в своем кругу без «посторонних» (то есть коммунистов), он столь же естественно восторгался: «Разве они без нас могут существовать? «Американку» разрешили. Все разрешат. Мы их пересидим, ей-богу, пересидим!..» Автомобиль сопел, как преданный пес. Борзая на козлах превращала Тверскую в парижские бульвары. Дамочки угодливо щеголяли настоящими алансонскими кружевами, а на обеденном столе блистали не одни только подставки, но и индюшка с каштанами, икорка, волованы.

Ясно, что Михаил, войдя в эту столовую, почувствовал трепет, благоговение, робость ученика. Не бо-

гатство импонировало ему, но та воистину гениальная легкость, с которой Дышкин вытаскивал из касс учреждений, из карманов простоватых жуликов, отовсюду, происхождением не интересуясь, равно приятные червонцы. Михаил уважал только свежее, недавнее, чуть ли не в один день созданное, богатство. Он мог смеяться над прихотью какого-нибудь старорежимного купца, издававшего «Золотое руно» с импортированными французами и построившего в Петровском парке виллу «Черный лебедь», но он богомольно поглядывал на обстановку гражданина Дышкина. Слушая его полные подлинной фантастики рассказы о скупке еще в паечные времена карточек мертвых граждан, о переправе коньяка в полом животе статуи Августа Бебеля, о председателе жилтоварищества, который приобрел у Дышкина трубы, находившиеся в его же собственном доме, он готов был воскликнуть: «Учитель, я буду твоим смиренным и понятливым учеником!» Он, конечно, не сделал этого, ибо деловитость беседы и трезвость Дышкина менее всего располагали к подобным стилистическим анахронизмам. Он только коротко и разумно изложил Дышкину все возможности, рождаемые овчинами. Две бумажки «Северопеньки» устроят дело в двадцать четыре часа. Из ста семидесяти червонцев сто десять — Дышкину. Вот только как оформить закупку, то есть как, в случае недоразумения, объяснить, зачем «Северопеньке» понадобились овчины?

Дышкин не брезгал ничем, он хорошо знал, что десятки создаются из единиц. Кроме того, он испытывал как раз в то время (проворонив торги в таможне) некоторые данежные затруднения. Поэтому он сразу согласился. Озабоченность Михаила, недоумевающего, как оформить дело, вызвала в нем взрыв хохота, загадочного для собеседника. (Дышкин смеялся, сохраняя полную серьезность физиономии, как будто полоскал горло.) Да это же щенячья проблема! Как будто «Северопеньке» не могут понадобиться овчины для рабочих? Словом, Михаила это не касается. Но так как вся работа падает на трест, то и распределение выигрыша (Дышкин выражался спортивно, не «прибыли», не «барыши», а «выигрыши») должно быть изменено. С Михаила, так сказать, за идею, хватит и двадцати пяти червонцев.

Почтение перед Дышкиным никак не могло уничтожить в Михаиле других чувств, прежде всего

самолюбия. Отнюдь не жадность, но обида заставила его при попытке снижения суммы болезненно вздрогнуть. Он не мог допустить, чтобы с ним обращались, как с мальчишкой на побегушках, как с жалким уличным маклером. Он понимал, что начать торговаться — это значит получить с надбавкой в пять червонцев ассортимент оскорблений. Он уже готов был, изобразив негодование по поводу внезапно открывшегося для него противозаконного и гнусного характера сделки, уйти, отравив на миг благодушие столовой, с остатками недоеденного сливочного крема, упоминанием о Рабкрине. Но тогда-то он вспомнил о своем козыре. Это было скорее интуитивной находкой, нежели логическим выводом. Не вступая в пререкания с Дышкиным, он, как бы вскользь, невзначай, напомнил о своей партийности. Действие оказалось радикальным. Не сразу, прослоив разговор двумя-тремя ничего не значащими фразами, Дышкин дружески заявил, что все же, помня приятельские еще по Киеву отношения, он набавит Михаилу даже не шестьдесят, как он хотел, а семьдесят, а себе за всю работу оставит только сотню.

Дней десять спустя (задержка вышла из-за отсутствия свободных денег в «Вохзе») Михаил вынес из кабинета Дышкина семьдесят червонцев. В наивности он подумал, что проживет на них спокойно месяца три-четыре, предаваясь чтению и работе. Представить себе жизнь вне партийных нагрузок он еще не умел. Все это было, однако, лишь рассуждениями, одно начисто исключало другое. Он не раскрывал книг и не ходил на собрания. Зато были осчастливлены его посещением и «Лиссабон», и «Ливорно», и десятки разнокалиберных пивных, с цыганами, с великорусским хором, с фокстротами, с балалайками и просто с мордобоем. Деньги, пройдя через пухленькие ручки Дышкина, многому научились — у них были свои вкусы и склонности. Они вели Михаила к ресторанам, обходя библиотеку или партклуб, заставляли губы присасываться к вину, а руки к выпуклостям случайных собутыльниц. Это они (видно, Михаил порядком успел надоесть им), в жажде новых впечатлений и кочевой жизни, привели его как-то к залитому газовым, театральным светом подъезду казино.

По длинному столу ерзали различные червонцы (то есть червонцы были все добротные, если не считать презрительно встречаемых «пятачков» или «сертификатов», различались же они лишь по месту своего

последнего жительства). Предприятия с пенькой, овчинами, домами, трубами, подшипниками, мазутом, горючим получали здесь последнее, по большей части весьма неожиданное, завершение. Здесь проматывались зарегистрированные в загсе жены, приобретались артистки передвижных трупп, рушились дачи в Быкове или в Малаховке, менялось решительно все. Жизнь, то становясь компактной пачкой, умещалась в кармане счастливчика, то вылетала, как пар, смешивалась с дымом и испарениями толпы, оставляла неудачливому нэпману или подотчетному сотруднику трестика мелочь на чаевые швейцару и короткую ночь для какого-нибудь из тривиальнейших способов самоубийства. Все это происходило отнюдь не безмолвно, но с той яростной, хоть и абстрагированной, руганью, которая появляется, как пена на губах, когда душа кипит и выкипает, с угрозами и слезами, с античными молитвами и со злобными ссылками на разоблачения, на газеты, даже на Гепеу.

Михаил познал все это. Он познал одушевленность и в то же время бесчувственность крохотного шарика, способного противопоставить трепету человеческого сердца свои злостные каверзы. Он боролся с судьбой и ненавидел крупье. Не раз он переходил от блаженства, столь сильного и чистого, что, радуясь выигрышу, как школьник неожиданному празднику, забывал о деньгах, до еле удерживаемого желания придушить нахального крупье, чья сущность, чей прыщик на носу, чья безразличная хрипота казались ему вызывающими, требующими немедленного возмездия.

Это длилось не один вечер. Все остальное было забыто. Он не встречался с Артемом, не разворачивал газет, не заходил к себе. Он только играл. Выиграв, он поил в шашлычной каких-то случайных людей, актеров, сокращенных служащих, карточных шулеров, проституток, заставляя их допиваться до тошноты и скандалов, а проигрывая, одиноко бродил по переулкам Хамовников или по пустым набережным Москвы-реки, бессмысленно шевеля губами, складывая навязчивые цифры и злобно выплевывая, как ему казалось, особенно горькую, едкую слюну. Это кончилось лишь тогда, когда последний червонец, слабо пометавшись, как осенний лист, перейдя несколько раз от крупье к Михаилу и обратно, наконец решительно залег в чужой стопке. Опомнившись, Михаил вышел на улицу.

Он заметил, что уже подошла осень: в листьях вязли ноги и за ворот залезал холодный ветерок.

Он не засовывал дула в рот и не выискивал крючка покрепче. Он спокойно шагал к себе, освобожденный от какой-то трудовой обязанности. Он знал, что теперь засядет за книги, пожалуй, даже исправится, станет хорошим, честным партийцем. Может быть, и в Индию попадет. Он заканчивал одну из своих многообразных страстей сухо и деловито, без угрызений, но и без радости, как мы заканчиваем эту главу.

ОБ ОДНОМ ОТЛУЧЕНИИ

Ведя жизнь несчастного самодура, примеряя то примятую шляпу дельца, то парусиновый пиджак дачника, то пестрый галстук вкушающего плоды своей деятельности маклера, жуира, игрока, Михаил забывал об одном: как-никак он еще числится членом партии, потеряв былой порыв, он не потерял партбилета (да он и берег его много ревнивей, нежели червонцы).

Вспоминая изредка, в пробелах сумасбродства, что есть партия, он то радовался, как бы обретая уютный дом, где можно отдохнуть от безумств, то начинал пугливо вздрагивать, проявлять во всех жестах мнительность, предчувствуя чистку, нечто слепое и неизбежное, как сыпняк.

Впрочем, последние недели он совсем не думал об этом. Пот игры истощал его, цифры, как мухи, облипали мозг, не оставляя просветов. Осенней ночью, как известно, он сразу вспомнил о своей жизни, о толстых конспектах лекций, об общественной работе. Он сладостно осклабился, он склонен был улыбаться милым и ласковым старикам. Он возвращался на родину. И, как всегда бывает, несчастье пришло неожиданно, сыпняк напал, когда его не ждали, перестали ждать.

Михаила приглашали для объяснений. Нужно ли говорить о естественности этого? Порезвившись добрых шесть месяцев, он наконец-то был накрыт. Где? На чем? Этого он не знал. Прежде всего он почувствовал страх, не смешанный ни с раскаянием, ни с горестью, страх как таковой. Он готов был визжать. Вызов мог означать если не смерть, то тюрьму, жесткость камерных стен, переплет оконца, дурноту и сердцебиение допросов, пот, знакомый ему по казино, недобрый пот,

без надежды отыграться, без двери на пахнущую мокрыми листьями добренькую уличку. Он даже лишен был возможности подготовиться, выдумать оправдательное неведение, подыскать смягчающих души свидетелей: ведь лаконическая бумажка не заключала пунктов обвинения. Марки? Овчины? Может быть, все вместе. Он хотел было побежать в Помжерин и к Дышкину, чтобы проверить, кого еще накрыли. Но не пошел — там могла быть засада. Он не хотел ускорять хотя бы на час свою гибель. Страх не только подрубал его ноги, но и разрезал мысли, как лапшу, обращая голову в кучу назойливо кишащих муравьев. Он заставил Михаила, обычно находчивого, делать за одной глупостью другую. Прежде всего Михаил решил не являться на вызов, то есть он, собственно говоря, ничего не решил, ежеминутно колеблясь, готовясь то смиренно направиться непосредственно в тюрьму, минуя и контрольную комиссию и камеру следователя, то задумывая фантастическое бегство в Мурманск. В итоге он ничего не предпринимал. Лихорадочно метался он на кровати, пугаясь каждого дверного скрипа, голоса за стеной, сумерек, рассвета — решительно всего.

Так прошли две недели. Его сил хватало лишь на то, чтобы изредка прокрадываться к Артему и, раздобыв у брата толику денег, закупать еду. Иногда это был хлеб, каравай ржаного хлеба, который он жевал тупо и бесчувственно, до одурения. Иногда же он покупал в гастрономической лавке какие-нибудь деликатесы: балык, сардинки, швейцарский сыр — и в умилении поглощал это, думая — напоследок, потом тюрьма и смерть.

Вызов повторился, удвоив все отвратительные приступы страха, Михаил снова ответил на него молчанием.

Наконец развязка настала. Минута, которая должна была убить Михаила, явилась радостью. Исключение он воспринял как спасение, более того, как чудо. Он забыл о пролежанной кровати, он бегал по улицам, чувствуя острый аппетит, любовь к миру, веселье, приятную слабость выздоравливающего. Да, это не рулетка! Здесь ему выпала удача, решительная и полная удача. Не марки и не овчины. Вместо смерти, вместо сырых пятен на тюремной стене какая-то смешная формальность. Его исключили из партии за «неподобающий для коммуниста образ жизни». В ответ он

душевно благодарил, жал невидимые руки, кланялся. Ну, его заметили в казино или в одном из кабачков. Исключили. Велика важность! Как будто Дышкину мешает, что он не в партии. Хуже дела от этого? Индюшатина жестче? Или, может быть, дамочки становятся скупее на фокусы? Вздор! Михаилу нужно лезть в гору, чтобы дойти до того же Дышкина. Дышкин — это идеал. При чем тут партбилет? Китайские церемонии наивных людей, верящих во всесильность бумаги. Есть такие, что и в иконы верят. В ад. Он их презирает. Он, Михаил Лыков!

Вдоволь нарадовавшись, Михаил стал налаживать новую жизнь. Он прекратил всякие встречи как с Артемом, так и с бывшими товарищами. При помощи Вогау он устроился в Центропосторге. Казалось, все шло как по маслу. Правда, о «Лиссабоне» нечего было и помышлять. Зато стали возможными регулярные обеды, и не вегетарианские, а мясные, из трех блюд. Михаил, однако, скучал. Вогау теперь не давал ему ходу, он, пожалуй, его затирал. Михаилу, мнившему себя гениальным, он поручал только мелкие делишки, причем пресные, то есть законные, безо всяких комиссионных. Месячный оклад, в его тупой неподвижности, казался нашему герою аттестатом прирожденной посредственности, могильной плитой над всеми возможностями и порывами. Он толкнулся было к Дышкину, но тот принял его в передней, сухо заявив, что дел никаких нет. Может быть, Дышкин был просто в скверном настроении, расстроен невыгодной продажей хлопка, а может быть, дошли до него слухи о вычистке Михаила,— словом, ничего из этого не вышло. Служить же в Центропосторге, поглядывая, как Вогау хапает червонцы и перегоняет их то в новый костюмчик, то в часы «Лонжин», то в каких-то певичек, было скучно, откровенно говоря, скучнее, чем вузовские лекции. Там хоть имелась перспектива повышения, крупной работы, государственного яркого оперения, а здесь ничего: машинки, счета и обед из трех блюд.

Самолюбие Михаила страдало. Страдала его романтическая душа, жаждавшая маскарадов, подмостков, игры, хлопков. Больше всего страдали руки, привыкшие к необузданным жестам и вынужденные теперь на бесчувственных костяшках проверять точность поставок или размеры чужих комиссионных. Конечно, так живут многие, так живут миллионы, такая жизнь, по

всей вероятности, вернейшая порука правильного развития человеческого общества. В архитектурные замыслы природы не входит скука или даже отчаяние моллюска. Десятки ежедневных самоубийств не могут потрясти громадного организма. Все это так. Но следует подумать об особых обстоятельствах, придававших скуке Михаила столь исключительный, даже социально опасный характер. Конечно, нет ничего увеселяющего душу в конторах лондонского Сити. Если «ундервуды» и сменили описанные Диккенсом, элегично поскрипывавшие перышки, то этим ограничивается перемена: те же туманы, та же пыль, та же чудовищная, добросовестная (как и все, что выделывается на гордом острове) скука. Но любой клерк приучен к этому кровью десяти поколений клерков, молоком жены и дочери клерка, воздухом, едой, играми, языком, абсолютно всем. Не переживший ничего постороннего в жизни, кроме сентиментальных фильмов, нокаута любимого боксера и несварения желудка от слишком удачного пудинга, он воспринимает скуку Сити, как свою стихию. Нельзя же возмущаться воздухом за то, что он лишен острых запахов или яркой окраски. Другое дело Михаил. Восставать, воевать, кичиться орденами, мечтать о мировой переделке, с легкостью, будто это лютики, срывать и швырять червонцы, реветь от восторга при виде солнца, жить щедрой на все высоты и низины жизнью, чтобы потом попасть за залитый чернилами, обсиженный мухами конторский столик,— нет, это даже флегматику показалось бы чрезмерным испытанием. При порывистости же нашего героя быстро укрупнявшаяся скука ежечасно грозила взрывом. Задержка произошла от физического и душевного ослабления, порожденного неделями страха. Только задержка. Взрыв был неминуем.

Рассказчику приходится всегда настаивать на искре, спичке, окурке, ибо люди любят наглядность и плохо верят в горючесть тех или иных складов. Спичкой на этот раз явилась небольшая демонстрация комсомольцев, двигавшаяся по Садовой, сама по себе никак не примечательная, обычная демонстрация с опубликованным в газетной хронике маршрутом и одобренными лозунгами.

Представляется несущественным, демонстрировали ли комсомольцы против «пауков — лондонских банкиров» или в честь третьего просветительного фронта,

скорей всего они демонстрировали потому, что были комсомольцами, как гром гремит потому, что он гром, а не солнце и не дождь. Михаил, возвращаясь со службы, в синеватом свете зимнего переходного часа, столкнулся с этой весьма будничной демонстрацией. Остальное доделали лица, повадки, смех, шепот, голоса демонстрантов.

Мы не впервые видим, сколь сильное впечатление производили на нашего героя комсомольцы, это пугало честных профессоров, ревнителей порядка и моралистов из эмиграции. Старая партийная интеллигенция была ему глубоко чуждой, как были чужды не только все люди, жившие в зрелом возрасте до войны и до революции, невольно вобравшие в себя теплоту и нервозность прошлого века, но даже изданные тогда книги, выстроенные тогда дома. Он боялся их ригоризма, скромных жестов и близоруких глаз, аскетической морали, неумения веселиться, наследственной честности и не вытравленных до конца традиций. Узнав раньше их, а потом книги, он с недоумением увидал, что ни материалистическое мировоззрение, ни революционный опыт не выжгли дотла толстовской этичности одних, чеховской тоски других (так что речи о революции звучали, как знаменитое «мы увидим небо в алмазах»), наконец, присущего третьим надрыва героев Достоевского, писателя, который для нового поколения стал чужестранцем, директором паноптикума ужасов, перекочевавшим из России в Германию, чтобы растравливать там души немецких интеллигентов, войной и картошкой доведенных до идеализма. «Старая гвардия» мало что говорила Михаилу. Зато комсомол был его родиной. Здесь каждое острое словечко, каждый жест являлись ему внятными. Михаил лелеял к комсомолу подлинную любовь. Мы разрешим себе добавить, что разделяем это чувство. Мы не знаем, что выйдет из этой молодежи — строители коммунизма или американизированные специалисты; но мы любим это новое племя, героическое и озорное, способное трезво учиться и бодро голодать, голодать не как в студенческих пьесах Леонида Андреева, а всерьез, переходить от пулеметов к самоучителям и обратно, племя, гогочущее в цирке и грозное в скорби, бесслезное, заскорузлое, чуждое влюбленности и искусства, преданное точным наукам, спорту, кинематографу. Его романтизм не в творчестве потусторонних мифов,

а в дерзкой попытке изготовлять мифы взаправду, серийно,— на заводах; такой романтизм оправдан Октябрем и скреплен кровью семи революционных лет.

Увидев теперь на Садовой эти папахи и шапки, эти каракули улыбок, Михаил остановился. Он не смел присоединиться к ним. Он не мог и продолжать свой путь, проклятый путь от костяшек счетов к обеду из трех блюд, к нудным заигрываниям с веснушчатой мастерицей, ко сну без снов. Он понял, что продулся, продулся в прах, что этот проигрыш страшнее всех неудачных восстаний и всех рулеточных козней. Ведь на некоем зеленом сукне осталась его молодость, горячая и прекрасная, родственная смеху этих юношей, этой «братвы» (так он подумал — «братвы»). Ему же ничего не оставили, кроме скуки, кроме битков или зраз, кроме одури Центропосторга, ничего, даже горя. Скука, прожорливая, тощая, острозубая скука, исподтишка обслюнявила, пережевала, проглотила все: и воспоминания, и дерзость, и тоску. Остается одно, понятное всем проигравшимся: смерть.

Так была поднесена к резервам прошедших месяцев крохотная спичка. Демонстранты могли идти дальше по пушистому кольцу Садовых. Михаил мог стоять, обсыпаемый снегом, как будто желавшим сострадательно затушевать нестерпимую четкость его отчаяния. Все было сделано и решено. Хоть и с запозданием, но до его существа дошло небольшое постановление, казавшееся прежде радостью и теперь расшифрованное. Оно означало смерть. И больше мысли Михаила не могли оторваться от этого постановления, как от приговора, прислушиваясь к звучанию слогов, ползая по неразборчивым извилинам подписей, припоминая роковые даты. Он уже не стоял на углу Садовой. Как обычно, волнение заставило его ноги быстро, не сгибаясь, выводить по прямым улицам торопливые шаги. Не думая конкретно о самоубийстве, он нес его в себе, настолько он тяготился своим здоровьем, ходом ног, дыханием, настолько обрадовался бы каждой вздорной идиотской случайности, которая бы стерла его, Михаила, как резинка досадную кляксу.

Отъединение навалилось на Михаила, отверженность лепрозория, стыд сифилитика, замечающего, что от него брезгливо отодвигаются, пустота. Как описать нам, рожденным в ином веке, привыкшим к сладости уединения, к гордости неразделенных помыслов, вот

это сиротство человека, отрешенного от своей среды? То, что мнилось еще недавно доблестным, хоть и горестным уделом, новое поколение расценивает, как вырванные палачом ноздри или как провалившийся нос. По безапелляционности, по исключительности этого нельзя сравнивать даже с горем любовника, жадными руками обнимающего холодную подушку, ищущего следов отошедших форм, выемок, теплоты, или же стоящего у закрытых ворот под освещенным окном, традиционного любовника, Пьеро в плаще из габардина, на залитом ацетиленом лице которого уже проступает смерть. Нет, это чувство и гуще и темнее. Оно лишает не радости, но воздуха, и далеко назад должны мы оглянуться, чтобы в наивных и старательных писаниях средневековых монахов найти ему нечто родственное. Только там, среди желтизны восковых свечей, пергамента лиц, среди духоты и плотности воздуха, среди живой его черноты, мы найдем подлинный ужас, срам, отчаяние, задыхания, которые переживал ныне, бродя по снегам советской Москвы, наш жестоко наказанный герой. И как бы ни был различен социальный и идеологический характер сопоставляемых нами веков, мы все же не уступим этого сравнения, мы скажем, что и для психолога и для неизменно младенческого человеческого сердца мука является той же мукой, зовут ли ее «отлучением от единой и апостольской» или, короче, жестче, «партчисткой».

Отчаяние являлось огромной формой, быстро наполнявшейся различными мыслями. Прежде всего эти мысли были ревнивыми и злобными. Михаил перечислял свои заслуги перед партией, переживал свою ей преданность. Он отдал все, решительно все! Разве он любил кого-нибудь, кроме нее? Хорошо, пусть он загляделся, оступился, в рассеянности на минуту забыл о ней. Его следовало окликнуть, дружески напомнив ему: «Ты — Лыков, ты — коммунист». Вместо этого его попросту вычистили, не раздумывая, как будто его ум, руки, сердце не в счет, как будто он сухая ветка на дереве или куча мусора во дворе. Злые, жестокие люди! Думая так, Михаил, конечно, не вспоминал о длительности своей «рассеянности», о марках, об овчине, о «Лиссабоне» и казино. Он опускал первый вызов. Месяцы преступлений сливались в один туманный, бредовый денек, невесомый, призрачный рядом с четким шрифтом предшествующих лет, с кровавой чер-

нью Перекопа, со вшами на привалах, с грохотом, рыком, титанической суетой любой атаки, с голодом и мучительной дробью терминов, цифр, часов в вузе, честностью прежнего Михаила. Ревнуя, он помышлял о мести. Он искал в тишине безлюдных уличек этой окраины, как и в своей памяти, примет новой любовницы, не для любви, для ущерба, для ущемления отвергшей его партии. Направо дорога для него была закрыта, не только внешне: дни в Киеве все же даром не прошли. Даже в беспамятстве мысли его не кидались туда, они шарахались от одного приближения к прошлому, к презрительным господам из «кружка», даже к запаху пустых флаконов и философских книжек на столике Ольги. Но, вспомнив глухое урчание своего желудка перед первыми витринами гастрономических магазинов, перед этими подснежниками нэповской весны, глухое урчание рабочих окраин, слезы после ночи в «Лиссабоне», чьи-то шепоты и проклятья, лиловые туманные листки (на гектографе), огромное недоумение, болезненно расширившее столько наивных зрачков, вспомнив это, он как будто обрадовался. Затормозив свой бег, он попытался придать мыслям четкость некоторого плана. Он войдет в один из нелегальных «кружков», он будет бороться с компартией слева, требуя восстановления Октября, обличая вождей, этих злых и лицемерных вождей, которые, отпустив стране Кронштадт, разрешили и «Лиссабоны» и казино, а Михаилу не захотели простить пустой обмолвки.

Однако не прошло и десяти минут, как бег возобновился, а решение войти в группу «Рабочей силы» утонуло среди глушивших и звуки и страсти сугробов. Произошло это не вследствие страха перед мыслимой расплатой, нет, поэтизированной смерти Михаил никогда не боялся. Но на одну минуту столь редко посещавшая его трезвость, сознание пропорций, ощущение реальности осветили взбудораженную голову. Конечно, это не было результатом логических выкладок: бегая в бешенстве, ища сочувствия у пустырей, грозясь редким фонариком, где тут было до выкладок, до счетов и мер. Озарение было внезапным, стихийным. В нем играли главные роли тишина снега, усталость ног и теплый оранжевый пар, пропитанный отсветами огней, исходивший от города. Михаил неожиданно почувствовал свою малость, беспомощность, ничтожество. Он дрожал, как зажженная спичка,

теряясь и погибая среди множества, среди плотного, близкого, темного множества, окружавшего его. Так, наперекор балладам из хрестоматии, наперекор и нашим отроческим снам, восстание частицы против целого в Москве двадцать третьего года не только не мнилось романтическим, требующим кисти, резца, гекзаметров, но попросту граничило с клиникой, с бромом или душами. Ну хорошо, допустим, что его пальто и сойдет за плащ, а плеск далеких огней всех этих наркоматов, трестов, главков покажется океаном. Но сердце? Но пот в морозный вечер? Но готовые выскочить наружу слезы? Несчастное сердце, сердце современника героической эпопеи, песчинка, пигмей — вот подул ветер, отнес его в сторону — на что оно способно? Оно ведь не может даже отсчитывать секунды, сокращаться и шириться, чистить кровь, оно ничего не может. Но ей-ей (не вы ли тому свидетели?), оно же, теплое, человеческое, отчаянное, создает пафос, историю.

Так наконец Михаил дошел до раскаяния. Мы не скрыли, что этому способствовали страх, ощущение своего бессилия. Можно сказать, что, дубася, нещадно дубася, довели его до животного покаяния, до униженности, ползания, лизания сапог нашкодившего барбоса. Зато покаяние было полным. Впервые оно объединило годы и поступки Михаила в одно, что зовем мы с птичьего полета «жизнью такого-то». Оно шло от кота госпожи Шандау до недавних замыслов войти в подпольную организацию, вмещая и молочник, и даже невместимую голубизну неких женских глаз. Ощущение своего ничтожества было осмыслено, определено: мелкий, жалкий, гаденький человек. Так думал Михаил. Он походил на верующего, который бежит среди ночи к духовнику, на бритого фанатика иных лет, ощущающего в жестокости власяницы, в чрезмерной горячности щек тот запах серы и бесцельной муки, которым пропитан ад. Унижаясь, он не только не умирал, но, напротив, заполнялся некоторой жизнеспособностью, жаждой искупления, рядом новых для него чувств. В этом была вся традиционная правда раскаяния, хорошо обследованная мировой литературой. И нам ничуть не кажется удивительным, что этот бег, вначале бесцельный, привел его к определенному дому, к известному подъезду, в комнату такую-то. Того требовало сердце.

Таким образом, были достойно завершены все нелепости нашего героя, составляющие содержание настоящей главы. Начав с трусливого молчания, которым он ответил на приглашение райкома явиться тогда-то, Михаил кончил лихорадочным стуком в дверь, неурочным визитом к одному из членов контрольной комиссии, к видному работнику, визитом абсурдным. Трезво рассуждая, он топил себя. Но что же делать? Трезвости в нем не было. Все эти поступки являлись по-своему логичными, необходимыми. Товарищ Тверцов увидел назойливые и нежные руки, раньше голоса ворвавшиеся в щель приоткрытой двери.

В небольшой комнатке 1-го Дома Советов произошло это недлительное, но страшное объяснение. Товарищ Тверцов редко бывал дома. Комната принимала лишь его занятия и сон, то есть цифры отчетов, духоту пересиливаемой усталости и быстрое чистое замирание большого тела, без сновидений, жизнь, скорей схематическую, условную, только теплотой дыхания и животным запахом белья отличавшуюся от листов бумаги или от фотографий. Менее всего эта комната, голая вплоть до отсутствия в ней портретов на стенке или какой-нибудь индивидуальной вещицы, хотя бы своей чернильницы, была подготовлена к подобной сцене, полной даже внешней выразительности. Лицо Тверцова являло жесткость и подобранность костей, не обросших мясом, чертеж идей и чувств. За двадцать лет подполья, тюрем и ссылок глаза его сгустились, они отдавали тяжелым блеском безусловной преданности, веры. Если прибавить высокий рост, длину и заостренность конечностей, то получится не частое среди славян перевоплощение моделей Эль Греко.

Вот к этому фанатизму принеслись рыжий чуб, неугомонные руки, бредовая голова. Здесь произошла исповедь, полная и беспощадная, так что тщетно пытался Тверцов устранить некоторые детали, касавшиеся Ольги. Впрочем, он не настаивал. Как ни тяжело ему было слушать, он понимал, что пришедшему необходимо говорить (необходимо вроде срочной операции). И он выслушал все. Он оказался на высоте положения. Рассказ не возмутил и не разжалобил его. Он нашел нужные слова. Таких людей, как Тверцов, многие не раз обличали за их схематичность, ачеловечность. Обличения, конечно, справедливые. Тверцов в роли мужа, отца, любовника может вызвать лишь

сострадательную улыбку. Что понимал он в искусстве или психологии? Но оставим это и признаем, что бывают у таких людей патетические минуты озарения, вполне человеческой снисходительности, благороднейших чувств. Их отрешенность от общих страстей дает им возможность нелицеприятия, мудрого диагноза. Отвечая Михаилу, Тверцов был суров, крайне суров, но не вследствие бесчувственности. Он видел, что за суровостью и пришел к нему этот беспутный фантазер. Он напомнил ему о попранном долге. Он подтвердил справедливость постигшей кары. Но здесь же, как опытнейший духовник, он указал Михаилу со всей мыслимой точностью дорогу раскаяния, очищения. Когда Михаил поведением своим загладит прошлое, партия снова примет его. Все это было сделано с такой умелостью, с таким чувством меры, с такими нудными поддакиваниями и угрюмыми паузами, что диву даешься: будто Тверцов всю свою жизнь штудировал не политическую экономию, а богословские трактаты. Беседа длилась менее часа, но Михаил вышел из этой комнаты ободренным, очищенным, ликующим. Еще никак не помышляя о практическом применении преподанных ему назиданий, он верил в свое исправление, он готов был сейчас же начать трудную жизнь, чем труднее, тем лучше, ломовую жизнь, радуясь ее поту, бессловесности, короткому сну. Его руки чинно висели по швам. Он хотел кому-нибудь улыбнуться, но на улице было пусто, и, помимо снега, он нашел только сонного милиционера. Что же, он улыбнулся ему, наш наивный герой, Михаил, нет, Мишка. Милиционер, однако, недоверчиво взглянув на него, окруженный ночью и снегом, тоскливо зевнул.

А Тверцов лег спать. Беседа с Михаилом настолько утомила его, что он не смог работать. Но и уснуть он не смог. Приподнятость, созданная положением, исчезла. Вспоминая теперь сбивчивые фразы исповеди, он испытывал брезгливость и ужас. Вместе с пиджаком спали и другие, нажитые годами приметы, хотя бы железный фанатизм. На кровати ворочался не суровый духовник, а обыкновенный человек, близорукий и малокровный. Даже лицо, распустившись, лишилось сходства с портретами Эль Греко, напоминая теперь скорее мягкостью и беспомощностью наших отечественных донкихотов (из бывших дворян). Он невольно вспоминал свою юность, уютную, несмотря на тюрьмы и го-

нения. Разве не было в студенческих кружках тех лет тургеневской белизны? Разговоры порой походили на крахмальные занавески прибранных комнатушек. Тверцов вспомнил и покойную жену, тоже большевичку, их идейную близость, целомудрие скупых ласк, совместную работу. Как все это не походило на рассказ Михаила! А карты, кутежи? Кому же, кроме белоподкладочников, могли тогда прийти в голову подобные забавы? Странное время! Оно должно быть прекрасным. И все же оно странное, даже страшное. Кто идет на смену Тверцову, Тверцовым?.. Бессонница длилась. Непонятное томление большого, сильного, умного человека услыхала эта комната, тихая, деловая, за стенами которой, не допущенная внутрь, густела ночь, с ее непосильной темнотой, с немотой снега, неизвестная, еще никем не названная ночь.

ИСПОВЕДЬ НА ДРУГОЙ ЛАД. ГЕРОЙ НЕДОВОЛЕН РОДИНОЙ

Государство не монастырь и не исправительная колония. Михаилу, конечно, в ту ночь повезло. Но больше ни на Тверцова, ни на подобных Тверцову он не нападал. Таким образом, исповедь осталась без продолжения, если не считать некоторых, вполне искренних поисков подходящей работы да, пожалуй, известной скромности, сохраняемой в течение двух-трех ближайших недель. Остальное?.. Но ведь ломовой пот, о котором он мечтал, выйдя от Тверцова, был великолепным алмазным потом, сиянием, романтикой. Его не выдавали на бирже труда. Там пот сбивался на портянки, свидетельствовал о нудности и тяготе. Раскаяние, правда, длилось, как и мечты об искуплении. Но раскаяние было громким, эффектным, парадным, способным на улыбку милиционеру, на публичное унижение, на героическую смерть, только не на скромненькое чиновничье перышко с его мышиным попискиванием. Притом наш герой был уверен в своем исправлении. Ночное блуждание по сугробам и час у Тверцова он засчитывал себе за многие годы. Нужно ли подтверждать мелочным прилежанием героизм минуты, когда он, любя партию, не побоялся отступиться от себя? Какой тупой контролер сможет, послюнявив

пальцы, сосчитать теплые, вертлявые человеческие дни? Формальность! Михаилу нужен не карцер, не отсиживание, но живая, вдохновляющая работа. Вновь в его голове подымались душные наименования далеких городов, пряность географии, невзыскательная экзотика.

Неудивительно, что из всех наркоматов, отделов, подотделов, трестов, союзов и прочих учреждений, от которых тщетно пытается разгрузиться наша столица, Михаил облюбовал Наркоминдел, с его парадным лифтом, автомобилями у подъездов, с соблазнительным обликом влетающих и вылетающих дипкурьеров, которые, как перелетные птицы, вечно волнуют поэтов и просто непоседливых людей. Прочитав в «Правде» о курсах красных дипломатов, Михаил стал мечтать пробраться туда, ликвидировав «вычистку». Он принюхивался, осматривался, проводил дни в обследовании мест и в завязывании скромных знакомств. Дело оказалось, однако, значительно более сложным, нежели он предполагал. Не одно помещение успели отремонтировать за истекший год. Люди тоже стали серьезней, суше, осмотрительней. Прошмыгнуть, заговорив секретаршу, или влезть с нахрапу к наркому было теперь немыслимо. Всюду, интересуясь прошлым, вытаскивали проклятую «вычистку». Михаил попробовал было нагло сослаться на Тверцова. Что же, эти недоверчивые сердца потребовали подтверждения. Михаил дошел до подъезда Дома Советов, готовый уже подняться к своему недавнему духовнику и вместо лирических глубин попросить у него на этот раз поручительства. Но, вспомнив глаза Тверцова с их холодным огнем, он потолкался в подъезде и вышел на улицу: струсил.

Он предпочел возобновить прежние окольные рекогносцировки. Они-то привели нашего героя в кабинет товарища Кроля, куда без доклада вход запрещался. Огрызок красного карандаша, лежавший на столе, обладал многими магическими свойствами, и, заметив его, зеленоватые призрачные щеки Михаила гармонично зардели. Скрыть от Кроля историю с «вычисткой» он не смог. Пришлось в оправдание изложить всю свою биографию, то есть вновь заняться исповедью, как будто это его профессия. Но, сравнивая этот его рассказ с услышанным Тверцовым, мы видим не только различность фактов, а и несовместимость стилей. Это были произведения двух враждующих авторов.

У Тверцова Михаил усердствовал в самооголении, здесь же он умело маскировал все свои природные дефекты то идеологическими отталкиваниями, то романтическими уклонами. Он не скрывал грехов, но грехи эти он подавал столь аппетитно, с таким гарниром, с такими поэтическими наименованиями, что казалось, никакой постник не смог бы попрекнуть за них застенчивого краснеющего юношу. На что Тверцов был неприступен, и тот, может быть, услышав такую версию этой жизни, пожалел бы много испытавшего, несмотря на нежный возраст, товарища. Право же, красный карандашик, по всем расчетам Михаила, мог участливо наклониться и выронить бесценное «принять». И что же?.. В самом возвышенном, в самом трогательном месте рассказ Михаила был прерван неожиданным грубым, обескураживающим хохотом.

Да, товарищ Кроль от смеха даже вытер пестрым платком свой испещренный красными метками лоб. Чтобы стало понятным столь странное для ответственного работника поведение, следует объяснить, кто он, этот товарищ Кроль. На кого напал наш герой в поисках красного карандашика? Мы бы так его определили: несколько анахроническая фигура, ожившее воспоминание Первого Интернационала в эпоху трестов, этих государственных кулебяк, запоздавшие специи для закуски, для солений, для маринадов: уксус, перец, горчица, заставившие не один лоб морщиться, завсегдатай венских или берлинских кофеен, где над пеной смятых газет высятся пенсне, пепел изжеванной сигареты, брызги слюны и сарказм, конечно, первосортный, всеевропейский. Было время, когда Кроль вдруг оказался в России своим, человеком на месте. Его усмешка тогда чувствовалась и в едкости гари, и в остроте оттепелей, и в первых декретах, и в нотах Чичерина, полемизировавшего с «цивилизованной Антантой», и в веселых глазенках любого школьника, разоблачившего учителя. Время то прошло. Острословие товарища Кроля, вновь сгустившись, заняло небольшой кабинетик, куда нахально и проник Михаил. Проделки продолжались: то на дипломатическом банкете он заговаривал с англичанином об Индии (хоть Индия не соя, на что крепок желудок бритта, и тот не может переварить нечто подобное), то в идиллическое интервью об экспорте зерна он подкидывал горсточку кайеннского перца,

принуждая многих злиться, откашливаться, даже сморкаться. Впрочем, все это было безобидным озорством, чудачеством.

Теперь, мы полагаем, ясно, что в ответ на высокопатетические рассуждения Михаила мог последовать лишь смех, этот оглушающий смех, по неожиданности и громкости схожий с лаем большого простуженного пса. Особенно развеселили Кроля намеки на Ольгу, то есть упоминание о некой положенной на алтарь революции нежной привязанности. Ни дрожь голоса, ни румянец, ни главный козырь, знаменитый пигмент глаз, неизменно выручавший нашего героя, не произвели на Кроля никакого впечатления. Он отнесся к этим приметам, как к нехитрым трюкам местечкового фокусника, как к цвету лица венских красоток, который измеряется не их возрастом, но исключительно маркой пудры. Это было, конечно, несколько примитивным способом воспринимать мир. Но иногда лучше бывает снаивничать, нежели перемудрить. Выражаясь вульгарно, он Михаила «раскусил», раскусил немедленно, после первых же слов о «жажде работать». Досыта насмеявшись, он даже залюбовался этим прохвостом: эстетические восприятия не были ему чужды. Ханжество юноши, возвышаясь над средним уровнем, требовало любования. Кроль так и выразился, откровенно:

— Жаль, что вам здесь простора нет. В Америку бы... Там бы вы такую панаму развели...

Михаил растерялся. Не поняв смеха, он решил обойти его, как латинскую пословицу в газете. Последнее восклицание было, однако, еще загадочней смеха. Добродушие голоса и одобрительность слов как будто указывали на удачу: здесь наконец-то его поняли! Но «панама»? Как это понять? И может ли коммунист, не иронизируя, в чем-нибудь предпочесть Америку Советской России? Значит, это издевка. Не только откажет, но выгонит, пожалуй, сообщит в Гепеу. Что же делать? Михаил рад был бы уйти, пропасть, отменить все им сказанное. Но это было труднее, чем войти. А Кроль продолжал свои непонятные философствования:

— И насчет Одессы вы наврали... Я вас сразу понял... Нахапали. Талантливый вы человек, очень талантливый. Теперь вы, следовательно, в дипломаты метите?..

— Я вам сказал. Я ищу трудной работы. Я хочу отдать все свои силы.

— Так-с. А по-моему, вам бы вернее всего втереться во Внешторг. И за границу...

Михаил был уничтожен. Только его смятением и взволнованностью можно объяснить, что на явно провокационные наставления Кроля он кротко, по-детски ответил:

— Что же, если нужно, я и во Внешторг готов.

— Готовы? Вот это великолепно. Только словят вас. Увидите, что словят. Ну, будет, посмеялись, теперь ступайте.

Михаил встал, сел, въедаясь глазами то в хитрое обезьянье лицо Кроля, то в его руку, по-прежнему далекую от карандаша. Наконец он решился спросить:

— Куда? Во Внешторг?

— Я уж не знаю. Куда хотите. Я бы вас направил к одному знакомому писателю, чтобы он с вами побеседовал. Замечательный роман может выйти. Да зарежет, пожалуй, главлит. Ну, до свиданья: мне некогда.

Рука Кроля наконец снялась с места. Но она не взяла карандашика, она и не потянулась к руке Михаила. Деловито она указала на дверь. Так кончилась вторая исповедь. Так кончился и период раскаяния, ибо, выйдя на Кузнецкий, оправившись несколько от первого стыда, Михаил почувствовал всю живучесть воскресшей злобы. На этот раз она не ширилась, не вела его к обобщению, не нашептывала о подпольных организациях. Нарядная публика и витрины возвращали его к прежним замыслам. Бромберг, овчины, Вогау — он снова жил этими внятными образами. Но нужных дверей не значилось. С чего начать? К кому кинуться? Кроль его выставил. Что же, можно примириться со стороной моральной, можно самому плюнуть на всю их хваленую чистоплотность. Однако остается факт: с Наркоминделом не выгорело. Позорно, что такой ум, такие руки, такое сердце, да, сердце Михаила, горячее, ревнивое, золотое, остаются без применения!

Он дошел до Сретенки. Мороз крепчал, и перспектива идти по светлым пустым бульварам, застывая и задыхаясь, испугала его. Тяжело дыша и нездоровым светом освещая синь снега, подполз засахаренный трамвай. Михаил вошел, подталкиваемый другими людьми, несгибающимися, мертвенными, похожими на мороженые туши. Какая нищета была в этом,

в плотности застывающего дыхания, в густоте запахов, в сиплом выкрике кондукторши, у которой изморозь выела ресницы: «Гражда́не, уплотняйтесь!» В этом ударении «гражда́не» — какая фантастика векового юродства! Или только казалось это взволнованному нелюбезной беседой герою? Он вглядывался в лица с изъятием мыслей, он как бы изучал согласованность зевоты, массовость движений, которыми пассажиры утирали оттепель носов, эту глянцевитость указательных пальцев в коже или же в шерсти, сонливость, замедленное движение статьи из «Известий» по головам, щей, жирных или постных, по желудкам, медлительность грызущего лед трамвая, медлительность породы, ледяное небытие.

Он ощущал всем своим существом ужас климата. Если б он родился в Италии или хотя бы в Германии! Тот же снег там редкость, выпадет — быстро свезут за город как нечистоты. Асфальт. Шины и отсветы фонарей. Там бы его не отталкивали, не боялись бы его поспешности, горячности, разгона рук. Все дело в климате. Для других стран это абстракция, слово из учебника географии. Там погода, хорошая или плохая, и все. Здесь же климат. Он важнее, патетичнее идей, строя, законов. Здесь он — тяжесть дыхания и мощь, гранитная всепокрывающая мощь вшивых шкур на вялом, начесанном, заспанном теле. Овчины. Почему овчины? Дышкин, алло! Дышкин — нарыв, Михаил — случайность. А овчины навек...

Почему он родился в этой страшной стране? Кроль неплохо сказал: почему он не американец? Брать только весом, пудами, заваливая чуть ли не полушарие той же овчиной. Трамвай полз, как нансеновский «Фрам» среди льдов и смерти. Это не жизнь. Это из «библиотеки для юношества», лекция с туманными картинами. Редко глаза наталкивались на извозчика, на это диковинное существо, на чудовище, обмотанное рыжим тряпьем, под которым булькала ругань и холодеющий чай, на припудренную холодом морду полярной красавицы — убойной клячи, или на берлогу пивной, выдыхавшую клуб пара, отрыжку шарманки и двух весельчаков, готовых не то подраться, не то заплакать.

Михаил понял, что он ненавидит Россию, ненавидит тупо, зло, с одним желанием отхлестать ее недоуменную физиономию вожжами, сломать ей нос, бить обледеневшими копытами ее тучные груди, этот дар

многих каш: гречневой, пшенной, ячневой и прочих, эти валдайские возвышенности, бить их, топтать, не столько уничтожить (как без нее прожить?), сколько унизить. Чувство это традиционное, и, описывая его, мы соблюдаем полное беспристрастие. Кто же из наших соотечественников хоть однажды не испытывал подобного отчаяния? Кто оберег себя от приступов этой злобы, весьма родственной злобе на самого себя? Ее связывали с политическими протестами против различных режимов или со страхом перед сжиманием ртути в градуснике, с сетованиями на скудость истории, на позорность удельных хамов, на блудливое ерзание четырех толстозадых императриц, с сивушным ароматцем бунтов, с чем угодно, в зависимости от характера и обстоятельств, но рождалась она всегда из тех же глубин самообличения, из той же трудности принадлежать к огромному и темному множеству, из нелегкой доли служить пробиркой, где свободолюбие, скажем даже, бешенство европейского хищника смешивается с мудрейшей, с тишайшей кровищей барана, быть школой, где монгола учат шаркать ножкой и пляcание на животе врага сопровождать параграфами конституций.

Особенно остро дано ее почувствовать новому поколению, начавшему дышать, думать, действовать в революционные годы, когда монголы вырезывали у монголов скулы, чтобы походить на европейских товарищей (а европейцы, кстати скажем, высоко расценивая именно скулы, примеривали их поверх набриллиантиненных усиков и пенсне), когда снег если и не свозили за город, то покрывали кубистическими холстинами, когда рождались замыслы перекрасить в одну ночь всю Свердловскую площадь или сделать этак в один год страну высокограмотной, устроить на площадях, обходя мороз, тулупы и харканье, карнавальные забавы,— словом, когда Россия примеряла немало платьев и травести. В этом чувстве страха перед косностью материала был и подлинный трагизм слишком горячих энтузиастов, была в нем и мелкая досадливость резвых юношей, осаживаемых не только бдительным оком властей, но и климатом, нравами, этнографией. За что Михаил, покачиваясь в проходе трамвая, ненавидел Россию? Она его вязала. Он ненавидел послушливость, терпение, сугубую тишину зимы. Даже революцию здесь ухитрились перегнать в смирение,

в дисциплину, в парады среди дыма декабрьских утр, в сосульки бесчисленных ячеек. Взяли огонь, и что же, он обливает мертвым светом, этим коллодием, снег площадей, не прорезая толщу овчин, он бесстрастно сверкает электрическими лозунгами. Замороженный огонь! Из ненависти Михаила шло презрение. Он брезгливо вздрагивал от прикосновений этих скрипучих тел. Он весь горит. Он — человек, герой, поэт, романтик, среди скифов! Нет, проще, среди баранов! Трагедия Наполеона!

Да, Михаил, отнюдь не иронизируя (он и вообще, как русский человек, был мало склонен к иронии), всерьез чувствовал себя Наполеоном. Он ведь не мог поглядеть на себя со стороны. Он не мог оценить своего сходства, потрясающего тождества со столь презираемыми им попутчиками. Рыжий чуб отсутствовал, проглоченный меховой шапкой. Все же остальное, то есть полушубок, грубость дыхания, промерзлость ног, являлось частицей трамвая «А», всей Москвы. Что касается мыслей, бестолково барахтавшихся на поверхности его обледеневшей головы, как рыбы у проруби, то и они вряд ли носили столь исключительный характер. Кто знает, сколько Наполеонов ежедневно ездили в трамвае «А» или шли по улицам, от холода притопывая и хлопая деревянными ручищами? В тихие, как бы неживые ночи они примеряли если не плащ, то какое-то забавное тряпье из героического реквизита, и над тулупами пылали призрачные звезды северной болезненной романтики.

ГЕРОЙ НАХОДИТ ДОСТОЙНУЮ ЕГО ГЕРОИНЮ

Несколько недель спустя, с душой значительно более уравновешенной, Михаил шел в Полуэктов переулок к некоему Глотову на вечеринку. Кроме выпивки, танцев и прочих аттракционов, к которым наш герой был далеко не равнодушен, Глотов обещал познакомить его с одной дамой, знающей ходы в Донторг, а Вогау недавно поручил Михаилу дельце, связанное (хоть и деликатно) именно с этим учреждением. Сам Глотов служил в инотделе, Михаил с ним познакомился в период мечтаний о красной дипломатии. Но, войдя в натопленную комнату, полную непонятных

звуков, световых пятен, запахов, Михаил сразу забыл о деловой стороне визита. Он попал в мир экрана, у которого были объем, реальность жизни. Это было шикарнее «Лиссабона», отличаясь интимностью, замкнутостью, притягательностью простого номера квартиры вместо оскорбительной вывески, это было и важнее, нежели обладание дочерью бывшего владельца спичечной фабрики. («Бывшего!» — вспоминая теперь Ольгу, Михаил презрительно морщился: много ли стоят рассказы о бывших путешествиях?) Здесь его принимали просто, как равного. Он сразу стал живой частью волшебного мира. Он даже не мог говорить, он только улыбался, задевая чрезмерно впечатлительными руками чужие руки, плечи дам, бутылки. Впрочем, общество, собиравшееся у Глотова, отличалось терпимостью, широтой суждений и любовью к неожиданным жестам. Это была весьма своеобразная полусветская-полуартистическая богема Москвы двадцать третьего года, и поведение Михаила никого не шокировало.

Кроме того, все были заняты делом. Молодежь, включая Глотова, танцевала с трогательной старательностью, которая, несмотря на новизну па, придавала этим танцам стиль дворянской усадьбы тридцатых годов прошлого века. Ездившие в командировки привозили новое откровение Европы: фокстрот. Все знали — есть нечто, мания, безумие, чудеснейшее безумие «дряхлого Запада». Знали даже названия. Иные видели и фотографии в заграничных иллюстрированных журналах. Но только редкие счастливцы обладали секретом самого фокстрота, ибо па, в отличие от идей, не передаются ни газетами, ни письмами, ни молвой. Некий ученый секретарь Наркомпроса, ездивший в Лейпциг за школьными пособиями, по дороге остановился в Берлине и, преодолев застенчивость, несмотря на свой почтенный возраст, записался в танцкласс. Зато он стал Моисеем, пусть косноязычным, плешивым, плюгавым, однако принесшим в Москву скрижали завета. Кичась и ломаясь, он заставлял дам долго улещивать и упрашивать его, прежде нежели встать, вытянуть голову и начать. Таких Моисеев было немного: семь или восемь на всю Москву. Вечера, на которых они присутствовали, превращались в экстатические уроки, в проповеди, сопровождаемые необходимой тряской. Отсталые, носившие под пиджаком, как запах нафталина, прежний идейный дух, всячески про-

тестовали: политики ополчались на явно буржуазный характер забавы, моралисты на опасность некоторых прикосновений, наконец, эстеты на механические, безобразные, бесстильные, не в пример народным, па. Им отвечали: американизм, здоровый спорт, новая урбанистическая эстетика и т. д. Им отвечали не столько словами, сколько нетерпеливым подрагиванием и переходом к делу, то есть к старательному изучению фокстрота. Как чума, занесенная двумя-тремя матросами, эпидемия фокстрота, несмотря на осуждение, ширилась. Избранные обладали патефонами, и тот или иной модный мотив («Бананы» или «Титина») просачивались сквозь границы, как контрабандные ликеры. На счастье прочих, неизбранных, но музыкальных натур один агиттеатр показывал публично фокстроты, как демонстрацию гниения, позорного гниения якобы культурных наций. Аншлаги свидетельствовали о любознательности и прилежании москвичей.

У Глотова не было ни одного Моисея, но сам Глотов мог сойти за такового. Как-то в инотделе он словил дипкурьера, только что приехавшего из Лондона, и заставил его здесь же, в коридоре, продемонстрировать несколько элементарных па. Глотов показывал. Ученики проявляли изрядные способности, и к моменту прихода Михаила все уже напоминало «разлагающуюся Европу». Вот только в костюмах чувствовался местный экзотизм. Правда, дамы щеголяли модными талиями (примерно на коленях) и декольтированными плечами. Но кавалеры были в чем попало: кто в толстовке, кто в вязаной кофте. Причем, по случаю жестокого мороза, многие явились в валенках, что придавало грациозным па некоторую отечественную тяжеловесность. Впрочем, все были довольны, и только один из мужей, несмотря на стойкость мировоззрения грешивший чувством собственности, глядя на свою супругу, подхваченную молодым киноактером, ворчал: он не верил Глотову, наверно, полагается, чтобы между кавалером и дамой сохранялось некоторое расстояние, хотя бы в три сантиметра! Его, однако, обозвали «консерватором». Оставалось искать утешения в вине.

Пили главным образом нетанцующие: слишком принципиальные, страдавшие физическими недостатками или деловые люди, пришедшие сюда, как Михаил, не для забавы. Ведь общество было чрезвычайно пестрым: ревнивый муж, то есть сотрудник МОНО,

цирковая наездница, киноактеры, театральный рецензент «Известий», художник, изготовляющий рекламы для табачных трестов, коммунист из Моссельпрома (не педант), агент МУРа, студенты-гижевцы, три спекулянта с Ильинки, инженер Октябрьской сети железных дорог, заведующий гостиницей «Красное подворье», подруга члена коллегии Наркомздрава, просто девицы, директор Центроцемента и с пяток других неопределенных субъектов. В соседнюю комнату, где жил писатель Плоткин, уходили отдыхать или побеседовать, а в кухню по крайне важным делам: целоваться после фокстрота или заканчивать особо секретные сделки. В кухне было темно, и только по звукам можно было определить, что там происходит: спекулянт обделывает гражданина из Моссельпрома насчет партии подтяжек или киноактер усугубляет муки ревнивого сотрудника МОНО.

Михаил не сразу огляделся. Долго он бродил от танцующих к бутылкам, в кухню (один, без цели), к Плоткину, бродил, как пьяный, хотя выпил всего стакан мадеры,— для приличия. Он был до крайности взволнован. Если бы так жить! Если бы эта ночь могла продлиться, стать буднями, чтобы глядеть на странные прыжки, на припудренные плечи, на этикетки вин, долго глядеть, до смерти! Восторг был столь велик, что Михаилу не хотелось большего: ни пить, ни танцевать, ни врезаться сухими от экстаза губами в матовость плеч. Только бескорыстно ощущать, что это правда, не фильм, что он, Михаил Яковлевич Лыков, здесь присутствует.

Вероятно, это состояние продлилось бы до утра, если бы Глотов не напомнил ему о реальности иного мира, находившегося за дверью сказочной квартиры, где, кроме ночи и снега, были Вогау, Донторг, вагон американской бумазеи. Хозяин, даже фокстротируя, не забывал о святом гостеприимстве. Он твердо помнил, кто и за чем пришел. Это на его совести — мука сотрудника МОНО. Он также свел подругу члена коллегии с поэтом: нажать на Госиздат. Голова Глотова была нафарширована, вперемешку с увлекательными мотивами фокстротов, альтруистическими мыслями о благе множества людей. Прижавшись к цирковой наезднице и втайне подумав о часе, когда гости разойдутся, а наездница (Плоткину на зависть) останется, он вспомнил: рыжий ищет ходов в Донторг. Дружественно обняв Михаила, он шепнул:

— Сонечка-то наша запоздала. Но вы не беспокойтесь, она обязательно придет. Я ведь для нее инженера приготовил: бесплатный билет. Вы пока потанцуйте...

Михаил поблагодарил, но от фокстрота отказался. Он не стеснялся, но обращение Глотова сразу перевело его мысли на иной путь. Он отделился от веселящихся, задумался, его руки, выступая вперед, теперь только иллюстрировали различные арифметические операции. Они искали не плечо, а бумазею. Этой даме следует предложить не более пятнадцати процентов. Поторговаться. А Вогау сказать, что меньше, чем за двадцать пять, не соглашалась. Тогда, кроме десяти официальных, десять этих,— двадцать. Выйдет около восьмидесяти червонцев. Недурственно! Вот только толковая ли баба? Может, Глотов врет? Представитель Донторга сухарь. К такому не подойдешь. А сразу предложить проценты опасно. Ведь он коммунист. Нужно с нею взять серьезный тон. О процентах вскользь. Налегать на качество бумазеи и на необходимость укоротить бумажную волокиту.

Михаил был настолько поглощен этими мыслями, что пропустил ряд происшествий, взволновавших прочих гостей: внезапный увоз сотрудником МОНО своей супруги (пока не поздно), падение, отнюдь не фигуральное, толстейшей подруги члена коллегии, вследствие образцово навощенного паркета и крепости малаги, наконец, появление новой гостьи, черненькой, смазливой барышни, весьма затейливо одетой, встреченной общим восторженным щебетом: «Сонечка! Сонечка!» Он вздрогнул от неожиданности, когда Глотов подвел к нему девицу, фамильярно приговаривая:

— А вот и мы... А вот и мы пришли...

Девица, которая не могла быть никем иным, как Сонечкой, той самой, у которой ходы в Донторг, села рядом с Михаилом, вынула из сумки крохотное зеркальце, пудреницу, пуховку и, с ужимками холеной мартышки, стала сосредоточенно пудриться. Но Михаил молчал. Тогда в недоумении она спросила:

— Итак? В чем дело?

Но и это не прервало молчание нашего героя. Напротив, с каждой секундой немота его становилась плотнее, весомей, безысходней. «В чем дело?» Разве мог он ответить на этот вопрос? Конечно же, не в Донторге. Дело в болезни, в сумасшествии, в катастрофе. Как мы сказали, Михаил был вполне настроен для

делового разговора о бумазее. Он думал только о процентах. Он даже не заметил прихода Сонечки. Но вот случилось нечто непредвиденное, странное, скажем даже, страшное. Трудно это объяснить. Конечно, Михаил ждал объяснения с какой-нибудь нэпманшей, у которой от жадности вырываются наружу зубы гиены, а глазки тонут среди текучей желтизны залежавшегося жира. Но разве не бывает хорошеньких девиц? Мало ли он их видел? Наконец, мало ли испробовал? Ведь это не Мишка из прогимназии, взбесившийся при виде круглых форм солдатки. Правда, он был человеком горячим, игроком, задирой, всем кем угодно, но не бабником. Его любовные похождения напоминали классные работы на три с минусом, скорее этикет, обязанность, трудовая повинность, нежели страсть. В чем же дело? Сонечка была ли столь необычайной?

Мы затрудняемся ответить на эти вопросы, мы, право, предпочли бы промолчать, воспользовавшись примером онемевшего Михаила.

Мы вспоминаем черные глазки, стриженые волосы, курносость, бойкость чуть приоткрытых и сильно накрашенных губок, приятную припухлость оголенных рук, общий облик развязной парижанки или, если угодно, пажа эпохи Ренессанса, приобщенного к фокстроту и к тайнам Донторга, мы повторяем: да, конечно, хорошенькая, слов нет. Но не в этом суть. Как бы мы ни любили отеческой любовью нашего героя (пожалуй, никакой любви не заслуживающего), мы не можем разделять всех его безумств. Нам остается вместо лирических восторгов перед Сонечкой, которая, оставив пуховку, перешла теперь к карминному карандашику, деловито отметить, что в три четверти двенадцатого, находясь у Глотова на вечеринке, Михаил потерял голову, впервые почувствовав весь разор, всю болезненность, безрассудность, даже гибельность обыкновенной человеческой любви. Как часто бывает, эта любовь родилась внезапно, без предварительных трогательных бесед, без общения умов и справок о социальном положении. Она в две-три минуты трезвого и делового спекулянтика, который подсчитывал проценты, заменила глупым школьником, наивнейшим вздыхателем, достойным улыбки сострадания. Достойным и восхищения, ибо рядом с Сонечкой сидел не мелкий делец из Центропосторга, но Ромео. От волнения его глаза еще потемнели, они

казались глубочайшими дырами на очень белом, известковом лице. Дыхания не было. Интервалы между двумя ударами пораженного заразой сердца казались заполненными смертью. Он страдал. Еще ничего не сознавая, не успев даже подумать, что с ним, он все же был счастлив. Он ни за что не уступил бы этого страдания. Ноги его дрожали. Он явно переступал в иной, высший мир.

Сонечке его молчание надоело. Не задумываясь над причинами, презирая вообще всякие непонятные чувства, она заговорила:

— Что же вы молчите? Испугались, что я чересчур молоденькая? Не бойтесь. Это не мешает. Это даже в делах полезно. А я могу быть очень деловой. Меня пол-Москвы знает. Я могла бы заседать в Деловом клубе, только скучно: все доклады, а танцуют мало. Знаете, еще год тому назад меня так представляли: «Сонечка, дочка профессора Петрякова, знаете, тот знаменитый, с радио...» Ну вот, а теперь о папе говорят: «Отец той самой Сонечки...» Честное слово! К делу...

И Сонечка вынула из сумки уже не пудреницу, но крохотное самопишущее перо и блокнот.

— Я завтра увижу представителя Донторга. Что вы им предлагаете?

Михаил все еще молчал. Сонечка, ее рука, даже перо настаивали. Но он не помнил о бумазее. Он ни о чем не помнил. Он дал волю сердцу. Резко вскочив с места, он наклонился к девушке и угрюмо, отчаянно прошептал:

— Я от вас с ума сошел. Хочу тебя! Не понимаешь?..

Сонечка не удивилась, только в раздражении переместила свои сильно подрисованные брови:

— Нахал! И притом мальчишка!

После чего ушла танцевать с инженером. А Михаил продолжал стоять в углу. Он не решался взглянуть на нее. Он хотел уйти, но не мог. Он даже не испытывал обиды. Несмотря на свое самолюбие, он не думал об унижении, о том, что Сонечка, может быть, уже рассказала инженеру про его поведение, что на него начинают с любопытством поглядывать. Все это было безразличным. Он ждал приговора: жизни или смерти. Увидит ли еще ее? Подойдет ли она к нему? Простит ли? Он поступил с ней грубо, по-хамски, как с девкой

в пивной. Она же с головы до этого маленького перышка вся нежность, вся хрупкость. Если судьба над ним смилостивится, если Сонечка его простит, он будет с ней кротчайшим, он забудет не только о таких словах, о самом чувстве. Он не хочет ее. Не смеет хотеть. Он просит только о праве изредка встречаться, видеть эти губы, следить за их насмешкой, задыхаясь, глупея, погибая. Ведь это счастье!..

Сонечка, покончив в кухне с вопросом о бесплатном билете, занялась другими делами: пофлиртовала с агентом МУРа, предоставив ему несколько раз присосаться большими резиновыми губами к ее нервно подрагивавшему плечику, уделила четверть часа серьезной беседе с одним из спекулянтов о закупке (якобы для Госбанка) необходимых какому-то приезжему поляку долларов. Наконец, она решила заняться Михаилом. Как будто ничего между ними не произошло, игриво улыбаясь, она подошла к своему недисциплинированному почитателю.

— Опомнились? Вот это хорошо. Теперь займемся делом.

Михаил понял, что любовь требует от него большего, нежели обычные жертвы, большего даже, нежели тривиальная смерть, что он должен говорить о проклятых цифрах, вместо нежности и боли вытащить на свет чудовищную бумазею. Он не смел возражать, отказываться, он не смел и молчать: ведь это раздражило бы Сонечку. Он заговорил. Сентиментальность теперь не в почете. Блюстители узаконенного строя жизни, некоей общественной моды, деспотичной, как и всякая мода, заявляют, что материалистическое миросозерцание, а также устав «Лиги времени», противоречат анахроническому чувству. Мы позволим себе с ними не согласиться и заметить, что ни привязанность к цветам, ни заболевания, хотя бы корью, не зависят от программы и резолюций. На что уж Михаил был деловит, а вот и с ним случилось... Каждое слово, будь то «вагон», «расписка», «себестоимость», «проценты» — причиняло ему муку. Он исполнял сладчайшую арию, предназначенную для тенора, но вместо любви пел о бумазее. Это должно было растрогать всех. Кажется, даже вагон, обыкновенный, вполне бесчувственный вагон, в котором лежала бумазея, и тот сострадательно вздрогнул бы, заскрипел бы, услышав тембр голоса, эти слезы, с трудом сдерживаемые

и превращаемые в деловые термины. Но Сонечка была правоверней самих блюстителей нового стиля. Занимаясь делами, она не признавала никаких чувств. Ее плечико, подрагивая при прикосновении губ агента МУРа, повиновалось не влечению и не брезгливости, но только сухим велениям рассудка. Оно просто выполняло задание: Сонечке агент был нужен. Это, конечно, не означает, что она не знала прочих чувств. Нет, она умела и танцевать фокстрот, и отдаваться, точнее, брать приятных ей любовников, крепких, широкоплечих, напоминающих героев американских фильмов, пахнущих тройным одеколоном. Но это вне дел, после дел. Сейчас же, договариваясь о Донторге, она не вслушивалась в интонации Михаила. Ее интересовали исключительно цифры. Поэтому, когда Михаил, доведя свой подвиг до конца, изложив всю сущность дела, робко добавил: «Вы меня простили?» — она лишь рассеянно взглянула на его наивно торчащий чуб.

— Вздор! Но проценты маленькие. Мне не стоит ради этого возиться. Минимум тридцать, или я отказываюсь.

Михаил поспешил согласиться. Он, конечно, не думал о том, что работает впустую. Он даже не подумал о том, что скажет ему Вогау. Если она откажется от бумазеи, он ее никогда больше не увидит. Потребуй она все сто, он бы и то согласился. Цифры для него теперь так же мало значили, как для нее взволнованность дыхания, грузность пауз, весь доисторический, косноязычный язык любви.

Сонечка довольно усмехнулась, за тридцать процентов подарив Михаилу высокое наслаждение узреть ее мельчайшие, как бусинки ожерелья, зубки, записала в блокнот цифры и номера, потом ушла. Было уже поздно. Приближался для Глотова столь желанный час, когда он сможет остаться вдвоем с наездницей, которую многие неделикатно спрашивали: «Нам, кажется, по дороге?» — неизменно получая в ответ: «Нет, я еще немного посижу». Михаил в душе надеялся, что Сонечка выйдет одна. Ведь она пришла без спутников. Но не тут-то было! Она громко заявила, что едет с инженером. Конечно, билет в вагоне особого назначения чего-нибудь да стоил. Притом плечи у инженера были широкие. Вполне возможно, что он натирался одеколоном. Но, уходя, Сонечка вдруг сказала Михаилу:

— Да, я ведь забыла вас спросить...

Она увлекла его в темную кухоньку. Она была уже в шубе, и Михаил явственно чувствовал милый звериный запах меха. Несмотря на загадочность увода, на темноту и близость Сонечки, на всю свою страсть, он сдержался. Он послушливо ждал какого-нибудь нового вопроса о бумазее. Последовавшее окончательно сбило его с толку:

— Вам сколько лет?

Он преглупо ответил:

— Не помню.

Это было правдой. Он больше ни о чем не помнил. Тогда Сонечка снова презрительно фыркнула:

— Мальчишка! Завтра в Донторге все устрою. Пока.

И, говоря это, она теплыми сухими губами прижалась к губам Михаила. Когда же губы нашего героя поняли, что это значит, когда они, безумствуя, хотели ответить, Сонечки уже не было. В передней, смеясь, она шептала инженеру:

— Ну, не сердитесь! Я уже готова!..

Михаил шел по снежному пустому переулку. Он стонал и бредил. Слова его ничего не выражали, как те слова о бумазее, хотя теперь они были словами горя и ласки. Какое бессилие в словах! Они похожи на тепличные розы, с трудом выгоняемые садовником, на те розы, которые подносят дамам в ночных кабаках, где нет ни любования, ни простой жалости, где запах, созданный с таким трудом, даже не чувствуется среди табачного дыма и пота, где короткие мокрые пальцы мимоходом давят лепестки, как крошки хлеба, как женское тело, как всю нашу жизнь. Бедные человеческие слова! Мы ведь хорошо знаем их нищету, их беспомощность. Стоит ли годами бредить, забывая о своей жизни, о весеннем утре, о смехе подруги, стоит ли болеть всеми напастями наших героев, идти по этому переулку рядом с Михаилом, немея от его скорби, стоит ли писать, по многу раз перечеркивая фразы, маниакально ловя в крикливой тишине отсутствующие слова и проверяя их страдальческой гимнастикой губ, стоит ли быть писателем, автором книги о Михаиле, других книг, чтобы в ответ получать исконное молчание читателей и несколько рецензий, написанных руками, вполне родственными тем, что скатывают лепестки роз в шарики?

Нет, не будем преувеличивать значения слов, не будем вслушиваться в жалобы Михаила. С признательностью упомянем лишь о подлинной сострадательности снега. Как промокательная бумага чернила, он жадно впитывает в себя звуки. Он восстанавливает потревоженную тишину. А это немалое облегчение для одиноких чудаков, хорошо знающих и напряженность горя, и трагические лабиринты московских переулков.

НЕ ТО БЕСКРЫЛЫЙ, НЕ ТО КРЫЛАТЫЙ

Когда человеческие чувства находятся в зените, они охотней всего прибегают к молчанию. Эту истину узнал Михаил, и молчание было ему во сто раз легче, нежели все слова, будь то о любви или о бумазее. Соблюдем же должную паузу. На следующий день герой и героиня должны встретиться, чтобы обсудить ответ Донторга. Продлим эту ночь, огрызок ночи, блуждание Михаила и бесчувственный смешок далекой от него Сонечки, уехавшей с инженером. Пауза в романе, однако, трудная вещь, она не может быть белой страницей. Белые страницы ведь быстро переворачиваются, много быстрее, чем проходят бессонные ночи. Поэтому предпочтем возвратиться на время к некоторым, нами покинутым, персонажам, тем более что жизни их неразрывно связаны с жизнью Михаила Лыкова.

Прошло восемь месяцев с того дня, когда Артем, колеблясь между нежностью и брезгливостью, ухаживал за братом, потрясенным внезапной кончиной Ксении Никифоровны. Описание жизни нашего героя за этот период заняло более восьми глав. Сколько событий! Он успел и поспекулировать и покаяться. Он успел познать природу и любовь, дрожь азарта и дрожь страха. Он многое успел. Какой же тихой и невыразительной кажется по сравнению с этими главами жизнь Артема! Та же комната, в которую въехали еще два рабфаковца, те же лекции, только более усложненные, те же собрания с новыми вариациями дискуссий. Но жизнь — не театр. Ее волнения и страсти не всегда выражаются в быстроте действия или в необузданности жестов. Гениальнейшие мысли родятся порой

в незначительных, стриженных машинкой головах, а биение сердца не чувствуется под однообразием жилетов. Скупой север не знает ни ботанического мотовства, ни колесниц карнавала, ни живописности ежеминутных безобидных скандалов, что не мешает, конечно, страстям испепелять и северные сердца. Шхеры? Да, шхеры унылы и скудны. Но ведь и каросский мрамор, нагретый до тридцати градусов по Цельсию, не перестает быть камнем. Ах, эти слезы Михаила! Они так горячи. Почему же, глядя на них, никто не плачет, все только угрюмо морщатся?

За эти восемь месяцев Артем успел пережить высокую болезнь, подлинную трагедию, которая одна могла бы составить содержание прекрасной и трудной книги, тем паче что вместе с Артемом ее пережили тысячи других Артемов, наше юношество, наша надежда, этот спешенный, брошенный в аудитории и опешивший перед медлительностью времени, сумасшедший разведочный пикет. Традиционные болезни, которыми награждают обыкновенно авторы своих героев, изучены до мельчайших проявлений, будь то сомнения в божестве, несчастная страсть или губительное тщеславие. Не ими болел Артем. Одно определение этой болезни прозвучит психологическим неологизмом, непривыкшие глаза споткнутся о него. Однако, не смущаясь, скажем: Артем был болен надеждами и неудачами германской революции. Если газета здесь врывается в роман, заменяя лирические пейзажи брожением в Руре или хитроумным обходом, в виде установки золотой зарплаты, не мы в этом виноваты. Кто же не разворачивал в течение последних десяти лет газетных листов с той дрожью волнения, упований, страха, которые прежде допускались только при распечатывании любовных записок или неоплаченных счетов? Пусть Артем был крив на один глаз, пусть он был однодумом, однолюбом, зато это «одно» он видел, знал, любил.

Трагедия, пережитая рабочим классом Германии, известна всем. Это исконная трагедия проигранной битвы, со всеми ее деталями — от троянского коня (в деревянном нутре которого, на этот раз, сидели почтенные воротилы тяжелой индустрии) до абстрагированного героизма гамбургских подростков. Но вряд ли так называемая «широкая публика» не только далекой Европы, а и России, догадывается о том, с какой мукой ноябрьские неудачи Саксонии или

Тюрингии воспринимались комсомольцами, вузовцами, всей боевой молодежью нашей страны. На жидкие залпы стычек в Моабите отвечали болезненные содрогания десятков тысяч сердец. Сколько здесь было воспаленных глаз, отчаянных споров, бессонных ночей! Связанность судеб русской революции с мировой не осталась газетной фразой, она вошла в кровь, в кости этих людей. Германская революция стала их делом, их собственной жизнью. От исхода борьбы, которая велась в Дрездене или в Эрфурте, зависела живучесть нэпа, война или мир, личная судьба каждого комсомольца. И так как политические страсти не менее других сращиваются с подсознательными движениями организма, мы вправе сказать, что Артем даже физиологически воспринимал противоречивые, разрозненные, как перестрелка, телеграммы, заполнявшие тогда первые страницы газет. Будет или не будет? Комната, лица товарищей, лекции, химические формулы ежедневно менялись в зависимости от того, врывался ли северный Берлин в западные затоны, заставляя жалюзи опускаться и биржевые курсы дрожать, или, напротив, жуирская толпа этих парадных артерий праздновала новую победу хорошо вышколенного рейхсвера. Но, как мы уже сказали, трагедия переживалась Артемом молча, неприметно, с должной стыдливостью чувств, с дисциплинированностью поступков. Будь на его месте Михаил, он, наверное, отметил бы первые известия о близости германской революции ликованием, требованием немедленной ликвидации нэпа, пожалуй, чего доброго, бегством в Берлин, а неудачи быстро привели бы его, хоть и другой, идейной дорогой, туда же, куда он пришел, не интересуясь германской революцией, то есть к незавидной карьере мелкого нэпмана. Другое дело Артем. Он не знал, что с ним будет завтра, но он твердо знал: будет то, чего потребует партия.

Таким образом, за восемь месяцев многое пережив и многому научившись, он не переменился, оставался все тем же Артемом, прекрасным в жизни, хоть и скучным на страницах романа, от которого читатели всегда требуют исключительности, не желая примириться с величием «одного из многих».

В январский вечер мы видим Артема, как и двух его сожителей, склоненным над книгами. Приход чужой женщины, спросившей, где здесь живет Лыков, немало

озадачил их. К Артему приходила лишь одна неказистая вузовка, с которой он занимался совместно немецким языком. Как это ни странно, лирическая наружность Артема, мягкость глаз, шелковистость кудрей, предвещавшие ему жизнь, полную девических ласк, до сих пор не увлекли ни одной женщины. Вероятно, в этом он сам был повинен, каждым словом, каждым жестом напоминая, что его голова занята отнюдь не любовными помыслами. Несколькими, притом кратковременными, часовыми связями с женщинами, ни имен, ни даже лиц которых он не запомнил, романтическая сторона его жизни ограничивалась. Кто же мог прийти к нему поздно вечером? Миловидное лицо, голубые глаза, женственность движений усугубляли смущение.

— Здесь живет Михаил Лыков?

Ах, вот что, Михаил!.. Если Артем не знал этой гостьи, мы-то с нею хорошо знакомы. Мы только недоумеваем, почему вздумалось Ольге приехать в Москву? Ведь менее всего присущ ей действенный авантюризм. Плакать же можно и в Харькове. Тем более что давно уже, после достопамятного поцелуя руки, осознав до конца подлость Михаила, она решила порвать с ним. Что могла сулить ей новая встреча с нашим героем, кроме очередных унижений? Да, но ведь не одни здравые мысли руководят поступками людей. Нужно учесть и тоскливость кухоньки со светильником, и несдержанность женского сердца, и тяжесть одиночества, и темную животную грусть по теплу, пусть скупой, пусть на коленях выклянченной, ласки. В один из особенно тоскливых вечеров победило безрассудство, спешка укладывания жалкого скарба в роскошный, оставшийся еще от прежних, «спичечных», времен, кожаный чемодан и лихорадочное подталкивание замухрышки «Ванько», безучастного как к расписанию поездов, так и к чувствам Ольги.

Артем с жалостью оглядывал посетительницу. Она как бы составляла часть непонятного, подпольного, страшного мира, связанного с братом, мира глупых стихов, кабацкого дурмана, языка повесившейся Хоботовой, наконец, темных проделок, слухи о которых успели дойти до Артема. Невольно покровительственная нежность, хранившаяся в его сердце для недостойного брата, распространилась на эти голубые глаза, измученные ожиданием. Он выказал подлинную

участливость. Не допытываясь, для чего понадобился Ольге Михаил, с горечью думая, что и здесь дело не обошлось без обворожительных карих глазенок, он обещал помочь разыскать его. (Адреса он не знал, так как Михаил, после вычистки, прекратил с братом всякие сношения.) Ольга хотела уйти. На вопрос Артема, куда она направляется, последовало сконфуженное молчание. Она и сама не знала, куда ей идти. В Москве у нее не было ни родных, ни друзей. Впервые она поняла все безрассудство своего поступка. Она готова была направиться обратно на Курский вокзал, купить билет до Харькова и в омуте вагона утопить отчаяние.

Артем, однако, не пустил ее. Строго и вместе с тем ласково он заявил, что она должна переночевать здесь, с ними. Он уступит ей свою кровать, а сам устроится на полу. Целомудренно погасив свет, три товарища разделись, легли и быстро уснули. Ольга не спала. Ее ночь напоминала назойливостью образов, непонятностью ассоциаций, резкой физиологичностью мыслей ночь тифозного. Зачем она приехала?.. Кинет на кровать... Торчат пружины, и больно... «Люблю мужчин я рыжих...» Какая гадость!.. Песенки Майоля... Поцелует руку... Устрицы — говорят, что это вкусно. Плевок с мокротой... Утром уехать... Орел, Курск, Белгород... У этого мягкие волосы, если их тронуть — заплачешь... Умереть бы!.. Заказ — срочно, через час умереть...

Она, конечно, не умерла, но под самое утро забылась. Рабфаковцы встали, тихо оделись, ушли. Артем ждал, когда проснется эта странная гостья. При дневном свете тепличная белизна ее щек, не тронутых даже жаром сновидений, казалась ему особенно трогательной. Заметив, что Ольга начинает шевелиться, он вышел в коридор, сопровождаемый ироническими взорами всей каплунской семейки. Пробуждение Ольги было нелегким. Если сон является частью небытия, бесчувственным отходом, уклонением от часов, то возвращение к жизни способно вызвать и восторженное ржание и ужас: снова!.. Вкус к смерти, ночью осознанный Ольгой, не удовлетворился тремя или четырьмя часами забытья. Что же ей оставалось? Веревка? Сажени, отделяющие окно от мостовой? Но даже для этого требовалась воля. А ее не было. Казалось трудным шевельнуть рукой. Когда Артем вернулся, полагая, что туалет Ольги закончен, она по-прежнему лежала,

бессмысленно хороня свои глаза в широчайшей физиономии висевшего над кроватью Зиновьева.

— Вы больны?

— Нет.

Артем недоумевал. Он чувствовал отчаяние, тяжесть, безжизненность этой женщины, но не знал, как их побороть. Напрягаясь, ибо мысль о брате была ему сейчас сугубо неприятной, он решил утешить Ольгу предложением немедленно начать розыски Михаила. Последовало вторичное «нет», окончательно сбившее его с толку. Он не мог понять, что происходит в голове Ольги. Впрочем, если бы он даже ознакомился с ее мыслями, он все равно ничего не понял бы. Ольга и та не понимала себя. Что ей делать? Поезд, Харьков, «Ванько»? Для этого возвращения в уже скинутое, немилое форменное платье у нее не было ни сил, ни прежнего истерического упрямства. Вчера она знала, зачем приехала. Она готова была ползать на коленях, юлить и пугливо жаться, как старая паршивая дворняжка, лишь бы увидеть над собой сумасшедшие руки Михаила, проделывающие привычные пируэты порока и злобствований. Со вчерашнего вечера как будто ничего не изменилось. Она не узнала ничего нового о своем возлюбленном. Почему же сейчас мысль встать, побежать по улицам, разыскать в какой-то комнате Михаила и обжечься губами о его пламенную вихрастость казалась ей отвратительной? Слабостью ли это было? Силой ли? Кто знает? Между вечером и утром лежала ночь с ее разрозненными абсурдными мыслями, с убедительностью образов, с тошнотой от устриц, с подлостью выпирающей пружины, с рукой, навек обесчещенной «рыцарским лобзанием». Любовь пасовала, терялась. То, что, может быть, и являлось гражданской общечеловеческой силой, сознанием своего достоинства, наконец, не в пример оголтелому приезду, просто разумностью, все же было минутным креном любви, ее затмением, ущербом, немощью.

Так, молча, они находились друг против друга, разные, чужие, равно недоуменные. Снисходительность, ласковость глаз Артема трогали Ольгу почти до слез. Не избалованная Михаилом, она была особенно падка на простую человеческую участливость. Одна из коротких мыслей, ночью заставлявших ее биться в лихорадке, мысль самая легкая, почти житейская, ожила теперь: какие у него мягкие волосы!.. Вероятно, в этом

немалую роль играло противопоставление, страсть к другим, жестчайшим волосам, животный страх перед ними. Не задумываясь, поймет ли ее Артем, она слабо, болезненно попросила его сесть рядом и, высвободив из-под одеяла безжизненную кисть, начала бережно гладить действительно мягкие волосы. Она, конечно же, не догадывалась, сколь значительным окажется для ее судьбы этот непритязательный жест, в котором сочетались наивность ребенка с экспансивностью покинутой любовницы.

Простота являлась основной чертой организма, называвшегося Артемом Лыковым. Если его мысли покорялись известной дисциплине, то в физической жизни он был непосредствен и прост, как первобытный человек. Курьезнейшее сочетание, типичное для целого поколения: марксизма, американизма, расписания жизни по графам, лозунгов с десятком элементарных эмоций прапрародителей. Если для предшественников сердцевина чувств, хотя бы любви, была скрыта наслоениями веков, психологическими, этическими, эстетическими наростами, то теперь многие, оборвав лепестки, получили наглядную школьную схему: пестик, тычинки, завязь,— схему, вполне достаточную для продолжения рода, однако лишенную и цвета и запаха. Стихи о любви казались Артему написанными на чужом и притом мертвом языке, на какой-то сердечной латыни. Он реагировал на определенные возбудительные моменты точно, безошибочно, не зная отклонений. Видя женщину за работой, он не мог почувствовать к ней никакого влечения. Она являлась для него тогда товарищем, и только. Раздевать мысленно, то есть лишать женщину (не говоря уж о платье) покрывающих пол мыслей, жестов, маскировки, он не мог. Зато вид оголенности, буквальной или переносной, будь то купающаяся в речке молодуха или вечером, после чаепития, нежно улыбающаяся вузовка, действовал на него неизменно, как кислота на лакмусовую бумагу. Эта непонятная женщина, ласкающая его волосы, с близостью ее теплого от дремоты плеча, со всей темной и сонной бессмысленностью зрачков, пробудила в молодом Артеме вполне ясные чувства.

Ольга не сопротивлялась. Она испытывала безразличие, механичность передвигаемой вещи, может быть, даже известную сладость самоуничтожения, приближения, вследствие своей подчиненности и пассивности,

к прерванному утренним пробуждением забытью. Целомудренность примитивных ласк Артема предохраняла ее от преждевременного опоминания, от обиды или страха. Что касается Артема, то, оглушенный коротким и жестоким приступом страсти, он был далек от раздумий, оценок, выводов. Он даже не мог заметить безответности близкого тела, своим жаром он как бы нагревал его, создавая иллюзию разделенных чувств.

Так прошли эти четверть часа, в старину именовавшиеся «любовью», теперь окрещенные одной писательницей «бескрылым Эросом», а в общежитии называемые «халтурой»; Каплуны за стенкой пили кофе со сливками. Часовая стрелка напомнила: в десять лекция. Наконец настала та минута, когда необходимо что-либо сказать или, по крайней мере, приоткрыв глаза, взглянуть друг на друга, тяжелая минута резюме, оправданий, объяснений, обещаний, минута традиционных страховок и ликвидаций. Взглянула первой Ольга, и взгляд ее мог бы ошеломить любого, как будто ничего не произошло в течение этой четверти часа, глаза ее были залиты все тем же недоумением. Более того, рукой она по-прежнему гладила кудри теперь лежавшего рядом с ней Артема.

Он знал: нужно встать, пора на лекции. Но он боялся обидеть хрупкость, беспомощность застывшей на его голове руки. Он чувствовал, что голубая недоуменность близких глаз ждет каких-то иных жестов, может быть, слов. Осторожно высвободив свою голову, он со всей мыслимой мягкостью произнес:

— Я сегодня на лекции не пойду. Надо ведь вас устроить...

Ольга пропустила смысл этих слов, но нежность голоса дошла до нее. Разрядив настороженность ожидания, она позволила долго, всю ночь, все утро стучавшимся в глаза слезам выйти наружу. Артема слезы эти напугали. Он не знал, что ему делать, то пробуя закутать потеплее Ольгу, то поднося ей стакан воды.

— Что же вы, товарищ? Ведь ничего плохого здесь нет... Дело простое...

Последние два слова проникли в бесформенное сознание Ольги. Они заставили ее, интеллигентку, начиненную достоевщиной и «кризисами культуры», от неожиданности улыбнуться. Нет, здесь не было темнот ночей с Михаилом. «Лекции» здесь звучали не злой

издевкой, не надрывом, а естественным, будничным занятием. Жизнь представлялась решительно, запросто, не стесняясь ни своего кухонного запаха, ни угрей на носу. Оставалось либо помпезно умереть «по заказу», либо подчиниться. Ольга выбрала последнее. Полчаса спустя она пила чай с ситным хлебом, потом говорила с Артемом о занятиях химией, о событиях в Германии. К вечеру он устроил ее в комнате той вузовки, с которой изучал немецкий язык.

Шли дни. Считая неудобным, после происшедшего, заговаривать о Михаиле, Артем делал вид, будто Ольга приехала в Москву просто — работать, может быть, учиться чему-нибудь, хотя бы стенографии. Ольга сама была признательна за эту деликатность. Нет, она не забыла своего первого, подлинного любовника. Она и не разлюбила его. Наоборот, только теперь, познав иное, более чистое и человеческое, обладая шкалой для сопоставлений, она поняла, насколько органично, жизненно, неистребимо ее чувство к нашему рыжему герою. Но мысли о встрече с Михаилом больше не оживляли ее. Она знала, что ему нет до нее никакого дела, он давно нашел десяток других, живых и теплых, манекенов. И все же ее связь с Артемом, навязанная судьбой, казалась ей преступлением против Михаила. Как могла она теперь отдать на суд его опечаленных, даже оскорбленных глаз целованное другим плечо, то плечо, у которого однажды наш герой плакал неподдельными слезами жалости и умиления? Вспоминая эти слезы и не думая об обидах других, сухих, бесслезных, душных до задыхания ночей, Ольга чувствовала себя разоренной, нищей, недостойной даже грубого отталкивания любимой руки.

Она нашла при помощи Артема заработок. Она наладила жизнь, создав известный распорядок, заполненность часов, быт, который помогает человеку вынести любое горе. Чувства свои она тщательно скрывала, и Артем, не склонный к психологическим наблюдениям, думал, что она довольна жизнью, как он, как его товарищи, как все живые и активные люди. Вот только бы в Германии!.. Остальное приложится. Както Ольга пришла к нему. Было это вечером. Они беседовали о разном, о посетителях харьковской столовой, о стихах Маяковского, даже о театрах Парижа. Ольга сидела на кровати Артема, на той самой, где провела памятную ночь. Ряд быстрых ассоциаций, до-

полненных слабой улыбкой Ольги, заполнил Артема. Он ощутил несколько толчков сердца и, не ломаясь, запросто сказал своим сожителям:

— Ребята, выйдите-ка погулять. Мне вот нужно с товарищем наедине поговорить.

Неделю спустя повторилось то же самое. Связь приняла аккуратный характер. Артем был счастлив. Он привязался к теплоте определенного тела, оценил радость привычности, некоторую повторность жестов, лишенных неприятных развязок его прежних случайных встреч. Трудно определить состояние Ольги. Вернее всего его назвать длившимся с той ночи забытьем, омертвением, сведением жизни к цепи простых житейских отправлений, среди которых значились и ласки Артема, воспринимаемые ею тупо, но без брезгливости, родственные службе или дождю. Она даже забыла о том, что известные телесные сочетания могут требовать каких-то чувств «Дело простое»... Вся романтика была оставлена на долю одиноких часов, когда Ольга думала о Михаиле. Она как бы вторично, заново влюблялась в нашего отсутствовавшего героя, страшась его вспоминать, чтобы не повторить безрассудства харьковского отъезда, которое теперь могло бы стать для нее смертью. Весь цинизм, вся грубость Михаила, освещаемые тоской, оправдываемые вежливой чувственностью ее нового любовника, становились грустными, даже прекрасными, как стихи Лермонтова. Разве мог Артем так плакать, так буйствовать, так метаться из угла в угол? Артем работал. Артем ждал революции в Германии. Артем здраво беседовал с ней и столь же здраво, крепко, честно, всерьез обнимал ее.

Как-то один из сотоварищей, не желая в условленный вечер выйти на подневольную прогулку, проворчал:

— И чего ты с этой буржуйкой путаешься? Мало, что ли, девчонок?

Артем не на шутку обиделся. Он понял вдруг, что привязался к Ольге, что одно приравнивание ее к прежним его встречам оскорбляет хоть и не сентиментальное, однако далеко не бесчувственное сердце. Сурово осадив товарища, он не забыл этой минуты. Полночи он не спал, впервые обдумывая создавшееся положение, ища естественного оформления, нужных слов и достойных жестов. Порыв требовал известной традиционной обрядности, все эти костенеющие привычки ласк, встреч, близости

настаивали на философском или хотя бы на житейском, то есть паспортном, утверждении. Конечно, прежде всего он стал искать в памяти указаний извне, соответствующих директив или резолюций. С ужасом он заметил, что никаких партийных директив в этом вопросе нет, что он, таким образом, оставлен на самого себя, должен решать сам. Это могло довести до бессонницы даже невпечатлительного Артема.

Страшный пробел! Ясно, что религия — опиум для народа. Ясно, пожалуй, что некоторые писатели из так называемых «попутчиков», если не опиум, то столовое вино. Все это написано, одно на стенах, другое на страницах толстых журналов. Мы первые, вместе с Артемом, готовы приветствовать эту ясность и быстроту классификации, хоть и немало страдаем от нее. Мы понимаем, что гораздо важнее разгрузить мозги многих Артемов от мыслей, непроизводительно отнимающих время, чем щадить индивидуальные особенности десятка-другого литераторов. Все это так. Но сейчас от Артема требовалось иное: как ему быть с этой женщиной? Он перебирал различные, более или менее авторитетные суждения. Некий товарищ в журнале «У станка» заверял, что любовь — явно буржуазный пережиток, достойный феодалов, вроде покойного А. С. Пушкина. Другой, однако, притом много более авторитетный, не стыдясь, откровенно любил и Пушкина, и свою супругу. Третий доказывал, что все дело в потомстве и что вопрос о любви следует обследовать спецами из Наркомздрава. Артем, принимая во внимание восемь рублей и квартирный кризис, не мог с этим согласиться. Он также не удовлетворился мнением товарища, склонного к футуризму, уверявшего, что пассеистическую любовь следует заменить «красным спортом» и «механическими телодвижениями». Трудность этого, чисто эстетического, задания отталкивала его. Наконец статьи уже упомянутой нами писательницы тоже не устраивали растерянного юношу. Как он ни старался, ему так и не удалось определить, «крылатый» или «бескрылый» Эрос осенял его встречи с Ольгой. Личные наблюдения не способствовали ясности. Действительно, скажем со всей откровенностью, никакой программы в данной области не существовало. Иные, презирая инстинкты собственничества и институт брака, предавались, по мере сил и возмож-

ности, так называемой «свободной любви». Другие, изучив биографию Карла Маркса, утверждали, что свободная любовь является симптомом разложения буржуазии и что честный марксист обязан быть верен своей не менее честной половине. Нам известны общежития, где для предотвращения прочных и, следовательно, обременительных чувств каждый чуть ли не ежемесячно менял партнершу. Но нам также известен забавнейший казус, приключившийся, правда, в провинциальном захолустье, с одним коммунистом, который был исключен из парторганизации только за то, что развелся с третьей женой. Мы утешаем себя мыслью, что это соломоново решение было продиктовано не догматической привязанностью к браку, но вполне трезвыми соображениями: человек, в течение двух лет три раза сходившийся и расходившийся, слишком много думает о своей личной жизни, манкируя общественными обязанностями. Последнее было бы понятно и Артему, который упрекал себя за то, что голова его занята столь неподобающими мыслями.

«Проще!» — подумал он. И тогда действительно простейшее решение далось ему. Если советское государство установило запись браков, значит, оно за брак, и нечего выдумывать какие-то «механические телодвижения». Кроме того, став мужем и женой, они, может быть, добьются ордера на отдельную комнату, что и приятней и удобней, нежели путь с Якиманки до Покровки или выпроваживание товарищей на мороз. Дойдя до этого, Артем безмятежно уснул. Утром он направился к Ольге и безо всяких предисловий объявил ей:

— Знаешь что, нужно оформить. Если ты свободна, мы сейчас в загс сходим...

Ольга подчинилась этому, как подчинялась она ласкам Артема. Будничным ускоренным шагом направились они в учреждение, где барышня с кудряшками трогательно прижимала промокательную бумагу к различным событиям человеческой жизни. Были хвосты и на брак и на развод. В обоих ни улыбки, ни слезы не выдавали чувств. Воздух разрезала лишь зевота, эпическая зевота всех канцелярий мира. Ей были равно подвержены и брачующиеся, и разводящиеся, и барышня с кудряшками. Когда Ольга и Артем наконец дошли до стола, снабженные документами и взаимными согласиями, Артем, голова которого была уже занята мыслями об очередном докладе в партклубе, вдруг вздрогнул:

— Да, я ведь забыл спросить, как тебя зовут? Ольга Галина, а отчество?..

Проделав все формальности, они разошлись, каждый по своим делам. Дня три спустя они встретились. Все было традиционным, и товарищи Артема предусмотрительно отсутствовали. Но тоска Ольги в этот вечер никак не хотела смириться, она прорывалась то в беспричинных слезах, то в резких жестах отталкивания мягких до приторности волос Артема, то в страдальческой напряженности глаз, обычно убираемых прочь. Артему было больно видеть это. Он тщетно пытался утешить Ольгу обычной ласковостью, дойдя даже до несвойственного ему лирического абстрагирования и глухо проворчав:

— Ну, чего ты? Ведь я же... как это? Ну, словом, люблю тебя...

Ничего не помогало. Несомненно, в этот вечер перед голубизной глаз Ольги светились меланхоличные и наглые зрачки Михаила, своим жаром, пафосом, сугубой подлостью твердя о мыслимости подлинной, сладкой и темной любви, разоблачая ласковость, трезвость, душевную незаинтересованность ее записанного в загсе мужа. Но, как часто это бывает, Ольга не говорила о главном, ее томившем. Волнение выражалось во множестве несущественных упреков, в споре о каком-то неправильно понятом слове, в мелких придирках, в необъяснимости слез. «Проще!» — говорил себе Артем, на которого навалилась истерическая неразбериха женской тоски.

— Ну, зачем тебе твоя химия? — неожиданно, с явным раздражением спросила Ольга.

— Пригодится. Вредителей буду убивать. Сусликов. — Подумав, он добавил: — А нужно будет людей, буду и людей убивать...

Но, не слушая его, кусая подушку, чтобы не крикнуть, Ольга ей, этой жесткой студенческой подушке, никогда не знавшей ни едкости слез, ни горячечности бессонного дыхания, шептала:

— Мишка!.. Мишка!..

НОВАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ АНГЕЛА

Мы предлагаем принять поведение Артема Лыкова за образцовое. Он не был ни сухарем, ни вымышленным человеком-машиной, созданным необузданной фантазией утописта. Он умел вовремя

любить, быть нежным и участливым, он умел даже страдать от слез Ольги. Но все эти чувства резонно отодвигались им на задний план. Не в пример подозрительным героям других наших книг, как-то: Николаю Курбову или Андрею Лобову, прельстившему Жанну Ней, справедливо осужденным критиками, он знал место любви и предавался ей лишь в часы, свободные от работы, не пытаясь мистикой прикрывать физиологические эмоции. Встретил, одобрил, сошелся и, уважая существующий распорядок, запротоколировал все в загсе. Как это просто и мудро в своей простоте! Как недоступно нашему герою, проявившему свои чувства к Сонечке хамоватой выходкой и запоздалым раскаянием среди снегов Полуэктова переулка!

Вместо естественной связи, вместо монументального хвоста в загсе его ждали еще многие выходки, покаяния, бессонные ночи, бездельные дни, грубая, лишенная какой-либо формы, любовь. На этот раз Михаил не ошибся: он был действительно влюблен. Вопросы амбиции не играли никакой роли. Конечно, Сонечка ему импонировала шиком, разнообразием и элегантностью туалетов, запахом духов, самостоятельностью, независимой деловитостью маленького блокнота, где часы любовных свиданий чередовались с цифрами сделок. Но все же не в этом лежала суть дела. Какое-то колесико зацепилось. После многих иных страстей пришла эта. Остальное, то есть напряженность, исключительность чувства, вытекало из природы Михаила. Кто же не любит поехать за город, подышать свежим воздухом, но ведь не всякому придет в голову после первого живительного глотка озона возомнить себя муравьем. Как прав был покойный папаша, опасаясь за своего младшего сына! Именно таких водили, водят и будут водить по Львовской в Лукьяновку с парашами, ибо здесь талантливость, лавровые веночки, тосты на юбилеях, но и тюрьма, да, тюрьма здесь же, она рядом (по-современному «изолятор»)—тюрьма или стенка. Вместо нормального флирта Сонечке пришлось наскочить на нечто дикое, чрезвычайно неудобное, устарелое, на любовь, если и не с большой буквы, то в кавычках, на страсти героев дешевого романа, кричащего в киоске красочной обложкой. Когда Михаил в условленный час явился к ней за ответом Донторга, она успела позабыть о некото-

рых дополнительных обстоятельствах минувшей ночи: о наглости рыжего маклера и о поцелуе в кухоньке. Мало ли наглости на свете? Мало ли таких взбалмошных, ни к чему не обязывающих поцелуев? Мало ли, наконец, маклеров, хотя бы и рыжих? Она приготовила удовлетворительный ответ: бумазею, разумеется, взяли. На свои комиссионные она собиралась заказать норковую муфту и красные плетеные туфельки для фокстротирования. Она была в хорошем настроении. Вид Михаила, явно неудовлетворенного ее словами, вызвал в ней недоумение, даже досаду.

— В чем дело? Все устроено. В среду вы получите бумагу.

Михаил молча вышел. Он решил не говорить о своих чувствах. Их величина, а также скудость слов диктовали молчание. Пусть Сонечка думает, что он недоволен процентами. Михаил ведь знает, в чем дело. Он знает, как прекрасна, поэтична, как достойна умиления и даже прославления его скорбь. Не понятый миром, он ходил взад и вперед по Тверскому бульвару. Взглянув на заснеженный памятник Пушкину, он почувствовал, что слова все же необходимы, хотя бы тайные, обращенные к бронзе и к снегу, слова, разумеется, особенные, необычайные. «Сонечка, ты — любовь» или «ты — звезда» показались ему столь пошлыми, что он от смущения закрыл глаза. Ничего лучше он выдумать не мог, но на счастье вспомнил разрозненные строчки сочиненных им некогда стихов и стал тихо их повторять. Бессвязность слов великолепно передавала страсть, лежащую за пределами разума. Он наполнял слова горячестью дыхания, настоящей, почти телесной, болью, и, вылетая на волю, становясь хрупчайшими клубами пара, они были воистину прекрасны, достойны больного поэта из «кружка», достойны даже бронзовой статуи, эти слова любви.

Но вскоре Михаил устал от бесцельности объяснения впустую. Прошел уже час, и запасы героизма иссякали. Руки, сердце, все в нем требовало действия, возмущаясь бесплодностью шагов и непрактичностью декламаций. Предрешая вопрос о дальнейшем его поведении, походка из меланхолической сразу стала деловой. Он свернул на Малую Никитскую, где жила Сонечка. Он сначала напугал, потом рассмешил ее обвалом объяснения с его различными стилистическими пластами, где детские непритязательные слова

подлинного чувства терялись среди поэтических «пастушек» и даже «звезды Кассиопеи», среди «примата личности», «констатирования» и прочих отслоений последующих интеллектуальных лет. Сонечка смеялась весело, заразительно, в смехе ее участвовали и шапочка стриженых волос, и супрематическая вышивка на животе, и кончик туфельки. Но, будучи женщиной деловой, она быстро переборола естественную веселость: нужно решить, что делать с этим вакхическим маклером, ловким, по всей видимости, в перепродаже бумазеи и другого, но весьма наивным в сердечных спекуляциях? В жизни Сонечки имелись две графы, вмещавшие ее обширные связи. Целоваться и прочее приходилось часто, но по мотивам самым различным. Агент МУРа, представитель Донторга (тот, что, не задумываясь, приобрел знаменитую бумазею), Кравчик из Внешторга и многие другие значились в первой, чисто материалистической графе. Любитель-статистик, какой-нибудь обозреватель из «Экономической жизни», со скуки занявшись этой графой, смог бы легко перевести поцелуи Сонечки, ее часы и ночи на подписи, рекомендации, более того, на цифры червонцев. Сонечка любила независимость, платья от театральных портных (фотографии которых потом попадали даже в «Красную ниву»), пышные кутежи. Кроме того, несмотря на свои двадцать три года, она была уже достаточно опытна, чтобы не бояться нескольких лишних любовников. Когда возмущенный отец, благороднейший и бескорыстнейший профессор Петряков, случайно узнав об одной из подобных сделок, в сердцах обозвал свою дочь «проституткой», Сонечка пренебрежительно зевнула:

— Устарело, папа. Просто я теперь на хозрасчете.

Заботы о деньгах, однако, не исчерпывали ее богатой натуры. Боксер Шурка Жаров, контрабандно под видом красной физкультуры проламывающий любителям носы, не обладал ни червонцами, ни полезными связями. Но сколько раз Сонечка, направляясь после театра в его бедненькую комнатку на Самотеке, возвращалась домой лишь утром, с лицом явно тронутым тушью бессонной ночи и с умилением перед великолепием жизни. Что же, у Шурки Жарова были широкие плечи. У него было немало других интимных достоинств. С ним Сонечка отдыхала после Кравчика, после этого слюнявого карлика, который, вынь у него

бумажник, смог бы поместиться в обыкновенном ночном столике. Шурка Жаров был бесполезен, но ведь он значился в другой, во второй графе — он содержался для души Сонечки.

Новый знакомый, рассмешивший Сонечку своим лексиконом, необычайным смешением ультрасовременного словаря с помпезностью провинциального стихотворца, забавный чудак, шептавший, что он теперь «экспериментально на Тверском бульваре познал роковой свет Артемиды» (которую, очевидно, путал с Афродитой), никак не подходил ни для первой, ни для второй графы. Он был беден и дальше передней трестов не вхож. Деловая Сонечка могла им воспользоваться только для мелких комбинаций. Платить поцелуями было не за что. Что касается Сонечки «духовной», то он не пришелся ей по вкусу. Особенно ее отталкивала окраска: зеленоватость щек и вызывающий цвет шевелюры. Не всякой нравятся рыжие мужчины. Словом, ни с Шуркой Жаровым, ни даже с дублером Шурки, инженером Сахаровым, Михаил равняться не мог. Вторичный его приход, конфузливая дерзость признаний, наконец, истеричность рук, которые, пока губы бубнили нечто об Артемиде, раза три порывались смять новое платье Сонечки,— все это подсказывало радикальнейшее решение: выгнать. И все же Сонечка его не выгнала. Здесь было смешение и деловых соображений, и капризности молоденькой женщины. Михаил мог пригодиться: такие пронырливые провинциалы быстро выходят в люди. Для дебюта история с бумазеей проделана неплохо. С другой стороны, богомольное почитание, страстность глаз, даже выходки рук приятно щекотали тщеславие Сонечки. Ничего подобного до Михаила она не знала. Шурка, при всех своих достоинствах, страдал лаконизмом, предельной для него любезностью являлось похлопывание Сонечки по спине, сопровождаемое ворчанием: «Ты того!..» А этот рыжий дошел до Кассиопеи. Итак, Михаил не был изгнан. Правда, ничего из просимого он не получил. Его руки были с позором удалены, признания осмеяны. Все же одно присутствие Сонечки вдохновляло и поддерживало его. Засидевшийся до чьего-то настойчивого звонка и наконец (не без кокетства) выпровоженный, он унес тепло надежды, бодрость и решимость взять эту крепость длительной осадой.

Считая, что он выполняет хитроумный стратегический план, Михаил стал попросту вернейшим, хоть минутами строптивым, рабом Сонечки. С помощью его она обделала несколько рискованных делишек. Как-то незаметно Центропосторг превратился в ее штаб. Запротестовавший было Вогау получил немедленно в подарок две ночи и числился теперь «добрым другом» Сонечки. Михаил, однако, несмотря на всю свою преданность, не добился того, что так легко и просто далось Вогау. Он не мог добиться даже повторения поцелуя, перепавшего ему в первую ночь. Сонечка находила, что его «нельзя баловать». Зачем ей было утруждать себя обременительными объятиями, когда Михаил и без того служил за совесть? Кроме того, ощеренная, неудовлетворенная страсть Михаила нравилась ей, включая страх, когда порой, не выдержав своего послушничества, наш герой больно, до синяков сжимал ее пухленькие ручки.

Эта игра длилась долго без каких-либо существенных изменений. Дни Михаила напоминали горячку с чередованием романтической меланхолии, когда даже галстук или котлета казались ему призрачными элементами некоего потустороннего мира, и приступов бешенства, сжимаемых кулаков, солдатской ругани, летящих на пол флаконов или книжек. Он перепродавал чулки, подшипники, червонцы, трубочный табак с хладнокровием приговоренного к смерти. Его финансовые дела быстро поправились. Не только «Лиссабон», но и «Эрмитаж» теперь зазывали его к себе, чтобы в чаду «распошела» и кахетинского растворить архаизм неразделенной привязанности. Но крупные барыши он тратил на Сонечку, на ее платья, меха, духи. Столь деловитый в беседах с другими маклерами, с ней он становился карикатурно наивным. Что стоило ему, держа в одной руке оплаченный счетец за манто, другой привлечь к себе стриженую головку этого взбалмошного пажа Ренессанса и шепнуть: «за это — то» или «за то — это»,— словом, перевести на язык цифр сентиментальные повести своих одиноких ночей? Но он не делал этого. Он забрасывал свою богиню подарками, а после робко и в то же время нагло, как трусливый хищник, пытался обнять ее. Сонечка отгоняла его руки и, негодуя, требовала разрыва. Через час она, невзначай, говорила, как бы ей хотелось получить испанскую шаль. Может

быть, попросить инженера Сахарова?.. На следующий день происходило примирение, и Михаил смиренно целовал розовые пальчики, грациозно порхающие над смуглым шелком шали.

Как-то в недобрую минуту, когда Михаил от злости сухо плевался (в пересохшем рту слюны не было), он вбежал в комнату Сонечки с решением ликвидировать дело, безразлично как — червонцами или кулаками. Сонечка спала. Ее лицо, свободное от обычной косметики, поразило Михаила. Где же блокнот, Шурка Жаров, инженер, проценты? Перед ним лежала маленькая девочка, школьница, улыбавшаяся какому-то сентиментальному сновидению: материнской ласке, гаданию по одуванчикам (облетит? — не облетит?), может быть, первому вальсу. Умиляясь, Михаил вспомнил почему-то себя, маленького Мишку: какой он был невинный и розовый, когда Тема сажал его в детскую ванну! Все грозные намерения, разумеется, отпали. Он только нежно поцеловал ее ногу, белую, с легкой просинью жилок, выглядывавшую из-под дорогого кимоно (тоже подарок Михаила). Этот поцелуй был столь бескорыстен, столь легок, столь далек и от первой и от второй графы, что, не разбудив Сонечку, заставил сердце нашего героя томительно екнуть, сделать вид, будто оно не может больше биться, это сердце гнусного субъекта, вместившее на минуту редкостную чистоту.

Другой раз решительность Михаила спасовала перед несколько иными обстоятельствами. Он снова негодовал и снова плевался. Он уже ощущал приятность заломленных рук, унятого углом подушки крика, синяков, слез, достойной мести за два месяца. Не здороваясь с Сонечкой, он кинулся к ее недоступным плечам, но был осажен странным топотом. То, что он увидел, могло вывести из себя даже спокойного человека, а ведь Михаил и без того сходил с ума. Какой-то огромный детина, голый, повязанный лишь полотенцем, прыгал на одном месте через веревочку. Его физиономия была настолько идеально идиотична, что приветственная улыбка являлась лишь загадочным сокращением мускулов между сломанным носом и опухолью подбородка. Улыбнувшись, он со старательностью принялся за прерванное на секунду занятие. Сонечка даже раскраснелась от удовольствия: она-то хорошо понимала, что переживает Михаил. Но, делая вид, будто это — ничего не значащая встреча, она защебстала:

— Ах, вы ведь не знакомы! Это Шура Жаров, мой лучший друг. Я с ним, право же, отдыхаю душой...

«Лучший друг», бесстрастно глядя вдаль, продолжал свои непонятные прыжки. Сонечка, впрочем, сжалилась и пояснила. Это упражнение для дыхания. Что произошло? Михаил, готовый уже броситься на боксера, струсил, да, откровенно, самым постыднейшим образом струсил. Его чуб как-то сразу завял, а руки бессознательно искали дверную ручку. Но тут-то и ждало его самое страшное испытание: Сонечка, желая хоть несколько расшевелить Шурку, занятого куда больше регулярностью дыхания, нежели прелестями своей любовницы, удержала Михаила и вторично, как тогда в кухоньке, его поцеловала. Поцелуй, столь желанный, который мог бы стать залогом триумфа, сигналом к финальному штурму, наконец просто блаженством, вызвал в Михаиле лишь дрожь страха. Он оттолкнул Сонечку и, ничего не чувствуя, кроме ужаса перед медленно передвигающимися бицепсами боксера, бросился бежать. Когда он опомнился, страх сменился столь же стихийным стыдом, и на следующий день язвительность Сонечки породила уже не бешенство, а только откровенный румянец. Все осталось попрежнему. Прогресс касался не сентиментальной, но исключительно деловой жизни Михаила, перещеголявшего теперь изысками самого Вогау. Набожно помывшись (с патриархальной мочалкой), он впервые надел на свою волосатую грудь розовую шелковую рубашку. Хоть в чем-нибудь да Сонечка пошла ему впрок.

Дела навертывались и покрупнее. В очаровательной головке, требовавшей кисти флорентийского живописца, зарождались самые рискованные планы. Както вечером, прервав лирическое бормотание Михаила, Сонечка шепотом (от сознания всей важности вопроса, ведь в комнате никого не было) сказала:

— Есть возможности в Наркомпочтеле... Командировка за границу. Поедете вы. Кроме того, вам — половина. Другая — мне. Но дело сложное. Необходимо войти в доверие папы. Вы не знаете, какой это тупой человек! Радио, и только. Меня он считает воровкой и распутной. Честное слово! Вы должны начать к нему ходить, ругать меня за беспринципность, слушать, только попочтительней, как он шамкает о святости науки. Ну и так далее. Скучно? Зато, если выгорит: Берлин — раз, двести червонцев минимум — два.

А три? А три... Может быть, и другое. Например, я к вам приеду вечером. А уеду... Ну, Лыков? Когда я уеду?.. Может быть... Я ничего не обещаю. Есть шансы. Пока обрабатывайте папу. Ах, он такой дурак!..

И Михаил, очарованными глазами глядя на Сонечку, не находя других достойных слов, глупо, по старинке воскликнул:

— Вы... вы ангел!

ПРОФЕССОР ПЕТРЯКОВ. КВАРТИРНЫЙ КРИЗИС. НЕУДАЧНАЯ ЛЮБОВЬ

— Я стар и слаб. Когда я подымаюсь на пятый этаж, сердце уж буянит и замирает. Оно, кажется, репетирует близкую агонию. Но не в этом дело. Дело и не в лифте. Постарайтесь понять меня. Мы умираем. Мы сгорели раньше положенного. От пафоса и еще от пшена. Скоро останетесь только вы, молодые. Не думайте, что я протестую. Но я дитя прошлого, девятнадцатого века: я верю в прогресс, как бабы в угодников, то есть крепко и глупо. И вот из цепи вынули одно звено. Кто? Война? Революция? Этого я не знаю. Моя специальность физика, а не политика. Я только вижу, что происходит, и ворчу. Ворчать у себя на дому — это ведь не бог весть какой грех. Мне хочется, чтобы книги теперь не печатались на древесной бумаге, а вырезывались бы на камне, чтобы открытия, трактаты, стихи, даже газетное описание игры старушки Дузэ (помню — глядел и плакал) — чтобы все это спрятали в гигантский несгораемый шкаф. Я принял все. Я презираю эмигрантов, трусливых и блудливых зайцев, которые дрожат на бульварах Парижа в тигровых шкурах (и символ и мода — дочка говорила). Но пусть скорее устроят такой шкаф. Вы молоды, самонадеянны, сильны. Я готов любить вас. Но зачем вам философия, зачем вам стихи? Зачем? Скажите? Вам?.. Нет, даже не вам. Губерниям, волостям, деревне. Что скажут крестьяне, когда наконец догадаются, что можно заговорить? Им — математика? Да, конечно, четыре правила, сосчитать на базаре. Был такой крестьянский министр в Болгарии. Вы — человек политический, на-

верное, знаете лучше меня. Ну вот, так он причислил зубную щетку к предметам роскоши и обложил ее высоким налогом. Что же, он прав. Все правы. Значит, в Болгарии нужно поскорее положить модель зубной щетки в несгораемый шкаф. Мне один из ваших сверстников сказал: «Телеграммы по беспроволоке — это дело, а абстракцию вы, гражданин, откровенно говоря, бросьте». Я не обиделся. У меня одно оправдание: я человек старого закала, скоро умру. С новым я не боролся. Сразу в Октябре принял. Спец. И теперь принимаю — в душе — не только по-анкетному. А все-таки кольца этим не вставишь. Нас тысячи, десятки тысяч, да куда тут... Горько, молодой человек, умирать так, зная, что и ты, и твои мысли и сердце ни к чему, что новые, вроде вас, посмеиваются, неодобрительно косятся, а главное, плюют, плюют на тебя, что вот эти формулы через сто лет будут трухой, а через двести их начнут заново выдумывать... Ну, к чему это, скажите, к чему?..

Закончив патетическую речь, профессор Петряков снял роговые очки, причем глаза его проявили всю свою беспомощность, и подозрительно высморкался. Его собеседник, сидевший в темном углу, совершенно неожиданно скопировал жест профессора. Он даже задел платком свои глаза. Видимо, несмотря на хаотичность речи, несмотря на свою молодость, он понял боль Петрякова, и он заслужил дружеское рукопожатие.

Читатели, по всей вероятности, недоумевают. Что может быть общего между возвышенной, хоть и наивной трагедией старого выкормыша гуманистов и нашим героем, даже в лучшие свои минуты смотревшим на науку как на винтовку, дающую все — от реквизиции до хмеля победы? Он должен был бы посмеяться над простофилей, а не вытирать шелковым платочком глаза. Да, конечно. Но ведь не первой была эта беседа. Уже две недели почтительно приучал к себе профессора сочувствием по поводу житейских неурядиц, жаждой знаний, трепетом перед наследием прошлого (включая труды самого Петрякова, висевшую в его кабинете репродукцию Паллады и даже роговые очки) наш далеко не бездарный комедиант. Он успел войти в свою новую роль, потерять ощущение рампы, перестать чувствовать и вяжущий кожу грим, и неправдоподобность тона. Если Дузэ могла, умирая на сцене, доходить до потери пульса, если Бальзак, отрываясь от рукописи,

подбегал к зеркалу и охорашивался, в ожидании визита трагической героини «Шагреневой кожи», то что же удивительного в платочке, вполне натурально поднесенном к глазам? Михаил вправду соболезновал по поводу выпадения не совсем ему понятного «звена», разделял, насколько мог, скорбь ученого, тем паче что продолжающаяся неприступность Сонечки располагала его к печали. Наконец, эти беседы льстили его самолюбию, он становился чуть ли не поверенным ученого с громким европейским именем, почтительно повторяемым всеми, за исключением разве Сонечки. Это компенсировало его за любовную неудачу. Пусть вздорная женщина находит прелесть в идиотских прыжках Жарова, зато с ним, с Михаилом, беседует профессор Петряков, который не пустил бы боксера за порог кабинета!

Петряков действительно ласково обходился с юным романтиком, можно даже сказать, привязался к нему. Он не умел распознавать людей: ведь это, как и многое иное, не являлось его специальностью. Сухие отчетливые дни и бредовая судорожная напряженность бессонных ночей шли только на одно — на изучение возможности направлять хаотичность электрических бурь, как снаряды, с безупречной точностью. Что будут при этом сообщать радиостанции: приказы об умерщвлении, дипломатические кляузы или благородные призывы любви, клич умирающих Роландов, слезы Ярославны, инструкции для комиссионеров: скупить, повысить, понизить акции,— это не занимало Петрякова. Его недаром звали узким спецом. Но кто знает, какие кипы невостребованной нежности находились в этом сердце, не выносящем больше крутых лестниц? Кого он видел в жизни? Других ученых, занятых формулами и книгами. Покойную жену, которая интересовалась благотворительными лотереями, хищениями кухарок и галстуками любовников. Но книги и формулы были у него самого. А жену он терпел, как посланное судьбой неудобство, как терпел полотеров, мешающих раз в неделю работать, или мух с их эпической назойливостью. Больше у него никого не было. Сонечка? Да, конечно. Прежде ему казалось, что он ее любит, что она будет теплом, его связью с жизнью. Но теперь, думая о ней, он только жалко пришептывал: «Не удалась». Какой она была милой, когда прибегала девочкой в кабинет отца, чтобы рассказать ему о ката-

нье с горок или попросить пятиалтынный на фисташковую халву! Как случилось все последующее? Этого Петряков не мог понять. Процесс превращения невинной девочки в накрашенную особу, способную ради денег сходиться с мужчинами, не читающую никаких книг, кроме «Тарзана», презирающую работы отца, занятую странными, может быть и противозаконными, делами, казался ему загадочным. Он ведь не знал, какими глазами глядела невинная девочка на ценные подношения, получаемые мамой от своих покровителей. Он не знал и годов искуса, когда, оставшаяся после смерти матери без присмотра, семнадцатилетняя Сонечка приобщалась к житейской мудрости, кокетничая напропалую, а ночью, горько плача, спеша скорее потерять невинность, боясь мужских прикосновений, одновременно мечтая о героической любви и о модном коротком платье. Он не знал этого. Открытие, то есть визгливый выпад соседки Швейге: «За дочкой бы лучше смотрели! Какую сволочь она только к себе не водит»,—застало его врасплох. Услыхав же пренебрежительное объяснение Сонечки о «хозрасчете», профессорское сердце замерло, как будто оно одолело сто этажей. Значит, и дочки у него нет, никого...

Одиночество, и само по себе не легкое, для человека, перевалившего за шестьдесят, осложнялось двумя обстоятельствами: мыслями о явной бесплодности своей работы и тяжелыми нравами квартиры № 32. Первые были изложены Петряковым в его речи, обращенной к Михаилу, которую мы воспроизвели. Он не кривил душой, говоря, что принял революцию. Причем это не было простым приятием явления, а известным сочувствием. Но сведения его в этой области поражали примитивностью. Он твердо усвоил, что национализация заводов соответствует чувству естественной справедливости, и еще, что Луначарский весьма симпатичный и весьма культурный человек. Дальше дело не шло. Дальше он видел только хаос, невежественность того или другого вузовца, тупость переданного ему крохотного распоряжения и свою страшную отъединенность. Воспитанный на книгах, которые теперь изымались из общественных библиотек как вредоносные, он не мог понять ни этого изъятия, ни прочитанной где-то сентенции о классовой природе математики, ни пафоса единомыслия, ни воздуха, которым дышало новое

поколение, воздуха, насыщенного махоркой и строительной известкой, цифрами, дисциплиной, бранью, суровым добродушием, воздуха пустырей, где наспех, запоем строится какой-нибудь новый Нью-Йорк, поньюйоркистее существующего. Ему казалось, что он в безвоздушном пространстве. И мудрено ли, что он часто сбивался с тона, переходя от высоких опасений за будущее культуры к брюзгливым жалобам на отсутствие примитивного комфорта, соединяя то и другое в одно, вознося вопрос о квартире № 32 на неподобающие высоты?

Любой писатель, занятый своими героями, обитающими в нашей столице, вынужден учитывать значение квартирного кризиса, который является не только проблемой хозяйственного восстановления, но и психологическим фактором, зачастую определяющим чувствования и поступки сотен тысяч людей. Стоит лишь сравнить спокойствие, уравновешенность жителей Ленинграда, где в любой квартире две-три комнаты заколочены как ненужные (для экономии топлива), с нервичностью, даже озлобленностью москвичей, чтобы понять все значение квартирного кризиса. Может быть, Петряков, живи он в другом месте, не жаловался бы Михаилу на слепоту истории. Ведь квартира № 32, эта рядовая московская квартира, являлась поэтическим вымыслом жесточайшего человеконенавистника. На входной ее двери красовался длиннейший список фамилий с пометками: «звонить три раза» или «стучать раз, но сильно», «два долгих звонка, один короткий». Все двадцать семь обитателей квартиры должны были, прислушиваясь, считать звонки или удары, отличая долгие от коротких. Многие ютились в проходных комнатах. Можно хранить стыд день, месяц, но не годы. Раздевались, не обращая внимания,— пусть проходят. Но иногда находила злоба, и тогда, запирая дверь, принуждали соседа топотать в морозной передней. Жили, вопреки поговорке, и в тесноте и в обиде, оживляя будни сплетнями, ссорами, скандалами. Каждый досконально знал жизнь другого, знал ее во всех деталях, знал белье соседа, его любовниц, его обеды, его долги и болезни. Поражение частицы заставляло содрогаться весь организм. Обыск у одного, понос у другого создавали бессонницу двадцати семи душ. Кухня была общей, и меню каждого оценивалось с точки зрения этики, эстетики, а также возможности выну-

жденного переселения в Нарым. Все двадцать семь искренне ненавидели друг друга. Швейге, наблюдая вялость уходящего утром от Сонечки Шурки Жарова, негодующе шептала на кухне: «Она же его погубит, эта дрянь! Вы только посмотрите, он даже с лестницы сойти не может». Служащего Госбанка Данилова попрекали тем, что его жена изводит полфунта масла на обед: «Сразу видно, взяточник». Когда умер год тому назад муж Швейге, жена Данилова объяснила, что он умер от супружеской требовательности старой ведьмы. Коммуниста Чижевского долго побаивались, но, как только выяснилась принадлежность его к оппозиции, Швейге немедленно дошла до колкого замечания: «Кофейник нельзя в раковину выпоражнивать, засоряется, некультурно это...» История всех стычек могла бы составить увлекательный роман с выразительным названием «Квартира № 32», и нечего удивляться, если хоть в мудрой, но наивной голове профессора Петрякова эта история часто заслоняла историю великой революции.

Его не любили, несмотря на кротчайший характер, не любили за уединенность, за нежелание снизойти до общих страстей. Поэтому, хоть он и не раз публично отрекался от дочери («Прошу не смешивать»), хоть он и довел свою щепетильность до того, что часто, подголадывая, отказывался взять у Сонечки даже кусочек хлеба («Я честный человек, а не альфонс и не сводник»), его все же травили именно поведением Сонечки, этим козырем всех кухонных пересудов. Его новые штиблеты встречались шепотом: «Ага! Барышня наработала». Данилов бормотал прямо ему в нос: «Такую давно посадили бы, да вот папаша нужен большевикам, поэтому и терпят...» Уехать профессор не мог. Выселить Сонечку тоже не было в его власти. Он только по ночам грузно ворочался и пил воду.

Михаил был, пожалуй, первым человеком за все эти годы, не заявившим снисходительно Петрякову, что он устарел, и не попрекнувшим его Сонечкой, и Михаилу досталось множество ласковых интонаций, незнакомых ни слушателям профессора в вузе, ни жильцам квартиры № 32. Наш герой мог радоваться. Ведь среди лирической растроганности иных вечеров он не забывал и о своем основном задании: при помощи Петрякова получить лакомую командировку. Через месяц-два профессор должен был направиться

в Берлин с двойной целью: проверить последние труды германских ученых, искавших, как и он, возможности регулировать направление электрических волн, а также приобрести усовершенствованные аппараты для новой радиостанции. Сопровождать Петрякова предполагал некто Ивалов из Наркомпочтеля («для политического выпрямления линии»). Но требовался третий — деловой человек. Вот на это место и метил Михаил. Его сближение с профессором уже достигло такой прочности, что он решился высказать ему свои надежды. Петряков отнесся сочувственно («Вот там, молодой человек, увидите, что такое культура...»). Оставалось, чтобы втереться в Наркомпочтель, заручиться некоторыми рекомендациями. Для этого Михаил рассчитывал на Артеминого товарища Бландова. Все шло как по писаному. Михаил мог бы радоваться. К тому же Сонечка, выводя нашего героя в люди, натолкнула его еще на одно добротное дело: она познакомила его с директором «Югвошелка» Шестаковым, который был очарован плечиком Сонечки, этим, по его словам, «аппетитным кусочком Тициана». Деньги имелись. Предстоял Берлин с культурой, понимаемой Михаилом на свой лад, то есть с автомобилями, ресторанами и заграничными девочками. Чего же больше?

Но Сонечка... Душевные беседы — беседами, деньги — деньгами, сердце же Михаила продолжало оставаться сердцем глупого романтика, влюбленного молокососа. Здесь руки его не продвигались. Хоть вялого боксера сменил теперь Лукин, боевой статист из театра Мейерхольда, применявший на Сонечке все заветы биомеханики, Михаилу ничего не перепадало. На прямой вопрос, чем он хуже прыщавого и плюгавого Лукина, у которого не было даже пугавших нашего героя бицепсов Жарова, Сонечка усмехнулась:

— Не знаю. Прихоть организма. Хочется, и все тут... А с вами нет... Вот вы, например, рыжий...

Беспощадно разоблачая жизнь Михаила, мы вынуждены теперь упомянуть, как он робко вошел в парикмахерскую «бывших мастеров Леона», что на Петровке, и попытался приобрести там приворотный камень, то есть усовершенствованную краску для волос. Какое это расхолаживающее зрелище! Любовная трагедия легко могла перейти в сомнительный фарс, тем более опасный, что покрасить волосы дело десяти минут, а вернуть им природную окраску не так-то легко.

Поэтому мы искренне благодарны судьбе (или, точнее, самонадеянности Михаила), в последнюю минуту удержавшей его от непоправимого шага. Нам ведь предстоит рассказать о многих подлинных страданиях неуемного сумасброда, и перекрашенные волосы помешали бы должной серьезности тона. Рыжесть чуба навсегда неотъемлема от Михаила Лыкова. Итак, нам первым на радость, он не использовал приобретенную им в парикмахерской заграничную краску. Вертясь перед зеркалом, он вдруг улыбнулся, почувствовав, что он хорош, чертовски хорош, что именно пламенность шевелюры, в сочетании с минералогической безжизненностью кожи, придает ему загадочный и героический облик, что женщины должны лететь на него, как на лампу мошкара. Он с презрением откинул жалкую банку. Он даже нежно погладил свой чуб, как бы благодаря его за живописную удачливость. Сонечка?.. Но это вопрос не цвета волос, а количества червонцев. Разве она не обещала ему вознаграждения за берлинское предприятие? Ждать Михаил все же не хотел. Он решил потребовать аванса.

С этим он и направился к Сонечке. В комнате было полутемно. Сонечка попросила электричества не зажигать. Михаил не спорил, он и сам, готовясь к натиску, предпочитал отсутствие света, способного разоблачить его неуверенность, волнение, пожалуй, страх. Подсев поближе к Сонечке, он начал с поцелуя. Он был прежде всего удивлен: Сонечка не оттолкнула его, даже не обругала. Наоборот, она сама с явной охотой принялась его целовать. «Может быть, это от темноты, от того, что она не видит теперь моих волос?» — успел подумать наш герой, теряя способность трезво расценивать события. Вскочив, он поспешил скинуть пиджак. Он довел Сонечку до кровати. Там, однако, вместо предвкушаемого и заслуженного торжества его ждало вящее унижение. Он сначала нащупал, а потом разглядел мелкое личико Лукина, который лежал мирно, по-семейному, в ночной рубашке, и, видимо наслаждаясь происходящим, поджидал Сонечку, поджидал не зря, так как она немедленно легла рядом. Михаил повернул выключатель. Он был вправду страшен, так что Лукин, увидев красноту щек, вычерчиваемые руками дуги, натянул одеяло на голову. Сонечка же, убежденная в кротости вполне прирученного ею поклонника, улыбалась: она радовалась пикантной закус-

ке перед пресностью обычных ночей. Развязки драм, последние итоги ярости всегда бывали неожиданными для самого Михаила, эти пятые акты не им сочиняемых пьес. Здесь могло быть все: слезы, побои, убийство. Если отсутствовал револьвер, то ведь на столе соблазнительно посвечивала медная ступка, в которой Сонечка толкла грецкие орехи. Слабейшие чувства не раз заставляли Михаила кидаться на людей. Наконец, плюгавость Лукина исключала страх. Ясно было, что одним ударом Михаил прикончит его. Содрать одеяло и найти испещренный красными бугорками лоб труда не составляло. Прерванные поцелуи требовали продолжения. Казалось, он должен убить соперника и взыскать вожделенный аванс, за которым он пришел. Однако гнусность инсценировки парализовала его чувства. Он не раздавил Лукина, он спешно увел свои руки от соблазнительной ступки, повинуясь чувству брезгливости. Так обходят гусеницу, страшась ее раздавить. Даже губы Сонечки не притягивали его больше, они теперь сливались с прыщами Лукина, с его ночной рубашкой не первой свежести. Изобразив сарказм шаблонного театрального хохота, Михаил крайне неправдоподобно воскликнул:

— Спокойной ночи!

И выбежал на лестницу. Там холод и пустота сразу отрезвили его. Погасив гнев и столь несвойственную ему брезгливость, они оставили в силе страсть. «Дурак! — кричал теперь сам себе Михаил. — Не все ли равно, кто рядом с ней? Там нашлось бы место и для тебя. Долой предрассудки!» Он бросился к двери, он стучал, звонил, не забывая при этом о сложной сигнализации, установленной в квартире № 32. Так как было уже поздно, ему открыли не сразу. Наконец раздался испуганный голос Швейге:

— Кто там?

Дрожь этого вопроса передалась и Михаилу, вдруг почувствовавшему себя вором, ночным грабителем, рвущимся не к губам Сонечки, а к милиции и к протоколу. Вместо ответа он предпочел кинуться вниз. Он столкнулся с профессором, который, задыхаясь от этажей и от философических сомнений, связанных с преемственностью культуры, вызванных в нем очередным заседанием научного общества, тяжело подымался вверх.

— Как дела, молодой человек? — дружественно спросил Петряков.

— Дрянь. Фактически погибаю.

Не понимая, да и не стараясь понять слов Михаила, занятый своими унылыми мыслями профессор все же сочувственно хмыкнул:

— Вот как...

— У меня, знаете, папаша был. Ваших лет. С манишкой,— уже вовсе бессмысленно пробормотал Михаил, потрясенный, после всего происшедшего, уютом, теплотой профессорского голоса.

Слово «папаша» дошло до Петрякова, оно что-то пробудило в нем, заставило прислониться к стенке, даже снять очки.

— Вы говорите «папаша»? Да, это очень хорошо. Когда-то Сонечка милой такой была. Играла в серсо... А не удалась. Вышла прямо беспутной, как и все эти молодые... без чувств, деньги и деньги...

Странная была эта беседа на темной морозной лестнице, классическая беседа из старого русского романа. В голосе профессора уже слышалась не только теплота, но нежность, человеческая боль. Он был пропитан шершавой влажностью готовых хлынуть слез. Но Михаил не дал им пролиться, облегчив хоть несколько стариковское одиночество. Забыв о всех требованиях тактики, забыв о налаживаемой день за днем командировке, он воскликнул:

— Не смейте так говорить о ней! Она абсолютно чистая! Она прекрасная! А вот мне каюк!..

Дверь и ночь проглотили его дальнейшие признания.

РАБОТА, СОПРОВОЖДАЕМАЯ ЛИРИКОЙ

Одна минута может, конечно, разрушить сложное построение долгих месяцев, лет, веков. Но чем бы она ни была заполнена — гневом, самоотверженностью, подвигом,— все равно на следующее утро память о ней, этот звон убираемых бутылок, смятость постели или линялость флагов, чад расстрелянных ракет фейерверка или артиллерийской дуэли, сдается в архив, кладется в сентиментальную шкатулку, кидается профессиональным мусорщикам: историкам, психологам и поэтам. Начинается знаменитое становление, то есть комичное в своей торжественности

напяливание честного костюма, обязательно состоящего из пиджака, жилета и брюк, на человека, вообомнившего себя античным фавном или хотя бы экзальтированным босяком. О том, как это проделывается, сколько слез и недоброго смеха стоит, говорить нам не приходится: читатели это знают сами.

Михаил после ночных безумствований утром вернулся к деловой жизни. Он прежде всего пожалел о происшедшем на лестнице. Не оттолкнули ли его глупые слова о святости Сонечки щепетильного профессора? Сонечка тоже проснулась в дурном настроении. Что значил саркастический смех Михаила? Вдруг он бросит ее, не доведя до конца ни «Югвошелка», ни, главное, Берлина? Командировка требовала от обоих жертв, трезвого восстановления. Что же, Михаил поступил достаточно остроумно: принеся извинения за ночную невоздержанность, он окончательно завоевал сердце Петрякова чистотой, наивной ребячливостью своих чувств к Сонечке. Профессор только счел долгом прочесть отеческую нотацию:

— Жаль мне вас, молодой человек. Право же, она не достойна подобного отношения. Обещайте мне забыть о ней, вычеркните ее из памяти.

Михаил тотчас с готовностью ответил:

— Вычеркну!

Роль Сонечки была много проще. Стоило ей ласково потрепать неперекрашенный чуб и напомнить о том, что будет после Берлина, как Михаил уже позабыл о ночной рубашке Лукина. Все снова вошло в колею. Наш герой вел серьезные переговоры с Шестаковым о принятии для окраски большой партии шелка, принадлежавшей некоему Зайцеву. Дело хоть и подвигалось медленно, но сулило солидный заработок. Что касается Наркомпочтеля, то остановка была только за партийной рекомендацией. Михаил решил приняться за Артема и, пробудив родственные чувства, добиться записочки к Бландову.

Он знал со слов одного товарища, что Артем переехал на Большую Якиманку и как будто женился. Все это, по существу, его никак не интересовало. Лиричность сердца, так безрассудно расходуемая теперь на Сонечку, при мыслях об Артеме отсутствовала. Занятия, даже женитьба скромного вузовца не могли занимать Михаила, поглощенного чуть ли не государственными делами. Идя к Артему, он с досадой подумал,

что придется, приличия ради, вопрос о Бландове предварить скучными разговорами о том, как живется брату, что слышно о Германии, и тому подобными.

Вместо скуки, однако, его ожидало нечто иное, а именно неподдельное изумление: в указанной комнате он нашел Ольгу. Ее вид, это театральное напоминание о старательно забываемом прошлом, о проделках красноармейца и о клеенчатой тетрадке вузовца, прежде всего оскорбил Михаила. Зрелище показалось ему нарочитым, постановкой морализирующего режиссера. Отталкивая руками неприязненность воздуха, он как бы барахтался в дверях.

Ольга сидела на кровати. Увидев Михаила, она не вскочила, не вскрикнула. Легкий подъем плеч, наклон головы, эти едва заметные движения, напоминавшие смиренную агонию затравленного собакой зайца, одни говорили о ее состоянии. Молчание длилось долго. Наконец Михаил пришел в себя. Он решил обойти неприятную случайность, сделать вид, будто ее вовсе и нет.

— Ты здесь? Вот что... А где же Артем?

Ольга отвечала быстро, коротко, не задумываясь, как на допросе. Узнав, что это и есть жена Артема, Михаил не выдержал, расхохотался:

— Так! Здорово! Значит, по наследству? Что же, с Темки хватит. Он вообще подержанный товар любит. А у меня теперь такая особа... Шик! Дочь знаменитости. Красавица, ее вот один фотограф на Петровке даром снимал, для удовольствия, и еще карточки в витрине выставил. Можешь посмотреть. И любит же она меня...

Сам не зная зачем, Михаил с жаром принялся рассказывать о всех достоинствах Сонечки, он не только приукрашивал ее (что могло быть объяснено традиционной слепотой любви), но и сильно искажал характер отношений, перенося все чувства ветреной особы к Жарову, к Сахарову, к Лукину на себя. Эта ложь радовала его, придавала ему бодрость и уверенность. Он даже забыл, кто перед ним. Он вдохновенно импровизировал. Немота, сутулость, слезы Ольги не доходили до него. Кончив же свою романтическую поэму, он другим, вполне деловым голосом заявил:

— Ну, будет. Я ведь к Артему по делу пришел. Когда он дома бывает?

Не дождавшись ответа на этот, казалось бы, простой вопрос, Михаил наконец решил посмотреть: что

же с Ольгой? А поглядев, не раздумывая, твердой походкой хозяина, вернувшегося после долгой отлучки в покинутый дом, Михаил подошел к Ольге, обнял ее и дал волю инерции движений. Минут десять спустя, приводя себя в порядок у крохотного зеркальца, он задумался не на шутку, так что рука с хвостиком ярко-зеленого галстука, кокетливо подобранного под природные тона, застыла. Любопытство естествоиспытателя овладело им: зачем он, собственно говоря, все это проделал? О какой-либо страсти смешно было подумать. Серафическая голубизна глаз Ольги вызывала в нем досаду. Деловая настроенность требовала Бландова, а не бессмысленного в первобытной настойчивости чужого задыхания. В чем же дело? При чем тут Ольга? Рука с галстуком начинала походить на руку манекена. В конце концов он понял: жадность, эта добродетель авантюристов и романтиков, только жадность! Стол был накрыт, и хоть голода не было, хоть блюдо было не по вкусу, он снизошел, не прошел мимо. Ольга ведь казалась ему при любых обстоятельствах специально созданной для него, физиологическим резервом.

Эта догадка успокоила, но не обрадовала его. Явились опасения: так можно разозлить Артема и упустить Бландова. К тому же противно... Чувства Михаила успели рафинироваться. Он мечтал о Сонечке, только о Сонечке, совсем как в возвышенных книгах! Подобные объятия оставляли после себя тяжелый привкус обеда в дешевой столовке. Наконец, чего доброго, эта дура начнет проникновенно общаться, примет случайность, оплошность за лирический рецидив. Раздраженно смяв зелененький галстук, Михаил несколько раз прошелся из угла в угол. Это успокоило его. Поступок сам по себе не плох, даже хорош, альтруистичен. Для него — одни неприятности. Но для Ольги это — радость, праздник. Что же, он порадовал эту, в общем, несчастную женщину. Насчет дальнейшего можно застраховать себя. Сказать просто, без китайских церемоний: баста! Да и с Артемом еще неизвестно что выйдет. Может, это к лучшему. Наверное, дурак влюблен в нее. Значит, если поговорить серьезно с Ольгой, она подготовит мужа. Последнее его развеселило. Он даже улыбнулся. Он даже назвал неподвижно лежащую Ольгу «миленькой». А после этого лирического предисловия перешел непосредственно к делу:

— Слушай, Ольга, у меня к тебе просьба. Поговори с Артемом. Я, видишь ли, прямо с голоду дохну. Неприятности, ерунда, кто-то напакостил. В итоге я буквально на улице. Два месяца службу искал. Вот теперь подвернулось в Наркомпочтеле. Все хорошо, но нужна рекомендация. Вот у Артема есть товарищ — Бландов. Ты уж по старой памяти выручи. Состряпай...

Ольга все так же неподвижно лежала. Лицо ее было закрыто руками. Отсутствие слов, отсутствие даже глаз, отсутствие ее оценки и объятий и просьбы томило нашего героя. Эту немоту можно было толковать по-разному. Вдруг неблагодарная женщина обиделась на него? Ведь ни одним словом, ни одним поцелуем она не высказала своих чувств. Что, если в ее голове теперь вырабатываются хитрейшие козни? Что, если она пожалуется Артему, загубит все дело?

Михаил испробовал все: кричал, ругал Ольгу «изменницей», даже «блудливой кошкой», упрекал ее и за измену ему, так ее в душе любившему, и за измену Артему, он повторял все нежные слова, какие только знал, от «деточки» до применяемой им обычно к Сонечке «богини». Все было напрасно. Немота сгущалась, становилась катастрофичной. Тогда Михаил прибег к последнему радикальному средству:

— Что же, молчи, только я тебе одно скажу. Если ты с Артемом не поговоришь, мне конец: застрелюсь. Нет больше сил голодать. Я и револьвером запасся. Лучше уж сразу кончить...

Михаил добился своего: заглушенный подушкой, а также слабостью, раздался голос Ольги.

— Хорошо, я поговорю.

Тогда, деловито добавив, что ждет ее завтра с результатами, и для бодрости засунув два пальца в жилетный карман, он вышел. Он испытывал знакомое ему чувство удовлетворения после удачной, но нелегко давшейся сделки. Ольга для него теперь была бумазеей или шелком. Кто скажет, что он не честно зарабатывает свой хлеб?

Теперь мы позволим себе, расставшись с жизнерадостным героем, заглянуть в глаза Ольги, которых он так и не увидел, добиться от нее чего-либо более внятного, нежели молчание и добытое шантажом обещание посредничества. Описываемая нами женщина может во многих вызвать невольное раздражение. С пассивностью скорее мирятся в жизни,

нежели в книгах. Вещность Ольги, передвигаемой другими, зависящей от любого случая, от любой прихоти, кажется неубедительной на страницах современного романа, где нужно жить, действовать, махать руками, топиться или топить других. В жизни, однако, подобных женщин немало. К ним привыкают, как к вещам. Их раздевают, иногда ласкают, иногда бранят. Они штопают носки, рожают детей, ходят на базар. Кроме того, они читают романы, мечтают о жизни иной и прекрасной, безнадежно любят, втихомолку плачут и умирают, только в порывистой теплоте материнских поцелуев передавая своим детям тоску тридцати или сорока положенных лет. Обыкновенные женщины! Ольга? Она, как другие, не лучше, не хуже. Рядом с ней находился честный хороший человек, а она снова отдала свое тело и сердце нашему рыжему пакостнику. Что это? Глупость? Или неистребимое томление, жажда, пусть старомодная, но живая романтика, бегство от душевного уюта в классический притон, приятие дыбы, судьба многих и многих?

Она не ждала Михаила. Она не пошла бы к нему. Но все эти месяцы она ему принадлежала, как оставленный на хранение багаж. Когда же он случайно натолкнулся на нее, мог ли у нее быть выбор? Мысль об Артеме никак не останавливала ее. Следует сказать, что семейная жизнь этой пары не налаживалась. Брак принес лишь комнату на Якиманке, но не счастье. Комната являлась единственной связью. Столь ангелическая с Михаилом, Ольга оказалась способной на злобу, на сварливость, на повседневные пререкания и стычки, которые можно сравнить только с ноющим дуплом зуба. Это была, пожалуй, месть за свою беспомощность, глупая и жалкая месть. Сколько раз Артем тихо уходил из комнаты, только чтобы не слышать больше бабских нелепых упреков. Он чувствовал себя сдавленным, вытесненным из своей собственной жизни бытовой фантастикой, нелепицей физиологического отталкивания, когда тело, беснуясь, покорно молчит, но в отместку заставляет язык выкидывать множество загадочных и тупых упреков. Он не поддавался. Бесшумность уходов или недоумение («Да что с тобой?») являлись его единственным участием в этих сценах. Сдержанность мужа только усугубляла раздражение Ольги. Иногда Артем решал порвать с ней,

переехать к товарищу на Спиридоновку. Мысль о втором хвосте в загсе (о том, что на развод) заставляла его тогда меланхолично улыбаться. Но злобные выпады Ольги неизменно заканчивались слезами, и жалость, нежность, привязанность побеждали в Артеме все остальное. Он оставался. Он страдал, упрекая себя за недостойность этого страдания. Личная жизнь должна быть на заднем плане. Какой позор! Он, Артем, коммунист, может мучиться из-за каких-то бабьих чудачеств! Он шагал по улицам, судил себя, осуждал, осуждал за все, за радость того утра, за загс, за привязанность к этой женщине, за неумение наладить с ней честную рабочую жизнь. А подходя к домику, издали разбирая сквозь белесость снега теплую желтизну окошка, сливающуюся в его сознании с волосами Ольги, он терялся, чувствовал, что слабеет, плошает. «Проще. Только проще!» — повторял он сам себе.

Но этот прекраснейший дар, простота, столь легкая в книгах или в статьях компетентных товарищей, требовала в жизни героизма, большой любви и большой воли. Особенно тяжелы были последние недели. Отвращение Ольги к мужу дошло до Артема.

— Ты, может, кого-нибудь другого хочешь?

Не задумываясь, она солгала:

— Нет.

Она солгала не от страха и не от стыда. Ее чувства, болезненные и острые, не выносили дневного света. Для признания требовались экзальтация, исключительность одной минуты. На простой же вопрос, поставленный трезво, деловито, за ужином, вроде как: «Может быть, ты колбасы хочешь?», она могла ответить только ложью. Артему эти дела казались и вправду простыми, житейскими. То, что он страдает именно из-за бессмысленности своего чувства, не доходило до его сознания. Мысли были ясными: другого — иди к другому, меня — оставайся, и хватит, нужно работать, а не беситься с жиру. Поэтому ответу Ольги он поверил. Отношение к своим ласкам он отнес за счет нервности жены и решил на время от них воздержаться. Он был молод, спал рядом с Ольгой, все это ему давалось не легко. Приходилось порой и ночью мысленно повторять магическое: «Проще!»

Так они жили. Утром Артем ушел в вуз. Ольга чинила белье. Явился Михаил. Налаженное равновесие было опрокинуто одним движением руки нашего

героя. Как бы ни были жестоки хвастовские рассказы Михаила о Сонечке, как бы ни были цинично конспективны его ласки, все это после пережитых месяцев, после ночей с нелюбимым мужем, показалось Ольге исходом, спасением, радостью, сказали бы мы, если бы не боялись вызвать смех читателей: «Хороша радость!» Да, хороша! Разбирайтесь сами в болоте, где всего вдоволь — и сентиментальных незабудок (для героев баллад), и откровенной вони, и тумана, столь увлекающего импрессионистических живописцев и жаб, жирнющих, едва передвигающихся, наподобие дам, важных жаб, от которых, по поверию, остаются на руках противные бородавки, где вдоволь всего, в болоте, называемом для краткости, а также для непонятности, «любовью», как назывались в средние века «Индией» все еще не открытые страны. Разбирайтесь, если вам охота. Мы же пасуем. Мы пасуем перед тихой и ласковой улыбкой, которой встретила Ольга в тот вечер мужа. Это не описка: улыбку, а не слезы, застал Артем. Он сперва удивился, потом обрадовался. Не думая допытываться, чем эта улыбка вызвана, он и сам улыбнулся: Ольга успокоится, наладится совместная жизнь, учение, работа, борьба.

Ольга не сразу заговорила о Михаиле. Она долго и тщательно проверяла, достаточно ли прочна улыбка мужа. Зная, что просьба возмутит Артема, она старалась создать атмосферу беззлобности, уюта, некоторой душевной лени, в которой даже самое рискованное слово «Бландов», утратив резкость контура, станет терпимым. Ее поведение, выбор слов, паузы — все было обдуманным, и превращение сентиментальной мямли, тургеневской героини в ловкую особу, в героиню совсем иной литературы, в любовницу, занятую карьерой своего дружка, сочетающую пыл адюльтера с трезвым расчетом, может быть объяснено лишь силой все той же «любви». «Застрелится!» — эта неотступная мысль делала из Ольги Сонечку, принуждала ее каждым жестом, каждой улыбочкой лгать, лгать гадко и зло человеку, в своей наивности равному ребенку. Она все сделала. И все оказалось тщетным. Как только дошло до Бландова, Артем насторожился. Он почувствовал, что это новая Мишкина проделка. Он уперся. Нет, ни за что! У него нет работы? Артем подыщет ему, но такую, чтобы не было простора его непосед-

ливым рукам. «Мишка — пропащий» (это Артем сказал с горечью, но твердо, как Петряков говорил о Сонечке: «Не удалась»). Брат? Конечно. Но можно ли говорить о чувствах? Кому какое дело до боли Темы, нянчившегося когда-то с маленьким Мишкой? Сюсюкать не приходится. Речь идет о работе, то есть о партии. Мишек нужно выкорчевывать. Сразу. А боль — это дело частное. Так думал, так и говорил Артем. Большего Ольга от него не добилась. Ей пришлось замолчать. Ей пришлось лечь рядом с этим чужим и жестким человеком, который являлся судьбой, палачом ее рыжего идола. Артем спал. Ровность его дыхания оскорбляла Ольгу, она казалась ей ходом часов, живых часов в рубахе, отсчитывающих радости и муки людей, жизнь Михаила, жизнь Ольги: еще, еще. Как она скажет завтра о неудаче? Нужно, прежде всего, отобрать револьвер...

Некоторое чувство справедливости проявила судьба: далеко не веселый вечер провел и Михаил у своей Артемиды. От бодрости засунутых в карманы пальцев не осталось и следа. Шло обычное унижение, то есть кокетливые приготовления к визиту нового избранника, американского журналиста Саймсона: фабриковались губы и ресницы, обдуманно надвигался на лампу абажур, выбиралась пижама, наиболее гармонирующая с освещением. Присутствие раздраженного Михаила оживляло Сонечку. Она дурачилась. Она даже прогулялась тушью по оранжевым бровям своего поклонника. Михаил выходил из себя. Он было попытался воздействовать на Сонечку реляцией о своем утреннем налете. Но, проявив подлинную широту взглядов, Сонечка добродушно посоветовала нашему герою:

— Вот вы и ступайте к ней. Пора. Сейчас Саймсон придет.

Звонок (два коротких, один долгий), не разрешив сомнений Михаила, заставил его, однако, покинуть малогостеприимный уголок. Как и Ольга, он провел дурную ночь, пил из рукомойника воду, плевался, злобно ворчал и шлепал босыми ногами по холодным половицам.

День для него начался с мысли о Бландове: выйдет? нет? В одиннадцать, как было условлено, явилась Ольга. Не здороваясь, он метнулся к ней:

— Ну?

В первый раз Ольге пришлось, хоть косвенно, за другого, отказать Михаилу. Она долго колебалась. Нелегко ей было выговорить:

— Не хочет.

Руки Михаила упали, как в обмороке. Расстроенный, он отошел к окошку. Кто же, если не Бландов? Темка — сволочь! Налечь на Петрякова...

Ольга, жадно следя за мельчайшими движениями рук Михаила, думала только об одном: помешать, спасти! Виновато подойдя к нему, она шепнула:

— Я, может быть, другое надумаю. Только обещай, что ты не умрешь...

Эти слова застали Михаила врасплох: он обмозговывал, как бы заставить профессора найти соответствующие рекомендации. «Умереть?» Михаил расхохотался. Он забыл о своей вчерашней угрозе. Мысль о смерти показалась ему исключительно глупой, как выходка клоуна.

— Нет, тетушка, мы еще поживем. От таких вещей люди не умирают.

Ольга гадала, что это: нервический смех самоубийцы или действительно перелом к жизни? А Михаил, глядя на нее, забыл о Петрякове. Почему вот эта здесь, рядом, готовая всегда и на все, эта, а не Сонечка? Где же смысл? А Сонечка пускает к себе паскудного американца, каждый вечер меняющего девочек, не его, нежного, симпатичного, преданного ей навек. Чепуха! Чьи-то дрянные выходки. Злоба нарастала. Он кинулся на Ольгу. Он мстил ей за ту, другую, с припухлыми, тщательно изготовленными, недоступными для него губками, этой бледной, чересчур натуральной, послушной, мстил за страх перед Шуркой Жаровым, за ворот ночной рубашки биомеханика, за бумажник Саймсона, беременный долларами, за широкие плечи и черные волосы многих других, за мороз и одиночество лестницы проклятого дома на Малой Никитской. Наконец-то он отвел свою душу. Его больше не тормозили мысли о Бландове или об Артеме. Дело перешло на чистые чувства. Здесь он показал себя. Он превзошел все харьковские ночи. Он узнал скверную радость мучительства, все ее градации от огромного желания, обладая, уничтожить, от страсти к пустоте, которую оставляет после себя кочевник, до подлых забав развратного старикашки. Все это сопровождалось таким напряжением, таким подлинным отчаянием, что бедной Ольге, не понимавшей цепи, которая вязала мускулы боксера и ее заламываемые руки, показалось даже, что Михаил ее любит. Иллюзия, впрочем, была недол-

гой. Удовлетворенный, но не успокоенный, Михаил ревел теперь от боли и злобы:

— Ты — паскуда. Со всяким согласна. Темка или я — тебе все равно. А Сонечка, та святая...

Неуместности последнего выражения на устах Михаила, хоть и вычищенного из партии, но все же сдавшего экзамен по политграмоте, не почувствовали ни он сам, ни Ольга, как не чувствовали они противоестественности, враждебной отчужденности дневного рабочего света, обыкновенного света среды или четверга, когда миллионы трудятся, то есть поддерживают густым дыханием налаженный распорядок, а два, три или десять погибают.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ГНИЛИ

Михаил налегал на Петрякова. Старик медлил: не то он вправду забывал, не то колебался. Несколько утешило Михаила удачное завершение первой сделки с Шестаковым. Кроме полученных червонцев, он учитывал и солидность предприятия. Это не случайный трюк, вроде бумазеи. Здесь можно осесть, пустить корни, сделать из окрашивания частного шелка на госфабриках высоко расцениваемую специальность. Берлин, однако, продолжал манить его и приятностью самой поездки, и возвращением. С Сонечкой ведь все обстояло по-прежнему. Пожалуй, разряжаемый свиданиями с Ольгой, он вел себя несколько спокойней, больше предвкушая грядущий триумф, нежели добиваясь непосредственных подачек. Ольга, таким образом, в конце концов оказалась ему полезной, даже без Бландова. Думая о ней, Михаил испытывал известную признательность. Он решил до отъезда держать ее при себе. Потом будет Сонечка, и заместительница станет излишней. Комбинация не шла вразрез с романтикой, оставаясь законной, даже моральной.

Расчеты были разрушены одним вечерним, не в назначенный час, посещением Ольги. Своевольность прихода, решительность движений, наконец, первые же слова («Мне с тобой нужно поговорить») указывали, что это не обычное любовное свидание. Михаил приготовился к упрекам, к ревности, может быть, и к слезам.

— В чем дело? Чего ты пришла? Я занят.

— Прости. Четверть часа. Мне необходимо тебя предупредить. Во-первых, я к тебе больше приходить не буду. Во-вторых, мне придется обо всем рассказать Артему.

Михаил вскочил. Он готов был терпеть неизбежность своей боли, надменность Сонечки, одиночество. Все это были хоть и горькие, но возвышающие чувства. Слова Ольги сулили иное. Пусть не приходит. Черт с ней! Только не Артему!.. Вместо трагедии — тысяча неприятностей. Ни за что! Он ясно представил себе, как Темка взглянет на него. Он негодовал. По всей вероятности, он и трусил, хоть не сознавал этого. Ведь он всегда побаивался брата. Вдруг Артем убьет его? Или излупит? Он кричал на Ольгу. Он запрещал ей. Он грозил, что сейчас же убьет и ее и себя. Видя, что ничего на нее не действует, он даже прибег к лирике: как можно интимное счастье делать общим достоянием? Но Ольга оставалась непреклонной: она должна сказать. Тогда в изнеможении Михаил свалился на кровать. Бледные щеки теребила конвульсия. Ольга села рядом. Нежность к этому сумасшедшему ребенку заставила ее наконец заговорить.

— Ты пойми меня. Я ведь тебя во всем слушалась. Но теперь нельзя иначе. Дело в том, что я...

Михаил поднял голову, он оживился, даже просветлел. Загадочность упорства уничтожала его. Теперь он понял, в чем дело. С конкретной бедой он умел бороться. Им овладела деловитость.

— Это чепуха. Ты бы так сразу сказала. Мы это в два счета устроим.

Он задумался. Ольга ждала вспышки гнева: она боялась признаться ему, боялась его на все способных рук. Кроме страха, в ней, правда, прозябала и глупая надежда: вдруг Михаил обрадуется, улыбнется, ласково погладит ее. Ведь бывает же это с другими. Стоит прочесть любой роман. Понятно, Михаил не такой, как все. Но кто знает? Если она скажет, он может ее убить, но может и приласкать, может одарить не ее, а эту новую жизнь любовью, может в одну минуту сделать Ольгу счастливой, самой счастливой на всем свете. И вот ни ярости, ни ласки. Озабоченный голос. Шаги из угла в угол, назойливые и сухие, как счет костяшек. О чем он думает?

— Пустяки. Просто ты Темке скажешь, что это его ребенок.

Вот о чем думал Михаил! Только зависимостью от него Ольги, приспособлением этой, скорее идеалистической, натуры к трезвой гнусности нашего героя можно объяснить последовавший ответ: не слезы, не более соответствующую положению пощечину или возмущенный уход, но ответ в тон:

— Нельзя. По времени не выходит. Я ведь с ним теперь не живу...

На этот раз Михаил действительно разозлился. Поведение Ольги он нашел как бы нарочно рассчитанным на причинение ему, Михаилу, всяческих неудобств. Что за фантазия? Почему это она не живет? Как будто одно мешает другому! Пусть сегодня же бросит эти повадки. Тогда все остальное приложится. Две-три недели — пустяки. Артем не такой человек, чтобы с карандашом в руке высчитывать, когда он последний раз целовался. Словом, ерунда! Итак, он благословляет Ольгу на тщательное выполнение супружеского долга. А через две недели она сможет порадовать мужа и результатами...

Ольга, однако, не разделяла легкомыслия Михаила. От предложенного выхода она решительно отказалась. Она и не искала другого, готовая принять всю надвигающуюся тяжесть на себя. Занятость чем-то новым давала ей известную устойчивость. Центр жизненной энергии, до сих пор находившийся извне, в руках или в чубе Михаила, переместился. Мысль о физической близости с Артемом теперь казалась ей особенно оскорбительной. Не найдя в Михаиле нужного, она готова была по-прежнему служить ему, как вещь, но непримиримость уже накапливалась. Глядя в ее глаза, легко было прощупать завязь зрелых чувств. Не все ей можно было теперь продиктовать. На этот неожиданный отпор и натолкнулся Михаил, совсем сбитый с толку кратким отказом Ольги. Тогда он преподнес ей новое, радикальнейшее решение. Изложил он его просто, без прикрас, употребив для этого страшное словечко, указывающее, что недавнее преступление, «смертный» грех, стали бытом,— словом, хорошо знакомым, по своей горькой колючести, и вузовкам, и работницам, и совбарышням (безразлично — от «крылатости» или «бескрылости» ночей, оплачиваемых их кровью, безразлично — и от промокашки загса), простенькое, чудовищное слово:

— Что ж, тогда «скребку».

Ольга ощерилась. Ее лицо, неизменно приветливое до хронической улыбки, приняло звериный оскал. Она готова была скорей умереть, нежели выдать свою, воистину окаянную, радость выносить дитя бредовых ночей, лишенных нежности и воздуха, дитя Михаила, может быть, с таким же чубом, с такими же хваткими руками душителя или самоубийцы. На приглашение Михаила ответило прежде всего ее тело, обычно мягкое, как тесто в руках кондитера, теперь подобранное, готовое к защите, к животной борьбе. Право, даже ногти ее как-то заострились, не говоря уже о глазах, легко перешедших от тургеневской элегичности к тусклому посвечиванию разъяренной кошки. Как будто Михаил являлся хирургом, то есть непосредственно врагом, похитителем. Нет, этого не будет! Ясно? Можно было у Ольги отнять книги или совесть, можно было вместо оперной или библиотечной любви преподнести ей сальные шуточки буяна или его же ремень, заставить уверовать в пафос хамства, заставить лгать, гаденько лгать с расчетом,—все это было в пределах возможности. Человеческая душа послушливо сжималась или растягивалась, как резина, приучилась к строго нормированному дыханию, вмещала чужие миры, темные, жестокие, пещерные, сочетание незабвенных стишков капитана Лебядкина с ароматом освежеванной туши. Однако, с радостью заметим мы, и здесь имелись пределы, не условные, но глубоко органические пределы. Это выражение лица, твердость губ, отталкивающую сухость зрачков понял бы Артем. Не на такой ли отпор нарвалась Ольга, упрашивая мужа дать записочку к Бландову? Конечно, причины были разные: партия, революция, история, здесь же почти воображаемая плотность еще не ощутимого зародыша. Но мы радуемся самой непримиримости, возникновению отказа там, где, казалось бы, уже нет ни воли, ни сил, а только всепокрывающая инерция, тряска, прием и отдача бессмысленных толчков автобуса, в который свалены двадцать или тридцать человеческих жизней.

Михаил почувствовал перелом. Ему стало неуютно с этой женщиной, доселе безропотной. Он все же пытался переубедить ее. Он вооружился логикой. Ну, что в этом плохого? Даже государство терпит. Все делают. Пусть Ольга спросит товарок. Плевое дело! Каждой приходилось. И не раз. Опасности никакой. Нужно решиться. Не рожать же ребенка без денег, даже без

квартиры, еще одного злосчастного сопляка, Мишку, с его играми на базаре, побегушками и прочими прелестями.

Ольга не спорила, но лицо ее, сохраняя все ту же подобранность, ясно говорило, что ни логика, ни красноречие не властны над ней. Доводы Михаила казались ей вздорными, ребяческими. Как будто она сама этого не знает? Шла невыгодная для Михаила игра. Карт он не видел и крыл не ту масть. Она ведь не рассказала ему, что два месяца тому назад сама прибегла к столь расхваливаемому им способу. Тогда ее ничто не остановило: ни страх, ни этика. Как тысячи, как десятки, сотни тысяч других, она, не задумываясь, погасила бессмысленность первого утра в Москве болью, калечением, уничижением. Это было в порядке вещей. Это было жизнью. Рядом с ней кричали, плакали, бредили другие, случайно сошедшиеся, порой не знающие даже имен своих любовников, хоть и презирающие предрассудки, но теплые древней кровью и бабскими слезами, честные жены, регулярно идущие на эту работу, как мужья их ходят на службу, жертвы проходных комнат, мужского безразличия и косности природы, отстающей от передовых идей нашего века. Тогда... Но тогда ведь был Артем, чужой, нелюбимый, отталкивающий ее каждым поворотом грубых рабочих рук. Тогда было нечто навязанное, не любовное письмо, а безразличный счет. Такому и дорога в корзинку. Не то теперь. Михаил, патетически защищая свои интересы, не подозревал, что все дело в нем, что только чувство физической спайки, продлеваемой любви, преданности заставляет эту женщину быть столь непримиримой.

Наконец он устал говорить. Все было испробовано. Как и час тому назад, перед ним встали широкие плечи брата, суровость голоса, тяжесть обычно ласковых глаз. Скандал неминуем. При всей своей идейности Артем, наверное, в семейных делах весьма традиционен. Взять того же Михаила: да если бы Сонечка была его женой, разве он позволил бы!.. Он убил бы Артема. Не обращая больше внимания на Ольгу, Михаил всецело предался страху. Это напоминало памятные минуты, когда пришло приглашение из районной комиссии. Руки его юлили на коленях. Лицо выдавало ужас, попытку бежать, надежду, цепкость хватки, затихание и отдачу прошлой жизни, приступа последней

судороги. Ольга видела это, и любовь ее требовала снисхождения, участия, уступки. Но наличие иного не допускало послабления, оно не допускало даже опасной ноты жалости, простой ласки, прикосновения к этому сырому от пота лбу.

Заметив, что Ольга надела шляпу и готовится уйти, Михаил как бы очнулся. Последние резервы жизнеспособности заставили его закричать:

— Он же убьет меня!..

Не слова — голос, подлинный звериный крик, заставляющий вздрогнуть даже привычного охотника, потряс Ольгу. Ее душу, ее тело делили теперь на две части, не гнушаясь кровью и мукой. Казалось, здесь должны присутствовать фартук мясника, клеенчатый фартук, испещренный коричневыми сгустками, и сальность ржавых подвесков. Оба требовали героизма и оба были одним: все той же любовью, этой недоброкачественной выдумкой досужего черта, этим элементарным сокращением мускулов, любовью, обнимающей игривые куплеты в «Лиссабоне» и метания Ольги. Что же ей делать? Как спасти обоих? Новым предательством, новой ложью, глупой, бесцельной ложью, гибелью своей, да, хотя бы этим, только бы спасти. Так родился внешне спокойный ответ, с его смешением подлости и подвига:

— Хорошо. Я попытаюсь обмануть Артема. Так или иначе, тебя я не назову.

Выздоровление Михаила было чудодейственным, оно совершилось в одно мгновение. Ольга уходила:

— Прощай.

Но Михаил удержал ее. Он был признателен. Он поцеловал ее в лоб. Это явилось лишь началом. Увлекаемый спазмами жизнерадостности, охватившими его после пережитого только что ужаса, он не выпустил Ольгу. Он не послушался ее отталкиваний. Заканчивая наспех финальные объятия, он с усмешкой пришептывал:

— Чего там!.. Семь бед — один ответ...

Потом он подобрал помятую шляпку Ольги, расправил ее и вежливо подал. Выжидая, пока Ольга уйдет, он невольно задумался. Это вытекало из законченности положения, а также из вынужденной бездейственности. Пережитая глава требовала какого-то резюме. Мелькали отдельные строки: несовершившееся покаяние в столовке, пудель «обломка», слезы на плече

Ольги, записочка к Бландову, вопрос о датах, наконец — эта старая смятая шляпа. Тяжелая глава! Нелегко ее было перелистывать даже наспех, пропуская особенно темные места. Что это значит? Правда ли он так гадок? Но ведь он же любит Сонечку. Ради нее он и на смерть пойдет. Сонечка, однако, даже в его сознании не покрывала Ольги. Он испытывал не раскаяние, а недоумение. Он ведь любил себя, сильно любил, сильнее, чем Сонечку, и любовь к себе неизменно оправдывала все его поступки, если не оправдывала, то, давая снисхождение, сводила дело к обличению других, к обстоятельствам судьбы. А теперь он недоумевал: как эта история, начатая наивным восторгом перед светлостью, перед ученостью Ольги, освещенная редким даром слез умиления, привела к шантажу, к торгу, к последним, цинично вырванным ласкам? Как?.. Кого тут винить? Вопросы требовали времени. Его не было: рука Ольги уже лежала на дверной ручке. Тогда подоспел ответ, нечаянный, рожденный не сознанием, а, скорей всего, тошнотой, нытьем под ложечкой, спешный, короткий, энергичный. Подбежав к Ольге, Михаил быстро проговорил:

— Скажи, я ведь подлец, ужасный подлец, правда?

Не глядя на него, уже приоткрыв дверь, Ольга сказала:

— Нет. Только жалкий ты...

Жалкий? Михаил замер. Его как бы ударили. Нет, все, что угодно, только не это! Скажи Ольга, что он действительно подлец, пришлось бы согласиться. Шантажист? Хапун? Негодяй? Все это, вероятно, правильно. Но жалкий?.. Он, Михаил, жалкий, то есть паршивый, дрянь, достойная брезгливой жалости? Позвольте, это не так! Это ложь! Он жив. Он живее всех. Следовательно, он счастлив. Вы еще увидите его в Берлине, когда он будет кататься с немецкой примадонной и нюхать туберозы, когда он вернется, когда та, богиня, Сонечка, нежно попросит его: «Ну, поцелуй!» Сама она жалкая! Пигалица, к тому же раздавленная. Брюхатая мышь в мышеловке. Оскорбить его таким словом! Михаил выбежал на лестницу. Он крикнул вслед Ольге:

— Сама ты!..

Но голос его заблудился в пустом тумане площадок и переходов. Ольги уже не было. Несмотря на столь удачно ликвидированные неприятности, настроение Михаила было препротивнейшим. Он собирался

идти к Сонечке, но не пошел. Он не знал, куда ему пойти. Оставаться в комнате, где все казалось пропитанным обидной жалостью, отвратительной снисходительностью, он не мог. Он вышел, и гниль оттепели, разложение зимы, которая одна поддерживает некоторую дисциплину в природе и в душах, дыры лужиц, больничная влажность испорченного воздуха немедленно слились с копошением, удушьем, жизнью посмертной, то есть паразитической, самого Михаила.

Быстро сгнил наш герой! Трудно теперь найти в нем частицы, еще не тронутые процессом. Родился ли он с червоточиной? Или просто, рано созрев, среди библейского зноя тех нелегких лет, свалился? Его ли судить? Якова Лыкова? Общество? Это дело судейское. Мы судить не умеем. Мы готовы с ним брезгливо отряхиваться, помахивать руками, как бы ища в подъездах бесчувственных домов некую сострадательную самаритянку, несмотря на промозглость и холод потеть, мы готовы даже мычать, глупо, по-балаганному мычать. Ведь не всем и не всегда даются благодатные слезы.

Почувствовав наконец изнеможение, Михаил зашел в пивную, в маленькую вонючую пивную Смоленского рынка, где потность шей, аромат воблы, кислая муть пива и все звуки: сморкание (пальцами), вечная агония шарманки, икота, брань говорили об устойчивости скуки. Здесь взыскующая душа Михаила очутилась в родственной ей атмосфере. Такие учреждения впитывают всех несчастливцев, душегубов или же пачкунов, людей, жадных до чужой судьбы, слюнтяев, романтических «котов», пьяных метафизиков, трогательную сволочь, которой немало в нашей столице. Другая здесь Москва, не та, что ходит на митинги и к Мейерхольду, не та, что поглощает бефстроганов в «Лиссабоне», не та, что с портфелями трусит по улицам и значится в фельетонах иностранных корреспондентов, другая, более традиционная, переменившая паспорта на трудовые книжки, жаждущая уже не «красненьких», а червонцев, но этим и ограничившая свои уступки новой жизни. Шарлатанство здесь доходит до чудотворчества, а в домостроевской грубости, среди тухлых сельдей и казанского мыла, любой мордобой принимает видимость сложнейшего психологического акта. Здесь, что ни хам, что ни плаксивая шлюха,— то Достоевский в переплете, уникумы, герои, кишащие, как снетки. Паршивая, растравленная, расчесанная ду-

ша подается и просто, и с закуской, с гарниром, под пиво или под самогон. Вошел Михаил — что же, одним больше, и только.

Спросил он экзотичное: бутылочку мадеры и пирожных. Очевидно, сладостью подсахаренного винца и жирною приторностью крема он надеялся несколько себя ублажить. Он знал, что с Ольгой поступил подло. Нехотение жить, подлинный страх перед продолжением опостылевшего процесса, перед засыпаниями и пробуждениями, известными жестами, словами, даже перед комбинацией из бумаг, рукопожатий, свистков, чавкания вагонных колес, называемой «поездкой в Берлин», даже перед Сонечкой охватывал его. Раскаяние, слабость, неврастения — можно определить это по-разному. Но бдительный медик сидел в Михаиле. Живучесть неизменно выручала его. Вместо того чтобы углублять подобные состояния, доведя их до розысков проруби, до налаживания петли, он старался сам себя утешить, если не разубедить, то хотя бы развлечь,— пивной, мадерой, пирожными, разглядыванием журнала «Красный перец», посвистыванием в лад шарманке: «Полюбила ты, шельма, меня!..» Все это им проделывалось столь добросовестно, что он успел даже подумать: «Шельма — это не Ольга, это Сонечка, она еще меня полюбит»,— и этой своей мысли улыбнуться. От сладкого захотелось пить. Он спросил пива и, выпив единым духом бутылку, почувствовал, кроме щекотания в носу, некоторое смещение образов. Он хмелел. К нему подошел плюгавый субъект в бесцветном пальто, чрезвычайно напоминавшем дамский капот, и в лысой котиковой шапочке, виновато улыбаясь улыбкой напроказившего ребенка или кокетливой женщины, рассчитывающей на незаслуженный подарок.

— Разрешите присесть?

Михаил к непрошеному собутыльнику отнесся угрюмо.

— Садитесь. Стулья не мои. А разговаривать с вами я не стану.

— Благодарствую. Я вот только посижу. Вы, может, думаете, что я насчет пива или пирожных? Ни-ни. Посижу, и только, никакого вам от этого вреда не будет.

Наступило молчание. Искоса Михаил оглядел соседа. Небритая физиономия, глаза пивного цвета, бегающие, как два клопа по стенке, землистый

воротничок — зауряднейший облик. Такие продают на Смоленском нюхательный с мятой или старые валики для фонографа. Ничего интересного. Молчание, однако, становилось грузным, выразительным. Трудно молчать, когда два человека, озлобленные, замученные тоской и зевотой, одинокие от злых игр ребячества до гроба, сталкиваются друг с другом вплотную, чуть ли не носами. (Собакам, тем легко — они обнюхивают.) Субъект попытался заговорить:

— Позвольте представиться: Иван Харитонович Галкин. Служил курьером в нарсуде Хамовнического района, но сокращен.

Михаил молчал. Через минуту Галкин возобновил наступление:

— Без патента, но продаю валенки. Продавал. С переменой сезона тоже, простите за оборот, сокращение. Скорей всего, околею. Говорят, что суть вопроса в «ножницах». Вот, как вы полагаете, гражданин, не имею честь знать имени-отчества?

Снова последовало злобное молчание Михаила. И снова Галкин, отдышавшись, начал:

— Удивительные курьезы бывают на свете... Вы, может быть, в газетах пишете, вид у вас такой проницательный, вам небезынтересно ознакомиться. Хотя бы факт с Машей. Можно сказать, на моей же постели соединилась с Шумовым. А все из-за манто. Обязательно, говорит, каракулевое. Так и ушла. Удивительно? Надобно вам разъяснить, что Машенька — это моя супруга. Как вы такое понимаете?..

Мало было Михаилу своих курьезов — Ольга, Сонечка, вычистка, тошнота? На него наваливали еще какую-то пакость: пивные глазки с их трогательным морганием, беспатентные валенки, каракулевое манто. К черту! Так он и вслух пробормотал:

— К черту!

Ничто не могло смутить Галкина. Видно, к курьезам он в жизни привык, а общение являлось для него необходимостью.

— Черт? Нет, это, гражданин, суеверие. От попов. По-моему, вся сущность в гипнотизме и в электричестве. Если бы ток пустить! А то жить — сил нет. В нарсуд какая только сволочь не приходит. Один, знаете, ребенку на голову сел, череп проломил, а говорит: «Я по недоразумению»... Я скажу вам прямо — я людей ненавижу. Вот вы в газетах, наверно, читали — извозчика

одного судили: двадцать девять душ прикончил. А я его понимаю. Прямо сочувствую. Я бы котлету из человечины съел бы. Честное слово! И не с голоду, а от возмущения...

Говорил все это Галкин тихо, скромненько, добродушно посмеиваясь, как будто читал «Красный перец». Заметив же, что взбешенный Михаил отвернулся, он подхватил с тарелки пирожное и быстро засунул его в рот, но крем выполз, покрыл подбородок и воротничок жирной коричневой слизью. Галкин растерянно приговаривал:

— Вы меня простите, гражданин. Без намерения, исключительно пакость рук. При случае я возмещу вам.

Но Михаил уже не слушал его. Он кричал:

— Что мне — двадцати копеек жалко? Противно, вот что! Сказали бы просто: хочу пирожное. Я бы дал. А может быть, и не дал. Не знаю. Но зачем вы ко мне с философией лезете? Какое мне дело до вас? Я сам повеситься могу. Кто меня понимает? Вот вы что-то насчет баб распространялись. Бабы просто дрянь. Им что нужно? Раз-два, под юбку — и только. А меня от этого тошнит. Пусть они с вами спят. Котлетку из человечины? К стенке вас следует! Я от голой мысли страдаю. Как бы это все взять в кулак, абсолютно все. И не бабу, а совершенство. Я вас сейчас ударить могу. Чем я лучше вас? Да ничем. Разве что деньги есть. А я ведь коммунистом был. Бей меня. Слышишь, сукин сын, жарь по глазам! Ну!.. Раскачивайся!..

Испуганно Галкин приговаривал:

— Смягчитесь, гражданин. Это я после Машеньки: смущение души и еще я сегодня не ел, это конечно...

Михаил, вырвавшись на улицу, залпом глотая гниль оттепели, шептал:

— Хоть бы скорей меня накрыли!.. Раз-два. Миша, Мишенька, тю-тю! Весь вышел! Ничегошеньки от тебя не осталось.

ВОПРОС О РВАЧЕ, О РВАЧЕСТВЕ

Они встретились на Пречистенском бульваре. Оба не ждали этой встречи и только от неожиданности, вконец растерявшись, вместо того чтобы броситься прочь, подали друг другу руки. Глаза же,

столкнувшись, разошлись. Что могло последовать за этим вынужденным рукопожатием — быстрый уход, укоры, примирение? Михаил особенно волновался. Рука его сдуру въелась в рукав брата, что отнюдь не вытекало из желания продлить встречу. Он попросту трусил. Прошло уже два месяца с последнего посещения Ольги. Значит, Артем что-то знает. Вдруг Ольга не сдержала обещания? Как полагаться на бабу? Пошумела, поплакала и выложила все. Наконец, и Артем мог ей не поверить, подумать, прикинуть, почувствовать Мишкин дух. Тогда здесь же, среди беззаботно гуляющей публики произойдет катастрофа. Стыд какой! Михаил уже готов был расплатиться жизнью, погибнуть от побоев Темки, только не здесь, где-нибудь в стороне, в подворотне поглуше, потемнее.

Артем молчал. Ему тоже было не по себе. Жизнь, как будто на пари, занялась последнее время изводом этого терпеливейшего сердца. Простые явления распадались на множество частиц, требуя сложных, непредвиденных формул. Хорошо было переживать те из них, которые мучили всех, обсуждались на собраниях и, подобно эпидемии или погоде, превращались в универсальность воздуха. Бесплодность Рура, «ножницы», обнагление нэпа — он был статистом этих массовых трагедий, статистом исполнительным, рьяным, даже восторженным, но чей поворот плеча или наклон головы является не только выражением чувств, а и отдачей других однородных движений, статистом, знающим, что за ним зоркий, хоть воспаленный от бессонных ночей, глаз постановщика. Другое дело — маленькие, назойливые драмы из устарелого и, казалось бы, упраздненного репертуара, которые разыгрывались на Большой Якиманке и в сердце Артема. Откуда они взялись? Неужто он, новый, здоровый человек, подвержен им? Что за напасть? Стыдно было признаться товарищам. (Артем и не подозревал, что среди его товарищей вдоволь таких же, затравленных непонятностью страстей, цепкостью диковинных сочетаний и огромным человеческим злом, настигающим даже людей коллективистического образа мыслей — одиночеством.) Он искал ответа в журналах или в книгах и не находил его. Писали о новой этике, скромно поясняя, что это дело будущее. А пока как быть? С той же Ольгой? Тщетные вопросы! Он ни разу не подумал, что любит Ольгу,

хоть и любил ее. Стыдливость, а также пристрастие к жесткости терминов, присущее поколению, мешали ему дойти до этого слова. Да и не в словах суть. Насморк или чума — что меняют названия? Это неопределенное и неопределимое способно поразить современного человека, химика, члена РКП, как будто он первобытное существо, комок инстинктов в пещере. Он не хочет думать об этом. Он, прежде всего, не принадлежит себе. И все же он думал об этом. Он болел за Ольгу, за тусклость ее глаз, за унылость, за пронзительную немоту, которая была ему во сто крат горше зимних сцен. Что с нею? Ведь не в беременности дело. Она говорила, что рада этому. Но почему он не видит радости? Ей противен Артем? Но он ее не держит силой. Понять он так и не смог. Оставалось молча болеть. К этому прибавлялась тревога за брата. Родственные чувства тоже атавизм, но опять-таки Артем чувствовал бессилие перед собой. Как он ни убеждал себя: забудь о нем, это гнилая душонка, лебеда, которую нужно безжалостно выполоть,— мысли не могли разжижить всей плотности образа, печальных глазенок маленького Мишки, побитого сверстниками за кражу бабок, глазенок, отличных от тысячи других и почему-то особенно дорогих. Телесность, подсознательность чувств оскорбляли Артема: как папаша — брат, кум, свекор. Нечего сказать, занятие, достойное коммуниста! И все-таки он томился: что с ним? Помочь? Но как такому поможешь? Ему и руки подать нельзя — откусит. Вот Бландова хотел припутать... Отказ, потрясший Ольгу, звучал сухо, твердо, чуть ли не по-канцелярски. Сколько муки он стоил Артему, она и не подозревала. Братья не встречались, но жадно прислушивался Артем к любому слуху о Михаиле, нападая на все то же, обескураживающее: «Кажется, спекулирует». Последние недели, впрочем, и слухов не было. Михаил сгинул, чтобы очутиться здесь, на бульваре, глупо сжимающим рукав Артема и прячущим свои глаза, блеклые от страха.

Хоть Михаил был хорошо, даже по-щегольски, одет, сыт, за минуту до встречи весел и беспечен, вид его, эта растерянность, дрожь рук, отвислость нижней губы, сумасшедшее топотание на месте показались Артему приметами нужды или большого горя Жалость пересилила остальное:

— Ты что же?.. Плохо живется?

Не знает! Михаил ожил. Он осмелился взглянуть на Артема. Увидав теплоту его глаз, ласково обволакиваемых ресницами, как лампа абажуром, он даже улыбнулся доброй приветливой улыбкой. Ведь это Тема, черт возьми! Как-никак брат. Не чужой. И доверчиво он ответил:

— Ужасно!

— А я слышал, будто ты спекулируешь. Значит, врали? Ольга говорила, что ты голодаешь. А костюм на тебе нэповский...

Михаил вздохнул.

— Разве в костюме дело? Я, Тема, от скуки погибаю. Делать мне нечего. Из партии меня выставили. А другого, как ни бьюсь, не могу выдумать. Хоть бы война была, что ли... Ты говоришь, «спекулирую». Ерунда! Та же служба. Купил — продал, вроде шурумбурумщика. Если бы всю Сибирь, например, продать, это дело стоящее. А разве я такой человек, чтобы с шелком возиться? Скучно стало в Москве. Да и на всем свете. Знаю, ты пойдешь свое долбить: «восстанавливаем», «хозяйственный фронт». Ну и долби! Вместо бала — мыть посуду на кухне. И зачем нам только семнадцатый год показали? Растравили, а потом, милости просим, на работу. Что же, работаем. Кто честно, а кто не совсем. Ты — государству пользу, а я Сонечке (это у меня цыпка такая) чулочки. Какая разница? Только сил нет, так скучно... Кажется, зевни я — вся Москва полетит. Рукам моим тесно. Руки мои, Тема, рвутся...

Кажется, никогда в жизни Михаил не говорил так искренне, так просто, счастливо удерживаясь на должных высотах, спуски с которых нам хорошо известны, эти театральные самоуничижения, или ложь, бахвальство, работа под не понятого толпой героя. В эту минуту он был свободен от всяких корыстных помыслов, обычно придававших даже его покаянию характер дипломатического акта. Он ничего не ждал от Артема: дело обошлось без скандала, и на том спасибо. Он и не думал заметать следов: брат достаточно знал все его интонации, мимику, язык тех же рвущихся к делу рук, чтобы не поверить объяснениям «вычистки» злостными интригами. Словом, Михаил мог себе позволить редкую роскошь правдивости, лишенной истерических выплесков. И спокойствие, простота его слов подействовали на Артема больше, нежели все традиционные

фокусы. Он вдруг почувствовал, что биография Михаила не случай, не срыв, не проделки мальчишки, которого можно выправить ремнем, отлучением, суровостью, но нечто органическое, вязкое, большое, что здесь остаются лишь слезы да та «стенка», к которой ведут осужденных. Привычный апломб нотаций, добродушная строгость старшего оставили его. В последовавшем ответе Артема унылое раздумье впервые перевесило прозелитизм, пафос обличения или уверенность напутствий.

— Руки, говоришь, у тебя рвутся? Такие руки рубить следует. Как все это вышло?.. Брат... В Киеве молодцом был... Недавно еще числился партийным. А теперь... «Скучаю»... Ты думаешь, я не понимаю, чем это пахнет? Прежде держали вас в ежовых рукавицах, и все шло хорошо. Никто даже не знал, из какого ты теста сделан. А вот пришла эта самая проклятая передышка, замешкались на Западе, отпустили чуть вожжи, вот вы и разошлись. «Скучно!»... «Ах, изнываю! Дайте мне октябрьские баррикады!» А между прочим, руки у тебя работают. Денежки, оказывается, скуке не мешают. Руки-то твои рвутся не куда-нибудь, а к червонцам. Это ведь не случайно. Это — явление. Да ты знаешь, кто ты? Ты — рвач.

Артем был обрадован удачно найденным словом, обрадован тем, что под темноту его чувств, под бессмысленность и мелкость личной боли был подведен теперь твердый фундамент социального обобщения. Вопрос о неудачном брате принимал, таким образом, общественный характер, впадал в трудную проблему совмещения пролетарской диктатуры и нэпа. Слезы превращались в тезисы. Артем облегченно вздохнул. Но и Михаилу определение понравилось. В нем не было ни лжеромантического, рампового освещения, искажающего черты лица, ни грубости, пыхтения, животика и тупой отрыжки, как в «хапуне»...

— Верно! Рвач. Хоть раз ты себя умником показал. Именно рвач. Только знаешь, что я тебе скажу? Все мы — рвачи. Такое уж наше поколение, рваческое. В Октябре хотели звезды с неба сорвать, разное там «счастье человечества». А не вышло, пришлось и на червонцы согласиться. Главное, чтобы не сидеть на месте, чтобы рвать, налево, направо. Берегите карманы! А те, что в вузах потеют, они что же, не рвачи? Такие же. Я сам сколько книг истрепал, на ученую

карьеру метил. Те же червонцы. Только медленнее, значит, глупее. В комсомоле — не рвачи? Самые первоклассные. Схватит «Азбуку коммунизма», кое-как осилит — и уже кандидат в вожди. Орет: «Долой старую гвардию! Нам место!» И прав. Долой! Они хоть и спали на Марксе, вместо подушки, самые что ни на есть идеалисты. Интеллигенция гнилая! Поковыряй такого, там тебе и совесть, и честность, и прочее, а движения нет. Не спорю, конечно, герои, полжизни в тюрьмах просидели. Только не по времени. Памятник им надо поставить и в дома отдыха. А на смену нас, рвачей. Вот, говорят, писатели прежде прямо монахами жили. Сидит у себя, скрипит перышком, с голоду пухнет. А наша-то братва? Сочинил стишок и заливается: «Я пролетарский Александр Сергеевич. Мне, такому-сякому гению, пять командировок для вдохновенности!» Правильно — век у нас рваческий. Торговать? Что же, я за прилавок стану, преть с аршином? Утром купил за сто, к вечеру за пятьсот продал. Я в «Лиссабоне» всех девочек перепробовал. Вот как! Герой нашего времени, что называется, Михаил Лыков, он же сознательный рвач!

Здесь уже философическое спокойствие оставило Михаила. Он был полон лирических восторгов. Он объяснялся в любви и себе и своему времени. Он был оправдан, понят, увековечен, превращаясь в главу истории, в камень монумента, в чистоту символа, и он торжествовал. Артема слова его возмутили кощунственным сочетанием комсомола и «Лиссабона», хитрой помесью правильных заметок и лживых обобщений, наглой хромотой, старческими и в то же время ребяческими ужимками, зачатками золотушной идеологии, впервые осознающей себя новой советской буржуазии, которую неизвестно даже, как рассматривать: преступные это элементы, нарушающие декреты, или враждебный класс?

— Врешь! Может быть, мы и рвачи, да не такие. Если мы учимся до сумасшествия, если работаем до чахотки, так не ради твоих червонцев. Мы этот американизм хваленый только как средство берем. У нас идеал есть, и как ты ни пыжься, ты этого не вычеркнешь. Тресты — трестами, а когда «Интернационал» поют, у меня все вон рвется. Я в тот же трест, как на баррикады, пойду. Я...

Но Михаил его больше не слушал. Рассеянно он пробормотал:

— Что же, «Интернационал» и я люблю. Песня хорошая...

Он был занят другим. Гордо изложив свое кредо, он вернулся к житейским размышлениям. Спорить с Темкой он считал унизительным. Что тот поймет? Тоска для него мелкобуржуазный пережиток. Не философствовать с баранами, стричь их следует. Так всплыл Бландов. Тема ведь ничего не знает об Ольге. Его можно растрогать, разжалобить, и тогда командировка окажется в кармане. Михаил заговорил. Он не спорил. Он внимательно выслушал длительные рассуждения Артема о необходимости сочетать деловитость с революционным пылом. Он даже поддакивал ему. Потом он осторожно перевел разговор на другие, более лирические темы — о Киеве, о папаше, о детстве. Он знал, как взять это с виду неприступное сердце. Умело прикидываясь младшим, слабейшим, он апеллировал к Теме, как к защите, как к матери. И по смущенной доброте глаз Артема, по улыбке, вызываемой напоминаниями о детских проказах, по размяклости щек, становившихся в такие минуты чрезвычайно похожими на щеки папаши, Михаил видел, что не зря старается. Он заставил Артема забыть начало беседы, разность пород, нахальную иллюстрацию в виде ушка платочка, франтовато выглядывавшего из кармана Михаила, он заставил его дойти до дружеского похлопывания.

— Так-то, Мишка! Старое вспомнили...

Тогда он решился. Старательно осмотревшись, нет ли кого поблизости, он быстро вспомнил...

— Тема, устрой с Бландовым. Мне это абсолютно необходимо. Гарантирую полную безопасность. Дай записочку! Хочешь, я поделюсь... Двадцать процентов...

Артем приподнялся и, не успев даже подумать, что случилось, повинуясь только жару, охватившему голову, мстя за минуту доверия, за прилипчивость унизительной жалости, за каждое слово об общем детстве, за спайку крови, за близость туловищ на этой зеленой скамье, он грузно, расправленной широко ладонью, ударил щеку брата. Михаил жалко взвизгнул и бросился прочь. Через минуту, однако, он вернулся. Он не побоялся приблизиться к Артему. Страх, как, впрочем, и все остальные чувства, за исключением одной злобы, исчез. Он готов был умереть, лишь

бы сделать больно Артему, тупому, грубому Артему, способному брать только силой: широтой плеч, мощностью государственного аппарата, моралью, милицией. Что все мечтания, вся тоска, вся высокая порывистость Михаила рядом с этим кулаком? В Артеме он ненавидел здоровье, норму, добродетель, партию, государство, все человечество. Он вернулся, чтобы отомстить. Он был гнусен и смешон, прикрывая одной рукой красноту щеки, не то от стыда, не то от боли, а другой, ее указательным пальцем, как бы просверливая Артема. Он не кинулся на сгорбленный, тяжело дышащий от гнева и обиды, массив. Он нашел иное, более действенное средство. Обратив в лживое хихиканье готовые выскочить из горла спазмы плача, он прокричал:

— А ты знаешь, я недавно твою Ольгу... Брюхо это я наработал!..

Сказав, он не убежал. Он стоял рядом, ожидая финала — решительного движения руки, которое завершит скуку, боль, злобу, столько-то лет хоть и живописной, но не стоящей сожаления жизни. Если бы Артем кинулся на него, он бы не защищался. Бросив эти слова, он знал, на что идет. Он и не пытался бы руками дополнить действие языка. Ужалив, он охотно отдавал свою жизнь. Он только длил это, как ему казалось, последнее наслаждение все тем же визгливым, отвратительным хихиканьем.

Но Артем не бросился на него, не ударил. Нет, молча глядя на ровную серость песка, он повернулся и пошел прочь. Гнев, спав, родил слабость, апатию, разреженность сердечных ударов и мыслей. Появились тошнота, гадливость. Что это?.. Откуда?.. Как мог он, Артем, залезть в такую мразь? Он жил, работал, боролся. Кажется, он не делал никому ничего дурного. А его исподтишка покрыли зарослью пошлости и подлости, интрижек, обманов, подвохов. Ольга... Разве он насильно взял ее? Разве он мешал ей уйти к другому, хотя бы к этому?.. Почему же она лгала? Так вот что значили ее просьбы за Михаила! В сознании Артема голое плечо умывающейся Ольги сливалось теперь с графическим начертанием «20%». Он ежился от обиды и горя, как бы вбирая частицы тела в скорлупу одежды, дальше от света и от людей. Он шел, не останавливаясь, шел по набережной, не понимая маршрута, одинокий, пуще всего боясь остановки, подго-

няемый словами, ассоциациями, сумбурностью мыслей. Что будет с ребенком? От такого!.. Следовало бы устранить. И все-таки жалко. Почему она солгала? Ей, наверное, страшно с Мишкой. С ним ведь всякому страшно. Как он хихикал! Страшно и одной. С Артемом легче, уютнее. Бедная женщина! Слабость. Привычка жить только сердцем. Неумение мыслить. Одиночество, самое горькое, стеклянное, без товарищей, без партии, без теплоты и бодрости, которая дается «целью жизни». Ее дни — вот как это бегание по набережной. Куда?.. Зачем?..

Так чувства Артема стали складываться, оформляться. Он, сам сейчас одинокий и униженный, сумел ответить на обиду жалостью. Это происходило от полной бескорыстности, от той прекрасной неуклюжести, которая, редко давая сердцу исход, в виде неожиданной, до слез, ласки, показывает, какая нежность, какая истинно человеческая любовь живет в будничных, якобы холодных, в так называемых «обыкновенных» людях, в этих каменщиках или шахтерах нашей жизни. Да, именно здесь, вдали от будуарной одури, от поэтических натур, букетов, значительных недомолвок, намеков на самоубийство и откровений о «религиозной природе страсти», в серости, в скудности, в непритязательности коротких, после рабочего дня, вечеров, следует искать всепрощающих мужей и жертвенных отцов. Жалость и нежность к Ольге несколько успокоили Артема. Они позволили ему вспомнить наконец, кто он, отодвинуть все события этого нелегкого дня назад, на скромное, положенное им место, позволили прошептать любимое «проще», позволили даже купить у газетчика «Вечернюю Москву». Решение созрело: если Ольге лучше рядом с ним, с Артемом, что же, пусть остается. Он ей ничего не скажет. Кто знает, чего было больше в этом решении — заботливости об Ольге, снисходительности к ней или самосохранения, нежелания забираться дальше в темные страны, где, что ни шаг, то страсти, ложь, предательство? Он ничего не скажет. Он будет работать. Он будет жить. Остальное? Остальное приложится. Главное, проще! Он уже подходил к дому, и свет окошка, еще бледный, болезненный, среди общей белесоватости сумерек, никак не взволновал его. Глаза спокойно встретились с голубыми глазами Ольги, в то время как руки разворачивали «Вечернюю Москву». В Болгарии снова назревают серьезные события...

Не так легко было успокоиться нашему герою. Давно уже щека его приняла обычную окраску. Но успокоения не было. Если брать обычную человеческую меру, следует предположить, что Михаил переживал триумф или раскаяние, что мысли его гнались вслед за угрюмым узлом сгорбленных плеч Артема, продлевая оскорбление, наслаждаясь пришибленностью этой походки, всей явной разбитостью брата или же, юля в ногах, изнывая от стыда и вымаливая немыслимое прощение. Но мы должны констатировать, что мысли нашего героя были весьма далеки от указанного направления. Не об Артеме он думал, исключительно о себе. Несмотря на всю нелепость этого, он чувствовал себя не обидчиком, а обиженным, и он жалел себя, страстно, до задыхания, до слепоты, натыкаясь на прохожих, то и дело роняя на скамьи груз своего тела. Не за пощечину. Что доказал Артем — превосходство мускулов, и только. Шурка Жаров еще сильней, тот может раздавить и Артема. Конечно, спорт хорошая штука. Но ум, но талант Михаила поважнее. Позор? Это предрассудки. Горение щеки и нудный зуд злобы длятся недолго. Мало ли оскорблений пережил он в жизни? Взять ту же знаменитую «душу» — кто только не следовал примеру Минны Карловны (наверное, уже давно перешедшей, вслед за Барсом, в мир потусторонний)? Патлатые фребелички, гражданин Кроль, певицы из «Лиссабона», все. А ночная рубашка Лукина? А это слово «жалкий» (пострашнее Темкиной лапы), кинутое на прощанье взбунтовавшейся овечкой? Что же, высокие мысли, сопровождаемые перебоями, тоской, известными телодвижениями, дабы сохранить, скользя, равновесие, скажем определеннее, сопровождаемые подлостью (ведь сам он недавно так определил себя), всегда наталкиваются на осуждение, на трудные барьеры, в виде горделивых усмешек или даже оплеух. Нет, не за это жалел себя Михаил. Тем более что с Темкой он расквитался. Много легче запамятовать неприятную скамью бульвара (вот уже не только щека, но и сердце о ней забыло), чем жить, сознавая, что жена, то есть твоя, собственная, тобой облюбованная, тобой и подобранная на панели баба, врет, спит с другим и еще готовится поднести тебе подарочек сомнительного происхождения. Пока Михаил разгуливает по бульварам, на Якиманке, наверное, происходят достаточно курьезные сцены: Артем кричит, лупит Ольгу, грозит, плачет, молит: «Скажи, чей?»

Михаил может успокоиться: двойной счет и за выходку на бульваре, и за нахальное резюме Ольги оплачен сполна. Но Михаил далеко не был спокоен. Он жалел себя, жалел за то, что ему вот ничуть, ни-ни, ни на копеечку не жалко Артема. «Выдумщик», проворчат читатели, одаряя этим малолестным эпитетом не то нашего героя, не то нас самих. Может быть, они и правы. Искалеченная жалость. Точнее, не жалость, ужас перед безлюбостью комедиантских глаз, случайно выступивших из уличного зеркала, непонимание своей природы, этого огромного одиночества, идеальной пустоты. «Что со мной сделали? — растерянно думал он.— Ведь я любил Тему, любил вправду, по-хорошему, только его и любил. Куда это делось? Кто меня обокрал?» Думая, он шел по бульвару, с его весенним кишением франтиков, воробьев, проституток, папиросников, красноармейцев, мушек, первых беспорядочных огоньков, с жизнью толпы неорганизованной, лишенной делового хребта и поэтому мяклой, душной, готовой облапить, засосать. Ни одной высокой страсти, ни одного подвига окрест! Сластолюбивый зуд воображения, теплота соседних асфальтов, фосфор и до колена задираемые юбочки, ленивый вымысел шатающегося беллетриста, халтура, подряды, контракты, ерзанье, юление; благословляемая на все, согреваемая и прощаемая весной великая человеческая мелюзга. Михаил, ты можешь протянуть руку каждому. Ты можешь зайти в пивную. Можешь взять барышню. За тебя другие напишут соответствующие стихи. Мы напишем о тебе роман. Ну, а договор ты сам сумеешь составить. И вот здесь, среди потного кружения Тверского бульвара, среди мления расчлененных особей, представляющих скорее зады, бумажники, раздражение мозговых центров, нагрузку портфелей, ноли цифр, желудочные газы, запах духов «Орхидея», «Жиркости», нежели людей, среди этого хорошо смонтированного парадиза, Михаил вдруг увидел заплеванность комнатки, русую бороду «представителя астраханской армии», сгущенность пульсирования, ясность чувствований, строгость, плотность подходящей смерти. Как он любил тогда Тему! Каким простым, плевым делом являлось умереть за него! Тот ли Михаил Лыков был в номерах «Скутари»?.. Подмена? Годы? Или пришедшая, только иначе, ползком, с хитрецой, слизистая, гадкая, пресмыкающаяся смерть?

Так жалость к себе, обокраденному временем, не любящему брата, не любящему никого, важная жалость, кажется, единственное живое, среди Бландовых, червонцев и губ Сонечки, давила виски, валила с ног этого человека, фланера, гуляющего по бульвару, рядом с другими фланерами, тоже нарядными, развязными, но, по всей вероятности, тоже не живыми. Разве даются даром такие годы? И не уместнее ли здесь сулема, чем перо романиста?

ЗАГРАНИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ЯЗЫК СЕБЕЖСКИХ ВОРОТ

Фортуна улыбнулась. В кожаную книжечку с меняющимися листиками, только что приобретенную не без волнений (помилуйте, записная книжечка и та конструктивная), вносил Михаил названия магазинов по специальностям и особо примечательных злачных мест. Нам, конечно, памятны те времена, когда он мечтал о подпольной работе за границей: ячейки, шпики, тюрьмы, смерть. Что же, в старом, вонючем остроге Моабита сидели десятка два коммунистов. Газеты сообщали о стачках и близком правительственном кризисе. Михаил, однако, был занят другим: значит, костюм у Адама, а сигары у Бэнеке? Великолепно! Обозрение в «Альгамбре»... Нужно только разумно распределить время, чтобы в две недели выполнить все прямые и косвенные обязанности, все закупки, от радиоаппаратов до чулок Сонечке по длинному списку, различных тонов: «табачные», «голова негра», «кротовые», «серые змеиные» и прочие. Сонечка за все отблагодарит. Жизнь же, если не углубляться, прекрасна. Обошлось без Бландова. Петряков — чудеснейший человек, сам все устроил. Если бы Михаил не был так стар, если б он мог еще любить, пожалуй, он полюбил бы этого старикашку. Впрочем, описка: Михаил способен любить, он ведь любит Сонечку. Двенадцать пар чулок всех тонов... Пока же следует испробовать заграничный товар, актерку поинтересней: как это выглядит при высокой культуре?.. Книжечка и та особенная, чего же можно ждать от женщины? Всего!

Остановились они все трое в гостинице «Дэнишер хоф», в дешевой, замызганной гостинице, где комнаты

сдавались почасно. Никто другому не мешал. Каждый был занят своими делами. Профессор ходил к каким-то высокопочитаемым и высохшим от хронического недоедания коллегам, слушал доклады в научных обществах и закупал книги. В первой же книжной лавке, еще не успев близорукими глазами обежать цветник обложек, он почувствовал сильное сердцебиение. Он даже смутил молодого приказчика, попросив стул и стакан воды. Может быть, он ошибался? Может быть, здесь, где столько желтых, серых и синих книжек, еще живо прошлое, жив чудесный девятнадцатый век, с его важностью седых волос, сосредоточенностью аудиторий, тишиной лабораторий, с его гуманными идеями и честными нравами? Может быть, и не нужно никакого несгораемого шкафа? Но вскоре Петряков увидел другое, знакомое ему. Недалеко от гостиницы громили булочную. Крики газетчиков, треск разворачиваемых биржевых листков, хруст пальцев, ажитация локтей, истеричность улицы твердили о новых навыках. А коллеги, эти худые и желтолицые старики, скромно волочившие, среди стиннесовских акций, фокстротов и забастовок, свои зачесанные плеши, древние стоячие воротнички с углами и веймарские идеи, в перерывах между двумя докладами жаловались Петрякову на скудность окладов, на дороговизну угля, на беспринципность и наглость молодежи, на одиночество. Это были слова Петрякова, только добросовестно переведенные на другой язык. И сердце больше не торопилось биться. Географическое расширение далеко не веселых наблюдений придавало отчаянию солидность. Он еще с жаром говорил о направлении электрических волн, но, оставаясь ночью один в комнате «Дэнишер хоф», невольно прислушиваясь к блудливому копошению за стенками сменявшихся парочек, он громко жалостливо зевал и поджидал последнюю свою надежду — смерть, которая, стирая века, идеи, души, восстанавливает великолепное равновесие безразличных ко всему молекул.

Несколько иначе проводил дни и ночи Ивалов, тот, что должен был «выпрямлять политическую линию» старого профессора. «Выпрямление» это выразилось лишь в дружеском совете, поданном еще при переезде границы:

— Вы, профессор, там того, держите ухо востро. Главное, с эмигрантами ни-ни... А то, знаете, сфото-

графируют вас с каким-нибудь Даном, потом хлопот не оберешься...

Петряков только спросил:

— А кто это Дан? Ученый?

И, умиленный наивностью, Ивалов махнул рукой: ну что с такого взыщешь? В Берлине вместо «выпрямления» он занялся другим. В первый же вечер Михаил позвал его в кафе «Альказар» с джазом и танцами. Ивалов, вздохнув, согласился. («Нужно посмотреть, до чего дошла вырождающаяся Европа».) Сначала он сохранял саркастическую улыбку и даже высказался по поводу официанта, недовольного чаевыми соседей: «Какая эксплуатация труда!» Танцы оскорбили его нравственное начало: «Пакость! Буржуазное свинство, и только!» Но, выпив (не без смакования) два бокала поддельного шампанского и осмотревшись, он стал выказывать явную взволнованность. Рядом с ним заседала проститутка, уже немолодая, следовательно, на глаз знатока (подобно старому вину), ценная, а для профана скорее уродливая, оперировавшая кармином губ и колыханием очень жирных плеч, густо припудренных. Вот эти губы, эти плечи и прикончили Ивалова. Он только конфузливо спросил Михаила:

— Как вы думаете, если к такой подсесть, ничего не будет?

Михаил презрительно поморщился:

— Вопрос валюты и предохранительных средств.

Тогда Ивалов, помявшись и разъяснив Михаилу, что это, мол, только так, не для чего-нибудь, а исключительно с целью информации, переселился к столику сорокалетней Эммочки или Эрночки. Труден лишь дебют. Больше Ивалов не советовался с Михаилом. Редко он навещал свою комнату в «Дэнишер хоф», днем скупая на падающие марки все: самопишущие перья, дамские кофточки, галстуки, портсигары, ботинки, презервативы, термосы, а ночью продолжая наблюдения над живописной гибелью буржуазной цивилизации. К попутчикам он явился часа за два до отъезда без виз, но зато с солидными приобретениями в виде двух сундуков, некоторого количества немецких зазорных словечек и гонореи. Так кончилось «выпрямление линии». Честно повествуя о трудах Ивалова, мы отнюдь не хотим расширять его до «типа» командированного. Мы встречали за границей немало граждан, своим поведением, более нежели патетическими

суждениями, доказывавших, что демократизм Советской России не ограничивается серпом и молотом на паспорте, инженеров, ездивших в третьем классе и наспех закусывавших в плохоньких кухмистерских. Но, увы, человеческий глаз, опуская скромность и честность, обязательно останавливается на развязной физиономии такого Ивалова, который ругает Европу сперва за работой, то есть в «Альказаре», а потом, отдыхая от трудов, на столбцах «Красной газеты».

Михаил не отставал от Ивалова, но «информацией» не прикрывался, напрямик заявляя смущенному Петрякову (за которым больше не стоило ухаживать): «Я, видите ли, к девочкам». Ивалова он презирал за трусливость, за неожиданный стакан чая, который в «Альказаре» перебивал две бутылочки «сэкта», за идейность бородки, казавшейся на фоне плеч той же Эрны или Эммы чем-то национально умилительным вроде левитановских березок. Ему не приходилось и философствовать о Европе. «Вычищенный», он, как разведенная жена, мало заботился о репутации. Девочки — так девочки.

Смущенности он не испытывал никакой. Повези его, кажется, в Сенегал, он и там бы чувствовал себя на месте. Годы революции и гражданской войны лепили и таких людей: раз-два. Где уж тут было думать о некоторых мелких деталях? Уверенность жестов, слов, мыслей. Незнание языка мало его останавливало: он умел говорить руками, даже кричать, смягчая жесткость подобных объяснений зеленым пластырем долларов. При малейшем сопротивлении он начинал скандалить: «У нас в России!...» Он дошел до того, что обругал кельнера, ошибившегося в марке ликера, «идиотом»: «Разве у нас, в России, так подают?» Тень Якова Лыкова, вопреки традициям чувствительных романов, не предстала перед ним. Это, разумеется, не мешало ему с жадностью кидаться именно на то, чего он был лишен в России: на дешевку товаров, на коньяк, на шик кокоток, на груды женских бедер и задов, различно группируемых, то как политическое «обозрение», то в виде «танцев Востока». Он посещал ночные притоны, где, среди семейных фотографий и ракушек с цветными видами Баден-Бадена, таксоногие немочки, пахнувшие кислой капустой и потом, в панталончиках или без таковых, нудно исполняли «танец живота». Он посещал и светские «дансинги».

Там он впервые понял сомнительность, второсортность Сонечки. Сколько богинь! И все они с такой несравненной грацией фокстротировали, что даже нетанцевавший Михаил и тот чувствовал (духовно) сладкое прикосновение к своим коленям дамских, теплых и эфирных. Да, это не Артемида с Малой Никитской! Открытие сильно огорчило нашего героя. Впрочем, он утешился мыслью, что в Москве и Сонечка товар. Кроме того, он же ее любит. Сонечка, милая Сонечка!.. Повторяя про себя лакомое имя, он, однако, времени не терял. Ведь в конструктивной книжечке значилось: «С актеркой». Он нашел требуемое: некую даму. Продлив наблюдения, даже наведя у швейцара соответствующие справки, он убедился — именно то, что нужно: не привычное ей занятие, но исключение ради рыжести чуба и зелени долларов. Последовавшее, увы, разочаровало его. Отличие от Москвы выражалось лишь в румянах, платье, прическе, белье. Под руками и губами Михаила это различие постепенно деградировало, сходило на нет. В итоге он получил обыкновеннейшую особу, только с усложнением многого, вследствие непонимания ею хорошего русского языка. Особа выклянчивала набавки, и это выводило Михаила из себя. Под утро он хоть набавил (боясь швейцара гостиницы), но зато избил, крепко, по-русски, с сердцем. Вещь оказалась недоброкачественной. Никаких высококультурных сантиментов, даже никаких трюков. За что же доллары?.. Померкший было образ Сонечки, реставрированный, сиял двойным светом.

Не следует думать, что этим ограничивались занятия Михаила. Нет, он находил время и для работы. Выбирал аппараты Петряков, но финансовые дела лежали на Михаиле. Он провел их блестяще. Осмотревшись и смекнув, он заменил первоначальный план, выработанный еще с Сонечкой и состоявший в подмене счетов, то есть в опаснейшем подлоге, другим, значительно более хитроумным и чистым. Биржевая горячка, хвосты у лавок менял, денежная дизентерия, наводившая на профессора уныние, для нашего героя явилась стимулом вдохновения, яблоком Ньютона. За аппараты расплачиваться нужно было марками, проделавшими в течение двух недель дистанцию, на которую даже Михаил положил два года своего нисхождения от героизма до подобных операций. Доллар с восьмисот марок вскочил до семнадцати тысяч. Рас-

плачивался Михаил накануне отъезда. И разве можно назвать грубым словом «подлог» воздушнейшую недомолвку, пустое место в правом углу счета, где должна была значиться дата? Обошлось недорого: бухгалтеру, помощнику, еще кой-кому. Михаил роздал десяток-другой долларов, вложенных, для ограждения глупой щепетильности этих недорослей, в сигарные коробки (сигары не в счет — Михаил выбрал самые дешевые). Проставить нужные числа было младенческим делом. Тысяча восемьсот долларов, не считая суточных, явились гонораром за находчивость нашего, подававшего надежды, финансиста. К чулочкам Сонечки присоединилось многое иное: туфельки, сумочки, шелковые пижамы, туалетная вода и прочее, еще более интимное.

Научился ли чему-нибудь Михаил на Западе? Познал ли он другие восторги, кроме горячки универсальных магазинов или шикарных танцулек? Как будто, просмотрев его дни, следует на этот вопрос ответить отрицательно. Он видел не больше, чем провинциал, приехавший покутить и перемещающийся непосредственно из гостиницы в ресторан, а из ресторана в публичный дом. Научные открытия или рабочее движение его столько же мало интересовали, как такого туриста музеи. Он считал, что этого и в России достаточно. Однако заграница не прошла для него даром. Живя больше носом, нежели разумом, Михаил пополнял скудность впечатлений их остротой. Он многое понял. Увиденное наполнило его еще большей уверенностью в себе, как будто эти кафе, магазины, даже механические блокноты, не говоря уж об элегантных субъектах из бухгалтерии или о несправедливо побитой актрисе, подтверждали право его, Михаила, на существование, на процветание, на торжество. Интернационализм, еще недавно бывший лишь передовой идеей, достоянием немногих благородных мечтателей, стал в наши дни общедоступным. Если бы Артем приехал в Берлин, он пошел бы на протертые улицы Нордена, где среди перелицованных пиджаков и дешевого маргарина юные читатели «Роте Фане» бредят мировой бурей. Он нашел бы там тех же героев, в тюрьме изучающих грядущее столкновение нефтяных трестов, на воле сколачивающих крохотные ячейки, тех же храбрых и простодушных Артемов, ту же непримиримость и хрипоту споров. Он легко бы

сговорился с этими чужестранцами, не зная общего языка, кроме мотива «Интернационала», имен Ленина или Либкнехта и грузного биения рабочего сердца. И как бы ни были численно тщедушны эти ячейки, эти полутайные сборища, эти листовки — они вызвали бы в Артеме удовлетворенную улыбку: «И здесь! Наше дело клеится. Наша сторона возьмет». Но в Берлин приехал не Артем — Михаил. Он увидел то, что ему нужно было увидеть. Жизнь — достаточно содержательная книга, даже наспех ее перелистывая, нетрудно набрать сотню-другую цитат на любой вкус. С отчаянием произносимые во время бессонницы слова профессора: «И здесь!» — в устах Михаила являлись самоутверждением. Там, у себя дома, он был только пионером, преследуемым новатором, первой ласточкой проблематичной весны. А здесь вся жизнь делалась такими и для таких. Как затравленный сыщиками немецкий коммунист, приезжая в Москву, не может без волнения глядеть на красные флаги, украшающие правительственные здания, так Михаил упивался безнаказанностью спекуляции, торжеством делячества, солидностью и независимостью своих берлинских единоверцев. Это не были древние наследственные буржуа, с их предрассудками, мещанским этикетом, чванством, ограниченностью фантазии, телесным и душевным геморроем, буржуа-либералы, лечащие минеральной водой желудки и печень, обожающие сентиментальное искусство и семейный уют, буржуа, обреченные историей и способные вызвать в Михаиле лишь улыбку снисхождения: падаль! Проходя по улице, он как бы приветствовал четкостью тела, взлетами хватких рук новую породу, детей войны, бунтов, голода, нищеты, минутных богатств, инфляций, виз, ненависти, хамства, своих братьев рвачей. Что же, он был прав, как прав был и наивный профессор, как прав был и бодрый Артем: в сложном клубке, именуемом «современностью», каждый из них мог найти подходящую нить. Рвач нашел европейское рвачество. В политике очень левые или очень правые, но равно уважающие только силу, то есть оружие и войну, в жизни преданные спорту и фокстроту, ловкие в делах, презирающие все предрассудки и искусство, любящие здоровье, воспринимающие влюбленность, как хороший аппетит, американизированные пуще самих американцев, эти романтические спекулянты и конструктивные Ромео

незаметно заменили своих старших братьев, частью оставшихся у Вердена или в Галиции, частью преждевременно устаревших и беспощадно кудахчущих о свободе слова или о честной торговле. Их зовут на разных языках по-разному, но, работая над историей жизни Михаила Лыкова, мы надеемся сделать книгу, наравне с другими — немецкими, французскими, английскими романами показывающую одну из разновидностей этой, еще литературой не оформленной, породы. Много раз описаны события и вещи, война и революция, самолеты и радиостанции, век переворотов и век машины. Не время ли заняться обитателями, теми, что совершают эти перевороты и пользуются этими машинами?

Итак, образование Михаила было завершено, достопримечательности осмотрены, покупки сделаны. Мы можем вместе с ним сесть в поезд, чтобы через рытвины латвийских и литовских границ проехать в Москву к Сонечке, поджидающей если не чуб, то чулки. Но перед этим следует рассказать об одной встрече нашего героя с соотечественниками, находящимися в бегах, которая покажет его с некоторой, еще мало обследованной нами стороны.

Как-то в кафе на Курфюрстендам к Михаилу подсел весьма подержанный человек с глазами и наглыми, и горестными, тоже рвач, только неудачливый, торговавший чем угодно — сначала в розницу Россией (преподнося польской разведке различные пикантные фактики), потом романовками, вывезенными из Крыма, соболями, аннулированными закладными, чаем, даже кустарными солонками, но всем равно неудачно. Он ненавидел большевиков исключительно за ценность их недоступных ему товаров, он худел и злился, вел переговоры со сменовеховцами и одновременно налаживал бюро экономического шпионажа. Михаил щегольнул перед ним своим обликом, описанием проезда в спальном вагоне, червонцами, щегольнул также некоторыми довольно циничными афоризмами, вызвавшими в сердце организатора бюро надежду: авось этот клюнет. Свидание было назначено на следующий вечер в отдельном кабинете, точнее, в стойле ресторана, куда немцы ходят, чтобы услащать тушеную говядину поцелуями. Кроме Ржевского (таков был один из далеко не литературных псевдонимов нового приятеля Михаила), присутствовали Голубев, бывший директор

Промышленного банка, и редактор белой газеты Шнельдрек. Пришедших доводил до слюнок, конечно, не посредственный рейнвейн и не рагу из зайца, но рыжий прохвост, по словам Ржевского, способный и на откровенность и на откровения. За Михаилом ухаживали нарасхват, как за примадонной. Он же, проявляя редкую неблагодарность, лакал вино, улыбался и расхваливал Москву. Вот дом на Тверском бульваре отстроили. Здорово! Через год такая горячка пойдет, только держись. Метрополитен будет, и почище берлинского. Он даже не понимал, как ранят его слова три отзывчивых сердца. Голубев не знал, радоваться ему или нет? Дом выстроили. Биржа функционирует. Люди делают дела. Как будто следует радоваться: вместо принудительных работ и бесплатных билетов (последнее казалось Голубеву глубоко антиморальным) — некоторые зачатки культурной жизни. Да, конечно. Но не для него. Для этого рыжего, для других, молодых, бойких, не польстившихся на заграничный уют. (Кстати, хорош уют: Голубев должен жить с семьей в двух комнатках мелкоразрядного пансиона и ездить в автобусе.) И Голубев ненавидел нэп. Он патетически рычал:

— Я понимаю рабочую оппозицию. Безумцы, но честные люди. Я им готов даже руку пожать. А нэп — это ведь черт знает что!..

Шнельдрек просто злился: какой дом? Вранье! Подкупили! А если выстроили, то гнилой. Или вниз крышей. Разве они могут строить! Голод. Нет голода? Басни! Золото Коминтерна. Вывозят последний каравай. Честные люди здесь, в Берлине. Или в Болгарии. А там — негодяи. Балерины и те приезжают подкупленные, для агитации. Ржевский снова напутал. Не подходит. И Шнельдрек собирался уже уходить. Он спешил: нужно написать еще одно «письмо из Москвы». Конечно, не о доме на Тверском бульваре. О голоде. Это вернее всего: испытанная масть. Но Ржевский его удерживал. Ржевский был спокойней всех. Во-первых, его политика интересовала «постольку-поскольку». Дадут в «Накануне» сто долларов, он будет разоблачать эмиграцию. Проблема исключительно цифровая. Дом построили? Неплохо. Может быть, и Ржевскому еще удастся пожить в этом домике. Червонцы стоят крепко — пять зеленых за штуку. Во-вторых, он помнил беседу в кафе. Рыжий субъект, может быть, коммунист, даже чекист, а может быть, нэпман.

Во всяком случае, он любит деньги. А с человеком, который любит не абстрактные разговоры, но зелененькие или беленькие ассигнации, всегда можно столковаться. Здесь не «пролетарии всех стран», а «деньги на бочку и не валяй арапа». Так Ржевский и поступил, конечно, обходительно, деликатно, сообразуясь с тонкостью места, даже с букетом рейнвейна. Он перевел спор с советских порядков на близость общего признания де-юре и конференции по погашению взаимных обязательств. Голубев тесно связан с одной бельгийской компанией, работавшей в Донецком бассейне. Интересно получить бы некоторые сведения. А награда изрядная: три тысячи фунтов. Ради пустяков Ржевский никогда бы не побеспокоил такого занятого человека, как Михаил. Здесь все люди свои. Голубев непосредственно заинтересован. Ржевский рад услужить друзьям. Что касается Шнельдрека, тот — литератор. Идеалистические побуждения. Но и он не чужд делам. Словом, работа на угле не остановится. Если, например, разнюхать о нефти, можно еще больше сорвать. Идет?

Ржевский приветливо светился. Голубев от волнения выпил залпом бутылку рейнвейна (платит не он — Шнельдрек). Даже редактор теперь сменил политический сарказм на благодушие, выражавшееся в катании шариков из мякиша, в приятной отрыжке после рагу и в улыбках, обнажавших гнилые клыки шакала. А Михаил...

Конечно, Михаил должен был согласиться. Что ему терять? Под вонючими овчинами и под легчайшим шелком давно погребена его совесть. А сумма изрядная, с тенденцией к повышению. Да и дело пустяковое. Собрать сведения — почти прогулка в лес за ягодами. Переправить пакетик? Но ведь Ржевский шептал нечто весьма успокоительное о симпатичном дипкурьере одного из лимитрофных государств. То ли переправляют. Наконец, приятный дух авантюризма должен был пробудить в нашем герое знакомые страсти. В фильме, именуемом его биографией, предлагали добавить завлекательный эпизод с гениальностью трюков, с прятанием, с условными телеграммами, с шифром записочек и с сургучными печатями дипломатической вализы. Конечно же, он должен был восторженно чокнуться со своей новой музой, с Ржевским, таившим под жидкими волосами, изобилующими грязью и перхотью, подлинное вдохновение.

Однако вместо этого он поднялся и, скорей задумчиво, нежели страстно, ударил Ржевского по лицу. Вероятно, и Шнельдреку, сидевшему рядом с Михаилом, пришлось бы плохо, но находчивый редактор, достаточно наспециализировавшийся по части бегов, опрокинув бутылку и отдавив неудачнику Ржевскому мозоли, метнулся к выходу. За ним последовал Голубев. Михаил стоял спокойный, даже необычно для него грузный, угрюмо поглядывая сквозь отдернутую беглецами занавеску на вооруженную бутылками стойку, и дальше на ацетиленовую ночь. Он походил в эту минуту не на скандалиста в средней руки кабаке, но на судью, глухо и важно прочитавшего: «По совокупности присуждается...» Темные чувства бродили в нем, не доходя еще до сознания. Смесь пафоса и презрения делали его глаза фарфоровыми, глазами библейского пророка, подкинутого в берлинский паноптикум. Оглядевшись наконец, он увидел Ржевского. Побитый импресарио столь печально кончившегося ужина не уходил. Нужно думать, затрещина была не из сильных: ведь руки Михаила умели лучше рвать или душить, чем наказывать. Да и Ржевский был приучен к подобным казусам. Кто только не заносил на эти оливковые небритые щеки, как в жалобную книгу, негодующих чувств? Помогая Михаилу влезть в рукава пальто, незлопамятный Ржевский нежно пришептывал:

— В таком случае, может быть, вы устроите меня во Внешторге? Я ведь с накануновцами уже снюхался...

Вторичного удара не последовало, ответа также. Брезгливо отряхнув пальто, Михаил смешался с копошением электрических светляков и бензинной духотой, образующими столичную ночь. Много спустя, уже лежа у себя в номере, он задумался: что произошло? Тотчас негодование ожило, и руки грубо сжали клок перины. Как видно, и в подлости много градаций. Пишется вор — так вор, в действительности все обстоит много сложнее. Михаил (не будем вдаваться в прошлое) только что украл у государства порядочный кусочек, свыше трехсот пятидесяти червонцев. Он хорошо помнил об этой цифре, приятно ширившей и бумажник и фантазию. Но это казалось ему чем-то семейным, мелкой пакостью, и только. Господа в ресторане предлагали не кражу, а измену. Никогда, повторял оскорбленный герой, Советской России он не предаст! За все проделки его поставят к стенке? Что же,

в тот день ему не повезет. Зато повезет сотрудникам Гепеу. Просто. А изменников, караулящих под окном, где плохо лежит, следует бить. Не их ли он бил в Крыму? Все те же. Заносчивость накрытых шулеров, вместо физиономий поэтические гербы, а руки времени не теряют. В оба смотри! Иностранцев науськивают. Перед каждым немецким швейцаром лебезят: ах, мол, у вас порядок и прочее, наша-то сволочь накуролесила. Бить их! Михаил не мог уснуть, и весь остаток этой ночи прошел в сумбурных думах о России, в своеобразной патриотической лихорадке, посещающей сердца даже космополитических рвачей.

Он понял, что любит Россию, и в этом чувстве было вдоволь всего: благодарности, привязанности, отслоения юношеских снов, самолюбования. Вот та же Сонечка — разве она не лучше всех здешних дам? Презирая идеи, как воробей из пословицы мякину, он и теперь уважал родину за ее пуританский идеализм. Пусть читатели недоверчиво улыбнутся, решимся, скажем: он уважал Россию за то, что там его накроют, поведут «к стенке». Да, да, и за это! За честность, за грубоватую сухость газет, полных «ножницами», где что ни строка — то цифра, за отсутствие декламации у ораторов, за всю взволнованность дыхания, которой не скроет наигранное делячество «хозяйственников». Повторяем, здесь было все, рядом с бескорыстностью пробивалась усмешка: еще люблю за то, что там раздолье, ничего не отстоялось, за то, что революция привела меня из каморки лакея в шикарные дансинги. За то, что я могу послать к черту хотя бы Голубева. За удачу: коротко и просто. (Так удача народа, в отличие от других показавшего, что революцию можно делать не только с дипломатической целью, но и всерьез, сливалась в его представлении с удачей Михаила Лыкова, проставившего на счетах не вполне точные даты.) Чувство было отнюдь не чистым, оно отдавало патриотизмом нэпманов, которые после удачной сделки готовы иллюминовать дома, отремонтированные в честь Октября, но ведь каждый любит, как может. Притом в силе этого чувства не приходилось сомневаться. Он пошел бы воевать за Советскую Россию, пошел бы на смерть. Чувство недостаточно чистоплотное? Может быть. Однако крепкое.

Установим: Михаил любил Россию. Мишка мог с радостью вспоминать обжигающую сухость снежков, отрыжку после пасхальных яиц, скользких пескарей

в Днепре. Михаил Октября знал прежде всего захват дыхания, широту крика, выворачивающего челюсти, и широту чувств, хоть и приведших валюту к девальвации, а обывателей к пше, даже к отсутствию пши, но создавших вдохновеннейшую поэму о борьбе полудикого и невежественного народа за счастье человечества. Михаил последующей эпохи склонялся к буйству пивных, к необузданности азарта, к толстой коже кустарных бумажников и к не менее толстой коже их обладателей, к первичности накопления, ко всяческим прыжкам (вчера еще висели на трамваях, как птицы на дереве, а сегодня войди на ходу — рубль золотом, вчера семечки, наравне с Керенским вошедшие в историю, сегодня — у каждого подъезда урны и ни-ни), ко всем возможностям Америки, опоэтизированной скифской душой. Смешение различных образов рождало, хоть и пегую, далеко не породистую, но все же любовь. Он видел свое, видел то, что хотел: страну, где романтизм легко сбивается на подлость и где любая завалящая подлость жаждет романтического освещения, где мог родиться, жить, буйствовать и унижаться Михаил Яковлевич Лыков.

Ночь, отданная столь высоким раздумьям, была одной из последних в Берлине. Таким образом, ностальгии не было суждено окрепнуть. Вскоре зоркий глаз Михаила уже увидел себежские ворота, обозначающие государственную границу СССР. Тогда взволнованность охватила нашего героя. Он как бы физически ощутил значительность минуты, реальность этого порога. Конечно, он не был одинок: его попутчики, русские или чужестранцы, испытывали тоже нечто однородное. Мы знаем это волнение. Образ ворот (трогательный в своей наивности, ибо только крестьянский, мужицкий народ, представляющий себе государство как двор, мог додуматься до поезда, въезжающего в деревянные ворота), этот образ жив в нас и теперь, когда далеко от отчизны, среди бабьего лета, среди первых ноябрьских туманов Парижа, составляя историю Михаила Лыкова, мы ежечасно возвращаемся сердцем и памятью к патетическим событиям и незабвенным местам. Мало ли в Европе других границ? Но как они докучливы и ничтожны, ничего не разделяя, напоминая о себе только таможенными чиновниками, перетряхивающими чемоданы, и обменом монет!.. Не то себежские ворота. Это вправду граница,

раздел двух миров, граница скорее эпох, нежели пространств. Угрюмы и настороженны лица двух часовых. Один из них погибнет, и как может сердце — своего ли, врага ли,— глядя на невыразительный ландшафт нейтральной полосы, на латвийские галуны и на звезду красноармейца, на ребяческие ворота, не участить ударов? Но взволнованность Михаила шла не от радости, не от страха. Вторая душа, казалось, уже побежденная, ничем не проявлявшая себя после ночного визита к товарищу Тверцову, воскресла и возмутилась. Ворота гласили: «Привет, товарищ!» Могли ли они, радостно улыбавшиеся узникам Хорти или реэмигрантам, возвращающимся из не вполне медоносной Америки, приветствовать Михаила с его надеждами на «Югвошелк» и с багажом в виде накраденных долларов? Для таких ли дел они раскрыты настежь? Михаил привстал. Он говорил себе: опомнись, остановись! Он глазами беседовал с кожаным шлемом: меня следует арестовать. Да, да, меня, именно меня. Он беседовал только глазами. Его юношеский порох был давно расстрелян и в подлинных боях гражданской войны, и в мелких кабацких скандалах. Раскаянье уже ограничивалось тошнотой и ни к чему не обязывающими мыслями о смерти. Куда тут!.. Скептическая усмешка, вероятно, предназначалась все для того же безразлично высящегося шлема. Он начинал узнавать себя. Он жил полюсами: или — или. Подойти к шлему, протянуть деньги, расписаться под протоколом и неделю-другую, глядя сквозь решетку на квадрат белесого неба, ждать смерти. Не может? Что же, тогда «Югвошелк». Тогда еще несколько лет, а может быть, только недель нелепой, бестолочной, прекрасной жизни. Тогда Сонечка... Тогда фланирование по Кузнецкому в новом берлинском костюме. Тогда...

Стоит ли перечислять? Борщ со сметаной себежского буфета после заграницы показался Михаилу особенно вкусным.

ШЕЛК. ШЕЛК

Сонечка встретила его сразу нежным словом:

— Шелк!..

Причем относилось оно не к действительно шелковым, высшего сорта, белью или чулочкам, привезенным Михаилом в качестве презентов своей

недоступной Артемиде, но к перспективам. Вместо благодарности за подарки, за всю удачно завершенную операцию, принесшую Сонечке сто семьдесят пять червонцев чистоганом, вместо ласкового щебетания, столь естественного после разлуки, он сразу должен был выслушать обстоятельный отчет о положении в «Югвошелке». Дело не терпело оттяжки. Московский представитель треста, известный уже Михаилу Шестаков, предлагал купить не товар, а нечто более лакомое: свою должность. Заполучив командировку в Ригу, он собирался (это, конечно, конфиденциально) назад не возвращаться. Жизнь в Москве его сильно утомила. Статейки в газетах, доказывавшие необходимость сократить зарвавшихся нэпманов, болезненно отражались на аппетите и сне. Ко всему камни в печени срочно требовали карлсбадских вод. Ему удалось переправить за границу пять тысчонок долларов. Он шел на скромную, но спокойную жизнь: сказывались годы. Как полагается, он занимался, хоть и под сурдинку, ликвидацией имущества. Продавалась если не мебель (увидят — донесут), то ковры, столовое серебро, картины. Продавалось и менее обычное: должность. Шестакову в правлении треста всемерно доверяли и соглашались поставить заместителем (временным, ведь официально он должен через шесть недель вернуться) любого по его указанию. Оклад, правда, небольшой — двенадцать червонцев. Но разве в окладе дело? Проделав сложные вычисления, Шестаков установил, что в среднем место приносит от двухсот пятидесяти до трехсот червонцев ежемесячно. Доходы значились по трем рубрикам: принятие частного шелка для окраски, продажа по якобы низким ценам (непосредственно спекулянтам), наконец, «стихийные бедствия»: то наводнение, то пожар, в отчетности ликвидирующие запасы, плюс естественная утечка товара. Место Шестаков уступал всего-навсего за двести червонцев. Дешевка! Очевидно, кроме камней в печени, у него был и хороший нюх, настаивавший на незамедлительном отъезде. Он должен был уехать в субботу, а Михаил приехал в четверг. Бедная Сонечка немало наволновалась: разминутся. Изложив сущность дела, она стала настаивать, чтобы Михаил немедленно поехал к Шестакову. У него нет двухсот червонцев? Сколько? Пятидесяти не хватает? Что

же, Сонечка ему одолжит, выложит из своих (портнихи подождут). Ведь дело верное, капитал мигом вернется. Шестаков оставляет в наследство некоего Лазарева, который берет для Баку всю партию, значащуюся подмоченной, за шестьсот червонцев. Бракованный же товар можно продать за триста — триста пятьдесят червонцев самое большее, получив еще благодарность от правления. Таким образом, сразу — двести пятьдесят червонцев. Если б не срочность отъезда, Шестаков сам кончил бы это дельце... Словом, ждать нечего. Сейчас же к Шестакову!

Пересказанное нами, все это может показаться скучным и будничным. Но Сонечка была замечательной женщиной, если и не Артемидой, то, во всяком случае, достойной обожествления. Внося деловитость в любовные похождения, она умела опоэтизировать весьма трезвую аферу. Стоило послушать, с какими придыханиями произносила она слова: «подмоченный» или «бракованный». Михаил не мог отвести глаз от ее пухленьких губ. Он попробовал было разгрузить густоту цифр и терминов лирическими вздохами. Он так соскучился! Право же, он заслужил иного приема. Ведь в Берлине приходилось все время работать. Аппараты, счета, мультипликаторы, переводы марок на доллары, смазывание честных немецких сердец — тоска! (Об актрисе он, разумеется, умолчал.) Но Сонечка гнала его к Шестакову. Тогда, обиженный, он решил прибегнуть к весьма прозаическому намеку:

— Ведь ты же сама сказала: если с Берлином выгорит... (Последнее время в патетические минуты он говорил ей «ты».)

Сонечка возмутилась:

— Я вам не проститутка. Меня нельзя купить, даже за сто семьдесят пять червонцев. Поняли?

Она знала, как с кем разговаривать. Наш герой, пристыженный и укрощенный, поплелся к Шестакову. Дело было слажено. В субботу Шестаков, как и предполагалось, отбыл на пресную жизнь рантье, связанного диетой и экономией, наш же герой, возведенный в звание московского представителя «Югвошелка», с горделивой осанкой осматривал небольшое помещение треста. Право, он чувствовал себя по меньшей мере послом. Он одаривал улыбками веснушчатую секретаршу, курьера, портреты вождей, диаграммы добычи и обработки шелка, все и всех. Впрочем, самая

нежная улыбка досталась Лазареву, этому и без того достаточно сахарному армянину, круглому, красному, с маленькими черными глазками, напоминавшему арбуз. Лазарев, привыкший рассматривать все события, от весны до «испанки» в соседней квартире, от звонка на парадном до революции, как источник возможных доходов, хотел нажиться и на отъезде Шестакова. Вместо шестисот он давал теперь только пятьсот, хотя смена представителей никак не отражалась на мягкости и безупречности шелка. Понижение суммы он думал смягчить прирожденной сладостью, но Михаил не поддавался. Так оба, улыбаясь, они просидели добрый час безрезультатно. На следующий день повторилось то же самое. Дней десять длилось это состязание улыбок, вздохов и сетований на отсутствие дензнаков. Победил хоть молодой, но уже привыкший ко всяческим триумфам представитель «Югвошелка». Лазарев пронзительно вздохнул и вытащил из кармана перевязанную голубой ленточкой пачку:

— Считайте.

Руки Михаила быстро порвали ленточку и, раскидав бумажки (которые аскетическая фантазия нам, к сожалению, неизвестного гражданина украсила церковнославянскими буквами), не захотели, вернее, не смогли заняться проверкой. Ком ассигнаций был засунут в брючный карман. Лазареву досталась записка на получение со склада шелка. Секретарша пометила в книге, что бракованная партия 18 августа отпущена Пепо за триста десять червонцев. Шестаков не надул: шелк оказался питательным продуктом.

Следует полагать, зная привычки Лазарева, что дело не так скоро кончилось бы, не будь здесь некоторых посторонних обстоятельств. Наверное, этот прохвост протянул бы еще неделю-другую, пытаясь скостить хоть пятьдесят червонцев. Но недаром мы упомянули о хорошем нюхе гражданина Шестакова. Ильинка вместо повышательной или понижательной тенденции указывала, что ли, туристическую. Подлинное томление, ностальгия, розыски иных горизонтов сказывались на физиономиях обычных завсегдатаев пивных и кофеен Варварки, Театрального проезда, Маросейки и других центральных артерий.

В некоторых государствах Центральной Америки, где почва вулканическая и землетрясения столь же часты, как у нас грозы, дома строятся чуть ли не из

папье-маше, недвижимость ни во что не ценится, а люди ведут полукочевой образ жизни. Нечто подобное замечаем мы в истории нашего нэпа. Где тут до мебели ампир! Чуть что — приходится перекочевывать. Сегодня — суконное дельце в Москве, а завтра он — «безработный педагог» в Воронеже. Капитал его в червонцах или же в фунтах, то есть в самом что ни на есть портативном, почти от человека неотделимом, как штаны или душа. Походная жизнь. По сравнению с ней даже приключения искателей золота, где-нибудь в Калифорнии, кажутся семейным уютом. Место сейсмографов занимают носы, различные: индюшачьи с наростом, горбатые, картошкой, кнопочкой, всех фасонов, но равно впечатлительные. А землетрясения, при всей их катастрофичности, происходят методично, как по программе. Стоит всем этим носам раздобреть, размякнуть от вбирания исключительно приятных запахов гуся с яблоками или духов «Убиган», подаренных дамочкам, как рабкоры начинают ругаться. В «Правде» появляется ехидный фельетон. Известное боевое оживление, как ветерок, пробирает «ремингтоны» и лица сотрудников ГПУ. Носы тоже не клюют носами: одни направляются в идиллические захолустья — переждать, другие запасаются различными удостоверениями. Валютчики оказываются агентами Госбанка, а маклера — служащими солиднейших учреждений. Какой-нибудь нос, решающий в тоске пойти в оперетку, шепчет недогадливой кассирше: «Хорошо, я вам заплачу за первый ряд, но вы меня посадите подальше, чтобы не бросаться в глаза, максимум в восемнадцатый».

Наконец — наступает. В наших газетах операция называется образно «снятием накипи нэпа». (Очевидно, жирность и смачность улова придают мыслям кулинарный оттенок.) Все невнимательные и нерасторопные носы отбывают. Окошко в вестибюле ГПУ, где выдают справки, облипает взволнованными шляпками. Нэп, являя образец чисто христианского долготерпения, уходит в катакомбы. Балы отменяются. Закрываются рестораны. Ощущение великого поста сказывается даже на тетерках и семге Охотного ряда. Потом самый предприимчивый нос решает выглянуть: что слышно? Не имея конкурентов, он быстро растет и пухнет. Молва о носе-умнике ширится. Мало-помалу возвращаются провинциалы. Ильинка снова гудит.

У Лазарева тоже был нос. И в ресторане «Бар», и в кафе Мосторга, и в прочих местах он встречал немало приятелей, одаренных интуицией. Стрелка указывала на близость землетрясения, и Лазарев спешил покинуть хоть лакомую, но опасную столицу. В три дня он закончил тянувшиеся около месяца переговоры, в том числе и шелковое дельце. Он собирался уехать на следующий день. Михаилу везло: даже стихийные явления и те работали на него.

Часов в десять вечера, услышав условный звонок, Сонечка нехотя открыла дверь. Наш герой вошел в комнату, молча сел на софу, с видом человека, пришедшего к себе домой, и даже не удостоил Сонечку объяснений. Он был не на шутку утомлен. Сразу после одной трудной главы, не переводя дыхания, он должен был перейти к другой. Радиоаппараты сменились шелком. В согласии с библейским проклятьем, червонцы не давались даром. В течение последней недели он пробовал раза два-три заглянуть на Малую Никитскую, мечтая о лирической паузе. Но Сонечка встречала его холодно: она терпеть не могла промедлений. Нерешительность Лазарева она относила за счет халатности нашего героя, требовала энергичных поступков, беспрестанными упоминаниями о шелке как бы подхлестывая Михаила. Ни одного поцелуя! Зато все время она просила: ей, видите ли, хочется манто, ей хочется браслет с опалом, ей хочется платье, парижская модель без талии — прямая линия, всего сто червонцев, ей хочется... Ей действительно многого хотелось. Михаилу следовало бы скорей вытянуть деньги у Лазарева. А того, чего хотелось ему, он не получал и даже не рассчитывал получить когда-либо. Но что тут делать? Любовь не сделка с Лазаревым. Здесь даже Михаил и тот способен был прогадать.

Теперь с кипой червонцев он тупо сидел на софе, ничего не ожидая. Он просто чувствовал изнеможение. Сонечка, растравленная молчанием, теребила его за рукав:

— Лазарев?.. Шелк?.. На когда?.. Сколько?..

Наконец он собрался с силами и, опорожнив карман, кинул бумажки на стол:

— Бери.

Сонечка не понимала:

— Сделал? Молодец! А на чем кончили? Ты деньги возьми. Мне ведь только пятьдесят следует.

Но Михаил уныло зевал:

— Бери все. Я знаю: там опалы разные и модель с прямой линией. Покупай сама, я в этом ничего не понимаю.

Сонечка попробовала отказываться, щедрость поклонника смущала ее, но Михаил настаивал: «Все бери!» Тогда она, расправив ассигнации, аккуратно сосчитала их:

— Здесь пятьсот восемьдесят.

Михаил на минуту оживился:

— Не может быть. Он ведь завязанными дал. Должно быть шестьсот.

Пересчитали еще раз: пятьсот восемьдесят. Михаил был возмущен: какая, однако, каналья этот Лазарев! Ну, ничего: он завтра утром пойдет к нему, взыщет. Он знает, где Лазарев остановился. Варварьинское подворье. А если тот недодаст, плохо ему придется. Руки Михаила в предчувствии мыслимой расправы уже терзали воздух. Потом он снова впал в апатию. Даже поцелуй Сонечки не смог оживить его. Нехорошая сонливость оттягивала щеки и крыла мутью перегоревшие глаза. По узлу бровей Сонечки можно было догадаться, что она занята серьезными раздумьями. Новая операция с шелком? Или уже не шелк, а табак? Вата? Нет, на этот раз она думала о Михаиле: его общее состояние, несуразность пусть и щедрого, пусть и приятного жеста требовали радикальных мер. Нужен Сонечке Михаил? Конечно, нужен, более того,— необходим. Он один, ничего при этом не требуя, заменяет всех нахальных, желающих на свои деньги взыскать побольше, всех значившихся в рубрике «для тела», оставляя Сонечке возможность жить «для души». Если он необходим, нужно его беречь. Сидит и молчит. Может, чего доброго, в Москву-реку кинуться или найти другую. Взвесив все, Сонечка направилась за ширму.

Михаил не обращал на нее никакого внимания. Он громко дышал и указательным пальцем постукивал о портсигар. Наконец Сонечка окликнула его. Он не двинулся с места. Она показалась, и вид ее должен был произвести на нашего героя сильное впечатление. Розовость плеч и бедер, в сочетании с черным бельем, привезенным из Берлина, говорила о трагической нежности. Но Михаил все еще ничего не соображал.

— Что? Недурна? Это ведь твой комбинезон, шелковый...

Он был так мало подготовлен к ожидавшему его счастью, что откликнулся мысленно лишь на слово «шелковый», напомнившее ему о недавних трудах. Подлец Лазарев! Следует обязательно дополучить двадцать.

— Ну, дурачок! Иди сюда.

Сонечка начинала сердиться. Что с ним? Оглох? Болен? Розовое и черное приблизилось, стало теплотой, реальностью, жизнью. Раздалось глухое мычание, Сонечке вовсе не понятное. Его слышал когда-то, это было давно, Артем (Кармен с розой в зубах и нота). В этом утробном животном мычании сказались сухость двадцати пяти лет, запас неизрасходованной нежности, унаследованной не от Якова Лыкова, не от матушки, бог знает от кого, фосфорической нежности, тщета слов и плотность любви, которая, не родив ни гениальных творений, ни благородных поступков, все же проникла в кровь, стала тяжелыми известковыми сгустками.

Неравная борьба началась: беспомощности человеческого сердца с трезвым решением, родственным блокноту и шелку, с обдуманностью всех поз и интонаций. Можно ли сомневаться в ее исходе? Конечно же, победила Сонечка, все произошло, как она и предполагала, если не считать некоторой замедленности дебюта, раздражавшего ее мямления Михаила и разорванного комбинезона (пусть! он ей новый купит). Куда девался весь цинизм Михаила, сводивший прежде его любовные авантюры к двум-трем поговоркам? Неужели эти руки и впрямь тосковали по ласке? Он вел себя как школьник, он вполне заслужил пренебрежительный отзыв Сонечки:

— Ты не мужчина, а кролик.

Взять хотя бы робость рук, еще недавно душивших воображаемого Лазарева, а теперь не решавшихся коснуться выхоленного плечика. Где их хваленая расторопность?

Неуклюжие жесты, обозначившие нежность, неожиданное девичество развратника и грубияна, злили Сонечку.

— Дурака валяешь! Ложись!..

Нет, он был вполне искренен. Отнюдь не притворство, подлинность чувств тормозила его руки. Он ждал от десяти — двадцати подступающих минут переворота, такой встряски, чтобы с души спала шелковая или овчинная одурь, он ждал оплаты всех прежних лет,

вплоть до последней проделки с Ольгой, ждал топлива, замерзая среди скрипучей сухости своих безлюбых дней. Он ждал решительно всего. Мог ли он пойти на явную подделку? Все, что угодно! Лучше трусить сейчас по сырым, дождливым, керосиновым улицам окраин, лучше действительно с Каменного моста броситься в чернильную гущу реки, расшитую фонарными отсветами, лучше смерть! Если и это окажется сродни привычному — дарницкой бабе, Ольге, той же заграничной актерке, что тогда делать, как вернуться к шелку, к червонцам, к окаянной жизни?..

Так произошло на первый взгляд непонятное: Михаил упирался. Но мы ведь знаем, кто одержал верх. Сонечка поставила на своем. Была минута, одна, короткая, но грузная, минута, когда звериный оскал обозначился на лице нежного и застенчивого мальчика, боявшегося учащающихся поцелуев. «Расквитались!» — облегченно подумала Сонечка и зевнула:

— А теперь спать. Завтра с утра портнихи, примерки. Ты знаешь, почем крепдешин?..

Михаил ничего не ответил. Задушить Сонечку он не мог: руки на это не шли. А говорить было не о чем. Он подумал, что углубляться нельзя, все может кончиться дикой выходкой, даже преступлением. Он решил утешить себя. Сонечка рядом. Он получил все. Другое? Другого не бывает. Другое — выдумки. Михаил не слюнтяй. Он знает цену шелку. Он знает и цену любви. Лучше просто глядеть на плечико Сонечки. Или гладить его, только тихо, чтобы она не проснулась (Сонечка засыпала сразу, как дети или как люди с безупречно чистой совестью). Этой близости розовой нежной кожи у него нельзя отнять. Это лучше самой Сонечки. Плечо — это вещь. Как шелк. Мягкое, как шелк. Нежное, как шелк. Дорогое, как шелк. Рука его вскоре замерла на розоватом холмике: усталый, он задремал.

Пробуждение совпало с рассветом, смешалось с ним. Проступали различные формы: округлость комода, массив шкафа, светлая прорубь зеркала, а с ними и первые мысли: что произошло? Где он? Кровать не так стоит, Сонечка... В серости, в злокачественности переходного часа вещи и мысли барахтались, копошились, ерзали. Наконец и свет и отрезвление позволили разобрать оставленные на столе червонцы. Тогда Михаил от остроты боли вскрикнул. Отмычка лежала перед ним: деньги за

шелк. Червонцы и розовое плечико вязались в одно. Соленый вкус поцелуев, потеря дыхания, беспамятство — все это разлагалось на цифры. В голове Михаила шуршали слова газет: «денежная единица», «товарный рубль»... Вот именно, товарный рубль! Разве он вырос за прилавком? Руки, что ли, приучены к костяшкам? Страсть, он знал ее, когда от горечи спаленной травы кровенеют белки и каблук, как копыто, гвоздит землю. Там, в Берлине, под газовым солнцем, глотая пенную горечь пива и смерти, один, среди пьяниц,— «Сонечка!» Значит, все это выдумки? Последние кулисы обследованы. Фикция! За шелк — шелком. Любовь — для стишков, при этом со скудностью рифм: ну «кровь» или «вновь». Еще «морковь». Но это не подходит! Морковь только для Кармен из Дарницы. Лучше бы шелк. Если ассонансы (как тот, из «кружка») — «тубо». Непонятно, но выразительно. «Любовь... червонцы «Югвошелка»... тубо... ацетиленовое солнце...» Дрянь! Сонька — дрянь!

— Слышишь? Дрянь!

Не находя больше сил, чтобы сдерживаться, чтобы глаз на глаз воевать с резкостью утреннего света и с подытоживанием чувств, он тряс теперь это розовое, обожествленное и вправду божественное плечико. Сонечка, проснувшись, сердито зевнула в локоть и скосила один, лучше раскрывшийся глаз на часики: семь.

— Ты с ума сошел? Будить меня! Я встаю в десять.

— Встанешь и в семь. Без оговорок. Скажи мне лучше: в чем дело? Я совсем с ума схожу. Следовательно, ты за червонцы?..

— Я спать хочу, а не философствовать. А денег жалко, бери назад и убирайся. Только не мешай мне спать.

— Жалко? Ничуть не жалко! Обидно сочетанье. Ясно? Я вот, признаюсь тебе, в Берлине актерку одну подрядил. Шик исключительный. На подвязках японские птицы вышиты, честное слово! И что же? Дрянь! Как все! И ты как все! Ведь не в штучках дело. Я от чувства погибаю. Я любви от тебя хотел...

Сонечка, привстав, тряслась от злобы. Ей мешают спать! Это подлее всего. Каждый человек имеет право на отдых. А так хочется спать! И вот, мало вечерних забот, глупости, грубости этого хамоватого щенка, нужно еще, вместо сна, беседовать с ним...

— Я, миленький, тебе ничего не обещала. Хотел со мной спать, клянчил полгода, ну и получил. Не нравит-

ся, убирайся к другой! Денег жалко — забирай. А нежничать я с тобой не собираюсь. Нравится мне Петька Верещук из футбольной команды, так и говорю: Петька — для души. Завтра он здесь будет вместо тебя. Я тогда, может быть, и вовсе спать не стану. А теперь — к черту! Молчи или выкидывайся!

Разве не так беседовал Михаил с голубоглазой Ольгой? Почему же он удивился? Почему счел себя снова непонятым, одиноким, исключительной натурой, трагическим Мишкой? Нет, чувства нельзя сравнивать, нельзя измерить их ни «товарным рублем», ни другими мерами. Он оставил Сонечку спать. Он не забрал червонцев. Сидя возле окна, он долго глядел на улицу, на метлу дворничихи, на лоток со сливами, на серость пыли, асфальта, неба, лиц, на всепримиряющую однородность мира. Он больше не думал. Приняв общую окраску этого заурядного утра, он был тих и безличен. Неудачливый маленький человечек сидел у окошка, чиркая ногтем по подоконнику (получались палочки, елочки, кривульки, кресты). Два часа прошли так. Они сделали свое. Столь патетично умершая, последняя надежда на нечто необычайное, на Артемиду, на любовь, должна была разложиться, смешаться со всеми отбросами чувств и лет. Он освобождался от последней нелогичности, от последней зацепки, и, возвращенный к подозрительной свободе воздуха, лишенного запаха и окраски, к свободе внутреннего перемещения, он уже не хотел перемещаться, в свободе он соприкасался со смертью. Сколько бы ни предстояло ему еще ходить, даже волноваться или радоваться, сидя у этого окошка, глядя на метлу, чиркая ногтем, он умирал, без выстрела, без монолога, без слез.

Бой часов («девять»), однако, прервал этот процесс. Эпилог был, таким образом, отложен. На сколько глав? Пока что он тихонько мылся, завязал галстук. Он задумался: куда ему идти? Снова шелк? Но зачем?.. Уже давно не было азарта первых дней, озноба, пробиравшего новичка, который с чемоданом помжериновских марок отправлялся в Одессу-маму. «Лиссабон» теперь чадил скукой, зевал двойными дверьми, наводил тошноту и бужениной, и полипом цыганки Вари. Вчера еще имелась Сонечка, придававшая даже шелку теплоту, чувственность, клейкость человеческого тела. Но вот и это кончилось. Он, рыжий и юркий, никогда не будет «для души». Там Петька из

футбольной команды. Это его вина, он сам все меняет, одним прикосновением обезьяньей руки превращает Сонечку в берлинскую актерку. Куда же ему деться? Уже галстук завязан, уже кепка венчает чуб, а идти некуда, незачем.

Михаил подошел к спящей Сонечке. Ладонь под щекой, поджатые ножки, свежесть и слабость маленького тельца вызвали в нем знакомое умиление. Это, конечно, остается загадочным — почему Сонечка, столь деловитая, удачливая, как никто обделывавшая свои делишки, вызывала в нашем герое подобное чувство? Он даже попытался пожалеть ее, забыв о Петьке-футболисте: нелегко ей одной, такой молоденькой, может, например, напасть тоска, могут и накрыть ее (вот эта ладонь, розовая раковина — в тюрьме!). А то еще подберет какую-нибудь болезнь. С кем она только не спит? Бедная Сонечка! Как это еще выразить? Маленькая! Девочка! (Он бессознательно копировал Ольгу.) Спит? Пусть спит. Но куда же ему идти? На одну минуту он поддался легчайшему соблазну. Он помечтал о хорошей, честной, простенькой жизни. Взять Сонечку и уехать — куда-нибудь в глушь, где о них никто ничего не знает. Он будет служить в Наробразе или в губфине. А Сонечка?.. Она может давать уроки. Легко. Хорошо. Ни раскаяния, ни стыда, ни расплаты. Приехали. Молодожены. Флигелек. Вечером на крыльце звезды, за рекой собачий лай... К чести нашего героя следует сказать, что мечты эти длились не дольше минуты. Представив себе Сонечку скромной учительницей с тетрадями, он еле сдержал резкий приступ смеха, который мог бы разбудить гневную богиню. Чего тут кривляться? Он — служить? Четыре червонца в месяц и государственные интересы? Нет, увольте! Крыльцо и покой — это очень хорошо, слов нет, это лучше валандания и шелковой эпопеи. Но для этого нужно родиться счастливым болваном. Поздно! Себя не переделаешь. Ему конец один — не ворковать на крылечке, а в серое утро, как это, когда небо и сердце — одно, теряя калоши, мокрому от дождя и от пота, пройти к стенке, взвизгнув, метнуться, застыть, руку — под щеку, поджав ноги. Это тоже счастье. Это как сон Сонечки. А пока нужно жить. Раз-два. И без арапской идиллии! Куда? А шелк? Ведь его ждет шелк. Лазарев — какой мерзавец! К нему! Двадцать червонцев на улице не валяются. Если не отдаст, Михаил ему съез-

дит по роже, да покрепче, чтобы из арбуза сок брызнул...

Уходя, Михаил оставил Сонечке записку:

«Пошел к Лазареву дополучить 20. Зайду вечером пораньше, до твоего Петьки. Несмотря на все — богиня».

Богиня? Их делали, кажется, из мрамора. Почему Сонечка не мраморная? Хотя мраморная — это холодно. Сонечка — шелковая. Вдруг Лазарев успел перевести из склада? Тогда не отдаст. Придется зубы вышибить. Это ему не шелк! А дальше?..

Что дальше? Скажите, граждане, что же дальше? У Никитских ворот стоял некий гражданин, выпивший, вероятно, дюжину «Горшанова» или «Старой Баварии», серый, как улица, серый, как небо, стоял и задумчиво гнусавил: «Ламса-дрица-гоп-ца-ца!..»

Гоп — ца — ца. Ца — ца. Ца. (Это уже шаги Михаила.)

А дальше? Граждане, почему же вы молчите?..

ЕГО ХВАТИЛО НА ЭТО

Как просто все разрешилось! Как мудро устроена жизнь! Сложнейшие психологические узлы, над которыми тщетно пыхтят года, разрубаются короткой минутой. Одно только остается невыясненным: надул ли Лазарев Михаила, недодав ему двадцати червонцев? Легко это допустить: за Лазаревым ведь и не то водилось. А может быть, и не надул. Он клялся, что не надул, хотя в дальнейшем это для него не играло существенной роли. Он ведь сказал Михаилу «сосчитайте». Михаил сам не захотел считать, быстро засунув бумажки в брючный карман. Нервность Михаила всем известна. Он мог обронить две бумажки по десяти. Обронил? Или Лазарев плут? Повторяем, это так и остается невыясненным. Михаилу не удалось побеседовать по душам. Он быстро вбежал в контору гостиницы, где заспанная барышня пила с блюдечка чай. Он успел произнести имя Лазарева, но не больше. Две руки сжали его руки. Наш герой вырвался, кинулся вниз, сделал несколько прыжков. Перед ним была река, трамвай «А», голуби, свобода. Жалкая попытка! Хваткие руки настигли его, к ним присоединились и другие. Тогда, покорно вытянувшись в струнку,

выдавая победителям свои руки, не угнавшиеся за трамваем и голубями, он жалостливо забормотал:

— В чем дело?.. Ничего не понимаю... Ничего...

Его отвезли в тюрьму. Держал он себя глупо и непристойно, как мальчонок, пойманный на краже яблока с лотка, мычал, ругался, молил о пощаде. Он беспрестанно выражал недоумение, хотя еще в конторе Варварьинского подворья круглое словечко «шелк» покатилось перед ним.

Он бился головой об стену и требовал врача. Ему казалось, что он действительно болен: ломило в висках и ноги не сгибались. Он кричал:

— Я ведь никакого Лазарева не знаю!..

Когда в оконце оказался кипяток, он яростно выплеснул его и обжег себе руку. Потом, обессилев, свалился на койку. Тогда решетка, дверь, чайник, еще недавно метавшиеся, менявшие очертание и сущность, бывшие какими-то клубами удушливого дыма, стали постепенно оседать, определяться. Страх и злоба, остывая, принимали формы. Наконец-то он понял: шелк, тюрьма, смерть. Утром в комнате Сонечки, у памятного окошка он был наполнен смертью, казалось, он готов к ней. Даже известная сладость (как будто предвкушение мягкости постели, свежести простынь) сопровождала тогда мысли о стенке. Но вот стоило этой стенке перейти из разряда понятий в мир вещественный, стать близкой, может быть — соседней, может быть — стенкой этой самой тюрьмы, как необычайная, всепоглощающая жадность к жизни проснулась в Михаиле, все равно к какой, честной или нечестной, без Сонечки, впроголодь, на краю света, здесь в тюрьме, с решеткой и чайником, лишь бы жизни! Арест сделал то, чего не могли сделать ни трогательная суровость товарища Тверцова, ни ублюдочная любовь с ее помесью боксера, крепдешина, червонцев и сентиментальных вздохов. Арест взболтнул, оживил Михаила, показал, что он все-таки жив. Для чего? Чтобы сделать трагичнее и назидательнее такое-то количество дней и часов, отделяющих его от смерти? Возмущаясь этим, руки царапали дверь. Жить! Исключительно! Физиологическое торжество, взрыв животной энергии должны были вылиться в прекрасный аппетит, в быструю ходьбу, в раскатистость хохота. Они никак не сочетались с мыслями о близком конце. Когда Михаил дошел до этого, то есть когда он понял, что существует связь

между шелком, червонцами, Сонечкой, решеткой и что все завершится пулей, где-то слева (уже сейчас болит), что это неизбежно и, однако, невозможно, когда он подумал о своей молодости, о трамвае «А», о дуге улетевшего голубя, о жизни, оставшейся по ту сторону ворот, конторы, сборной,— началось настоящее помешательство, конвульсии вместо мыслей, агония. Это объясняет и все его дальнейшее поведение, нагромождение глупостей, приниженности и наглости, столь неприятно удивившее сначала следователя, а потом членов губсуда. Здесь не было ни плана, ни логики. Казалось, приоткрывается дверца, Михаил кидался туда, нет, он просто бегал, выл или валялся в ногах. Иногда он вбирал в себя руки, деревенел и ругался, как мог, темными подлыми словами.

Прежде всего с несуразностью поведения этого арестованного пришлось ознакомиться следователю Маркову. Допрошенный раньше Лазарев выложил начисто все. Что же, Лазарев был трусом, но у него имелся план. Он ставил на чистосердечное раскаяние. Конечно, и он сглупил. Проследили человечка в казино (такое стояло время, носы не ошибались), пришли пощупать: откуда? в чем дело? Пригрозили. Ну и не выдержал, сам объяснил содержание записочки касательно шелка: так и так. Услужливо назвал Михаила, дал приметы — рыжий, руки особенные. Старался вообще всячески услужить. Каково же было изумление Маркова, когда Михаил сначала заявил, что он с Лазаревым познакомился только вчера в пивной, сдуру одолжил ему двадцать червонцев, за которыми и пришел, а пять минут спустя, узнав, что следователю известна вся операция с шелком, стал кричать:

— Вы мне его сюда дайте, сукина сына! Мало что двадцать червонцев зажулил, он еще доносит! Да я искрошу его!..

Допрос пришлось прервать. Но и успокоившись, Михаил продолжал говорить исключительно о двадцати червонцах. Он должен был получить шестьсот, а получил пятьсот восемьдесят. Мошенничество! Следователь решительно прервал его:

— Это мы потом выясним. Теперь объясните-ка, где находятся полученные вами деньги?

Михаил увидел в серости рассвета пачку ассигнаций. Сказать? А Сонечка? Тогда и ее в тюрьму. Ладонь как раковина... Решетка. Кипяток. Стенка. Нет! Ни за

что!.. Оказывается, загадочная нелогичность, называемая в общежитии «любовью», не была изжита этой ночью. С некоторой гадливостью погружаясь в рыхлость Михаила, рука следователя натолкнулась на что-то твердое. Сердце не поддавалось. Хоть чем-нибудь, хоть одной чертой, да этот трусливо ерзающий воришка напомнил героя зимней ночи в бывших номерах «Скутари».

— Деньги? Потерял.

Следователь настаивал. Но слова его, просьбы, угрозы, разъяснения, что Михаил упорством отягощает свою участь, обычная артиллерийская подготовка, все падало на бетон. К стенке? Что же, он будет визжать и кусаться. Ни красоты героизма, ни мудрой покорности. Но этого он не скажет. Только этого. Жизнь — велика, кажется, все в ней и продано и предано: Октябрь, молодость, Ольга, Артем. Только вот Сонечка, Сонечка, сейчас поджидающая Петьку-футболиста, одна уцелела...

— Сказал, потеряны...

В поединке, происходившем между следователем и преступником, первый защищал закон, интересы государства, честность, второй — гаденькую, крепдешиновую душонку, гусеницу, исподтишка сверлившую тресты и главки, продававшуюся на день и на час ради парижского платья (того, что с прямой линией). Но не скроем, услышав ответ нашего героя, мы испытали чувство удовлетворения. Нам ничуть не жаль Сонечки. Мы понимаем, что ее следует поскорее посадить в «исправдом», а краденые червонцы возвратить государству. Но ведь не только ее защищал Михаил. Он защищал еще так называемую любовь, темное и нелепейшее чувство, которое мы, несмотря на его, а может быть, и нашу старомодность, склонны почитать за великое человеческое достояние, чувство, право же, не зазорное и для современников. Его, а не деньги на портних, защищал Михаил, и хоть перо следователя могло пытать ничуть не хуже памятной русой бороды, он не предал его. Поверженный, истоптанный, похожий на раздавленного червя, он в этом, на несколько минут, предстал перед опытным следователем, хорошо знающим и законы государства, и законы логики, но слепым в темнотах сердца, как победитель.

Но когда следователь, решивший заменить фронтовой удар обходным движением, перешел от денег (то

есть от Сонечки) к другому, Михаил сразу утратил твердость, он снова стал крикливой и уродливой массой, способной на любую подлость. Шестаков, конечно, вовремя уехал. Какое удовлетворение он должен был испытывать, кушая теперь диетический ягурт за зеленым столиком Карлсбадского кургауза и в сотый раз перечитывая газетную заметку о разоблачении «Югвошелка»! Но зачем было помечать сдачу дел своему заместителю лживой датой, взвалить на Михаила пять-шесть афер, обделанных самим Шестаковым и давших ему возможность кушать тот же целительный ягурт? Зачем? Какое-то посмертное пакостничество: ведь он не думал возвращаться. Узнав об этом, Михаил положительно взбесился. Мало с него Лазарева, здесь ему ставят мистификаторские вопросы о полученных за окраску от неизвестного лица четырехсот пятнадцати червонцев. «Неизвестного»! Разумеется! И червонцы неизвестные...

— Вы меня, гражданин следователь, простите, но это же фактическая бессмыслица. Меня тогда и в Москве не было. Достаточно я и сам накрутил, чтобы за чужие грехи отвечать. Вы меня абсолютно пытаете. Шестаков — это жулик почище Лазарева. Он мне место за двести червонцев продал. Деньги на бочку. Условие — тот самый подмоченный... Больше никаких. И вдруг, переносом даты, оказывается окраска. При чем я тут? Занесите в протокол категорический протест. Это подлог, и только!..

Михаил долго негодовал, размахивая руками, так что следователю приходилось отставлять подальше пухлые папки, и визгом наполняя узкую комнату. Явная несправедливость — его заставляют страдать за проделки Шестакова! Нет! Стоп! Лазареву он продал — это верно. И только. То, что его, Михаила, другие изъяны не раскрыты, казалось ему естественным и справедливым. Обозревая свое, достаточно живописное, прошлое, он с некоторым удовлетворением думал: а следы-то заметены. Заведующий издательской частью давно уничтожил список агентов. В Центропосторге тоже все обставляют аккуратно — законные сделки. Что касается Берлина, то это вместо улики являлось рекомендацией честности: аппараты доставлены, остаток суммы, счета, оправдательные документы — все сдано в полной исправности. Даты никак не могут быть проверены. Он настолько верил

в защитность берлинской операции, что усиленно напирал на нее (скрывать все равно нечего — заграничный паспорт у них). Как же он мог принимать какой-то частный шелк для окраски, находясь в «Дэнишер хоф»? Подлог! (Конечно, не в счетах за аппараты, а в делах «Югвошелка».) Следователь, однако, явно ему не верил. Начальная ложь касательно Лазарева, общее увиливание, наконец, отказ раскрыть местонахождение денег — все это говорило против Михаила. На беду, в бумагах «Югвошелка» (Шестаков уничтожил только то, что ему не нравилось) оказались две записочки Михаила, насчет окраски, правда, не за четыреста пятнадцать, а за сто восемьдесят и двести сорок, относившиеся к началу весны, когда наш герой, только что познакомившись с Шестаковым, стал эпизодически предаваться шелковым делишкам. Эти записки, доказывая давность проникновения Михаила в представительство треста, опровергали все его показания, и, увидав их несожженными, лежащими перед следователем, Михаил отчаянно замычал:

— Пропал! Черт с вами, стреляйте! Подлец Шестаков — отблагодарил! Декреты у вас... Звери! А только страшно это человеку, очень страшно...

Последние приметы разумной речи исчезли. Звериный вой не укладывался в строки протокола, и Маркову, хорошему спецу, хорошему и человеку, стало от натуральности воя не по себе, как будто в чистоту и тишину его камеры, полной, скорее, стратегии, стройности шахматных комбинаций, абстрагированного фехтования с арестованными, перенесли вязкость, тошноту, страх экзекуции — вот куда ведут все твои ходы, все уловки. Визжал зверь, и это было много страшнее человеческих слов, ограниченных условностью, разделенных социальным положением и разностью идеологий, слов, которых можно не расслышать, а расслышав, не понять или не принять. Вой доходил до сердца Маркова, он сказал с гримасой брезгливости и жалости:

— Успокойтесь!

Первый допрос был на этом закончен. Михаила отвезли в тюрьму. Но и там он не мог последовать совету Маркова. Ощущение близости стенки после допроса окрепло. Раз те записочки плюс штуки Шестакова, значит, конец. Нечего упираться. Выволокут. Ужас перед огромной физической силой невидимого аппара-

та уничтожал его. Какие тут могут быть разговоры! Он вспомнил удар Темки, тоже сухой и безличный. Это было началом, первой коликой заболевания, первым спуском всесильной машины. Говорить? Но с кем? Со стенами, с губсудом, с пулей? Ведь они не живые. Они не поймут особенности, злосчастной особенности Михаила, его горения, ретивости рук, тоски. Они знают свое: стены держат, следователь роется в бумажках «Югвошелка», губсуд подберет параграфы Уложения, а пуля... Пуля легко и просто разыщет его сердце, как голубиное сердце на крыше крымского дома. Все здесь высчитано, обдумано, вроде блокнота Сонечки. То, что он описка, срыв, неправильность — кому это важно? Только ему, Михаилу, чтобы еще сильнее биться, бредить, плакать тридцать, сорок подаренных ночей. А потом? Потом — смерть.

Михаил стал всячески представлять себе ее. Богатый опыт помогал. Он видел искаженность или прибранность лиц, грязные, загроможденные хламом или, напротив, пустые, слишком чистые комнаты, равно нежилые, нестерпимую красноту крови, постепенно гадко буреющей, паноптикум развороченных животов с удушливым запахом гнилостных газов, слюну и склизкость губ, мозги, похожие на собачью блевотину,— это внешнее убожество конца, для которого поэт бережет самый эффектный образ, самую неожиданную рифму и который в действительности граничит с вонью, с грязью, с выгребной ямой. Он видел все это. Он примерял различные позы, он хотел привыкнуть, приспособиться к смерти, найти подходящее положение. Как это будет? Но образы, пугая, не казались убедительными. Он никак не мог представить себе свою собственную кровь. Тогда из гнойного полусвета тюремных уголков вылупилось видение, особенно ему памятное: по камере, как на качелях, стала покачиваться бывшая классная дама, Ксения Никифоровна Хоботова, распахивая смрадные объятия. Она искала Михаила. Кошачий кончик ее высунутого языка, как пуля, впивался в левый сосок. На крик заключенного отвечала только брань надзирателя. Ночь длилась.

Потом он устал от пассивности. Живое, здоровое тело не мирилось с ожиданием, оно требовало выхода, настаивало на лазейке. Но что он мог сделать? Задушить надзирателей или следователя? Какая от этого польза? Минутный разгул рук, и только. Убежать? Все

в ответ издевалось: крепость дверей, решетка, угрюмый язык этих стен, принявших и жалобы и проклятия не одного человека. Щелью, узкой, однако светлой, до рези в глазах, оказались слова следователя: «Облегчите свою участь». Сказать, где червонцы? Покаяться, как Тверцову, начисто и не потому, что хочется каяться — спасая шкуру? Можно мобилизовать чувствительность, закидать этих людей лирическими воспоминаниями, рассказать об Октябре, о спасении Артема, призвать в качестве свидетеля брата, надрываясь, вопить об ордене, выдавить несколько слезинок, молить, обещать загладить все, выклянчить если не свободу, то хотя бы жизнь. «Хотя бы»! Ведь это значит все. План как будто готов. Да, но для этого нужно, прежде всего, раскрыть, кому он передал деньги. А Сонечка?..

Бой, происходивший в камере следователя, возобновился, теперь он шел в душе Михаила. Выдать? Слово на первый вкус показалось отвратительным, невыносимым, как касторка — выплюнуть. Однако, принудив себя, он повторил: выдать. Как раньше со смертью, он пробовал теперь свыкнуться с предательством. Он создал соответствующий ландшафт в виде Шурки Жарова, Лукина, Петьки-футболиста, он всячески себя уговаривал: нечего сентиментальничать. Рассвет в камере сливался с тем, другим, обозначившим червонцы на столе и природу нежности Сонечки. Продажная тварь! Ради такой гибнуть? Небось она даже не думает о нем. Гогочет с Петькой. Петька, тот для души, а он вычеркнут из блокнота, просто, деловито: был такой-то, носил подарки и вышел. Дрянь! Пошла покупать крепдешин на червонцы, проклятый шелк, из-за которого гибнет живой, в душе добрый и честный, только неосторожный Мишка. Плечо? Но его розовость теперь казалась неживой, нарисованной, глянцевитым пятнышком на обертке мыла, лишенным объема и теплоты. А грудь Михаила под рубашкой, сырая, горячая грудь, со знакомой впадиной, с двумя родинками справа, с хлопотливым топотанием сердца, существовала, требовала защиты. Ну разумеется, выдать! Боясь, что силы на подлость (так уж устроен человек — и на это нужна сила) не хватит, торопясь, как будто здесь сейчас решается его судьба, он стал стучать в дверь:

— Бумагу! Заявление следователю!

Он считал: семь, восемь, девять. Считал, страшась думать. Следовало воспользоваться этой передышкой,

затмением Сонечки, свободой. Он напишет как можно короче: деньги у Софьи Дмитриевны Петряковой, адрес такой-то. Он спасет себя. Ее схватят. Будут вместе судить. Нет, послушайте, скорее бумагу! И не думать... Считать: сто сорок, сто сорок один...

Наконец принесли бумагу. Блуждание руки с пером, ее взлеты и припадания к коленям, дрожь, наконец, заостренность, придавали сцене характер самоубийства, как будто это было не перо, а нож. Написать даже две короткие строчки оказалось не столь легким. Имя Сонечки никак не выходило. Контуженное, но не выведенное из строя, чувство теперь перешло в контратаку. Плечо вновь ожило, как в сказке. Если бы еще написать, а потом исчезнуть, умереть. Но нет, ему придется сидеть с ней рядом, видеть нежность, холеность, хрупкость тела, преданного им, выдержать презрительные сдвиги бровей, а после остаться одному с порожним сердцем, из которого выплеснута последняя страсть, жить впустую, то есть только жевать и спать. Это слишком! Сонечка — все, что у него осталось, даже не она (она сейчас с Петькой), даже не любовь (любовь перечеркнута этой ночью с червонцами, шелком, нудной тоской у окошка), да, не любовь, только молчание, только упирательство, может быть, и не вполне искренняя, но возвышающая забота о по существу безразличной женщине, все, что осталось от помпезной молодости, от шествия по снежным горбам Киева к смерти, от ухарства «даешь!», от спасенной девочки, от мечтаний об Индии и подполье, от знамен, труб, комсомольской ругани и комсомольского ребяческого героизма, только это.

— Нет, не выдам!

Он бегал из угла в угол, как бегал некогда по улицам Ростова, как бегал по холмам — в штыки или по одесским учреждениям с марками Помжерина, бегал, не останавливаясь, боясь остановки, нового слома. Выдать? Нет, никогда! Серый день в камере мало чем отличался от ночного полусвета: так же глушила тишина, те же амфибии пресмыкались в углах, пятнистые, скользкие, с монотонностью уколов, с тупо бередящими воображение языками, как язык Хоботовой, как пуля, с той же карболовой одурью смерти.

Михаил, однако, выдержал. На четвертушке линованого листа, которую он, ничего не сознавая, роняя бессмысленно фосфор зрачков в черную глушь коридора, вручил надзирателю, значилось:

«Гражданину народному следователю.

Прошу меня расстрелять без проволочек, иначе за последствия не отвечаю.

Заслуживший честно священный орден Красного Знамени, а теперь попросту паршивая тля, Михаил Яковлев Лыков».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ С ОТСТУПЛЕНИЯМИ

Мы часто присутствовали на судебных разбирательствах наших губсудов или нарсудов и можем, не колеблясь, сказать, что прямотой, честной оголенностью как заданий, так и форм, подвижностью суждений и приговоров, не связанных традициями, они выгодно выделяются среди европейских судилищ, которые к первичной охоте на красного зверя присовокупили пошлое красноречие захудалого парламента, парад ярмарочного балагана. Да, у нас судят, а не щеголяют перед дамочками речами, пышными, как балахоны адвокатов, судят всерьез, то с лупой часовщика — годно ли такое-то колесико, то выстукивая подобно врачу: «опасен», «неизлечим». В этих кропотливых рабочих разборах более, чем где-либо, сказывается природа власти, заботливая суровость государства, ничем не прикрытая: как Бог писания, оно дает, оно и берет. Может быть, поэтому и столь ясно чувствуешь в них, несмотря на серьезность обстановки, на разумность вопросов, на специальность терминологии (варьирующей в зависимости от места хищений), древнее непреложное право всех против одного, грузный топот множества ног, кровь и тяжелое дыхание настигаемого.

Так было, когда в небольшом зале, где перед этим слушалось дело о милиционере Григории Власове, привлеченном за незаконное присвоение государственного имущества, судили Михаила Лыкова. Мало кто заинтересовался процессом московского отделения «Югвошелка». Сколько слушается таких дел! Статистика показывает рост должностных преступлений за счет других. Мужья больше не стреляют в неверных жен, и соперницы не дорываются до серной кислоты: материальные заботы захолаживают сердца. Кроме того,

имеются утешительные хвосты загса. Не станет же Артем преследовать Ольгу. Он только горько вздохнет и пойдет на очередное собрание. Но по части денег дело обстоит много хуже. Соблазнительней ли любви стали червонцы? Или просто «молодо-зелено» наше новое общество, так что, разбежавшись сгоряча, люди не замечают, где порог, отделяющий дозволенную деловитость от преследуемого рвачества?

Так или иначе, стоит просмотреть любую повестку губсуда, чтобы увидеть весьма однородный перечень статей Уложения: присвоение, хищение, взяточничество, подлог. Разнообразие сказывается исключительно в материале, в этих пестрых клочьях урываемого. Как на базаре, чего только тут нет: бумага, арматура, парусина, мазут, внешторговские тракторы, дрожжи, дамские заготовки, сухумский табак. Тайны производства, а подчас гениальные фокусы урывания раскрываются в тихих невыразительных залах. Психология отсутствует, как и в современной литературе. Нужно ведь известное мужество, чтобы написать теперь психологический роман без фашистов и без буденновцев, исключительно о скучнейшем, то есть о «душе». Здесь о ней и не слышно. Кажется, это не суд, а техническое заседание, ревизия бухгалтерии, курс нормального торговлеведения. И вдруг — крик... Человек, только что тихо говоривший о мазуте в баках или о вагоне парусины, погибает. Запах крови заставляет на минуту забыть и о цифрах, и о терминах. Только на минуту — заседание продолжается. Такое-то колесо (имя, фамилия, возраст) не годится, его надлежит изъять.

Мог ли столь сухо, деловито, незаметно погибнуть наш герой? Конечно, нет! Месяцы предварительного заключения, буйство и бред в камере, истерики на допросах, жесты, позы, наконец, вся его предыдущая жизнь обещали эффектное зрелище. Однако публика об этом не знала. Газетная заметка, весьма лаконичная, легко затерялась между курсом червонца и рецензией на новый балет. Еще один рвач. Эта порода давно уж перешла из ведения любопытных зевак к статистикам. Народу поэтому было мало: бойкая девица от «Вечерней Москвы», то приходившая, то уходившая, раздражая скрипом двери коменданта, два-три особых любителя, не пропускающих ни одного процесса, обширная родня Лазарева, старичок, зашедший погреться (морозы стояли лютые) и вежливо кивавший все время головой, вот и все. Тихо, просто, скучновато.

Михаил, однако, сумел оживить процесс. Это было трудно, на следствии он успел себя окончательно запутать. Желая показать свою преданность советской власти, он как-то заявил следователю, что эмигранты предлагали ему пять тысяч фунтов за экшпионаж в Донбассе, но нет, не на такого напали! Петряков и Ивалов были допрошены. Профессор ничего не знал, кроме своих электрических волн. Но Ивалов (на всякий случай) проявил подозрительность: что же, весьма возможно. Кроме того, было установлено, что Михаил приехал с деньгами и солидным багажом. Откуда деньги? Утаивая проделку с радиоаппаратами, Михаил не мог на это ответить. Точность суммы и описание переговоров с эмигрантами увеличивали подозрения: ведь не станут же ни с того ни с сего предлагать это неизвестному человеку! Показания Артема также не говорили в пользу брата. Правда, он настаивал на былой честности и храбрости Михаила, но одновременно заявил, что незадолго до отъезда брат просил записку к Бландову, предлагая за это часть прибыли. Предположение об экшпионаже окрепло. С другой стороны, Михаил не хотел рассказать о своем прошлом. Что он делал после вычистки? Назван был лишь Центропосторг. Но Вогау находился в Нарыме, а заместитель его показал, что Лыков действительно служил в учреждении, откуда был выгнан за попытку смошенничать. Наконец, Сонечки Михаил так и не выдал. Значит, у него имелись сообщники. Всем этим участь Михаила была предрешена. Правозаступник (из бывших) Гаубе для ободрения говорил:

— Десятью годиками отделаетесь.

В душе он, однако, сильно опасался большего. Что касается второго подсудимого, случайно связанного с Михаилом шелковыми узами, Лазарева, то за ним числилась лишь эта сделка, он мог рассчитывать на пять лет. Впрочем, гадать было трудно. Многое зависело и от хода судебного следствия, и от состава суда. Председатель Громов, по словам людей судейских, отличался прямотой, строгостью, умел хорошо вести процесс, но вовсе не был педантом. Он считался с подсудимыми, всматривался в их прошлое, учитывал не только факты, а и побудительные мотивы. Двух хмурых и настороженных нарзаседателей (один был рабочим-металлистом, другой трамвайным служащим) никто не знал. Михаил, взглянув на них, почувствовал

сразу злобу: вот эти! Они казались ему глухими и знающими только свое назначение, как стены тюрьмы, как пуля: судить, засудить, убить. Тюрьма и ожидание его доконали. Он теперь совершенно не мог владеть собой. Сколько раз защитник уговаривал его вести себя спокойно, благообразно. Где тут! Руки метались. Глаза обыскивали зал, то юля перед Громовым, то шавками кидаясь на нарзаседателей. Что ни слово, он вскакивал с места. С самого начала председатель, на что уж был опытен, и тот смутился. Чтение обвинительного заключения Михаил прервал возгласом:

— Враки! Лучше бы вы Шестакова заполучили. Надо через Инотдел его выдачи требовать, а не на меня валить...

Секретарша «Югвошелка» подтвердила, что видала Михаила у Шестакова еще весной, и неоднократно. Сначала Михаил забормотал:

— Ошибаетесь, гражданка, физиономию смешать очень легко.

Потом, после ее настойчивого заявления, что Михаила трудно с кем-либо спутать, он крикнул:

— Что я, спал с тобой?

Какой-то гражданин в зале, не утерпев, прыснул. Громов пригрозил удалить Михаила. Тот струсил:

— Извиняюсь. Расстроен одиночным заключением. Больше не буду.

Дошли до весенних записок. Громов полюбопытствовал:

— Это вы от Каца получили сто восемьдесят червонцев за окраску?

— Ничего подобного. Я даже не знаю такого.

— Однако на предварительном следствии вы признали, что записка эта писана вами и что скрывшийся Кац действительно сдавал вам шелк, который вы направляли для окраски, как принадлежащий государству.

— Извиняюсь. Не понял.

— На предварительном следствии...

— Вот что!.. Кац — вы говорите? Я его просто за Яшку знаю. Может быть, и Кац он. Плешивый такой? Действительно, Яшка Кац. Он в пивной на Арбате всегда сидел. Там и склеили... А отсылал Шестаков. Он и есть главный виновник.

Дело с «Югвошелком» казалось вполне ясным. К наивным приемам подсудимого все быстро привыкли,

и некоторые операции, обделанные единолично Шестаковым, были приписаны ему. Занялись окрестностями дела. Тогда привели нового свидетеля — Артема Лыкова. Глаза братьев встретились, и встреча эта обоим далась нелегко. Как ни был стоек Артем, он все же заколебался. Промолчать? Сколько раз эти сомнения лихорадкой пробирали его, до суда, до допроса, с той минуты, когда три строки в хронике «Известий» сообщили об аресте Михаила! Казалось, после последней встречи на бульваре ничего не должно уцелеть, и все же якобы преодоленное, выполотое чувство еще копошилось, боролось, пробовало диктовать решения, и не будь пуританизма, не будь привычки к дисциплине, оно бы победило. Оно граничило с темнотой кровных опознаваний, с мяуканием кошки над трагической помойкой, и Артем не мог от него отделаться: ни логика, ни воля здесь не помогали. Он любил брата, дрянного, подленького, любил, и что против этого скажешь? Сложись иначе обстоятельства, он отдал бы за него, за такого вот — жизнь. Но раздор шел не между двумя людьми. Михаил выступил против государства. Здесь-то и кончалась широта чувства. Простить свои обиды? Да, это легко. Но государство должно изъять Михаила, именно изъять. Если Артем не только на словах коммунист, он обязан и в этом способствовать общему делу. О его переживаниях никто не спрашивает. Легко или трудно подталкивать ему родного Мишку к стенке — это его, Артема, частное дело. Но молчать он не смеет. Убежденный после разговора на бульваре в виновности брата, он должен говорить. «Каждое слово — подвиг»? Подобные выражения надлежит оставить: Артем не любил декламации. Сколько раз он шел на смерть. Но скажите ему об этом, он удивится, может быть, и рассердится. Не на смерть — он шел занимать такую-то позицию, как и другие Артемы. Он в точности выполнил задание, и только. Тяжесть увеличивалась Ольгой. Здесь жизнь ясного, как бы насквозь прозрачного человека становилась, вне его воли, похожей на бред, на перепутанные страницы романа ужасов, на злостные наслоения экспрессионистического фильма. Хорошо, он принял все: ложь Ольги, ее беременность, чуждость. Но горшее началось со дня ареста Михаила. Уже не хитря, забыв о всех мыслимых подозрениях, Ольга теперь заполняла комнату, сутки, уши, сердце Артема одним: «Спаси его». Она молила, унижалась, пресмыкалась,

как старая, неповоротливая, брюхатая сука, хватая руку мужа и пытая его и горячестью губ, и едкостью слез. Она кричала о бесчувственности, об этом ненавистном ей бессердечии человека-машины, грозила, если он не выручит Михаила, покончить с собой. Артем метался между человеческой требовательностью, шумной, истеричной, неотвязной, и призрачной, немой требовательностью идеи. Читатели знают,— может быть, и нет у нас гениев, может быть, мы надолго лишены прекрасных жестов нескольких безумцев, еретиков, юродивых, но ведь поэтому мы и сколотили, отстояли от разбоя и от огня, кое-как приспособили для жизни новый, новый нам, новый и миру дом. Это следует учесть. Артем, вернувшись от следователя, сказал Ольге, что раскрыл дело с Бландовым, иначе он не мог. Тогда впервые уже не досада, а подлинная злоба переместила черты Ольги. Первой ее мыслью было: уйти, ни одной минуты не оставаться дольше с ним. Но другие соображения взяли верх: Ольга ведь жила теперь надеждой спасти Михаила. Она кидалась от одного плана к другому, от организации побега к размягчению сердца какого-нибудь члена ЦИКа. Она осталась с Артемом, все еще надеясь как-нибудь смягчить, переломить его. Суд совпал с первыми родильными схватками. Когда Артем уходил, он слышал ее горячечный шепот:

— Спаси его! Не то умру...

Он выдержал ее взгляд. Теперь он выдержал и другое: взгляд брата. Знакомые глаза как бы кричали через головы красноармейцев, Лазарева, защитника: «Темка, сжалься!..» Он выдержал все это. Тихо, но раздельно, заражая даже спокойного Громова своим напряжением, он повторил все, уже сказанное им на предварительном следствии. Пока он говорил о прошлом, о Киеве, о героизме ночи в «Скутари», Михаил ласково, как-то женственно улыбался, готовый кинуться к брату, ища у этих широких плеч защиты. Темка? Нет, Темка свой, он не выдаст! Но когда Артем дошел до Бландова, Михаил привскочил и, белея от ярости, крикнул:

— Вы знаете, граждане, почему он это говорит? Злится. Мстит. Я ведь с его женой баловался...

Артем сгорбился, вобрал в себя голову. Здесь все растерялись, кажется, даже старичку, что зашел погреться, и тому стало не по себе. Близость человеческого горя, вне статей Уложения, вне шелка и червонцев, на минуту захолонула все сердца. Артем продолжал:

— Насчет жены — это верно. Но злобы не чувствую. Говорю правду, как гражданин и как партийный...

Кончив показания, он ушел, ушел к разъедающей голубизне карауливших его возвращение глаз. А заседание продолжалось. Вскоре общая неловкость сменилась деловитостью, даже некоторой веселостью, когда на вопрос общественного обвинителя, почему он исключен из партии, Михаил нагло ответил:

— Из-за моей исключительности.

Его допрашивали о берлинских переговорах. Чувствуя себя в этом невинно пострадавшим, он особенно горячился. Председатель заметил:

— Не кажется ли вам и самому странным, что, не зная вовсе, с кем имеют дело, они обратились к командированному?

— Абсолютно не кажется, раз это было. Вы меня не допрашиваете, а пытаете. Я ведь понимаю, куда вы гнете. Не так уж глуп. Только могу одно констатировать: я сам вам рассказал об этом. Будь здесь что, разве я стал бы выбалтывать? Как козырь, можно сказать, вытащил. А вы вместо того, чтоб оценить выдержку, меня этим же кроете. В таком случае, я об этом вовсе и говорить не желаю.

— А на вопрос, откуда у вас в Берлине были деньги, много превышающие суточные, вы тоже отказываетесь отвечать? — спросил общественный обвинитель.

Михаил взглянул на него. Тогда плотный чад младенческих лет, сырость и влажная духота киевского Пассажа обдали его. Нервически билась верхняя губа, руки же, не выдержав, пытались прикрыть, защитить глаза, эти жидкие, беспомощные, нежнейшие сгустки, на которые целилась теперь «та самая рыбка». Выколупнет! Чем заменить их? Холодным логосом? Артистическим фосфором Абадии Ивенсона? Вместо ответа касательно денег он заговорил невпопад, глупо и задушевно:

— Меня пожалеть следует. Я ведь с детства таким был. И никакого во мне чувства нет, только факты. Я вот радовался, когда телескопу глаза вырвали: у него глаза как на ниточках. Все вы на меня накинулись, а я об участии прошу. Причем, повторяю, я мофективным ребенком был, но никто мною не занимался. Вот и результаты...

Нет, не для подобных объяснений пришли сюда эти серьезные, занятые люди. Цифры. Окраска шелка.

Присвоенные червонцы. Статьи Уложения. Один заседатель написал на листочке: «Прикидывается»,—и показал другому. Лица их сохраняли при этом бесстрастие, только чуть поскрипел твердый грифель карандаша. А вопрос об экшпионаже и о берлинских деньгах так и остался невыясненным. Подозрения и предубеждения против подсудимого с каждым его выступлением возрастали. Была минута, когда даже на покойном, скорее задумчивом лице Громова обозначилось брезгливое возмущение: выяснялись обстоятельства, сопровождавшие вычистку Михаила из партии. Обвинитель заинтересовался, на какие средства жил Михаил до исключения? Может быть, и тогда он прибегал к шелку? Казалось, последует вразумительный ответ (ведь ни овчины, ни марки не были раскрыты). Но общественный обвинитель положительно выводил Михаила из себя. Что он сделал этому маленькому человеку с черными усиками? Почему тот ехидно простодушничает, смотрит в упор, не моргая, и каждым словом подкапывается под Михаила?

— Я партийность свою заслужил, как и орден Красного Знамени, в бою заслужил, а не при подобных разговорах. Если б я даже фактически извлек из этого пользу, то менее виноват, чем всякие прочие. Посмотрели бы вы, сколько партийных спекулируют. Их вы не трогаете—руки коротки, а все на меня. Почему? Да только потому, что я «вычищен». Очень просто, гражданин обвинитель. Отобрали у меня партбилет, как будто и не заработал я его, а с лотка слизнул...

Здесь-то и председатель поморщился. Впрочем, он быстро сдержал себя, ограничив ремарку формальными рамками:

— Подсудимый, отвечая, вы должны обращаться к суду.

Председателя Михаил и уважал и побаивался. Вновь он вытянулся по-школьному:

— Извиняюсь.

Пока длилось судебное следствие, и Громов и народные заседатели зорко-угрюмо следили за каждым словом. Их карандаши скрипели, занося цифры, даты, имена. Они знали, что это работа, серьезная работа. В голове металлиста она сливалась с переборами заводских машин, трамвайный служащий видел дезорганизованное движение различных линий. Но когда начались выступления сторон, напряженность сменилась

скукой, едва скрываемой досадой: зачем они говорят? Как будто заседатели — дети, которые сами не могут во всем разобраться! Стороны ощущали бесполезность красноречия, и речи, произносимые почти для проформы, отличались подобающей сухостью. Они (даже бывший присяжный поверенный Гаубе, столь любивший некогда рычать, утирая лоб фуляровым платком) невольно подчинялись суровому стилю этого заседания спецов. Речи были заранее известны, они скорее являлись этикетом процесса, нежели его живой частью. Все, например, знали, что общественный обвинитель будет настаивать на «высшей мере», ввиду злокачественности преступления, отсутствия раскаяния, партийности, понимаемой, как выгода, будет говорить о чистоте революции и о необходимости радикальных мер. Знали наперед и речь правозаступника, с беспрестанными возвратами к ордену и к «Скутари», с ссылками на пролетарское происхождение и с методически задушевными просьбами о снисхождении. В этой торговле за человеческую жизнь, кажется, никто не был заинтересован. Громкие слова, вроде «чести революции» или «пролетариата, который не мстит», произносились тихо, вяло, как будто говорившие чувствовали их ненужность и неуместность. Громов в это время изучал повестку, один из заседателей рисовал эмблему профсоюза (на конкурс), причем карандаш его, занятый тушевкой, лениво посвистывал, другой разглядывал публику. Несколько оживились все, когда вновь заговорил подсудимый. Слова его казались важными: может быть, хоть в последнюю минуту он заговорит всерьез. Не в лирике дело, не в чувствах, нет, надлежит определить будущее, выяснить возможность исправления, установить степень социальной опасности. Здесь могла начаться настоящая защита. Но Михаил не думал защищаться. Обрадованный тем, что наконец-то его не прерывают, что вместо ответов на назойливые и неудобные вопросы ему позволено теперь говорить свободно, он чувствовал оживление, даже приподнятость, он решил выложить самое большое, самое важное, показать всем этим людям, кого они судят.

— Вы вот все о шелке спрашивали, как будто и не существует вовсе меня, то есть Михаила Лыкова. Я, конечно, понимаю, напакостил. Но в этом ли суть? Что важнее, разрешите спросить вас, жизнь борца или интересы? Я не себя, исключительно обстоятельства

обвиняю. Есть в Москве казино, самое что ни на есть разрешенное. Не скрою, захаживал, когда денежки водились. Так там та же самая история. Выскочил твой номер — иди, что называется, задрав голову. Прогадал — пропадай, иллюстрируй хронику в виде пошлого самоубийцы. Неумолимо. Вот я, граждане судьи, прогадал. Мой номер вовсе не вышел. Вы мне смертью грозите. Я, прямо говорю, смерти боюсь. Кусаться буду. А вот раньше не боялся, шел себе и посвистывал. Меня тот астраханец всю ночь по морде лупил. А я улыбался. Как же это случилось? Нельзя не задуматься. Из партийных списков, конечно, вычеркнуть очень легко: обмакнул перышко — и нет такого-то. Да и расстрелять нетрудно. Сам знаю — приходилось. Только это ничего не разрешает. Факт остается. Перед вами, как вы меня ни называйте, герой Октября... Я когда себя вспоминаю,— не верится даже. Горело все во мне. Я памятником мог стать, а вместо этого до Яшки Каца опустился. Вы жизнь судите, граждане судьи, она меня и довела до этого. Всякий это понимает, что приятней Перекоп брать, чем с проклятым шелком возиться. Как я увидел «Лиссабон»,— здесь и цыганки, здесь и мадера,— обалдел. Как же такое разрешают? Ну, одни — бараны вроде моего братца, им скажут: «Ради коммунизма подушки вышивай», сейчас же все наперстками вооружатся. А другие с дипломатией лезут: «Мы, мол, им очко, а с них два». Мало нас попы царствием небесным кормили! У меня критический ум, может быть, в этом и главная моя вина. Конечно, и простор человеку нужен. Не всякому: Темка, тот в склянке проживет. А у меня не такие руки. В конечном счете, не будь революции, я, может быть, примирился бы с категорией. О происхождении моем вам уже гражданин правозаступник говорил: самое что ни есть злосчастное. Стал бы официантом. Но вот взяли и показали мне такую жизнь, такое горение, что я просто с ума сошел. И вдруг вылезает такой Яшка Кац как ни в чем не бывало. Это трагедия, ее в театре можно ставить, слезы лить, а вы все шелк да шелк. Ну, украл. Это же частность, деталь. Я и на худшее мог пойти. Вас, например, деньги интересуют: где шестьсот червонцев? Отдал их, а кому, не могу сказать. Остатки благородства. Да и незачем — все равно плакали ваши денежки. Нет их, вышли, вроде как я вышел. Вы меня пристрелить должны, чтобы не стоял я перед

вами живым укором. И еще — насчет Берлина. Ложь это! Я Советской России не предал и не предам. Хоть и надула она меня. Память волнует: в Себеже чуть до слез не дошел. Вот и все. Был Мишка, захотел он прыгнуть вроде портного Примятина — и не смог, промахнулся. А удалось бы, вы бы обо мне биографию писали...

Речь эту он произнес с большим подъемом, надрываясь, жестикулируя, внося в скромный зал нечто чуждое и неприязненное. Как все обрадовались, когда он наконец-то кончил! Слова его были слишком напыщенными, чтобы растрогать, а голос... Но люди, слышавшие не раз и крики расстреливаемых, и басы тяжелых орудий, и плач умиравших с голоду ребят, уже не могли интересоваться оттенками человеческого голоса. Они делали свое дело: выслушивали, высчитывали, определяли. Вместо раскаяния они увидели самоуверенность рецидивиста, откровенное шкурничество, целую философию рвачества, отдававшую, кроме того, контрреволюционным душком. Все же они совещались долго, как честные и прилежные спецы, которым поручено обсудить пригодность той или иной модели. Михаил в это время полулежал на скамье, опустошенный своей речью, обессиленный, бесчувственный. Он вновь погрузился в темноту физиологических образов. Отрывистые рефлексы передергивали порой неподвижность корпуса. Когда раздался звонок и все встали, он еле приподнялся, не соображая больше, где он, что совершается, с неотвязностью последнего образа: «Мозги телячьи в сухарях, рубль двадцать». Он опустил длительное чтение, статьи и параграфы, три года, которые получил мелкий статист этого процесса, все время чувствительно вздыхавший или стонавший Лазарев. Он расслышал только одно — «к высшей мере». За этим следовало: «...принимая во внимание заслуги перед революцией и пролетарское происхождение, ходатайствовать...» Но это уже не обозначалось в его сознании. «К высшей мере»! Еще с минуту длились темнота и бесчувствие. Формула перерабатывалась в голове. Наконец он понял: конец!.. Тогда-то и раздался этот ужасный, высокий, тонкий вой, заставивший всех быстро отвернуться. Пока Михаила выводили, он показал, что его слова не образы: отбиваясь, он действительно укусил руку одного из красноармейцев. Человек понял бы всю несуразность такого поведения. Но

человека не было. А зверь чувствовал, что его тащат на смерть, подстреленного добивают, и зверь визжал, царапался, кусался.

Следующим слушалось дело о гражданине Рейхе из «Фарфортреста», обвинявшемся в незаконной продаже партии суповых мисок.

ЖИЗНЕННОСТЬ ГЕРОЯ. НЕЖИЗНЕННОСТЬ ДРУГИХ

С какой радостью мы опустили бы эту главу! Страдания, пусть и не героические, несколько примиряют с человеком. Мы убеждены, что вой выволакиваемого из зала Михаила дошел до читателей, сменив на жалость недавнее осуждение. Не всем же дано быть судьями! Слушая этот вой, мало кто помнил бы о тридцати пяти главах (или двадцати пяти человеческих годах), о всем разнообразии пакости, начиная с Ольги и кончая неподмоченным шелком. Покинуть нашего героя здесь, может быть, заставить его умереть,— какой это соблазн, и нелегко нам дается правда, жестокая, безоговорочная правда, заставляющая нас раскрыть новую подлость Михаила. Мы сами принижены и опустошены рассказываемой нами историей, длительным сожительством с неистребимой живучестью этого, для всех умершего, может быть, даже и несуществовавшего человека. Но профессиональный долг, побуждающий врача любовно склоняться над язвами, гнойниками, разлагающимися внутренностями уже дышащего трупным зловонием пациента, подстегивает и нас: ты видел это, что же, расскажи об этом обстоятельно, чтобы все знали, для кого цветет наша земля и над кем блистают звезды.

Ком барахтавшейся и мычавшей массы, называемый еще «Михаилом Лыковым», после суда был доставлен в тюрьму. Там он начал, вытягиваясь, опоминаясь, мало-помалу принимать форму человека, способного говорить, даже думать. Его укороченные мысли напоминали строение примитивных существ, угрюмое вращение инфузорий в капле воды. Все они не выходили из пределов: «высшая мера» — «ходатайствовать». Другой сообразил бы, раз суд ходатайствует, можно успокоиться. Но цепь человеческих взаимоотношений, реальность некоторых слов, формул, ин-

ститутов — все это уже лежало вне поля зрения Михаила. Первенствовала исконная подозрительность: ходатайство добавили для проформы, для успокоения себя и других, как счастливый конец фильма, может быть, просто для того, чтобы удобнее выволочь Михаила из помещения суда. Дудки, не на такого напали! Что значит это слово — «ходатайство»? Бумажный шелест, отписка. Оно пасует перед конкретностью «высшей меры». Конечно же, надувательство! Его убьют, убьют завтра, возможно, сегодня, сейчас! Уже идут! Останавливаются у двери...

Что бы то ни было: обычная проверка, глаз надзирателя, прилипший к волчку, кипяток — все это воспринималось Михаилом как приход за ним, как финал. Можно сказать, что он умирал ежечасно. Умирал и, чудодейственно спасаясь, снова воскресал для скудной, жидкой надежды, едва просачивавшейся в душу, как в оконце болезненный свет декабрьского дня. Он дошел до полного забытья, уснул, но вскочил под утро, разбуженный легким треском койки: идут! Никто не вошел. Однако больше успокоиться он не мог. Что делать? Ждать? Это не в его силах. Спастись! Жить хоть один месяц, но зная наверняка, что его не тронут. Покаяться? Не поможет. Приговор прочтен, скреплен печатью. Выдать Сонечку? (Да, мы не скроем, сейчас он без колебаний выдал бы и свою Артемиду.) Тоже зря. Денег у нее нет. Девочку, конечно, на всякий случай засадят. Но его, его пока что убьют. Выдать себя? Раскрыть какое-нибудь, неизвестное еще, дельце, хотя бы с аппаратами, чтобы его снова допрашивали и судили? Три месяца обеспечены. Но нет же! Зачем его станут судить, когда он уже заработал «высшую меру»? Тогда...

Так в гнилостном кружении уловок, среди многих тихих и мучительных шорохов, при смешанном, отравном свете чадящего утра и придушенного рожка, родилась эта мысль: припутать! Руки ловили спертый воздух и полусвет, душа же, душа, оплеванная Минной Карловной и торжественно осужденная общественным обвинителем, вовсе отсутствовала. Скорее! Кого-нибудь! Все равно кого, пусть непричастного, беспомощного, чужого. Кого же? Да хотя бы профессора. Никакой ремарки о низости поступка не последовало. Паузы диктовала не совесть, а только рассудок стратега, наспех обдумывающего план отчаянной вылазки. Да,

Петрякова. Он и Петряков совместно надували государство. Начнут проверять, расследовать, запросят Берлин. Если только себя, не обратят внимания. Уже осужден. Если только Петрякова, могут не поверить: Ивалов покажет, что закупками ведал Михаил. Значит, обоих. Новый суд. Не спасение, только отсрочка? Все равно. Где уж тут считать, стоит или не стоит, когда любой шорох означает конец...

Если читатели до сих пор еще не знали в точности, для кого цветет земля и над кем традиционно «блистают» звезды, если мало им было горящих театров, с их не совсем обычным выходом по истоптанным плечам, если случайно они не слыхали о торпедированных пароходах, о борьбе за шлюпки, о скидываемых за борт стариках или ребятах, что же, тогда мы покажем им казенный тюремный лист, на котором рукой Михаила было старательно выведено:

«Главному Прокурору Республики.

Прошу отложить выполнение высшей меры ввиду важности сохранения моей жизни. Хочу дать откровенные показания о крупных хищениях, совершенных мной совместно с профессором Петряковым при закупке радиоаппаратов в г. Берлине».

Его хватило на это, сказали мы, когда, припертый следователем к стенке, наш герой все же не назвал Сонечки. Повторим еще раз: и на это его тоже хватило.

Мы можем теперь оставить его, снующим по камере или лежащим на койке, с чередованием надежды и страха, с обостренностью слуха, изучающего партитуру тюремных звуков, далеким от каких-либо примет раскаяния. Он сделал все, что мог. А мы поспешим в знакомую нам квартиру № 32, вряд ли способную порадовать глаз и сердце даже после дома предварительного заключения, в этот чад сальных оладий и кухонных пересудов. Не к Сонечке — что сказать об этой легкомысленной особе? Михаил не ошибался: червонцы были быстро промотаны, первые страхи, вызванные арестом приятеля, давно улеглись, шли обычные дни, делимые между работой и отдыхом, между перепродажей хинина и танцем «ява», начинавшим вытеснять фокстрот. Вот только Михаил не знал, что Петьку-футболиста успел сменить пылкий грузин Лель Джупидзе, совмещавший мелкую службу в некоем солидном учреждении (им игриво называемым «госпупчиком») с участием на паях в хинных

и других предприятиях, являвший, таким образом, идеал Сонечки, дивное сочетание в одном всех запросов и тела и души. Не малое количество из злосчастных шестисот червонцев пошло на кутежи, ботинки, портсигары, галстуки этого далеко не мифологического Леля. Нет, не к Сонечке направимся мы, но к ее отцу, судьба которого после последней выходки Михаила оказалась неожиданно связанной с судьбой нашего героя.

Духота, немощность, безнадежность, давно уже превращавшие ночи профессора в метания, в переворачивания с боку на бок, в горькую сухость губ, в настойчивость часовых отстукиваний с покалыванием сердца и с мыслями о смерти, после берлинской поездки еще более сгустились. Плацдарм, до последнего времени защищаемый некоей воображаемой армией, как бы сузился. Петряков больше не ждал спасения. Паллиативы, будь то обстоятельность какого-нибудь доклада, заботы цекубу или крепкий озон солнечного морозного утра, уже не действовали. Бесцельность своя и своего дела, сливаясь в одно, делали дряхлыми не только тело, кожу, сосуды, но и мир, проделывавший за окошком или на столбцах сухих угловатых газет хоть энергичные, однако вневолевые, предсмертные сокращения. Урезки наркомпросовского бюджета, чистка вузов, общая трезвость опоминания — все это, как бы со стороны, подтверждало доводы бессонных ночей. Запад нес то же: вымирание наивных чудаков, еще веривших в бескорыстность знания, патенты или голод, физику для удобств Моргана и химию для удушения Японии. Организм Петрякова сдавался, как его ум, день за днем, не видя больше смысла в дальнейшем сопротивлении. В голодные героические годы он был стоек. Огромное напряжение заменяло тогда недополучаемые калории. Теперь же сказался перерасход тех лет. Свора болезней с жадностью накинулась на подшибленную добычу. Врач прописывал лекарства, режим, диету, и Петряков послушливо выполнял все его указания, не в жажде вылечиться, нет, просто как различные жизненные отправления, так же как считал белье, относя его к прачке, и ходил в столовую Дома ученых,— он не был по природе бунтарем. Он понимал бесцельность лечения, ибо каждая частица его организма болью, замедлением или же ускорением, подергиванием, отмиранием подтверждала ночные до-

гадки: скоро конец. Ржавь механизма не допускала починки. Чувство это как бы смягчало Петрякова, оно делало его более рассеянным, пожалуй, даже более благодушным. Получая теперь грубоватую записку от какого-нибудь рабфаковца, профессор уже не досадовал. «Так и должно быть,— кротко думал он,— я не нужен, все мы не нужны, шкафа же, знаменитого шкафа никто не построит». Направляясь каждый день на улицу Кропоткина обедать, он часто останавливался в сквере, у храма Спасителя и подолгу глядел на игры ребят. Хотя эти игры были жестокими, с бандитами, с расстрелами, с бранными, зазорными словами, невинность глаз и тонкость серафических дискантов умиляли старого профессора: так и Сонечка играла. Прежде его омрачили бы мысли: вот что из нее вышло, эти тоже станут лживыми, гадкими, признающими только штыки и червонцы. Но теперь он не думал об этом, он был уже настолько вне жизни, что получил право смотреть со стороны, может быть даже сверху, смотреть бескорыстными и спокойными глазами. Поэтому он видел детство, только детство, одинаковое ныне и тысячу лет назад, и детству он улыбался. Даже обитатели квартиры № 32 не могли больше раздражить его. На все ехидные попреки Швейге или Даниловых он только тихо, сострадательно, скорее ласково, нежели обиженно, отвечал:

— Да, тесно живем, очень тесно.

В этой терпимости он дошел до того, что, столкнувшись как-то с Сонечкой, заботливо забормотал:

— Ты вот с открытой шеей ходишь, простудишься...

Соседи, даже дочка, уже никак не занимали его. Дни являлись только паузами, пробелами, передышкой среди разгоряченных ночей. Можно сказать, что Петряков готовился к смерти. Если он по-прежнему, несмотря на болезни, несмотря на убеждение в бесцельности своих занятий, работал, упорно, настоятельно, преодолевая все трудности, приближаясь к концу, к разрешению проблемы, столь увлекавшей его европейских собратий, то это объяснялось желанием ввести самое смерть в жизнь, принять ее не как глупую катастрофу, но с достоинством умереть, как он жил,— над листом писчей бумаги, с пером, до последних судорог исправно выполняя никому не нужное дело, глаз на глаз с формулами и совестью.

Такой смерти ждал Петряков. Он не знал о визге, о вое, о томительном копошении и буйствовании осужденного губсудом Михаила Лыкова. Услышав как-то, что его арестовали, профессор сокрушенно вздохнул: «Бедный юноша, такой симпатичный, вот оно, новое поколение!..» Он дал следователю самые благоприятные для Лыкова показания, а на суд не пошел, скошенный приступом грудной жабы.

Поздно вечером, когда он сидел за работой, вошли чужие нахмуренные люди и, показав бумагу, деловито приступили к обыску. Один из них упомянул о сделках в Германии, об аппаратах, о валюте. За дверьми, хоть напуганные, однако глубоко удовлетворенные, шушукались жильцы квартиры № 32: «Наконец-то!» Они отыгрывались на отце за все обиды, нанесенные им Сонечкой, которая, после внедрения Джупидзе, окончательно обнаглела, назвав как-то почтенную вдову Швейге «драной кошкой». Накрыли папашу, теперь и до дочки докопаются! Сердито покашливая, полуодетый Петряков ходил из угла в угол, пока чужие люди перетряхивали его рукописи. К шороху листов присоединялись шлепанье туфель и мучительность астматического задыхания. Он начинал понимать значение этого прихода: его обвиняют в воровстве, в самом вульгарном воровстве, его, живущего впроголодь, удивляющего заплатами даже ко всему приученных служащих Дома ученых. Как ненужный хлам, раскидывают рукописи, среди формул и горя ищут червонцы. Что же, здесь судьба ставила точку, может быть, и не на месте (ведь не о таком конце помышлял Петряков), но с судьбой спорить не приходилось. Еще несколько минут, несколько неизбежных, навязываемых жизнью, вроде обеда или прихода полотеров, движений — и все будет, к общему благополучию, ликвидировано. Незаметно он засунул в карман бутылочку со стрихнином.

— Я пройду в уборную.

Люди не возразили, но один из них последовал за профессором, чтобы караулить у двери. В коридоре Петрякова обдал злорадный шепот соседей. Он хотел в ответ улыбнуться этим почему-то злым и все же близким, хотя бы территориально, лицам, но не смог: челюсти дрожали от волнения. Оставшись один, он вытащил склянку: сразу и залпом. Он, однако, помедлил. Предстала какая-то сжатая формула жизни: стеклянные глаза жены, Сонечка, революция, лекарства,

аппараты, червонцы, раскиданные листы работы. Все сделано — можно кончать. Но не за работой, нет, в этом темном и вонючем сердце квартиры № 32, под надписью «Мочить не разрешается», здесь! От грубости, от уродства жизни профессор еще раз вздрогнул, последний раз, так как дальнейшие движения, толчки, отдачи, конвульсии, механическая тряска мускулов были уже агонией, протекавшей вне его сознания.

Кажется, в тот самый вечер Михаилу Лыкову сообщили, что, согласно ходатайству суда, высшая мера по отношению к нему заменена десятью годами заключения, с соблюдением строгой изоляции. Вначале он задрожал, потом понял и сладостно потянулся, улыбаясь возвращенной жизни.

НА ДЕСЯТОЙ ИЛИ ПЯТНАДЦАТОЙ ПЕРЕКЛАДИНЕ

Дар, впрочем, оказался обманным. Очень скоро Михаил понял это. Вряд ли могли быть названы «жизнью» маячение, вращение и засыпание, оставленные помилованному герою. Конечно, другой примирился бы, но ведь Михаил не лгал, заявив судьям, что он не Темка и в банке жить не согласен. Заявление это никого не заинтересовало, и на голову бедного Глушкова (начальника изолятора) был взвален действительно непосильный груз в виде редчайшего заключенного. Есть самоограничение, необходимое и в творческой работе гения, и в шести будничных днях, седьмом воскресном любого обывателя. Всячески одарив Михаила — пестрой окраской, фантазией, темпераментом,— судьба этой добродетели ему не дала. А внешних рамок он не терпел. На что широк белый (белый ли?) свет, и тот жал нашего героя, выворачивая зевотой челюсти и заставляя со скуки кидаться куда попало: то к рулетке, то к девочкам, то под пулю. Кажется, этим, то есть неусидчивостью, широтой прыжков и ограниченностью мира, где, кроме естественных пределов трех измерений, на каждом шагу торчат стены государства, морали, эстетики, размахом рук и скукой, невыносимой скукой существования, объясняется добрая половина человеческих преступлений. Каково же было Михаилу, всерьез почитавшему жизнь

за тюрьму, очутиться в настоящей тюрьме, перенести свои страсти и метания в крохотную спичечную коробку, где тщательно содержится муха, словленная сердобольным мальчиком? Руки, чуть разойдясь, налетали на известь стены, мечты же должны были ограничиваться подсчетом дней, часами супа и кипятка, злой жесткостью койки. Михаил, изолированный от жизни, умирал. Что он мог делать с собой? Бить себя? Ласкать? Он не умел ни вспоминать, ни мечтать, все его мысли носили утилитарный характер, они только подготовляли какие-либо поступки. Даже знаменитые тридцать страниц Куно Фишера, в свое время им проштудированные, являлись подготовкой к высокой партийной карьере, то есть сосредоточенным приседанием перед прыжком. Здесь же не прыгнешь. Четыре стены. Остается только биться о них. Действительно, когда миновала первая животная радость от ощущения подаренной жизни, от хлеба, который успеет перевариться в желудке, от спокойного сна, не прерываемого никем, когда он впервые почувствовал: «10 лет», эту цифру 10, помноженную на месяцы, дни, часы, огромную рябь одинаковых часов, гулких от тишины, кружащихся мириадами точек перед воспаленностью глаз, он начал биться об стены. Ни уговоры, ни наказания здесь не помогали. Глушков терял голову.

Бедный Глушков! Человека и без этого арестанта достаточно мучила новая инструкция «о классовой политике в местах заключения». Как это понимать? Проблема казалась ему неодолимой. Досада и горечь школьника перед хитрой задачей овладевали им, хотя он был коммунистом, знал, что такое марксизм, более того, в короткие часы досуга одолел «Детскую болезнь левизны». Тщетно искал он в сухом абстрагированном мире, в этом раю наизнанку, называемом «изолятором», мыслимые классовые подразделения. Перед ним были одни номера, и он терялся (так же, как терялся некий киевский профессор, которому предложили установить классовую природу математики). А здесь еще новый арестант с его вечными буйствами, руганью, слезами. Тяжелая это должность! Поскольку уже речь зашла о Глушкове, можно раскрыть, что, несмотря на образцовый порядок в изоляторе, на весь боевой облик, он был в душе несчастнейшим человеком. Наказывать других людей не так-то легко, это не всякому

дается, особливо в переходные времена, когда стирается грань между теми, кто наказывает и кого наказывают. Хорошо у Ломброзо расписано: форма черепа, уши без мочек и так далее. Но Глушкову приходилось наталкиваться сплошь и рядом на людей, ничем от него не отличавшихся. Все мочки на месте. Они тоже в прошлом были коммунистами, читали «Детскую болезнь», носили кожаные куртки или галифе. Один — политком полка, увлекшись железкой, продул казенные деньги, другой — принял в трест своего тестя, который что-то дал, что-то взял, получил подписи, с родственной нежностью обнял коммуниста и быстро привел его на скамью подсудимых. Третий... Но стоит ли перечислять? Невидимый волосок, необдуманный поступок отделяли их прежнюю, честную, идейную и вместе с тем уютную жизнь от камер изолятора. Думая об этом ночью, Глушков ворочался, потел и скидывал томившее тело одеяло: он чувствовал себя на «волосок» от судьбы заключенных. Почему он держит их, а не они его? Выручала (поздно, часто только под утро) дисциплина: раз приказывают, значит, так нужно. Ясно, что ЦК, ЦИК и коллегия Наркомюста умнее какого-то Глушкова. Со столь успокоительным резюме он засыпал.

Зато обычные кошмары ночей тюремных начальников, надзирателей, караульных — перепиленные решетки, разобранные стены — не навещали Глушкова. Если сторожить, то уж сторожить хорошо. Даже наш фантазер начинал понимать, что отсюда не убежишь. Только на Якиманке голубоглазая мадонна, укачивая пискливого, как мышь, младенца, названного по настоянию Артема Кимом, все еще жила романтическими надеждами на побег. С невидящими белками и упорством лунатика, присущим кротчайшим любовницам, судьбой вознесенным в героини, она пыталась и мужа запутать в это дело. Тщетные, разумеется, попытки: Артем, идущий против государства,— какая горячка могла вычертить столь гротескный образ? Если Артем и страдал от участи, постигшей брата, то свою боль он стойко скрывал. А Ольга рядом, столь же тихо, подпольно вынашивала сложные планы с подкупами, переодеваниями, передачами хлороформа, напильников, револьвера. Только одни глаза ее поддерживали: еще бессмысленные, скорей две капли желатинной жижи, нежели человеческий орган, но в которых уже

проступали обманчивый пигмент, фосфорическая напасть, ложь и подлинная лютая мука часов, полных хрипоты, мыслей о Бландове, двойного одиночества.

Узнай Глушков о мечтах Ольги, они показались бы ему верой в загробную жизнь. Из изолятора не так легко было убежать. Солидность заключения поворачивала мысли Михаила в другую сторону: к амнистии. Скостят, обязательно скостят, на треть, потом еще на треть. В общем, он, пожалуй, отделается пятью годами. Но хоть цифра 5 и вдвое меньше 10, желательного облегчения она не давала, множась на столь же мучительные коэффициенты, превращаясь в ту же рябь однородных и невыносимых часов. Различие не ощущалось, и, поскольку речь шла о пустыне, ни количество песчинок, ни объем площади не ослабляли сухости, духоты, отчаяния. Он явно погибал.

Не просто проходило это: организм еще боролся. В ходе дней и часов попадались приступы устойчивости, жизненности, мнимого выздоровления. Михаил тогда настойчиво пытался вымостить базу, начать жить в предвидении некой минуты, допускаемой лишь абстрактно, как результат арифметических выкладок, минуты, завершающей десять или хотя бы пять лет. Последние вещи, воспринятые свободным человеком, вставали в его сознании: когда раскроются ворота, он сразу увидит трамвай и голубя, описывающего грузную дугу. Для этой минуты стоит жить. Он пробовал заниматься. Книги, которые он читал, сказали бы наблюдателю, что и этот закоренелый преступник начинает каяться, исправляться, готовиться к честной гражданской работе. На самом деле они являлись лишь косяками, за которые пробовал хвататься выволакиваемый вон из жизни Михаил. Страница такая-то. Конспект. Зачем? Пригодится. Когда? И снова подсчитывались месяцы, дни, часы, чтобы при одном из подобных подсчетов Михаил, вернувшись к давней своей привычке, выместил на книжках тоску, чтобы он истоптал, порвал их. Наказанный Глушковым, наш герой похабно ругался и скулил. Так кончилось это кажущееся исправление. Протянулась еще неделя-другая. Цифры не менялись, скромная работа часового механизма или сердечной мышцы, этого маленького червячка, не могла подточить величавой глыбы десяти лет времени или, вернее, для него безвременности.

Был еще взрыв, когда Михаил, разглядывая себя, вдруг увидел расхлябанность живота, дряблость рук,

ослабление всего корпуса. Это убедительней, нежели зевота, томление и мутность мыслей, заявило о конце. Он струсил и заметался. В лихорадочных розысках выхода он решил заняться гимнастикой. Несколько дней подряд, маниакально, до отупения и сна, он предавался методическим телодвижениям, вбирал и выкидывал руки, подпрыгивал, даже кувыркался. Результаты не чувствовались. Тело его, всегда чуждавшееся выдержки, оказалось малоприспособленным к подобной учебе. Ноги должны были мерить длину московских бульваров, руки кидаться навстречу прохожим, молить Сонечку, бить Ольгу, рвать, рвать безразлично что — московскую разновидность самофракской «Победы» или червонцы,— но обязательно рвать. Шведская гимнастика только оскорбляла их, и очень скоро Михаил презрел новое лекарство. Он снова отдался движению часов, медлительному и пагубному. Куда девалась улыбка, добротная улыбка, вызванная в день смерти профессора сообщением о 10 годах? Жизнь, столь дорого оплаченная страхом, беспамятством, стрихнином Петрякова, мысленной выдачей Сонечки, то есть истреблением последнего, чахлого, однако упорствовавшего в своем прозябании чувства,— эта жизнь оказалась фиктивной, неживой, выдуманной в коллегии Наркомюста, она оказалась той же смертью, только растянутой, чтобы человек успел ощутить ее цвет и запах, зеленоватую муть воздуха, гнилость слюны.

Хоть и поразительно это, но точно: несмотря на мучительность процесса, на пустоту порожних суток, на бессонницу, Михаил не испытывал ничего, что мы могли бы, даже с натяжкой, назвать раскаянием. Поскольку, вызванное случайными ассоциациями, вставало перед ним прошлое, он жалел себя, жалел трогательно и упорно. Неудачи, пакости судьбы, нагромождение случайных обстоятельств — вот в чем видел он объяснение своей жизни. Он мог бы родиться иным, вырасти в другой среде, получить завидное образование. Став коммунистом, он мог бы, вместо унизительной вычистки, выдвинуться в вожди. Наконец, раз он уж пошел на темные делишки, он мог бы не засыпаться. Все это не его грехи, а номера рулетки. Везет же другим. Те, кому везет, презирают, марают автомобильными плевками, гонят с помощью курьеров, вычищают из партии, судят, держат в тюрьме

неудачников. Такую мораль вынес он из своей хотя кратковременной, однако достаточно содержательной жизни. Что касается Петрякова или Сонечки, это тоже не его вина, это несчастье. Профессору все равно пора было отправляться восвояси. Сонечка же, наверное, счастлива. Только он страдает, еще живой и несчастный. Предательство вконец уничтожило его. Была же Сонечка, гордо отстаиваемая на суде, следовательно, весомая, точная до округлости, до ощутимости в любой момент пушка на ее щеке или сухого учащенного дыхания. Ее не стало. Такое разорение нельзя объяснить иначе, как грабежом, систематическими налетами судьбы. Любить, самозабвенно любить Артема, чтобы почувствовать перед зеленой скамейкой, перед грузной глыбой плеч одну злобу, звериную, темную злобу. От взволнованных слез перепорхнуть к Бландову, оставаясь все на том же тесном клочке земли, определяемом душой или, если угодно, телом Ольги. Наконец, выдать (пусть мысленно) Артемиду, выдать страсть, нежность чувств, об исключительности которых хорошо знают снега Полуэктова переулка, деревья бульваров и бронзовый Пушкин. Год за годом его обкрадывали. Он устроил бы суд, не заседаньице насчет шелка, нет, настоящий суд. Там бы, сойдя со скамьи подсудимых, он предстал бы как потерпевший, как гражданский истец, выкладывая обиды, подводя счета убытков, требуя справедливого наказания. Кажется, только набожный шепот всего мира, любовь всех женщин, универсальное участие могли бы хоть несколько вознаградить его. Вместо этого ему бросили знаменитую цифру 10 (вероятно, для простоты умножения). Каяться? Нет, негодовать. Еще жалеть себя и, приучив соответствующие железы к новому режиму, прерывать ругань или механические выкладки месяцев, дней, часов регулярностью слез, ровных и беспредметных, как хронический насморк.

Так отмирание перешло в следующую стадию: попыток спастись, производимых уже инстинктивно, серии конвульсивных прыжков, лишенных примитивной обдуманности и способных лишь изнурять злосчастного Глушкова. Разбивая стекла, Михаил осколками резал себя, резал не всерьез, наполовину, даже на четверть, марая лицо кровью и визжа от неподдельного ужаса. Зачем? Глушков перебирал различные догадки: симуляция сумасшествия, хулиганство, наконец,

желание сменить койку на спорный комфорт тюремной больницы, куда после первой из таких попыток был помещен арестант. Он не догадывался, что и для самого Михаила подобные поступки оставались темными и загадочными. Зачем как-то, оттолкнув надзирателя, он бросился бежать по коридору? Сколько поворотов, этажей, надзирателей, сколько дверей с часовыми, с пропусками, контрольными жетонами, проверками отделяли его от воли? Несколько глупейших прыжков, и только.

Глушков не понимал, наказывал, увещевал. Хорошо быть начальником исправдома,— там понятны и функции мастерских, и назначение сердца: это возвышенные порывы собесовских фребеличек, только с некоторой наждачной жесткостью ласкающих воспитанников рук. Но зачем существует изолятор? Изолировать? Это вполне понятно, это даже естественно для стен, однако это трудно дается человеку, хотя бы тому же Глушкову. Начальник всячески хотел смягчить прямоту и сухость задания. Он пытался и в лепрозории остаться медиком с благодушным молоточком и трубочкой. Отсюда улыбка при виде книжек и конспектов. Отсюда тюремный театр, где один (подделывавший червонцы) артист нарисовал, по просьбе Глушкова символическую свободу в виде симпатичной женщины с буйным бюстом и с красным знаменем. (Наивный, он не учел, как будет это двойное изображение равно недостающих и свободы и женщины волновать пациентов.) Он устроил для молодняка начальные курсы политграмоты. Он, право же, старался. Но на проделки Михаила не хватало ни гуманности, ни терпения.

Ольга надеялась, писала трогательные письма, достойные издания, читала ежедневно «Известия», думая разыскать, как сказочный клад, затесавшуюся среди «международного положения СССР» и «валютной реформы» амнистию. Она даже наладила приятельские отношения с одним из надзирателей изолятора, который, однако, дальше принятия папирос и философического «оно конечно», не шел. Она надеялась, не могла не надеяться, живая, животно окрепшая, полная, голубоглазая, ожидающая рядом с законным мужем другого — настоящего. Романтический чад Харькова перешел теперь в густоту быта, похожего на изобилие молока, даже Михаила делая добротным отцом Кима, супругом, находящимся в длительной

отлучке, в некоем дальнем плавании. Она не считала дней и часов, веря, что хватка его рук, что теплота и грузность ее чувства растопят цифру, выдуманную какими-то людьми. Оставаясь одна, она подолгу беседовала с заместителем Михаила, с младенцем, нежно-розовым, как цвет яблони или как заливной поросенок. Ему передавались длительные истории, любовные монологи, сетования и мечты, так и не рассказанные вечно торопившемуся Михаилу. Писк его, столь раздражавший соседей, казался ей разумным, знаком сочувствия и понимания, призывом к бодрости. Она ничуть не удивилась бы, увидав на пороге комнаты Михаила,— до того действенно и горячо было ее ожидание в зимние вечера, когда для Артема существовала только дискуссия, когда за стеной имелись часы, служба, червонцы, изредка «киношка», когда, кроме дискуссий, кроме службы, тяжелыми пластами нарастал и в морозной сухости ожесточался снег этой на редкость исправной зимы.

Ждать ей, однако, оставалось недолго. Глушкову тоже предстояло освобождение, как и нам, а с нами и нашим читателям. Нечего медлить, хоть и тяжела подступающая минута! Ясно, что один из таких прыжков должен был как-нибудь закончить историю, раз ни герой, ни судьба (в образе губсуда) не сумели или же не захотели поставить более эффектной точки. Это не выдумка писателя, жаждущего освободиться от ставшего обременительным персонажа. Жизнь сама занимается известной уборкой, с помощью «несчастных случаев» выволакивая прочь еще по инерции передвигающиеся трупы.

Михаила вели в баню. Утро было морозным и ясным, с той иллюзорной солнечностью, которая не раз восхищала русских поэтов своим мнимым весельем, нам же кажется мертвой, пахнущей фенолом и раскиданным ельником, искусственным освещением огромной, хоть и незримой, похоронной процессии. Желтый диск, дающий на юге тепло, жизнь, мотовски швыряющий розы и шутки, здесь только значится, числится, чтобы голубизной снега и нестерпимым холодом подчеркивать всю помпезность церемонии. Впрочем, это дело вкуса, и к бане, куда вели нашего героя, отношения не имеет. Скорее уж следует отметить присутствие во дворе Глушкова, доброго фермера, осматривающего свое хозяйство. Солнце сияло.

Глушков осматривал, предвиделись шайки и мыло. Что же дальше? Хмурый корпус, в котором помещалась баня? Руки Михаила, после длительного затекания рванувшиеся к желтой точке на небе? Да, все это, еще пожарная лестница, еще душевная спазма, еще веками истребляемая, однако, кажется, вовек неистребимая притягательность той стихии, чье плоское изображение украшало стены тюремного театра. О бессмысленности поступка не приходится говорить. В лучшем случае Михаил достиг бы крыши внутреннего корпуса, отделенной рвами двора от других крыш. Не птицей же он был, чтобы удовольствоваться обозрением окрестностей, чувством высоты или пением. Но мало думавший Михаил на этот раз и вовсе не успел подумать. Он увидел свет и ступеньки, тонкие перекладины, ведущие к диску, дорогу, отличную от обычных коридоров изолятора. Он рванулся, и только. Глоток воздуха, вскрик,— иначе нельзя рассматривать этот нелепейший жест. Если в нашем герое еще оставались дробные величины жизни, то это они подкинули его вверх. (Кидая мячик, дети порой втихомолку, как бы стыдясь своей наивности, задумывают: а вдруг полетит...)

Ослабевшие руки жадно впивались в перекладины, подымая пуды тела. От резкости света, от крика Глушкова и надзирателей, от торжественной трудности двадцатиградусного воздуха у Михаила закружилась голова. Ни одной мысли в ней не было. Только где-то (на десятой или пятнадцатой ступеньке) образ необычайного портного, этого оперенного тоской и безумием жаворонка, встал перед ним. Примятин летел зигзагами, усиливая головокружение. Перекладины же, скользкие и обжигавшие пальцы, давались все труднее и труднее. Еще одна, еще немного воздуха, и последний взлет был закончен.

Голова его ударилась об одну из перекладин, обдав нарочитую чистоту снега богатством и низостью, чтобы пурпур крови, чтобы мутность мозгов вошли навсегда в ночи Глушкова, искушая и томя человеческое сердце. Но оставим начальника стоящим над трупом с воспаленными любопытством зрачками, вновь переживающим хрупкость и натянутость «волоска», который отделяет хорошо нарисованную свободу от красной лужицы, неспособной даже растопить снега,— сами же в эту трудную минуту, вместе с Ольгой (кто же, кроме нее, поймет нас?), поскольку кончена жизнь,

оплачен не один только шелк, некого больше судить и осуждать, позволим себе предаться горю, холодному, сухому, как это январское утро. Что добавить? Мы любили нашего героя, с ним мы присутствовали на последней (десятой или пятнадцатой) перекладине. Пусть за это судят и нас.

ПОЧТИ АПОФЕОЗ

Пожалуй, мы бы кончили на этом наше повествование, обойдя молчанием несчастную чету, теперь еще более обделенную и унылую, если бы не существо почти условное (увеличение фунтов, сосание груди, рези в желудке), которое меняет, однако, знаки препинания. Быстро зарастут плеши, образованные погибшим героем в кассах различных трестов, процесс забудется даже судьями, наши читатели и те, прочитав дюжину иных романов, на случайное упоминание заспанной библиотекарши: «Не хотите ли «Рвача»?» отзовутся недоуменным: «Что это?», да, именно «что», а не «кто». Изумительный оздоровитель — забвение — начисто сотрет сомнительные следы, оставленные Михаилом Лыковым. Кроме одного: на Большой Якиманке неизвестное продолжение нашего романа уже пищит и бьется в руках безутешной Ольги. Здесь залог того, что книгу эту не столь легко, захлопнув, сдать в архив. Последняя глава продиктована желанием, расставаясь с известной жизнью, обследовать ее мыслимое продолжение. Таким образом, помимо нашей воли точка заменяется гораздо менее эффективным многоточием. Выручает автора история, неожиданно превратившая эти обычные ночи, полные молчаливого горя Артема, слез Ольги и абстрагированного крика буддически безучастного Кима, в огромные черные мифы, хорошо памятные всей России.

Четыре ночи — кто же их забудет? Четыре ночи, когда у всех на глазах совершалось чудо: недавнее прошлое, житейски осязательное, связанное с пайками, с печурками, со службой, вдруг предстало перед всеми патетическим массивом, историей, историей, которую остается лишь изучать, завидуя современникам событий, то есть в данном случае самим себе. Историей каменело парафиновое лицо, расходясь со скромностью френча, еще недавно добродушно-едкое, катив-

шееся по подмосткам митингов и съездов, теперь же недоступное, вошедшее в прохладу музеума. Кто назовет «лбом» архитектуру костей, как бы выражавших точность и величину циклопического задания? Нет, не труп лежал в Колонном зале — история. Древняя античная скорбь слышалась в истерических вскриках женщин, может быть, кокетливых совбарышень или даже просфорниц: за них кричала земля, прощаясь с жесточайшим любовником, из тех редчайших, что, неудовлетворенные любованием, меняют черты ее лица, рельеф человечества.

Что будет дальше? Этого мы не знаем, но железное громыхание переворачиваемого листа залило и наши уши в то утро, когда за дверьми раздалось: «Ильич!..» Мы поняли, что следует оглянуться, перевести дыхание на иной счет. Для этого дали городу четыре ночи, с их опаляющим лютым холодом и с пронзительностью яркого света, заливающего площади.

Пусть многие не сразу поняли значимости ночных паломничеств, говоря о любопытстве, об инфекции, даже о злорадстве, огромная коллективная воля вела и их, заставляя коченеть в хвостах, топтаться у скудных костров, выжидать в бездумии, в идеальном безвоздушии угрюмо сжимающегося реомюра одной минуты прояснения. Кого только там не было? Коммунисты прощались с вождем и с товарищем. Москва — с национальным героем, со вторым собирателем государства, с неистовым механиком (как был неистовый плотник), народ же просто с хозяйским оком этого марксиста, читавшего некогда рефераты в Женеве, а потом оказавшегося мудрейшим управителем путаной земли, которая историю свою начала с многообещающего обращения «порядка-то у нас нет...». Даже клиенты «Лиссабона» приходили сюда, забыв об Октябре, но хорошо помня о рождении нэпа, приходили жаловаться мертвому на живых («Вот если б он жил, разве...»). Впрочем, все это забывалось, когда люди после долгого топотания, с прокаженной белизной отмороженных носов и ушей, с металлическими ударами ледяных сердец, от ночи, гуда и морозной спертости переходили в зал, где аляповатая пышность советской Византии таила в себе, как кокон, небольшое ядро, этот парафиновый облик, архитектурную форму черепа, штурм Октября, стратегию шести лет, еще недавнюю веру, радость, страсти России.

Однородной волной протекала человеческая масса мимо бесчувственного тела, чуждая обособленности мыслей, не зная подразделений, встречаясь с историей, которая одна принимала этот страшный парад. Люди должны были выдержать на себе опустошающий пуще мороза взгляд ее только предполагаемых глаз.

Потом они снова выливались в жизнь, то есть на осиротелость площадей, улиц, тупиков, к маленьким игрушечным кострам, тщетно пробующим смягчить бесчеловечность ночи, вспоминали свое, домашнее, бабки крестились, переругивались мастеровые. Теплота зала оставляла лишь судорожность зевоты. Нужно было жить. Возле огня, чтобы согреться, прыгали, как на гуляньях. Бабка визжала: «Не щупай!..» Из носов свисали самые фантастические сосульки, и общая седина была исключительно гримом зимы. Подступая с трудом к вожделенным языкам костра, валенки потели и сдавались. Тулупы же не могли отойти, они оставались звериной броней. Декорация в виде кремлевских стен дополняла картину: это век Алексея Михайловича, истребованный для грядущего, бил в ладоши, лунатически бродил по залитым электричеством улицам и трепетал.

Кто победит?—невольно спросили мы себя, выходя из Колонного зала, как бы сопоставляя суровую точность черепа и стихийное копошение толпы, дымность костров, ухабистость речи. А может быть, и вовсе праздный это вопрос, ибо и он, и они одно—Россия?..

Подобные сомнения одолевали и Артема, прощавшегося с мертвым водырем. Он пытался различить свист и шамкание заснеженных деревень, прочесть морщины на лице ее ходоков—эти шифрованные телеграммы грядущих «Известий». Он хотел проникнуть в монотонный говор Запада, еще более загадочный, нежели молчание снега. Сдвинутся ли? Долго ли Артемам держаться на этих нелегких аванпостах? Ведь лют мороз и слабо человеческое сердце. Здоровая порода, однако, победила: продержимся! Предстоит трудное время лавирования, маневров, выжидания, кропотливой подготовительной работы, без вождя, серое время выращивания на смену одному такому тысячи простых. Но не напрасно жил этот человек, не напрасно живем и мы. В шторм бьется суденышко (где уж тут думать о флаге!), и слезы, даже ропот понятны. Однако

поворот назад, измеряемый узлами, можно и наверстать. Это не брошенный берег. Иди же, Артем! Работай! Истребляй глазами сусликов, а если нужно будет, и людей! Проще, только бы проще!..

Он шел домой стойкий и ободренный общностью горя, хоть одинокий, пораженный жалким концом брата, враждебностью Ольги, сказали бы мы, несчастный, если бы не его счастье (нам недоступное) — знать, зачем человек живет. Дверь открыла Ольга. Какие бессмысленные и впрямь страшные глаза! Известие о смерти Михаила здесь решило все. Она не забилась в падучей, не кинулась из окошка: тяжесть грудей и глаза Кима надежно вязали ее. Она и не сошла с ума, то есть не вырвалась из стен, воздвигаемых разумом на непосильную волю. Она просто кончилась, согнулась, отупела, уже ни на что не реагируя, кроме крика Кима, встречая и провожая дни равно бесчувственными, коровьими глазами, слов нет, прекрасными, редкостно голубыми, способными вызвать умиление, восторг или же брезгливую гримасу.

— Я у Ильича был.

Ольга ничего не ответила. Для нее ведь больше не существовало ни Ленина, ни Артема, ни мороза. Даже образ Михаила и тот стал недоступен, исчез в чаду кухни, в чаду слезных пустых часов. Она мыла тарелки. «Проще! — повторял себе Артем.— Проще! Работать! Жить!» Он боялся застекленелости близких глаз. В это выразительное молчание вмешался третий. Крик младенца заставил Ольгу очнуться, кинуться к нему. Тогда нечаянная радость оглушила ее: в том, как рвались ручки Кима к погремушке, висевшей над кроваткой, трудно было не опознать мечтательной и жестокой биографии нашего мертвого героя с ее вступлением в виде ослепленного телескопа и с финальными перекладинами отвесной лестницы. Даже глазки уже посвечивали фосфорической меланхолией, памятной обманчивостью пигмента, как бы толкуя рваческое движение рук. Что он хотел? Погремушку? На что могли жаловаться глаза, кроме голода или колик? Ложь, выдумка, подлог, вечные вдохновители преступности, а также искусства!

Не только Ольга, даже Артем тоже понял язык рук и глаз. Он не выдержал, отвернулся. Пока Ольга покрывала истерическими поцелуями слепок боготворимых рук, ночь за ночью воссоздавая прошлое, он

пытался взглянуть вперед, включить и младенца в захват этой ночи, в косность снега, в величественный расчет черепной коробки: воспитаем Кима! Ночь не поддавалась, а сжатое, как ртуть градусника, сердце упрямо пыталось подняться вверх.

Ручки же Кима по-прежнему рвались к яркой побрякушке.

Июль — ноябрь 1924
Коксид — Париж

В Проточном переулке

роман

1

В НЕЖНО-АБРИКОСОВОМ

— Отдай Бубика!

Мальчик лет пяти ревел вовсю. Заикаясь, повторял он имя какого-то «Бубика» — котенка или, может быть, куклы. Девочка, чуть постарше, дразнила его:

— Бубубубика! Говорить не умеешь!..

— Это я нарочно. Отдай Бубика!

Из окна выглянула женщина. Лишения и пудра мешали определить ее возраст. Руки, чересчур узкие, изъеденные кухонной золой, казались прекрасными и жалкими, как побеги трактирной пальмы. Чувствовались проглоченные слезы, памятные всем даты, титул пышный и вздорный, как бенгальский огонь, льняное масло, шляпная мастерская, муж-бабник, вот этот Петька-заика, — словом, жизнь хоть и вдоволь уплотненная, но призрачная, приснившаяся. Услыхав лопотанье сына, женщина раздраженно крикнула:

— Не ври! Никакого Бубика у него не было. Это он все придумал. Не ребенок, а наказанье божье! Может быть, Поленька правду говорит — мяса тебе давать не следует. Что из тебя только вырастет? Ну, откуда ты взял этого Бубика?

Мальчик перестал на минуту плакать. Он задумался. Глаза его ныряли в безличную синеву неба. Наконец он показал на сточную канаву, где ничего, кроме грязной водицы, отливавшей, как полагается, радугой, не было:

— Отсюда.

Нелепое создание! Что из тебя, вправду, вырастет? Поэт или же поганый краснобай? Наивна ложь — в Проточном переулке не может быть никакого «Бубика». Это подтвердят все ответственные съемщики. Здесь только мелкие номера домов и душонок. Я жил в том угольном доме. Я знаю, как здесь пахнет весна

и как здесь бьют людей, лениво, бескорыстно,— так вот в других переулках выбивают ковры.

Глядел я как-то из окошка на такое избиение. Бил мастеровой женщину, бил кирпичом по голове, со степенностью, не жалея ни времени, ни сердечной печали. А кругом стояли незадачливые обыватели Проточного, или, как извозчики говорят, «Протёчного». Они, видимо, ждали, кому скорее надоест это: мастеровому, им или бабе, у которой если нет души, то все же имеется «пар», облачко на жестоком морозе. Забредший ко мне приятель, тот только позавидовал:

— Вид у вас из окна хороший...

В знаменитой «Ивановке» живет жулье, самое что ни на есть откровенное: форточники, перепродавцы краденого, из грабителей те, что потише. Рядом же, в анонимных домах, проживают анонимные людишки: торговцы со Смоленского рынка, персюки, занятые то галантереей, то поножовщиной, кое-кто из «аристократии», например, делопроизводитель «Фанертреста», гармонист и драчун, секретарь «Союза ассирийцев» — он же чистильщик сапог на Свердловской площади. Все это копошится, сопит, чешется, пахнет, особенно пахнет. Переулок полнится древнейшим запахом кошачьей мочи и ангельского терпения.

Иногда заходят цыганки. Тогда из окон вывешиваются мечтательные души, и не отличить, где головы затравленных переулком сумасбродок, а где растянутые для просушки подштанники. Поют цыганки все больше о любви, и хоть нет ее здесь, в Проточном, хоть это подозрительный «Бубик», за которого Петька получит изрядный подшлепник, все же женщины зарывают под подушки головы, выбеленные годами, а медяки падают, как пудовые слезы.

Чаще поют сами — штопая носки и беременея, поют «Кирпичики». Звучит это здесь беспросветно, как будто «по кирпичику, по кирпичику» раскладывают человеческую жизнь.

Развалившийся дом на углу Панфиловского воняет вот уж который год. Сюда ходят до ветру, беспризорные режутся в железку, здесь прошлой весной дезертир Карнаухов упрятал труп прирезанной им сожительницы, здесь же, в глубоком погребе, мороженщики набирают летом рыжий снег. Стоит здесь только порыться судебному следователю или досужему фантазеру, как объедки этажей, напоминания о доисториче-

ских кухнях и спальнях, никуда не ведущие лестницы заселятся призраками: жена сбежала с полотером, Сергеенко стащил дрова, чего доброго — набавят на отопление, «врешь, не девятка у тебя, а туз», «батюшки, режут!..».

Порою выйдешь под утро, скользко и от накатанного детворой снега, и от сугубой тишины, ста шагов не пройдешь — начинается. Крикнет один — «сшибай», даст подножку, и все высыпают, как на цыганские страсти. Чуть оттает снег под проломанным носом, и снова свернется — его не проберешь, как и душу Проточного, ведь это наш добротный русский снег.

Таков переулочек, и не зря стоит в нем дом Панкратова, где помимо хозяев помещается упомянутое мною шляпное заведение. Дом этот построен отцом нынешнего Панкратова — два этажа, сени, кладовки, русские печи; сохранил он свою первоначальную окраску. Трудно понять это: чем грязнее, чем гнуснее переулочек, тем больше в нем таких нежно-абрикосовых домиков, как будто здесь цветут яблони и влюбляются девушки. А на самом деле, отодрав ставню, можно увидеть, как сам Панкратов, в честь сорокаградусной, лупит драным зонтиком хромую супругу или же мирно купает в изюмном соусе к голубцам свое волосатое рыло.

Это, конечно, по праздникам. В Проточном уважают всякие праздники — и «наши» и «ваши». В Троицу «Ивановка» нежно зеленеет. Жулье умащает маслицем волосы, а потаскухи, промышляющие внизу, на самом берегу Москвы-реки, трогательно шелестят юбками, как березки. Грохочет поп, и все, скажем прямо, благоухает. Но и советские праздники не в обиде — гармошка, вино, даже танцы, то есть безысходное топтание на одном месте: здесь живу, здесь и сдохну.

Панкратов так же пляшет и пьет и такой же с лица. Однако это не форточник, а почтенный гражданин, владелец солидного ларька на Смоленском: колбаса, монпансье «Красный Октябрь», огурчики. Крепкое нутро, холера не берет. Конечно, был абрикосовый дом национализирован: реквизировали, обмерили площадь,— словом, всячески пытались пронять Панкратова. Стоит только вспомнить, как один ушастый еврейчик, обнаружив под периной бороду, вытащил ее на свет божий и увез сгребать снег. Панкратов все выдержал, нужно было молчать — молчал, нужно было на

того же еврейчика глядеть с «неподдельным энтузиазмом» — глядел. Отдали дом. Появились, так и не обнаруженные разными ушастиками, «излишки». От этого недалеко до ларька.

Панкратов читает плакаты: «Иди в рабкооп»,— и в рифму бормочет: «штоб...». Далее следует непечатное. Смеется он осторожно, про себя, в тех тайниках отечественной сметливости, где Калита сколачивал из курных изб государство, а отец Панкратова — из медных копеечек «рупь». Домашние хорошо знают, что такое «червячков разводить», и хоть далеко червонцу до империала — ни звона в нем, ни благоговения,— седьмая сотня приятно дышит, крупнеет, улыбается. Траты весьма ограничены: водка и бутылочка мадеры к празднику, новые занавески по случаю, раз в год молебен. Жена, та до сих пор перекраивает, перелицовывает, перешивает добросовестную рвань довоенного времени. На события у Панкратова взгляд философический: «Живем». Вывесить флаг ничего не стоит, а вот насчет налогов следует подумать. Конечно, «жиды — жидами», но главное — «чего Господа гневить? Живем...» Главное — «червячки». Чуть свет — Панкратов на ногах. Услышит, что на Благуше дешево продают ящик подмоченной карамели, сейчас же бегом на Благушу.

Жена, хоть и хромая, не отстает. Могла бы она, разумеется, сидеть дома, но нет, не такая семья. Панкратова с вечера печет пирожки, а утром продает их на Смоленском. У нее и патент есть. Червонец лишний всегда пригодится. На озорство мужа она не обижается: ведь это в праздничек, это от избытка чувств, от роста пачек под цветочным горшком. Она и сама бы не прочь «съездить» — сил не хватает. Подслащенная семейным счастьем и мадерой, Панкратова идет на кухню и шваброй дразнит кота. Кот шипит, сверкает, как фейерверк в Нескучном саду. Детей бог не послал — это и к лучшему. С детьми в такие времена беда. Денег на них не напасешься, а потом — кто знает — может дитя поддаться, сбежать в комсомол, отца родного ограбить. Думая о таких ужасах, Панкратова не без благодарности гладит свой полный живот.

Сестра тоже не нахлебница. Ремесло — великое дело! Мужа теперь подыскать ох как трудно! Поспит, отберет наволочки да простынки — и развод: оказывается, «настроения» у него неподходящие. А баронесса аккуратно выплачивает Поле сорок рублей в месяц.

Посмотрите, как отливают щеки Панкратова багрянцем, как ширится и твердеет борода, готовая пожрать не только его лицо — весь мир; как он пышен и чуден, когда после трудового денька пробирается вниз по Проточному, с пачкой за пазухой и с селедочкой, грохоча, отсчитывая барыши, каламбуря: «А теперь не мешает заморить червячка червячком». Жулье из «Ивановки», дружественно осклабляясь, расступается. Это идет массивный дух Проточного.

Панкратову во всем везет. Повезло и с жильцами. Это дело тонкое, политическое, вроде флагов или сборов на разных китайцев. Могли ведь уплотнить, а если дома — не дома, если и у себя в абрикосовом следует озираться да помалкивать — какая же это жизнь? Сахаровы подвернулись вскоре после революции. Клад! Не жильцы — друзья закадычные. Поленьку пристроили. Потом, как только преткновения, Сахаров тотчас распускает хвост: здесь и удостоверение со службы, и профсоюзная книжка, и мандат 19-го года, и декреты, и «принцип сотрудничества», и даже абстрактные идеи, так что в комхозе полный конфуз: «Да вы, товарищ, не волнуйтесь, это недоразумение...» Баронессу Панкратов искренне уважает: за титул, хоть и утерянный, за манеры, за разговоры о заграницах — там, например, письма летят по трубе,— за сметку: не растерялась баба, хоть воспитана для заграниц, для «ох» и «ах», а вытянула и мужа, и себя, и дитя.

Да, можно не любить Наталью Генриховну, но уважать ее приходится. В наши дни все мельчает: и реки, и книги, и сердца. Наталья Генриховна — осколок давнего мира, где прожигались миллионы, грабили не кассы — города, в один присест пожирали целого гуся, любили, что называется, «до гробовой доски», ничем не гнушались: ослепить разлучницу, самой пойти по Владимирке или купить краденое счастье, как перекрашенного цыганом коня. Она и телом крупна, однако в меру — все как-то правильно разложено по местам, причем все это породистое, высшего качества: и щетки бровей, и большой нос с горбинкой, и высокая грудь. Узость рук заменяет уничтоженную графу паспорта: родителям Натальи Генриховны не приходилось возиться с шляпными гарнитурами.

Отец ее, барон фон Майнорт, служил при дворе, любил фехтование и ветлужских стерлядок, был вспыльчив, нежен и глуп, как апрельский денек, женился на

дочери нижегородского лабазника, красавице с лукутинской табакерки, рано овдовел, а умер вовремя, то есть недели за три до Октября. Дочь Тусеньку он воспитывал по-мужски — взбалмошно, приступами,— то приставлял к ней строжайшую мисс, то тащил в Париж: «Надо же ей услышать Иветту Гильбер...» Туся слушала; слушала она и многое другое: стихи декадентов в «Бродячей собаке», диспуты о свободной любви, ссоры пьяных возле казенки, признания правоведов, жалобы горничной Насти — «любит, а загубил», вой балтийского ветра, который бился о чересчур высокие официальные окна помпезного особняка на Мойке. Говорят, что в то время не было больше девушек чистых и пламенных, что недаром сошли все эти «огарки» или «кошкодавы», что очередное поколение вошло в жизнь с червоточиной. Каким же чудом убереглась от этого жившая хоть в холе, но и в запустении дочь добродушного дурака с рапирой? Мальчишки, приготовлявшие для флирта свежие перчатки и стишок, списанный накануне из «Аполлона», шарахались в сторону — «курсистка», «шестидесятница» — так ее называли в сердцах, хоть она и не была вовсе на курсах, а тот же «Аполлон» читала с раскрытой душой, как читали подлинные шестидесятницы Чернышевского.

Полюбила Туся тоже «по старинке», хорошей, полнокровной любовью, без вывертов, без уверток,— «бери»; и так как жизнь ее дотоле была парадна и неуютна, вроде особняка на Мойке, любовь сразу заняла все, потребовала жертв, послушничества, душевного жара. Дело в том, что барон, увидев впервые Сахарова, сморщился, как будто ему поднесли вместо рейнвейна касторки, и бесповоротно заявил: «Лакей. Никогда!» Донельзя легкомысленный, со всеми «пятницами на неделе», он на этот раз проявил редкостное упорство. Здесь не помогли ни слезы, ни засвидетельствованная доктором анемия, ни глухое «кинусь в Неву». Было, видимо, во внешности Сахарова нечто, возмущавшее барона — жидкие усики? или чересчур расторопные глаза? Или, может быть, повадки, одновременно и трусливые и наглые, какого-то настоящего лакея, решившего шикануть в дорогом кафешантане?

Впрочем, легче понять эту брезгливость, нежели чувства Туси, доходившие до старомодного обожания. Мелкокостный блондинчик, с лицом чрезмерно опрятным, как будто столько его мыли, что смыли все:

и глаза, и улыбку, и чувствования,— больше о нем ничего не скажешь. Лакеем, разумеется, он никогда не был, а служил в Международном банке и, не обладая амбицией, знал — точка, жизнь предопределена. О том, что такая жизнь даже скромнику в тягость, знали только балалайка и дешевые проститутки, которым Сахаров за те же деньги врал вволю, говоря, будто он — то знаменитый писатель, то владелец сорока нефтяных вышек.

Теперь лишний раз разведите руками. За что женщины любят нас? Всячески объясняли это, доходили до того, что за беспомощность, за слабость, за дрянность, а правильней всего сказать просто — «приспичит — роди, да подай».

Борьба с отцом длилась долго, чуть ли не до его смерти. Конечно, Туся пренебрегла бы и отцовскими проклятиями, и «положением», но здесь заговорил Сахаров. Хоть красота и пылкость чувств Туси всячески льстили его балалаечному сердцу, он не пренебрегал и монетой. Происхождение и облик подобной жены только отягчили бы всю мизерность существования крохотного счетовода. Услыхав «семья», «бюджет», «дети», девушка не на шутку задумалась. Ее чувства, до того дня невесомые и радостные, как цвет яблони, стали обрастать мясом. Любовь требовала разумности, и Туся перебивала теперь нежные признания сложными выкладками, хитрыми маневрами, планами: приданое, служба, квартира.

Однако Наталья Генриховна была в ту пору еще наивной девочкой, хоть и говорила, что следует «использовать связи папа́». Ах, ей так хотелось гладить светлые волосы ее Ванечки, не думая ни о каком «положении»! В эти годы существует еще, хотя бы в мечтах, простая комната с куском хлеба и с букетиком фиалок. Притом насмешки раздраженного барона над Сахаровым становились все злее и злее. Так произошло решительное объяснение.

— Все равно, папа. Решай. Я выйду замуж за Ивана Игнатьевича, или я с ним убегу.

— За таких, голубушка, замуж не выходят. Если ты настолько испорчена, я его найму в лакеи. Это все, что я могу тебе предложить.

Вернувшись со службы, Сахаров нашел в паршивеньком номере «меблирашек», где он проживал, Тусю с дорожным несессером. Впервые невеста предстала

перед ним вне фантастического окружения денег, знакомств отца, мраморной лестницы особняка на Мойке. Однако он был молод и тщеславен. Он уступил, если угодно — отдался. Так совершился этот доподлинный мезальянс.

Прошло восемь лет. Говорить о том, какие это были годы, не приходится, все мы только о них и думаем, хоть стараемся забыть их: дико и дивно жить на земле с такой памятью.

Да, были и тогда бабьи пересуды, смена времен года, старческое покашливание, но даже эти привычные вещи казались незнакомыми, полными значимости, как резонанс собственного голоса в большом, пустом зале. Нелегко было сменить дочери барона все эти «Аполлоны», вернисажи и Баден-Бадены на заборочную книжку грубияна мясника, на выкраивание из крохотного оклада выходного платья. Над этим умилялись наши матери, говоря мечтательно: «Вот что значит, дети, любовь!» Нам остается взглянуть хотя бы на руки Натальи Генриховны — и усмехнуться.

Женившись, Сахаров бросил службу. Как заласканное дитя, он хныкал: «Что за жизнь!..» Он хотел вправду славы, мраморной лестницы, каких-то придуманных им «вышек». Молодые переехали в Москву, подальше от злых пересудов. Наталья Генриховна переводила с немецкого руководства для агрономов и давала уроки музыки, Сахаров весь день валялся на кушетке, подкрепляясь какао и мечтами: умрет барон, отпишет все Туське, как-никак дочь, тогда — цыганки, котелок от Вандрага, роскошь. После февраля он попробовал было выдвинуться, что-то напевал под нос, рассовывал соседям избирательные бюллетени, уверял: «Отстоим»,— как детский шарик, рвался он вверх к славе. Октябрь снова швырнул его на ту же кушетку. Потом кушетку отобрали. Отобрали и многое другое.

Здесь-то Наталья Генриховна показала себя. Чего только она не делала! Ощерясь, выбегала она утром на мороз, как волчица, у которой в норе голодные детеныши. Она вырывала пайки и жалованье, белый хлеб — эту поэзию Сухаревки — и охранные грамоты. За фунт пшена она объясняла почтительно топотавшим красноармейцам картины Дега и Ренуара, вела класс немецкого, на крыше вагона ездила в Серпухов за картошкой, сбывала бабам, божась и ругаясь, старые лифчики, разносила по редким лавчонкам сахарин,

запрягшись в салазки, таскала с Москвы-реки дрова. Когда Сахарова посадили, она не плакала. Наглухо закрытые двери и те подались перед упорством этой женщины. Она не просила, нет, пренебрегая своим происхождением, более чем зазорным, сахарином, Сухаревкой, она требовала. Освобожденный наконец-то Ванечка ел сгущенное молоко и задавался вовсю: «Я им ответил...»

Наталья Генриховна колола дрова, раздувала печку, таскала ведра. Ванечка становился все белей, ленивей и капризней. Не было теперь на свете балалайки, способной выразить разор и томность его чувств. С женой он усвоил тон ребячливого отвращения: «Ах, опять это пшено с овсом! Не хочу!», «Сядь на стул, ты пахнешь луком», «Я, дурак, думал, что женщина — это вроде птички, а ты пыхтишь, прямо как паровоз. Не лезь! Надоело!»

Однако, несмотря на подобное разочарование, явился Петька. Наталья Генриховна носила его в сугубо тяжелый двадцатый год, и, взглянув на уродливые ручонки без ногтей, Панкратова перекрестилась: «Не жилец». Она не учла готовности и сил матери.

Вскоре подошло облегчение. Панкратов отслужил молебен. Впервые за все эти годы Наталья Генриховна решилась тихонечко всплакнуть. Шляпное заведение «Комильфо» сменило и музейные экскурсии, и сахарин. В заказчицах недостатка не было: «Баронесса сделает...» Жены сидельцев, разбогатевшие мешочницы примеривали здесь первые свои шляпы, кокетливо щурясь и подозрительно ощупывая каркас: нет ли подвоха?.. Это было полно поэзии, как первый бал или первая любовь. «Отделать шелком», «форма — котелок», «итальянский фетр» — прерывались икотой после снетковых щей и расчесыванием боков, где по-прежнему жила исконной своей жизнью фауна Проточного переулка.

Служба Сахарова была, откровенно говоря, пустячной — он должен был собирать объявления для агентства «Связь». Не раз жена ходила за него в разные тресты и управления: ведь он страдал ревматизмом и ненавидел трамвайную толкотню. Он стал «комильфо». Он ухаживал за советскими и полусоветскими барышнями (конечно, с разбором, чтобы не было ни сильных чувств, ни алиментов), ходил к Мейерхольду — послушать фокстрот, по мелочи играл в казино и на бегах,— словом, жил припеваючи. Когда

он рассказывал дома: «Мараскин поет: я погажен, я потгясен»,— рассказывал спесиво, как будто это его, Сахарова, выдумка, мастерица Поленька богомольно приоткрывала свой огромный рот, похожий на плевательницу, а Наталья Генриховна уныло отворачивалась. Уж вправду читала ли она когда-то «Аполлон»? Кричала ли, вся раскрасневшись, «браво» Вере Комиссаржевской? «Отделать шелком», «Смазать Петьке грудь скипидаром», «Выгнать пятнадцать червонцев Ванечке на костюм».

Живем мы и, чего прикидываться, любим жизнь до подлости, а страшна эта жизнь, ничего страшнее не придумаешь. В комнате имелись три зеркала для примерки, и не могла укрыться от них бедная Наталья Генриховна. До чего постарела, подурнела, опустилась! Узнали ли бы картавившие правоведы в этой одутловатой женщине, с расстегнутым лифом и сбитыми волосами, недотрогу-красавицу Тусю? Да может, и эти правоведы стали ей под пару — продают дрожжи на Сенном рынке или, удрав в Париж, моют там трактирную посуду? Не в морщинах, впрочем, дело, не в правоведах. Незаметно оседают в душе нудная суета дней, брань соседей, жестокость и тупость близких, унылые видения Проточного и других переулков. Сначала кажется, что это только пылинки на прекрасной картине юношеских мечтаний: стоит подуть — и они улетят. Но проходят года, тускнеют краски, твердеет пыль, уже не смахнуть ее ничем. Не узнать никому во владелице шляпного заведения мнимой «шестидесятницы».

Сахаров, отдышавшись, перестал даже капризничать. Домой он приходил, когда вздумается, одаривал Поленьку плоскими анекдотцами и к домашним запахам — кухни, нафталина, Петькиных лекарств — примешивал чужой запах духов, которыми душились его часто сменявшиеся любовницы. Квартирант... Когда пробовала Наталья Генриховна жаловаться на Петькины болезни или на неисправность заказчиц: «Вот налог требуют, а денег нет»,— он пренебрежительно обрывал ее: «Неужели ты думаешь, что мне это интересно? С тобой и поговорить не о чем...» Он не кривил душой. Он и вправду забыл ту Тусю. Прикосновения жены раздражали его, как набитая до отказу площадка трамвая — «Гадость!.. Отстань!..». Наталья Генриховна теряла голову. Она грозила ему: «Не дам денег». Он знал — даст. Она пыталась понравиться

мужу: часами перешивала кружева на рубашке — он любит розовенькие,— пудрилась, причесывалась, вспоминала прежние манеры и, сидя в покойном кресле, надменная. становилась вдруг похожей не на Тусю, а на покойного барона, только рапиры недоставало. Иван Игнатьевич, однако, даже не замечал перемены — он нс глядел на жену. Тогда Наталья Генриховна забывала о прошлом, о самолюбии, приниженно ползала вокруг жиденьких усиков, выклянчивала грошовую завалящую ласку, а ничего не выклянчив, накидывала на плечи платок и в нелепом вечернем платье с глубоким вырезом бежала к беззубой молдаванке, которая предсказывала судьбу обитательницам Проточного и знала, как «приворожить».

Петька, когтями отодранный от смерти, мог бы стать некоторым утешением, если бы не его загадочный характер. Дрожит, заикается, доктор говорит «нервозность», может быть, от этого все? Нельзя сказать про него — «лгунишка», это — чудак, выдумщик, карапуз-фантаст, которому уже тесно в Проточном. Вот и сейчас позвала его мать, чтобы отшлепать за рев: «Какой Бубик? Я папе пожалуюсь»,— а он предерзко ответил: «Никакого папы нет. Это ты выдумала». Наталья Генриховна хотела было рассердиться, но не смогла: почему-то вспомнилось ей далекое время, выпускные экзамены. Учебник истории. Ягелло. Ядвига... А кругом петербургская белая ночь. И вдруг — от усталости или от призрачного света, а может быть, от нежного девичества — все становится легким, невесомым, выдуманным. Сказочны и колонны особняков, и пепельная вода Мойки. Кажется, рядом скребется, как мышь, сумасшедший Ягелло из «шестнадцатого билета». Нет ни гимназии, ни «папá», ни рапир, а только грусть, но такая хорошая, такая удачная эта грусть, что Туся улыбается.

Наталья Генриховна разрыдалась громко, глупо, как Петька, вытолкав за дверь приятно озадаченную заказчицу, которая понеслась со свеженькой сплетней — «Сын-то у нее — не от Сахарова!..». С кем было поделиться Наталье Генриховне? Так уж устроен человек, растет боль, растет ожесточение, и вот нет больше сил — хоть прохожего остановить: «Слушай!» Имелась у Натальи Генриховны поверенная, всеприемлющая и немая, как ящик «для жалоб». В который раз слушала дурочка Поленька повесть о высоком

горении юношеских лет, об обманутых надеждах, о трусливом, жестоком и злом герое, который все же герой, ибо не вычеркнешь из памяти таких чувств. Знала Поленька и позднюю мечту Натальи Генриховны, вынянчившей двух отщепенцев,— дочь, женщину, бабу. Петька, тот уже рвется прочь, рвется с маменькиных коленок в проклятый подвал панкратовского дома или еще дальше, бог весть куда, к каким-то Бубикам. Он уже чужой, как Ванечка. А дочь будет своей, в приниженности, в беде. Иван Игнатьевич и слышать об этом не хотел: «Плодить кретинов, вроде мамахен...» (Сахаров любил уязвить Наталью Генриховну немецкой кровью.) Все это Поленька знала в точности, вплоть до «мамахен». Обычно она сопровождала сетования Натальи Генриховны сердобольным «ой ты», но на этот раз, улыбнувшись до ушей, от чего лицо ее, и без того глупое, стало «нарочным», не то клоунским, не то блаженненьким, а потом зашептала:

— Мне от Ивана Игнатьевича сыночка хочется, Ванечку...

Наталья Генриховна вскочила и, без памяти, кинула в Поленьку подушечку с булавками.

— Дрянь! Не смеешь!.. Убью!

Забившись в угол, Поленька испуганно блеяла. Через минуту Наталья Генриховна опомнилась:

— Вы, Поленька, не смейтесь надо мной. Грех это... Ведь я сама вам все выложила как на ладони...

И, вспомнив о своей последней опоре, вконец измученная, она закричала:

— Петя! Петенька! Иди сюда!

Но снизу раздался сиплый лай Панкратовой:

— Нет его. Опять в подвал залез. И не мальчик у вас, Наталья Генриховна, а совершенный бандит.

2

ВСЕ ИЗ-ЗА ОКОРОКА

Половицы абрикосового домика перепуганно мяукали, громыхали двери, истерически билось стекло в буфете. Здесь все мешалось: суровый топот Панкратова, плач, настоящий плач, как на похоронах, его жены, «ой ты» Поленьки, резоны Натальи Генриховны.

Визжал Петька — в суматохе и ему попало: «Не водись с разбойниками!..» Даже кот нервничал,— взобравшись на шкаф, он напряженно помахивал хвостом, готовый закатить оплеуху неизвестному обидчику. Какой переполох! Слезы какие! А все из-за окорока. Ну, хороший, слов нет, двенадцать фунтов, только на прошлой неделе купили, все же чудно это: будто по сыну убивались Панкратовы. Ссорились: «Ты-то, овца, чего смотрела?» — «И смотри, сколько хочешь, все равно слизнут. Я тебе говорила, донести надо...» Задушевно вспоминали сочность ветчины, нежность белого как снег сальца: можно бы сварить, чтобы горячий с капустой, и запечь можно. Еще недавно отнимали у Панкратова и крупчатку, и закусочное серебро, и весь нежно-абрикосовый — он пикнуть не смел, а теперь из-за какого-то «червячка» скрежет зубовный. Хоть и скуп он,— без зажима счастья не сколотишь,— все же не в окороке было дело, а в нижнем, не предвиденном папашей Панкратова этаже.

Уморившись, Панкратов отсел в угол, посыпал лицо пеплом бороды и весь свой гнев выразил в одном слове:

— Журавка!..

Тогда все примолкли. Начался семейный совет. Позвали и Сахарова: хоть Панкратов в душе презирал его — задом виляет, «мели, Емеля», шантрапа,— однако всякие там удостоверения. Сахаров пришел неподобающе веселый, легкомысленно подпрыгивая — модник. Увидев бороду Панкратова, он, однако, подтянулся: дело серьезное.

Если бы мог подойти к окну прохожий чудак в куцем, с чужого плеча пальто, любитель человеческой чепухи, если бы мог он, подышав на стекло, засунуть в прорубь жадный глаз, странную картину увидел бы он: вокруг стола сидят люди, нет здесь ни самовара, нежно воркующего, ни дорогого русскому сердцу графинчика. Отчаянно содрогается лампа, которую забыли впопыхах заправить, горбится и попыхивает зрачками раздраженный кот. Уж не шпионы ли это, не заговорщики ли? Впрочем, ставни у Панкратовых крепкие, а за ставнями шторы, за шторами занавески. Любопытному глазу нечем здесь поживиться.

Начал Панкратов. Он не мялся, не хитрил — можно так, и этак, нет, напрямик сказал:

— Закупорить.

Что же замыслила борода? Темен ночью Проточный, темна его окаянная душа. Спуститесь вниз. Еще ниже. Петька, тот знает дорогу. Не бойтесь — это крысы пищат. А это? Это — люди. И здесь люди, хотя нет здесь ни стола, ни лампы, ни заветной пачки под цветочным горшочком. Можно сказать, пренебрегая грязью, жутким подсапыванием, вонючим тряпьем, что люди именно здесь, а там наверху только злобные призраки, ядовитые испарения наших застоявшихся лет.

Нелегко попасть в это логово. Давно замурована Панкратовым внутренняя дверца, засыпаны и два верхних окна. Непрошеные постояльцы должны ползти ничком, по ими же вырытому узенькому коридорчику. Все уже и уже становится ход. Хорошо маленькому Петьке. Ну, и Журавке... А вот как пролезает тут бывший преподаватель латыни Первой классической гимназии с кудреватым именем Освальд Сигизмундович и с громоздкостью седьмого десятка? Непонятно это, как и непонятно, зачем человеку жизнь, если остаются от нее только попреки прохожих, ноющая поясница, одиночество, да вот эта поганая нора, где даже крысы и те не выживают. А Освальд Сигизмундович, отогревая под рогожей гудящие свои ноги, совсем как Панкратов наверху, улыбался: «Вот живем, живем, кхе»...

Нелегко в такие годы валандаться без теплого угла, без сострадательного сердца, бьющегося по соседству. Ему бы печку, халат с кисточками, стакан чаю и уютную, как мурлыканье самовара, хлопотливость старосветской подруги: спину мазью натереть или же подложить подушку повыше. Одинокая старость паршивой собаки, вот ты глядишь на меня из проклятой берлоги, и я, видавший нищету, горе, смерть,— отворачиваюсь! «Живем, кхе...» В чем провинился старый пес? Лаять ли не умеет по-новому? Или слух ослаб, выпали зубы? Или, попросту, подрос новый помет, молодые псы влажными носами роют землю, прыгают, тявкают? Тридцать лет учил Освальд Сигизмундович мальчишек каким-то «генерис», «ут финале», «инфинитивус», а потом оказалось, что не нужно это никому, ни «инфинитивус», ни он сам.

Быстро развалился отставной преподаватель латыни, быстрее, чем дом на углу Панфиловского. Ставил баллы, получал маленькое жалованьице, пил желудевый кофе. Казалось, крепко засел он в жизни, без него

нет ни больным микстур, ни розам и гадам имени. Остались, однако, и микстуры, и розы, и гады, а Освальда лишили желудевого кофе. Ничего он, говоря откровенно, делать не умел: ни спекулировать паечным сахаром, ни кривить душой. Татарин завязал в узел великолепный мундир, а с ним и апломб. Рука, не раз пугавшая юные души: «Господи, неужели кол?» — протянулась за милостыней, дряхлая рука, темная, сухая, как мертвый лист, мрачно кряхтящий под ногами пешехода: «Кхе, кхе...» Вместо бесстрастных, как звезды, «инфинитивус» и «аккузативус», заглушаемое трамвайной разноголосицей и человеческим стыдом: «Явите такую милость»...

Редко кто останавливался: ведь и милости человеку отпускается скупо — столько-то,— хорошо, ежели хватит ее на своих домочадцев да на роман сентиментального автора. Где же напастись жалости к этим видениям немилосердной ночи? «Работать, гражданин, надо», «Нет мелочи», «Ступайте в собес», «Здоровый, а просит», «Отстаньте!». Так они бродят по темным переулкам, мимо закрытых ставней, мимо закрытых сердец, все эти «инфинитивусы», «камергеры», бывшие титулы, бывшая слава, не выметенный забывчивой смертью человеческий мусор. Только снег скрипит под ногами, снег полей и степей, напоминая, до чего велика наша земля, до чего богата, бедна и страшна.

Освальд Сигизмундович спал, как спят дети и собаки,— калачиком. Он вбирал в себя голову и ноги, а руки же подкладывал под щеку. Это смягчало жестокое одиночество ночи: уютней было от собственного, хоть и скудного, тепла, от запахов старого пиджака и махорки, которыми пропиталось его тело. А проснувшись, он застенчиво улыбался — косому лучу, проникшему сквозь щель в эти катакомбы, Журавке, еще одному дню, подаренному ему щедрой судьбой. Прекрасная улыбка! Не отыскать ее наверху, ни в гнусной обители Панкратовых, ни в других безупречно чистых местах, где утром человек находит любимую жену, хлеб с маслом, завлекательные порывы, письма друзей, труд. Ведь это единственное богатство людей, потерявших все, которые ни о чем не пекутся и ни над чем не дрожат,— вот живу, вижу небо, счастливых и несчастных, свет, снег, слякоть, окурок, кота...

Мелка была жизнь Освальда Сигизмундовича среди единиц и падежей, ничтожны мечты о надбавке или

о пенсии. Нет, не развалился он, а возвысился, вознесся в тот жестокий час, когда шурумбурумщик унес пышные отрепья.

Наверное, это смутно чувствовали дети, угрюмые и злые дети, жившие с ним в подземелье, воришки, сквернословы, пьянчуги, бич Панкратова и Панкратовых, срам нашей столицы, но все же дети, нежные дети, хоть никогда не знавшие ни сказок «о снежной королеве», ни сверкания рождественской звезды, но доподлинные мечтатели, чудаки. Был для них Освальд Сигизмундович, в отличие от других «дядей», у которых клянчились «копеечки», сказочным «дедушкой» — поэтому и пустили его. Ведь ход прорыли они. О старике и Панкратовы не знали. От чужих нору ограждали камни, зубы, когти. Как-то залез сюда выкинутый из «Ивановки» налетчик Хлепин. Его и милицейские побаивались. А Чуб, хотя ему едва пошел четырнадцатый год, не сдрейфил: стеклом изрезал морду Хлепина, так что тот, визжа, уполз восвояси. А вот Освальда Сигизмундовича ребята пустили, даже дали мешок: спи.

Было их трое: враг Панкратова длинноногий Журавка, Чуб, тот, что победил Хлепина, и самый младший, ротозей, белесый, как июньская ночь, Кирюша. Откуда они пришли? Чудом каким выжили? Кто их знает?.. Немало таких на улицах русских городов. То в трамвае жалостливой песенкой и злым полыханием зрачков вытянут копейку-другую, то слизнут у зазевавшейся дамочки сверток, то на Смоленском подберут яблоко, то от сердца, то из кармана, то с лотка. Бывали пустые дни. Тогда Кирюша лежал тихонько и придумывал: бумажник на мостовой, гусь, повсюду огни горят, как представляют в кино, и танцы, чтобы не только люди танцевали, но и лошади, фонари, дом с домом. А Чуб щурился и грыз зубами грязный картуз. Чуб ненавидел людей. Разве пожалеют? Зайдешь в трамвай, сейчас же: «Киш! Растут бандиты!.. Перестрелять их надо!..» Как-то слыхал он, барышня на Смоленском жаловалась: «Беспризорные-то хороши — кусаются, чтобы заразить...» Чем заразить, он толком не разобрал, но, улучив минуту,— было это в Прогонном переулке ночью,— куснул пузатую гражданку, шипевшую «Пошшшел!..» Вот он и «заразил» кого-то своей злобой, сиротством, голодом: «Попробуй, поживи, как мы!» Выручал всю шайку Журавка —

очень был ловок. Недаром Панкратов его ненавидел. Окорок действительно стянул он, и не только окорок — калоши, платок Поленьки, пять фунтов рафинаду,— все на его совести. Брал он с нахрапу. Как-то проходил мимо молочной на Пречистенском бульваре. Видит, сидит толстяк, ест простоквашу и — червонец: «Получите, барышня». Журавка подлетел: «С вас, гражданин, червонец на беспризорных...» Пока тот опомнился, Журавка уж был далеко — у Арбатских ворот. Любил он кутить, стрелять в тире, курил, пил водку, когда перепадало, хвастался, что ходит к бабам, но, по правде сказать, врал. Хотел пойти, приглядел какое-то лохматое чудовище из «Ивановки», однако струсил: «Вдруг оскандалюсь?..» Очень был тщеславен. Все отдаст, лишь бы похвалили: «чистая работа!» Пел. Всегда веселый. Чуба не понимал: «Чего ты злишься?» Кирюшку он жалел: «Боюсь я за тебя! Девчонка! Схватят, ты и раскиснешь! Или сдохнешь с голоду». За себя Журавка был спокоен. Бахвалился: «Чего тут? И не то видали. Воевать пойду. Какая-нибудь война да будет. Из меня такой Буденный выйдет, что только держись!..»

Вот с кем сожительствовал отставной преподаватель Первой классической гимназии. Здесь он впервые узнал, что такое детство, хотя всю жизнь провел среди детей. Он не пробовал объяснять ребятам, что такое спряжения, и не пугал заспанного Чуба переэкзаменовкой. Как-то получив от иностранного журналиста двугривенный, он купил друзьям ириски. Часто и они его подкармливали — то булкой, то сливами. Говорил с ними Освальд Сигизмундович мало — не знал о чем, все больше улыбался: «Кхе, кхе...» Когда же от молчания коченел язык и обмирало сердце, он начинал вслух спрягать безумные, никаким законам не подчиненные глаголы. Ребята молчали. Крыса, сдуру высунувшая нос,— нет ли чем поживиться? — убегала, расстроенная человеческим голосом. Кирюше слова нравились — звонко и непонятно — «герундии», «императивус». Это было настоящей сказкой. Наверное, старик заколдовывает все, чтобы обратился Панкратов в лягуху, а тумбы в Проточном в красавиц дочерей. На младшей Кирюша обязательно женится. Журавка тоже увлекался: гудит. Он мечтал о барабанах, о свисте пуль — война, бандиты, налет. Даже угрюмый Чуб и тот бормотал: «Дедушка-то наш молится. Дурак

он, а добрый». Освальд Сигизмундович, выпрямившись и глядя прямо перед собой, продолжал: «Перфектум». Игра звуков, бесцельная и вдохновенная, мелодия далеких веков в этом смрадном подвале наполняли его сердце сладостью и благоговением. Он был счастлив высоким счастьем поэтов.

Петьку ребята перво-наперво вздули. Но, присмотревшись, обмякли, стали пускать его к себе, даже жаловали. Он был «оттуда». Это им льстило. Журавка давал перебежчику орехи и добродушно поддразнивал: «Что, опять набили? А ты ее, мальчик, зубами!..» Ходил сюда Петька не ради орехов, не ради Журавки. Он полюбил темноту, полную опасностей, и Кирюшу. Здесь можно было выдумывать вовсю. Кирюша верил в «Бубика»: «А какой он? С шерстью?» — «С шерстью и летает».— «Высоко?» — «До неба, а оттуда яблоки скидывает».— «Яблоки?» — «Ну да, яблоки, у него под мышкой яблоки растут».

Как-то Петька попал на «представление» — «дедушка» говорил непонятные слова. От восторга его пронял озноб. Впервые он увидел, что большие могут тоже «выдумывать». Стоит и говорит. Вот бы его мама отшлепала!.. Да нет же, куда тут — разве такого можно отшлепать? Он старый, старее мамы, старее всех,— значит, он самый умный. И ничего такого нет, все «представляет». Петька, не в силах сдержать себя, обнял ноги Освальда Сигизмундовича и начал тоже выкладывать непонятные слова: «табабус», «чундум». Невыразимой радостью преисполнилось тогда сердце старого преподавателя: не было у него ни детей, ни благодарных учеников, никого; впервые вдохнул он в чужую душу восторг и ужас древнего звучания. Он поднял Петьку, торжественно сказал: «Футурум», и поцеловал: «Кхе, кхе, живем...»

В этот вечер, однако, Петьки не было. Забившись в угол, горя и фыркая, как кот, он присутствовал при семейном совете. В этот вечер не было и «герундиев». Внизу, как и наверху, героем являлся розовый окорок. Наверху его оплакивали, внизу его пожирали. После пяти дней, когда не было и хлеба, окорок казался волшебным, как сны Кирюши. Молча пировали, сосредоточенно, боясь обронить кусочек сала. Только Журавка не вытерпел:

— Что-то там теперь делается? Кричат караул!..

Но наверху, как мы знаем, было тихо, слишком тихо. Важно, степенно, с расстановкой изложил Пан-

кратов свой план: закупорить. Ночью банда спит, ночью пуст и глух Проточный. Ход следует завалить снегом, а поверх обдать водой. Мороз нынче, слава богу, крепкий. Сахаров попробовал было возразить:

— Может, лучше сначала в район сходить? Так сказать, на законном основании...

— Нет уж, увольте. «Их» в дело нечего вмешивать. Потом хлопот не оберешься. Аршином все обмерят — воздуху чересчур много. Или же с налогами. Тут уж и удостоверения ваши не помогут. Кто же это зовет волка на свой двор? Дело семейное. Вот вы лучше с Натальей Генриховной посторожите, чтобы не прошел кто мимо.

Наталья Генриховна одобрила. Да, эта преданная жена, любящая мать, плакавшая в свое время над «Оливером Твистом», мечтающая о нежной дочурке, одобрила: закупорить. Сколько их там? Трое? Пять? Восемь? Разное говорили. Все равно. У Натальи Генриховны с ними свои счеты: у Панкратова они выкрали калоши и ветчину, а у нее отняли сына, Петьку. Если их не уничтожить — совсем мальчик отобьется, пропадет, гляди — уйдет с ними. Ответил же он как-то Наталье Генриховне, которая, вспомнив свою молодость, размечталась: «Я тебя к семилетке подготовлю».— «Нет, я уж лучше с Кирюшей в Крым уйду». Жестокость расправы не останавливала ее: все хороши, разжалобишься, а он тебя укусит, нечего слюни пускать. Разве ее кто-нибудь пожалел?.. Она отстояла Петьку от смерти, она отстоит его и от этих разбойников. Правильно: засыпать.

Сахаров больше не протестовал. Он только вежливо уклонился от работы:

— Мне, извиняюсь, на рандеву нужно. Дельце маленькое. А вы уж как-нибудь без меня.

Он ушел. Увидев, что раскрылась дверь, вслед за ним выскочили Петька и кот: видимо, надоело им фыркать в углу. Дурочка Поленька, та позже всех сообразила, в чем дело. Уж Панкратов, перекрестясь, сходил вниз за лопатами, когда она вдруг взвизгнула:

— Ой ты, ведь задохнутся они!..

Панкратов цыкнул:

— Молчи! Узнают они у меня, как это окорок красть...

3
СУМАСШЕДШИЙ КУСОЧЕК, КОМИЧЕСКИЙ КУСОЧЕК

Наискось от абрикосового домика, на углу Проточного и Прогонного переулков, в настоящем и проточном, и прогонном дворе жили люди, если верить шушуканью соседей, подозрительные. Квартира № 6 была на плохом счету. Чем провинились ее обитатели? Мылись ли слишком часто? Или читали «Правду»? Или мало якшались с почтенными тузами околотка, хотя бы с тем же Панкратовым? Хозяина Лойтера, занятого правкой безопасных бритв, валили в одну кучу с жильцами. Панкратов уверял, что это не иначе, как «гипиу», другие сбавляли — «комчики». А жулье из «Ивановки» опасливо косилось — «легавые». Диву даешься, откуда все это люди придумывают? Стоит только чихнуть, гляди уж — не то «арап» ты, не то шпион. Проживали в злополучной квартире, кроме Лойтеров: советская барышня по фамилии Евдокимова, Прахов, мелкий журналистик из «Вечерней Москвы», да мой приятель Юзик, который играл на скрипке в киношке,— люди без блеска, без талантов, самые заурядные личности.

Когда я был моложе, мне нравились герои с крупными страстями, с диковинными чувствами. Занимали меня тогда пороки, позы и похождения. А теперь меня не удивляют ни игра воображения, ни сила характера, ни отвага. Я скучаю среди пышных картин Кавказа и среди величавости морских вод. Только серая наша природа, все эти захолустные лесочки, небо скромное, как сирота, и люди скромные, ничем не примечательные, еще способны растрогать мое сердце.

Юзик! Где ты сейчас, глупый горбун? Играешь очередной вальс в «Электре»? Или, кончив работу, смотришь на бледные звезды северной ночи? Я знаю — ты хитришь, Юзик, ты хочешь что-то вычитать на небе, а ведь небо далеко, и жить мы должны здесь, на земле, вот в этом Проточном...

Юзику приходилось судить, утешать и думать, думать за квартиру № 6, за Проточный переулок, за всех.

Ведь к нему, именно к нему, а не к Прахову, хоть Прахов писал в газете, прибегала, запыхавшись, гражданка Лойтер:

— Вы слыхали, на сколько нас обложили? Теперь скажите мне — почему вы делали эту революцию?

Юзик задумывался. Он никогда не отвечал сразу.

— Я ее не делал. Я жил тогда в Гомеле, и я играл в ресторане «Конкордия» на скрипке. Но я тоже кричал «ура». Хотя у меня нет настоящих мыслей, а только горб, я тоже кричал. И я смеялся. Я думаю, что все тогда делали революцию. Вы тоже делали революцию, мадам Лойтер. И тот, кто обложил вас налогами, он тоже делал революцию. А почему мы ее делали? Этого я не знаю. Почему делают детей, мадам Лойтер? Наверное, потому, что у людей маленькая голова и большое сердце.

Философия Юзика никому не нравилась: она пахла провинциальным луком и безропотностью старой «черты оседлости». А в Москве люди хотят удачи. Гражданка Лойтер, раздосадованная, кричала:

— Вы говорите глупости, Юзик. Смешно! Когда они здесь поставили сто шестьдесят, вы хотите меня утешить такими разговорами...

Она звала его «Юзик», хоть не был он вовсе ее родственником; так уж пошло — Прахов, Таня Евдокимова, швейцар «Электры», даже мальчишки из Проточного, когда, насмехаясь над горбатым чудаком, они гнусили сочиненную анонимным автором песенку:

У жида Юзика
На заду пузико,
Несет Юзик муку к празднику,
А получит в задницу.

Юзик не обижался на ребят; ласково улыбаясь, он бормотал: «Да, да, сюда и получу, конечно же, сюда...»

Он не был вовсе жалок, этот крохотный урод из анекдотического «Гомель-Гомеля». Горб свой он умел носить величественно, как носили астрологи дурацкий колпак. Хоть и говорил он, что нет у него «настоящих мыслей», он был доподлинным философом Проточного. Он один догадывался, среди выбитых зубов и ленивого копошения щей, что не так уже мелок этот всеми презираемый переулок, что живут в нем люди сухие и темные, как струны скрипки, из которых можно извлечь все вальсы, все слезы, все звуки мира.

Пять лет тому назад он приехал сюда, оставив в далеком Гомеле затравленное детство калеки, который плакал в сторонке, пока его сверстники катали

орехи, оставив пустую синагогу,— «Зачем молиться? — говорили старые евреи,— если из улья вынули мед, а из нас радость»,— и тихую, как беспамятство, могилу. Вместо чехарды он получил горб, а вместо материнских ладоней — кладбищенскую крапиву. Он мог бы ожесточиться. Он привез в Проточный старую скрипку, две смены белья и такую нежность, что Прахов, увидев его, обмер, бросил на пол недокуренную папиросу и в сердцах сказал Лойтеру: «Почему его не посадят в сумасшедший дом?»

Так многие думали. Услугами горбатого чудака, однако, никто не гнушался. Забегала Таня:

— Вы, Юзик, кажется, сейчас ничего не делаете? Сходите, миленький, в библиотеку. Вот книги. Возьмите Бухарина «Экономику», что-нибудь Сейфуллиной и еще новенькое, ну, вы там посмотрите — на что больше запись. А то у меня сегодня столько работы.

Юзик играл в «Электре» вечером. Днем он, вправду, ничего не делал, разве что думал, но это не дело, это глупости, за это сажают в сумасшедший дом. Вернувшись из библиотеки, он раскрывал наугад книгу. Прочитав первую же фразу, он задумывался. Поэтому он не мог дочитать до конца ни одной книги. Таня выговаривала ему:

— Вам, Юзик, старье подсунули. Эта третья книга мне ни к чему.

Юзик виновато улыбался:

— Вы, может быть, еще раз прочтете ее, Татьяна Алексеевна? Второй раз гораздо интереснее. У меня есть одна книжонка, я ее читаю каждую ночь. Я не знаю, кто написал это — может быть, Бухарин, Сейфуллина, я ведь не учился в гимназии, а первая страница отодрана. Это совсем не обыкновенная книга. Я читаю ее, и я плачу, и я смеюсь как сумасшедший. И мне хочется сказать человеку, который сочинил эту книгу: «Вы большой умник, вы все видели, вы все понимаете. Я знал умников. У нас в Гомеле был один умник цадик, и он умер. И один умник коммунист, он секретарь Гомельского комитета. Но вы не только умник, вы — святой человек. Видно, что вам плохо живется, как нам здесь в Проточном, но вы не кричите, не ругаетесь, вы себе пишете книгу, такую книгу, что я, глупый Юзик, смеюсь и плачу». Ах, Татьяна Алексеевна, вы только послушайте, что я вчера прочел: «Много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взя-

тую из презренной жизни, и возвести ее в перл создания». Вы понимаете, куда он прыгает, и что это за штучка?..

Таня снисходительно морщилась:

— Глупые книжки вы читаете, Юзик. Кто теперь говорит «перл»? Это ювелир, а не писатель. Вы должны усвоить методологию...

Что такое «методология», Юзик не знает. Это, вероятно, особый язык, на котором следует говорить с Таней. У Юзика есть что сказать взыскательной соседке. Но как?.. Нет у Юзика для этого подходящих слов. Если Тане не нравится «перл создания», то какие же слова он может придумать? Другие евреи умеют говорить. Старые еще помнят слова пышные, как храм Соломона, слова, которые пахнут гвоздикой и звездами, а молодые, что же, и молодые не молчат, они говорят: «платформа», «директивы». Конечно, у Юзика — скрипка. Может быть, ничего не говорить Тане? Может быть, сыграть ей один сумасшедший кусочек, который Юзик играет, когда на полотне несчастные люди, не горбатые, нет, расписные красавицы, ломают руки, плачут, потому что у них большие чувства, а слов нет, как нет их у Юзика?..

Но Юзик никогда не играл Тане этого «сумасшедшего кусочка». Он играл ей вальс, где столько грусти, сколько надобно девушке, чтобы немного помечтать, он играл и модный фокстрот: пусть смеется.

Таня слушала, Таня смеялась. Она видела карие глаза, добрые глаза преданной собаки. Она видела горб. Она говорила: «Юзик со всеми добрый». Откуда ей было знать, что там за карими глазами, за нелепым горбом? Ведь это только любимый сочинитель Юзика умел возводить презренную жизнь в какой-то старомодный «перл», а Таня не была сочинителем. Была она обыкновенной девушкой, любила диспуты в Политехническом и фокстрот, стихи «Левый марш» и губную помаду поярче. Перенявшая от своего века две-три несложных идеи и комсомольскую кепку, она сохранила в сердце наивный жар ее бабушек, которые «ходили в народ», любя, забывали все, шли на каторгу или затворялись в монастыри, которые целовались среди милой нашему сердцу черемухи как простушки, а погибали как героини, обыкновенная русская девушка; вот такой была прежде и Наталья Генриховна, хотя не чета дочери барона тульская мещаночка. Душа горбатого фантазера была Тане невдомек.

Юзик засыпал под утро, спал он мало и часто просыпался, вскакивал, бегал по комнате, смешно шлепая калошами. На лице его бывало тогда почти комическое недоумение: все мешалось в голове, плотность сновидений, призрачность дневного света, пропущенного сквозь шторы, и уродливая тень крылатого зверя, отражаемая длинным зеркалом. Иногда он раскрывал футляр и дергал струну скрипки. Скрипка в ответ томительно стонала, и сосед Юзика Прахов яростно стучал в стенку:

— Не сходите с ума, или вас выселят!

Это случалось после того, как Юзик во сне беседовал с Таней. Он говорил ей о своем сердце, о парке Паскевича в Гомеле — поля, большая река и песок, — о том, что из улья нельзя вынуть весь мед, о радости жить рядом с Таней. Пусть она любит другого — у Юзика горб, Юзика не стоит любить, пусть она выйдет замуж за красивого и благородного героя, за одного из тех, что показывают в «Электре». Пусть она будет счастлива. Он ничего не хочет. Он радуется тому, что он ее видел. Этого никто не может отнять даже у смешного урода. Он узнал в жизни не только горе Проточного переулка. Он узнал не только ум двух гомельских умников и чудные речи неизвестного сочинителя. Он узнал Таню.

Он говорил во сне смело, без запинки, не стыдясь слов. Слова эти были высокими и пронзительными: «Перл создания!», «О, моя свежесть!», «Жар вдохновения»... Но Таня не смеялась. Ласково гладила она уродливый нарост, и вот больше не было горба. Вместо него шумели большие крылья. Юзик взлетал. Он летел и плакал от умиления, он летел над Таней, над Проточным, над всеми, кому спится и кому не спится, летел и плакал. А потом он падал, просыпался, всовывал ноги в калоши и бегал из угла в угол.

Так протекали ночи и любовь Юзика.

Даже Прахов, слыхавший часто ночные вскрики скрипки, ни о чем не догадывался. Прахову было недосуг догадываться: он должен ежедневно выгонять полтораста строк для газеты, набрехать то о модах для «Женского вестника», то о светосильной оптике для «Советского фото», то о собаководстве для «Красного охотника», хоть он ровно ничего не понимал ни в линзах, ни в вельветине, ни в ушах сеттеров. Хотел человек жить — ужинать в клубе «Друзей культуры», корректно одеваться, ездить иногда на бега, провожая

из театра знакомую, не дрожать при мысли: «А вдруг трамвай пропустим?..» Он хотел даже дарить дамам, гражданкам, товарищам — словом, особам женского пола — большие пунцовые розы, мерцавшие за мутными стеклами цветочных магазинов. Это может показаться неправдоподобным. Однако, ежели существуют в Москве и розы и женщины, то почему бы и не помечтать вот такому, вдоволь легкомысленному юноше о букете, бережно закутанном на морозе, как нежные признания? Но на собаках и на прочем не раскутишься. Далеко за полночь Прахов все корпел над листками. Когда же буквы становились загадочными, вроде клинописи, и он сам переставал распознавать их тайный смысл, он читал ненаписанное: через год Борис Прахов будет первым фельетонистом Москвы, ему будут платить двадцать червонцев за коротенькую статейку, он поедет в Крым, Персию и Париж, в него влюбятся все артистки «Студии»; он, конечно, не отвергнет их нежных чувств, но прежде всего он побежит к ней. К кому же? Она не артистка «Студии». Ее фотографии не выставлены на Петровке, и ей не подносят пунцовых роз. Это обыкновенная советская барышня. Она стучит на машинке: «Настоящим подтверждаем...» Она... Ты слышишь, Юзик?..

Юзик знал о мечтах Прахова. Он не понимал только ветрености Прахова: когда рядом Таня, как может тот вешать на стенку карточки разных актрис и проводить ночи у секретарши «Женского вестника»? Прахов ворчал: «К ней и подступу нет». Что же, пусть подождет, ведь Прахов не Юзик, у него нет горба, Прахов высок и представителен, он может быть хорошим мужем. Юзик не верил в любовь Прахова, такая любовь хороша для актрис, Таня от нее погибнет. Разве можно любить мимоходом — купил папиросы «Наша марка», пошутил с встречной дамочкой: «Ну и глаза у вас, гражданка, что надо — пронзили»,— развернул газету — какая кобыла пришла первой, здесь и кино, и выудить аванс, и кассирше Мане купить поддельный «Ориган» — дура не разберет,— и любовь здесь же — Таня, видите ли, ему понадобилась, Таня, о которой Юзик и во сне не смеет мечтать! Хорошо пишет неизвестный сочинитель, а вот Прахов пописывает, что теперь носят короткие комбинации, потом, что надо поднять производство, потом, что лисиц лучше всего выгоняют из нор шотландские терьеры, и на все это ему наплевать. Нет, Прахов не любит Таню!

Жили соседи мирно, даже приятельствовали. Юзик и Прахова выручал — то сбегает в редакцию, то перепишет набело статейку, то выудит из старой «Нивы» описание охоты на барсуков. Таковы были нравы квартиры. Лойтеры, те только и знали: «Юзик, может быть, вы сходите на рынок за молоком для Осеньки?», «Юзик, дорогой, посидите с Раечкой, я иду в Охотный...» Прахова Юзик жалел — были бы у него деньги, разве стал бы он писать о каких-то терьерах? Он писал бы о своих актрисах и был бы счастлив. Хорошо, когда люди счастливы, когда они смеются, женятся, едят вкусные блюда, говорят комплименты, когда они друг друга любят, когда кругом тебя такая радость, что даже терьеры из «Красного охотника» и те улыбаются. Ах, граждане, граждане, чего недостает нашему Проточному переулку — это чуточку счастья! Если бы Юзик выиграл сто тысяч в лотерею, он отдал бы деньги Прахову. Он знает, чего кому хочется: Лойтерам — квартиру побольше, тесно им здесь; Тане — благородного героя, как в американской картине; Прахову — денег, а Юзику? Юзику хочется, чтобы все у всех было.

Да, деньги Юзик отдал бы Прахову, но не Таню. Здесь-то у них и начинались размолвки.

Прахов жаловался:

— Шут ее знает, как ее заговорить! Баба хоть куда, а лежит без толку.

— Вы очень глупо рассуждаете, товарищ Прахов. Татьяна Алексеевна вовсе не актриса. Вы хотите жить в свое удовольствие, и живите. Но почему вам нужно, чтоб она обязательно плакала? Почувствуйте, что вы ее любите, но не так, как ваших актрис, а чтобы все в душе горело, скажите ей — у вас тогда найдутся замечательные слова,— возьмите ее за руку и пойдите с ней вместе через всю жизнь. Тогда я соглашусь с вами: товарищ Прахов любит Татьяну Алексеевну.

— Вы, Юзик, отстали. Мораль-то у вас дедушкина.

— Этого я не знаю. Я никогда не видел своего дедушки. А от вашей критики мне только смешно. Вы думаете, если была революция, значит, можно обижать одинокую девушку? Пусть я буду самый отсталый, но я скажу вам, что нельзя жить между прочим. Нужно подумать. Здесь не ваши «строчки». Заставить плакать — это каждый может, а вы заставьте ее улыбаться.

— Ах, Юзик, видно, что вы женщин не знаете! «Любовь»... На самом деле все много проще: сначала говорят нежные вещи, потом спят, а потом расплачиваются, как — это не важно: жена — на иждивении, то есть помесячно, не жена — подарочек, ну, колечко какое-нибудь, словом, построчно. У меня нет времени для нежностей, и денег у меня тоже нет. Вот и все. Выиграю на бегах, тогда посмотрим. Вы что думаете — ей без мужчины весело? Так только, фордыбачит...

Здесь Юзик терял философское свое спокойствие... Он начинал смешно топать маленькими ножками, похожими на копытца; трясся, как зловещая поклажа, горб. Голос звучал визгливо — Прахову вспоминались ночные вскрики скрипки.

— Молчать! Вы — пачкун, и вы думаете — все пачкуны? Вы пачкаете бумагу. Вы все пачкаете. При чем тут деньги? Можно купить папиросы. Это я понимаю. Это плохо, но это так. А счастья нельзя купить. Оно не продается, товарищ Прахов. Идите к вашим красивым актрисам и оставьте меня в покое. Мне нужно разучить для новой программы комический кусочек.

Прахов уходил: «Ну и чудак! На что он обиделся?» А Юзик действительно брал скрипку и начинал играть попурри из «Веселой вдовы». Впрочем, выходило это настолько печально, что гражданка Лойтер кричала:

— Юзик, перестаньте! У меня от вашей музыки вся душа выворачивается, а мне нужно выстирать детский костюмчик...

4
«ВОЛЕЮ АДСКОГО ДУХА»

Странно подумать, что сейчас в Москве сугроб на сугробе, носу не высунешь, а в Ялте цветут пунцовые розы, и уж наверное кто-то сейчас умирает, всеми позабытый, на больничной койке, а кто-то смеется, пьет вино, целует женщин. Так было и в тот вечер. Пока Панкратов, поднатужась, заваливал снегом ненавистное ему логово, мирной жизнью жила квартира № 6. Гражданка Лойтер оплакивала ботинки Осеньки: «Слыханное ли это дело? Заплатить три червонца, чтоб они через две недели продрались!» Осенька безмятежно спал, он видел во сне больших слонов, тетю Соню

и халву. Прахов вяло колол пером лист. Ему заказали сто строк о беспризорных. В который раз перечитывал он: «Беспризорные знают, что...» Что знают беспризорные? И что знает о беспризорных Прахов? Они вытащили у него в трамвае выдвижной карандаш и кашне. Надоело!..

Юзик свободный понедельничный вечер заполнял чтением любимой книжицы. Сегодня сочинитель пугал Юзика. Он говорил о женщине, прекрасной, как Таня: «Она была какою-то ужасной волею адского духа, жаждущего разрушить гармонию жизни, брошена с хохотом в эту страшную пучину». Взволнованно Юзик подбегал к окну. Он как бы искал защиту у сугробов и звезд.

Юзик хорошо понимал страшные слова. Он знал, что «адский дух» навещает и Проточный переулок. Это он заставляет женщин истошно кричать среди ночи. Он вытаскивает из голенищ ножи. Он шуршит проклятыми червонцами. Прошлой осенью молодая швея из квартиры № 11 утопилась в Москве-реке. Юзик помнит, как смеялся тогда ее сожитель. Или, может быть, не он смеялся, а вот этот «адский дух»? Где же сейчас он? Кого выслеживает? Белели сугробы, косные, как мысли. Наискосок копошился Панкратов. Юзик, однако, его не видел.

В соседней комнате, не думая ни о каком «адском духе», Таня примеряла новое платье: идет или не идет? Была она очень возбуждена, не могла усидеть на месте, то раскрывала книжку, хотя буквы кружились и метались, то глядела на часики, то подбегала к зеркалу опять с этим: идет или не идет?..— то вслух смеялась и без какой-либо причины — от волнения, то так печально вздыхала, что казалось, предчувствует она не выразимое словами горе. Не мудрено: Таня ждала одного человека, чье посещение должно было многое порешить в ее жизни, человека, в нее влюбленного, хоть и женатого, которому она позволила прийти в столь поздний час. Любила ли его Таня? Трудно ответить на это. Новичок в сердечных делах, она путалась: ну, да, он очень милый... Однако мало ли «милых»? Почему она прогнала Прахова, когда тот мимоходом ее обнял? Как разобраться во всей этой путанице? Правда, он застенчиво улыбнулся, увидев впервые Таню. Говорил он с ней серьезно, не о любовной бестолочи, нет, о книгах, о театре. Он был с ней

в кино на «Потемкине». Не приставал. Сказал с видимой взволнованностью: «Не правда ли, очень сильное впечатление, когда кидают в воду?..» У него жена. Значит, это драма. Значит, это подлинные чувства. Нет, не то! Не в «Потемкине», не в жене дело. Но разве знала Таня — в чем?

Вот поднес ей мальчик в матросской шапке билетик: «Тяни». Она закрыла глаза, пробует отшучиваться: «Вытяну счастье»,— а у самой дрожат пальцы, и долго они не могут развернуть бумажку. Таня видит цифры, много цифр. Разве счастье такое? А кругом сослуживцы смеются: «Вы, Евдокимова, петушка выиграли»,— и мальчишка преглупо дует в глиняную свистульку: «Фью, фью...» — «Не хочу петушка!» Но второй раз тянуть нельзя. Таня всхлипывает. Что это? Неужто она задремала? Стыд какой! Сейчас он придет...

Главное — нужно решиться. Без этого нет свободы. Все время об этом думаешь. Нужно полюбить, хоть по заказу, чтобы вовсе не думать о любви — ходить на службу, слушать лекции, читать хорошие книги, чтобы жить правильной мужской жизнью, без этих горячих снов, тревожных просыпаний и пестряди «да?» — «нет?». Все подруги Тани давно перешли через это. Они сходятся и расходятся, как будто танцуют, без надрыва, разве что немного всплакнут или на радостях перепутают листы протоколов. Значит, это не страшно. Вот и на диспутах все говорят об этом просто, как об обеде: организм требует столько-то углеводов, столько-то жиров. А муки любви, а поэзия, а огонь, пожирающий души влюбленных,— все это слова, запоздалые видения иной эпохи, пышные и мертвые, как золото иконостаса. Таня хорошо помнит, что все это — «упадничество». Так выразился один умный лектор и, глядя на аудиторию, на Таню, на сотни Тань, чьи пухленькие губки образовывали одно доверчивое «о», сардонически усмехнулся: «Подобные настроения только заслоняют очередной лозунг...» Он правду говорил. Нужно работать. Нужно жить мозгами. А для этого нужно решиться.

Сейчас он придет. Сядет. Заговорит. Какое у него лицо? Таня вдруг перепугалась: она не могла вспомнить его лица. Глаза, кажется, светлые. И усики. Она перечисляла все приметы, но не видела их. Перед ее глазами вращались общие и сугубо бездушные формы:

циферблаты часовых магазинов, прически парикмахерской, куда она ходила стричься, фотографии демонстрации, снятые с балкона: муравейник! «В толпе я б его не узнала...» И снова Таня в изумлении спрашивала себя — почему он? Почему не заведующий конторой Воронин? Почему не Прахов? Почему не все эти свистуны и горлодеры Проточного?

Тогда она уступала мечтам, только что ею же высмеянным. Робко спрашивала она себя: «Может быть, я люблю его?» — и это слово как бы перестраивало орга́н ее чувств. Душа звучала по-иному. Вместо умных лекций теперь вспоминались стихи: «Грубым дается радость, нежным дается печаль...» Как хорошо это сказано! Вот у Юзика горб. И Таня не хочет радости. Она хочет быть тихой, нежной, затеряться среди жизни, любить пламенно и незаметно, утешать, миловать, если не возвышать, то хоть радовать встречных, как радуют бродягу вздорные васильки среди золота колосьев. Она вовсе не хочет жить «по старинке», как дразнит ее Прахов. С жадностью она читает новые книжки, с готовностью работает и учится. Ей хочется быть «шкрабкой» где-нибудь в глухой деревне на околице России. В жалких избенках, среди снегов и распутиц, безвестные люди строят нашу страну. Об их судьбе мечтает Таня, хоть и любит она поспорить — «Камерный или Мейерхольд»,— потанцевать, побродить по Петровке, где огни, магазины, автомобили, веселая праздничная суматоха. Таня вся с новыми. Но не меняет это звучания чувств, и сейчас она тихо повторяет: «Нежным — печаль...»

Таня нервически вздрогнула: но ведь это смерть, с этим нельзя жить, и тот, кто сказал эти нежные слова, тоже умер! Он умер в унылом «номере», и номерной стер губкой его весеннее имя с доски постояльцев. Таня видела его лицо, примятое, трогательное в своем недоумении, как трава бульваров, на которой играют дети и умирают нищенки. Неужели и Таня должна так же умереть? Она подбежала к окошку. Хлопочет где-то Панкратов. Делят выручку воришки. У соседнего окна трепещет перед «адским духом» Юзик. А Таня видит только снег, хороший, мохнатый снег. От снега ей становится весело, очень весело, как в детстве. Кто выдумал, что нужно жить в Италии, среди пальм и прочего? Вот уж не променяет Таня сугробов Проточного на какие-то пальмы! Сколько здесь радости, свежести — салазки мальчишек, воро-

бьи, румянец, вся гордость сердца: «Ну и стужа!..» Да, это не пальмы, это наша чистая, как сердце Тани, зима, настоящая московская зима!

Ненадолго хватило и веселья. Что же он не приходит? Одиннадцать. Наверное, занят. Теперь все заняты, все спешат: служба, заседания, доклады. Может быть, это и к лучшему? В жизни, заполненной делом, нет времени для глупых фантазий. Фантазировать стыдно. Нужно жить. Но жить труднее, чем фантазировать, и Таня не знает, как жить. Девочкой она все дни просиживала над переводными картинками. Все здесь тускло и смутно, пока не отдерешь осторожно бумажку и не засверкают огромные розы, синие береты, трава. А дальше? Скучно ведь глядеть на береты, надо выпрашивать у мамы пятачок на новые картинки. Вздор! Вздор все — и картинки, и стихи, и мечтания у морозного стекла. Нужно жить, не теряя ни часа. Записаться на курсы социальной психологии. Ходить на собрания культкомиссии. Завести побольше знакомств. Но почему ей уже не хочется жить? И Таня думает: старость. Она подходит к большому зеркалу и против воли улыбается: ну, какая же может быть старость в девятнадцать лет? Не без кокетства она оправляет короткие, в скобку стриженные волосы и снова с легкой досадой вспоминает: «Я ведь для него сшила это платье. Почему он так опаздывает? Может быть, я ему вовсе не нравлюсь? А ведь я...— и Таня недоверчиво осматривает вторую Таню, ту, что в зеркале,— а ведь я могу нравиться...» Перед ней — высокая, узкоплечая девушка с чересчур длинными ногами. Черты лица неправильны, чуть вздернут нос, пожалуй, рот мелок, а глаза большие и, вразрез с черными волосами, светло-синие, на всем какой-то туман, призрачность. Бывают такие дни у нас на севере ранней весной — оттепель, легкий пар, едва окрашенное небо, и не то печаль, не то радость, скорее всего, недоумение, струя холодка робко льется через форточку — со сна говорит природа, и со сна отвечает ей человек. Таня продолжает улыбаться, но теперь эта улыбка растерянная. Она не нравится ему. Не пришел. Тогда раздается звонок.

Дверь открыл Юзик, и Юзик сразу все понял: он хорошо знал обитателей Проточного. Вежливо поздоровавшись, Сахаров пригладил маленькой щеточкой усы и, бочком, по узкому коридору прошел в комнату Тани. Там он церемонно присел на краешек табурета.

— Простите, запоздал. Все дела — ревизия нагрянула, отчеты. А ведь не может человек жить одними сухими идеями. Я не знаю, видели ли вы «Медвежью свадьбу»? — там есть нечто такое...

Махнув неопределенно рукой, Сахаров встал, малость потоптался на месте, поглядел на часы: половина двенадцатого, посмотрел на дверь — кажется, заперта, — и деловито, хозяйственно обнял Таню.

Юзик не вернулся к себе. Он прошел к Прахову; тот все еще пыхтел над беспризорными.

— Товарищ Прахов, случилось ужасное. Я только сейчас понял, что такое «адский дух»...

Прахов рассердился: и так ничего не клеится, а тут еще этот горбатый Спиноза со своими фантазиями! Он прикрикнул:

— Не сходите с ума!..

— Я все понял, и я не сошел с ума. Вы думаете, что этого духа нет, если нет рогов? Он может быть вовсе не с рогами, а с усиками. Он может не хохотать, а ходить себе тихонечко на службу.

— У меня, Юзик, и без ваших разговоров трещит башка...

— А у меня болит сердце. Он рядом. Вы понимаете, он у Тани. Я его знаю. Он живет у Панкратовых. Это Сахаров. Это самый низкий человек Проточного. Перед праздниками он попросил у меня контрамарку. Я дал. Но мне было противно в тот вечер играть. Я все время фальшивил. Я стыдился своей скрипки: как можно заставлять ее откровенничать перед такой низкой душонкой! И вот этот самый Сахаров сидит у нее...

Прахов болезненно поморщился, скомкал лист бумаги и выругался похабно. Видимо, вправду нравилась ему соседка.

— Кто был прав, Юзик? Что у Сахарова? Монета. Дело ясное. А вы-то как горячились. Что же вы теперь скажете?

— А скажу, товарищ Прахов, что иногда нужно очень много сил. И еще я попрошу вас — пойдемте на улицу. Я не могу оставаться дома. Мы с вами немного погуляем.

— Ночью? В такой мороз? А кто за меня статью напишет? Сто строк о беспризорных...

— Ночью очень хорошо гулять. Я покажу вам беспризорных. Я знаю всех беспризорных Проточного. У вас будет в кармане тысяча строк. Но я вас прошу, товарищ Прахов, уйдемте отсюда скорей...

— Ну, разве что за материалом...

Они вышли. Скрипел снег, сверкал снег, и обжигала щеки студеная ночь.

Люблю я чудаков, гуляющих в зимние ночи по глухим московским переулкам. Нет лучше времени для задушевных бесед и целомудренных признаний. На углах стоят извозчики, стоят всю ночь напролет, поджидая сказочных седоков; спят нежно седеющие лошади, спят так и не пришедшие седоки. У извозчиков ресницы мохнатые от инея и от дремоты, мохнатые, как звезды. Пес полает. И снова все тихо. В подворотне дрыхнет сторож, окунув нос в бараний мех, огромный и страшный, как стрелец на старом лубке. Что, если его окликнуть? Откроет он скрипучую калитку и в промерзшую рукавицу неловко зажмет двугривенный или отрубит голову? Чудаки всё бродят, беседуют, разводят руками. Светятся окна трудолюбивых горемык, а может быть, и разгульников — кто их знает? Сквозь двойные рамы не прольется ни скрип пера, ни звякание стопочек. Переулки двоятся, сгибаются в коленках, упрямо упираются в тупики, сбивают с толку, но чудакам некуда спешить — все равно не высказать всего, чем полна душа в такую ночь. Пусто как! Проскрипит одинокий пешеход; далек его путь с Театральной в Зубово, нос щиплет холод, зацветают, как фиалки, углы барашкового воротника, а в ушах ворох звуков: увертюры, арии, аплодисменты. Тихо-тихо. Влюбленные пристроились в будке. Два облачка возле губ. Чиста на морозе любовь и сурова. Девушка похожа на мохнатого зверя, неуклюжая в ботиках, в шубке, в платке. А войдет она в жарко натопленную комнату, скинет все с себя и, тоненькая, волчком завертится — от радости: «Он сказал мне...» Что сказал — неизвестно. Впрочем, кто не знает, что говорят влюбленные ночью в заснеженных переулках? Чудаки всё бродят: трудно им расстаться с милыми сугробами. Однако не такую прогулку сулила нашим приятелям эта зимняя ночь: умеет она быть и другой — темной, затяжной, немилосердной. Образ Тани их преследовал. Не радовали сугробы. Кто это придумал гулять в этакий холод. Прахов негодующе ежился и ворчал. Где же, наконец, беспризорные? Он ведь вышел только за материалом. Юзик знал хорошо и Журавку и Кирюшу — не раз он проводил их тайком в «Электру». Сейчас он порадует Прахова: «Вот здесь, я покричу — они мигом вылезут...» Но дыра оказалась заваленной снегом, пусто было

вокруг, и невыразительно поглядывали темные окна Панкратовых — хозяева спали, наработавшись за день. Юзик взял Прахова под руку:

— Идемте. Я вас прошу, идемте дальше, куда-нибудь из этого Проточного. Может быть, мы их найдем на Смоленском. Когда я проходил вчера, они еще здесь ночевали. Наверное, Панкратов засыпал днем подвал. Он не хочет, чтоб под ним скреблись какие-то беспризорные. А сегодня такой мороз!.. Вы понимаете, товарищ Прахов, это не люди, это действительно какой-то адский дух...

Но Прахов не верил в духов. Беспризорных он не жалел. Ему было просто холодно, досадно, неуютно: у Тани — Сахаров, статья не написана, зря пропал вечер, зря проходят годы. Чтобы выбиться в люди, нужны силы, а силы убывают. Прахову уже тридцать. Его обгоняют мальчишки, неучи, сопляки. Скучно это, как скучна вся жизнь, если нет в ней ни шумных балов, ни ярких огней, ни интриг, ни путешествий, ни цветов, если нечем ее помянуть — только авансы, битки с картошкой да уродливые лифчики секретарши «Женского вестника».

— Ну, Юзик,— марш домой! Духов вы бросьте, или вас посадят в сумасшедший дом. Не такое теперь время. А мораль из всего этого — ты не возьмешь, другой перехватит. Барышню я прозевал. Вот и с беспризорными... Конечно, Панкратов — сволочь. Но таков, друг мой, закон жизни. Он их вывел, как крыс. А нет — они бы его обобрали. У меня они в трамвае кашне стибрили. Это только вы, Юзик, о других хлопочете. Какое вам, например, дело до этой девчонки? Не разводите, пожалуйста, антимоний. Вы знаете, почему у вас благородства хоть отбавляй? Извольте — потому что у вас горб...

Юзик ничего не ответил. Он только закрыл глаза. Прахов решительно повернул домой. Войти в ворота Юзик, однако, не решился. Начал падать легкий, крупный снег и скоро забелил все. Юзик казался, низкий и широкий, не человеком — сугробом, среди других сугробов, обступивших жалкое жилье.

А наверху, уткнувшись в подушку, плакала Таня. Она плакала тихо, плакала всю ночь, и тогда-то она поняла, какой может быть безвыходной зимняя ночь, когда отбивают четверти стенные часы, капает вода в рукомойнике, под снегом скрипит деревянный домишко, и кажется — никогда уже не будет ни света, ни жизни.

5
ДНЕВНИК ТАНИ

В верхнем ящике комода лежала толстая тетрадка. Завела ее Таня давно, когда занималась усиленно французским, и на первой странице стояло: «Je fus, nous fûmes. Il vient de donner une nouvelle preuve. Le fauteuil — кресло, salaire — зарплата, l'enseignement — образование». Далее следовали случайные записи: «Прочесть статью Воронского и Романова», «NB — социальные инстинкты у пчел», «Что у Толстого — для нашей школы?», «В красильню — 6.25, Лойтер должна 4 р., на жизнь 8 р. 10 к.», «С какого года профессиональное воспитание?», «Дорогая Шура. Пишу тебе на лекции — скучно. У меня сегодня...», «Служебный 5-16-08», «И ничего не разрешилось весенним ливнем бурных слез...». Дневник Таня начала вести недавно, писала случайно, торопясь, с перерывами. За пять недель размашистым своим почерком она исписала всего-навсего девять страничек.

18 февраля.

Писать стыдно — как будто стоишь голая перед зеркалом. А молчать тоже не могу. Юзику хорошо — у него скрипка. Если б я умела писать стихи! Впрочем, нет, стихи — это чтоб отводить глаза. На самом деле все иначе. И страшнее. Вчера был снова С. Я не хотела. Он нервничал. Разбил пепельницу. Вел себя недостойно. Вид у него был жалкий. Я уступила. А десять минут спустя — я нарочно посмотрела на часы — он уже закуривал преспокойно папиросу и придумывал предлог, чтобы улизнуть. Я сама ему подсказала: «Иди, у тебя, наверно, спешная работа». Он обрадовался, даже руку поцеловал. Боится разговоров. Здесь точка. Мне это не нужно. Остается вопрос — так всегда или только у нас? Если всегда — почему же романы и прочее? Я стала циничной — это как у собак. Страшно подумать, что сейчас во всех домах, во всей Москве то же самое!.. И так же папиросу!.. Я предпочитаю быть исключением, несчастным случаем.

4 марта.

Стараюсь ни о чем не думать. Курсы — с осени. А отпуск я возьму в июле. Уеду к Шуре. Там-то отдохну. Очень устала. Все выходит так бестолково

и обидно. Как будто я вещь. Может быть, это и лучше? Когда я была маленькой, я любила играть с детьми Паршиных в домино. Если хотеть выиграть, всегда волнуешься, и это неприятно. А бывало, решишь — «поддавать» кому-нибудь, сжульничаешь — для другого не стыдно, подсмотришь и нарочно кладешь, чтоб у него скорей всех вышло. Вот тогда-то я радовалась. Вывод?.. Чепуха! Мне девятнадцать лет. Семью сейчас заводить глупо. Эпоха требует другого. А если не иметь детей — все равно. Только очень голо — от этого и слезы. Чепуха!

8 марта.

Шагала. Пела. Привычка? Что же, а на душе спокойней. П. пристает, последние дни он стал невыносим. В чем дело? Неужели у меня теперь такой вид, будто я на все согласна, то есть на всех? Какая гадость! А сам П. вовсе не гадкий. Он, пожалуй, лучше С. На словах грубее, но чище. Впрочем, этого нельзя знать до... папироски. Фу, как я опустилась! С. я больше к себе не пущу. Взяла из библиотеки Бабеля: его теперь все читают.

10 марта.

У Бабеля все просто и непонятно — и как любят, и как убивают. Очень страшная книга. А П. говорит, что это «юмористика». Он хоть умный, но легковесный, как оловянная ложка. Все для него ясно. И другие тоже. Ну, в загс. Ну, выпивка. А дальше? Мне очень странно иногда, что я молодая — все кругом рассуждают иначе, проще. Я рядом с ними «тетушка». Вот этот Бабель, наверное, человек пожилой. Говорит он про других спокойно. А как сам живет? Знай его адрес, я пошла бы к нему — спросить. Нет, не пошла бы — стыдно. А поговорить решительно не с кем. Юзик философствует или гримасничает, как будто у него зубы болят. Я ему рассказала о С., а он в ответ: «Я вам примус починю». И за скрипку. Может быть, он и впрямь не в своем уме? Ну, а П., тот все каламбурит. Неужели все люди такие одинокие? Наверное. Вот и вешаются. Ужасно это жестоко придумано — ни смысла, ни радости.

17 марта.

Сегодня у меня знаменательный день. Собственно говоря, ничего не случилось. Я думаю, это от весны. В этом году весна очень ранняя. Странно, что

на нас погода может действовать, как на дикарей. Все утро я простояла у Москвы-реки. Шел лед. У меня горело лицо, и я чувствовала, что улыбаюсь. Неловко, и ничего с собой не могла поделать. Мальчишка один подразнил меня: «Вы что это, гражданочка, плачете? Папаша утоп?..» Я рассмеялась, как дура. Река гудела, и сердце тоже. А когда я возвращалась домой — навстречу С. Я спряталась за угол. Не заметил. Вечером пришел П., будто за спичками. Поглядел на меня внимательно: «Вы что ж это, именинница?» — «Весна». — «Весна? А ведь, говоря откровенно, весна — величайшее свинство». И ушел. Мне даже жаль его стало. Неудачник. Из партии его вычистили. Играет в казино. Весь в долгах. Пишет, пишет. И на все падок. Я его видела как-то на Кузнецком у витрины. Зачем ему брошки? А глаза у него были завидущие. Вот так он и на меня смотрит. А мне ничего не нужно — ни брошки, ни любви. Весна!.. Я становлюсь смешной, как Юзик.

18 марта. 2 часа ночи.

Только что ушел С. Я дала себе слово не пускать его, а пустила. Кончать, оказывается, еще труднее, чем начать. Зачем я ему?.. Мало ли таких дур, и к тому же без «настроений»? Говорит — «любовь», а я знаю, что ему нет до меня никакого дела. Умру — все равно. Только так, на четверть часа. Грязь! Я вся в грязи. И выйти из нее уже не сумею. Порву с С., будет П. или еще кто-нибудь. Как скамья на бульваре. Ну, и наплевать! Хочу научиться пить водку...

22 марта.

Позавчера П. угостил меня ликером. Я выпила три рюмки, и на душе сделалось еще мрачней. Но я смеялась. А он стал целовать меня. Я его не прогнала. Мне было безразлично — С. или он. Теперь ясно — я в душе проститутка.

Число не указано.

Если я порву с Сахаровым, я «пойду по рукам». Значит, жить с ним? Но у него жена. Вот этого я не могу понять. Зачем она? Или зачем я? Ведь это подло. Я ее ни разу не видела. С. запретил мне приходить к нему. Он говорит — «урод и ведьма». Думает, что я ревную. А мне только жалко и ее и себя.

26 марта.

Дневник пишут философы или маленькие девочки. А я?.. Я ездила вчера кататься на дутых с П. Я поссорилась навсегда с Юзиком: не хочу нотаций. Все мне противны, и С., и П. «Прощай, юность!»

Больше записей в тетрадке не было.

6
ОТТАИВАЛО

Стаяли тяжелые сугробы. Причмокивала рыжая жижица под делопроизводительскими калошами, под рваными калошами с газеткой внутри, и сам делопроизводитель тоже чмокал: «Во!» — не то от сырости, не то от умиления. Немало других звуков появилось: грубиянили колеса ломовиков, налетая после теста на камни; дворы визжали: искал там татарин латаную «тройку», и взъерошенный скворец тянул судьбу: из раскрытых нетерпеливым сердцем окон сыпались переборы «тальянки», а то и гриппозное чихание. У Натальи Генриховны отбоя не было от местных франтих, спешивших сменить механку или фетр на веселенькую солому. Грязь стояла в Проточном непролазная — утопнешь, но к грязи относились снисходительно, пожалуй, любовно, позевывали, почесывались,— люди распускались, как почки: начинался сезон любовных отлучек, уличных мордобоев — «на прохладце»,— форточных наскоков, выпивок на Воробьевых, кошачьего безобразия,— словом, самый что ни на есть весенний сезон.

Показывались люди наружу, и сразу многое становилось ясным. Так, у гражданки Лойтер оказался наработанный живот. Юзику пришлось утешать Лойтера и Библией и водкой. Выпив две рюмочки, Лойтер охмелел. Он глядел на огромные облака, которые, как перепуганное стадо, неслись по вечернему небу, и жалобно блевал в тазик.

— Приведите сюда эту жилищную комиссию: пусть они измерят живот Ханы и мое сердце, пусть они измерят, как прыгает Осенька, как вертится Раечка, как ходит Илик,— они убегут отсюда. Или мы убежим, вот как эти ненормальные тучи. Когда Лойтер пьет водку,

значит, он не может больше. Он не хочет крутить колесо. Если ему не дают капельку посмеяться, он хочет лечь в готовую могилу.

Выползли из логовищ беспризорные. Персюков развелось за зиму, как тараканов, все они сразу выглянули на свет божий и застрекотали. Петька весь день пропадал. Приходил он вечером с синяками, штанишки продраны, совсем ошалелый. От этого, да и не только от этого — было у нее другое, новое горе,— Наталья Генриховна еще сильней подурнела. Как будто сошел снег, и показались размытые дороги, бурьян, пустыри, серая окраина заводского поселка, невзрачная, прокопченная, вконец замученная. Теперь и пудра не помогала. Сахарова она видела все реже и реже: «Работа, спешная работа, ревизии, заседания». Весна его воодушевляла — он сиял, как Проточный, весь нафиксатуаренный, забалованный, самодовольный; Поленька томно вздыхала. Грудь болит, тесно — и Наталья Генриховна расстегивала лиф. Наискосок стоял серенький домишко. У молдаванки Наталья Генриховна выпрашивала теперь не приворот,— другое, пострашнее, соблазняла ее червонцами. Беззубая гадалка тряслась, как желе, от жадности и от страха.

Близились праздники. Бабы мыли стекла, и молодое хулиганье, глядя на голые икры, сквернословило. Предстояли куличи, свечечки, флаги — всякое, а главное — предстояла матушка сорокаградусная, великое утешение Проточного, одна она гонит прочь тоску. Эх, и выпьем же, друзья мои! Как только выпьем!..

Бойко торговал Панкратов: все забирали — сахар, халву, колбасу, балычок. Взлетал человек и выше — даже икорка шла, люди поинтеллигентней доходили даже до лимонов: корочку в графинчик для аромата. Каждый вечер Панкратов кое-что да откладывал. Весну он встретил по-весеннему, с раскрытым сердцем: кончил седьмую, начал восьмую пачку. Приставал к нему один черняевенький: «Как насчет санитарии?» — но Панкратов быстро заткнул ему глотку ведерышком паюсной «первый сорт». Древнее благоденствие открывалось перед бородой: все документы в порядке, воришки прогнаны, растет, растет помаленьку капиталец. Здоровый был мужик: шестой десяток пошел ему, а прищелкивал он, а кулебяку пожирал, а глядел на женский пол, как молоденький парнишка. Начиналась для Панкратова вторая весна, хотелось ему

скандальца, бабья, ухарства, выйти на Лубянку и показать «им» кукиш: «Что, съели Панкратова? Эх вы, пролетарии!..» Конечно, это были только мечты. Даже пойти с какой-нибудь из «таких» в баню и то не решался: расходы, да и на облаву легко попасть, потом уж не отстанут, все денежки, как клопы, высосут. Весна, однако, дразнилась лужами, мокрыми воробьями, женскими глазками: так и стреляли, сукины трясогузки, в почтенное пузо. Не бить же все хромую супружницу зонтиком!.. Надоело! Улучив минуту, когда жена ушла в камвольный — выбирать новый платок,— Панкратов примял Поленьку.

— Ой ты! А сестрица что скажет?..

— Цыц!

Не о том мечтала девушка. Нежные чувства она лелеяла к известным своей деликатностью усикам. От боли и страха шире широкого распахнула она рот. Уж Панкратов, подтянув все, собирался в ларек, а Поленька так и лежала с раскрытым ртом.

— Пасть, дура, закрой. Вот тебе треха на пряники. И цыц!

Поленька промолчала, решила — значит, так нужно: как «червячки», как квашня, как шляпный гарнитур — жизнь. На три рубля она купила тихонько от всех брелочек — серебряное сердечко, поднесла его сама себе: «Вам, Поленька, в знак того, что сердце мое пылает» (говорила за Ванечку). Брелок привесила к нательному крестику, легла ничком на кровать и от радости стала взвизгивать, но потом вспомнила бороду Панкратова — «ой ты!» — и всплакнула: пожалела себя.

А Панкратов от удовольствия поскреб бок, зажмурился и забыл всю канитель.

Что там болтают глупцы о подснежниках или о фиалках? Не видно таких цветов в Проточном, да и неинтересные это цветы — ни пышности в них нет, ни осанки. А вот кто доподлинно цвел — это Панкратов, сверкал, благоухал, украшал весь переулочек. Человек, случайно забредший сюда, непременно останавливался перед абрикосовым домиком, с завистью думал: «Живут же люди в уюте, с занавесками, с фикусами, с котом, не то что у нас — двадцать душ на пять комнат. Вот и жизнь здесь, наверное, тихая, мечтательная, прямо-таки абрикосовая жизнь». Да и вправду нежен был домик, тих, благонравен. С удовлетворением Панкратов посматривал на черную дыру: больше не

вылезут оттуда разбойники. Тихо теперь стало и в доме и под домом,— разве что крыса пискнет или захлюпает вода.

В приходском храме Панкратов выстоял всех апостолов, а в пасхальную заутреню, можно сказать, был главной фигурой. Разве без него мыслимо? Чем же тогда Проточному похвастаться и перед Богом, и перед людьми? Без него Пасхи не было бы... Что же в том удивительного, если отец Василий, кланяясь пастве, с особым благоговением взглянул на чудесную бороду, а борода в ответ утвердительно закивала: «Воистину». Восьмая пачка становилась ощутимой. Ну, и разговленье было соответствующее: не пожалели ни водки, ни цукатов в Пасху, ни труда на поросеночка — он лежал золотой и невинный, как девический сон, весь обволакиваемый бумажными розанами и слюнками проголодавшегося Панкратова. Ели... Мать моя, как ели! Достаточно сказать, что поросенка прикончили по-семейному, без приглашенных. Пил же сам Панкратов — женщины пробавлялись ерундовской мадерой. Выпив, пошел Панкратов к Наталье Генриховне христосоваться. Яичко кокнул, икнул и присосался: «Вот где праздничек! Как же дамочку не поцеловать при оказии? Здесь ни рубля, ни прыща не пожалеешь!..»

Под окнами бесновался Проточный. И ладошкой, и штопором, и об стенку. Пили до утра. Конечно, и государству от этого доход, и людям, что называется, веселье. Но только зверел народ: охальничал, дрался, бил стекла. В «Ивановке» две бабы сцепились, когтями раскровенили одна другую. А у делопроизводителя спьяну ошпарили ребенка кипятком. Не обошлось и без «пыряния». На углу Панфиловского какие-то озорники отстрогали начисто ухо у сапожника Федоренко.

Панкратов покрутился, побалагурил, но вдруг завял — года сказались или перехватил? Ведь не менее десяти рюмок сглотнул он, а рюмки у Панкратовых с подвохом, двойные. Что же, и помолились, и разговелись — можно на боковую. Хромая сразу захрапела. Что ей? «Полная чаша». Не так легко было уснуть «самому». Ревел переулок: «Ай!..» Да и в голову лезли всякие пустячные мысли: «За шоколад переплатил, вот Сидорову на таможне по семи рублей отдали... Инспектору лучше бы не чернослив послать, а кавказский компот — благородней... Полю в баню

сведу, спокойней, да и помыться не грех... Поросенка сразу сожрали, сволочи, могли б и говядину — ведь сколько он стоит...» Панкратов кряхтел, пил пиво, плевался. Чего орут? Не могут они без этого — дурачье. А ночь-то какая!.. И крестился. Наконец — это было в шестом часу — начал он засыпать. «Вот тебе и милость господня»,— успел подумать он, но тотчас же вскочил и весь затрясся с перепугу. Сердце как колотилось! Что за наваждение? Под домом стучали, ерзали, копошились. Винный туман застилал комнату, и Панкратов не узнавал знакомых предметов: лампадка казалась ему подбитым глазом, комод — чьей-то спиной. Вот когда сказались все рюмочки! Но что глаз — хуже: стуки, подземная суета продолжались. Панкратов вдруг все понял. Вцепившись в жену, он отчаянно закричал:

— Они! Не иначе, как они!

Женщина со сна завопила:

— Батюшки! Грабят!

Но Панкратов забил ей подушкой рот:

— Молчи. Не понимаешь — кто? Оттаяли. И сюда лезут. Вот ты погляди лучше — кто там в углу подсапывает? Загрызут они нас...

— Что с тобой, Алексеич? Болен ты. Ложись-ка. Я тебя чаем напою. Трясет тебя. Где же это слыхано, чтоб мертвецы ходили? Ведь задохлись они. Опомнись, Алексеич!..

Говоря это, Панкратова сама дрожала — зуб на зуб не попадал. Хоть и не пила она, но кого же такие разговоры не проберут, да еще ночью? Бог их знает, что, если не померещилось ему? Со свечой она вышла на лестницу, опасливо озиралась: хотела Поленьку разбудить, чтобы самовар поставила. Но только-только приоткрыла дверь, как взвизгнула, уронила свечу — кота это проделки, был кот взбудоражен, зол, дразнили его за едой, вот он и метнулся прочь. Услышав визг жены, Панкратов зарычал: «Журавка!» — и пополз на четвереньках, как был, то есть в фланелевых подштанниках, к окошку. Он видел, как задохшийся Журавка с высунутым языком носится из угла в угол, ищет Панкратова, щиплет икры, сверлит штопором живот и длиннущим синим языком лижет, гад, шею, сейчас будет кровь пить. Еле дополз он до цветочного горшка и, покрыв его собою, замер: «Пей!»

Вскоре жена с Поленькой перетащили его на кровать: он сжимал зубы, мотал головой, оглядывался.

Стих Проточный — даже самые крепкие и те свалились. Посвистел милиционер. Прогремела «скорая помощь». Так и утро подоспело. Зазвонили в церквах. Наконец-то Панкратов уснул. Спал он долго, проснулся только к вечеру, потянулся, посопел: «Хм, что это еще за белиберда?» — и, прежде чем умыться, не вытерпел, поднял горшок. Все пачки были на месте. Тревожно поглядывала на него супруга:

— Ты, может, полежишь сегодня?

— Что ты мелешь? Это в праздник-то? Лучше дай графинчик и что там осталось — опохмелиться.

Накрыли стол. Горели яички — алые, изумрудные, золотые — и во сне такого сияния не приснится. Даже цветы поставила Панкратова, тюльпаны, подарок «комильфотного» Сахарова. Сам Сахаров забежал поздравить, голубоватый и благоуханный от густого слоя пудры. Панкратов, лобызая, поморщился: «Кобель, а не человек»,— но на радостях даже пудру простил.

— Что, Иван Игнатьевич, живем? А здорово мы их законопатили. Теперь-то стаял снег,— пожалуйста, выходите, ребята, на свет божий. Не выйдут!..

Сахаров покривился, заторопился — дела, дела! — и, уходя, скороговоркой зубубнил:

— Вам виднее... Меня, собственно, в тот вечер и дома не было...

7
ЛЮБЯ, НЕ ЛЮБЯ, ПОГИБАЯ

Выпал и Наталье Генриховне праздничек. Сахаров совсем закрутился; новый костюм, который он заказал, весенний, из каштанового коверкота, стоил ровным счетом двадцать червонцев. Это, значит, хватил человек через край. Одна надежда — «мамахен». Ради такого случая Сахаров решил пострадать.

— Тусенька (да, он даже это имя вспомнил — коверкот ведь), знаешь что... У меня сегодня свободный вечер. Пойдем-ка с тобой в «Музыкальную комедию». Я контрамарки достал.

Мало же знала радости Наталья Генриховна, если вся засияла от этих слов. Кудесник Сахаров, вот к кому бегать бабам из Проточного, а вовсе не к глупой молдаванке. Только захотел — и сдунул с Натальи

Генриховны десять лет, как пушинку с шляпы, назвал «Тусенькой» — Тусенька и оказалась, ну, усталая, круги под глазами, бледная — пересидела над книгами, замечталась. Не было в ней больше ни «комильфотного» заведения, ни злобных попреков, ни кухонных пересудов, ни шлепков, ни вялых, бескровных щек — перед зеркалом вертелась наивная девушка, спешила, закалывала волосы и с шпилькой в зубах улыбалась Ванечке, как когда-то в «меблирашке», когда принесла свою жизнь и несессер: «Милый...»

Давно она не была в театре. Сосчитать даже страшно. Восемь лет! Вспоминались детские годы, утренники в Мариинском, золото и красный бархат. Огни люстр порхают, как бабочки. Внизу институтки: открытые шейки, тоненькие, беззащитные, белые буфы, книксены, шепот: «Он!.. обожаю!..» Над ними формы гимназисток, всякие, коричневые с черными передничками, темно-зеленые, мышиные. Бинокли, серьезные кивки, и вдруг прысканье: «Глядите — носорог-то расфуфырился, в белом жилете...» А еще выше — бобрики мальчишек, полные помады и глубоких мыслей. Вот один из них пишет на либретто: «Пускай толпа клеймит презреньем наш неразгаданный союз...» Это для Туси. Тусе тринадцать, ему тоже (он клянется, будто четырнадцать). Он подойдет к Тусе в фойе, где толкотня возле буфета — раздают крымские яблочки, хорошенькие, как игрушки, оршад в бокалах, словно это шампанское, и пастилу: «Я буду завтра на катке. Мы устраиваем кружок самообразования. Вы, конечно, включены! Но это тайна». Он неуклюже улыбнется ей при выходе, когда Тусю быстро затрет толпа нянек, гувернанток, горничных с беличьими шубками, с ботиками, с пушистыми башлыками. Потом снег, огни. Хлопают рукавицами продрогшие кучера. Верещат извозчики, зазывая седоков... Какой-то студент снисходительно улыбается Тусеньке: «Миленькая мордочка». Дурак! Туся большая — она «включена». Она будет завтра на катке. Ей безразлично, что ее «клеймят презреньем». Она счастлива.

— Готова?

Застенчиво улыбаясь, поправила Наталья Генриховна галстук Ванечки. Театр? Да разве в театре дело? Она согласна остаться здесь, на просиженной заказчицами кушетке, лишь бы с ним. Может быть, это перелом? Никогда прежде не знала Наталья Генриховна такого

пренебрежения, такой сиротливости. Все из-за той. Не первая это, но обычно ветреный Ваня к ней пристрастился. «Ревизия», «дела»... А сам — шмыг в ворота к Лойтерам. Чем только она его приворожила? Ну, с мордочки ничего. Но мало ли таких? Можно ли сравнить ее с Тусей, с прежней Тусей, за которой кто только не бегал: и поэты, и лучшие танцоры, и забалованные женщинами певцы. Наверно, распущенная. Все они теперь такие. Комсомол!.. Вот и Ванечку этим взяла, бесстыдством, да как взяла — на сына взглянуть не хочет. Третий месяц это тянется. Не раз Наталья Генриховна помышляла о конце, все равно о каком — отравить ее, самой утопиться (на Ванечку она не покушалась даже в мыслях). И вот вдруг, нечаянно, так бывает только в плохо скроенных романах, настал этот вечер. Неужто он опомнился? Догадался, что для той он только «кавалер» — каждый день у нее новый, а для Натальи Генриховны — все. Разве пожалела она что-нибудь для Ванечки? Вот он рядом, слабенький, да и что греха таить, гаденький, но свой, родной, любимый...

С нежностью взяла Наталья Генриховна мужа под руку, и пошли они умилительной парой вверх по Проточному к остановке трамвая, оставляя позади себя, как облако пыли, шушуканье соседок: «Ишь»,— не видали никогда Сахаровых вместе, знали про Таню, про молдаванку, болтали про Панкратова, и теперь, среди хлипких луж, среди теплого весеннего пара, изумлялись счастью.

Сахаров кротко шагал, не отнимал руки: терпел. Что делать? Ниоткуда больше таких денег не возьмешь. Все шло как по-писаному, и, думается, трели опереточной дивы окончательно примирили бы супругов, хотя бы на время, до выкупа коверкотового, если бы не глупый случай. Конечно, живя в одном переулке, легко столкнуться нос к носу, однако, выйди они на минуту раньше, не задержись Наталья Генриховна с галстуком, все обошлось бы.

Встречи этой никто не хотел, и первой мыслью всех трех было — убежать. Виноват угол: Таня очутилась прямо перед Сахаровыми. От неожиданности она растерялась, не поздоровалась, но и не отошла в сторону. У Сахарова напряженно бился кончик галстука, усики топорщились. Он первый нашелся:

— Познакомьтесь. Это моя сослуживица — Евдокимова. Жена.

Женщины нерешительно протянули руки, как будто брали с плиты горячую кастрюлю, и, коснувшись перчаткой перчатки, поспешно их отдернули. Заминка продолжалась. Сахаров попробовал сгладить быстрой болтовней:

— Вот, Туся, погляди: замечательная машинистка, семь листов в час шпарит. Ей и диктовать не поспеваешь. Квалификация! И где вы научились так быстро писать?

Таня чувствовала, что Наталья Генриховна когтит ее глазами. Она не могла ни говорить, ни думать, не могла шелохнуть пальцем. Подступали слезы. А Сахаров не замолкал:

— Вы как это попали в наши палестины? К знакомым?

Ничего не соображая, Таня ответила:

— Да, к знакомым.

Здесь Наталья Генриховна не выдержала. Ее разыгрывали! Подумать только, как они смеются каждый вечер: «Ну, что — надул свою благоверную? Ха!..» Она рванулась к Тане. Вид ее был патетичен и жалок — шляпка набок, космы волос; улыбка, которой хотела она выразить иронию, переходила в судорогу; якобы спокойный голос доходил до нестерпимого визга!

— Вы, милая моя, не забывайтесь! Думаете, я не знаю? Ошибаетесь. Мой муж мне все рассказывает. У него от меня нет тайн. К честной женщине я, может быть, и приревновала бы, ну, а к таким... к таким не ревнуют. Одно дело жена, другое... Поняла, мерзавка? И ступай, стреляй других!.. Ванечка, идем скорей, а то мы опоздаем.

Выкрикнув это, она быстро потащила мужа в сторону. Оба молчали. Наталья Генриховна задыхалась — конец! Слишком хорошо начался этот вечер, слишком сердце было растравлено воспоминаниями. А Сахаров покорно семенил за ней. Куда они идут, он не понимал. Глупо вышло... Нужно было сделать вид, что незнакомы. Теперь кому расхлебывать? Ему. Во-первых, с этой... Если б на неделю позже. Костюм пропал. А Таня? Как он к ней покажется? И без того гнала: «Ненастоящее». Ух, эти бабы, ломаки, скандалистки! Хуже всего, что Таня ему и вправду нравится: вошел во вкус. Может быть, удалось бы уломать ее... Ну, а после такого пассажа не сунешься. «Как же вы не заступились?» Декламация! Сахаров страдал. Наконец он решился окликнуть Наталью Генриховну:

— Куда ты? Ведь нам направо.

— Я в театр не пойду.

Они повернули домой. Мысль о двадцати червонцах умеряла негодование Сахарова.

Поленька, в окошко увидав, что Сахаровы так скоро вернулись из театра — лица постные, как с похорон,— томительно вздохнула: «Ох ты!..» Сахаров развязал галстук, снял воротничок — жало шею. Сказал он скорее примирительно:

— Ты все же напрасно на улице... Только сплетни разводить...

Тогда прорвалось:

— Всюду кричать буду! На службу к тебе приду. И как они у себя такую дрянь держат? Ей на Тверскую, а не в машинистки. Ты что думаешь? Я — жена, значит, на меня и плевать можно? Только за деньгами приходишь.

«Не даст! — забеспокоился Сахаров.— Честное слово, не даст! С ума сошла баба...» Однако, стараясь выдержать характер, он вытер платочком лоб, как бы говоря — «Вот до чего вы меня измучили»,— и процедил, этак снисходительно:

— При чем тут деньги? Деталь.

— Ах, «деталь»? Ну, и получай с нее эти «детали»! Я здесь глаза свои извела, чтобы ты ей подарочки носил? Хватит! Можешь хоть в «коты» идти. Она, кажется, получше меня зарабатывает...

Изображать дальше великодушного философа не приходилось. Пропал коверкотовый, мареновый. Сахаров теперь мстил.

— Вы, мамахен, не горячитесь. Мои уши не привыкли к баронским разговорам. Словом, я тебя видеть не могу. Это ты на носу заруби. Меня от тебя тошнит. Вот только достану денег на отступные — переелу. Оставайся в Проточном с титулом. Можешь, между прочим, к Панкратову подъехать. Замечательная пара! А на меня не целься. Кончен бал!

Тогда встала Наталья Генриховна, подошла вплотную к мужу, положила руки на его плечи и, глядя глазами, слишком темными, как бы безумными, в его барахтающиеся глазенки, спокойно сказала:

— Ваня, ты меня на грех толкаешь. Ведь не отдам я тебя. Ты думаешь, я кричать буду? Нет, Ваня, я ее убью. Петькой клянусь. И ничто меня не удержит. В Бога я не верю, людей не люблю. Мучили меня

люди. Отец мучил. Ты мучил. А о ней и не говорю. Посадят в тюрьму — не страшно. Хуже не придумаешь... Я всю жизнь на тебя положила. Я от своего добра не отступлюсь. Слышишь меня, Ваня?

Если б не ее руки, давно бы убежал Сахаров. Он дрожал. Плохо понимал слова, но голос, но глаза Натальи Генриховны потрясли его. Он попытался вырваться. Тогда Наталья Генриховна упала перед ним на пол:

— Ваня, пожалей меня! Ведь это я — Туся. Помнишь Петербург?

Он ничего не помнил. Высвободившись, он попятился к двери:

— Грозиться?.. Шантажировать?.. Я милицию позову. Я тебя в тюрьму упрячу.

И в дверях он победоносно гаркнул:

— Гутенахт, мамахен...

Выйдя на лестницу, Сахаров заволновался: куда ему идти? В пивную? Денег нет. К Тане? Выкинет. Вдруг его окликнул шепотливый голос Поленьки:

— Что с вами, Иван Игнатьевич? Может, продуло вас?..

Комнатушка Поленьки находилась внизу, рядом с кухней. Панкратовы спали. Сахаров зашел. Он увидел иконку, бумажные цветы, гору подушек, а также серебряное сердечко. Он поморщился. Но идти было некуда, да и неожиданное происшествие казалось ему скорее забавным. Он остался. Он только задул лампу, чтобы не видеть улыбки Поленьки, воистину раздирающей.

Таня не пошла домой. Все в ней дрожало от боли. Казалось, стоит кому-нибудь пальцем до нее дотронуться, и раздастся ужасный крик. Она боялась остаться одна в знакомой комнате. Испачкали ее! За что? Как это случилось? Ведь еще недавно, да, совсем недавно, зимой, она была свободной, легкой, чистой, была сама по себе, писала конспекты, слушала Чайковского, мечтала... И вдруг все переменилось. Не только тело — ее душу превратили в Проточный, где ругаются, дерутся, убивают.

Она бежала по улицам. Широкие бульвары, большие площади, скверы, балюстрады, памятники, фонари сменили домишки Проточного.

Весенними вечерами кишит Москва, и людская толчея похожа на кружение мошкары вокруг огромного ревербера, утомительная, сладкая эта толчея. Душа, которая много месяцев спит, как муха между

двумя рамами, начинает в эту пору чесаться. Юноши дуют пиво и сочиняют стихи. Нет сил усидеть на месте: тепло и ночь смывают человека. По тротуарам медленно движутся толпы. Вначале люди еще разговаривают, жалуются на фининспектора, на ревматизм, на цены — «к шевиоту и не подступишься», жужжат острословы, ухажеры соблазняют барышень анекдотами, комплиментами и возвышенно — «ночь какая!» — и попроще — «как же без этого?..». Вначале лица и слова сохраняют обычную свою видимость. На боковой дорожке Никитского бульвара или еще где-нибудь делопроизводитель «Фанертреста» тихо регистрирует подбородки и звезды. Вначале Москва — город с положенным ей народонаселением. Но чем дальше толкутся люди по влажным улицам, чем дальше глядят они на озноб фонарей, на электрические буквы: «Крыша», «Автопромторг», «Предатель», на смежные носы, испитые или мечтательные, на все носы прохлаждающихся призраков, тем подозрительнее становится копошение. Чернота, весенняя дурнота, вымысел, зияние. Замолкают гуляющие. Звезды растерянно убегают за облака, милиционеры прячутся в подворотни. Уж никто не знает, куда он идет и зачем. Ревматизмы превращаются в жестокую истому: улететь или умереть, а здесь еще гудки с Брянского вокзала, с Курского сводят с ума. Шевиот?.. Ну, какой толк в шевиоте, когда здесь и любовь, и ахинея, и очередное самоубийство. Делопроизводитель погибает. Он хмыкает, вместо «Нашей марки» покупает букетик ландышей, пьет фруктовую воду,— словом, безумствует. Что здесь прикажете делать положительного? Продавать спички по две копейки? Или обсуждать китайскую заваруху? Граждан здесь нет. Все это призраки, а в том, что призраки потеют или даже пьют морс, нет ничего удивительного. Так и ходят до полуночи. Потом сразу пустеют бульвары. Водка сменяет весенний воздух, выползают из щелей милиционеры — с пьяным легче, пьяного можно определить, даже оштрафовать. Потом и пьяницы пропадают — кто дрыхнет дома, кто орет в «пьянке». Спят на скамьях беспризорные. Труп самоубийцы стынет в морге, а если и нет его там, то он топочет по квартирам, сводя старые счеты с уплотнившими или еще как его обидевшими — на бульварах ему теперь нечего делать. Окруженный белесыми окурками

и рассветом, Александр Сергеевич Пушкин в такой-то раз разворачивает свиток, и случайный зевака может явственно видеть, как пресловутое «отвращение» кривит бронзовые губы. Гаснут электрические буквы: «Крыша», «Автопромторг», «Предатель».

Но это — под утро, а Таня пришла сюда вечером. Не пришла — ее донесло человеческое течение. Выбравшись на глухую аллею, она попыталась собраться с мыслями. Как ее обидели! Эта женщина злая. Разве Таня виновата перед ней?.. Гадкая женщина! Но тогда Таня припомнила лицо Натальи Генриховны, лицо измученное и все же прекрасное — никакие лишения, никакие страсти не могли до конца вытравить следы печальной красоты. Увидела она и всю грубость окружения — хриплый голос, растрепанные волосы, гнусные домишки Проточного. Таня почувствовала к обидчице не злобу, а жалость. Каково ей жить с ним всю жизнь, если эти несколько недель унизили, опустошили Таню? Все сильней Таня жалела Наталью Генриховну. У нее сын... Она цепляется за Сахарова, как за щепку. А Таня хотела ее утопить... Нет, Таня ничего не хотела. Она просто делала то, что все делают. Ведь люби она Сахарова, все было бы по-иному. Она не жалела бы Наталью Генриховну. Она кричала бы: «Не отдам»,— как та. Тогда это было бы горем. А теперь? Теперь это только грязь.

Значит, она виновата? Да, виновата. Виновата, что у нее нет любви. Дойдя до этого, Таня испытала к себе подлинное отвращение. Если б можно было убежать от себя, оставить здесь, на этой дорожке свое тело, никогда до себя не дотрагиваться, переменить имя, забыть про все!.. Перед ней шла проститутка, походкой легкой, почти неземной: от усталости или от кокаина. Когда показывался одинокий пешеход, сбитый с толку весной и фонарями, как бы невзначай она напевала: «Вдвоем гулять интересней». «Вот и я так,— подумала Таня.— Только не решаюсь заговаривать на бульваре. Трусость...» Наталья Генриховна права: она — проститутка. Почему она живет с Сахаровым? Почему целовалась с Праховым? Проходной двор! Мерзость! Лгали все, лгали лектора и подруги — вовсе это не просто, без любви это как убийство, не скрыться никуда от унылых привидений, от раскаяния, от позора. Наталья Генриховна может сейчас подойти и ударить Таню, ударить по щеке — Таня стерпит: за дело.

Но ведь она не родилась преступницей. Она мечтала о другом. Пусть ее мечты были глупенькими, как ситцевое платье, но они были хорошими мечтами. «Организм требует углеводов». Да, да! Она помнит все. «Половые функции...» «Просто у вас, Евдокимова, предрассудки...» Сейчас она может напиться. Пойти с кем угодно — в «номера», на свалку, все равно. «В этой жизни умирать не ново...» Где достают револьвер?..

Вдруг Таня заметила Прахова. Он трусил по бульвару, шевеля губами и помахивая тростью. Наверное, считал строчки. Тани он не видел. Таня вспомнила, как он сказал ей, когда они катались в Сокольниках, и от быстрой езды и от цоканья копыт, от весеннего тумана сердце Тани на минуту воспрянуло: «Если проанализировать, никакой любви нет, только инстинкт размножения, ну и надстройки». Он обокрал ее душу! Он, Сахаров, доклады, товарки, Проточный, все, все они будто сговорились обшарить, осмеять, вытоптать то, чем светло и полно девичество.

— Зачем вы меня обокрали? — крикнула Таня не в себе.

Женщина, та, что шла впереди, опасливо оглянулась и ускорила шаг. Больше никого вокруг не было, да и услышь ее Прахов, разве он понял бы эти вздорные жалобы? Он знал строчки, скуку и чужую удачу. А кишащие толпы? Полноте — что им до обычных драм на боковых аллеях? У призраков нет ни ушей, ни сердца, самое большее, на что они способны, — это потеть и пить клюквенный морс.

8

«БЕЗ КОЛЬЦА НЕТ КОНЦА»

Ну и везет шельмецу! Четвертый раз снимает... С завистью игроки поглядывали на заросший затылок удачника, суеверно меняли места, переругивались.

Не одним Проточным красна наша столица, есть в ней и другие достопримечательные места, как бы созданные для паскудных слов и звериного гогота. Хотя бы казино — не то хитроумная мухоловка с мутным пивцом, в котором плавают доверчивые душонки, не то препочтеннейшее учреждение: устав, швейцары, навощенный паркет. Уж слишком растянуты в жизни удачи и напасти, перемежаются они котлетами, дожди-

ком, легонькой хандрой серого, никак не определившегося денька. Здесь же все на новый, то есть американский, лад, без потери времени: в полчаса и возвеличат тебя и уничтожат, и счастье улыбнется, и запахнет судом, только держись! Придет какой-нибудь кассир, сдаст под номерок честное пальтишко, а с ним и гражданские добродетели, кинет сначала свой кровный канареечный, потом, уж ничего не видя, кроме ряби мастей, червонцы «рабоче-крестьянского», и пропал человек. Пальтишко свое он, конечно, получит, но идти ему в этом пальтишке решительно некуда: если топиться, то это только помеха, а в остроге полагается казенная одежда. Разумеется, много здесь и таких, которым все трын-трава. Утром нахапал, ночью продул — такова жизнь. Сдать под расписку или здесь просадить — одно на одно. Посмотришь, как такой, с виду плюгавенький гражданинчик, швыряет ассигнациями, и проймет умиление: вот где цветут наши московские лилии, не думая о хлебе насущном. Больше всего в казино случайных посетителей: долги человека замучили, или, напротив, оказался лишний билетик — вот и заходят попробовать: авось? А ради нашего, можно сказать, национального «авося» как же не навощить паркет?

— Опять снял? Это, я скажу тебе, хватюга...

Прахову действительно на редкость везло. Он пришел сюда с пятеркой, а теперь у него было никак не меньше сорока червонцев. Черт побери — если перевести это на строки — сколько корпения и докуки! Еще разок!.. Сорвалось, не беда. Еще. Кто знает, чем бы это кончилось, если бы не закрыли вовремя казино — час был поздний. Может быть, и вышел бы он без пятерки, даже без рубля на извозчика, и пошел бы в Проточный, угрюмо прикидывая: из этого казино надо выкроить статейку для «Вечерки», да не возьмут — у них свои, месячные... А может, и наоборот — произошло бы нечто вовсе умопомрачительное: ведь выигрывают какие-то анонимы на лотереях по сто тысяч, и никто их за это не трогает. Неизвестно — кто разберется в картах, да еще не сданных? Так или иначе, выйдя из казино, Прахов бойко подозвал извозчика и, не торгуясь, гаркнул:

— На Арбат, в «подвал»!

Он ехал и ликовал: даже езда казалась ему быстрой, увлекательной, хотя кляча еле-еле перебирала ногами,

а когда извозчик, отчаявшись, хлестал ее под хвост, меланхолично ржала. Наконец-то повезло и Прахову! Видимо, судьбе надоело изводить его изо дня в день. Прахов подпрыгивал и бормотал: «Перемена декораций»,— бормотал что-то и извозчик, но свое, унылое — про овес, про горе.

Жизнь Прахова и впрямь была незавидной. Знали его в Москве все, даже показывали провинциалам, как печальный курьез, вроде прокурора, который продает в Третьяковском проезде краденые перья, или извозчика в пенсне у Никитских ворот: не то чтобы жил он так мизерно, нет, живут люди хуже, да и наш «брат писатель», но уж очень он был назойлив и жалок в борьбе за эту третьесортную жизнь. Все время он рыскал — интервьюировал, просто подслушивал чужие рассказы, выпрашивал рекомендации, предлагал себя как педагога, как музееведа, как киноактера — все, что угодно, только берите! Не раз я его встречал: подойдет в «кружке», нагородит ворох похвал — он, мол, один понимает,— выудит что-либо подходящее, глянь, завтра статейка, где какой-то «Спартак» или «Октябринский» кроет меня — и мысли неподходящие, и художества нет. Спросишь его: «Вы это, собственно говоря, зачем?» — а он откровенно: «Секретарь в таком духе просил, ну, а сами знаете, хоть счастье не в этом, только без денег не проживешь!..» Так что и сердиться не на что. Однако люди поопрятней гнушались его, и, скажу, несправедливо. Сколько он ночей ухлопал на разные «анастигматы», «крепдешины» и «стойки», а все зря. Ни абрикосового дома не было у него, ни даже английской трубки, о которой он давненько мечтал. Глядели на него в редакциях как на опустившуюся потаскушку.

Не всегда так было. Всего лет семь или восемь тому назад того же Прахова почитали в родном Аткарске чуть ли не за гения. Занимался он тогда политикой, дрался с чехами, отбирал у крестьян хлеб, составлял резолюции, сажал в тюрьму аткарских эсеров,— словом, разделял все порывы, все горести и страсти своего поколения. Потом случилась заминка — не то он переусердствовал с «твердыми мерами», не то соблазнился легкой, мародерской поживой, а именно — «подухажнул» за женой одного арестованного военспеца, но только пришлось ему от громких дел перейти к заурядной жизни. Но и здесь оказалось, что Прахов «гений»: он начал писать стихи. Ничего

в этом удивительного не было: вся Россия занималась тогда патетическим рифмоплетством, и командармы грешили этим, и курьеры главков. Не стоило бы обращать внимания на восторги аткарских барышень. Но на ранних писаниях Прахова лежала действительно печать даровитости, которой не могли скрыть ни провинциальное бахвальство, ни скудность мысли, ни отсутствие вкуса. Видел он многое наново, не по-литературному, и голос его выделялся особым, ему присущим выговором. Было это косноязычие человека, загроможденного смутными чувствованиями. Трудный путь открывался перед молодым автором — нужды, может быть, осмеяния, душевных самоограничений. Прахов не понимал этого. Привыкший к тому, что все дается сразу или вовсе не дается: к отваге и легкомыслию гражданской войны, к декретам с наскоку, к захолустному кавардаку, к сердцам аткарских недотрог, столь же обеспеченным, как и поднятые руки на собраниях, он уже видел перед собой десятки томов, набитые аудитории, сконфуженных писателей, восторженных юношей.

Что же, он попал в Москву. Это было, кажется, его последней удачей. Жестокая вещь мода, и мода оказалась против него — он запоздал: в столице никто больше не интересовался стихами, ими объелись, слышать о них не хотели, если из деликатности еще мирились со старыми поэтами, то новых встречали откровенной неприязнью: «Сейчас завоет... И кому это только нужно?..» Прахов обошел все редакции, в одних сразу говорили: «Стихов не печатаем» (вроде как «рукопожатия отменены»), в других из приличия тянули, прятали любовно переписанные Праховым листки в ящики, выдерживали их там месяц, другой, потом начинали разыскивать, искренне ненавидя автора, а под конец возвращали: «Мы материалом обеспечены года на два». Один совестливый критик, впрочем, прочел их. Он читал все, что ему приносили. Может быть, вследствие этого, а может быть, по отсутствию прирожденной чувствительности, он понимал только то, что все уже давно поняли. Прахову он сказал: «Устарело. Маяковщина. Старайтесь больше вникать в жизнь, в строительство нового быта...»

Признания Прахов так и не нашел. Денег тоже не было. В каком-то журнальчике, куда он ходил, все еще надеясь — вдруг тиснут? — ему предложили: «Накатай-

те сто строк о борьбе «живцов» с «тихоновцами», червонец, пожалуй, заплатим». Прахов вздумал было обидеться, потом поразмыслил — жить-то нужно — и согласился. За церковными темами последовали другие — столовки нарпита, фильм «Аборт и его последствия», приезд австрийской делегации. Сначала Прахову трудно было писать — выходило по-своему, не те чувства, не те слова, язык слишком густой и крепкий, но быстро он привык. Благородство и совестливость куда легче вывести, чем веснушки. Он сообразил, что не надо ему ни глядеть своими глазами, ни отзываться сердцем, ни раздумывать. Круг тем расширился: появились дамы, собаки, кадры фильмов, холодильники. Стихов он больше не сочинял, а увидев как-то на дне аткарского сундучка пухлую тетрадь, кинул ее пренебрежительно в печку: «Хлам!» Чин поэта казался ему теперь старомодным, как френч недавних и безвозвратно канувших лет. Он мечтал о бойком словце, о статьях, диктуемых мимоходом стенографистке, о баснословных гонорарах, об английском костюме, о всех соблазнах столицы, доступных обладателю пачки червонцев. Как я уже сказал, он переборщил. Все сложилось плохо. Дело это случая, вроде карт казино. Другие, не умней, да и не талантливей, добились денег, почету, автомобиля, заграничных командировок, а у него сорвалось: Проточный, долги, «незаметные» заплаты и чумная слава — «первый халтурщик Москвы».

Но зато как же он радовался сорока выигранным червонцам! Напиться — раз. Костюм — два. Таня — три. Эй, несись, кляча! Для пигмея из Проточного начинается залихватская жизнь. Однако возле Арбатских ворот бесчувственная кляча вовсе остановилась: улица была запружена сборищем зевак. Два драчуна, очевидно опередившие Прахова и успевшие уже приложиться, флегматично обменивались увесистыми затрещинами. Извозчик повернулся к Прахову:

— Народ-то!.. Совершенно обезумел. Ничего не чувствует!

Прахов ответил иронической улыбкой:

— Ты что, извозчик, может быть, стихи сочиняешь?

Но тот, уже не оборачиваясь, печально пробормотал:

— Набавить бы двугривенный.

Пошли дни горячие, сумасбродные, похожие на

глупый сон: от водки трещала голова, портной лопотал о габардине, официанты превращали весь мир в какое-то уменьшительное — за «кофеечком» следовал «зонтичек» (хотя зонт был огромный, купеческий), «погодочка», зазывали лихачи: «пажа-пжа», в «кружке» вчерашние насмешники из «Вечерки», почуяв дармовое угощение, расхваливали статейки Прахова и пили таинственную смесь из вина и компота, именуемую отвлеченно «напитком», секретарша ревновала, требуя новую сумочку, ругались и философствовали извозчики, за портвейном все начиналось сначала, то есть с графинчика: Прахов кутил. Не хватало ему только соседки. Хоть ездил он как-то с Таней кататься в Сокольники, хоть и не гнала она его теперь, все же дело тормозилось. Вдруг вскипело в Тане самолюбие, а может быть, и стыд. Прахову приходилось, как водевильному герою, в самый многообещающий момент убираться ни с чем. Приученный все расценивать на деньги, Прахов и здесь считал, что беда в отсутствии монеты — надо бы, покатавшись, заехать в кабак, подарить какую-нибудь финтифлюшку, щегольнуть набитым бумажником, шикарным галстуком... Глупо это, невпопад, но где же было Прахову разбираться в душевных тонкостях? Стихи он давно сжег, давно забыл он, что можно гореть, любить, лить слезы. Оставалась в нем одна мысль: — «Даром только лягушки квакают». Он никогда не думал: «Может быть, она любит Сахарова?», но: «Сколько же Сахаров на нее тратит?» Выигрыш неожиданно все изменил, и среди выпивок, примерок, катаний по Кузнецкому, Прахов не забыл зайти к знакомому ювелиру, где приобрел за восемь червонцев колечко с тремя крохотными камешками — два топаза и аметист, в виде трилистника. Теперь он был уверен в благополучном завершении дела.

Таня все еще находилась, после объяснения с Натальей Генриховной, в состоянии душевной апатии. Была она как золотой, выкинутый на двор Проточного: взять ее мог первый же встречный, так что Прахову не пришлось долго уламывать.

— Поедем в ресторан с музыкой.

Лежать здесь в полутемной комнатке, куда может войти в любую минуту Сахаров, или сидеть с Праховым, среди бумажных роз и свиных котлет? Все равно...

Прахов решил показать себя лицом и расшвырять остаток выигрыша. Он повез Таню на «Крышу». Войдя в зал, полный звяканья стопок, отрыжки, гитар, чавканья, хохота, дыма, она на минуту остановилась, как осужденный, увидевший перед собой перекладину виселицы, но сейчас же вспомнила — терять нечего, — и послушно села на указанное Праховым место. Она выпила несколько рюмок водки, от еды отказалась. Пока Прахов жадно сглатывал севрюжку и отбивные, она молчала. Лицо ее выражало крайнее спокойствие, более того — равнодушие, будто только восковой слепок сидел за столиком, принуждаемый чуждой волей, как вот этот букетик среди сальных тарелок, а душа отсутствовала, витала далеко — в мире синих берегов, пунцовых роз, волшебных лужаек. Это выражение отрешенности смущало Прахова. Он чувствовал, что дело не в бумажнике — все его истины колебались. Показав на эстраду, где две пожилые и чрезвычайно упитанные еврейки в детских платьицах устало подпрыгивали, он сказал:

— Скучная программа.

Таня вздрогнула. Она как бы очнулась от долгого забытья:

— Да? А я и не заметила. Мне, Прахов, вообще скучно, очень скучно.

Тогда что-то екнуло внутри Прахова, будто проснулся в нем прежний аткарский мальчишка, слов нет, грубый, самонадеянный, но горячий, всклокоченный, живой. «Надо бы ей сказать что-нибудь такое, — подумал он. — Но как здесь скажешь?..» С досадой оглядел он столь привлекавший его прежде зал. Кругом сидели Панкратовы, множество Панкратовых, те же бороды, те же лоснящиеся морды, те же «червячки». Они расстегивались, почесывались и, тупо глядя на толстые икры танцевавших женщин, сквернословили: «Эй, задирай, гражданка, этажом выше...» Они хотели за свои деньги всего. Некоторые были с женами, на которых смешно барахтались непривычные шляпки — Натальи Генриховны или другой «комильфотной» мастерицы. Жадно они отбирали от своих послушливых половин недоеденные тарелки и недопитые стаканы. Другие привели сюда «девочек» с Тверской, и здесь же уминали их, как хлебный мякиш. «Да, тут не до лирики, — пробурчал Прахов. — Надо есть и пить». Он налил Тане еще рюмочку.

— Выпейте, веселее станет.

Какая же это была угрюмая ночь! Сменяли прыгавших женщин непристойные куплетисты. Один за другим уходили вдоволь ублаженные гости, иных, перехвативших, выволакивали. А Таня и Прахов все сидели друг против друга, как сидят на вокзале два незнакомых путника, поджидая поезда. Они глядели в разные стороны и молчали.

Уже начало светать, когда они встали и, прежде чем спуститься вниз, вышли на открытую веранду. Внизу была Москва, огромная и непонятная: дома, купола, сады, все то сбитое в кучу, то раскиданное невесть куда, не город — хаос. Не знаю, глядели ли вы сверху на Москву: необычайное это зрелище, от него наполняется душа и гордостью и отчаянием. Можно здесь вознестись — чуден город, пышен, щедр, всего в нем много, печать вдохновенной свободы лежит на нем, ни прямых проспектов, ни унылого однообразия, дом на дом не похож — кто во что горазд, бедность и та задушевна; а можно и поплакать здесь, как будто эта величавая картина поясняет жестокую судьбу русского человека и русского писателя. Город? Не город вовсе — тяжелое нагромождение различных снов; нет в нем единой любви, поддерживающей усталого путника на жизненном пути, нет ни воли, ни подвига, ни разума, как во сне проходят перед глазами то размалеванная луковка, то модный небоскреб, то деревянная лачуга, то базар, то пустырь,— все сонное и призрачное, так что хочется воскликнуть: друзья мои, это ли наше великое средоточие?..

Ни Таня, ни Прахов не размышляли о столь высоких и праздных вещах, однако беспомощная торжественность Москвы дошла до их сердец. Она, водка, тоска, а может быть, и близость Тани глушили Прахова. Он изменял всему строю последних лет. Ему захотелось вдруг объяснить Тане, что он вовсе не такой, что есть в нем, помимо «половых функций» или гонорара, человеческая глубина, настоящие чувствования; но как сделать это — он не знал. Он не находил нужных слов, те, что лезли в голову, были захватанными, юркими, гадкими словечками из «Вечерки».

— Знаете, я ведь стихи прежде писал, и неплохие.

Таня молчала. Прахов забеспокоился: не верит! Он морщился, пытаясь вспомнить какое-нибудь из своих стихотворений, но на ум приходили только строчки из

последней статьи: «Так совершаются органические процессы, и зарождается в толщах...» Наконец, в сердцах, он сказал:

— Вот хотя бы начало одного из них: «Я так любил ее — до грубых шуток и до...» Нет, дальше не помню. «До грубых шуток...»

Если бы Прахов вгляделся в сероватую тень, стоявшую рядом с ним, то он увидел бы, что на щеках Тани были слезы, но глядел он, раздосадованный, в сторону, начал тяготиться разладом: то или это... Что за нюни!..

Они поехали в Проточный. Ни одним словом не обменялись за долгий путь. Тряслась пролетка, тряслись две головы, угрюмо склоненные, трясся извозчик, и казалось — это не любовная парочка едет из ночного кабака, а везут в покойницкую труп самоубийцы. Прахов прошел в комнату Тани. Ему хотелось не то спать, не то долго и безысходно хныкать, как ребенку. Однако его не покидала мысль: сегодня или никогда...

Недавнее смятение все же не прошло без следа. Среди привычного наигранного цинизма то и дело прорывалась трогательная мягкость. Таня, кажется, ничего не чувствовала, кроме усталости и одиночества. Но когда Прахов, уходя, ласково поцеловал ее глаза, она поглядела на него с признательностью. «Если б я не была так измучена, так изгажена, если б могла я полюбить, я, кажется, его полюбила бы. Но он ведь этого не знает. Он думает, что и с ним, как с Сахаровым... Какой ужас!..»

Эти мысли сквозь дурноту, сквозь полусон, сквозь наплыв нежности, которые означали если не любовь, то ее томительное и болезненное зарождение где-то в самой глубине сердца, были прерваны веселой суматохой, поднятой Праховым. Он вдруг вспомнил: а подарок? Да, он настолько поддался наваждению этой ночи, что чуть было не забыл о колечке, хоть вечером оно ему казалось порукой счастья. А вспомнив, он искренне обрадовался. Он видел печаль Тани, терялся перед ней, как перед непонятной болезнью. Может быть, подарок ее развеселит, отвлечет от унылых мыслей... Он надел кольцо на палец Тани:

— Как раз впору...

Таня не сразу поняла, что это.

— Подарочек. Я вчера купил, кажется, красивое...

Таня засмеялась бессмысленно и безысходно, нехорошо засмеялась. Потом какая-то мелькнувшая

второпях мысль заставила ее приподняться, переспросить Прахова с тревогой, в которой опытный слух, может быть, различил бы и надежду:

— Что это?.. «Грубая шутка»?..

Прахов совсем растерялся.

— Да что вы? Могу же я вам, после всего, подарить безделку!..

Тогда Таня вскочила, швырнула кольцо на пол и грубо крикнула Прахову:

— Зачем такие фокусы? Могли бы заплатить просто деньгами!..

9

ПРОЩАЙ, ДУША!

Таня лежала без мыслей, без воспоминаний, спала с раскрытыми глазами, все более и более отдалялась она от живой жизни. Ночь с Праховым доконала ее, даже не ночь, а исход, эта неожиданная, против воли, нежность к Прахову, еще не успевшая стать подлинным чувством, которая одна могла ее спасти, так глупо раздавленная мужской грубостью. Мертва теперь нежность, она гниет, как труп, вместе с ночью, с девятнадцатью прожитыми годами, с привязанностью к солнцу, к цветам, к человеческому голосу.

За стеной все шло по-обычному: раздувал самовар Лойтер, Юзик пиликал, разучивая новый «кусочек». Прахов, тот как свалился — уснул, сапог не снял, даже не снял с лица гримасы негодования, вызванной выходкой Тани: вот вам, отблагодарила!.. Под окном орали мальчишки — собирались топить на помойке щенят. Сука грустно подвывала. Так вот встают, уныло потягиваются — пора на службу — и долго полощут рот, стараясь отделаться от привкуса жизни, пьют чай, тянут, что называется, лямку. Тянули ее и в то утро.

А в комнате Тани было тихо, пусто, хоть и лежала Таня, хоть и дышала, шевелила веками. На полу возле двери валялось колечко,— «гранфасон», как сказал Прахову ювелир. Таня о нем не вспоминала. Она прошла через все. Казалось, молодая душа вступает в агонию, нет больше ни живой боли, ни слез, только внезапные судороги, не понятный никому лепет, отмирание.

Тогда боязливо приоткрылась дверь, и в щель просочились неунывающие усики. Долго Сахаров колебался — трусил: прогонит, боялся и скандала покрупнее, крика, огласки, вмешательства подозрительных обитателей квартиры № 6. Однако «сердце — не камень». Забавна, слов нет, влюбленная Поленька, но не может же Сахаров пробавляться одними анекдотцами... Завести новую? Хлопотно, да и накладно. А денег у Сахарова вовсе не было: Наталья Генриховна держалась стойко. Он — о костюме, о заветном, каштановом, а она в ответ о какой-то уголовщине. Черт знает что! Кончена семейная жизнь! Все складывалось против Сахарова, и без натяжки можно сказать, что даже усики его поникли. Он постучался. Таня не ответила, тогда он решился войти, даже подойти к кровати, хоть — что ни шаг — пятился назад, обдумывал, как бы в случае чего удрать с достоинством. Что за ерунда!.. Таня не гнала его, не отвечала ему, все так же лежала, широко раскрыв глаза, не двигаясь, как будто и не пришел Сахаров. «Вот до чего зла,— подумал он,— глядеть не хочет. Здесь без дипломатии ничего не выйдет...» Голос Сахарова стал страдающим:

— Ты вот на меня сердишься... А я до точки дошел. Руки я на себя наложить могу. Не веришь? Поздно будет, когда поверишь. Теперь ты видала, с какой я штуковиной живу? Она тебя в три минуты уничтожила, а я — выговорить страшно — я десятый год с ней мучаюсь! Ты постой, постой, я сейчас тебе все объясню!..

Сахаров засуетился, замахал руками, боясь, что Таня станет упрекать его, хотя она, не меняясь в лице, все так же лежала навзничь.

— Ты за тот раз злишься? Очень глупо. Я же тебя выручил. Разве ты знаешь, на что эта баба способна? Разговоры? На разговоры плевать. Но здесь уголовщиной пахнет. Скажи я тогда одно слово — она убила бы нас на месте. Я, Танечка, по любви... Неужели ты этого не чувствуешь? Ну, дай я поцелую тебя...

Он наклонился. Глухо и спокойно сказала Таня:

— Если вы до меня дотронетесь, я закричу. Придут люди. Не стоит...

Сахаров, ошеломленный, отскочил:

— Это что за тон? Я, кажется, никогда не злоупотреблял силой. Как вам угодно... Я только объясниться хочу. Это мое право. Подумай-ка сама. Почему я живу с ней? Исключительно из-за ребенка. Ты этого чувства

еще не испытала. Но здесь я связан по рукам. Она, мало сказать, истеричка — она ненормальная. Ее бы — на Канатчикову дачу... Ты знаешь, что она мне вчера сказала? «Если не порвешь с ней, я ее убью». И способна. Вот недавно — читала в газетах? — в Ленинграде одна ведьма, тоже «фон», девушку на куски изрубила и в Неву кинула. Она и меня может убить. Я тебя защищаю. Это — трагедия. А ты из-за каких-то пустяков крик поднимаешь. Стыдно!

— Да, да, я все понимаю. Я не сержусь. Только я прошу тебя — уйди сейчас. У меня голова болит. Я не могу с тобой разговаривать.

— Голова — ерунда. Можешь аспирину принять. У тебя вот и глаза блестят — насморк схватила. Знаешь, что я тебе скажу,— я уж и план выработал. Нельзя жить под вечной угрозой. Как только раздобуду сто червонцев — расплачусь с долгами, обеспечу Петеньку на год, и тогда мы с тобой переедем. Я и комнату присмотрел — в Лялином переулке, чудесный квартал, это не наш Проточный. Разрубить, так сказать, сплеча. Сейчас нельзя — кризис полнейший. Жалованья третий месяц не выплачивают — высшая политика. Вот я и бегаю с утра до ночи — все пытаюсь набрать двадцать червонцев. Это у меня «долг чести». Ситуация прямо-таки критическая...

Голос Сахарова срывался. Казалось, еще минута, и униженные усики оросятся горячими слезами.

— Вон там кольцо валяется. Возьми. Сколько оно стоит, не знаю. Можешь продать.

Сахаров долго ползал по полу, разыскивая закатившееся под комод колечко. Наконец он нашел его, прищурился с видом знатока, хотя в камнях ничего не смыслил:

— Кажется, настоящие, и работа... Но как же я у тебя возьму? Дашь, а потом самой жалко станет.

— Нет, бери. Я его все равно носить не буду.

— Ну, что ж, в таком случае мерси. Очень глупо, что тебя даже поцеловать за это нельзя.

— Нет, нет, не подходи. Голова болит. И уходи. А кольцо забирай.

Обиженно шевеля усиками, Сахаров засунул колечко в жилетный карман с нарочитой небрежностью, будто это трамвайный билет. Он хотел показать, что снисходит к вздорным желаниям Тани.

— До свидания. Надеюсь, что в следующий раз ты будешь гостеприимней.

Тогда какая-то мысль заставила Таню оживиться, даже встать, пристально взглянув на Сахарова. Может быть, она вспомнила, что как-никак перед ней человек, которому отдала она свое девичество, который видел ее стыд и слезы, не первый прохожий, а проклятый суженый, если и черт, то свой, домашний. Она остановила Сахарова:

— Обожди. Я должна тебе что-то сказать. Ты знаешь, откуда у меня это кольцо? Мне его дал один человек. Я с ним провела ночь. Понимаешь?.. Вместо денег...

Сахаров даже запищал от возмущения:

— Вот как!.. Прикидывалась чистоплюйкой — «ах, ненастоящее!..». А между прочим... И расцениваешь ты себя не очень-то дорого. О чем я, дурак, думал?..

— Чем ты возмущаешься? Денег ты на меня не тратил. Даже кольцо получил. Жалеть тебе как будто не о чем.

— А обида? Это не в счет? Я ради тебя чуть ли не в монахи записался. Ты что думаешь, мне легко без женщины? Но я ни-ни... А ты в это время...

Таня прервала его:

— Хватит! Поговорили по душам, теперь уходи. А с кольцом — как хочешь, можешь взять...

Сахаров заерзал. Как выйти из положения? Таню он проворонил, это дело пропащее. Но с кольцом? Двадцати, конечно, не дадут, а пять выгнать можно — тоже деньги. Однако — самолюбие. Нельзя же после всего преспокойно раскланяться, как будто и нет у него в кармане никакого кольца. Он бегал по комнате, стараясь выдумать что-нибудь хоть сугубо надменное, но избавляющее его от отдачи презента. Наконец, так ничего и не придумав, он вытянулся и, тщась стать высоким, важным, независимым, как покойный барон фон Майнорт, медленно процедил:

— Я беру его, чтобы показать... ну, презрение. Прощай.

Когда Сахаров вышел, Таня начала смеяться жестоким, нервическим смехом. Она металась по комнате, рвала какие-то бумажки, суетилась, подбирала клочки, и все смеялась. Мускулы ее лица судорожно дергались от приступов этого смеха, а глаза глядели по-прежнему бессмысленно, как забитые окна покинутого жителями города. Потом она выбежала в коридор:

— Юзик! Идите сюда, Юзик! Я расскажу вам смешную историю.

Юзик прибежал, как был — в дырявой фуфайке, со скрипкой. Он очень обрадовался. Две недели Таня с ним не разговаривала: сердилась за нотации. Юзик, как-то увидав у нее бутылочку (Прахов принес), робко попросил: «Не нужно, Татьяна Алексеевна, лучше поезжайте себе в Покровское, там такой удивительный воздух, или я принесу вам котенка, с котенком, по-моему, не так тоскливо...» Две недели терзался Юзик, доводя «комическими кусочками» чувствительную Лойтер до слез. И вот Таня зовет его. Он прибежал сияющий и нежный, как придорожный кустик в эти весенние дни. Увидев глаза Тани, он, однако, сразу осекся.

— Что же вы испугались, Юзик? Мне просто очень весело. Разве вы не видите, что мне очень весело? Хотите, я и вас развеселю? Смешная все-таки вещь жизнь. Вы только послушайте. Я очень скверная женщина. Но не в этом дело. Сегодня Прахов ночевал у меня. И он дал мне за это кольцо. Видите, какой он деликатный! Он ведь, оказывается, и стихи пишет, поэт! Ну, разве не смешно? Почему вы не смеетесь, Юзик? Обождите, самое веселое впереди. Я дала это кольцо Сахарову. Я ему рассказала все. И знаете, что он сделал? Юзик, он взял кольцо! Смейтесь, Юзик! Это ведь смешно...

Горбун не смеялся. По правде сказать, он плакал, хоть и не мужское это дело, он стоял и плакал настоящими слезами. Но Таня не глядела на него. Ее возбуждение все росло.

— Юзик, я буду сейчас танцевать. А вы играйте. Играйте фокстрот. Ну!..

— Я не могу сейчас играть, Татьяна Алексеевна. Если б я был великим артистом, я сыграл бы самую прекрасную вещь. Я сыграл бы такую вещь, что все стали бы перед вами на колени и заплакали, да, да, и эти низкие души, и мадам Лойтер, и даже дома Проточного. Я сыграл бы, и в ваши глаза вернулась бы жизнь. Но я не великий артист, я жалкий недоучка. Я могу играть, только когда люди смотрят на экран и не слушают музыку. Но разве можно говорить сейчас о музыке? Я тихий человек, но сейчас я способен убить этого низкого Прахова. Татьяна Алексеевна, уезжайте отсюда! Я говорю вам, что есть другая жизнь, честное слово, есть настоящая жизнь! Я буду очень страдать, когда вы уедете, но еще больше я буду

радоваться. Вас обидели. Детей всегда обижают. Когда я был маленьким, весь Гомель смеялся над моим горбом. Но вы найдете других людей, и они будут хорошими людьми. Вы говорили, что у вас где-то сестра. Уезжайте к этой сестре. Уезжайте, или я, Юзик, прокляну жизнь!

Пока он говорил, Таня сидела понуро в углу. Вспышка мнимой веселости кончилась. На смену пришло изнеможение. Она плохо соображала, о чем ее просит Юзик. Машинально повторила она:

— Да... сестра...

А минуту спустя уже настойчиво, в упор она спросила Юзика:

— Вы можете достать морфий?

— Татьяна Алексеевна!.. Танечка!.. Не говорите мне таких ужасных вещей. Вы не можете умереть. Я вас не пущу! Вы — благородная душа, и вы найдете благородного человека. Хотите, я буду сторожить вас, как собака, чтобы никто не посмел вас пальцем тронуть? Если б я мог, я принес бы вам не этот проклятый морфий, я принес бы вам все цветы мира, все звезды, весь смех, всю радость. Но что я могу вам принести, кроме моего смешного горба? Я вам не дам пить яд! Я не позволю вам умереть! Я вцеплюсь в вас!..

Он ловил глазами ее глаза, как одержимый, и Таня испугалась его. Она не задумывалась, почему этот чудак кричит, плачет, упрашивает. В своем горе она не замечала любви Юзика, как не замечают на похоронах стыдливого благоухания цветов. Слезы горбуна не доходили до ее сердца. Влекомая одной угрюмой мыслью, задумчиво отвела она руку Юзика. О чем он хлопочет? Разве он не видит, что Таня умерла, что перед ним сидит, дышит, разговаривает не человек, но только случайный набор глаз, волос, слов, привычек? Какая в нем нелепая и надоедливая суетливость! Вот так он и с Праховым, и с Лойтерами, и с Осенькой, у которого, видите ли, «животик болит»... Прахов негодяй, но Прахов правильно прозвал Юзика: «протопоп из Гомеля». Так, видно, в жизни все устроено: если есть в человеке доброта, нежность, отзывчивость, то уж обязательно он смешон. Надо его успокоить и отослать...

— Я пошутила, Юзик. Не бойтесь, все в порядке. Завтра вы перемените в библиотеке книги. Хорошо?

Недоверчиво взглянул Юзик на Таню, нахмурился, примолк. Он увидел, что его бессвязные речи не

поняты, что весь он комичен, как анекдот, а то и противен, что не в его власти вернуть Тане жизнь. Кажется, впервые со стыдом, более того — с отвращением, он подумал о своем уродстве. Будь он высоким и стройным, может быть, по-иному звучали бы эти клятвы и мольбы. С невыносимой, даже для бесчувственного уха, грустью сказал он:

— Я пойду. Хорошо, я переменю книги. Я не буду больше вам надоедать моими глупыми разговорами. А вы... а вы...

Растроганно Таня положила руки на плечи Юзика:

— Что я?.. Что же мне остается, Юзик?

Твердо ответил он:

— Радоваться. Вам остается радоваться, Татьяна Алексеевна, да, да, жить и радоваться. Если человек перестает радоваться, — значит, он больше не живет. Я только что сказал себе: «Ты урод и ты дурак». От этого можно умереть. Но вот я живу и я радуюсь, радуюсь, что вижу вас, Танечка...

Лицо его действительно выражало беспредельную радость. Нежность переходила в высокое самозабвение. Но Таня глядела мимо, глядела в окно, на серое дождливое небо, лишенное и окраски и глубины, глядела глазами холодными, отрешенными, как путник, собравшийся в дальний путь, когда завязаны чемоданы, часы торопят — «пора», и одно остается, полное невыразимой печали объятие: прощай, друг! прощай, душа!

10
УЛЫБКА ПРОЗЕРПИНЫ

Несколько раз за день Юзик подходил к двери соседней комнаты и прислушивался. Услыхав легкий шорох, шаги или шелест бумаги (Таня что-то писала, а потом рвала написанное), он немного успокаивался. Даже в кино он не пошел, упросив Лойтера позвонить из пивной, будто он заболел гриппом. Посетителям «Электры» пришлось удовольствоваться пианино, а гражданка Лойтер угрюмо объявила своему супругу:

— Юзик переигрался. Нельзя каждый вечер выворачивать душу. У него вовсе не грипп, у него самое настоящее сумасшествие.

Часов в одиннадцать вечера, подойдя к двери Тани, Юзик ничего не услышал. Он робко поскребся. Ответа не последовало. Тогда он решился заглянуть в замочную скважину. Таня спокойно спала. Равномерно приподымалось на ее груди одеяло. Может быть, она действительно пошутила? Ведь не поняла она ни слез Юзика, ни порывов. Он вспомнил: «Перемените книги»,— и ему стало обидно. «Пойду поброжу по улицам»,— он знал в жизни одно утешение: ходить среди других людей, глядеть, как они франтят, смеются, целуются; то умилится перед окошком, где цветет самовар, как райская птица, порхает женская рука с чашкой и благоухает поздняя беседа, то сунет мальчонке припасенную карамельку, то пофилософствует с нищим, у которого если не горб, так костыль или погоревшее добро.

Дела Юзика в последнее время как-то не клеились. Конечно, такому уроду не на что надеяться, но уж чересчур все складывалось против него. Заведующий «Электрой» на прошлой неделе объявил: «Вы так фальшивите, что даже публика замечает. Ищите другое место!» Легко сказать — откуда Юзик найдет «другое место»? Теперь лето, теперь режим экономии, теперь никто не хочет музыки; у кого есть деньги, едет в Крым, а у кого нет, тот сидит дома и ждет похорон. Ботинки Юзика превратились в сандалии: все пальцы наружу, и у этих сандалий скоро вовсе не будет подошв. Он дал взаймы пианисту Шварцу четыре червонца. У Шварца племянница заболела дизентерией. Канули деньги. Прежде Юзик ездил из «Электры» — трамвай «Б» довозил его до Смоленского,— теперь возвращался он пешком. Не в этом беда: пешком, пожалуй, приятнее, даже без подметок. Хуже всего, что люди вокруг стали хмурыми, неприязненными. Почему тот же заведующий вдруг решил, что Юзик фальшивит? Засадили его брата — и «минус семь». Заведующий возненавидел мир, он перестал бриться и выдавать контрамарки. С Лойтерами теперь заговорить страшно. Шутка? Ждут четвертое пополнение — и все это в одной комнате! Кругом только жалуются: «жалованья не выдают», «сократили», «ботинок не выкроишь», «заказчиц нет», «о даче и не думаем»; никто не радуется, что стоят ясные дни, что зелен и нежен Новинский бульвар, что хорошо жить даже без жалованья и без ботинок. Чужое горе теснит Юзика, от него

не отделаешься ни поучениями двух гомельских умников, ни пламенным бредом неизвестного сочинителя.

И вот — Таня! Что будет с Таней? Сейчас она уснула. А завтра?.. А завтра придет к ней Сахаров, или Прахов, или еще какой-нибудь низкий человек, они заставят ее плакать, горько смеяться, говорить о каком-то «морфии» и глядеть на мир ужасными мертвыми глазами. Они убьют ее, выживут из жизни, как выжил Панкратов детишек из своего подвала.

Юзик проходил мимо абрикосового домика. Вспомнил он зимнюю ночь, сугробы, свежезаваленный ход. Куда девались эти дети? С той ночи Юзик больше не встречал их. Может быть, замерзли они, не найдя теплой норы? Горбун остановился перед освещенным окошком и погрозился жалким младенческим кулачком:

— Злые души! Мелкие души!

У окна стояла Панкратова, она прямо-таки обмерла от столь неожиданного зрелища:

— Алексеич, гляди-ка! Горбатый жиденок взбесился. Знаки подает...

«Сам» раздраженно харкнул.

— Доколе мы этих «гипиушей» не выкурим, житья нам здесь не будет.

Юзик бежал. Дальше от этих людей! Но не так-то легко отделаться от прилипчивых призраков. Только загнул он за угол, как увидел Прахова; тот трясся на извозчике, возвращаясь домой, после бутылки рябиновки, хоть пьяный, но невеселый: кончены сорок червонцев, катанья, нежные чувства. Завтра придется снова выгонять строчки. Юзик кинулся к пролетке:

— Стойте! Что вы с ней сделали?..

Прахов озлился:

— Эй ты, конек-горбунок, отвяжись!.. «Что сделали»? До меня, дурак, сделали. Только тебя там не было. Извозчик, ты чего остановился? Трогай! Не до разговоров мне...

Подстегнул лошадку извозчик, и вот нет Прахова, будто и не было вовсе его. Потешаются над Юзиком обитатели Проточного. Он стоит посередине мостовой, обруганный, осмеянный. А Прахова и след простыл. Погубил Таню, потом напился у своих красивых актрис. Это и есть жизнь, над которой думают умники? Тогда к черту жизнь! Тогда не Тане нужен мор-

фий, а ему, Юзику. Он болтал сладкие глупости. «Перл»? Нет никаких «перлов»! Это у Сахарова и кольца и перлы. Кому здесь нужны улыбки? И можно ли улыбаться, если рядом убивают?..

Долго метался он по улицам и переулкам, грозясь, негодуя, жалуясь перед закрытыми ставнями, перед золотом вывесок, перед фонарями. В душе он произносил бичующие речи, взрывал памятники, вытаптывал цветники. Встречные, однако, подмечали только дикое попыхивание глазок. Попробовал он было подсесть к какому-то мрачному гражданину, которой хоть и вышел без дела, «воздухом подышать», но воздух этот вдыхал с явным отвращением, а выдыхал с мукой: такой поймет! Но только Юзик начал, как собеседник подозрительно оглядел его:

— Я, гражданин, критикой не занимаюсь. За такие разговоры очень легко попасть в восточную часть Федерации.

Наконец — было это возле Арбатских ворот — Юзик напал на старого нищего, с лицом, памятным ему еще по Проточному. Сосчитал — полтора рубля, рубль он отдал старику, а на полтинник решил зайти с ним в пивную — поговорить. Нищий был ростом высок и, несмотря на сутулость, важен, будто не выпрашивает он «копеечки», а пишет законы или отдает приказы. Юзик даже побаивался его. Неуверенно он предложил:

— У меня осталось пятьдесят копеек. Если хотите, зайдемте сюда. Я скажу вам прямо — трудно человеку, даже такому пугалу, как я, жить без душевной беседы...

— Очень приятно. В таком случае разрешите представиться: Освальд Сигизмундович Яншек, бывший преподаватель латыни Первой классической гимназии.

В пивной, куда они зашли, было пустовато. Оглядев костюм приятелей, хозяин потребовал деньги вперед. Сидели они друг против друга чопорно, скажу даже, торжественно, как на официальном приеме. Разговор не ладился. Перебирать пустяки — где больше подают, на Арбате или на Мясницкой, с чего взбеленился заведующий «Электрой», какие у кого обиды — не хотелось. Молча выпили они бутылку. Вынув полученный от Юзика целковый, Освальд Сигизмундович спросил вторую. Еще большей горечью наполнило пиво сердце Юзика. Наконец он не выдержал:

— Вы — бывший преподаватель латыни. Значит, вы многое знаете. Меня никогда не учили латыни.

Меня вообще ничему не учили. Я сам научился играть на скрипке, и я не играю, я пиликаю, как сапожник. Мне стыдно перед полотном. Может быть, у этих фотографий имеются уши. У публики нет ушей, у нее нет сердца. Кто смотрит картины, спрошу я вас? Вы? Нет, Сахаров, Панкратовы, Прахов. Они смотрят, как великодушный китаец спасает несчастную девушку, и кричат «браво», а потом они идут домой, пьют чай и преспокойно убивают какую-нибудь девочку. Так зачем мне играть хорошо? Зачем жил Бетховен? Вы знаете какую-то латынь. Это, вероятно, звучит как самая изумительная соната. Но зачем вы их учили этой латыни? Если вы такой умный человек, объясните мне, почему они могут сейчас спокойно спать, а у меня болит сердце?..

Освальд Сигизмундович откашлялся, как будто всходил на кафедру:

— Гм... Как бы вам это объяснить?.. Существуют, например, неправильные глаголы. Вы, молодой человек, отклоняетесь от общего правила. Вы не погнушались обществом нищего. У вас болит сердце. Вы говорите велеречиво, как Цицерон, а улыбаетесь, как дитя. Когда-то я думал, что ошибаться не следует. Я даже ставил мальчикам, которые ошибались в роде существительных, низкие баллы. Теперь я вижу, что прав только тот, кто великодушно заблуждается. Не на благородных ли заблуждениях построены прекрасные жизнеописания? Дочь бога нисходит в мир праха и смерти, чтобы цвели вербены, чтобы гремели цепы поселян, чтобы глагольствовал Гораций. Я как бы вижу улыбку этой обреченной девицы: она полна испуга и восторженности.

Юзик взволновался:

— Вы говорите очень красиво и умно, но у меня по-прежнему болит сердце. Вы не хотите ответить мне — зачем улыбаться, зачем играть на скрипке, зачем жить, если рядом вот такая пакость, если этот хозяин пивной, наверное, считает барыши и убивает детей, если все злятся, ругаются, друг друга обижают, если нет на свете никакой, даже самой малюсенькой истины?

— Молодой человек, вы задаете мне праздные вопросы. Когда-то другие юноши спрашивали меня: «Зачем изучать латынь?» Разумеется, я мог ответить им — для аттестата зрелости, для успешного ознакомления с юриспруденцией, с естественными и гумани-

тарными науками. Я отвечал им: «Этот мертвый язык бесцелен и прекрасен, как вся жизнь. Бескорыстностью своей он пробуждает сонную душу». Много лет прошло с тех пор. Уж я не преподаватель классической гимназии, а нищий. Однако я вижу, что не ошибался.

— Так почему же вас, преподавателя латыни, выбросили на улицу? Где тогда справедливость? Одно из двух — или вы правы, или они?

— Я был прав. Это — прошедшее время. Они правы — это настоящее. А дети, играющие сейчас погремушками,— будут правы: футурум. Меня выбросили, как вы изволили заметить, потому, что я отжил свой век. Я никого не осуждаю. С удовлетворением глядел я на их флаги, на их шествия, на их воодушевление. Прекрасна, молодой человек, кровь, приливающая к щекам, и огонь самозабвения в глазах! Среди них имеются мои бывшие ученики. Пусть они смеются надо мной, они тоже любят эту мифическую улыбку. У них тоже существуют свои преподаватели латыни. Я говорю им: живите, шумите, ошибайтесь! Мне не нужен старый мой мундир. Я вам кланяюсь и благодарю вас за то, что вы живете, когда я, Освальд Сигизмундович Яншек, не могу больше жить...

Здесь голос старика наполнился звонкостью и силой. Он встал. Он был прекрасен, как статуя римского оратора. Но хозяин пивной не разделял восторгов:

— Довольно разводить музыку! Выпили, а теперь — вон. Пиво, оно любит, чтоб его прогуливали...

Собеседники вышли на улицу. Короткая ночь кончалась. Белесые переулки, полные нежности и тишины, вели их, пугали, умиляли. Что за час, чудный час! Только коты его знают, одни коты бродят по этим предутренним переулкам. У них своя, непонятная жизнь. Они останавливаются, выгибают спины, глядят друг на друга пустыми, безумными глазами, издают легкие восторженные вскрики. Поверьте котам — это время гулять, беседовать, искать завалившееся между камнями мостовой крохотное счастье и ничего не искать, только улыбаться огромному розовому зареву, что охватило полнеба, игрушечную каланчу, купола, дома, вздутые ветерком твои волосы, милая моя московская подруга!..

— Я не русский. Смутно помню я мой родной город, старинные часы на ратуше, кофе с взбитыми сливками, военную музыку. Я привык к этой стране,

полюбил ее. Дорогой юноша, верьте мне, нет лучшей страны, чем эта! Огромны ее реки, темна ее судьба. Это страна, где много ошибаются, следовательно, это великодушная страна. Не сыщете вы здесь ни наших школ, ни наших бургомистров, ни наших честных кондитеров. Со стороны кажется, что одни воры вокруг, пьяницы, человекоубийцы. Но где вы найдете столько благородства и снисхождения, столько сумасбродной привязанности, как здесь, в этих злосчастных домиках?

Он остановился, рукой обвел расстилавшуюся перед ним картину: дощатые заборы, церквушка, вывеска часовщика, а дальше, внизу — копошащиеся тени и наша грязная красавица, Золушка — Москва-река. Они стояли на углу Проточного переулка. Юзик возмутился:

— Здесь? Не говорите этого! Поверьте мне, в этих домиках живут недостойные ваших слов люди.

— Кто знает?.. Может быть, здесь живут люди, о которых я недостоин говорить? А улыбка? Разве вы не видели здесь улыбки?..

— Обождите! Вы меня совсем расстроили вашими разговорами. Если б вы знали, на что способны эти люди... Здесь нет никакой истины. Ее нигде нет, даже у ваших бургомистров и кондитеров. Слушайте, я расскажу вам одну историю. Я слыхал ее в Гомеле, когда я был еще маленьким мальчиком. Я любил тогда слушать истории. Рассказывал ее старый шамес Ицох. Этот Ицох так прыгал на животе покойника, прежде чем закрыть его глаза, что мертвые кости хрустели, выл он ужасно, все гомельские собаки поджимали хвосты. Когда он умер, ему было восемьдесят шесть лет. Перед самой смертью этот Ицох созвал всех добрых евреев Гомеля, засмеялся неприличным смехом и рассказал им такое, что Коган-старший, убегая, потерял зонтик. Вы знаете, что он рассказал им? «Каждый год в иом-кипур я ел свиные котлеты с горошком. Это — раз. Я украл у вдовы Шиманович брошку. Это — два. Если вы думаете, что Мотька испоганил племянницу госпожи Зибель, так вы ошибаетесь, это я ее испоганил. Это — три... В синагоге я тихонечко напевал самые бесстыдные куплеты, а когда я проказничал с Ривкой, я нарочно надевал на себя священный тфилим. Это — четыре, и это — пять, и это — сто пять. Вы думали, что я хороший еврей, так знайте, что это вовсе не так, мне восемьдесят шесть лет, и я самым спокойным образом умираю, а вы все дураки». Кто

в Гомеле тогда не отплевывался, вспоминая покойного шамеса! А я думаю, что этот шамес был неплохим человеком. Может быть, он и свои грехи придумал, чтобы напугать Когана-старшего или других «праведников»? Ему, наверное, было скучно взять себе и тихо умереть. Вот этот Ицох незадолго до своей смерти рассказал мне замечательную историю о луцком раввине.

В городе Луцке жил раввин. Я прошу вас, вообразите все самое необыкновенное — красоту, ум, богатство, молодую жену,— и вот все это было у луцкого раввина. И сам он был тоже молодой. Ну, скажем, ему было двадцать пять лет, как мне. Но не забывайте, вместо горба — стройная фигура, как на картинке, а вместо «Электры» — такая голова, что за советами к нему приезжали умники из десяти губерний. Он знал все книги, какие только может знать еврей. Если он и не знал латыни, то, наверное, знал что-нибудь такое же непонятное. Он мог бы наслаждаться жизнью, как грешник и как праведник. Он мог бы сиять. И вдруг он просыпается, встает, чувствует, что все не так, не радует его красота жены, не веселят почтительные вздохи евреев, приехавших из десяти губерний, его не утешают даже книги. Он чувствует, что у него болит вот здесь, как у меня. Тогда он говорит жене: «Прощай, жена!» Он говорит евреям: «Прощайте, евреи!» Он вовсе никуда не уезжает, он уходит к себе в комнату, он запирает дверь. Что такое? Луцкий раввин решил не видеть больше живых людей, чтобы увидеть истину. Он решил просидеть у себя двадцать пять лет, чтобы узнать, где справедливость. И он просидел ровным счетом двадцать пять лет. Ему подавали в окошечко еду, чтобы он не умер до того, как он найдет истину. Об этом узнали не только в Луцке, но и во всех десяти губерниях. Все евреи только и говорили что о луцком раввине, который ищет истину.

Двадцать пять лет, вы понимаете, сколько это? Но прошли двадцать пять лет, и в доме луцкого раввина собрались набожные евреи, чтобы узнать, где же она, эта «истина»? Вы знаете, что такое сейдер? Это пасхальный ужин. Горят свечи. На столе всякие вкусные вещи, и вино, и водка — пейсаховка. Все ждут, сейчас выйдет он. Гости садятся за стол. Они едят и пьют, хоть у них застревает кусок в горле: что-то сейчас они услышат?.. Но не есть нельзя, раз это сейдер — ведь собрались сюда самые благочестивые евреи. Они ждут

и ждут, а его все нет. Сначала они еще пробуют улыбаться. Они говорят друг другу приятные вещи. Потом им становится страшно. Почему он не приходит? До какой истины он там дошел? Уж догорели все свечи, только один огарок еще подпрыгивает, как зарезанная курица. Тогда открывается дверь, и входит он. Если свечи догорели — значит, темно. Что можно увидеть при свете одного огарка? Они видят только седую бороду. Двадцать пять лет не шутка. Луцкий раввин успел поседеть. А он идет к последней свече — и что, вы думаете, он делает? Он гасит ладонью свечу. Боже мой! Вы не понимаете, что это такое? Даже самый плохой еврей постыдится в такой вечер погасить свечу, а ведь это сделал раввин, и перед всеми праведниками десяти губерний. Дрожат от ужаса евреи. В темноте они больше ничего не видят. Тогда раздается его голос, такой печальный, что сердце разрывается на части, и говорит он, луцкий раввин, всем евреям: «Нет истины, нет справедливости, нет судий!..»

Преподаватель латыни, скажите мне, как вам нравится эта история? Я никогда не вспоминал ее. Разве можно вспоминать такие вещи, да еще когда на спине хорошенькая шишка? Но сегодня я своими глазами увидел то, что увидел луцкий умник, и мне не пришлось для этого двадцать пять лет думать. Я увидел это сразу, как только вошел в комнату одной девушки. Я тоже погасил свечу, и я сошел с ума. Я не хочу больше слушать о какой-то улыбке...

Освальд Сигизмундович сохранял спокойствие, величавость:

— Луцкий раввин ошибался. Он хотел найти общее правило. Он нашел его. А найдя, увидел, что ничего не нашел. Жизнь, мой юный друг, только в исключениях. Вы не хотите мне верить? Вы сомневаетесь в улыбке Прозерпины? Что же, я не стану вам рассказывать о древних происшествиях. Я забыл и летопись Рима, и стихи Вергилия. Я расскажу вам нечто более близкое, а вы поймете, что я прав. Но обождите... Нас никто не услышит? Я не хочу, чтобы кто-нибудь, кроме вас, услышал меня. Это было зимой. Я жил тогда с беспризорными в подвале. Не спрашивайте меня, где это было. Я не хочу никому мстить. Представьте себе маленький домик, с виду похожий на тот, что перед нами. И вот хозяин этого домика, ночью, когда мы спали...

Юзик вскрикнул.

11
ДВЕРЬ НАСТЕЖЬ

Происшествие немало взбудоражило даже видавший виды Проточный, хотя, если взглянуть философически, ничего не произошло, разве что освободилось несколько аршин вожделенной жилплощади. Но следует рассказать все по порядку. Было часов шесть утра, когда наконец-то расстались наши собеседники, вдоволь поговорив обо всем — о сугробах, об истине, даже о мифологии. Ключ потыкался неуклюже, как щенок. Юзик на цыпочках пошел по коридору. Тогда-то он заметил, что дверь комнаты, в которой жила Таня, открыта настежь. Тани не было. Юзик пометался, пошаркал, повздыхал и, наконец, не выдержав, разбудил Лойтера:

— Она бросилась в воду, я чувствую, что она бросилась в воду!

Сначала решили, что это выдумки Юзика: попросту человек рехнулся. Почему в воду? Почему не у подруги? Почему не на даче? Юзик обыскал комнату Тани, но, видимо, она сожгла и тетрадку, и клочки бумаги (ведь писала, писала), ничего он не нашел, кроме знакомых вещей: сшитого для Сахарова платья, книжек, губной помады, всего, что так раздирает любящее сердце, присужденное к разлуке. Он настолько растерялся, что даже бегал на берег Москвы-реки и там окликал: «Танечка, милая, не нужно!..» К вечеру и Лойтеры заразились его тревогой. Началось обсуждение. Почему бы такой молодой девушке кончать с собой? Здоровая, служба у нее была, характер веселый. Нет ли здесь чего-нибудь пострашнее? От Юзика трудно было добиться толку. Он сидел в темном углу и сам с собой разговаривал, как горячечный: «Преподаватель латыни, почему вы меня обманули?..» Лойтер попробовал поделиться с ним догадками:

— Юзик, а не убили ее?

— Убили.

— Что вы говорите, Юзик?.. Кто же мог ее убить?

— Не знаю. Все! Одним словом, Проточный переулок.

Окончательно изверились в Юзике, когда он схватил вышедшего наконец из своей комнаты заспанного Прахова:

— Вот посмотрите на него — это он ее убил!

Юзик так страшно хрипел и ворочал глазами, что даже Лойтеры замерли: нет ли здесь впрямь какой-либо тайны?.. Прахов, однако, не растерялся. С Юзиком он и разговаривать не стал, Лойтеру же толково разъяснил, что все это, разумеется, бред, логика сумасшедшего, которому место не здесь, а на Канатчиковой, что он провел ночь в Богородске, у своей приятельницы, секретарши «Женского вестника», домой вернулся поздно, часов в пять, и тогда же заметил, что дверь соседней комнаты была раскрыта настежь, но ничего дурного не предположил и лег спать. На Юзика все это не произвело, впрочем, никакого впечатления; он еще раз сурово сказал:

— А все-таки вы ее убили!..

Но здесь и Лойтеры поняли, что Юзик не в своем уме. Решили подождать до утра — не вернется ли Таня. Юзик всю ночь бормотал, приговаривал, плакал. Не спал и Прахов. Даже к столу не подходил, хоть следовало ему накатать строк двести. Стороннему наблюдателю его поведение могло бы показаться подозрительным: с чего это он? Ну, побаловался с девушкой. Мало ли таких похождений у Прахова? Он бегал из угла в угол, тяжело дышал, пил залпом воду, а посередине ночи вдруг сам с собой заговорил, как будто он не Прахов, но сумасшедший Юзик: «При чем тут я?..» — словом, вел он себя как совестливый преступник, хоть и схоронивший улики, однако наедине с собой жалкий, растерянный, замученный страхами.

За Праховым, однако, никто не следил, к утру он опомнился, умылся и преспокойно сказал, уходя, что по дороге в редакцию забежит куда следует — заявить о таинственном исчезновении жилицы.

Проточный гудел, был полон догадок и пересудов. Здесь-то обнаружилось, как сведущи его обитательницы во всей подноготной. Только и говорили, что о баронессе. Вспоминали и шмыгания к молдаванке, и как Сахаров по ночам пробирался в квартиру Лойтеров, и скандальчик, когда Наталья Генриховна на людях обложила свою соперницу. Были, правда, голоса не в лад: «Может, это проделки горбатого жиденка? Говорят, он теперь без памяти лежит...» — «А не утопилась ли?..» Но все это казалось неубедительным: у горбуна руки коротки, в воду кто же зря кинется, ежели кинут — это другая статья... Зачем придумывать, когда дело ясное: баронесса.

Проточный не осуждал Наталью Генриховну, он скорее радовался — было в этом темном деле некоторое выражение окаянных его фантазий. Не раз здесь показывалась кровь. Полуночные драки только растравляли душу. Проточный ждал добротного, серьезного убийства. На абрикосовый домик теперь поглядывали хоть с опаской, но любовно. Наиболее храбрые заглядывали внутрь, якобы насчет заказов. В мастерской все было в порядке, как будто и не слышал здесь никто о загадочном происшествии: шляпки, раскрытый рот Поленьки, «комильфотность». Кумушки, выбегая, задыхались не то от возмущения, не то от восторга: «Глаза у баронессы бесстыжие, не моргнет...»

Только Сахарова никто не видал. Где он был? Что делал? Да, впрочем, им не очень-то занимались, все понимали, что человек он маленький, и дело его — сторона.

Так прошел день. Из района заявили о происшествии в угрозыск, и стало на свете одной исходящей больше. Уж Лойтеры подумывали, как бы им завладеть освободившейся комнатой. В агентстве «Связь», узнав об исчезновении Тани, товарки повздыхали, потом начали гадать, удастся ли заведующему Воронину устроить на место Тани свою пятую или шестую племянницу. Вечером явились какие-то люди, допросили Лойтеров, Юзика, Прахова, тщательно осмотрели комнату Тани. Один из них, увидев вложенный в книгу Бухарина листок, прочитал его и усмехнулся. «Грубым дается радость, нежным дается печаль...» Прахов, тот сидел у себя запершись: будто бы работа спешная. К ночи все успокоилось: наговорились люди, нарадовались, насуетились. Хоть беспокойна летняя ночь, не дает она сна, пропустил час, и уж душу мутит непрошеный рассвет, но уснул кое-как Проточный.

Конечно, не ко всем сошел благодатный сон. В коридоре квартиры № 6 сидел неподвижно Юзик, сидел прямо на полу, голову пригнув к коленям, так что горб казался огромным колпаком, под которым похоронены и блеск глаз и дыхание. Для него не было в этой белой ночи делений, судороги двух зорь, усталости или упования. Он видел одно: раскрытую настежь дверь, уход, не смерть (ведь могла же Таня умереть от тифа) — нечто сугубо страшное, отказ, «спасибо, нет», приговор ему, Юзику, Проточному,

всем улицам мира. Куда она ушла? Что значит улыбка, выдуманная улыбка, не Тани, другой девушки, о которой так красиво говорил бывший преподаватель латыни? Юзик дрожал, будто распахнутая дверь образовывала сквозняк, и воздушные течения трепали его слабую душу. Бедный конек-горбунок, он все хотел понять, как легендарный раввин, где же истина, а умел он только горевать и плакать по-простецки: «Я-то еще обиделся, когда она попросила переменить книги!..» Он целовал половицы, по которым ходила Таня. Он вспоминал ее растерянную улыбку: «Что же мне остается?» Он хоронил живую любовь, невольно повторяя движения и слова своих предков; так хоронят евреи в Гомеле, завывая, причитая, раскачиваясь, не веря ни в радость прожитой жизни, ни в грядущее воскресение. Уж светло было, когда он забылся, прижимая к губам оброненный следователем листок: «Грубым дается радость...» О какой радости говорите вы, сумасшедшие люди? Нет никакой радости — только пустая комната, учебник, губная помада, раскрытая дверь, а перед ней горбун,— на часах у ненайденной истины и у потерянного счастья.

Но и грубым не всегда дается радость: уж на что огрубел в жизненных передрягах Прахов, ему было не до радости. Листы бумаги он разложил для отвода глаз. Какая тут работа! Что же он делал всю ночь напролет? Здесь придется употребить слово, вышедшее из моды, ничего не поделаешь — только оно определит состояние журналиста: Прахов трепетал. Это не было страхом. В чем угодно, но в трусости упрекнуть его нельзя. Спросите аткарцев — они вам расскажут и как Прахов отстреливался, окруженный бандой повстанцев, и как с небольшим отрядом прикрывал эвакуацию, и как лез в огонь напропалую. Да и чего ему было бояться? К исчезновению соседки он не имел никакого отношения. Совесть его была чиста. Если и наложила она на себя руки, то при чем тут он? Был он с нею мил, обходителен, даже на подарок разорился. Это, граждане, просто эпидемия самоубийств, волна упадничества, захлестнувшая часть нашей молодежи: романсы, гитары — словом, «есенинщина»... (Так Прахов в мыслях нагонял бескорыстно строки.) Но не помогало это. Вторая ночь оказалась еще страшнее первой. Глупая выходка Юзика не давала ему покоя. Почему он назвал Прахова убийцей? Разве так убивают? Убивают

пулей, ну, может быть, жестокостью, изуверством, травлей. Но ни с одной женщиной Прахов не говорил так задушевно, так ласково, как с Таней. Кто смеет всовывать в его руку вместо хорошенького колечка револьвер? Горбуна не мешало бы посадить в сумасшедший дом. Нужно взять себя в руки. Конечно, жаль Таню. Хорошая была девушка. Встреть он ее раньше, в Аткарске, может быть, все было бы иначе. Ведь женятся люди, живут, кажется, счастливо. Теперь поздно. Слабые погибают. Прахов жив,— значит, он должен работать, выигрывать червонцы, писать. Он принудил себя взять в руки перо, долго и яростно тыкал он его в чернильницу. Но вместо статьи выходили глупые черточки, несвязные слова: «ювелир Гуревич», «эпидемия самоубийств», «при чем тут я?..». С опаской он поглядывал на дверь. Он знал, что Юзик рядом. Он ненавидел его. Этот горбун отнял у Прахова спокойствие. Что за наваждение? Неужели стоит человеку назвать тебя убийцей, и впрямь ты им становишься? Вздор! Наконец, горбуна можно уничтожить. Его легко раздавить, как огромное насекомое. Вот сейчас выйти, накинуть пальто, чтобы не верещал, и придушить. Тогда все будет кончено. Прахов перестанет быть убийцей. Он сможет снова жить, работать, играть в казино, ездить к секретарше.

Прахов приоткрыл дверь. Юзик сидел в коридоре, уронив на колени свою взъерошенную голову. Не видит... Ну, Прахов, решайся!.. Но тогда, вглядевшись в лицо горбуна, он увидел ребячливую, попросту говоря, глупенькую улыбку: Юзик задремал. Кто знает, что ему снилось: может быть, Таня, обмененные книги из библиотеки, радость не бог весть какая, от которой сердце горбуна во сне разрывалось на части... Улыбка эта потрясла Прахова. Опустились руки. Он начал тихо говорить:

— Юзик, почему же я?.. Это не я... Скажите мне, что это не я... Я ведь от всего сердца... Там на «Крыше»... колечко... Еще в стихах — «до грубых шуток»...

Но Юзик не слыхал этих слов. Он только раскрыл глаза и взглянул на Прахова. Был этот взгляд далеким, ничего, кроме недоумения, не выражающим, взглядом человека, еще полного сновидений. Суеверный страх охватил Прахова. Он бросился прочь — на улицу, дальше от этих пустых глаз и распахнутой двери. Он бежал, а в голове, как кровь, стучало: «Я! я! я!»

12
«ЯВИЛ ТАКУЮ МИЛОСТЬ»

Сахаровым мало занимались в тот день, а не мешало бы им заняться. Как-никак он был связан с Таней первым ее большим горем. Неловко же говорить о разных там Лойтерах, когда неизвестно, что происходит в сердце героя! Ах, если бы вовсе не говорить об этом сердце! Если б можно было обойти его, как обходят прохожие зловонные развалины на углу Панфиловского переулка. Но что делать — мы не выбираем жизнь по себе. Залез я в этот Проточный, и брезгать здесь не приходится. Сахарова со счетов не скинешь. Но как же мне не пожаловаться?.. Всем нам в жизни приходится встречаться с такими жалкими людишками, разговаривать о том и о сем, часто и зависеть от них, однако, смотрю я, другие придут к себе домой, вымоют руки, раскроют какое-нибудь увлекательное повествование, и не помнят больше об этих паскудных встречах, умеют стряхивать с себя жалкие воспоминания, как дорожную пыль. А я никак не могу избавиться от назойливой памяти. Даже в тишине моей комнаты они мне досаждают, все эти Панкратовы и Сахаровы, требуют понимания, чуть ли не участия. Черт бы вас взял, унылые видения моих ночей! Доколе мне суждено жить с вами? Вот встретилась Таня, только успел я ей улыбнуться, вспомнить для нее хорошие слова, пусть и старомодные, не ко двору, но чистые, благородные слова, как уже нет Тани. К абрикосовому домику подходят жизнерадостные усики. Что же мне остается? Как Юзик, я глупо бормочу возле раскрытой двери: «Она вернется...»

О загадочном исчезновении Тани Сахаров узнал позже всех: его не было в Проточном — он продавал колечко, мало давали, жулики! На лестнице его остановила Поленька, неживая от страха.

— Что-то теперь будет, Иван Игнатьевич?..

— Что будет? Ничего не будет! Шиш с маслом. Надоела ты мне до смерти!

— Да я не о себе, Иван Игнатьевич. Разве вы не слыхали? Ваша-то милаша пропала.

Сахаров ответил равнодушно:

— Вот что!..

Мысли его были заняты другим: как бы помириться с Натальей Генриховной? Видно, без нее этих два-

дцати червонцев не выколотишь. Таня пропала? Ну и шут с ней! Все равно после последнего объяснения Сахаров о ней и не думал: дрянная девчонка, развратная, наглая.

— И потом, что значит «пропала»? Нашла, верно, какого-нибудь гуся и закатилась с ним...

Хладнокровие его не передавалось Поленьке. Ее по-прежнему знобило. Показывая рукой наверх, еле-еле она пролепетала:

— А не она ли это, Иван Игнатьевич?..

Сахарова всего передернуло. Дурак! Как он раньше не подумал? Вот так переплет! Что, если вправду она? Ведь это значит скандал, тюрьма, конец всему. На Поленьку он только прикрикнул:

— Ты что болтаешь? Совсем обалдела, идиотка!

Но в комнату Натальи Генриховны Сахаров вошел запинаясь, он принудил себя войти, поджилки тряслись, как будто лежал там труп зарезанной Тани. Увидав спокойную улыбку жены, он совсем растерялся: что это все значит? Сидит и шьет. Ведь за ней могут сейчас прийти. Нет, не она это! Просто Поленька мелет вздор. И как он поверил?! Понемногу Сахаров успокаивался, он уже закурил папиросу и начал прикидывать, как бы заговорить о двадцати червонцах, но вдруг Наталья Генриховна, до этого не проронившая ни одного слова, кинулась к нему, обняла его и разразилась буйным истерическим смехом.

Сахаров ее оттолкнул. Он забился в угол. Никогда прежде не видел он Наталью Генриховну такой возбужденной.

— Ванечка, заживем мы теперь с тобой!.. Милый мой!..

И, думая подкупить его, как избалованного ребенка:

— Знаешь, я сегодня получила с двух заказчиц, так что теперь выкупим твой костюм. Пофрантишь ты у меня, Ванечка!

Еще четверть часа тому назад эти слова сделали бы Сахарова счастливым. Но сейчас он даже не обрадовался каштановому костюму. Каждое слово Натальи Генриховны подтверждало правильность догадок Поленьки. С чего это она смеется? С чего, скажите, радуется? С чего раскошелилась? Нечисто здесь! Пронюхала, что он вчера утром заходил к Тане, и сдержала слово. Могла заманить куда-нибудь и — колуном. Или

в Москву-реку кинуть. Как та, в Ленинграде... Конечно, она! Но тогда сейчас — конец. Раз дура Поленька догадалась, значит, все знают. Припутают и его. Объясняй потом. Вот уже, кажется, стучат внизу...

Сахаров, ни слова не говоря, выбежал из дому. Опасливо оглядел он переулок. Как будто никого... Бежать! Но тотчас он сдержал себя: увидят! Нужно принять беспечный вид, как будто он прогуливается. Улыбаясь, даже насвистывая «Кирпичики», он медленно пошел к Смоленскому. Мысли его мчались взапуски, трусливые, ерундовские мысли. Вчера ее прикончила. Где он был вчера? На службе, потом в «Мосэкусте». Потом? Потом в «Кино-Арсе». Это легко установить. Да, но с пяти до семи — пропуск. Просто он шлялся по бульварам. Вдруг Таня исчезла именно в это время? Тогда у него нет никаких доказательств невиновности. Правда, можно ответить: она — из ревности! Я, наоборот, пострадавший, я — жертва, я так любил покойницу! Я... И вдруг Сахаров вспомнил: кольцо! Страшная улика у него в кармане. Как странно, что его еще не схватили. Схватят сейчас...

Он стоял на углу Смоленского. Он больше не напевал, не улыбался, он готов был упасть на мостовую и завизжать: «Все равно, вяжите скорей, только не пытайте!..» Через минуту он, однако, собрался с мыслями. Выкинуть. Но как? Вдруг заметят? Кто знает — вдруг у какого-нибудь из раскрытых окошек стоит человек и наблюдает? Мало ли шалопаев? Крикнет: «Гражданин, обронили...» Или, еще хуже, выбежит, подберет, доставит в милицию.

На углу Проточного, прислонившись к забору, спал старенький нищий. Рядом с ним лежал картуз — для подаяния,— разумеется, пустой: кто же ночью кинет копеечку, да еще если спит нищий, не напоминая торопливым пешеходам: «Явите такую милость»? Опустить в картуз. Старик дрыхнет. А со стороны — кладет самым милосердным образом копеечку. И Сахаров решился. Новые судьбы открывались перед колечком «гранфасон».

Разделавшись с опасной уликой, Сахаров несколько воспрянул духом, он вытер мокрый лоб, облизал усики, усмехнулся: спит, старина, какое же предстоит ему сказочное пробуждение! Вот что значит — «явить такую»...

13
«ДУШЕГУБКА»

После беседы с Юзиком («морфий») следователь считал наиболее вероятной версией самоубийство. Однако Лойтеры упомянули о баронессе, и он счел долгом вызвать Сахаровых. Первой допросили Наталью Генриховну. Отвечала она подробно и вразумительно: да, ревновала, грозилась: «убью» — это верно. Какая же женщина не говорит такого в сердцах? Может быть, и вправду убила бы — не знает. Но судьба смилостивилась. Болтают пустое. После той встречи на улице Наталья Генриховна больше с ней не встречалась. В ночь, когда исчезла девушка, она работала до двух вместе с Поленькой — были срочные заказы,— потом легла спать. Голос Натальи Генриховны звучал искренне, некоторое волнение легко объяснялось как обстановкой, так и тяжестью посвящать постороннего не только в свою семейную жизнь, но и в тайные чувства. Особенно подействовали на следователя слова: «Могла бы убить»,— произнесенные с жаром и с горечью испепеленного сердца. Он сострадательно промычал: «Это, собственно говоря, к делу не относится...»

Пока допрашивали Наталью Генриховну, Сахаров переживал в мрачной прихожей неподдельные муки. Он вел себя, как вор-новичок, пойманный с поличным: обдумывал план защиты, даже помышлял о бегстве. Хорошо, что хоть от кольца избавился! Следователю Сахаров первым долгом заявил:

— Я здесь ни при чем. Я — жертва. Если и сделала жена такую пакость, то зачем же меня пытать? Я, наконец, могу развестись с ней.

Следователь насторожился, но никаких данных Сахаров ему не сообщил. Все же, если еще раза три вызывали и Наталью Генриховну, и Поленьку, и Юзика, если несколько раздобрело тощее «дело о пропаже Евдокимовой», то это его, Сахарова, вина. В словах его ясно чувствовалось, что он не сомневается в виновности своей жены. Говорил он не в злобе, напротив, с Натальей Генриховной он теперь помирился и щеголял наконец-то в знаменитом каштановом, нет, просто хотел себя застраховать.

Допросы ни к чему не привели. Прошло три недели. Пыль начала оседать на папку с «делом», да и на воспоминания о Тане. Другие события волновали Про-

точный — хотя бы кража у Сидурчика,— выкрали у человека среди бела дня новую «тройку» и часы. О баронессе вспоминали редко, но с гордостью: «Бой-баба, выкрутилась». Так думал и Сахаров: «Вот ведьма, все ей с рук сходит!» По-прежнему он был уверен, что исчезновение Тани на ее совести. Как же чисто она все обставила! Иногда разбирало его любопытство: куда она припрятала Таню? Закопала? Утопила? Заговорить с Натальей Генриховной о происшедшем он не решался. Он боялся, что она откроется, тогда поневоле Сахаров станет соучастником. Ведь кто знает — могут еще донюхаться, труп выудят или выползет откуда-нибудь запоздалый очевидец. Вернее всего молчать, не спрашивать, не знать.

Страх переменил весь склад жизни Сахарова. Куда делась его верткость?! Может, года это, обленился он, но вот место Тани так и осталось незанятым. Правда, прошмыгивал он время от времени в комнатушку Поленьки, но по привычке это, да и близко — почему бы не зайти? Стал он чуть ли не домоседом. Попьет вечером чаю и, вместо того чтобы нестись куда-нибудь в «Эрмитаж» или просто на Тверской бульвар, сядет у окошка, глядит, как чешутся собаки Проточного, как жмут местные хваты заказчиц баронессы, как помаленьку идет жизнь. Иногда вспоминал прошлое и вытаскивал балалайку, осыпая переулочек кудреватыми жалобами: «Погиб я, мальчишка...»

Казалось, не нарадоваться Наталье Генриховне: уничтожена соперница, отвоеван Ванечка, поглядеть со стороны — семья семьей, чем не Панкратовы? Но еще угрюмей стало ее лицо. Молчала и она, молчала оскорбленно, через силу, прикусывая губы, от напряжения ломая пальцы. Радость, так напугавшая Сахарова, быстро прошла, да и была эта радость от недодуманности, от той детскости, которая остается в нас, кажется, до самого гроба. Кругом тогда только и говорили что об убийстве, пальцем тыкали — «она!». А Наталья Генриховна, услышав шепот Поленьки: «Пропала»,— решила: чудо, волшебная палочка, было горе и сплыло. Кажется, она одна не видала ни крови, ни смерти. Сдавалось ей — поняла та чужая женщина слезы Натальи Генриховны, устыдилась, отступила. Может, и не злая она, так только, ветреница. Молодая, вся жизнь у нее впереди, найдет другое, не краденое счастье, а ведь Наталье Генриховне никуда уже не «пропасть»,

никуда не уйти от Ванечки, от Проточного. Да, в первый день Наталья Генриховна радовалась, она взволнованно встретила Сахарова, как возвращенного ей судьбой, пыталась сказать ему о своем умилении. Когда же увидала его перепуганные глазки, все в ней оборвалось. Начался искус невыносимого подчас молчания, и уж ничто не могло теперь ее обрадовать — ни конец ревности, колючей и неотвязной, как чахотка, ни улыбочки мужа. Лучше бы шел к той, чем так!..

Наконец Наталья Генриховна не выдержала, попробовала объясниться. Сдерживая себя, она тихо спросила:

— Ваня, ты что — о ней все думаешь?

Сахаров насторожился. У него хотят выкрасть спокойствие!

— Вот еще!.. Мало, что ли, девочек на свете?.. Она, говоря откровенно, страшная дрянь была. С кем только не путалась! Ну, да это дело прошлое. Я о ней и говорить не хочу. Гляди-ка, Панкратов индюшку тащит. Должно быть, к именинам.

— Нет, Ваня, ты мне одно скажи... Ты на меня думаешь?..

Здесь Сахаров вскочил, завизжал:

— Молчи! Слушать не хочу! Я тебе не судья! Но никаких объяснений. Скажешь слово — разведусь.

Не дожидаясь, что ответит Наталья Генриховна, он выбежал из комнаты. Весь вечер пропадал он — с горя дул пиво. А вернувшись под утро, опасливо взглянул на жену, как и в первый вечер, готовый сейчас же дать тягу. Но Наталья Генриховна не продолжала трагического объяснения. Чуть усмехнувшись, сказала она:

— Ты был прав, завтра именины Петра Алексеевича.

Уж больше она не сомневалась: муж считает ее убийцей. Он боится ее. Все произошло, как она сказала: «Убью, но тебя не отдам». Той нет больше, Ваня с ней. Что неповинна она — это случайность, и Сахаров в случайность не верит. Ведь она сказала следователю: «Могла бы убить...» В чем же дело? Почему невыносимы ей подозрения мужа? Почему лучше ревность, обиды, «мамахен», одиночество, нежели это семейное счастье, оплаченное даже не кровью, только мыслью о крови, выдуманным преступлением? На эти вопросы Наталья Генриховна не могла ответить. Она сама себя не понимала. С удивлением и отчаянием она чувствовала, что и Ваня для нее теперь не Ваня.

Тогда она кидалась к сыну. Но Петька вовсе отбился от рук. Где он только пропадает весь день? С матерью он разговаривать не хочет, даже «Бубика» теперь от него не добьешься. Пробовала Наталья Генриховна наказывать его, запирала в чуланчик, драла за уши, но тогда он рычал, как зверек, глазенки становились злыми и дикими, раз он укусил руку Натальи Генриховны. А отпустишь — только пятки мелькают. Видимо, завелись у него друзья, может быть, это они науськивали его на мать. «Нет у меня больше сына. Петька меня ненавидит...» А дочка? Дочки не будет, хоть и сидит Сахаров дома, хоть лирически тренькает на балалайке: залегла между ними тень Тани.

Был июньский вечер, душный, тошнотный, люди обижались — хоть бы чуть посвежело, никаким квасом не остудишь распаленного нутра, пыль, вонь; счастливцы, те на дачах, а вот извольте, помайтесь-ка такой вечерок здесь, в Проточном. Дома сидеть — не высидишь: духовка, а на улице тоже не легче. Полураздетые все, кто в капоте, кто в одних портках, идут, томно пошатываясь, выругаться как следует и то нет сил — так только, отплевываются. Ну, разумеется, разжива всем, кто с «прохладительным». Чем только не торгуют — и фисташковым мороженым на гривенник, и ананасовой водой, и хлебным квасом, и клюквенным, и какой-то там «фиалкой», и черт знает чем.

Сахаров хандрил у окошка. Выйти, что ли, погулять? Лень одолела. Поленька? Скучно. Уж очень рот у нее страшный: кажется, вот-вот проглотит. Тогда-то попалась ему на глаза Наталья Генриховна, именно «попалась на глаза», потому что давно он перестал замечать ее присутствие. Ну чем не баба?.. Эта мысль рассмешила Сахарова. Он игриво потянулся, встал и обнял жену, обнял бесстыдно, вкрадчиво, как отпетый ловелас. Сначала Наталье Генриховне показалось, что он над ней насмехается. Но Сахарову затея понравилась, он перемежал сальные шуточки комплиментами, как будто не жена это, а барышня, которую надлежит заговорить. Наталья Генриховна отвыкла от всего этого, она теряла дыхание, не могла выговорить слова. Но когда Сахаров, среди прочих ласкательных — и «кисонька» здесь была, и «солнышко» — дунул ей в ухо: «Тусенька»,— она оттолкнула его и строго сказала:

— Не я это. Слышишь — не я... Отвечай — веришь?

Как Сахаров сразу не задал стрекача? Был он, видимо, чересчур увлечен придуманной игрой. На во-

прос Натальи Генриховны он и не думал отвечать, он только ловил руками ее плечи: «Стой...» Но она не давалась. Отбежав в угол, так что между ней и Сахаровым оказался стол, она еще раз спросила:

— Не веришь? Если на меня думаешь — я тебе больше не жена...

Сахаров, возбужденный, осовелый, с трудом соображал, о чем это она говорит. Ах, вот как!.. Он с ней по-хорошему, а она воспользовалась минутой, чтобы прикрутить его! В ярости он хотел ударить жену, но зацепился за край стола и упал. Он барахтался на полу, как жук. Хоть и неосторожно это было, он завизжал:

— Ух ты!.. И чего ты кривляешься? Просто скажи — заколола или в реку кинула?

Но тотчас же спохватился: «Что я говорю?» Поспешно встал, оправился, хлопнул дверью.

Наталья Генриховна осталась одна. По-прежнему она стояла в углу, сложив на груди руки. Долго она так стояла; уж Сахаров добежал до Арбата, лил в себя теплое, кислое пиво, проклиная свою падкость на баб, а Наталья Генриховна все еще не могла собраться с мыслями — окаменела. Не от обид: давно к ним привыкла. Нет, она почувствовала сейчас, что мертво ее сердце, нет в нем больше любви к мужу, которая одна поддерживала ее эти годы, пусто стало, ненужно жить. Вот он обнимал ее, а ей было от этого стыдно и гадко. Как же он может, если думает, что она убила?.. Ведь будь так, нельзя шить шляпки, тогда — муки, огонь, может быть, тюрьма, может быть, жестокое счастье — взяла на себя, но только не шуточки: «кисонька»...

Она подошла к окну: грязные тротуары, грязные люди, грязная жизнь. От жары у нее пошла кровь из носа. Увидев на платье красное пятнышко, она задрожала, как будто поднялась с мостовой Проточного кровь и затопила ее. Здесь же она подумала: «Хорошо, что он ушел!» Да, впервые она обрадовалась, что Сахарова нет с ней рядом. «Чужой он мне! Темный! Страшный! Вот как эти, под окнами... Надо приложить к носу мокрое полотенце. Они все думают, что я убила. Хотят меня потопить в крови. Зачем я забралась в этот проклятый переулок? Он посмел назвать меня «Тусенькой»! Он помнит, наверное, лестницу на Мойке. Но разве понимает он, о чем мечтала та девушка, которую звал он тогда вслед за другими «Тусей»? Почему в романах жизнь другая, другие страдания —

высокая любовь, каторга, монастырь, баррикады, жертвы, подвиги, а Тусе, хоть было у нее горячее сердце, дали только жиденькие усики и шляпы «комильфо»? Ответьте, вы, с фисташковым!.. А впрочем, все равно — не только романы прочитаны — прожита жизнь. Поздно начинать ее сызнова. У окна стоит старая, одинокая женщина. Жарко! Парит! Лето-то сухое — давно дождя не было. Ну, все равно... Пора спать. Завтра — шляпы. А сердце? Сердце — насмарку!..»

И вдруг она вспомнила — Петька! Скорей прижать его к себе, увидеть, что он жив, услышать это слово «мама». Мальчик крепко спал. Наталья Генриховна разбудила его. Как безумная, она покрывала поцелуями его руки. Она шептала: «Петенька, не гони ты меня! Один ты у меня остался!..» Спросонья Петька брыкался и плакал, а проснувшись как следует, сердито сказал:

— Уходи!

— Петенька! Пожалей меня! Мы с тобой уедем отсюда...

— Не хочу с тобой. Не люблю тебя.

— Что ты, Петенька?.. Ведь я твоя мама...

— Не мама ты. Ты...

Петька запнулся, видимо, забыл кем-то сказанное слово, морщась, все хотел его припомнить. Как приговора ждала этого слова Наталья Генриховна; рукой прикрыла лицо, горели щеки, слышно было, как тяжело она дышит.

— Да, ты не мама. Я знаю, кто ты. Ты — душегубка!

И, выговорив это непонятное, страшное слово, Петька горько расплакался. Наталья Генриховна не плакала, она глядела перед собой мертвыми, невидящими глазами. Впервые как бы разверзся под ней пол, и увидела она детские личики, раскрытые жадно рты, задыхание, судорогу, смерть. Да, она убийца! Прав Петька, прав Сахаров, все правы. Она в крови. Отойдите от нее! Вот те тянутся, растут, хватают...

В беспамятстве свалилась она на пол.

14

ДАЕТСЯ ИЛИ ЗАВОЕВЫВАЕТСЯ?

Успокоился кое-как Прахов. Больше он не кричал по ночам, не помышлял об уничтожении Юзика. Соседи помирились, подружились. Юзик видел, что

Прахову скверно, колечко «гранфасон» не сошло ему с рук. Он сумел простить этого никчемного человека, который разбил сдуру чужую жизнь — так вот чашку разбивают. Никогда не заговаривали они о прошлом, а так как горбуну нужно было с кем-нибудь нянчиться, он теперь нянчился с Праховым: отвлекал от черных мыслей своим комичным философствованием, играл различные «кусочки», поил чаем. Кто знает, на что человек способен? Если уж раскрыта дверь, кто поручится, что и этот не уйдет?..

Жилось туго обоим: Юзика выставили из «Электры», приходилось теперь играть за рубль-другой на дачах. Прахов тоже почти ничего не зарабатывал. Посудив, они продали за десять червонцев комнату Прахова, тот переехал к горбуну.

Пробовал было Прахов наладить жизнь. Видали его в редакциях, заглянул он как-то в «кружок». Но делал он это нехотя, по привычке. Прошел страх, прошло и раскаяние, едкие, однако, эти чувства, они вытравили из сердца Прахова вкус к жизни.

Какой же это Прахов, если он не рыщет весь день, где бы перехватить червонец, если не смотрит завидущими глазами на щеголей с Петровки, если ему не нужны ни актрисы «Студии», ни почет? Да, это уж не Прахов, нельзя его показывать провинциалам, утеряна одна из достопримечательностей Москвы. Завсегдатаи «кружка», увидав его, нахмурились: болен? или дурака валяет? Некоторые даже перестали раскланиваться. То, что Прахов начал походить на обыкновенного человека, оскорбляло всех: живописно уродство, скучно без него.

Впрочем, Прахов не обращал никакого внимания на шушуканья. Все реже и реже заходил он в редакции. Правда, завалил он комнатушку Юзика замаранными листами, но проку от этого не было. Как возврат болезни, проснулась в нем юношеская страсть к стихотворству. Писал он мучительно, не доверяя ни своим чувствам, ни словам, стихи получались тяжелые, угрюмые, без мелодии, без радости, немые стихи. Сам он чувствовал, что пишет плохо, хуже, чем в Аткарске, не дописав стихотворения, начинал другое. Никому он написанного не показывал, но когда становилось невмоготу, начинал читать свои стихи Юзику. Тот слушал насупившись: не понимал он ни этих слов, ни звуков. Чтобы утешить Прахова, Юзик все же говорил:

— Вы хорошо пишете, Боря. Это куда лучше ваших статеек. Я, конечно, ничего не понимаю, но это моя вина. Если бы вы прочли ваши стихи преподавателю латыни, он, наверное, понял бы. Пишите всегда стихи. Вот я получу место в кино, и мы заживем припеваючи. Только не пишите ваших «ста строк». Лучше, чтобы никто не понимал вас, чем чтобы понимал какой-нибудь Сахаров...

Зачем писал Прахов? Скорей всего, чтобы не думать. Рифмы заменяли водку, когда водки не было. Он пил теперь много, жестоко, запоем. О Тане Прахов вспоминал редко, боялся вспоминать, а чувствуя, что подступает — по внезапной грусти, по равнодушию к окружающему, по холодку в пальцах и нервной зевоте,— добывал рубль и напивался до бесчувствия.

Не кровь, не глупая уголовщина, не раскаянье мучили его, а сожаленье. Он видел младенческую, слабую, им же задушенную любовь. Он повторял слова Тани: «Что это? Грубая шутка?..» Как он тогда не понял? Как не понял, что и вся ночь, и мысли о Тане, и сквернота усмешек, и «Крыша», и колечко были только «грубой шуткой», потому что он любил ее, да, да, любил!..

А надеяться не на что. Месяц прошел. Умерла. Он уговаривал себя: «Слышишь, умерла...» Но это не помогало. Сначала с недоверием, потом со страхом, он наблюдал за ростом в сердце посмертной любви. Нелепое чувство, смешное вдовство! Вот она жила рядом, он преспокойно ездил к секретарше, волочился между прочим за Таней, закидывал удочку — еще одна, получил, обнимал, здесь же жевал севрюжку, наслаждаясь про себя — «шик какой», считал кредитки, балагурил, ценил ее в восемь червонцев — столько-то строк, и все тут. Ушел, завалился спать. А теперь, когда ее нет, ни синих глаз, ни вздернутого носика, ни взволнованного голоса, когда все это разлагается где-то на дне скверной речушки, он только и говорит о ней, для нее пишет бездарные стихи, бродит по жалким воспоминаниям одной коротенькой ночи, как по развалинам дивного города, что ни час, заново влюбляется в тень, в имя, в ничто.

В тот вечер, когда произошло решительное объяснение между Сахаровыми, а может, и не в тот — весь месяц стояла жаркая погода,— в вечер душный и нудный Прахов шел домой пьяный, мрачный. По дороге

зашел он в лавку, купил еще бутылочку — боялся ночи, чувствовал, не уйти от Тани. Бред какой-то, вдруг кажется ему, что девушка жива, сейчас, за углом увидит ее. Что же здесь остается, как не тянуть горькую?..

Дома Прахов застал непрошеного гостя: сидел у него какой-то старикашка и читал. Это был Освальд Сигизмундович. После памятной ночи он водился с Юзиком, вместе они философствовали на бульварах, иногда и сюда заходил стари́к, хоть ворчали Лойтеры: «Юзик жулье к дому приучает». Прахов столкнулся с ним впервые.

— Вы, собственно говоря, гражданин, что здесь делаете?

— Вашего сожителя ожидаю. Его вызвали на экстренную работу. Если стесняю вас, могу удалиться.

Прахов угрюмо буркнул:

— Нет... чего там... Сидите... Хоть с виду вы вроде Сократа, можно и клюкнуть вместе. Кто это сказал, что Сократ водки не пил? Вы на меня с высоты не поглядывайте, пейте лучше. За здоровье всех мамаш!..

Освальд Сигизмундович церемонно поблагодарил и выпил одну рюмку.

— Благодарствую. Больше лета не позволяют.

— Что лета? Вздор! Мне вот только тридцать, а я вдвое больше вашего пережил. Разве вы жили? Так, чаепитие одно. Я хоть и нализался сегодня, но все понимаю. У нас один год — за десять ваших. Революция — это вам не кот наплакал. Вот и ничего от вас не осталось. Как в загадке — дыра от бублика. Вы, например, чем занимаетесь? Вот что. Ну, а до катавасии? Латынь? Детей, значит, мучили? Допустим. Теперь позвольте спросить вас — в Бога не верите?

Прахов был неприятен Освальду Сигизмундовичу, но все же старик серьезно ответил:

— Нет. В красоту Олимпа. И еще в исключения.

— Так. Теперь позвольте спросить вас, что же вы делали, когда дело дошло до пулеметиков? Фалды мундира задрали? Почему вы за этот самый Олимп не вступились? Ну, а проще говоря, если «подайте копеечку», так нечего на меня свысока смотреть. Пейте и помалкивайте.

Так всегда бывало с Праховым: тяжелый хмель, хочет сорвать на ком-нибудь сердце, унизить, оскорбить. Освальд Сигизмундович был приучен к попрекам прохожих. Спокойно отсел он в сторону и вновь

принялся за чтение. Это еще больше раздражало Прахова: что здесь, библиотека? Задается Сократ! Он начал его задевать:

— Читаете? Думаете — пьяный пристает, а я, мол, знаток античных красот, пренебрегаю. Так... Но вот не противно ли вам собственное ремесло? Признайтесь — противно? Могли бы вы удрать за границу. Вы чех, что ли? Там у вас все на своем месте. Вместо паршивой водки нечто благоуханное. Бенедиктинчик. Стояли бы вы на кафедре. Оно, знаете, лестно, не то что руку протягивать. Вот я вас прошу — ответьте мне искренне, как же вы можете так жить?

Освальд Сигизмундович пожал плечами, грустно улыбнулся:

— Я мог бы вам вовсе не отвечать. Прежде всего, вы пьяны. Однако не в том суть. Вы, наверное, и в трезвом виде лишены благородства. У вас уклончивые глаза. Я пришел к вашему сожителю. Вас я не знаю. Но я привык говорить с тупыми и заносчивыми детьми. Вместо ответа я прочту вам цитату из этой книги. Это не учебник латыни и не жизнеописание Сократа. Это перевод с французского. Некто аббат Дюкло описывает путешествия по Центральной Африке. Книга эта старая, подобрал я ее на Смоленском, да и по правде сказать — глупая книга. Но редко мне приходится теперь читать, поэтому каждая строка останавливает внимание. Перед тем как вы пришли, я прочел следующее:

«Области, лежащие по ту сторону этой реки, заселены племенем, которого еще не коснулось благотворное влияние нашей цивилизации. Заблуждения туземцев способны вызвать у просвещенного читателя снисходительную улыбку. Так, например, они утверждают, что человек, разоряясь, обогащается. Год падежа скота почитается у них за праздничный, и они поздравляют погорельцев, как существ, отмеченных милостью судьбы...»

Читал Освальд Сигизмундович медленно, назидательно, а кончив чтение, будто это в гимназии, спросил Прахова:

— Поняли?

Тот опешил:

— Как будто... Вы что же... сектант?

— Я уже сказал вам, я — нищий, самый вульгарный нищий. А прочитанного мною вы не поняли. Пьяны или не доросли.

Здесь Прахов обиделся:

— То есть как это «не понял»? Тут и понимать нечего. Болтовня! И потом, то вы под Сократа работаете, то под Толстого. Не годится! Граф, конечно, хорошо писал. Но устарело это. Для Толстого у вас и борода мала. Я вам прямо скажу — мне противно такую белиберду слушать. Вы не сердитесь, если я вас обидел. Это не я — сорок градусов в ней. Но вот, говоря серьезно, борются люди за свое счастье, побеждают, проигрывают, а вы губами шевелите. Ведь я не злой человек — спросите Юзика, а от вашего спокойствия у меня все внутри закипает...

— И вы на меня не сердитесь,— примирительно ответил старик,— я не хотел осудить вас. Просто стар я, за вами мне не угнаться. Если это успокоит вас, я с вами выпью еще одну рюмку. А насчет счастья, увольте, не верю. Вы вот бегаете, суетитесь, а может быть, счастье у вас под ногами валяется. Иногда оно дается, но уж никогда не завоевывается.

Сам того не зная, Освальд Сигизмундович попал в точку. Ведь это он о Тане!.. Прахов подбежал к окну. Духота какая! «Валяется под ногами»!.. Из белесоватой мглы выступило лицо Тани, горестное и нежное, такой видел ее Прахов утром, когда она спросила о колечке.

Внизу барахтались обитатели Проточного. Странно дышат люди в такую жару, как рыбы, и глаза у них становятся рыбьими — маленькие, мутненькие, не жизнь — живорыбный садок. Прахов разомлел, осовел, приткнулся в углу. Жарища! И захотелось ему лирики, жалоб, участия. Он уже не нападал, а хныкал:

— Мне-то что делать? Вам хорошо, старику! А я жить должен. Кидаюсь туда-сюда. В казино играл. Выиграл — прокутил. Даже не заметил. Скучно! Мне вот одна женщина нравилась. Кривляться нечего — я, кажется, не скопец. И что же? Прозевал. Перехватил ее какой-то фрукт. Сунулся — поздно. Я с ней до стихов дошел. А она взяла и сбежала. Просто, как шоколад. Вот и пью водку. А вы мне еще о счастье говорите. Нет никакого счастья! Так только — слово в лексиконе, для детей дошкольного возраста.

— Жалко мне вас, молодой человек. Спорить с вами я не стану. Знаете, что такое притча? Так вот я расскажу вам поучительную притчу. Ночь. На улице сидит бездомный старик. Никто не дал ему даже пятака на хлеб. Он голоден и очень печален. Он готов усомниться в человеческом сердце. Он засыпает, и ему снятся нехорошие сны: попреки, облава, тюрьма,

одиночество, грубая, торопливая смерть. И вот мимо него проходит молоденькая женщина. Она останавливается. Нищий спит. Состраданье, большое, как звездное небо, в ее глазах. Она смотрит в сумочку — у нее нет ничего. Женщина эта тоже бедна. Тогда она снимает с руки кольцо. Может быть, это память о ее покойной матери или подарок возлюбленного. Тихо кладет она кольцо в шапку нищего и тихо, боясь потревожить его сон, уходит. Никогда старик не узнает ни ее имени, ни черт ее лица. Он просыпается, он находит перед собой нечаянное богатство. Он голоден. Он может продать этот перстень и купить на него много хлеба. Но он не хочет расстаться с никчемной безделушкой. Он глядит на нее. Он больше не чувствует ни голода, ни старости, ни одиночества. Он знает, что не ошибался, когда верил в человеческое сердце. Вот, молодой человек, что случается с жалким нищим в темном переулке. От вас ушла любимая девушка. Вы не смогли завоевать счастье. Вы кричите, и вы клянете мир. Кто знает, быть может, это она дала старику последнюю его радость?..

Прахов усмехнулся:

— Совсем под Толстого работаете, а я думал — Сократ. Малиновый сироп! Только где вы видали таких сердобольных барышень и бескорыстных нищих?

Освальд Сигизмундович ничего не ответил. После едва заметного колебания он вынул из кармана маленькое колечко и показал его Прахову. Разыгралась немая сцена, полная неожиданного для обоих трагизма. Мог ли не узнать Прахов злополучного подношения? Он замер — перед ним стояла Таня: «Что это?..» Ему показывали страшную улику. Он крепко сжал руку старика, боясь, что тот попытается убежать.

— Ах, вот что!.. Обчистил ее!.. Убил!.. Отвечай, убил?

Спокойно глядел Освальд Сигизмундович на Прахова серыми печальными глазами, глядел и молчал. А Прахов ждал. Несмотря на ярость, он почувствовал вдруг освобождение. Мысль о том, что Таню убил какой-то нищий, была ему приятной. Это снимало вину с него. Это и уничтожало надежды: «А вдруг жива?» Это закрывало тревожную историю всего месяца.

— Ну?.. Убийца!

Тогда Освальд Сигизмундович резко встал, высвободил свою руку и высокомерно проговорил:

— Я не хочу с вами разговаривать. Вы можете позвать милицию, арестовать меня, вы можете меня убить на месте, но разговаривать с вами я не стану. Человек, способный на столь подлое подозрение, низок и недостоин человеческой речи. Я не ошибся, увидев ваши глаза. Такие глаза бывают только у преступников.

Прахов сидел согнувшись. Когда старик упомянул о его глазах, он инстинктивно закрыл глаза ладонью. Обладал ли голос Освальда Сигизмундовича непонятной силой над этим человеком, или он услышал вновь другой голос, своей совести? Не знаю. Только сидел он молча, не двигаясь, понурый, тусклый, ничтожный. А Освальд Сигизмундович ждал:

— Что же вы не зовете милицию?

Тогда Прахов осмелился взглянуть на старика. Он почувствовал острый стыд. До чего нелепо обвинение! Зачем бы убийца стал хранить кольцо, да еще показывать его чуть ли не первому встречному? То, что он называл «притчей»,— правда. Таня ушла из дома ночью, она решила покончить с собой. И последнее, что она сделала,— это вот нечаянный подарок спавшему нищему. Прощальная улыбка... Робко, заплетающимся голосом Прахов проговорил:

— Это вам Таня дала... Перед смертью... Я ее убил!..

Освальд Сигизмундович не позвал милицейского. Он не схватил Прахова. Он даже не отвернулся с вполне естественной брезгливостью. Нет, проведя рукой по своим слегка замутневшим глазам, он сказал:

— За всю мою жизнь только один раз, увидев в картузе это кольцо, я узнал, что значит женская нежность. Но возьмите его. Вы помните лицо этой девушки и руку, на которой был перстень. Вам остается еще долго жить, а мои дни сочтены. Вам эта память нужнее...

И, вложив в руку Прахова колечко, Освальд Сигизмундович вышел из комнаты.

15

НОЧЬЮ У МОСКВЫ-РЕКИ

Горбат Проточный переулок. Наверху Смоленский, ларьки, чайные, воркотня папиросников, милицейские — жизнь наверху, а внизу Москва-река, значит, свежесть, отдых, спокойствие. Конечно, река у нас не бог весть какая, приезжие посмеиваются: «Море, берега не видать»,— и действительно, летом скудеет

речонка, кажется, что ребята, засучив штанишки, добегут вброд до Дорогомилова, не пышное это зрелище. Однако, для Проточного здесь и красота, и умиление, и по-модному — «гигиена». На «гигиене» все помешались: живут кучей, некоторые не меняют рубахи от Рождества до Пасхи, так что рубаха копошится, а гигиену уважают. Даже закусочная, где в котле угрюмо ворочаются рубцы или щи, где тянут из чайников горькую, а дерутся до крови, но тихо, даже эта обжорка гордо именуется «Закусочная «Гигиена».

В воскресенье Проточный катится вниз к речке. Делопроизводитель принимает солнечные ванны, стараясь загореть всюду, даже под мышкой, а Панкратов, перекрестясь, степенно влезает в воду, окунается, фыркает, сплевывает, чешет спину; долго стоит он в воде, багровый, массивный, блистающий, как медный монумент. Вокруг пескарями вьются персюки, гражданка Лойтер кормит не то Оську, не то Илика крутыми яйцами, жулье, распустившись веером, картежничает, передергивает, бранится, но, защекоченное нежным ветерком, умолкает. Благодать! Сядешь здесь и задумаешься: над чем, дорогие друзья, вы смеетесь? Чем хуже эта мирная картина всяких Гурзуфов? Конечно, ни роз, ни магнолий здесь нет, если и цвел в церковном дворике куролеп, давно оборвали его ребятишки, но ведь это Проточный, своя дача, своя красота; подумайте только: после «Ивановки» — река с лодочкой! Не в богатстве ландшафта суть, в чувствах... Впрочем, не додумав, лезешь в воду: соблазнительно полощутся персюки.

А в будни здесь тихо. Ругается перевозчик — ему подсунули царский гривенник: хоть красивая птица орел, не летает он больше. Ребята прибегут, пошумят, выкупаются и — назад, на Смоленский, там веселей. Дрыхнет какой-нибудь гражданин, не добравшись с именин домой. Пусто, грустно. Плохие у лодочника дела: редко кто с того берега переедет сюда, спеша на рынок, идут мостом — «копейка рубль бережет». А к ночи и последние фигуры исчезают. Жулики — народ трусливый, своих же боятся: хоть ничего на человеке нет, кроме рваных портков, а вдруг с пьяных глаз пырнут... В безлунные ночи здесь темно, как будто это не Москва, а глушь. Только страсть иногда побеждает страх — женщины приводят сюда своих клиентов и, за неимением местечка поукромней, располагаются возле

глухих заборов, на самом берегу. Дело это дешевое, скорое — «гости» не задерживаются, женщины тоже: получив полтинник, спешат наверх в «Гигиену» — пропить его. Так что никто здесь ночью не любуется Москвой-рекой. А жаль, вот когда бы ею любоваться!

Чего только с нами не делает ночь! Задумчиво мерцает вода, и кажется Москва-река большущей рекой, широкой, глубокой. Таинственно маячат огни Дорогомилова, не окраина это, где пыль, пивоваренный завод, сапожники, кладбище, а неведомый город. Может быть, там шумная жизнь, веселье, свет, музыка? А здесь только вода и звезды; каждый звук здесь неожидан и трогает сердце: торопливый шаг запоздавшего пешехода напоминает — «вот так и ты, застигнут ночью, далеко от крова и от счастья»,— а занесенный ветром визг гармошки доводит до слез: как умеют люди любить, как умеют они в трущобах Проточного находить для своих чувств такие пронзительные звуки! Но сильней всего волнует тишина. Всякий раз, приходя сюда, я забывал о своих невзгодах, об ущемленном самолюбии, о близкой старости, о соседях, о том, что живу в Проточном, обо всем забывал — открывалась простая правда: хорошо жить на земле, замечательно это выдумано — и река, и огни, и то, что дышишь!

Впрочем, не о своих вдоволь избитых чувствованиях я хочу сейчас рассказать. В тот вечер меня здесь и не было. Освальд Сигизмундович, искавший спокойного ночлега, удовлетворенно подумал: сегодня никого нет. Он поглядел на далекие огни, и тогда охватил его легкий испуг: огоньки удалялись, они как бы убегали от его глаз, один пропал, другой — темень. Старик прикрыл глаза рукой: вот и зрение ослабевает, сердце пошаливает, глуховат, совсем сносился бывший преподаватель латыни. Сколько ему еще жить? Год? Два? Все равно: он свое увидел. Тяжело умирать, когда тебя манит жизнь, когда все в ней внове, как в первом акте комедии. Завязывается интрига, неизвестно, кого полюбит героиня, как сложится судьба симпатичного героя. Но вот уже пятое действие — под шарканье нетерпеливых зрителей, спешащих в гардеробную, любимец автора, резонерствующий дядюшка, договаривает последний монолог. Смолоду кажется — как это можно жить, если знаешь, что умрешь, обязательно умрешь? А приближаясь к смерти, видишь — нестрашно. Редеет жизнь — нет больше друзей, сверстников. Дру-

гие зрители смотрят другие пьесы, твоя доиграна. Безразличие охватывает: кто там кого — все равно! Освальд Сигизмундович лег, потянулся.

Но не спалось ему: переутомился, весь день провел на ногах, болела рука,— верно, погода меняется — ревматизм. Если завтра будет дождь — беда, некуда укрыться. Противная боль в плече тянет, и сердце замирает. Спать привык он на боку, подложив руку под щеку, а пришлось лечь на спину: задыхался. Сон не шел. Он лежал и глядел на звезды. Звезды не убегали, как огни за речкой, но светлели, множились, обращая весь небосвод в одно печальное сияние. «Заманивают,— равнодушно подумал Освальд Сигизмундович,— а не все ли равно, здесь или там?.. Надо попытаться уснуть на спине...»

С детьми было легче. Как смешно прыгал Журавка, когда стащил окорок. Почему здесь нет Журавки?.. И тот, маленький — «Футурум». Он, наверное, будет разбойником. Или гением Когорты. При чем тут когорты?

Никогда Освальд Сигизмундович не тяготился так одиночеством, как в эту ночь. Подвал абрикосового домика казался ему уютной квартирой: была семья, детские голоса, смех. А сейчас никого. Только сердитые толчки сердца и звезды. Он хотел было встать, чтобы добраться до Смоленского — все же там люди,— но ноги отказывались идти. Хоть бы пришел сюда милицейский. Услышать крик, брань, все равно, только живой человеческий голос! Вот еще недавно он радовался безлюдью, а теперь все, кажется, отдал бы за трусливо озирающуюся парочку, из тех, кто ходит сюда «баловаться». Но нет, спят все — и гулящие женщины, и милицейские, и дети. Только звезды пристают к старику: «Это мы, светлые, вечные, непогасимые...»

Он начал, кажется, забываться, когда вдруг всего его передернуло, сердце забилось быстро, бестолково, то и дело останавливаясь, сильнее прежнего заныла рука. Он теперь громко стонал от боли и от страха. «Неужели я умираю? Нет, просто ревматизм. Теперь бы в тепло, и руку натереть бальзамом, все прошло бы. А может быть, это и есть смерть?.. Без торжественности, без высоких мыслей: как шелудивая собака. Не хочу!» Да, оказалось, что он еще не готов, еще не хочет он. Бывают ли готовы к этому люди? Немного бы, год, ну, три месяца — до зимы! Куда-нибудь за город. Лес. С Журавкой. «Кхе-кхе! Живем...» Зачем звезды? Если лежать не двигаясь, легче. Отложите!.. Слышите?..

Мысли путались. Не было в его голове ни сознания величественности часа, ни сожаления о былом, ни стройной картины прожитой жизни. Все мешалось. Почему мундир пахнет нафталином? Вы б его, Авдотья, проветрили. Поздно, голубчик! Теперь декреты. Старье! «Князь, свиное ухо видел?» Набавляй еще рубль. Глотков Сергей, вы не приготовили урока. «Игнис» на «ис», однако же мужского рода. Исключение. Вся суть в исключениях. Стыдно, гражданин, нищенствовать! Вот на Пречистенке хорошо подают. Возле Цекубу. Смотри, Журавка, не убережешь ты его! «Футурум». Стой! Необходима система...

Напрягаясь, старался Освальд Сигизмундович думать связно. Будь здесь горбатый скрипач, он сыграл бы реквием. В его комнате живет убийца. Значит, он простил убийцу. Да, самое главное — это уметь простить. Тогда-то слышишь музыку. А молодого человека жаль. У него не злые глаза. У него несчастные глаза. Он не похож на убийцу. Он знал ту девушку. Он ведь сказал, как ее звали. Ее звали Таня.

И, вспомнив о маленьком колечке, Освальд Сигизмундович собрал все свои силы, приподнялся, взглянул на Проточный — «вот там», — улыбнулся. Огромная радость вошла в его сердце, и усталое сердце не выдержало. Оно просто остановилось. Не было здесь ни судороги, ни крика — только тихая улыбка, смягчившая суровость старческих черт, легкая, едва приметная улыбка. Никто этого не видел, кроме разве бесчувственных звезд. Спал Проточный, спали злодеи и дети, спала человеческая мелкота, и не догадывались люди, что покрыт теперь подлый переулок прекраснейшей улыбкой бывшего преподавателя Первой классической гимназии, старого нищего, «дедушки» беспризорных, Освальда Сигизмундовича Яншека.

16

ВАРЕНЬЕ НА СЛАВУ

Панкратова варила клубничное варенье. Жаль, не было при этом поэта: вот что воспеть бы — стародавнюю неторопливую работу хромой, но преуспевающей хозяйки, аромат ягод и жженого сахара, светлоалую окраску пенок, подобную фантастическому закату на далеком взморье. Браво, Панкратова! Не забыла

ты высокого уменья сохранить цельной ягоду, чтобы она плавала в прозрачном сиропе, как звезды в небесах, не забыла его среди прочих житейских дел, среди засовывания кой-куда брошек перед обыском, среди раздобывания пшена на вокзалах (было и такое время), среди законопачивания похитителей окорока; да и тазик уцелел, не перелили его ни в пушку, ни в патриарший колокол, нет, остался тазик, осталась Панкратова, осталась даже вся премудрая иерархия: помельче — просто для повседневного употребления, а где сплошная каша — на кухню, в блинчики. Браво, Панкратова,— жива и живешь ты, добрый дух абрикосового домика, гордость Проточного переулка — ни у кого нет такого варенья! А без варенья — что же это за чай? А без чая — какая же это жизнь? Панкратовой — ура!

Шло все как по маслу в нижнем этаже благословенного домика: не только варенье удалось, «сам», слава богу, тоже преуспевал. Хотя писали собратья Прахова о каких-то «кризисах», помаленьку торговал Панкратов, приползали «червячки», знали свое место. Глупые страхи больше не тревожили почтенного сердца. А телеса цвели: купался, пил водочку, с Поленькой ездил в баню — бояться тут нечего, родственница, вроде как сестра.

Однако ревнива судьба, не может она вынести человеческого счастья. Чуть было не стряслась беда над бородой: ведь дойди дело до огласки, опозорили бы газетные пачкуны уважаемого всеми гражданина. Законы у нас шаткие — кто их знает, что теперь можно, а чего нельзя? Очень легко и в тюрьму попасть. Разве варила бы тогда варенье супруга? Словом, мог бы обратиться нежно-абрикосовый в юдоль стонов и слез.

Началось все преглупо: за кулебякой, причем кулебяка эта была вполне добротной — пышная, румяная, а фарш из свежей капусты с яйцами так и таял во рту... Ели, как всегда, сосредоточенно, молча. Вдруг вскочила Поленька и, бледная вся, выскочила в сени: ее вырвало. Конечно, не в кулебяке было дело. Прошло еще несколько дней, и хоть не отличалась Поленька догадливостью, поняла она, в чем дело. Еще шире распахнулся ее рот. Слезы не переставая лились из припухших глаз. Панкратова начала подозревать. Не знала только — кто.

— Слушай, Поля, ты думаешь, я не вижу? Все вижу. Дрянь ты, а не девушка! Комсомолка! Скажу я Алексеичу, он тебя поколотит, вот тебе слово мое, поколотит. Я бы выгнать тебя должна. А мне жалко. Сестры мы

как-никак. Ты скажи мне, кто это постарался? Если хоть с деньгами человек, можно алименты ихние встребовать. А то ведь дура ты—с голоштанником могла спутаться. Ну, чего ты молчишь? Отвечай, чье это дело?..

Хоть настежь рот Поленьки, молчит она. Стыд какой!.. Что ей ответить сестрице? Ведь она сама не знает, чье это дело. Кто из двух? Головой—как-никак, у нее голова, хоть не первый сорт—понимает: скорей всего «сам». Ванечка говорил: «Ты не бойся, я как в Европе...», а «сам» ничего не говорил, только мычал. Скорей всего «сам». Но сердце пробует робко спорить: а может, от Ванечки?.. Вот счастье!.. Не знает она, как ответить. Если сказать на Панкратова, убьет ее сестрица. А на Сахарова—грех, скандалить начнут, попрекать его, вот еще алименты взыщут, а у Ванечки и так денег нет, ходит он грустный. Может, болен? Бедненький! Нет, на Ванечку ни за что не скажет. Тогда...

— Что же ты, дрянь этакая, молчишь?..

Поленька шлепает губами, но не может слова вымолвить.

— Ну?.. Да не бойся, не съем я тебя. Вместе обсудим. Две головы все-таки...

— Не скажу я, кто—духу не хватит.

— Это как же «не скажешь»? Не выпущу я тебя, пока толку не добьюсь.

— Я, сестрица, боюсь...

— Вот что! Поздно подумала. Отвечай, дрянь!

И она больно ударяет Поленьку по щеке. Поленька взвизгивает:

— Ой ты!.. Не дерись! Я скажу тебе... Только убьешь ты меня. Пожалей меня, Анечка! Силой это он... Разве я пошла бы? Заставил он меня. Не бей! Он это—Петр Алексеич...

Тогда вскакивает Панкратова, хоть маленькая, хромая, сгребает толстушку Поленьку и хлещет ее салфеткой по лицу, долго хлещет. Слезы и крики сестры понемногу успокаивают ее. Не ревнует Панкратова: что здесь поделаешь, Алексеич мужик хоть куда. Но чтобы в своем доме, да родная сестра!.. Вся злоба её—на Поленьку. Мужа она и в душе не попрекает: занят весь день человек, где ему тут искать?.. А эта...

— Вот тебе, получай! Еще! Еще!

Наконец, уморившись, она садится. Поленька лежит на полу, вся растерзанная, волосы распустились, раскрылась блузка, лежит и всхлипывает.

— Замолчи ты, дура!

Теперь слезы Поленьки мешают Панкратовой думать, а она должна поразмыслить — как здесь быть? Ну, отлупила. Это хорошо. От этого на душе легче. А дальше? С соседями не посоветуешься. Алексеичу тоже не скажешь — убьет. Отослать сестру в Серпухов, к матери? Но ведь и там не отстанут: «С кого алименты требовать?» Значит, надо втихомолку со всем покончить.

Опомнившись, Поленька, еще вся в слезах, мечтает: «Нет, не от «самого»... Ну вот и сказала... И сошло. А родить — это дело пустое. Назову его Ванечкой. Будет он блондин и ходить в «Эрмитаж», там — Мараскины. Миленький!..»

Мечты ее прервал злобный шепот сестры:

— Ты — молчок. Завтра я тебя к Шрамченко отведу. Мигом сварганит. А потом в Серпухов уедешь, к мамаше, чтобы снова чего не вышло. Поняла?

Поленька прикладывает руку к груди и, нащупав там подвешенное сердечко, снова плачет: «Ванечка, милый мой, сынок!..»

Так и не узнал о семейном скандале никто, кроме гражданки Шрамченко. У гражданки Шрамченко много сомнительных свойств: сварливый нрав, угри на носу, да и весь нос неопрятный — нюхает табак по старинке,— если кричат бабы, она шипит: «Киш, девушка, с ним не кричала, так и у меня нишкни»,— в нос — понюшку — «апчхи» — словом, поганая женщина, но — могила, слова из нее не вытянешь. Тайна Поленьки в надежном месте.

«Сам» ни о чем не подозревал. Узнав от супружницы, что уезжает Поленька в Серпухов, насупился,— «где же такую сыщешь»,— отлупил хромую зонтиком, а потом успокоился — видно, любовный сезон миновал.

Ну а Ванечка?.. Не до того было Сахарову. Печаль и запустенье овладели верхним этажом абрикосового. Даже заказчиц стало меньше — они чуяли неблагополучие и, хоть прилежно работала Наталья Генриховна, обижались: «Испортила баронесса шляпку, как-то не сидит на голове». Осела на Новинском мадам Шуконьяк; правда, у нее не было ни титула, ни «комильфо» — просто «шью и переделываю шляпы, а также из материала заказчиц», но франтихи Проточного шли к Шуконьяк, предпочитая веселую улыбочку угрюмым глазам баронессы. «Грызет ее,— говорили они о Наталье Генриховне,— не иначе как девушку по ночам видит...»

С Сахаровым Наталья Генриховна вовсе перестала разговаривать. Приходя, он кричал: «Обед, мамахен!» Молча приносила она миску. Слышно было, как глотают суп. Иногда, замечая на столе мелочь, сдачу с рубля,— Петька принес из лавки,— Сахаров раздраженно засовывал деньги в карман. Жена не возражала, но больше ему не давала. Как-то он попросил:

— Изволь выдать мне червонец... Ну, одолжи до конца месяца. Черт знает что! Пешком должен ходить, как мальчишка...

Она ответила:

— У меня теперь заказов мало. Петьке надо ботинки купить. Если я тебе дам, на жизнь не хватит.

Она не солгала: денег у нее не было. Но разве в былое время отказала бы она Ванечке? Как-нибудь выкрутилась бы. А теперь на нее нашла апатия. Если и продолжала она работать, то только ради Петьки, хоть чувствовала, что у нее нет сына. Петьку она потеряла. Работала она, может быть, и по привычке: так уж заведено, что кормит всех. О страшном видении она больше не вспоминала, о судьбе своей не думала. Дни проходили тихо и безразлично, как стежки, когда шьешь: еще один. Это спокойствие пугало Сахарова, он предпочел бы брань. С ума спятила? Или что-нибудь задумывает? Ах, если б деньги!.. Разве остался бы он здесь лишний час?.. Вся остановка за монетой. Он рыскал по городу и мечтал... Кто-то предложил ему продать привезенные из-за границы арифмометры. В последнюю минуту он струсил: поймают. Вот разве что с объявлениями «Госпароходства» выйдет. Тогда — двенадцать червонцев комиссии. Тогда он сейчас же переедет. Но куда?.. Верочка? Дура, влюблена в него во как, глядит и не дышит. Морда у нее, откровенно говоря, препротивная, вся в прыщах. Зато — комната. Все равно! На морду можно не глядеть. Лишь бы отсюда вырваться. Здесь, может быть, такая каша заваривается... Поверьте носу Сахарова, у него чуткий нос.

Ну как же здесь было думать Сахарову о том, почему у дурочки Поленьки припухшие глаза? Одной ногой он уже был не в Проточном, а на Полянке, где проживала Верочка Муравьева. Денег у Поленьки нет, а для прочего теперь не время. Он забыл дорогу в каморку, где повернуться трудно и от подушек и от восторженного оханья.

Панкратова снарядила сестру быстро, та после визита к гражданке Шрамченко и оправиться не успела: «Прыток Алексеич, ох, как прыток!..» (Это она с гордостью думала: муж.)

Накануне отъезда Поленька зашла к баронессе проститься. Наталья Генриховна не знала, что сказать своей поверенной, молчала, ведь этого, нового никому не выскажешь, а о пустяках говорить не хотелось. Молчала и Поленька. Сдавалось ей, выколупнули из нее душу, только скорлупа осталась — грудь, волосы, рот, да, разумеется, рот, раскрытый настежь. Помявшись немного, она предложила:

— Я вам помогу, Наталья Генриховна.

И взяла, по привычке, шляпу. Работа шла хорошо, быстро. Но присутствие Натальи Генриховны смущало ее — все же она была единственной душой, которая не цыкала на Поленьку: «Дура, рот закрой». Сестра, «сам», даже Ванечка — кому бы из них вздумалось поделиться с Поленькой своими горестями? А Наталья Генриховна говорила с ней как с равной, душу раскрывала. Вот если б сказать ей все!.. Про Ванечку, про серебряное сердечко, про то, что какая-то Шрамченко убила ее душу, взяла и убила, без долгих разговоров, с понюшкой в носу. Нет, не может она этого сказать. Не поверит Наталья Генриховна, чтобы Ваня, да с такой большеротой дурой... Никогда! А если поверит, еще хуже — возненавидит Поленьку. Господи, и как это в жизни устроено, что пожаловаться некому?..

Поленька заплакала. Отложила шляпку, чтобы не замочить ее слезами.

— Что с вами, Поленька?

Ласковый голос Натальи Генриховны еще сильнее потряс Поленьку. Она подбежала к баронессе и, приткнув голову к ее коленям, зашептала:

— Сон мне приснился, Наталья Генриховна, будто сыночек у меня от Ивана Игнатьевича. Красивый такой. Блондин. Ванечка. А вот проснулась, и нет ничего, никакого Ванечки. Страшно мне, Наталья Генриховна. Раскололи меня и сердце вынули. Как же я теперь жить буду?..

Внизу Панкратова варила варенье, и хоть год у нас безъягодный, хоть клубника скорее мелкая, даже виктория, не говоря уж о русской, на славу удалось варенье: важнее всего и в этом деле сноровка, терпение, душевный покой.

17

КОНЕЦ СЕМЬИ САХАРОВЫХ

Для иных Проточный переулок и впрямь проточный — не задерживаются они в нем. Панкратов здесь родился, здесь и умрет, а вот Петька ушел. Сказал: «Уйду с братвой»,— и ушел. Бегство свое он обставил толково: выкрал из буфетного ящика три рубля, взял оставленные на ужин оладьи и своего любимца, деревянного конягу, сказал матери, что идет на бульвар, гулять,— и поминай как звали. Были, видимо, у него старшие советчики. Ведь никто не знал толком, с кем водился Петька после того, как Панкратовы завалили подвал. Если встречали его соседи у Москвы-реки или на Смоленском, то уж обязательно с ватагой беспризорных. Вот и убежал.

Другие — сироты, а у Петьки и родители были, и уголок свой, и даже ласка. Как понять это? Водились ли в иных местах заветные «Бубики»? Или подвержено младенческое сердце магнетической силе свободы, живы в нем еще звуки той песни, которой внимают «и месяц, и звезды, и тучи»? Или просто соблазнительны в такие годы ослушание, жизнь без взрослых, похождения, где каждый двор — Америка, каждый снежок — Бородино. Трудно разобраться в детской душе: мнимо-простая, она сложна. Стащил три рубля и пропал.

Наталья Генриховна долго поджидала его к ужину, хоть вздрогнула, заметив пропажу денег: вдруг?.. Сахаров ворчал: «Выпорю, тогда узнает...» Стемнело. Вот и ночь. Петьки не было. Она не удивилась. Она помнила его «уйду», хоть и могло показаться это минутной обидой ребенка. Искать мальчика пошла Панкратова. Сахаров звонил куда-то по телефону. Кругом суетились. Наталья Генриховна сохраняла спокойствие. Она знала, что зря шумят, ходят, ищут. Ушел Петька, ушел с «теми». Она видела перед собой, как мертвые, задохшиеся, с большими выпученными глазами манят Петеньку, ласкают его, смеются — в ушах стоял лязг от этого смеха,— уводят его с собой.

— Ты чего сидишь как бревно? — прикрикнул на нее Сахаров.

— Все равно, ничего не поможет. Утащили его.

— Кто? Цыгане? (Сахаров вспомнил, что детей крадут почему-то цыгане.)

— Нет. Те. Из подвала. Убили мы их, вот они и мстят.

Тогда Сахаров побежал к Панкратовым; даже Петра Алексеевича, на что тот был стоек духом, напугал он:

— Сошла с ума! Мертвецов видит. Тех, из подвала... Опасно это! Для всех опасно. Услыхать могут. Не знаю, право, что с ней делать? Ведь у ней целая коллекция на совести. Начнет распространяться, тогда все мы сядем. Я пойду с одним спецом посоветуюсь — нельзя ли ее в клинику упрятать. А вы уже как-нибудь без меня. Главное, не пускайте ее никуда. Силой держите.

Панкратов выругался:

— Стерва! Вместе делали, а теперь болтать? Уж вы меня простите, Иван Игнатьевич, только я ее в случае чего уничтожу, как вошь раздавлю!..

Будто взвод целый, топотал он, подымаясь по лестнице.

— Я, дамочка моя, скандалов не потерплю, я...

И вдруг осекся: в комнате никого не было. Опоздал Панкратов. Пока внизу шло совещание, Наталья Генриховна успела уйти. Рукавом Панкратов вытер лоб. Сам над собой посмеялся:

— Что, скушал?..

Хромая супружница забыла про то, какая в этом году ягода, смешно подпрыгивая, квохтала:

— Конец нам, Алексеич! Как же ты их оттуда не выковырял?..

— «Выковыряешь»! Что это тебе, семечки лускать? Халда! Мало тебя драли, матушка!

И пошло в абрикосовом такое безобразие, что даже видавшим виды чертям Проточного и тем тошно стало.

По улице, не замечая ни блеска зарниц — стояла душная летняя ночь,— ни смеха прохожих, тихо шла Наталья Генриховна. Куда — этого она сама не знала. Пошла, чтобы не сидеть на месте. Она не искала Петьку, не вглядывалась в лица ребят. Зачем? Все равно не вернуть ей сына. Ушел, ушел совсем. Если даже в той ватаге увидит она милое личико, Петька оттолкнет ее, убежит. Не хочет он жить с убийцей. Все правы: бежать от нее надо, как от чумной. Девушки она не тронула, но в зимнюю ночь убила детей. Сколько их там было? Кто знает?.. Она сторожила, пока Панкратов снегом заваливал ход. Задохлись. Слабенькие. Как Петька. Смерти ей мало. Нет для нее пытки. Вот посадить в такой подвал и засыпать. Чтобы никто не пожалел. Чтобы Петька тоже кидал землю: «Полу-

чай, душегубка!» Она одна во всем виновата. Что Панкратовы? Разве это люди? Колбаса, монпансье, окорок... Скажи она тогда «нет», разве они посмели бы? А она сторожила. Вот и расплата. Нет больше Петьки. Жить незачем. Слишком цеплялась она за эту жизнь, чтобы Ванечка, чтобы Петенька, чтобы... Теперь — одна. Прохожие сторонятся, вся в крови она. Умереть? Еще раз сподличать? Нет, голубушка, нужно уметь расплачиваться! Пусть все знают, какая она преступница.

Ее шаги стали живей, глаза теперь поблескивали, как зарницы. Она знала, куда идти. Дежурного, сонного и мечтательного, который пил чай, она ошеломила прежде всего своим голосом, чересчур уж торжественным для этой комнатушки, пропахшей сапожной мазью и мелкими мордобоями. Недоверчиво он промычал:

— Вы, гражданка, успокойтесь, а то я вас и понять не могу. Какие дети? Откуда дети? Что за белиберда?..

Наталья Генриховна повторила:

— Я не волнуюсь. Я рассказываю вам все, как было. Беспризорные. Они водились с моим сыном. Тогда я решила убить их. Ночью, когда все в доме спали, я засыпала подвал снегом. Если вы не верите, пойдемте. Ведь они там. Это в Проточном, дом напротив Прогонного. Моя фамилия Сахарова, Сахарова Наталья Генриховна.

Дежурный почесал за ухом. Он никак не мог понять, что ему тут делать.

— Одна беда с этими беспризорными. По десяти протоколов в день. Вот вчера, например...

Наталья Генриховна строго оборвала его:

— Я повторяю вам: я — убийца. Я их убила. Понимаете?

— Так... Чего же вы, собственно говоря, хотите?

— Я хочу, чтобы меня арестовали, судили, предали казни.

Окончательно сбитый с толку дежурный уныло пробормотал:

— Ну, в таком случае я по телефону позвоню...

Осмотр подвала начался часов в девять утра. «Идут»,— крикнула Панкратова, и «сам» не спросил, кто — знал. Даже торговать не пошел он. От бессонной ночи горели ладони, глаза кололо: до зари он ждал с Сахаровым, не вернется ли Наталья Генриховна.

Мрачная это была ночь! Сахаров заполнил покойную обитель Панкратовых окурками, нервным позевыванием, подозрительным запахом фиксатуара. Разговаривал он скорее не с хозяевами, а с собой:

— Чепуха! Настоящая уголовщина! Если у человека нечистая совесть, он на все способен. Я — потерпевший. У меня она Таню отняла. Ясно? Дочь барона фон Майнорт с колуном! Так-с. А при чем тут я? Служу, работаю... Я, извиняюсь, потомственный мещанин. У меня таких баронских чувств вовсе нет. Детей закопали? Не знаю. Меня тогда и дома не было. Конечно, донести она способна. По совокупности. Кровь мучает. А мне эти детки не мешали. Я деток люблю...

Рассердившись, Панкратов прикрикнул на него:

— Нечего зубы заговаривать! Вместе делали, вместе и отвечать будем. А отпираться, сукин сын, начнешь, на меня валить, так я тебя живо засыплю. Как тех паршивцев засыплю. Мы и насчет девушки поговорим. Что значит «пропала»? Спал ты с ней? Спал. Жена милку колуном, а ты жену — «чмок». Так, что ли? Здесь, брат, дело нечистое. Уж если меня — под расстрел, так и тебя туда же.

Панкратов стоял разъяренный, густо-красный, огромный, как палач. Жилы на его лице вздулись, он разодрал ворот рубашки: задыхался он от бешенства. «Смерть моя!» — подумал Сахаров, вспомнил почему-то рапиры барона и красный циферблат дома на Лубянской площади. Быстро-быстро заверещал он:

— Что вы, Петр Алексеевич?.. Я ведь пошутил. Я со всеми. Она-то стерва. А я свой. Умру, а вас не выдам.

Панкратов быстро отошел:

— Давно бы так. А то зря время драгоценное теряем. Надо обсудить, как в случае, если она разболтает... Их-то оттуда не вытащишь.

— Исключительно, Петр Алексеич, крыть помешательством. Что же из того, что они в подвале? Могло их обыкновенной метелью занести. Замерзнуть могли. Мало, скажете, детей замерзает? А ей померещилось. То есть от безумья. Пусть доктора освидетельствуют. И причины ясны. Я уж следователю говорил. Я тут ни при чем. Я, во-первых, жертва. Отчего не бросил ее? А сын? Трагедия!

— Опять на себя?.. Здесь как быть с этими разбойниками, а вы все о своих чувствах. Там они? Там. Это вам не дур заговаривать. Отроют, и конец нам...

Так они совещались, вздыхали, переругивались, до той самой минуты, когда хромая крикнула: «Идут...» Здесь — бах! — блином распластался Панкратов перед иконами. А Сахаров — нервы это, исключительно нервы,— сам не понимая, что он делает, запел, как Мараскин: «Я потгясен, я погажен...»

Известие о том, что обыскивают подвал абрикосового, мигом облетело Проточный. В переулке стоял гул: «Сама привела!» — «Врешь?..» — «Там она и девушку припрятала, нашинковала, как капусту».— «А говорили, в Москву-реку кинула».— «Голову в воду, а туловище там...» — «Баронесса-то! Спятила...» — «Дети откуда? Ведь детей ищут...» — «Сахаровы ребят душили...» В чем дело, никто толком и не знал, но все повысыпали на улицу. Возле дома Панкратовых нельзя было протиснуться. Это не цыганские романсы. Ведь сейчас из дыры вытащат труп девушки, может быть, без головы, а может быть, не одной девушки, детишек, кто знает, только обязательно что-то вытащат...

Все ждали затаив дыханье, и персюки, и жулики, и гражданка Лойтер, хоть была она на сносях — не разрешиться бы ей с перепугу до времени. Ну, а «Фанертресту» пришлось в то утро обойтись без делопроизводителя. Кто же согласится прозевать подобный спектакль? Разве каждый день в Проточном находят трупы! «Эй вы, гражданин, уплотнитесь-ка!.. Раздался, будто, кроме него, людей нет. Всем, кажется, интересно. Зад подбери, пентюх!..» Но делопроизводитель ничего подобрать не мог. Вдохновенными глазами глядел он на узкую щель, откуда должно сейчас прорасти нечто замечательное, лучше золота, лучше диковинных цветов, лучше звезд — трухлявые кости, покрытые клочьями мяса.

Принудил себя и Панкратов сойти на улицу, он глядел, ахал, поддакивал: «Ну и штучка баронесса: говорят, девочку в рассол положила...» Только все он норовил свести к безумью: «Муженек у нее хуже скопца, телячья ножка, напомажен, а никуда, вот баба и взбесилась, по ночам на лестнице голосила: «Это я, царь-ирод, истреблю младенчиков...» Осторожно намекал Панкратов — не брехня ли это, не хвастовство ли? Мало ли что может такая баба наплести? Ну, и насчет метели, еще осторожней — в Дорогомилове беспризорных занесло. Говорил, а сам глаз не мог отвести от черного хода. Прикрыл он его весной,

чтобы не завоняло. Разрыли. Залезли. Сейчас вот выволокут Журавку. И вдруг — от бессонной ночи ум у него за разум зашел,— вдруг Журавка, как тогда, после заутрени, синим язычищем присосется к шее? Панкратов судорожно глотал слюну, рукой прикрывал ворот.

Хромая так и не решилась выйти. В темном чуланчике она не то всхлипывала, не то икала от страха. Кот зашел. Обрадовавшись, она хотела его приласкать, пощекотать затылок, но кот, привыкший к издевке, нагнал горб, фыркнул и оцарапал нос хозяйке. Панкратова взвыла, не от боли — почудился ей в этом перст: найдут, видит Бог, найдут! Да и как не найти? Что это, булавки? Расстреляют всех! Икота росла, переходила теперь в корчи. Не поминала хромая царя Давида: лезли в голову суповые кости с мозгом, студень, лежалая телятина. Изо рта побежала слюна, голова отвисла набок, все покрыло беспамятство.

А Сахаров? Почему его не было видно среди зевак? Заблаговременно он удалился. На скамье бульвара он якобы читал газету, время от времени поглядывая — не идут ли? Был у него свой план. Ведь ту ночь он провел у Тани. Правда, Тани нет в живых (здесь впервые он пожалел о смерти своей, как Поленька говорила, «милаши»), но дверь открыл ему горбатый, открыл с многозначительной миной, следовательно, заметил. Если поведут сейчас жену и Панкратовых, он — бегом к следователю, к тому самому, и все ему выложит. В тюрьме у Панкратова руки коротки. Пусть ругается. Хорошо, а вдруг горбун подведет? Что тогда?..

Развернутый лист смешно подпрыгивал: в это горячее утро, предвещавшее каторжный зной, Сахарова знобило. Неужели все еще роются?.. Жадно он вглядывался в даль, но никто из Проточного не показывался. Испытание длилось.

Агенты угрозыска брюзжали. Глупая затея! Что они найдут в заваленном мусором подвале? Слова этой женщины вряд ли заслуживают доверия. С чего бы ей вздумалось душить каких-то беспризорных? Да и не могла она справиться с такой работой. (Ведь о Панкратовых Наталья Генриховна ничего не сказала: «Я одна».) Скорей всего, выдумала — истеричка...

Подрагивала, покрикивала толпа. Каждое слово проходило по ней, как ветер по лесу. «Тащат!» — «Нет, это милиционер».— «Кричат, слышишь?..» — «Это

Панкратова с перепугу».— «Все разворотят...» — «Час, как сошли...» — «Гляди, рухнет, чего доброго, дом...» — «Ах ты!..» — «Ох ты!..»

Только виновница переполоха сохраняла спокойствие. Лицо Натальи Генриховны выражало угрюмую решимость. Этот огонь глаз, жестокий и прекрасный, видел однажды покойный барон, когда Туся ему сказала: «Прощайте». Пристально глядела она на открытый ход: вот оттуда сейчас покажется смерть. Вынесут первого, потом второго...

Наталья Генриховна стояла у всех на виду, пронизываемая глазами Проточного, но она не замечала ни любопытства, ни осуждения. Ее душа была глубоко под землей (хотела Наталья Генриховна сама сойти в подвал — не пустили), была она и высоко, как говорится, на небе, то есть над суетой догадок, над мыслями о близкой каре, над всем, что волновало и мужа, и Панкратовых, и праздных зевак. Со стороны обозревала Наталья Генриховна свою жизнь и дивилась: она ли это? Казались ей и радости, и скорби хлопотливой женщины, озабоченной домашним довольством, костюмом Ванечки, воспитанием сына, салфеточками на креслах, бюджетом, мужниными ласками, почетом соседок — смешными, а может быть, и завидными, как чужая биография, раскрытая нескромным сочинителем. «Глупо так жить...» И сейчас же вслед добавляла: «Но счастье тому, кто так живет, ни о чем другом не задумываясь, черства его душа, спокоен сон...» Так ли жила она? Она видела перед собой дни, вещи, лица, усики, пшено, шляпки, голенького Петьку, которого бабка поила ромашкой,— все видела, вплоть до кухонной утвари. Но воссоздать чувств она не могла, и ничто больше не одушевляло мелких ненужных лет, похожих на уютный дом, покинутый его обитателями. Почему эти выцветшие фотографии не сорваны со стен? Почему не выкинуты сентиментальной хозяйкой засохшие давно цветы?..

Да, это она жила здесь, в душных клетушках абрикосового, в душных годах, ревновала, суетилась, жадничала. Сейчас собравшиеся на чужой позор люди увидят ужасный итог ее жизни.

Прежде не раз Наталья Генриховна бранила себя за леность, за вялость чувств: мало печется о муже, мало занимается Петькой. А теперь все, что недавно она почитала за достоинства, казалось ей заблуждениями,

ничтожеством, чуть ли не грехом. Что довело ее до убийства? Слишком сильно она любила своих, глупой любовью, вязкой, как болото. Вот и засосала ее эта любовь. Нежность к двум сделала черствым сердце. Хорошо, что она еще ту девушку не убила! Могла... Теперь все кончено. Камни, кости судят ее. Свои ушли, и правы — как с такой жить? На чужих она никогда не глядела. Одинокой остается ей встретить собачью смерть.

Бывают минуты, когда человеческие чувства требуют шумных происшествий, громких слов, пафоса, движения. Наталья Генриховна могла бы успокоиться на дыбе, на костре, под наведенным дулом. Но судьба готовила ей горшее. Увидав тени людей, выползающих наконец-то из подвала, толпа разочарованно охнула. Кто-то даже свистнул: «Дурачье!..» Помилуйте, всех обманули самым бессовестным манером. Ничего! Так-таки ничего! С пустыми руками! Представители власти раздосадованно морщились.

— Я же вам сразу сказал — истеричка. В прошлом году вот одна такая же...

Не знаю, что именно приключилось в прошлом году, но теперь ничего не приключилось. Трагедия закончилась глупо: накричали на Наталью Генриховну и ушли. Народ тоже разошелся, гадая, кто кого надул: баронесса «легавых» или они ее? Скорей всего, надули Проточный: обещали мертвецов, а показали автомобиль и четыре портфеля.

Вот только Сахаров радовался. Повезло! Нет, не шутя, действительно повезло. Трупики испарились, как будто это роса. Что за наваждение?.. Уж не выгреб ли их хитряга Панкратов? Главное, ничего не нашли. Зря, мамахен, старались! (Сахаров не вытерпел, здесь же на бульваре, хоть никого рядом не было, высунул он препротивный свой язычок, тоненький и юркий, вроде червячка.) Он спасен. Он может идти гулять, на службу или к Верочке, куда ему только вздумается, никто не пойдет за ним следом, чтобы зашипеть в глухом переулке: «Стоп, гражданин!» Кажется, слоненок выручил.

Последнее умозаключение счастливых усиков способно озадачить — при чем тут слоненок? Но Сахаров был на редкость суеверен, хуже баб Проточного, верил в любой чох, разбирался в мастях котов, в числах несчастных и даже полунесчастных, — словом, в сотнях диковинных примет. Слоненка он получил в подарок от

Верочки, «чтобы любовь жила до гроба», носил амулет во внутреннем отделении кошелька, вместе с образком Сергия Радонежского и с китайской монеткой: авось все скопом вывезут. Помянул он сейчас новейшего, а следовательно, и главного, вынул, даже погладил целлулоидный хоботок: спасибо! Хотел было и Верочку поблагодарить, однако передумал: нужно сначала здесь все уладить. Конечно, противно возвращаться в Проточный, хуже Верочкиных прыщей, кажется, еще пахнет переулок сгинувшими без следа мертвецами и тюремной баландой, но как не заглянуть к Панкратову — и так, наверное, он на Сахарова в претензии: утек, трусишка, пока обыскивали. С Панкратовым шутить не стоит — борода на все способна. Вдруг он объединится с «мамахен» против Сахарова?.. Например, будто он, Сахаров, прикончил и Таню и детишек... Ведь их трое... Эта мысль, как ни была она вздорна, заставила Сахарова вновь захолодеть. Умоляюще он взглянул на бледное, слинявшее небо и на слоненка, повертелся, повздыхал, а потом направился в Проточный.

У Панкратовых, куда сразу прошел он, вместо недавнего переполоха стояло полное спокойствие. Супруги пили чай, а что же лучше чая в такую жарищу, горячего, с кисленькой смородиной, чтобы душу прошиб спасительный пот? Вот достоинство Панкратова — быстро успокаивается. Еще хромая лежала в чуланчике, мокрая, дохлая, а он уже покрикивал:

— Эй, самоварчик! Ушли, ослы этакие...

Сахарову очень хотелось разузнать — как же все обошлось? Неужто Панкратов успел очистить подвал? Но Петр Алексеевич цыкнул:

— Нечего, нечего!.. Ничего и не было. Охота вам языком трепать. Лучше о деле подумайте. Я, сами знаете, прежде не возражал... А если «их» припутываете — какое мне с вами житье? Насчет декретов я, конечно, не знаю, но вы уже лучше подобру-поздорову... Люди мы тихие, жизнь у нас тоже не газетная... Так что придется вам, Иван Игнатьевич, другое помещение подыскивать...

Сахаров растерялся: ко всему он был готов, к брани — «куда улизнул?», к бахвальству — «ловко мы их без тебя выжили»,— но только не к такому миролюбивому приглашению: извольте-ка убираться. Куда ему деться? К Верочке? Там тоже восемь червонцев надо внести, не то и ее выселят. Черт знает, как глупо

вышло! Сколько Сахарову приходится страдать из-за паршивой «мамахен»!..

— Я с ней, Петр Алексеевич, разведусь, честное слово, разведусь. Да и проще — я ее безо всякого развода на улицу выкину. Я ведь великолепно понимаю — разве с такой стервой можно жить? Сегодня она этих привела, завтра, чего доброго, в Гепеу сунется. Все мы через нее погибнем...

Смягчившись, Панкратов промолвил:

— Я бы на вашем месте то же самое сделал. Только, ежели вы ее выставите, зачем вам, скажите, эта квартирка? Сынок ваш утек. Супругу — за шиворот. Вы человек молодой, предприимчивый. Здесь на Кудринской Мухин — галантерейщик — давно подыскивает две комнатки с кухней. Хотите, я вам это дельце состряпаю? Мухина впишу как родственника. А вам двадцать червонцев чистых. Половину сейчас же могу выложить — задаточек. И расстанемся мы с вами друзьями. А ее вы — коленкой... Идет?

Сахаров долго не раздумывал. Он ведь давно решил, что прыщи уж не так страшны, как с первого взгляда это кажется. Хромая налила ему стаканчик чая:

— Отдохните, Иван Игнатьевич, чаю напейтесь — утро-то у нас жаркое было.

Но Сахаров от чая отказался — спешил покончить с делом, пока еще пыл не спал. Страшно ведь с этой сумасшедшей встретиться. Вдруг убьет? Или снова за теми побежит. Только бы не показать ей, что он трусит. Этак размашисто: «Извольте, гражданка, получить развод в двадцать четыре секунды!» Лестница почудилась ему крутой, дверь не подавалась. Может, заперлась она? Нет, просто рука Сахарова ослабла. Вот и открыл...

Наталья Генриховна стояла, прислонившись к стенке, как будто дерево подрубили, но ствол зацепился, еще стоит, еще колышутся ветки, еще дышит грудь, еще она жива, но нет в ней больше сил, чтобы жить. Тщетно было бы искать на ее лице следов недавнего напряжения, душевной борьбы, высоких мыслей, за час до этого ее волновавших. Как постыдно закончилось ее стремление пострадать! Никто не верит, что в зимнюю вьюжную ночь она убила детей. У нее отняли все, даже право на покаяние. Что же дальше? Неужели шляпки, муж, благополучие? Умереть? Но как? Не могла она теперь решиться на что-либо. Почему вчера

она не кинулась в реку? Впрочем, все равно. Пусть заказчицы. Пусть смешки и пустота. Она не достойна ни смерти, ни тюремной решетки, ни искупления. Вот нужно отделать шляпку Демидовой шелком беж...

Когда вошел в комнату Сахаров, ни один мускул ее лица не двинулся: как будто она и не заметила его прихода. Долго длилось молчание. Сахаров все набирался храбрости, прикидывал, как будет выразительней — официально или по-домашнему на «ты»? Наконец он запищал:

— Ты что же? Доносить? Меня погубить хотела? Это за всю мою любовь? Тварь! Развожусь. Поняла? И потом — отсюда убирайся. Здесь я — ответственный съемщик. Три дня даю тебе — найди другую комнату или уезжай из Москвы. Денег у тебя, кажется, достаточно: меня голодом морила. Словом — нам налево, вам направо. А добром не съедешь, я по всем инстанциям пойду, хуже будет. Да и Панкратовы подтвердят.

Тихая улыбка прошла по лицу Натальи Генриховны: вот кто-то за нее решает, кто-то говорит ей — «уходи», разрубает трудный узел.

— Хорошо, я уйду отсюда. Мне и трех дней не нужно. Я сейчас уйду. Вот только соберу вещи — и уйду.

Сборы оказались недолгими: Наталья Генриховна завязала в узелок свое белье, чашку с орлами, из которой пил утренний кофе покойный барон, и большую фотографию Петьки. Сахаров ликовал: просто как обошлось, двадцать червонцев в кармане, можно и на прыщавую Верочку наплевать. Притом дура все свои пожитки оставляет. Загнать можно. Здесь еще по меньшей мере на двадцать червонцев наскребешь.

Наталья Генриховна привычной рукой прибрала комнату, волосы пригладила, а недоделанную шляпку отдала Сахарову:

— Демидовой передай, в номере девятнадцатом. Скажи, что не смогла закончить. Не успела. А ключи на комоде. Вот и все. Прощай! Если обидела я тебя, прости. Скверная я женщина...

Сахаров даже расчувствовался: ведь уходит, действительно уходит! Примирительно заговорил:

— Что ты!.. Я тебе не судья. Насчет божественного — это вообще предрассудки. А с ними ты здорово придумала. Молодчина! Вот теперь кто же на тебя подумает?..

Наталья Генриховна приоткрыла уже дверь, ничего не отвечая на слова мужа, но тот остановил ее:

— Постой, ты куда же?.. Уезжаешь?..

— Не знаю. Все равно куда...

На лестнице стоял Панкратов — выжидал, чем кончится дело. И с ним попрощалась Наталья Генриховна, но «сам» только буркнул в бороду:

— Иди, иди, голубушка!

Выйдя на улицу, Наталья Генриховна как бы опомнилась: и вправду, куда она идет? Полдень был. Сухой, жесткий зной опустошил и город и голову. Ни души в переулке. Вместо мыслей тягучее томление. Что ей делать? Нет у нее ни друзей, ни денег. Как те, беспризорные. Но через минуту она вдруг улыбнулась. Это была улыбка освобождения. Она радовалась пустоте. Никого! Ничего! Радовалась свободе: одна как перст! Не будет теперь ни суеты, ни корысти, ни счастья. Только большие голые дни, как этот город, пронизываемый неистовым солнцем.

С чуть заметной грустью еще раз она взглянула на абрикосовый домик, где столько мучилась, где так любила. Все это ложь! Нужно жить со всеми и ни с кем, голо жить. Люди ушли, а вещи она сама оставила. Вот и хорошо...

Вверх по Проточному тихо шла сгорбленная женщина с узелком. Никто на нее не смотрел. Люди полудничали в темных комнатах. Дойдя до угла, она поколебалась, потом завернула направо. Больше ее не было видно.

18
КУКУШКИНО

Восемнадцатого июля на станции Скуратово Московско-Курской железной дороги случилось происшествие, несколько оживившее и обитателей поселка, и отсидевших всю душу пассажиров. Ускоренный Москва — Минеральные Воды стоит здесь четверть часа, времени много, не только можно кипятку набрать, но и напиться в чахленьком буфете, где с раннего утра чадят неизменные отбивные, чаю или кофе, прогуляться по платформе, пошутить с прыскающими от любого слова девками, которые толпятся за изгородью, соблазняя москвичей земляникой, топленым молоком, цыплятами. Приятно утром размять ноги, подышать

воздухом полей. Все здесь радует глаз, особенно когда едешь на юг, отдыхать после всяческих заседаний, исходящих и отчетов, впереди горы, ландшафты, прогулки, мудрое ничегонеделание! Хочешь — пей целебную воду, хочешь — гуляй с томными машинистками среди поэтических скал, а хочешь — просто лежи и надувай щеки от восторга: «Выбрался!..» Это вам не пляж у Проточного.

Из Москвы поезд отходит вечером, так что у Скуратова — первая встреча с солнцем и раздольем. Даже чай, настоянный скорее всего на банном листе, и тот кажется ароматным. Словом, происходит на этой станции совершенное благорастворение сердец. Вчера вот тот почтенный гражданин наступал вам на ноги, да еще ругался при этом, а сегодня ни с того ни с сего вызвался он сбегать за молоком для обремененной ребятишками попутчицы. После Скуратова нравы в вагоне заметно меняются — соседи начинают справляться: «Не беспокою ли?» — даже потчевать коржиками или колбасой.

Так было бы и в то утро, если бы не нарушили общей идиллии беспризорные. Прав был дежурный, говоря Наталье Генриховне: «Одно с ними беспокойство...» Едут граждане лечиться, едут прошедшие через медицинские комиссии и прочее, с сердцем, с печенью, с нервной астмой, и не угодно ли?..

Безобразие началось возле мягкого спального. Некая дамочка, высунувшись в окошко и обозревая окрестности, жевала при этом пирожок с рисом, принесенный ей из буфета предупредительным спутником; боясь запачкать салом свои пальцы, она премило гримасничала. Один из беспризорных привычно заскулил:

— Тетенька, дай копеечку!..

Дамочка не на шутку испугалась. Вид у мальчика был и впрямь аховый: весь в саже,— видимо, он добрался до Скуратова на буфере,— вместо портков клочья, рубашки вовсе не имелось, лоб низкий, запавшие щеки, грязь, пакость, а среди всего этого злыми огоньками посвечивали глаза. Такой все может!.. Она уронила с перепугу пирожок. Мальчик подхватил. Тогда она кинулась в купе:

— Николай Степанович! Беспризорный! Страшный какой!.. Пирожок чуть ли не из рук вырвал.

Ее спутник, приятный дородный мужчина, читавший «Экономическую жизнь», усмехнулся.

— Чего тут бояться?.. Ведь не в пустыне же мы...

Он лениво подошел к окну и выплеснул на мальчишку, все еще караулившего, не бросит ли дамочка копеечку, остаток чая из стакана, чтобы тот отошел: «Иди, брат, иди...» Сделал он это без злого умысла: чай был холодный, но мальчик злобно взвыл и швырнул в обидчика камнем. На шум прибежали его товарищи, промышлявшие возле жестких вагонов. Мигом ребят обступила толпа пассажиров, успевших уже напиться чаю и прогуливавшихся в ожидании звонка. Может быть, все обошлось бы, если бы снова не сказался мрачный нрав первого, того, что камнем кинул: вспомнив излюбленный свой прием, Чуб, ибо это был Чуб из Проточного, укусил руку кондуктора, схватившего его за шиворот. Произошла сумятица. Беспризорным удалось выскочить из кольца. За ними погнались. Особенно усердствовал рыжебородый мужчина, который бежал, помахивая чайником, и вопил:

— Ложечку у меня слизнули, свиньи собачьи!..

Как очутились друзья Юзика на станции Скуратово, спросите вы? Долго об этом рассказывать: ведь здесь что ни день, то похождение. Вот уж кому не нужно романов Майн Рида! Всей компанией они направились на юг, хоть и с опозданием: три месяца отсидели в «колонии», попав туда вскоре после памятной ночи. Это обстоятельство и спасло Панкратова: собирался Чуб отомстить бороде, поджечь абрикосовый; даже со спецами из своих совещался: как это поджигают?

Ну, а когда удалось удрать, не до этого было. Старое забывается, притом они спешили выбраться из Москвы. Журавка (был он «атаманом») объявил: на курорт. Разумеется, не целебные источники прельщали их, не красота Эльбруса, нет, как чайка за кораблем, следовали они повсюду за различными гражданами из трестов, да и не из трестов: что-нибудь перепадет. Зимой — возле «Крыши», возле театров или кондитерских, летом же — в путь-дорожку. Конечно, без плацкарт. Как придется, и под вагонами, и на буферах — от станции до станции. Лупили их изрядно, однако они не обижались: это вроде денег за билет. Так за неделю они покрыли триста верст, отделяющих Скуратово от Москвы. До этого дня все шло гладко, хоть возле Серпухова проводник грозился, что скинет на ходу, не скинул. А вот здесь из-за драчливого Чуба попали в переделку.

Бежали они что было духу и, наверное, удрали бы, но возле водокачки Кирюша поскользнулся — мокро было. Рыжебородый с чайником первый ударил его сапожищем: «Получай! Ложки красть!..» Ну, а за ним и другие. Как же — воруют, камни кидают, кусаются, житья от них нет! Забыли все и предстоящие ландшафты, и приятную свежесть утра. Как будто вымещали они на этом мальчике свои московские обиды.

Из носа Кирюши текла кровь: заслоняя руками лицо, размазал он ее; кровь смешалась с грязью. Он барахтался и визжал:

— Не я это, ей-богу, не я!..

Били его вкусно, как только что перед этим попивали чай, причмокивая: вот тебе!.. И дамочка прибежала сюда же — посмотреть: «Вот ведь какой звереныш!..»

Кто-то пустил в ход солидную палку, вывезенную для горных экскурсий. Кирюша уже больше не визжал, он лежал ничком, тихо вздрагивая. Белесые волосы его были в крови, а выпуклые белки ничего не выражали: он перестал, видимо, чувствовать боль. Быстро все это было сделано: до того, как подоспел Гепеу, до звонка; быстро и разошлись пассажиры по вагонам. Разложили купленную у девок снедь, закурили и начали обсуждать: чего милиция смотрит? Только-только перестали обыскивать, реквизировать, просто, без долгих разговоров отбирать, как говорили тогда, «излишки», а вот уже растут разбойники, готовые зубами вырвать свеженькое, еще не приевшееся добро. Этот ложку стянул, а вырастет — налетчиком станет. (Ложку, правда, рыжебородый нашел — она завалилась под диван, но дела это не меняло: все равно воришка.)

До Орла только и говорили, что о беспризорных. Хорошо, когда в дороге разговоришься, — скорее время проходит.

Кирюшу же подобрали, отнесли в приемный покой. Красноносый помлекарь, успевший, несмотря на ранний час, приложиться к целительной настойке, зачем-то постучал по груди мальчика, как по столу, и мрачно объявил начальнику станции:

— Что я вам, Господь Бог? Протокол пишите. А мне тут делать нечего. Сволочи люди, вот что! Я, помлекарь Скуратова, то есть самый что ни на есть паршивый фельдшер, я презираю людей. Поняли? Хоть пью спиртное, как скот, но людей презираю...

Он ушел за шкаф и там, угрюмо сморкаясь, опрокинул еще стаканчик.

Под мостом, на шоссе, товарищи долго ждали Кирюшу. Попался? Выкрутился? Влип! Хорошо, что Петьку не заметили, а то бы и ему крышка. Где же такому маленькому?.. Чуб об одном жалел: промахнулся. Эх, если бы метко кидать!.. И в того, и в рыжебородого, и в дамочку... Все бы, кажется, перебил. Что же с Кирюшей? На разведку отправился Журавка. Ходил он недолго: поселок был полон разговорами о приключившемся. Уныло объявил Журавка:

— Айда! Ждать-то нам нечего. Здесь не сядем — заметили. До Выполкова десять верст — я спрашивал, дойдем. А там — на товарный.

Печально оглядев Петьку, он добавил:

— Вот с тобой беда. И зачем ты только увязался, мальчик? Ну, не хнычь. Устанешь — донесем как-нибудь. Я теперь тебе вместо Кирюши.

— А Кирюша где?

Журавка ничего не ответил, только сплюнул.

Когда они выходили из поселка, им попался навстречу красноносый помлекарь. Чуб на всякий случай ощерился, сжимая в кулаке острый камешек: ну-ка, попробуй!.. Помлекарь остановился, внимательно осмотрел ребят.

— Эй вы, молодая гвардия, стоп!..

С трудом ворочал он языком: за шкафом осталась пустая бутыль. Чуб уж и прицелился — с чего это «стоп»? Заарестовать хочет? Но помлекарь вытащил из кармана пакетик:

— Вот вам. Закуска. Жрите. И еще гривенник. А больше у меня ничего нет, кроме печенки в спирту и величайшего презрения к человеческому роду. Сегодня все собаки Скуратова покраснели от стыда, увидев двуногую животину. Вырастете, и вы такими же будете. Я тоже не лучше. Однако прези-раю!..

Хлеб с колбасой съели. Вспомнив красноносого оратора, поделились впечатлениями:

— Пьян как стелька, а ничего. И гривенник дал.

— На «дедушку» похож с Проточного. Помнишь — как молился?..

Они шли по большой дороге среди пышных хлебов, среди чужого труда, чужого богатства, ничьи дети. Шли в этот щедрый ослепительный день, когда вызревала пшеница, когда пели бабы на покосе, несли старательные поезда членов тысячи коллегий к горам или

же к лазоревому морю, когда оперялись птенцы, накоплялись в абрикосовом червонцы, когда тучнели и земные овощи и сердце. Жарко было им идти, горели пятки, в горле от зноя першило. Шли молча, каждый думал о своем. Журавка мечтал, как он будет носиться по этим полям на коне в яблоках и стрелять — трахтарарах! — в ворон, в мужичье, в солнце. «Как это я промахнулся? — угрюмо попрекал себя Чуб.— Теперь бы того тащили в яму, а не Кирюшу. Эх, хорошая штучка «собачка» — чтобы бить сволоту наповал!..» А Петька фантазировал, хоть и заплетались его ножки: «Если бы коровам крылья, как у ворон, и сесть бы на такую корову...» Держался он молодцом, не хныкал, помнил: «Я ведь теперь беспризорный», это требовало мужества и гордости, как — «я ведь теперь герой». Но все же уж видны были избы Выполкова — дойти он не дошел, сел на горку горячей пыли и робко попросил:

— Передохнем...

Нельзя было отдыхать: скоро товарный. Журавка поднял Петьку на плечи: «Версты две осталось, донесу». Тихо спросил Петька:

— Журавка... А где же Кирюша?..

Журавка помялся:

— Ну, чего тебе?.. Несу ведь... А Кирюши нет... Вышел Кирюша.

Тогда Петька, хоть стыдно было это — не девчонка он,— разревелся. Не будет больше Кирюши, никогда не будет. А может, и не было его? Почудился он, как «Бубик», как корова с крыльями? Ведь говорила ему мама: «Ничего этого нет. Ты, Петька, все придумываешь...»

— А ведь был он, Журавка?

Журавка становился все мрачнее. Прикрикнул он:

— «Был»?.. Думаю, «был»! Убили его, мальчик.

Убили? Да, как хотели те с мамой убить Журавку. Убили бы, если бы не Петька. А Кирюшу никто не спас. Значит, большие убивают маленьких? Почему же тогда говорят: «Вырастешь, большим будешь»? А что теперь с Кирюшей? Его засыплют землей? Страшно как...

Петька плакал. Не доплакав, он задремал — устал ведь. Молча шагал Журавка. Вот и Выполково!

Не знаю, удалось ли им сесть на товарный, не знаю, добрались ли они до «Минеральных» или погибли в пути, попали под колеса, слегли от лишений, а может

быть, проученные сердобольными пассажирами, как Кирюша, остались в том же Выполкове или на другой станции. Кто знает? Не проследить за каждой судьбой. Вот идут они — впереди чернявый Чуб, за ним Журавка, а на плечах его — любимец покойного Освальда Сигизмундовича — Петька-Футурум. И сдается мне, идет это наша Россия, такая же ребячливая и беспризорная, мечтательная и ожесточенная, без угла, без ласки, без попечений, идет от Скуратова до Выполкова, от Выполкова еще куда-нибудь, все дальше и дальше, по горячей пустой дороге, среди чужих колосьев, чужого богатства. Кто встретится ей — скуратовские пассажиры или добрый, сердобольный помлекарь, и — сердце здесь останавливается, сил нет спросить — дойдет ли она?..

19
ЧУДАЧИМ

Летом в Проточном, как пожар в джунглях, хоть и нет у нас тигров, разве что Панкратов — отрыгивает он, выпив кваску с хреном,— жестокое лето. Пробуют люди залить огонь, но горячий банный пар идет от обдаваемых водой камней. Чем ближе лето к концу, тем чернее и гуще ночи. Воздух становится вязким, как деготь. Стоны, вздохи, потягивания лишившихся сна обывателей выползают из раскрытых окон, кишат повсюду — это личинки, из которых не сегодня завтра выйдут жуки-могильщики, «хроника происшествий», серная кислота или нож. Жарко!

Удостоился недавно наш переулок внимания. Несмотря на пекло, стали захаживать в Проточный различные инспекции. Говорю я не о фининспекторе (он и раньше знал сюда дорогу), не об угрозыске (здесь, можно сказать, его вотчина),— нет, о просветительных начинаниях. Решили в какой-то комиссии, что плохо живет Проточный, и принялись увещевать. Заборы покрылись всевозможными лозунгами. Каких только назиданий здесь не было: и «убей муху», и «береги золотое детство», даже и «покупай все в кооперации», и «не бросай газету», и даже «уважай в женщине работницу». Жулье гоготало: «Го! го! уважаем...» Персюки в восторге били мух. Рядом с абрикосовым, в доме № 9, не то жил да съехал, не то предполагал

только жить член коллегии, пользовавшийся машиной. Вспомнили теперь об этом и повесили дощечку «Берегись автомобиля». Фыркал Панкратов. Какие же в Проточном автомобили? В Проточном пыхтит и давит народ сам Петр Алексеевич. Берегитесь, овцы!.. Говорили, что «Гигиену» обратят в клуб. Секретарь «Союза ассирийцев» нацепил на толстовку значок «Я — безбожник». Старший сын делопроизводителя ошарашил приятелей — вместо «Кирпичиков» затянул: «Буденный наш братишка, с нами весь народ...» Это все в жару!..

Оживление, однако, быстро улеглось. Слиняли афиши. Секретарь значок снял, как новый картуз: буду носить по праздникам. А делопроизводитель сынка тихохонько выпорол, хоть и уверял тот, что состоит в пионерах. «Уважай в женщине...» художник из «Ивановки» снабдил такими иллюстрациями, что даже Панкратов обмер: «Вот тебе и монпансье!..» Может быть, время выбрали неудачное — какое же тут при тридцати градусах самообразование? Так или иначе, все осталось в Проточном по-прежнему: толстокожий переулок, его ничем не проберешь. Разве это часть государства? Это — Проточный, сток, тёка, мразь, родственник и Прогонного, и Самотеки,— словом, затон, где водятся романсы, тараканы, великая отечественная хандра.

Вот уже сливы появились, арбузы. Скоро осень. Скоро будет Панкратова мочить антоновку и варить варенье из райских яблочек. Прибирает она верхний этаж: Сахаров перебрался к Верочке. Вывеска «Комильфо» за ненадобностью валяется во дворе, на нее гадят коты. На новоселье — выпьем! У Мухина «червячки», иконы, супруга в теле, граммофон, а сам Мухин плешив и сух, как полено. Надо полагать, гражданка Мухина не откажется попариться с Петром Алексеевичем в «семейных банях».

У Лойтеров — прибавление (это к Раечке, к Осеньке, к Илику). Новая у Юзика забота: отчего кричит Розочка, красная и тернистая, как роза? Может быть, мало молока у гражданки Лойтер? Надо прикармливать!..

Посетовали Лойтеры и успокоились — с детьми веселей. Притом четверо — это чистые пустяки, если только подумать, что у матери Лойтера было ровным счетом одиннадцать.

— Юзик, дорогой, погремите этой погремушкой, чтобы Розочка не кричала...

Юзик гремит — что ж ему еще остается делать? Один он теперь: съехал Прахов, нашел комнату где-то в Замоскворечье и съехал. Сказал Юзику:

— Вы на меня не сердитесь. Здесь вспоминается разное... Жить мне здесь трудно.

Перед отъездом, усмехнувшись, он снес в кухню кипу рукописей — на растопку. Кое-как пристроился человек. Служит теперь в той же «Вечерке» младшим корректором. Писать перестал, пить тоже не пьет. В чем дело? Подействовала ли на него беседа с покойным преподавателем латыни? Или попросту перебесилась душа, захотела обычного, самого что ни на есть завалящего покоя? Этого и Юзик не знает. Часто он задумывается: что с Борей? Счастлив ли? Он расспрашивал Прахова, но тот отнекивался: «Ничего, живу»...

Юзик играет в «Кино-Арсе», развлекает пискливую Розочку и утешается речами неизвестного сочинителя.

Была ли здесь в Проточном девушка, которую звали Таней? Или только это приснилось? Ведь должны же сниться несчастному переулку замечательные сны. Ничем этот сон не кончился — ни свадьбой, ни могилой. Утром проснулся Проточный — нет Тани. А второй раз она не приснится. Легко сказать — «улыбайся». Как здесь улыбаться, среди темных, угрюмых людей? Умер преподаватель латыни, ушли дети, в церковном дворике давно отцвели глупые желтые цветочки. Юзик один, глаз на глаз с жизнью, и жизнь перетягивает его, как горб.

В тот вечер, о котором я хочу рассказать, горбун тосковал. С ненавистью поглядывал он на скрипку: скрипка хуже Панкратова. Она лжет. Зачем люди выдумывают какие-то необыкновенные звуки? Ведь после них еще тяжелее жить. Вот Таня любила стихи. Но разве спасли ее слова, нежные, как зеленая пыль в парке Паскевича? Лучше сразу сжечь все ноты, все книги, все скрипки, запретить сажать цветы, удушить ядовитыми газами соловьев, условиться: живем столько-то лет в Проточном или в другом переулке, должны жить безо всяких улыбок, просто, раз мы устроены, чтобы жить, — значит, ничего другого не остается. Но пусть не кричат какие-то струны, что была Таня и что ее больше нет, пусть не кричат они о счастье! Горб? Юзик теперь знает, у всего Проточного горб, у всего мира горб, и этот большой горб зовут горем. Нечего фантазировать...

Он сидел на табуретке, помахивая руками, как летучая мышь. В окно лилась горячая смола ночи. Не один Юзик задыхался в тот вечер. Жара выкуривала людишек из нор, гнала их на воспаленный, гнойный асфальт, сталкивала друг с другом. А что сказать Сидоренко, Петрову? «Съели?» — «Съел»...

Вот эта-то духота и привела Прахова к хорошо памятным ему местам. Разговор с Юзиком плохо клеился — обоим было не по себе. Юзик не думал сегодня улыбаться: был он в ссоре с «мифической девицей» Освальда Сигизмундовича и с самой жизнью. Вот пришел Прахов. Да, Прахов был. Был и Сахаров. Были книги из библиотеки — как же, он помнит — Сейфуллина и Бухарин. Но была ли Таня?.. Глупые сны! Гадкая скрипка! Выдумано, все выдумано, кроме бороды Панкратова, кроме тухлой колбасы и анилинового монпансье.

— Скажите, Боря, вы всегда знаете, что на самом деле и что только кажется?..

Прахов ничего не ответил. Вопрос Юзика раздражил его. Ведь Прахов налаживал теперь всамделишную жизнь — без помпезных рифм, без мечтаний о мировой славе, без призрачной, утомительной влюбленности, обыкновенную жизнь. Ревниво он ее берег, как обновку. И вот Юзик хочет разрушить кропотливо сложенный домик. Карточный? Пусть! Ему хотелось закричать, как прежде, когда ночью его будили вздохи скрипки: «Не сходите с ума — вас выселят!..» Да, за это могут выселить, не из квартиры № 6, хуже — из жизни.

А Юзик продолжал (он спрашивал не Прахова — себя):

— Вот и Таня... Что, если только показалось это?..

Тогда Прахов вытащил из кармана бережно завернутое в папиросную бумагу колечко:

— Бросьте говорить глупости, Юзик!.. Видите это кольцо? Она дала его перед смертью старому нищему. Да вы его знали — вашему приятелю. Если я не рассказывал вам этого прежде, то только потому, что мне тяжело вспоминать... Умерла Таня, умер и старик. А нам, Юзик, нужно жить. Жить просто, без выкрутасов. Это колечко я дал от душевной скудности, а назад получил от щедрости, от настоящего богатства. Крез мне его дал, честное слово, Крез! Жил человечек тихо: сначала спряжения, а потом «подайте копеечку». Без претензий. О каких-то туземцах читал. Сгорел дом,

и радуйся. Удивительно! Я вот эту штучку всегда на себе ношу, как узелок: смотри, Прахов, не забудь — жить надо.

Юзик не слушал его. Руки дрожали, дрожали ресницы, дрожал горб. Выдумано, все выдумано! Кольцо — не разнять его: Прахов — Таня — Сахаров — преподаватель латыни. И снова Прахов. Ложь! Фантазия! Приснилось это Освальду Сигизмундовичу? Или он соврал Прахову? Конечно, соврал! А если и преподаватель шел на ложь, тогда — где же правда? «Исключения»! Может быть, он и маленького «Футурума», который спас беспризорных, тоже выдумал? Зачем?.. Глупые вопросы — спросите скрипку, зачем она обещает невозможные вещи?

Но вот Прахова он выручил этим колечком. Прахов носит колечко, как святыню. Значит, преподаватель латыни был прав? Но тогда и скрипка права, тогда все правы, тогда глупо спрашивать, существовала ли Таня на самом деле,— тогда Таня существует, хоть в ее комнате пищит маленькая Розочка, тогда все выдумано, и все правда...

Юзик как бы вырос. Руки его были вытянуты вперед, горели глаза, невидящие пламенные глаза визионера. Он обнял Прахова:

— Боря, дорогой!.. Пусть ложь, пусть выдумано, пусть колбаса Панкратова — я вижу теперь, где правда! Луцкий умник не увидал ее. Он посмел сказать: «Нет ее». Он был слеп, как самый последний крот! Если он и не нашел правды, он должен был выдумать что-нибудь подходящее. Он не смел погасить маленького огарка. Вот преподаватель латыни, тот выдумал. Мой сочинитель тоже выдумывает. Скрипка, даже паршивая скрипка из «Кино-Арса» — святая. Боря, пишите стихи! Пишите скорее стихи об этом сумасшедшем колечке!

Сердито высвободился из его объятий Прахов:

— Я не пишу больше стихов, я уж сказал вам, я просто живу. Я мелок и бездарен — в этом нет ничего унизительного. Должны быть на свете и вдохновенные поэты, и младшие корректоры. Каждому свое. Тридцать лет Прахов лез вперед, на первые места. Будет! Глупо это и гадко. Вся беда моя была от амбиции: и халтура, и стихи, и несчастный «роман» с Таней. Если веселиться, так обязательно — на «дутых» и в кабак. Если плакать, так не угодно ли в рифму. Довольно с меня! Расписываюсь в своей ординарности. Служу.

В меру интересуюсь общественными вопросами. Читаю фельетоны Кольцова. Ходил встречать Дугласа. Отчисляю там в пользу... И так далее. Капитулировал — и счастлив. Что же вы меня снова расстраиваете? Разве легко мне далось это спокойствие? Вот пришел я. Душно — сил нет работать, сердце ноет. А здесь вы, с вашими выдумками...

Трудно было, однако, удержать Юзика. Охваченный вдохновением, он не видел перед собой Прахова. Он беседовал теперь со всеми умниками мира, со всеми поэтами, с покойным преподавателем латыни, он беседовал даже с той странной девицей, которая, улыбаясь, каждый год нисходит в ад, «чтобы цвели вербены». Вербены? Это, наверное, красивее курослепа в церковном дворике. Она улыбается. Ей не хочется сходить в ад, но она улыбается. Улыбка эта полна нежности. Обождите! Он где-то видел эту улыбку... «Что же мне остается, Юзик?..» Ведь это Таня! Таня спустилась в ад Проточного. Чтобы цвели вербены, ну да, вербены. Разве Прахов хуже какой-то вербены? Значит, Таня жива. Значит, она вернется.

— Боря, вы понимаете? Она жива! Я схожу с ума? Пусть, но я становлюсь от этого гораздо умнее. Она вернется. Все, решительно все выдумано. Она не только была. Она будет. Чтобы цвели вербены. Я это хорошо помню. Вы спросите, что такое вербены? Этого я не знаю. Может быть, цветы, а может быть, люди; может быть, это вы, Боря, или маленькая Розочка Лойтер. Не в этом дело — вы слышите, Таня вернется!

— Перестаньте! Сейчас же перестаньте! Вы меня заражаете вашим бредом. Зачем я только пришел сюда?.. Успокоился было. Забыл все это. Я не хочу больше слышать о Тане! Таня умерла. Нельзя любить мертвую. Это — дважды два. О вербенах — бред. Неужели я снова должен халтурить или сочинять бездарные стишки? Вы видали Маркову? Так слушайте, я хочу на ней жениться. Ясно? Не могу же я жениться на утопленнице. Я не отрицаю — это другое. Таню я, как в стихах пишут... «любил». И хамил с ней зато вовсю. Словом, «до грубых шуток». А здесь — тихо, спокойно. Дети, наверное, будут, как у Лойтеров. Ну, не Розочка, так Шурочка,— вот и вся разница. Но должен же я, черт побери, жить! Или убейте меня. Я не хочу больше фантазировать. Я — банальнейшее существо. Вы не смеете так меня мучить! Она умерла. В реку кинулась. И точка.

Юзик не мог больше уйти от этих судорожных речей. Перед ним была не воображаемая вербена, нет, Боря Прахов, младший корректор «Вечерки». Он хочет жениться на Марковой? Пусть женится. Ведь некому теперь присмотреть за Праховым, один он. Не верит Боря, что Таня жива? Пусть не верит. Ему легче не верить. Мало выдумывать сказки. Нужно выдумать и низкую быль.

В своей заботе о судьбе друга Юзик доходил до новых безумствований: да, да, нужно уметь отречься от речей преподавателя латыни, сжечь книжку неизвестного сочинителя!

— Не обращайте на меня внимания, Боря. У меня ум за разум заходит. Это от духоты: не сплю я по ночам. Вы хотите услышать, что Таня умерла? Я вам говорю — она умерла. Она утопилась. Три месяца прошло. Это поймет даже маленький ребенок. Вы должны скорее жениться на Марковой. У нее очень благородные глаза. Я вас поздравляю, Боря. А если я вас обидел, вы меня простите: ведь я глупый горбун, только одно мне остается — выдумывать сумасшедшие истории. Живите себе хорошо, Боря, и забудьте обо мне!

Кажется, Прахов понял, как трудно было Юзику выговорить все это. Ласково потрепал он руку горбуна. Это было единственным его ответом. Они молча расстались.

Юзика вскоре окликнула гражданка Лойтер: видите ли, такая жара, она весь день сидела взаперти, если Юзик согласится посидеть возле Розочки, она выйдет немного проветриться. Юзик загремел погремушкой, он улыбнулся девочке, весело улыбнулся, как будто не было у него никакого горя. Вот и у Прахова будет такая девочка. У Юзика никогда не будет детей. Юзик — урод. Но Юзик знает то, чего не знают ни Боря, ни Лойтеры. Он знает, что Таня жива. Он знает, почему сошла она в этот ужасный ад. Он сейчас расскажет об этом маленькой Розочке. Ведь у Розочки еще нет ни квартиры, ни жениха, ни идей. Ведь еще не за что бояться. У нее глаза светлые, пустые, как новый дом, в котором живут только солнечный свет и мечта архитектора. Розочка поймет его.

— Ты знаешь, как тебя зовут? Вербена. Это цветок. Это даже лучше чем роза...

Вот за окнами черный, душный ад. Горят сердца. Как в чане смола, бурлят в них ревность и зависть. Сюда сошла Таня.

Гражданка Лойтер, вернувшись с прогулки, обмерла. Над мирно спящей Розочкой в упоенье стоял горбун. Его волосы были всклокочены, одна рука носилась с погремушкой, как со смычком, другая крепко была прижата к сердцу, как будто Юзик пытался удержать готовую выпрыгнуть из клетки птицу, а глаза были полны слез.

Прахов не пошел ни домой, ни к Марковой. Слова Юзика разбередили забытую было тоску. Жарища не спадала. Люди шли неуверенно, пошатываясь, едва касаясь тротуара, как будто каждым шагом они отрекались от земли, учились летать, падать, умирать. Да и беседы слышались странные: о небесных туманностях, о последней любви, жестокой и нежной, о стихах. А ведь были они обыкновенными советскими гражданами, сослуживцами Прахова. Может быть, они сговорились и дразнят аткарского героя?

Вот идет простоволосый субъект с ломтем арбуза. Ему бы о ставках философствовать, а он, так и не выпуская из руки зеленой корочки, подвывает: «Ничего, голубка Эвридика, что у нас студеная зима...» Постыдитесь, гражданин! Лето у нас, сухое, знойное лето. И нет у нас никаких Эвридик. Освальд Сигизмундович умер. А Прахов всего-навсего младший корректор. Он вот собирается жениться на Катюше Марковой...

Что за напасть? Кругом любовные вздохи, будто в опере или лягушки в болоте. «Ах!..»

Прахов шел скверами, возле храма Спасителя. Что ни скамейка, то воркующая парочка, и так как кончалось лето, тяжелели яблони, тяжелели сердца, этот воркот был угрюмым, трагическим: вязались и трещали различные судьбы. «Навек!» Или — «Прощай». Страшная голубятня! Вот и река...

Прахов остановился. Прекрасен здесь наш домашний, заспанный город. Пышность в нем и призрачность, подобающая столице. Наивно конфузится голубая церквушка Замоскворечья, дымят на нее косолапые заводы, как «козьей ножкой»: «Ничего, подыши»,— идет за рекой непонятная жизнь с иконостасами и с ячейками, со смесью, подлинно диковинной, тезисов и блинов. А здесь — Кремль, вся русская нежность, милование, скрытая гордыня северной души, Успенский, Двенадцати Апостолов, дивная слезинка, которую быстро смахнул пестрый рукав гулянок,

ну и другой Кремль — держава, мощь, черная дворницкая нашего постоялого: гляди, друг мой, в оба — растащут, разнесут, расклюют. Широки здесь каменные ступени. Даже простенькая речка здесь величава. Гулок звон. Реверберы. Балюстрады. Одно слово — столица...

Взволнованно дышал Прахов: вот и Москва! Как тогда на «Крыше»... Скоплено. Налажено. Работай! Правь корректуру! Но откуда же эта тихая дымка? Или глаза Прахова туманятся? Мечта перед ним: мечта веков и сердец, мечта протопопов с косматыми ручищами и насильно постриженных девок, мечта скипетра и сермяги, мечта того, кто лежит возле кремлевской стены, белый как выдумка и живой как смерть, мечта поэтов и горбунов.

Кто это идет по лестнице, в светлой шали? Остановитесь, гражданка! Не смущайте бедного корректора! Скажите откровенно — вы ведь служите в нарпите? Но женщина ничего не отвечает. Кто же она?.. «Ничего, голубка Эвридика, что у нас студеная зима...» Да, конечно, у нас и летом зима, у нас не размечтаешься. Суров край! Жестока жизнь! Вот разве Юзик — тому можно мечтать... Но у Юзика горб. А Прахов должен жить. Увидите, он возьмет и женится на Марковой. Честное слово, женится!..

Только, скажу я вам откровенно, не развеет это легкой дымки. Выйдя из загса, он не перестанет верить в «выдумку» Юзика. Нельзя отделаться от такого томления. Таня была с ним одну только ночь, а останется навеки. Чтобы вздыхать и сомневаться, чтобы не осесть, не стать Панкратовым. Это — щепочка. Держись за нее, Прахов!

Хорошо, он будет жить спокойно. Он будет полезным гражданином отечества, заботливым мужем. Но от этого он никогда не отступится. Как же Юзик не понял, зачем он носит на себе колечко, что означает этот узелок? Родная Москва! Родная мечта! Чудачим мы все, чудачим...

20
ПИСЬМО ТАНИ

Юзик! Дорогой Юзик! Вот удивитесь Вы! Посмотрите на надпись и плечами пожмете — письмо с того света. А может быть, и забыли совсем, кто это?

«Какая Таня? Ах да, соседка! Еще приставала ко мне — перемените книги»... Не сердитесь, Юзик! Я и вправду боюсь, не забыли ли Вы меня? Мне ведь кажется, что прошло с того вечера десять лет,— может, и все сто. А на самом деле — сейчас сосчитаю — только пять месяцев. Как я изменилась с тех пор! Помните, я просила Вас достать морфий? Ведь я серьезно тогда думала о смерти. Я и утром из дому вышла — топиться, только струсила. Постояла на мосту и ушла. Ну, а теперь все мои горести в Проточном кажутся мне детскими. Разве так умирают? Трудно мне жилось там: как слепой котенок, тыкалась я куда попало,— а вот все-таки вспоминаю я то время с сожалением: первая молодость. Милый наш домик, ворчливые бабы, персюки, Лойтеры!.. Знаете, даже к Прахову у меня нежность, хоть он чуть не погубил меня. Он в душе хороший, только сам себя не понимает — хочет быть обязательно грубым, как плакаты: «Время — деньги». Вы мне напишите обязательно, что с ним, разбогател? прославился? женился?

А Вас, Юзик, как вспомню, так захолонет все. Откуда бывают такие люди, скажите? С неба, что ли, падают, как метеоры? Иногда мне кажется, что все дело в людях. Это, правда, глубоко ненаучно, я сама понимаю, что главное — база. Но смотрю я на здешних каширских работников — и знание, и энергия, и линия выдержана, а в результате вот на прошлой неделе шесть комсомольцев изнасиловали Машу, нашу курьершу, и что же, никто из молодежи не возмущается. Старики, те все валят в одну кучу: «Вот вам и ваша революция». Опускаются руки. Вот если бы все были, как Вы, Юзик, тогда легче было бы сразу подойти к коммунизму. У мужа на все один ответ: «Это от нашей экономической отсталости». Он, конечно, прав. Но Вам я тихонько признаюсь: часто меня сомнения берут — пока не изменятся люди, ничего не изменится, кроме разве названий. Вы-то, наверное, поймете меня.

Вот и пишу Вам. Здесь поговорить мне решительно не с кем. Муж у меня умница, но очень чужой он. Да и времени у него нет, чтобы заниматься подобными глупостями. Он здесь один на себе выносит всю партработу, и по советской линии тоже перегружен. А с другими товарищами из Наробраза, где я теперь работаю, у меня нет ничего общего. Сплетничают, кляузничают друг на друга, рассказывают еврейские анекдоты. Ставили они в клубе пьесу Луначарского

«Канцлер и слесарь», меня пригласили. Ничего они не понимают, зазубрили текст, и только. Все свелось к тому, что режиссер, пользуясь случаем, обнимал молоденьких женщин. Пошлость такая, что прямо слов нет! Недавно справляли девятую годовщину. Муж мой произнес серьезную речь, о ближайших наших задачах, хорошо очень говорил — сухо, без громких фраз, а потом другие перепились, и, конечно, танцевать будто бы «характерные танцы народностей», на самом деле обыкновенный фокстрот. Почему же не сказать прямо? Так во всем.

А сестра? — спросите Вы. Ну, с Шурой не разговоришься. Трое детей, муж больной, кухня, что ни день — постирушки. Переменилась она так, что не верится — Шура ли это? Только и знает, что цены на «огузок» или пересуды: кто сколько тратит на базаре, откуда деньги и так далее. Добрая она очень, меня встретила ласково — я ведь ей на голову свалилась со своими идиотскими трагедиями, а у нее как раз ребята корью хворали. Первые дни я еще пробовала ей рассказывать о своей московской жизни. И про то рассказала. Она расплакалась, стала умолять меня больше не говорить об этом никому: «Упаси Бог, узнает кто...» Подумайте, в двадцать шестом году! Ну, и все так: иконы, панихиды, вздохи — «когда-то они, окаянные, сдохнут». Меня жалела, и все на еду: «Ты, Танечка, еще пирога возьми»,— это в утешение. Когда она узнала, что я выхожу замуж за Соколовского,— в слезы. «Как? За большевика?..» Потом успокоилась: все-таки муж. Лучше, чем как в Москве (ведь она в душе убеждена, что там я просто занималась проституцией). Даже белье мне подарила. Только к нам не ходит, чтобы не встречаться с мужем.

Вот Вам моя жизнь. Как видите, Ваши пожелания исполнились: я замужем. Не знаю, что Вам еще сказать о муже. Он много старше меня — ему скоро сорок пять лет исполнится. Я бы могла быть, пожалуй, его дочкой. Большевиком он был до революции. Бритый. С проседью. Любит, когда выпадет свободный час, решать шахматные задачи (здесь для него нет подходящих партнеров). Прислали его сюда из центра. Мы с ним встретились в клубе: я в тот вечер была дежурной. Он начал расспрашивать о Москве. Я обрадовалась — ведь со здешними и говорить разучишься,— сразу ему рассказала обо всем: и о «Парижанке», и о том, что

Мейерхольд сдал позиции, и о диспутах. Он засиделся. Неделю спустя снова пришел. Здесь начались сплетни: «роман» Соколовского! Я усмехалась — какой же это роман? Но говорить мне с ним нравилось. Встречались мы у него. Вот он как-то и объявил мне: «Давайте, Таня, жить вместе...» Я растерялась: ведь перед этим ничего, ровно ничего не было. Спросила его: «Зачем вам это?» — «Понравились вы мне, а одному тоскливо». Вот уж три месяца прошло, а я и теперь готова спросить — зачем ему я? Он нежен очень, говорит, что рад: жена, ребенок будет. Но ведь у него даже порадоваться нет времени. Я — вначале еще это — рассказала про все московское: думала, если умолчу, нехорошо, обман. Он поморщился: «Зачем говорить о прошлом, это ведь со всяким может случиться. Теперь у тебя — я». И больше ни слова.

Как-то я все-таки спросила: «А если бы я теперь как в Москве?» — «Мне было бы очень больно». Я ему верю — он никогда не лжет. А все же не понимаю — почему больно? Ведь я совсем далеко — на десятом месте. Вот Прахов — решил купить меня на ночь за кольцо, но и тот, кажется, волновался. О стихах говорил. А Соколовский (знаете, Юзик, я мужа всегда по фамилии зову) никогда не выйдет из себя, ровен, спокоен. Человек ли?..

Впрочем, может быть, так и нужно. Я ведь теперь стала взрослой. Много работаю. Это успокаивает. Здесь я мужу если не друг, то товарищ. Хотела было с осени поехать в Москву на курсы социальной психологии. И муж настаивал. Но не вышло. Я жду ребенка. Значит, в лучшем случае, нужно отложить это на два года. И иногда я думаю, что вообще из этого ничего не выйдет. Через два года я буду, как Шура, с «огузком» и с компрессами. Что же, значит, не судьба...

Ребенку я радуюсь. И боюсь... Боюсь, что слишком много связываю с этим. А вдруг будет, как и с «любовью»?.. В стихах — одно, в жизни — совсем другое. Видите, я еще недостаточно поумнела.

Я пишу вам прямо классное сочинение: «Как живет Евдокимова». Дома сейчас тихо. Муж — на заседании. Вечера здесь очень длинные. На окнах иней — звездочки. А там дальше — темнота, снег. Красивый городишко Кашира — много церквей, садов. Одна только улица, а то все дворы, как в деревне. И собаки лают.

Юзик, я рассказала Вам все, и я еще ничего не сказала Вам. Если б Вы были сейчас здесь, Вы сыграли бы мне какой-нибудь «комический кусочек», и я бы тихонько поплакала. Но Вы не думайте, что я несчастна. Нет. Плакать можно и не от горя. Мне очень жалко всех: и мужа — какой он большой, умный, одинокий, и Шуру, и всех здешних с их «Канцлером», и Прахова (не догадался он, а ведь все могло быть иначе). Вас мне не жалко: Вы самый счастливый человек, какого я только встречала. Вы ведь счастливы не от чего-нибудь, а просто. Вот такой я хотела бы быть! Далеко мне еще до этого, но многое я теперь понимаю.

Я здесь устроила отряд пионеров, и каждый раз, когда я вожусь с ними, всю тоску как рукой снимает. Мне почему-то кажется, что они будут жить лучше нашего. Мы не смогли, а они смогут. Может быть, так же думали наши родители? Тогда это просто старость. Не знаю. Только, когда я слышу: «Будь готов» (это их пароль), все во мне смеется от радости. Как будто готовятся они к другой, настоящей жизни.

Юзик, теперь я Вам признаюсь откровенно: я жду его с такой радостью, что порой кажется, сердце не выдержит, остановится. Пусть моей жизни здесь конец — ведь это все внешнее. Зато будет кого любить, за кого отдать себя.

А еще большая радость от ничего, вероятно, просто оттого, что дышу. В первый раз я почувствовала это летом, вскоре после того, как приехала сюда. Вышла я вечером в сад, в голове все гадкое — та история с кольцом, наставления сестры и мысль: зачем это я забралась сюда? Вспомнила я мост, воду внизу — как топиться хотела. Холодно стало. Страшно. И вдруг рассмеялась — живу! Пахнет душистый табак, звезды светят, огоньки в домах. Звонят к вечерне. Девчата наши поют «За веселый гуд...». Разве не все равно, что со мной случилось? Хорошо!..

Я живу только такими минутами. Это острова. Между ними служба, разговоры, каширский сон, затонуть можно, но вот подходит — и снова выплываю. Вы не глядите, что я слезами перепачкала всю страницу. Это по глупости. На что мне жаловаться? Не вышло. Как муж говорит: «Детский мат в три хода». А все-таки — снег, звезды, Вы вот, Юзик... Я Вам теперь все рассказала. Вижу, как Вы читаете это письмо и трясете

головой: «Так, Татьяна Алексеевна, так». Милый мой, неуклюжий Юзик! Я Вас крепко-крепко целую и всю мою нежность хочу передать Проточному,— да, да, ведь там я узнала и горе, и радость,— всем его домишкам, церковному двору с желтыми цветами, Москве-реке, Прахову (не сердитесь — он хороший, я теперь только это поняла), а больше всего Вам, дорогой мой, старый друг!

Вот я и улыбнулась...

21
ЦВЕТЕТ ПРОТОЧНЫЙ

Вот и снова пришла зима, наросли сугробы, распластался над кряхтящими домишками синеватый дым, и, справляя первый добрый морозец, скатывались ребята на своих собственных вниз, к Москве-реке. Были за это время две облавы, так что кой-кого из «Ивановки» и повыслали, но жулье не редело, объявились другие: сущевские, сухаревские. Новая прачечная открылась возле Смоленского — китайская — «Свой труд». У делопроизводителя «Фанертреста» умерла жена от крупозного воспаления легких, две недели он с горя пил, а потом привел к себе востроносую девчонку и такой шум учинил, что даже в Проточном рот раскрыли: оказывается, это уроки танцев. Обогатился переулок и двумя новыми личностями: Корольков из краснопресненского нарсуда и Сорокин, ученый секретарь какой-то «фотоакадемии». Королькова сторонились — коммунист, да к тому же судейский, недаром зубы у него торчат, как у крысы,— ну а Сорокина, наоборот, жаловали: он ходил по переулку с большущим аппаратом — выискивал «типаж». Говорили, будто для заграничных журналов, и получает он за каждую «проточную» физиономию по пяти целковых (думаю, врали: кто же за такое добро платить станет?). А сняться, разумеется, каждому лестно. Панкратов, тот, издали завидев Сорокина, сейчас же принимал соответствующую позу, оправлялся: «Валяй, щелкай — нам не жалко...» Ну, а помимо этого, никаких особых перемен в Проточном не произошло. Все так же копошились в «Гигиене» щи, и пели цыганки про свою цыганскую любовь.

Но беспокойным оказался этот год для героев моего повествования. Расшвыряла их судьба кого куда, двое только и остались в Проточном: Юзик да Панкратов.

А то: Таня — в Кашире, Сахаров купил комнату в Лялином переулке и благоденствует там, Прахов женился на Марковой (у них квартирка в Замоскворечье), ребята, верно, бродяжат где-то, если не погибли, а о Наталье Генриховне ни слуху ни духу, как ушла тогда с узелочком, так и сгинула. Правда, Лойтеры по-прежнему живут в квартире № 6, но что можно сказать о Лойтерах? Пятого, кажется, пока не предвидится, и на том спасибо.

Панкратов — ничего, существует. Пережил он и горькие минуты: говорили, летит червонец, будет как с «лимонами»,— хоть стены оклеивай. Хотел было он выменять заветные пачки на царские десятки, конечно, с потерей, но — дай Бог «им» здоровья — вывезли.

Черт возьми — не разберешь «их» — то жмут, масло давят, и налоги, и сборы, и «борьба с частным капиталом», и «руки прочь от Китая», и «мировая», словом — привычные жидовские штучки, а то за ум-разум берутся, выручают Панкратова. Зачем на углу Проточного стоит милицейский, спросите вы? Охраняет мировую? Дудки! Стережет он десять пачек под цветочным горшком (начата теперь одиннадцатая).

Красным вишневым соком наливаются щеки «самого». Хромая даже содрогается: «Ты бы, Алексеич, банки поставил...» Глупости! Кровь, как и «червячки», украшает наше красное купечество. Вот Мухина оценила колер, оценила она и комплекцию, жар Панкратова. Вместо тщедушного сюсюканья: «Ах, люблю»,— тот сразу зарычал, красноглазый, вспененный, лютый, как здоровенный бык на случке.

Хозяйским глазом оглядывал Панкратов Проточный: все здесь свое. Не тронет его добра жулье, почтительно оно заламывает шапки: «Доброго вам здоровьица...» Тишина под домом — не сунутся туда малолетние бандиты, устрашенные рассказом о каких-то припрятанных трупиках. Посветлело и в квартире № 6,— нет больше там ни сомнительной девчонки, ни газетного пискуна. Вот только горбатый жиденок, торчит он как бельмо на глазу. С чего он так поглядывает на Панкратова? Хорошо бы и его выжить из Проточного. «Жиды редко бесятся, как коты, народ это сметливый, осторожный, зато бешеный жид — чума, всех перекусает». Готов был Панкратов даже с «ними» войти в стачку, даже с судейской крысой, с Корольковым из шестнадцатого, только бы извести горбуна, чтобы не глядел он

на великолепную бороду окаянными своими глазелками.

Чувства Панкратова многие теперь разделяли. Вероятно, Юзик и вправду сошел с ума. Взгляды его, повадки, разговоры пугали народ. Косился на него весь Проточный: что ж еще он выкинет — кого сдуру обнимет (этого-то жулика из «Ивановки»), на кого зашипит «брысь», какого оборванца зазовет к себе «чай пить»? Даже Лойтеров восстановил он против себя — вот этими приводами грабителей, бессвязными речами, назиданиями. Больше гражданка Лойтер не подпускала его к маленькой Розочке — боялась, чего доброго, задушит: ведь как же он белками ворочает, хрипит. Ребята пели теперь новенькую песенку:

Жид наклал себе в штаны
Чертовы орешины.
У него горб в пять пудов —
Оттого он бешеный.

Как-то не вытерпел Юзик:

— Почему вы меня истребляете, дети? Мой горб весит не пять пудов, он весит тысячу пудов, и я не могу больше его носить. Я могу только упасть и умереть...

Оттого он бешеный!..

Высунув языки, ребята кружились и пели. Юзик вышел из себя:

— Камни вы, а не дети! Прах!

Но тотчас же устыдился: кого он обидел? Детей? «Футурум»? Конец Юзику. Если он с невинными сердцами враждует,— значит, нет больше в Проточном философа. Кончилось счастье горбуна. Вот и гонят его все. Лойтеры ворчат: «Вы бы себе другое место подыскали для свиданий с вашими воришками, здесь честная семейная квартира». Выставили его из «Кино-Арса»: как-то, подбирая аккомпанемент, пустил он под похоронный марш прием Чичериным английской делегации. Один. А против него весь переулок.

Нарядный был день, белый, солнечный. Сверкал Проточный и снегом, и светом, сверкал, как витрина ювелира Гуревича, как сны беспризорных, как выдумка.

Зайдите-ка в такой день сюда, и не поверите вы ни в Панкратова, ни в жулье, ни в насекомых, что копо-

шатся под овчинами, скажете: «Чем хуже Проточный Мертвого, или Левшинского, или других благообразных переулков?» Великолепный покров опускает зима на людскую мизерность. По Москве-реке скользят коньки, и доносятся оттуда чистые серебристые голоса детворы: «Эх, эх!» Все вычищено, вылощено. Для кого же задумала природа такой праздник? Какой трибун, какой полководец, какая прекрасная девушка должны промчаться сейчас по этому пушистому пути? Кого, друзья мои, ждет Проточный? Или зря вся эта пышность, только напоминание она, что всюду одна жизнь, и в Проточном и в Левшинском, что всюду черны дела, но бела, но светла, но нестерпимо светла заложенная в человеческом сердце радость?..

С почтальоном, морозным и веселым — трещит, кряхтит, смеется,— Юзик столкнулся в дверях, шел он, скрипка под мышкой, в какой-то танцкласс.

Он шел и читал письмо, шел, не видя, куда идет, обдаваемый криками: «Горбун-то, в рабкоры заделался!..» Потом он остановился, снова перечитал. Он не кивал головой, как думала Таня. Он только улыбался, сначала робко, недоверчиво — «вдруг шутка?» — потом радостно, вовсю — «жива!». Улыбается ему... Откуда-то из Каширы — где это? близко? далеко? — все равно — она улыбается Юзику. Замужем. Муж — умник. Наверное, как гомельский секретарь. Жалко! Сумасшедшие сочинители лучше умников — они умеют и плакать и смеяться. А умники умеют только говорить умные вещи. О Боре — правда. Они могли бы пожениться... Как глупо все вышло!.. (Лицо Юзика стало теперь грустным.)

Поздно! У Прахова — Маркова. У Тани — умник. Дети из подвала Панкратовых пропали. Что может человек, если судьба против него? Они ведь любили друг друга. Юзик это знает. Теперь нельзя сказать Прахову, что Таня о нем вспоминает, нельзя даже сказать ему, что она жива. Чего доброго, он все бросит, уедет в Каширу. А что будет делать Маркова? Что будет делать этот умник? Разве можно из большого чужого горя выкроить себе маленькое счастье? Нет, Юзик не расскажет Прахову о письме. Пусть тихо живет на новой квартире. Пусть тащит свое. Сколько пудов в горбу человека? Пять? Тысяча? Миллион?

Но нет, не горевать должен Юзик,— радоваться. Таня теперь пишет, как неизвестный сочинитель. Она пишет об улыбке и роняет слезы на письмо. Она возносится и над Проточным, и над Каширой, она летает там, среди белых хлопьев и птиц. Она все знает. Это уж не Таня с Сейфуллиной и с губной помадой. Это та девушка, о которой говорил Юзику преподаватель латыни.

Почему она пишет, что Юзик мог забыть ее? Она ведь поняла теперь, что Прахов вовсе не злой человек. Почему же она не поняла, что Юзик ее любит? Разве горб мешает любить? Горб только мешает жить...

Юзик, опомнись! Мелкий, несчастный человек, как ты смеешь роптать? Это ты недавно обидел детей... Радуйся! Она жива. Она выходит из подземелья. Она улыбается.

И Юзик улыбается Тане. Он стоит теперь у ворот абрикосового и улыбается. Он хочет рассказать Проточному, что Таня с нежностью вспоминает этот переулок, что все ложь — и ссоры, и насмешки, и ночные драки, что светел и бел Проточный. Он вынимает из футляра скрипку. Он играет свой любимый «кусочек» — дорогое, самое благородное: Таня жива!

В пяти шагах от него застыл с кузовком в руках Панкратов. «Сам» не заходит в ворота. Злобно он глядит на горбуна. Наглость какая! У самого дома пиликает. Нет, здесь следует милицию позвать, пойти к Королькову, собрать подписи — пусть уберут прочь этого сумасшедшего! Не выдержав, он подходит к Юзику:

— Отходи отсюда, пакость этакая! Не то я милицию позову. Скандалист!

Юзик на минуту перестает играть.

— Почему вы злитесь, гражданин Панкратов? Лучше смейтесь, вот как я смеюсь. Она жива. И дети живы. И нельзя убить радости. Преподаватель латыни умер. Но он все рассказал мне перед смертью. Я знаю, вы хотели из-за какого-то дурацкого окорока убить их. Не бойтесь — я никому не расскажу об этом. Я только хочу вам сказать: они живы. Вы слышали звуки этой скрипки? Так радуйтесь со мной. Радуйтесь, что у вас ничего не вышло. Смейтесь! Танцуйте! Сойдите с ума! Или уйдите в ваш ужасный подвал, чтобы вас не было видно, потому что вся жизнь смеется, а вы умираете от вашей черной злобы...

И Юзик снова играет. Иззябшие пальцы весело водят смычком, и несутся нежные пронзительные звуки по Проточному, и расцветает переулок, распускаются золотые кочаны на вывеске «Закусочная «Гигиена», и распускаются желтые, сморщенные личики персюков, и горит снег, и бьются сердца женщин, и несется, подымая легкую пушистую пыль от Москвы-реки вверх к Смоленскому, как легкий ветерок, простая, большая, человеческая радость.

Сентябрь — ноябрь 1926
Париж

Комментарии

Второй том Собрания сочинений Ильи Эренбурга составляют произведения, написанные в 1922—1926 годах; они повествуют о России эпохи революции, военного коммунизма и нэпа. Различные по материалу и манере письма, книги эти объединяет не только отраженное в них время, но и подход автора к изображению событий, идеологическая незашоренность, отсутствие политической конъюнктурности. Объединяет их и резкое неприятие критикой, принимавшей у Эренбурга лишь сатирическое изображение буржуазного Запада. Теоретикам и практикам тогдашней литературной политики казалось, что взгляд Эренбурга — острый, когда он оценивает Запад, белых или эмиграцию,— становится поверхностным, выхватывает случайные явления и образы, как только обращается к будням Советской России. Эренбурга обвиняли в том, что он не дает столь желаемой эпической картины революционного, социалистического преобразования страны. При этом, понятно, не только не задумывались о природе писательского дара Эренбурга — лирика по преимуществу, лишь драпирующего лиризм своей прозы в сатирические и иронические одежды,— но, по существу, не считали необходимым и многообразие форм и жанров литературы в целом, не говоря уже, разумеется, о каком-либо идейно-художественном плюрализме.

Спустя семь десятилетий этот плюрализм постепенно внедряется в жизнь и сознание общества, меняя представления о смысле былых революционных преобразований и их последствиях, а вместе с тем и представления о той литературе, которая считалась некогда идеальным изображением революционной эпохи, и о той, которая таковой не считалась. В контексте этих перемен проза Эренбурга

20-х годов, замалчиваемая десятилетиями, при всех ее шероховатостях и подчас явной торопливости,— остается живой, ибо запечатлела и реальную атмосферу той переломной эпохи и нечто общечеловеческое и вневременное.

В масштабе литературной судьбы Ильи Эренбурга три вещи, составившие этот том, остались безусловной вехой — написанные по внутреннему убеждению, они сделали автора профессиональным прозаиком.

ЖИЗНЬ И ГИБЕЛЬ НИКОЛАЯ КУРБОВА

Замысел романа возник у Эренбурга зимой 1921/22 года, в пору очевидного литературного успеха (одна за другой выходили его тщательно продуманные и быстро написанные книги, сделавшие поэта, известного узкому кругу читателей, популярным беллетристом). Свой второй — после «Хулио Хуренито» — роман Эренбург задумал на сугубо современном и сугубо российском материале: как рассказ о судьбе молодого человека — непримиримого большевика и чекиста, каковым его сделала жестокая российская действительность (та самая, что на страницах иных нынешних повествований предстает в исключительно благостном обличии), действительность, которую он вместе с единомышленниками решил переделать по формулам нового социального вероучения. Жизненный путь героя определялся ненавистью к пережитой с детства социальной несправедливости, и первоначальным эпиграфом к роману служила строчка эренбурговских стихов: «Молю,— о ненависть, пребудь на страже!».

Эренбург начал писать роман в феврале 1922 года. Он был тогда, как и многие молодые прозаики, захвачен вихрем прозы Андрея Белого, ее ритмом, ее языком (внешнее влияние Белого заметно уже в «Неправдоподобных историях»), и эта литературная, языковая стихия, накладываясь на сюжетную стихию первых глав романа, хорошо чувствуемую автором, должна была, как кажется, обеспечить быстроту реализации литературного замысла, но... это был первый и единственный в долгой литературной жизни Эренбурга случай, когда роман «не пошел» и Эренбургу пришлось его оставить.

Деятельная натура писателя не терпела простоев, и уже весной он вместе с художником Эль Лисицким затеял и осуществил в Берлине издание журнала «Вещь», ставшего трибуной международного художественного авангарда; журнал, связав европейских авангардистов с российскими левыми, должен был упрочить авторитет русской революции в западных художественных кругах и привести к субсидированию Западом художественных программ в революционной России (большевистские чиновники благополучно задушили эту идею, не допустив журнал в Россию и тем самым прикрыв его выпуск на третьем номере). Тогда же Эренбург написал, а Лисицкий проиллюстрировал «Шесть повестей о легких концах». Эти труды не остановили, как выяснилось, внутренней работы над вроде бы заброшенным романом, раздумий о его конфликтах и судьбе героя. 16 июня 1922 года Эренбург писал Марине Цветаевой, незадолго до того приехавшей в Германию: «Хочу дописать мой роман, а для него, кроме больших сил, нужно и большое равновесие — он о катастрофе, о торжестве стихии над волей, а отправляясь на тиф, нужно сделать прививку». Год спустя в письме к А. Бахраху Цветаева вспоминала, как Эренбург обсуждал с ней сюжетные ходы начатой и брошенной книги: «Начата она была во время нашей горячей дружбы с Эренбургом, и он тогда героиню намеревался писать с меня (герой — сын улицы, героиня — дочка особняка)...»

К работе над романом Эренбург вернулся в июле — августе 1922 года, «отдыхая» на Северном море (как только написал там «Тринадцать трубок»). О переакцентировке замысла романа можно судить по смене эпиграфа — их стало два: формула корней квадратного уравнения, символизирующая построение нового общества по теоретическому рецепту, и строчка популярной песни «Цыпленки тоже хочут жить» — символ косности жизни, ее устойчивого сопротивления теоретическим схемам и радикальным перестройкам. Через судьбу героя роман должен был отразить это противоборство.

В письмах Эренбурга М. М. Шкапской и Е. Г. Полонской прослеживается хроника работы над романом.

20 августа: «Кончил детство своего героя (чекиста) и юность. Сейчас ему уже 25 лет, дело подходит к роману, то есть к гибели. Написал 11 глав из 40. Замысел отважен: гибель неотвратимая, то есть трагедия «конструктивного человека».

5 октября: «Я завядаю перед трудностью моей работы — романа. Ответственность темы, сложность сюжета, ритм меня доконают. Это самое трудное из всего, что я делал в моей жизни (если не считать растапливание коктебельских «мангалок»). Кончив первую часть (15 глав), я всю ее переделал. Теперь сижу над 17-й главой».

10 октября: «Мой роман на 19-й главе... Хотя план расчерчен детально заранее и напоминает диаграмму какого-нибудь главка, но... герой меняется, хотя биография остается прежней. В общем он хороший человек, но, увы, должен погибнуть...»

30 октября: «Я — весь в романе. Сейчас идет 27-я глава. Осталось 7 глав. Скоро кончу».

18 ноября: «Я кончил роман. Он большой (по размеру), нелепый до крайности. У меня к нему болезненная нежность — немудрено: он мне обошелся весьма дорого. Такой сгусток теплоты, кажется, давно не испытывал».

Виктор Шкловский, прочтя в Берлине рукопись «Курбова», сказал Эренбургу: «Это самая храбрая вещь, ибо не знаю, кто теперь не будет вешать на вас собак». Политическая поляризация читающей публики была такова, что роман, главным героем которого был чекист, одни могли принять только как роман о железном рыцаре революции, а другие — как роман о ее кровавом палаче. У Эренбурга не было ни того, ни другого, при этом он хотел, чтобы книга вышла одновременно в Москве и в Берлине. За берлинское издание взялся А. Г. Вишняк (издательство «Геликон»), московское вызвался осуществить Н. С. Ангарский (издательство «Новая Москва» и альманах «Недра»), надеясь заручиться поддержкой Л. Б. Каменева. «Как обстоит дело с цензурой моего романа? — спрашивал Эренбург 30 декабря 1922 года в письме В. Г. Лидину.— Не знаете ли Вы результатов чтения Каменевым его?» Каменев, знавший Эренбурга по Парижу 1910-х годов, отнесся к роману благосклонно, и московское издание было разрешено. В феврале 1923 года Эренбург держал его корректуру, а в конце марта книга вышла с незначительной цензурной правкой; через несколько дней вышло и берлинское издание.

Еще до того «Красная новь» (№ 6, декабрь 1922) и альманах «Недра» (№ 1, 1923) напечатали отрывки из романа в его первой редакции (рекомендуя Е. Г. Полонской познакомиться с публикацией

«Красной нови», Эренбург сказал, что уже переделал текст: «Сильно сгладил ритмичность — то есть «бéловщину»). Эти публикации вызвали живые отклики. Евгений Замятин, внимательный и строгий читатель Эренбурга, заметил: «Жизнь и гибель Николая Курбова» — несомненный симптом, что Эренбург услышал музыку языка в прозе (чего ему так не хватало в «Хулио Хуренито») — пусть даже пока не свою музыку: важно — услышать. Белый — лекарство очень сильное, очень ядовитое, очень опасное: многих — несколько капель Белого отравили; Эренбург, я думаю, выживет». В. В. Вересаев, помнивший Эренбурга по Коктебелю 1919—20 годов, прочитав в «Недрах» главу «Тараканий брод», жаловался М. А. Волошину, что Эренбург «гонится за наиновейшими темами и формами». Волошин, глубоко чувствовавший и понимавший Эренбурга, с этим не согласился: «Это органически его темы и его давнишние формы, еще родственные ему в «Канунах».

Как только «Новая Москва» выпустила роман, журнал «На посту», выходивший в том же издательстве, напечатал статью Б. Волина «Клеветники», в которой анализ романа привычно подменялся выдергиванием цитат и осатанелой бранью. Особенно взбесило Волина изображение Эренбургом вождей в виде геометрических фигур (не разгаданной осталась лишь трапеция-Каменев) и беспиететное описание будней ВЧК. Выводы последовали громкие — «контрреволюционная пошлятина», «плохо скрываемое издевательство над нашим тяжелым, но героическим прошлым». Петроградская «Вечерняя Красная газета» обозвала «Курбова» «гнусной и грязной книгой, полной клеветы на революцию (в частности, на Чрезвычайные комиссии), обывательщины и патологических судорожных попыток низвести героическое и бессмертное до уровня свидригайловщины». Эта статья была публичным прикрытием санкционированной Зиновьевым конфискации романа в Питере. «Мне пишут из Петербурга,— сообщал Эренбург 15 мая В. Г. Лидину,— будто там «Курбов» изъят. Так ли это? Здесь говорят, что им все возмущены. Ангарский, наверное, рвет на себе волосы». Впрочем, уже 17 мая Эренбург встретился с Ангарским в Берлине, и тот сообщил, что спас книгу ценой своего предисловия, которое предполагается вклеить в задержанный тираж. Предисловие Ангарского огорчило Эренбурга — похвалы

сатирическому изображению белогвардейцев сочетались в нем с признанием, что работа ВЧК изображена в духе «белогвардейских фельетонистов, к сожалению, тоже лишь интуитивно знакомившихся с ЧК» (цитируем по тексту, сохранившемуся в архиве ИМЛИ); Ангарский, должно быть, не знал, что Эренбург был знаком с ВЧК, проведя в 1920 году неделю во внутренней тюрьме на Лубянке. Вызвавшее досаду предисловие в дело не пошло, запрет с издания вскоре сняли (впрочем, кажется, после того, как летом затопило склад и 60% десятитысячного тиража погибло).

Берлинское издание вызвало иную прессу. Политические оценки были, разумеется, полярны советским — автора обвиняли в апологии Чека; но было и много литературных суждений о романе. Р. Гуль обвинил Эренбурга в волюнтаризме; А. Бахрах писал, что это не художественная картина, а талантливый репортаж; Э. Голлербах в «Открытом письме Илье Эренбургу», напечатанном в «Накануне», сказал о «Курбове» так: «По силе потрясения, мною испытанного, я могу сравнить эту вещь только с андреевским «Рассказом о семи повешенных», и при этом корил автора: «Вы боитесь как огня сентиментальности и притворяетесь суровым дядькой, который всегда острит и никогда не плачет».

Для издательской судьбы романа важным был отзыв А. К. Воронского в статье «Искусство, как познание жизни, и современность». Воронский отверг нападки на «Курбова», подчеркнув, что напостовцы проходят мимо главного — художественной сути романа и трагедии его героя. Эта трагедия, по мысли Воронского, состояла в индивидуализме Курбова, аскета и подвижника, борющегося за перестройку мира по математической формуле не ради живого счастья живых людей (как этим занято большинство его коллег — видимо, так это следовало понимать), а ради отмщения за пережитые несправедливости. Отсутствие подлинного положительного героя-борца — таков был главный и с тех пор постоянно предъявляемый Эренбургу счет критики. От Эренбурга требовали того, к чему он был мало склонен. Он обстоятельно выписал лишь один (и не худший) из типов тогдашних большевиков-чекистов. Герой был симпатичен автору; физическая гибель спасла его от неминуемой — если подумать об опыте последующих десятилетий — гибели нравственной.

В 1928 году «Курбов» был издан во второй (и последний) раз издательством «ЗиФ» в составе Собрания сочинений Эренбурга, после чего роман о чекисте, пустившем себе пулю, стал уже явно не ко времени и не ко двору.

Роман печатается по тексту берлинского (1923) издания, сверенному с изданием 1928 года.

Стр. 8. *Ассаргадон* — ассирийский царь в 680—669 гг. до н. э.

Стр. 9. *«Единая» и прочее.* — Имеется в виду лозунг белого движения о единой и неделимой России в противовес большевистской установке на право наций на самоопределение. *Дункан немного в переменках.* — Речь идет о занятиях танцами по системе американской танцовщицы Айседоры Дункан (1878—1927).

Стр. 10. *Ницше* Фридрих (1844—1900) — немецкий философ и писатель. *Шелли* Перси Биш (1792—1822) — английский поэт-романтик.

Стр. 11. *...оперу «Травиата» (у Солодовникова)...* — Постановка оперы Дж. Верди «Травиата» в частном оперном театре С. И. Зимина, размещавшемся в Москве в помещении театра Солодовникова. *Метерлинк* Морис (1862—1949) — бельгийский драматург, поэт.

Стр. 13. *Ньютона в саду...* — По легенде, Ньютону пришла мысль о законе всемирного тяготения, когда на него свалилось в саду яблоко. *Беатриче* — адресат любовной лирики Данте, символ любви.

Стр. 15. *Рудин или бедный Лемм* — герои романов И. С. Тургенева «Рудин» и «Дворянское гнездо».

Стр. 17. *Иов безгрешный* (библ.). — Испытывая силу веры Иова, Бог насылал на него проказу, нищету, гибель детей, изгнал его из родного города.

Стр. 18. *Микадо* — титул императора Японии.

Стр. 21. *Эпиктет* (ок. 50—ок. 140) — римский философ-стоик. *Эпикур* (341—270 до н. э.) — древнегреческий философ-материалист.

Стр. 22. *Спиноза* Бенедикт (1632—1677) — нидерландский философ. *«Идиот»* — роман Ф. М. Достоевского. *Парни* Эварист (1753—1814) — французский поэт.

Стр. 23. *Песталоцци* Иоганн Генрих (1746—1827) — швейцарский педагог-демократ, основоположник теории начального обучения. *Монтессори* Мария (1870—1952) — итальянский педагог,

специалист по дошкольному воспитанию. *Гюисманс* Шарль Мари Жорж (1848—1907) — французский писатель-натуралист, декадент. *Малларме* Стефан (1842—1898) — французский поэт.

Стр. 24. *Соловьев* Владимир Сергеевич (1853—1900) — русский философ, поэт. *Штейнер* Рудольф (1861—1925) — немецкий философ-мистик. *Бердяев* Николай Александрович (1874—1948) — русский философ.

Стр. 25. *Гирландайо* (настоящее имя Томмазо Бигорди; 1449—1494) — итальянский художник флорентийской школы. *«Лакме»* (1883) — опера французского композитора Лео Делиба. *Мирабо* Оноре (1749—1791) — деятель Великой французской революции. *Письмо Толстого* — имеется в виду статья Л. Н. Толстого «Не могу молчать» (1908), направленная против столыпинских репрессий; статья распространялась в России нелегально.

Стр. 26. *Комб* Эмиль (1835—1921) — французский государственный и политический деятель, радикал. *Бриан* Аристид (1862—1932) — французский государственный и политический деятель. *«Царь Федор» в Художественном...* — спектакль в МХТе по пьесе А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович».

Стр. 27. *Будхе* (Будха) — в индуистской мифологии сын бога Сомы, персонификация планеты Меркурий.

Стр. 28. *Изида* (Исида) — в древнеегипетской мифологии супруга и сестра Осириса, богиня плодородия, воды и ветра; изображалась женщиной с головой или рогами коровы. *Озирис* (Осирис) — бог умирающей и воскресающей природы, покровитель и судья мертвых.

Стр. 29. *Бодлер* Шарль (1821—1867) — французский поэт.

Стр. 33. *Карнеги* Эндрю (1835—1919) — американский фабрикант железных изделий, филантроп. *Эдем* (библ.) — страна, где обитали Адам и Ева до грехопадения, синоним рая.

Стр. 34. *Саваоф* — одно из имен иудейского бога Иеговы (Яхве). *«Анти-Дюринг»* — сочинение Ф. Энгельса (1878).

Стр. 35. *Брокаровская сирень* — духи; Г. А. Брокар (1836—1900) — основатель парфюмерной фирмы в Москве. *Гужон.* — Имеется в виду завод Гужона (ныне московский завод «Серп и Молот»); Гужон Юлий Петрович (1858—1918) — русский промышленник. *Аполлон* — в греческой мифологии сын Зевса, покровитель искусств;

изображался прекрасным юношей. *«Какой простор»* — картина И. Е. Репина, репродукции с нее были очень популярны в начале века.

Стр. 36. *«Физика» Краевича* — дореволюционный школьный учебник.

Стр. 37. *Аполлон Григорьев* (1822—1864) — русский поэт и критик.

Стр. 38. *Бербер* — представитель группы народов в Северной Африке и Судане. *Кули* — низкооплачиваемые неквалифицированные рабочие в Китае. *Эсде* — социал-демократ. *Плеханов* Георгий Валентинович (1856—1918) — русский социал-демократ, один из основателей РСДРП. *Порт-Артур* — русская военно-морская крепость в Китае; в русско-японскую войну выдержала 4 штурма и 2 декабря 1904 г. была сдана японцам. *Бушмен* — представитель кочевых племен, населявших Южную и Восточную Африку.

Стр. 39. *«Томление Прометея».* — По-видимому, речь идет о симфонической поэме А. Н. Скрябина «Прометей».

Стр. 40. *...в какой печальный эмпириокритицизм ударились иные из верхов...* — Имеются в виду А. А. Богданов, А. В. Луначарский и др., чьи взгляды критиковал Ленин в книге «Материализм и эмпириокритицизм». *«Саламандра»* — страховое общество в Москве.

Стр. 41. *Бетховен* Людвиг ван (1770—1827) — немецкий композитор.

Стр. 44. *Лукьяновка* — политическая тюрьма в Киеве. *Глетчер* — ледник. *...«товарищ Иннокентий»* — Дубровинский Иосиф Федорович (1877—1913), член ЦК РСДРП; покончил жизнь самоубийством в ссылке.

Стр. 45. *Жорес* Жан (1859—1914) — лидер французской социалистической партии, противник милитаризма и войны.

Стр. 46. *«Нива»* — иллюстрированный литературно-художественный еженедельник, издавался в Петербурге в 1870—1918 гг.

Стр. 48. *Вильгельм* II Гогенцоллерн (1859—1941) — германский император в 1888—1918 гг.

Стр. 54. *Андреев* Леонид Николаевич (1871—1919) — русский писатель. *Эйнемовские конфетчицы* — работницы московских кондитерских фабрик, входивших в товарищество «Эйнем».

Стр. 55. *«Неподкупный Максимилиан»* — один из вождей Великой французской революции Максимильен Робеспьер (1758—1794).

«Невольница» — стихотворсние «La jeunne captive» французского поэта и публициста Андре Шснье (1762—1794), казненного во время Великой французской революции (известно в русском переводе А. Апухтина под названием «Молодая узница»). *Дантон* Жорж Жак (1759—1794) — деятель Великой французской революции, один из вождей якобинцев; казнен. *Канатчикова дача* — психиатрическая больница в Москве.

Стр. 56. *Амурская колесная* — имеется в виду дальневосточная каторга.

Стр. 57. *Фундуклеевская* — улица в Киеве (с 1919 г.— ул. Ленина).

Стр. 58. *Печерск* — район Киева (с 1919 г.— Ленинский район).

Стр. 60. *Иона* (библ.) — был проглочен китом по воле Яхве; пробыв трое суток во чреве кита, невредимый Иона был выплюнут на берег.

Стр. 61. *Мазурская история...*— Имеются в виду коррупция и злоупотребления интендантов русской армии, ставшие одной из причин ее поражения в Восточной Пруссии осенью 1914 г.

Стр. 62. *Кант* Иммануил (1724—1804) — немецкий философ. *Крупп.*— Речь идет о металлургическом и машиностроительном концерне, основанном в 1811 г.

Стр. 63. *Немезида* — в греческой мифологии богиня возмездия.

Стр. 65. *...rue Glacière...*— улица в Париже, на которой в 1910-х гг. помещалась эсеровская столовая для русских политэмигрантов. *Чарская* Лидия Алексеевна (1875—1937) — русская писательница, автор слащавых произведений для детей и юношества о жизни воспитанниц дореволюционных учебных заведений. *Голубой гусар.*— Гусары в русской армии (вид легкой кавалерии) носили голубую форму (ср. стихотворение Н. Асеева «Синие гусары»). *Нарцисс* — мифический греческий юноша необыкновенной красоты, влюбившийся в ссбя, увидев свое лицо отраженным в воде, и умерший от этой безнадежной любви. *Лавров* Петр Лаврович (1823—1900) — русский философ, социолог, публицист, один из идеологов народничества.

Стр. 66. *Прометей* — в греческой мифологии титан, похитивший у богов огонь и передавший его людям. *«Русское богатство»* — ежемесячный литературно-художественный, научный и политический журнал; издавался в Петербурге в 1876—1918 гг., с 1893 г.— под

редакцией В. Г. Короленко. *Мюр и Мерилиз* — торговая фирма, которой до революции принадлежал построенный в 1909 г. на углу Петровки, против Большого театра, крупнейший универсальный магазин столицы (ныне ЦУМ).

Стр. 72. *Шептала* — сушеные абрикосы или персики с косточками. *Пиранези* Джованни Баттиста (1720—1778) — итальянский гравер, автор «Архитектурных фантазий».

Стр. 73. *Гамсун* Кнут (1859—1952) — норвежский писатель.

Стр. 74. *Бласко Ибаньес* Висенте (1867—1928) — испанский писатель.

Стр. 79. *Гойя* Франсиско Хосе де (1746—1828) — испанский художник. *Бердслей* Обри (1872—1898) — английский рисовальщик, чьи работы повлияли на формирование стиля «модерн».

Стр. 80. *Делакруа* Эжен (1798—1863) — французский художник. *«Веселая вдова»* — оперетта венгерского композитора Ф. Легара (1905).

Стр. 81. *«Сад пыток»* — роман французского писателя Октава Мирбо (1850—1917).

Стр. 82. *Сообщение «Росты»* — Российское телеграфное агентство.

Стр. 83. *Старый Карл на стенке...* — портрет К. Маркса. *Журфикс* (от фр. jour-fixe) — дни, назначенные для приема гостей.

Стр. 86. *Опера «Гугеноты»* — сочинение Дж. Мейербера (1835).

Стр. 88. *Ллойд-Джордж* Дэвид (1863—1945) — премьер-министр Великобритании в 1916—1922 гг. *Пилсудский* Юзеф (1867—1935) — польский генерал; в 1920 г. руководил военными действиями польской армии; с 1926 г.— диктатор Польши.

Стр. 89. *Пророк Иеремия* (VII в.— нач. VI в. до н. э.) — древнееврейский пророк, которому принадлежит авторство «Плача Иеремии» из Ветхого завета.

Стр. 91. *Троцкий* Лев Давыдович (1879—1940) — председатель Реввоенсовета Республики.

Стр. 92. *Кавальери* Лина (1874—1944) — итальянская певица. *Неофитка* — новая приверженица какой-либо религии или учения.

Стр. 94. *«Кадиш»* — еврейская молитва, читаемая в течение 11 месяцев после смерти родителя сыновьями.

Стр. 97. *Брянский вокзал* — ныне Киевский вокзал в Москве.

Стр. 99. *Самаритянка.*— Самаритяне — потомки вавилонских колонистов, переселенных в 722 г. до н. э. в Самарию (Палестина) и смешавшихся с местным населением.

Стр. 100. *Анри де Ренье* (1864—1936) — французский писатель. *Дебюсси* Клод (1862—1918) — французский композитор.

Стр. 102. *Джоконда* — знаменитый портрет Моны Лизы работы итальянского художника Леонардо да Винчи (ок. 1503). *Высоков.*— Прототипом этого персонажа безусловно является Б. В. Савинков, с которым Эренбург был близко знаком во Франции в 1913—1917 гг. *Калигула* (12—41) — римский император с 37 г., стремившийся к неограниченной власти и убитый недовольными им.

Стр. 105. *...погибшего при Мукдене...*— Имеется в виду Мукденское сражение (февраль 1905) русско-японской войны возле г. Мукдена (Сев.-Вост. Китай), в ходе которого были разбиты три русские армии.

Стр. 108. *Ломброзо* Чезаре (1835—1909) — итальянский психиатр и криминалист. *Жанна д'Арк* (1412—1431) — народная героиня Франции, возглавившая борьбу против английских захватчиков. *Сонечка Мармеладова* — персонаж романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».

Стр. 109. *Дациаро* — итальянец, владелец художественного магазина в Москве.

Стр. 111. *Понтий* Пилат — римский наместник Иудеи в 26—36 гг. Во время его правления был распят Иисус Христос.

Стр. 116. *Юдифь* — древнееврейская героиня, отрубившая голову врагу своего народа Олоферну.

Стр. 118. *Отрок Даниил* — еврейский пророк, в юности взятый в плен вавилонским царем Навуходоносором; отличался редкой проницательностью.

Стр. 121. *Рассыпные* — папиросы, продающиеся поштучно.

Стр. 122. *Собинов* Леонид Витальевич (1872—1934) — лирический тенор.

Стр. 125. *Венера* — в римской мифологии богиня любви и красоты. *Купидон* — в римской мифологии божество любви, олицетворение любовной страсти (то же, что Амур или у греков Эрот).

Стр. 129. *Антигона* — в греческой мифологии дочь царя Фив Эдипа, добровольно последовавшая в изгнание за своим слепым отцом; персонаж двух трагедий Софокла.

Стр. 131. *Сикстинская мадонна* — картина, изображающая Богоматерь, кисти Рафаэля Санти (1515—1519), находится в Дрезденской галерее.

Стр. 135. *Желиховская* Вера Петровна (1835—1896) — русская писательница, автор теософских сочинений для детей и юношества. *...часовнями Пантелеймонов* — часовня в честь великомученика Пантелеймона, сооруженная в 1873 г. в Москве на Никольской улице у Владимирских ворот на средства Пантелеймоновского монастыря в Старом Афоне.

Стр. 147. *Хронос* — греческое название бога времени Сатурна.

Стр. 155. *Аммон* (Аман) — библейский персонаж, преследовавший евреев.

Стр. 157. *«Нагим пришел, нагим и ухожу».* — Иов, I, 21.

Стр. 163. *Насмешливый слегка, простой, как шар...* — В. И. Ленин.

Стр. 164. *Доморощенный Бонапарт, шахматный игрок и вождь степных орд...* — Л. Д. Троцкий. *Трапеция — почтенный, в кашне...* — Л. Б. Каменев. *Эйфель* Александр Гюстав (1832—1923) — французский инженер, автор проекта ставшей знаменитой башни в Париже (1889). *Молоденький, веселый. Идеальная прямая...* — Н. И. Бухарин. *...вздыхающей над сомовской маркизой...* — Имеются в виду эротические иллюстрации К. А. Сомова для «Книги маркизы» (1907—1908).

Стр. 165. *Будут и у них свои Кронштадты.* — Имеется в виду кронштадтское восстание моряков (февраль — март 1921), подавленное Красной Армией.

Стр. 168. *Верди* Джузеппе (1813—1901) — итальянский оперный композитор.

Стр. 175. *Бурцев* Владимир Львович (1862—1942) — русский публицист, разоблачил многих провокаторов царской охранки.

Стр. 178. *Князь Пожарский* Дмитрий Михайлович (1578—1642) — русский полководец, руководивший в 1613—1618 гг. военными действиями против польских интервентов.

Стр. 181. *Ходынка* — катастрофа на Ходынском поле в Москве 18 мая 1896 г. во время раздачи подарков по случаю коронации Николая II (в давке погибло и было изувечено более 2 тысяч человек).

РВАЧ

Завершая работу над «Курбовым», Эренбург жаловался друзьям, что «заработался до умопомрачения». «Дал себе клятву,— читаем в одном из писем,— до весны ничего не писать». Однако уже в феврале — марте 1923 года был написан роман «Трест Д. Е. (История гибели Европы)». Его фантастический сюжет возник на «отходах» «Хуренито»; за этот роман бойкие критики окрестили Эренбурга «кандидатом в русские Шпенглеры». Осенью 1923 года был написан еще один роман — «Любовь Жанны Ней» («Сентиментальный, «настоящий» роман с любовью, двумя убийствами, одной казнью, бегством, злодеями и прочим»,— так аттестовал его автор в письме Е. Г. Полонской); за эту книгу критики понизили Эренбурга до звания Вербицкой.

За три года очень интенсивной работы на Западе Эренбург во многом отработал запас былых впечатлений; у него возникла потребность побывать на родине, увидеть ее новую жизнь при нэпе. В самом начале января 1924 года он приехал в Москву. «Увидев снова Москву, я изумился: я ведь уехал за границу в последние недели военного коммунизма. Все теперь выглядело иначе,— пишет Эренбург в мемуарах.— Карточки исчезли, люди больше не прикреплялись. Штаты различных учреждений сильно сократились, и никто не составлял грандиозных проектов... Появились товары... Москвичи отъелись, повеселели... С точки зрения политика или производственника, новая линия была правильной... но у сердца свои резоны: нэп часто казался мне одной зловещей гримасой». Эренбург побывал в Харькове, Киеве, Гомеле, Одессе, Петрограде; он встречался с массой людей, с журналистской профессиональной хваткой впитывал свежие жизненные впечатления.

Замысел нового романа возник легко: «Один юноша рассказал мне длинную, путаную, но не очень-то сложную историю: еще недавно он был честным комсомольцем, хорошо учился. Товарищ втянул его в нехорошую затею; выглядело все благородно — ему поручили собирать деньги на воздушный флот, оказалось, что сборами занималась шайка мошенников. Студент возмутился, хотел пойти в ГПУ, но, получив пачку ассигнаций, соблазнился мишурой жизни. Он влюбился в девушку, которая требовала подарков, стал

спекулировать; из комсомола его вычистили; он ждал ареста. У него были очень выразительные руки, они рвались кверху, грозили, умоляли». Случай был достаточно типичный — недаром схожие герои пришли вскоре в прозу Сейфуллиной, Леонова, Катаева... Революция на своем взлете подымала людей, на спадах кидала их, и Эренбург понимал, что рассказ о Михаиле Лыкове требует политического, социального фона эпохи. При обдумывании романа не обошлось и без литературных реминисценций — тень Жюльена Сореля невольно возникала в воображении Эренбурга...

Эренбург уезжал из России, нагруженный впечатлениями и планами; уже с дороги он писал М. М. Шкапской: «Сейчас буду работать: сценарий, пьеса, роман», и спустя три недели: «Хочется сесть скорее за роман из русской жизни, но пока голова не работает». К работе над романом Эренбург приступил в июле 1924 года в Бельгии, а кончил его в Париже. В письмах друзьям Эренбург кратко сообщал о работе над «Рвачом»:

18 августа: «Пишу новый роман. Хотел бы в нем преодолеть хоть часть былых пороков. Он, кажется, непохож на меня, т. к. 1) чисто психологический, 2) материал (Эйхенбауму назло[1]) русский весь, 3) интрига в тени, а центр тяжести перенесен на подробности описательные героя и обрамляющей его эпохи».

1 сентября: «Я сижу над своим «Рвачом». Получается нечто дикое по размеру. Я написал уж около 8 листов и все же еще не достиг перевала. Боюсь и за «несезонность» (климатическую). Веду сейчас переговоры о нем с Лен. Госиздатом...»

21 октября: «Я все еще сижу над «Рвачом». Написал 10 листов, а еще 7—8 впереди».

16 ноября: «Я заканчиваю «Рвача»... Я люблю героя, хоть он пакостник, сволочь, склонная к романтике, патологический спекулянтик...»

4 декабря: «Кончил я новый роман «Рвач». Старался, как приготовишка, по три раза перечеркивал фразу, писал его долго — четыре месяца! Хотел дать не только героя, вышедшего из революции спекулянта, но и пейзаж с помощью бальзаковских отступлений».

---

[1] В статье Б. М. Эйхенбаума «О Шатобриане, о червонцах и русской литературе» (Жизнь искусства, 1924, № 1) говорилось о популярности в России переводной литературы.

Рукопись «Рвача» Эренбург частями отправлял Ленгизу, с которым заключил договор на издание романа. Еще 3 ноября он писал Шкапской: «Хоть и продал роман Ленгизу, сомневаюсь в том, что он будет напечатан». Так и случилось. На письме Эренбурга от 23 декабря 1924 года, где сообщалось о посылке окончания романа, влиятельный глава Ленгиза (шурин Зиновьева) И. И. Ионов начертал: «Денег не высылать. Печатать не будем», и месяц спустя издательские клерки сообщили автору: «Тов. Ионов, ознакомившись с содержанием Вашего романа, пришел к заключению, что выпуск его в пределах СССР невозможен». Мотивировать заключения было не принято и у издателей, и у критиков.

«Пафос «Рвача» — любование нэпаческой хищнической средой, утверждение о захвате буржуазными хищниками всего нашего хозяйственного аппарата»,— прокурорствовал Г. Горбачев. Его младший коллега Н. Терещенко, автор первой книги об Эренбурге («Современный нигилист (И. Эренбург)», Ленинград, изд-во «Прибой», 1925), подтверждал: «Рвач» — есть характернейший пример литературно-художественного оформления идеологии новой буржуазии». В шестидесятые годы, когда некоторые персональные обвинения были сняты, но общие идеологические установки держали в силе, в комментариях к «Рвачу» политические претензии формулировались мягче: 1) непоследовательность и ироничность в изображении положительных сторон советской жизни (то есть в описании коммунистов), 2) сгущение красок в изображении теневых сторон ее же (по существу — неудачный выбор главного героя), 3) изображение гражданской войны с позиций «над схваткой» (то есть упоминания о зверствах не только белых, но и красных, о расстрелах не только в контрразведке, но и в ЧК и т. д.). По существу, роман упрекают в том, что является его достоинством и что дает ему сегодня право на внимание и интерес читателя. Реабилитацией книг у нас занимается время; оно адвокат неподкупный, но слишком неторопливый.

«Рвач» вышел в Париже в июне 1925 года ничтожным тиражом в издании автора. «Я постараюсь переслать Вам мой роман «Рвач»,— писал Эренбург Е. И. Замятину.— Вы увидите, как далеко я ушел вновь от «Жанны», от сюжета, от общедоступного языка, от сантиментальности да, пожалуй, и от иронии... Буду с волнением ждать Вашего суждения».

Эмигрантская пресса отозвалась о романе походя несколькими бранными суждениями. Особенно задел Эренбурга несправедливый отклик В. Ф. Ходасевича. В начале романа есть проходной персонаж — полтавский сахарозаводчик Гуми́лов; его фамилия упоминается 7 раз, и в одном месте наборщики допустили опечатку: напечатали — Гумилев. Ходасевич счел это умышленной «выходкой», которая ставит И. Эренбурга вне пределов критики» (Дни, Париж, 27 сентября 1925). Ю. Айхенвальд в берлинской газете «Руль» утверждал, что Эренбург «копается и купается в низменном», а пражская «Воля России» писала, что талант Эренбурга направлен не на раскрытие психологии главного героя, а на фельетонное осмеяние противников большевистской власти. Эренбурга обвиняли не только в смердяковщине, которая лишает его героев человеческой красоты, но и в верноподданстве, называли «рабом власти» (той самой, которая запрещала его книги!).

«Рвач», не изданный на родине автора, переводился на многие языки; в 1930 году он вышел во Франции. «Дневники» Андре Жида позволяют судить о впечатлении, которое произвел роман Эренбурга на левую интеллигенцию Франции. А. Жид был тогда достаточно пристрастен во все более восторженных суждениях об СССР, но неизменно строг и объективен в литературных оценках. Вслед за отрицательным отзывом о «Цементе» Гладкова и восхищением прозой Чехова он записал: «Рвач» Эренбурга; книга замечательная, подлинной и несомненной новизны; необыкновенный ум и верность подачи». Как и многих левых интеллектуалов Запада, А. Жида занимали тогда в связи с советским опытом проблемы индивидуализма и коллективизма. Приведя в «Дневнике» слова из «Рвача»: «Артем делал только то, что делали все. Мысль отличительная, другим не присущая, казалась ему ничтожной и недостойной выражения», А. Жид сделал к ним поправку: «Во избежание недоразумений: можно испытывать огромную радость, сознавая полную общность с *другими*, общность мысли, чувств, ощущений, действий; но при условии, если эти «другие» не плутуют. Покуда они лгут себе и мошенничают, я могу чувствовать себя подлинным, только отличая себя от них» (Жид А. Страницы из дневника. Л., ГИХЛ, 1934, с. 92—93). Отношение Эренбурга к индивидуализму было однозначно выражено великолепным эпиграфом к роману; что же касается

снисходительного сочувствия автора к Артему Лыкову, то, по-человечески понимая его, не следует все же забывать, что именно миллионы артемов лыковых своим коллективным послушанием дали дорогу сталинской команде, установившей в стране самый жестокий и самый лицемерный политический режим XX века.

В октябре 1926 года на литдиспуте в Москве Л. Н. Сейфуллина обвинила «служилое сословие издательских критиков в том, что оно читает не то, что написано, а то, что подразумевается за словами... Их лозунг — «держать и не пущать». Сейфуллина привела много таких примеров, среди них и запрещенного «Рвача» (см.: Жизнь искусства, 1926, № 144, с. 12). И после отказа Ионова Эренбург не бросал попыток добиться издания романа в СССР. Осип Мандельштам писал жене в феврале 1926 года о посещении Ленгиза, где К. Федин и И. Груздев «в числе других пытаются протащить «Рвача» Эренбурга». Предполагалось издать книгу с предисловием профессора-юриста С. Б. Членова или П. С. Когана; в прессе появлялись об этом сообщения, но книгу не пропускали. Наконец, в 1927 году «Рвача» удалось издать малым тиражом в кооперативном одесском издательстве «Светоч», однако большая часть тиража (как это случилось и с «Курбовым») вскоре была затоплена на складе. В 1928 году «Рвач» был анонсирован в составе зифовского Собрания сочинений Эренбурга в восьми томах; в итоге оно осталось без пятого тома, который «Рвач» и должен был составить...

Первым изданием, позволившим прочесть «Рвача» советским читателям, стало Собрание сочинений Эренбурга 1960-х годов, но и здесь книгу продолжал преследовать рок. Второй том, где печатался «Рвач», был сдан в набор 11 марта 1963 года, через три дня после выступления Н. С. Хрущева с нападками на Эренбурга, поэтому подписали его в печать более года спустя (первый том прошел этот путь менее чем за два месяца). Второй том курировал лично Л. Ф. Ильичев, тогдашний секретарь ЦК КПСС по идеологии; от автора требовали покаянного послесловия и массы купюр. Эренбург умело сопротивлялся нажиму; в послесловии он написал: «И в наши дни существуют карьеристы, хотя их жизненный путь и не похож на пеструю биографию Михаила Лыкова. Наша молодежь, как и в начале двадцатых годов, жаждет знаний, но молодые люди 1964 года духовно богаче и сложнее Артема Лыкова. Сорок лет не сорок дней:

годы все ставят на свое место, отжившее становится лавкой древностей, а живое продолжает волновать, причинять боль или радовать».

Роман печатается по последнему прижизненному изданию 1964 года, сверенному с парижским изданием 1925 года; восстановлена последняя глава и ряд купюр.

Стр. 197. *Бибиковский бульвар* — улица в Киеве, названная в честь киевского генерал-губернатора Д. Г. Бибикова, с 1919 г.— бульвар Тараса Шевченко.

Стр. 198. *«Континенталь»* — гостиница и ресторан в Киеве. *Николаевская* — улица в Киеве, ныне ул. К. Маркса. *«Киевлянин»* — монархическая газета на русском языке, издавалась в Киеве в 1864—1919 гг.; с 1918 г. под редакцией В. В. Шульгина газета стала откровенно черносотенной.

Стр. 199. *Малая Подвальная* — улица в Киеве, ныне Ярославов вал.

Стр. 202. *Лукьяновка.* — См. примеч. к с. 44.

Стр. 203. *Липки* — аристократический район Киева.

Стр. 206. *Мараскин* — сладкий бесцветный ликер.

Стр. 208. *Саше́* — надушенные подушечки. Ими прокладывали чистое белье для аромата.

Стр. 209. *«Кармен»* — опера французского композитора Жоржа Бизе (1874).

Стр. 212. *Фундуклеевская.*— См. примеч. к с. 57.

Стр. 216. *«Будильник»* — русский сатирический журнал, издавался в 1865—1871 гг. в Петербурге, а в 1873—1917-м — в Москве. *«Стрекоза»* — русский еженедельный юмористический журнал, издавался в 1875—1908 гг. в Петербурге.

Стр. 217. *Высота Реомюра* — шкала термометра по Реомюру (интервал в сто градусов Цельсия соответствует восьмидесяти градусам Реомюра). *Демиевка, Подол* — районы Киева. *Милюков* Павел Николаевич (1859—1943) — министр иностранных дел Временного правительства, сторонник захвата у Турции проливов в ходе I мировой войны, за что был прозван «Милюковым-Дарданельским».

Стр. 218. *...аргументацией «пломбированного вагона» и «наемников Антанты»...* — Речь идет об обвинении в шпионаже в пользу

Германии тех русских большевиков, которые проехали через ее территорию весной 1917 г. в пломбированном вагоне, и ответных обвинений деятелей Временного правительства большевиками, что они служат Антанте.

Стр. 226. *Генерал Алексеев* Михаил Васильевич (1857—1918)— Верховный главнокомандующий русской армией в 1917 г. *Сухаревка*—рынок в Москве на Сухаревской (ныне—Колхозной) площади. *Куверты*—столовые приборы.

Стр. 228. *Викжель*—Всероссийский исполком железнодорожного профсоюза (август 1917—январь 1918), был противником Октябрьского переворота.

Стр. 232. *Место нравственности занял «Брест».*—Имеется в виду отношение к Брестскому миру (1918) как критерий партийной нравственности. *«Похабный мир»*—так окрестил Брестский мир В. И. Ленин.

Стр. 235. *«Пинкертон»*—серия переводных бульварных приключенческих романов начала XX в. о сыщике Нате Пинкертоне. *Лавров.*—См. примеч. к с. 65.

Стр. 236. *...кто-то укокошил германского посла.*—Посол Германии в Москве граф Мирбах был убит в 1918 г. левым эсером Я. Г. Блюмкиным.

Стр. 241. *«Хлам»*—литературно-артистический кружок в Киеве (март—май 1919 г.); название от сокращения: «Художники, литераторы, артисты, музыканты».

Стр. 243. *Баккара*—азартная карточная игра. *Шмэн-де-фер*— игра в рулетку; *...в кандидовском... Эльдорадо...*—Вымышленная страна, которую посещает герой повести Вольтера «Кандид».

Стр. 245. *Театр Соловцова*—русский драматический театр в Киеве (1891—1919).

Стр. 246. *Поэт... поражал нелепостью как своего вида, так и поведения.*—Прообразом этого персонажа послужил О. Э. Мандельштам, с которым Эренбург подружился в Киеве в 1919 г. и вместе с которым вел занятия в Студии художественного слова.

Стр. 247. *Трианон*—название двух небольших дворцов в Версале, построенных Людовиком XIV и Людовиком XV.

Стр. 249. *«Киевская мысль»*—ежедневная русская газета, выходила в Киеве в 1906—1918 гг.

Стр. 257. *Гильотин* (Гийотен) Ж.— французский врач, предложивший во время Великой французской революции орудие для обезглавливания осужденных на казнь (гильотина). *Кайенские лихорадочные топи* — болота в районе Кайенны, порта во Французской Гвиане. *Инсургент* — повстанец (лат., устар.). *Вербные гармошки.*— Имеется в виду непременная игра на гармони во время народных гуляний на Вербное воскресенье.

Стр. 260. *Фребелички.*— По имени Ф. Фребеля в 1872—1917 гг. в России назывались учебные заведения, готовившие воспитателей детских садов; в Киеве был Фребелевский женский педагогический институт.

Стр. 263. *...к различным «батькам», к Стрюку или Тютюнику.*— Главари банд, действовавших на Украине в 1919—1921 гг.

Стр. 264. *Далькроз* (Жак-Далькроз) Эмиль (1865—1950) — швейцарский музыкант, педагог, основатель ритмической гимнастики.

Стр. 270. *Монруж* — предместье Парижа.

Стр. 271. *Кобленцские моралисты* — здесь: белые эмигранты (Кобленц — город в Германии; кобленцская эмиграция — французская монархическая эмиграция времен Великой французской революции, сформировавшая армию, вторгшуюся во Францию).

Стр. 272. *...ликам Карла Либкнехта и Розы Люксембург.*— После убийства К. Либкнехта и Р. Люксембург в Германии в 1919 г. их портреты были очень распространены в Советской России.

Стр. 274. *Пятаковки* — так по имени Ю. Л. Пятакова назывались советские деньги на Украине.

Стр. 279. *Вильсон* Вудро (1856—1924) — 28-й президент США.

Стр. 283. *Хитровка* — рынок в Москве на Хитровской площади.

Стр. 285. *Расин* Жан (1639—1699) — французский поэт и драматург.

Стр. 286. *Джотто* ди Бондоне (1266—1337) — итальянский художник. *Ферреро* Гуардия Франсиско (1859—1909) — испанский анархист.

Стр. 290. *Commedia dell'arte* — распространенный в Италии с конца XVI до середины XVIII в. жанр театра, в котором играли по сценариям, с типами-масками, с преувеличенным комизмом.

Стр. 294. *Фрейд* Зигмунд (1856—1939) — австрийский психиатр и психолог, основатель психоанализа.

Стр. 295. *Уэллс* Герберт (1866—1946)—английский писатель-фантаст.

Стр. 296. *Кальдерон* де ла Барка Педро (1600—1681)—испанский драматург. *Гоцци* Карло (1720—1806)—итальянский драматург. *Бабеф* Гракх (1760—1797)—французский утопист.

Стр. 297. *Гибель Иокогамы.*— Речь идет о землетрясении 1923 г., разрушившем порт и свыше 60% построек японского города Иокогамы. *Тютчевский «пир богов»...*— Имеются в виду строки из стихотворения Ф. И. Тютчева «Цицерон» (1830): «Счастлив, кто посетил сей мир // В его минуты роковые! // Его призвали всеблагие // Как собеседника на пир...»

Стр. 311. *«Русское богатство».*— См. примеч. к с. 66. *«Вестник Европы»*—ежемесячный литературно-политический журнал, издавался в Петербурге в 1866—1918 гг.

Стр. 319. *...в Москве свердловцы, а в Ленинграде зиновьевцы...*— Имеются в виду слушатели Коммунистических университетов имени Я. М. Свердлова (Москва) и Г. Е. Зиновьева (Ленинград). *Вандея*— французский департамент, бывший главным очагом контрреволюции в 1793 г., синоним мятежников. *...все Аустерлицы истории?..*— В ходе Аустерлицкого сражения (1805) армия Наполеона разбила русские и австрийские войска; название сражения стало символом решающей битвы.

Стр. 320. *...походом на Варшаву...*— поход Красной Армии в 1920 г., закончившийся отступлением. *Гомер*—легендарный древнегреческий эпический поэт.

Стр. 321. *Куно Фишер* (1824—1907)—немецкий историк философии, автор восьмитомной «Истории новой философии». *Хуан дель Круз* (де ла Крус; 1542—1591)—испанский поэт-мистик.

Стр. 323. *Кандид*—герой одноименной повести Вольтера. *Коллонтай* Александра Михайловна (1872—1952)—деятель большевистской партии, дипломат; в первые послереволюционные годы много выступала в печати по вопросам любви и брака. *Евгеника*— теория о наследственном здоровье человека и путях его улучшения (в современной науке эти проблемы решаются в рамках генетики).

Стр. 324. *Шерлок Холмс*—сыщик, герой произведений английского писателя А. Конан-Дойля. *«Саломея»*—спектакль по пьесе О. Уайльда в Московском Камерном театре; поставлен А. Я. Таировым в 1917 г.

Стр. 325. *Штейнах* Эйген (1861—1944) — австрийский физиолог, автор экспериментальных работ по изменению пола животных путем пересадки и удаления половых желез.

Стр. 329. *Чичерин* Георгий Васильевич (1872—1936) — нарком иностранных дел в 1918—1930 гг.

Стр. 334. *Петрарка* Франческо (1304—1374) — итальянский поэт.

Стр. 339. *Лассаль* Фердинанд (1825—1864) — немецкий социалист. *Тов. Лацис* Мартын Иванович (1888—1938) — с 1918 г. член коллегии ВЧК.

Стр. 340. *«Имаж»* — образ.

Стр. 342. *Ланжероновская* — улица в Одессе, ныне ул. Ласточкина. *Ришельевская* — улица в Одессе, ныне ул. Ленина.

Стр. 349. *«Лучше меньше, да лучше»* — название статьи В. И. Ленина.

Стр. 350. *«Учитесь торговать»* — известный лозунг эпохи нэпа, принадлежавший В. И. Ленину.

Стр. 351. *Мазурские болота* — в Восточной Пруссии; здесь осенью 1914 г. в ходе боев с немцами русская армия понесла большие потери. *Знаменитый бандит (кажется, его звали Ленькой)* — легендарный Ленька Пантелеев. *Марнская битва* — сражение I мировой войны (5—12 сентября 1914 г.) между англо-французской и немецкой армиями на реке Марна, закончившееся отступлением немецкой армии.

Стр. 354. *Файф-о-клок* (от англ. five-o'clock — пять часов вечера) — чаепитие между вторым завтраком и обедом. *«Русское слово»* — ежедневная либеральная газета, издавалась в Москве в 1895—1918 гг. *Радио Чичерина.* — Имеются в виду ноты наркома иностранных дел Г. В. Чичерина, передававшиеся по радио на весь мир.

Стр. 355. *Музо... Тео* — музыкальный и театральный отделы Наркомпроса.

Стр. 360. *Рабочее правительство Великобритании* — лейбористское правительство во главе с Дж. Макдональдом, пришедшее к власти в Англии в 1924 г.

Стр. 362. *Великий сатирик* — Н. В. Гоголь.

Стр. 363. *Генуэзская конференция* — международная конференция европейских стран по экономическим и финансовым вопросам

с участием советской делегации (1922); в ходе ее в Рапалло был подписан договор Советской России с Германией.

Стр. 366. *Ульстер* (от англ. ulster) — длинное свободное пальто. *Виндавский* вокзал — ныне Рижский вокзал в Москве.

Стр. 372. *Манон Леско* — героиня романа французского писателя Прево д'Экзиля «История кавалера Де Гриё и Манон Леско» (1731).

Стр. 373. *Бернард Шоу* (1856—1950) — английский писатель. *Сосновский* Лев Семенович (1886—1937) — ведущий публицист «Правды» в 1920-е гг. *«Экономика переходного времени»* — неточное название книги Н. И. Бухарина «Экономика переходного периода» (1920). *Синклер* Эптон (1878—1968) — американский писатель. *Мейерхольд* Всеволод Эмильевич (1874—1940) — режиссер.

Стр. 374. *Макдональд* Джеймс Рамсей (1866—1937) — один из основателей английской лейбористской партии, премьер-министр Великобритании в 1924 г. *Локк* Уильям Джон (1863—1930) — английский писатель, автор развлекательных романов.

Стр. 376. *Бухарин* Николай Иванович (1888—1938) — в 1918 г. во главе группы «левых коммунистов» был противником подписания мира с Германией, по которому Россия отдавала под немецкую оккупацию украинские и русские земли.

Стр. 379. *Керзон* Джордж Натаниел (1859—1925) — министр иностранных дел Великобритании в 1919—1924 гг.; в 1923 г. выдвинул ультимативные требования правительству СССР, которые были отвергнуты.

Стр. 380. *«Экономическая жизнь»* — еженедельная газета, издавалась в Москве с 1918 г.

Стр. 384. *Альфред Мюссе* (1810—1857) — французский поэт-романтик. *Жорж Санд* (Аврора Дюпен; 1804—1876) — французская писательница.

Стр. 390. *Открытие Америки неким генуэзцем.* — Имеется в виду Христофор Колумб (1451—1506), родившийся в Генуе и в 1492 г. достигший Америки.

Стр. 392. *Ревербер* (устар.) — фонарь с вогнутым отражающим зеркалом.

Стр. 400. *Посылки «Ары»* — посылки «Американской администрации помощи» (ARA — American Relief Administration), которая

в 1919—1923 гг. оказывала помощь европейским странам, пострадавшим в I мировой войне; с 1921 г. после голода в Поволжье деятельность ARA была разрешена в РСФСР.

Стр. 401. *«Золотое руно»* — ежемесячный художественный журнал, издавался Н. П. Рябушинским в Москве в 1906—1909 гг. *Бебель* Август (1840—1913) — один из основателей германской социал-демократической партии.

Стр. 408. *«Мы увидим небо в алмазах»* — слова Сони из четвертого действия пьесы А. П. Чехова «Дядя Ваня». *...в студенческих пьесах Леонида Андреева.*— Имеется в виду, в частности, пьеса Л. Н. Андреева «Дни нашей жизни» (1908); Эренбург был участником постановки этой пьесы в Париже в 1909 г. силами молодых политэмигрантов.

Стр. 411. *...отпустив стране Кронштадт...* — См. примеч. к с. 165.

Стр. 413. *Эль Греко* Доменико (1541—1614) — испанский художник.

Стр. 416. *Кроль* — прообраз Карла Радека.

Стр. 420. *Нансеновский «Фрам»* — норвежское полярное судно, построенное в 1892 г.; на нем Фритьоф Нансен совершал экспедиции в Арктику.

Стр. 423. *Моисей* — библейский пророк, который вывел народ Израиля из египетского рабства. *Скрижали* — каменные доски с десятью заповедями, врученными пророку Моисею богом Яхве на горе Синай.

Стр. 425. *Студенты-гижевцы* — студенты Государственного института журналистики (ГИЖ) в Москве.

Стр. 436. *Песенки Майоля...*— Имеется в виду репертуар эстрадно-концертного зала Майоля в Париже.

Стр. 437. *Зиновьев* Григорий Евсеевич (1883—1936) — деятель большевистской партии, глава Коминтерна в 1919—1926 гг.

Стр. 445. *Андрей Лобов* — герой романа Эренбурга «Любовь Жанны Ней».

Стр. 447. *«Красная нива»* — литературно-художественный иллюстрированный еженедельник, издавался в Москве в 1923—1931 гг.

Стр. 449. *...в чаду «распошела»...*— Имеется в виду цыганский романс «Эх, распошел...».

Стр. 452. *Дузэ* Элеонора (1858—1924) — итальянская драматическая актриса.

Стр. 453. *Паллада* — один из эпитетов греческой богини войны и победы Афины. *Бальзак* Оноре де (1799—1850) — французский писатель.

Стр. 454. *«Шагреневая кожа»* — роман Бальзака. *Роланд* — герой французского эпоса «Песнь о Роланде».

Стр. 455. *«Тарзан»* — приключенческий роман американского писателя Эдгара Райса Берроуза (1875—1950); был переведен на русский язык в 1922 г. *Луначарский* Анатолий Васильевич (1875—1933) — нарком просвещения.

Стр. 458. *Тициан* Вечеллио (1489/90—1576) — итальянский художник.

Стр. 474. *Капитан Лебядкин* — персонаж романа Ф. М. Достоевского «Бесы».

Стр. 479. *«Красный перец»* — журнал сатиры и юмора, издавался в Москве в 1922—1926 гг.

Стр. 485. *Прозелитизм* — горячая преданность вновь принятому учению.

Стр. 486. *«Азбука коммунизма»* — популярная в 1920-е гг. книга Н. И. Бухарина и Е. А. Преображенского.

Стр. 494. *Дан* Федор Ильич (1871—1947) — один из лидеров меньшевиков; в 1922 г. выслан за границу.

Стр. 496. *Яблоко Ньютона.*— См. примеч. к с. 13.

Стр. 497. *«Роте Фане»* (от нем. rote Fahne — красное знамя) — газета германской компартии (1918—1939), основана К. Либкнехтом и Р. Люксембург.

Стр. 498. *Либкнехт* Карл (1871—1919) — один из основателей германской компартии.

Стр. 499. *...у Вердена... в Галиции* — места кровопролитных боев в I мировую войну.

Стр. 500. *Рабочая оппозиция* — группа с анархо-синдикалистским уклоном в РКП(б) в 1920—1922 гг. во главе с А. Г. Шляпниковым и А. М. Коллонтай. *«Накануне»* — ежедневная газета, издавалась в Берлине с 1921 г.; в 1922 г. была открыта ее московская редакция. Газета давала широкую информацию о событиях в Советской России со сменовеховской позиции; воскресное «Литературное приложение» к газете «Накануне» редактировал А. Н. Толстой.

Стр. 501. *Лимитрофные государства* — пограничные государст-

ва, то есть Латвия, Литва, Эстония и Финляндия, служившие «санитарным кордоном» для стран Антанты у границ СССР.

Стр. 505. *Хорти* Миклош (1868—1957)—фашистский диктатор Венгрии в 1920—1944 гг.

Стр. 540. *Цекубу*—Центральная комиссия по улучшению быта ученых при Совнаркоме РСФСР.

Стр. 545. *Ломброзо.*—См. примеч. к с. 108.

Стр. 547. *Самофракская «Победа»* (Ника Самофракийская)—скульптура греческой богини победы Нике, которая изображалась крылатой девой с пальмовой ветвью в руках.

Стр. 553. *Неистовый плотник*—Петр I. *«Порядка-то у нас нет».*—Строчка-рефрен из сатирического стихотворения А. К. Толстого «История Государства Российского от Гостомысла до Тимашева».

Стр. 554. *Алексей Михайлович* Романов (1629—1676)—русский царь с 1645 г.

В ПРОТОЧНОМ ПЕРЕУЛКЕ

Запрещение «Рвача», нескончаемые нападки в печати, жестокое безденежье окрасили эренбурговский 1925 год в мрачные тона. Осенью он написал новую, отчасти автобиографическую книгу—об одиночестве человека в большом городе; первоначально она называлась «Отчаянье Ильи Эренбурга», потом более нейтрально—«Лето 1925 года». В мемуарах Эренбург написал, что «Лето 1925 года»—«пожалуй, самая печальная из всех моих книг, не самая горькая, не самая безысходная, а именно самая печальная».

В 1925 году Эренбург помногу перечитывал русскую классику—и ту, что любил всегда, и ту, что еще недавно считал устаревшей. Отвечая на вопрос Е. Полонской, как ему понравились новые книги молодых отечественных авторов, Эренбург написал, что не понравились, и добавил: «Я хочу Гоголя и еще хороших репортеров»; в другом письме он признавался, что «реабилитировал Тургенева».

Весной 1926 года, думая о предстоящей поездке в Россию, Эренбург решил посмотреть незнакомые ему дальние края—Урал и Сибирь. Однако осуществить такую поездку он не смог по причинам

сугубо материальным (этот план удался лишь в 1932 году), и, приехав в Москву, Эренбург ограничился уже хоженым маршрутом — Харьков, Киев, Гомель, Одесса, Ростов, Тифлис (в этих городах его знали и можно было свести концы с концами, выступая с чтением новой прозы). Впечатлений от поездки было немало. «Материалу на 10 томов,— писал Эренбург с дороги Е. Полонской.— А как писать?»

Замысел нового романа возник еще в Москве, а писать его Эренбург начал в Париже в сентябре 1926 года. Роману «В Проточном переулке» посвящена отдельная глава мемуаров «Люди, годы, жизнь» (так подробно Эренбург говорил в них лишь о своих стихах, «Хулио Хурените» и «Дне втором»); в этой главе Эренбург рассказал, как летом 1926 года в Москве поселился у Е. О. и Т. И. Сорокиных в Проточном переулке: «Не знаю почему, но Проточный переулок тогда был облюбован ворами, мелкими спекулянтами, рыночными торговцами... В подвалах ютились беспризорные... Я увидел один из черных ходов эпохи и решил его отобразить... Я вдохновился Проточным переулком, с его равнодушием и надрывом, с мелким подходом к большим событиям, с жестокостью и раскаяньем, с темнотой и тоской; впервые я попытался написать повесть «с натуры».

Шел очередной акт свирепой внутрипартийной схватки, развязка которой должна была определить будущее страны, но «господин Эренбург», как называли его теперь критики, кажется, потерял интерес к большой политике, во всяком случае, его итоговые впечатления о поездке 1926 года (в письме к Е. Полонской) выглядят достаточно демонстративными: «В России меня больше всего потрясли кошки московских переулков, когда светает, патетичность рек и емкость грузинских желудков». Он хотел писать теперь не о том внешне новом, что принесла в жизнь страны революция, но о том, что революция в жизни не изменила.

27 октября 1926 года Эренбург писал из Парижа в Москву В. Г. Лидину: «Мне приходится исступленно работать, покрывая полученные (и, увы, протраченные уже) авансы. Написал статьи для «Красной газеты» о путешествии, книгу о кино («Материализация фантастики».— *Б. Ф.*) и половину нового романа, который будет называться «В Проточном переулке», роман психологически-быто-

вой, мещанский, по старинке. Боюсь, что не напечатают». Месяц спустя Эренбург информировал Лидина: «Я кончил мой роман (маленький, 7—8 листов). Заранее предвижу все нападки: 1) апология мещанства, 2) введение романтически-гротескных фигур в быт и пр.».

Новый роман выпустило парижское издательство «Геликон» тиражом всего в 1000 экземпляров, вышел он на русском и в Риге. Судьба советского издания складывалась, как это было со всеми книгами Эренбурга, нелегко. Журнал «30 дней» напечатал роман с большими купюрами (№ 1—3, 1927); отдельное издание готовило издательство «Земля и Фабрика» (включив новую книгу в состав Собрания сочинений Эренбурга в восьми томах, оно оттягивало ее выпуск до выхода первых томов). «Я очень зол на «ЗиФ» за «Проточный», но они клянутся, что роман выйдет в апреле отдельной книгой без купюр»,— сообщал Эренбург Лидину 22 марта 1927 года. Вскоре стало известно, что все книги, вошедшие в Собрание сочинений Эренбурга, издательство намерено подвергнуть цензурной правке. «Мой «Проточный» выходит в обезображенном виде, от «Рвача» останутся только рожки-ножки»,— жалуется Эренбург Е. Полонской 16 апреля, а 3 мая он пишет Лидину: «Сегодня мне пришлось телеграфировать ЗиФу, что я отказываюсь от выпуска «В Проточном» отдельным изданием ввиду совершенно неприемлемых купюр».

Все же «ЗиФ» выпустил «В Проточном переулке» в 1927 году— седьмым томом Собрания сочинений Эренбурга, который вышел раньше первого тома, выпущенного в 1928-м. Эренбургу удалось смягчить цензурный пресс, и только «Рвача» спасти он не смог— требования цензуры остались неприемлемыми, и Собрание сочинений вышло без «Рвача», то есть без пятого тома. Большая статья Л. Авербаха об Эренбурге была разрезана на куски, которые печатались в качестве редакционных предисловий к отдельным томам. В предисловии к «Проточному» приводились слова Н. И. Бухарина из «Злых заметок»: «Нам нужна литература бодрых людей, в гуще жизни идущих, храбрых строителей, знающих жизнь, с омерзением относящихся к гнили, плесени, гробокопательству, кабацким слезам, разгильдяйству и юродству», и делался естественный вывод: «Роман Эренбурга не принадлежит к этой литературе... Эренбург не современен, он не видит замечательной жизни, которая распускается на земле, не видит масс, перестраивающих жизнь».

Это была установка критике, и она писала о «Проточном» только недоброжелательно, оправдывая прогнозы Эренбурга. Однако он вряд ли был прав, когда написал в мемуарах: «Кажется, ни одну мою книгу не поносили так, как роман «В Проточном переулке»,— на иные книги рецензии бывали и пострашнее. Но в «Проточном» не было язвительного яда, сатиры, иронии, эта книга незащищенная, исполненная щемящей любви к людям, которые не виноваты, что влачат такую жизнь, потому-то так горько было Эренбургу читать, что он «ищет этих людей в Советской России, смакуя появление нового мещанина в осклизлом переулке и восклицая коленопреклоненно перед ним «верую» (М. Янковский в ленинградской «Смене»). Правда, даже В. Фриче, автор разгромного подвала в «Правде», вынужден был заметить, что «страницы романа, посвященные беспризорным, делают честь сердцу Эренбурга». Особенно досталось писателю за прямую перекличку с Гоголем, когда он представил Россию не лихой тройкой (пусть себе и везущей Чичикова), а тремя несчастными беспризорными, молча идущими на станцию, чтобы забраться в товарняк и двинуть в теплые края. («И сдается мне, что идет это наша Россия, такая же ребячливая и беспризорная, мечтательная и ожесточенная, без угла, без ласки, без попечения, страна — дитя, все уже испытавшее... И сил нет спросить, дойдет ли она?..»)

Очень зло написал о «Проточном» Г. Адамович в парижском журнале «Звено»; он говорил о «копеечном лиризме» и назвал Эренбурга «Боборыкиным, начитавшимся Жироду». Кажется, одна только «Воля России», отметив, что своим «Проточным» Эренбург вступил на традиционный путь русской художественной литературы, выразила надежду, что этот роман будет «поворотным пунктом творчества И. Эренбурга».

В 1929 году «ЗиФ» повторил издание «Проточного», после чего наступил перерыв до 1964 года, когда автор включил его в свое новое Собрание сочинений. В те же годы он высказался о «Проточном» в мемуарах с той требовательностью, которая доступна лишь художнику: «Слабость моей повести не в замысле, не в том, что я обратился к неприглядным обитателям Проточного переулка, не противопоставив им строителей будущего, а в том, что изобража-

емый мир слишком робко, скупо, редко озарен светом искусства. Дело не в размерах отпущенного мне дарования, а в душевной поспешности, в том, что мы жили, ослепленные огромными событиями, оглушенные пальбой, ревом, громчайшей музыкой и порой переставали ощущать оттенки, слышать биение сердца, отучались от тех душевных деталей, которые являются живой плотью искусства».

«В Проточном переулке» печатается по последнему прижизненному изданию 1964 года, сверенному с первыми изданиями романа.

Стр. 564. *Лукутинская табакерка* — по имени Александра Петровича Лукутина, основавшего в 1817 г. в Москве фабрику изделий из лакированной бумажной массы. *Иветта Гильбер* (1867—1944) — французская эстрадная певица. *«Бродячая собака»* — знаменитое литературно-артистическое кабаре в Петрограде. *«Аполлон»* — литературно-художественный журнал, издавался в Петербурге в 1909—1917 гг.

Стр. 566. *Дега* Эдгар (1834—1917) — французский художник. *Ренуар* Огюст (1841—1919) — французский художник.

Стр. 567. *...ходил к Мейерхольду...* — Имеется в виду Государственный театр им. Вс. Мейерхольда в Москве.

Стр. 568. *Комиссаржевская* Вера Федоровна (1864—1910) — русская драматическая актриса.

Стр. 569. *Ягелло, Ядвига* — литовский князь и польская королева; их брак, заключенный в 1386 г., привел к объединению Литвы с Польшей.

Стр. 577. *«Оливер Твист»* — роман Ч. Диккенса.

Стр. 580. *Сейфуллина* Лидия Николаевна (1889—1954) — русская советская писательница, автор популярных в 1920-е гг. повестей. *«Много нужно глубины душевной...»* — Слова из седьмой главы первого тома «Мертвых душ» Н. В. Гоголя.

Стр. 581. *Храм Соломона* — храм, известный своей роскошью и великолепием, построен в Иерусалиме израильским царем Соломоном (993—953 до н. э.). *«Левый марш»* — стихотворение В. В. Маяковского (1918 г.).

Стр. 587. *«Потемкин»* — кинофильм С. М. Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин» (1925).

Стр. 588. *«Грубым дается радость, нежным дается печаль...»* — первые строки стихотворения без названия С. А. Есенина (1923(?).

«Камерный или Мейерхольд» — характерное для диспутов и дискуссий в 1920-х гг. противопоставление соперничающих московских театров Камерного (художественный руководитель А. Я. Таиров) и Гостима (художественный руководитель В. Э. Мейерхольд).

Стр. 593. *Воронский* Александр Константинович (1884—1943) — литературный критик, редактор журнала «Красная новь». *Романов* Пантелеймон Сергеевич (1884—1938) — писатель.

Стр. 594. *Бабель* Исаак Эммануилович (1894—1940) — писатель. *Очень страшная книга.*— Имеется в виду сборник рассказов И. Бабеля «Конармия» о гражданской войне (1926).

Стр. 608. *Пресловутое «отвращение» кривит бронзовые губы.*— Имеются в виду строки из стихотворения А. С. Пушкина «Воспоминание» (1828): «И, с отвращением читая жизнь мою, // Я трепещу, и проклинаю, // И горько жалуюсь, и горько слезы лью, // Но строк печальных не смываю».

Стр. 613. *О борьбе «живцов» с «тихоновцами»* — то есть о борьбе сторонников патриарха Московского и всея Руси Тихона (Белавина Василия Ивановича; 1865—1925) со сторонниками так называемой «живой церкви», примирившимися с революцией. Патриарх Тихон был объявлен «врагом народа» еще весной 1918 г., а в 1922 г.— арестован; его освободили после того, как летом 1923 г. он выступил с заявлением, что отныне поддерживает новую власть.

Стр. 617. *«Я так любил ее — до грубых шуток...»* — Первая строка стихотворения без названия И. Эренбурга (1923).

Стр. 624. *Прозерпина* — в римской мифологии богиня плодородия и подземного царства.

Стр. 625. *«Минус семь»* — судебный запрет на проживание в семи крупных городах.

Стр. 628. *Цицерон* Марк Туллий (106—43 до н. э.)— римский политический деятель, писатель и знаменитый оратор. *Гораций* (Квинт Гораций Флакк; 65—8 до н. э.) — римский поэт.

Стр. 630. *Шамес* — синагогальный служка. *Иом-кипур* (Судный день) — еврейский религиозный праздник, отмечающийся осенью, через 10 дней после Нового года. *Тфилим* (филоктерии) — коробочки с выдержками из Библии, которые с помощью ремешков надевают на время молитвы.

Стр. 632. *Вергилий* Марон Публий (70—19 до н. э.) — римский поэт.

Стр. 650. *Сократ* (470/469—399 до н. э.) — древнегреческий философ; излагал свое учсние устно.

Стр. 668. *Царь Давид* (конец II в.— ок. 950 до н. э.) — царь Израильский, провозглашенный царем Иудеи после гибели основателя царства Саула; юношей Давид победил гиганта Голиафа.

Стр. 671. *Сергий Радонежский* (ок. 1321—1391) — основатель Троице-Сергиева монастыря; активно поддерживал Димитрия Донского в его деятельности.

Стр. 683. *Крез* (595—546 до н. э.) — последний царь Лидии; его богатство вошло в поговорку.

Стр. 685. *Кольцов* Михаил Ефимович (1898—1940) — русский советский писатель, фельетонист, публицист. *Ходил встречать Дугласа.*— Популярный американский киноактер Дуглас Фербенкс (1884—1939) вместе со своей женой киноактрисой Мэри Пикфорд в 1926 г. посетил СССР. *Вербена* — декоративное растение, кустарник.

Стр. 687. *«Ничего, голубка Эвридика...»* — из стихотворения О. Мандельштама «Чуть мерцает призрачная сцена...» (1920).

Стр. 690. *«Парижанка»* — кинофильм, поставленный Ч. Чаплином (1923).

Б. Фрезинский

Содержание

Эренбург И. Г.

Э76 Собрание сочинений. В 8 т. Т. 2. Жизнь и гибель Николая Курбова; Рвач; В Проточном переулке: Романы / Сост., подгот. текста И. Эренбург; Комм. Б. Фрезинского.— М.: Худож. лит., 1991.— 734 с.

ISBN 5-280-01623-3 (Т. 2)

Во второй том Собрания сочинений И. Г. Эренбурга входят романы: «Жизнь и гибель Николая Курбова», «Рвач» и «В Проточном переулке».

Э $\frac{4702010201\text{-}116}{028(01)\text{-}91}$ Подписное

ББК 84Р

Илья Григорьевич
Эренбург

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ВОСЬМИ ТОМАХ

Том второй

Подбор иллюстраций
Б. Фрезинского

Редакторы
А. Краковская, К. Вепринцева

Художественный редактор
Е. Ененко

Технический редактор
В. Кулагина

Корректоры
Г. Володина, Л. Лобанова

ИБ № 6302

Сдано в набор 05.07.90. Подписано в печать 28.02.91.
Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 2. Гарнитура «Таймс».
Печать высокая. Усл. печ. л. 38,64+альб.=39,48. Усл. кр.-отт. 41,16.
Уч.-изд. л. 40,58+альб.=41,33. Тираж 100 000 экз. Изд. № III-3875.
Заказ 1089. Цена 5 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство
«Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78,
Ново-Басманная, 19.

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового
Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография»
Государственного комитета СССР по печати. 113054,
Москва, Валовая, 28.

